АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ



А. Белый. 1903.

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84Р7
Б43

Вступительная статья,
подготовка текста и комментарии
А. В. ЛАВРОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Б $\frac{4702010201-208}{028(01)-89}$ 8-89

ISBN 5-280-00516-9 (Кн. 1)
ISBN 5-280-00517-7

МЕМУАРНАЯ ТРИЛОГИЯ И МЕМУАРНЫЙ ЖАНР У АНДРЕЯ БЕЛОГО

Цикл воспоминаний Андрея Белого, создававшийся в конце 1920-х — начале 1930-х гг., по праву принадлежит к числу наиболее известных и наиболее ценимых произведений крупнейшего мастера русского символизма. Эти три книги в равной мере значительны и как художественное слово, и как исторический источник: будучи ярким образцом мастерства Белого-прозаика, они содержат богатый и выразительно интерпретированный материал об эпохе, охватывающей около тридцати лет исторической, культурной и бытовой жизни России. «На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между двух революций» — лучшее, что написано Белым после «Петербурга»,— утверждает автор первой советской книги о Белом Л. К. Долгополов.— Мы многого не знали бы о литературном движении рубежа веков, если бы эта трилогия не была написана,— несмотря на ее чисто литературный характер. 〈...〉 Белый создал обобщающий образ времени — катастрофического, чреватого взрывами и потрясениями мирового масштаба и значения, хотя описал одну только сторону, одну линию литературного движения начала века» [1]. Сходного мнения придерживается и Л. Флейшман, автор работы о мемуарах Белого в американской коллективной монографии о русском писателе: «Никакие другие опубликованные мемуары, касающиеся русской литературы модернизма, не могут соперничать с мемуарами Белого по богатству информации, по широте изображения литературной жизни или по тому вкладу, который сделал их автор в развитие русского символизма» [2].

Эти суждения в корректировках и оговорках не нуждаются. Действительно, мемуарная трилогия Белого являет собою грандиозную многофигурную композицию, дающую отчетливое представление не только о конкретных лицах и событиях, но и о це-

---

[1] Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, с. 401.

[2] Fleishman L. Bely's Memoirs.— «Andrey Bely. Spirit of Symbolism». Ed. by John E. Malmstad. Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 218.

лых социально-исторических группах лиц — о московской ученой интеллигенции последней трети XIX века, о контингенте гимназических преподавателей и учащихся, о профессорском составе Московского университета, о носителях «нового религиозного сознания» и т. д. Так, первая книга мемуарной трилогии, «На рубеже двух столетий», предлагает красочную панораму жизни московской университетской среды 1880—1890-х гг.; Белому важно было показать силу семейной культурной преемственности, прочные «кастовые» устои либерально-позитивистского мира, оставившие неизгладимый след в его биографии и биографии его поколения,— но написанное им по значимости выходит далеко за пределы анализа духовных и бытовых истоков собственной личности, приобретая самое широкое значение: недаром о Белом говорят как о полномочном историографе и бытописателе такого специфического социально-общественного явления, как «профессорская культура», историографе, указавшем и на «наступивший кризис этой культуры» [3]. Что же касается истории русского символизма, то легче перечислить лиц, обойденных вниманием Белого, чем назвать тех, кто — подробно или бегло — изображен в его мемуарах. Обладая избирательной, своеобразной до экстравагантности, но чрезвычайно острой, цепкой и устойчивой памятью, позволявшей много лет спустя довольно точно (почти не ошибаясь даже в указаниях месяцев и дней) и дифференцированно реконструировать события и умонастроения, с одной стороны, с другой — имея за плечами чрезвычайно активно и насыщенно прожитую жизнь, изобиловавшую встречами, странствиями, разного рода коллективными предприятиями, пребывая всегда в гуще людей, Белый сумел создать из хроники своей жизни, своих исканий, литературных и нелитературных деяний многокрасочную картину пережитой исторической эпохи.

П. Антокольский указывал на естественный сплав в мемуарах Белого «былого» с позднейшими думами о былом, на редкое единство этого сплава из былых увлечений и позднейших оценок [4].

Ассоциация с прославленной книгой Герцена при обращении к мемуарной трилогии Белого, видимо, возникает неизбежно (и сам Белый говорит о «своем *«былом и думах»*» применительно к «берлинской» редакции «Начала века») [5]. По широте

---

[3] Кантор В. Русское искусство и «профессорская культура».— Вопросы литературы, 1978, № 3, с. 159.

[4] Антокольский П. Валерий Брюсов.— В кн.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1. М., 1973, с. 13.

[5] См. письмо Белого к П. Н. Медведеву от 10 декабря 1928 г. (В кн.: «Взгляд». Критика. Полемика. Публикации. М., 1988, с. 432).

охвата исторической жизни, обилию и яркости индивидуальных характеристик, полноте и подробности автобиографического исповедания мемуарный цикл Белого выдерживает сравнение, пожалуй, лишь с двумя аналогичными произведениями русских классиков — «Былым и думами» А. И. Герцена и «Историей моего современника» В. Г. Короленко. Подобно Герцену и Короленко, Белый предпринимает опыт детализированной автобиографии, построенной по хронологическим этапам прожитой жизни (детство, юность, зрелость) на фоне широкой исторической панорамы и с вкраплением относительно самостоятельных очерков — мемуарных портретов современников. Сходство в мемуарном методе, жанре, приемах повествования, однако, только оттеняет существенные отличия Белого в характере и стиле предпринятого им летописания.

Плоды деятельности любого мемуариста неизбежно должны находиться в согласии с формулами: «я видел», «я знаю», «я вспоминаю», «я свидетельствую» и т. д. Следуя этим формулам, Белый в своих мемуарных реконструкциях упорно делает акцент не на сказуемом, как в большинстве своем другие мемуаристы, а на подлежащем — личном местоимении. То, что для Короленко, например, было бы неприемлемо (характерно самое заглавие его книги о себе — «История моего современника»: писатель демонстративно устраняет собственное «я», настаивает на исключительно объективной значимости своих индивидуальных жизненных перипетий), для Белого — единственно возможный вариант. Неизменно задающее тон всему повествованию личностное начало — отличительная примета воспоминаний Белого и в сопоставлении с мемуарными книгами других писателей-символистов, появившимися незадолго до возникновения трилогии Белого или почти одновременно с ней. «Живые лица» (1925) З. Гиппиус, «Встречи» (1929) В. Пяста, «Годы странствий» (1930) Г. Чулкова содержат немало субъективных, пристрастных оценок и характеристик, но по самой фактуре изображения они представляют собой вполне традиционные мемуары, выдержанные в добросовестно «объективной» манере и предлагающие описания, трактовки и обобщения, мыслимые как адекватные определенным лицам или явлениям. Напротив, Белый с гораздо большей охотой отдается своим зачастую непредсказуемым ассоциациям, причудливым впечатлениям, метафорическим сопоставлениям, образотворчеству и мифотворчеству; в результате возникает не набор документально — или по замыслу — заведомо точных словесных фотографий, а некая новая суверенная художественно-документальная реальность, выстроенная по законам образного мышления и управляемая фантазией

не в меньшей мере, чем императивными данными зрения, слуха и понимания. В этой созданной Белым новой реальности, например, выступающий с речью великий французский социалист и знаменитый оратор Жан Жорес предстает в образах то слона («Кричал с приседанием, с притопом увесистой, точно слоновьей ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой»), то громовержца Зевса («...сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы, переменялся рельеф восприятий; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан»); совокупность подобных образных построений и штрихов в изображении личности отодвигает на второй план то, что оказалось бы, разумеется, в центре внимания у другого мемуариста,— сообщение о содержании выступления Жореса.

Субъективное начало главенствует в мемуарных книгах Белого так же безраздельно, как и в его романах. И если образ столицы Российской империи в его романе «Петербург» — это образ вымышленного, символически преображенного города, не соответствующий ни реальному топографическому плану, ни путеводителям, то и применительно к воспоминаниям Белого следует делать аналогичную поправку: авторское восприятие порой претворяет достоверную реконструкцию фактов до известной степени в хронику никогда не бывших событий и панораму ярких художественных образов, существовавших в подобном виде лишь в восприятии и воображении Белого. Подлинные лица для этих образов служили лишь моделями. Характерно в этой связи замечание Г. В. Адамовича по поводу изображения в «На рубеже двух столетий» отца писателя, Н. В. Бугаева: «Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив именно как портрет, а не как поэтический образ» [6]. То, о чем Адамович судит предположительно, К. В. Мочульский в своей книге о Белом утверждает с полной уверенностью: «Белый не историк, а поэт и фантаст. Он создает полный блеска и шума «миф русского символизма» [7].

В своих воспоминаниях Белый безудержно отдается эстетическому преображению некогда пережитой и познанной реальности. В свою очередь, собственно художественным произведениям Белого присуща, как бы по принципу взаимокомпенсации, тенденция к непосредственно личной исповедальности, автобиографизму. Едва ли не все произведения Белого насквозь автобио-

---

[6] Адамович Г. Андрей Белый и его воспоминания.— Русские записки (Париж), 1938, № 5, с. 145.

[7] Мочульский К. Андрей Белый. Париж, 1955, с. 269.

графичны, и эта их особенность настолько сильна и всепроникающа, настолько определяет характер обрисовки вымышленных героев, за которыми почти всегда скрываются конкретные прототипы, и выстраивание обстоятельств, за которыми встают реально пережитые коллизии, что их автор, по праву приобретший репутацию дерзновенного новатора, создателя причудливых, фантасмагорических художественных миров, парадоксальным образом может быть охарактеризован как мастер, неспособный к художественному вымыслу как таковому, не проецированному на личные воспоминания и впечатления или на «чужие» тексты, на новый лад перетолкованные. Если расценивать приемы сюжетосложения в прозе Белого, то придется сделать вывод, что изобретение оригинальной фабулы и интриги не относится к сильным сторонам его мастерства: там, где должна властвовать стихия чистого вымысла, у Белого чаще всего — надуманные, неправдоподобные, логически противоречивые ситуации. Достоверности и убедительности (в том числе и в отношении фантастических и «бредовых» явлений) Белый достигает тогда, когда непосредственно следует своему личному, биографическому опыту, либо когда строит художественную коллизию из заимствованных образов и сюжетных мотивов (таковы, например, мотивы пушкинского «Медного всадника» в «Петербурге», спародированные, гротескно перетолкованные, но претворенные в новую, безукоризненно выстроенную, емкую художественную реальность). Все творчество Белого изобличает фатальную неспособность писателя писать не о себе. Когда он пытается создать «беллетристический» сюжет — авантюрный, с участием сил и лиц, с которыми его никогда не сталкивала жизнь,— эти усилия сотворить нечто непредсказуемое и необычайное оборачиваются подспудным, потаенным автобиографизмом. В хитросплетениях интриги (в романах «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва») узнаются события, сыгравшие явную или скрытую, прямую или косвенную роль в биографии Белого; в образах вымышленных героев фокусируются черты самого Белого, его родных, близких друзей и не очень близких знакомых, складывающиеся в новую художественную мозаику, которая при внимательном обозрении поддается дифференцированному и вполне конкретному анализу как биографическая в своей основе структура.

О спонтанном автобиографизме творческих опытов Белого свидетельствует характерный эпизод. В 1906 г., когда между Белым, Л. Д. Блок и Блоком разворачивалась мучительная личная драма, в журнале «Золотое руно» (№ 7—9) появился рассказ Белого «Куст». В условно-символическом сюжете этого произведения Л. Д. Блок усмотрела скрытые оскорбительные выпады по

своему адресу и по адресу Блока [8]. Белый же, как он в свое время решительно заверял Блока в письме к нему [9], а позднее повторял то же самое в мемуарах «Между двух революций», никакими «злонамеренными» задачами не руководствовался и считал упреки совершенно немотивированными. Думается, что в этом конфликте оба, и Л. Д. Блок и Белый, были правы и неправы одновременно: по всей вероятности, Белый действительно не ставил перед собой специальных «аллюзионных» целей, но, работая над рассказом, оставался верен самому себе, своему сложившемуся творческому методу, и «отвлеченный» сюжет естественным образом оказался насквозь проникнутым непосредственно жизненной аурой.

Для самого Белого не существовало принципиальной разницы между собственно художественной прозой и мемуаристикой: рассказывая о годах младенчества в воспоминаниях «На рубеже двух столетий», он подкрепляет свои доводы цитатами из романа «Котик Летаев», используемого без каких-либо оговорок как мемуарный же текст, а литературный портрет Льва Ивановича Поливанова в тех же воспоминаниях дополняет опять же цитатой из романа «Москва», в которой речь идет о Льве Петровиче Веденяпине. Подобный метод вполне оправдан и не должен вызвать недоумения: ведь «Котик Летаев» целиком основывается на личных воспоминаниях Белого о своем детстве, а Веденяпин в «Москве» — такой же портрет Поливанова кисти Белого, как и незамаскированное изображение знаменитого педагога в «На рубеже двух столетий». В творческом арсенале Белого предостаточно подобных «двойников», которыми можно было бы восполнить характеристики соответствующих им подлинных исторических лиц: Мережкович и Шиповников из «Симфонии (2-й, драматической)» (1901) вписались бы в мемуарные образы Мережковского и Розанова, Жеоржий Нулков из «Кубка метелей» (1907) дополнительно проиллюстрировал бы рассказ Белого о неприятии им «мистического анархизма» Г. Чулкова, Нелли из «Записок чудака» (1919) прибавила бы красок к портрету А. Тургеневой, и т. д.

Если под «мемуарным» углом зрения рассматривать все творчество Белого, то выясняется, что писатель создавал мемуары (или произведения, включающие мемуарно-автобиографическое начало) с того самого момента, как ступил на литературный путь. Правда, это были не вполне привычные мемуары и едва ли они осознавались автором в этом их качестве — но ведь

---

[8] См.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 258—259.

[9] Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 180—181.

и позднейшая мемуарная трилогия Белого, как выясняется, весьма отличается от общепризнанных образцов этого жанра. Уже в первой книге Белого, вышедшей в свет в 1902 г., «Симфонии (2-й, драматической)» — или «Московской симфонии», как ее иногда называл автор,— есть элементы мемуарной хроники, вкрапливающейся в заведомо сфантазированное «мелодическое» повествование. Реальные московские жители преображаются здесь в нимф и морских кентавров уже в согласии с тем методом метафорического претворения действительности, с которым мы встречаемся и в последней написанной Белым книге, «Между двух революций», где трибун Жорес предстает в образе трубящего слона и Зевса-громовержца. Стремясь показать, как «в течении времени отражалась туманная Вечность» [10], Белый пытается зафиксировать ускользающее время, щедро заполняя свое «симфоническое» повествование событиями московской жизни, совершавшимися в 1901 году,— от заметных и существенных до самых мелких и вздорных (документальную достоверность последних Белый подтверждает подстрочными примечаниями: «См. московские газеты за май», «Смотри газеты за июнь») [11]. Вся «московская симфония» выстроена по канве реально случившегося, увиденного и пережитого, порой являя собой уникальный образец диковинного жанра лирического протокола; перед нами еще не мемуары в строгом смысле слова, а скорее хроника, поскольку речь в «Симфонии» идет не о давно минувшем, а о недавно свершившемся или еще свершающемся, но характерные черты будущей мемуарной манеры Белого, предполагающей равноценное внимание к «существенному» и «несущественному» (разговорам «ни о чем», мелким бытовым подробностям, жестам, интонациям и т. п.) в этом раннем произведении уже налицо.

Автобиографический пласт сильно сказывается и в «третьей симфонии» Белого «Возврат» (1901—1902), в которой писатель «протоколировал» впечатления своей студенческой жизни в университетских аудиториях и лабораториях, и, разумеется, во многих стихотворениях 1900-х гг. Первые очерки Белого, содержавшие отчетливо выраженный мемуарный элемент, появились в 1907 г., после пребывания писателя в течение нескольких месяцев в Германии и Франции. Это были напечатанные в московской газете «Час» (2 и 16 сентября) очерки о встречах в Мюнхене со знаменитыми тогда мастерами слова — Станиславом Пшибышевским и Шоломом Ашем: в них давался беглый литературный портрет писателя («силуэт», как обозначено в подзаголовках к обоим очеркам), основанный исключительно на личных впе-

---

[10] Белый Андрей. Собр. эпических поэм, кн. 1. М., 1917, с. 183.
[11] Там же, с. 199, 279.

чатлениях. За этими «силуэтами» последовали «силуэты» Мережковского, Бальмонта, Брюсова: характеристика, которую давал в них Белый мэтрам «нового искусства», опять же сводится в основном к изображению их личности, бытовых и психологических черт, особенностей поведения; творческий облик писателей в этих «силуэтах», в соответствии с канонами мемуарного жанра, не акцентируется и лишь проступает сквозь облик человеческий. Так, в очерке о Мережковском Белый подробно живописует писателя на прогулке в Летнем саду, рассказывает о своем знакомстве с ним, описывает петербургскую квартиру Мережковского и З. Гиппиус, воссоздает царящую в ней атмосферу литературных дебатов [12]. От позднейших мемуарных опытов этот и подобные ему «силуэты», зарисованные Белым, отличает лишь их бóльшая фактическая достоверность, поскольку мемуарные эскизы второй половины 1900-х гг. делались по свежим следам пережитого и еще не подвергались искажающей оптике, к которой Белый прибегал — или вынужден был прибегать — в позднейшие годы. Уже в 1907 г. появляется и первый его очерк с подзаголовком «Из воспоминаний» — «Владимир Соловьев» [13]. В нем с благоговением переданы впечатления от немногочисленных встреч с философом и поэтом, духовным учителем Белого. По всей вероятности, уже тогда, в первое десятилетие своей литературной деятельности, Белый был внутренне готов перейти от отдельных мемуарных эскизов к более масштабным полотнам; В. Ф. Ходасевич, вспоминая об этой поре, свидетельствует, что в частых разговорах с ним Белый постоянно делился устными импровизированными мемуарами: «Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах» [14].

Новый и чрезвычайно сильный импульс развитию у Белого мемуарно-автобиографической темы дала антропософия. Став в 1912—1913 гг., во время долгого пребывания за границей, убежденным приверженцем религиозно-философского учения Рудольфа Штейнера, уделявшего особо пристальное внимание проблеме человеческого самопознания, духовного становления и самоопределения личности, Белый ощутил потребность по-новому, под антропософским углом зрения осмыслить прожитую жизнь, характер своей внутренней эволюции и постичь ее потаенный телеологический смысл. Писатель был глубоко убежден

---

[12] См.: Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М., 1911, с. 409—415.

[13] Русское слово, 1907, № 277, 2 декабря.

[14] Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles, 1939, с. 77.

в том, что приход его к антропософии был неизбежным и закономерным, что в антропософии ему суждено было обрести законченное системное воплощение тех духовных интуиций, которые он бессознательно переживал на рубеже веков, в пору становления своей творческой личности. Отсюда возникала потребность воскресить и проанализировать те первоначальные импульсы, из которых развивалась позднейшая цельная система мироощущения и мировидения. Так родилась идея большого цикла автобиографических произведений «Моя жизнь». Высылая Р. В. Иванову-Разумнику 23 июня 1916 г. рукопись романа «Котик Летаев», Белый сообщал: «*«Котик Летаев»* есть первая часть огромного романа «Моя жизнь», в нем 7 частей: «Котик Летаев» (годы младенч⟨ества⟩), «Коля Летаев» (годы отроч⟨ества⟩), «Николай Летаев» (юность), «Леонид Ледяной» (мужество), «Свет с востока» (восток), «Сфинкс» (запад), *«У преддверия Храма»* (мировая война)... Каждая часть — самостоятельное целое» [15]. В полном объеме этот грандиозный замысел Белому осуществить не удалось. Кроме «Котика Летаева» был написан роман, посвященный «годам отрочества»,— «Крещеный китаец» («Преступление Николая Летаева», 1921), служащий непосредственным продолжением «Котика»; с первоначальным замыслом «Моей жизни» (с заключительной частью цикла, посвященной мировой войне) отчасти соотносятся «Записки чудака», биографическую основу которых составляет история возвращения Белого в августе 1916 г. из Швейцарии в Россию кружным путем через Францию, Англию и Скандинавию.

«Котик Летаев», «симфоническая повесть о детстве», по авторскому определению,— это, с одной стороны, роман, многими особенностями своей поэтики и стилистики сближающийся с ранее написанным «Петербургом», с другой — весьма специфический образец мемуарного жанра. От воспоминаний в обычном смысле слова «Котика Летаева» отличает не столько тщательная, сугубо эстетическая организация автобиографического материала (эта тщательность «отделки» и густой слой художественных тропов присущи в равной мере и мемуарным книгам Белого), сколько объект описания: не внешние обстоятельства, быт, личные судьбы, историческая реальность, а внутренняя жизнь индивида, начиная с подсознательных рефлексов и первых пульсаций сознания у младенца, открывающего мир. Воплощая полуфантастические картины, открывающиеся сознанию ребенка, Белый черпает материал исключительно из собственных первичных детских ощущений и впечатлений. «Природа наделила ме-

---

[15] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981, с. 48.

ня,— свидетельствует Белый в 1928 г. в предисловии к несостоявшемуся переизданию «Котика Летаева»,— необыкновенно длинной памятью: я себя помню (в мигах), боюсь сказать, а — приходится: на рубеже 3-его года (двух лет!); и помню совсем особый мир, в котором я жил» [16]. Воссоздание этого особого мира и является основной творческой задачей Белого в «Котике Летаеве».

Еще сильнее собственно мемуарное начало выражено в «Крещеном китайце». Здесь Белый уже покидает пределы своей детской и впервые дает картины из жизни «профессорской Москвы» конца века. В предисловии (июль 1921 г.) Белый разъясняет тот творческий метод, которым он в этом случае руководствовался: «...роман — наполовину биографический, наполовину исторический; отсюда появление на страницах романа лиц, действительно существовавших (Усов, Ковалевский, Анучин, Веселовский и др.); но автор берет их, как исторические вымыслы, на правах историка-романиста» [17]. Такие же «исторические вымыслы» в изобилии представлены и в «Записках чудака»: переполненная заботами, хлопотами и неудобствами история возвращения на родину в объезд охваченных войной территорий воссоздана здесь как описание странствий по фантасмагорическим мирам, отдаленно напоминающим Берн, Париж и Лондон, описание, перемежаемое воспоминаниями о различных эпизодах из прежней жизни автора. В «Записках чудака» Белый уже признается с изрядной долей самоиронии: «Моя жизнь постепенно мне стала писательским материалом; и я мог бы года, иссушая себя, как лимон, черпать мифы из родника моей жизни, за них получать гонорар...» [18] Одним из самых безукоризненных и совершенных образцов такого биографического мифотворчества является поэма «Первое свидание» (1921) — по мнению многих критиков и исследователей Белого, лучшее, что было создано им в стихах. «Звезда воспоминанья» в этой поэме проливает свет на пору духовного самоопределения Белого — эпоху «зорь», рубежа веков, ставшую прологом всей его последующей творческой жизни и вместе с тем прологом новой исторической эры.

Переход от «интроспективных» мемуарно-автобиографических опытов к воспоминаниям об исторической эпохе сквозь призму лично пережитого отчетливо обозначился у Белого после смерти А. Блока и непосредственно под ее воздействием. Блока Белый воспринимал как своего ближайшего спутника в литературе и единомышленника в самых главных, магистральных во-

[16] Русская литература, 1988, № 1, с. 219.
[17] Записки мечтателей, № 4. Пб., 1921, с. 23.
[18] Белый Андрей. Записки чудака, т. 1. М.— Берлин, 1922, с. 64.

просах, основой этому чувству единства служили общность духовных истоков и осознание внутренней связи, не прерывавшееся и в годы серьезных расхождений между ними. Смерть Блока побудила Белого заново осмыслить историю их почти двадцатилетнего общения, отразившую в себе все основные стадии эволюции русского символизма, и подвести ее итоги. Свершившаяся революция обозначила четкую демаркационную линию между старым и новым миром, и это эпохальное событие также инспирировало Белого подвести черту под определенным этапом жизни, резко и безвозвратно отделявшую былое и пережитое от современности, осмыслить символизм как историческое явление, замкнутое в предреволюционных десятилетиях.

Над воспоминаниями о Блоке Белый принялся работать в первые же недели после его кончины. Сначала они вылились в конспективные дневниковые записи [19], затем, в конце сентября — начале октября 1921 г., Белый выступил с воспоминаниями о Блоке на двух вечерах в Вольной философской ассоциации. Первая, самая краткая редакция его «Воспоминаний о Блоке» датирована октябрем 1921 г.; [20] в ней Белый с особенной пристальностью рассматривает «соловьевский» этап развития Блока, наиболее ему близкий и в то же время важнейший для формирования творческого облика поэта, последующие годы характеризуются в суммарном изложении. Более пространную и подробную историю отношений с Блоком представляют собой написанные тогда же «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке», напечатанные в «Записках мечтателей» в 1922 г. (№ 6) [21]. И, наконец, приехав в ноябре 1921 г. в Берлин, Белый приступил к работе над самым расширенным вариантом своих «Воспоминаний о Блоке», которые опубликовал в четырех сборниках «Эпопея», выпущенных им в Берлине в 1922—1923 гг. «Воспоминания о Блоке» из «Эпопеи» — большая книга, в которой история взаимоотношений Блока и Белого воссоздана с максимальной широтой, с привлечением многочисленных автобиографических и побочных мемуарных сведений, имеющих к ней прямое или косвенное касательство; изложение материала доведено до 1912 года.

«Воспоминания о Блоке» явились основой для работы Белого над большой мемуарной книгой «Начало века». Так называемая «берлинская» редакция воспоминаний под этим заглавием, создававшаяся в течение декабря 1922 г. и первой половины 1923 г., была, по существу, расширенным вариантом только что

---

[19] См.: Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 804—806.

[20] См.: Северные дни, сб. II. М., 1922, с. 133—155.

[21] Эта редакция воспоминаний Белого переиздана в кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников» в двух томах, т. 1. М., 1980, с. 204—322.

завершенных «эпопейных» воспоминаний, в котором фон взаимоотношений Блока и Белого был развернут в масштабную, многофигурную фреску минувшей литературной эпохи. Работа над этой мемуарной версией велась как бы по инерции, заданной «Воспоминаниями о Блоке». В. Ф. Ходасевич, постоянно общавшийся с Белым в Берлине, свидетельствует: «Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец, остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: «Начало века» [22].

«Берлинская» редакция «Начала века» по широте охвата материала, тщательности воспроизведения пережитой эпохи, подробности и искусности литературного портретирования не уступает позднейшей, «московской» редакции «Начала века» и ее продолжению — «Между двух революций», а по степени соответствия с исторической правдой и с внутренней логикой описываемых явлений и событий выгодно отличается от мемуарной версии начала 1930-х гг. Разумеется, в «берлинской» редакции «Начала века», как и в любом другом сочинении Белого, доминирует надо всем авторский субъективный взгляд, сказываются вызванные преходящими обстоятельствами перехлесты в тех или иных интерпретациях и оценках (например, диссонирующие с общим стилем изложения памфлетные интонации в характеристике Мережковских — прямое следствие разрыва отношений с ними, некогда́ предельно близких и доверительных), но в этой книге Белый еще стремится, реконструируя минувшее, оставаться равным самому себе и называть все вещи своими именами; стремится он и к тому, чтобы воскрешаемая им история символизма воспринималась как живая и действенная история, а не как «музей-паноптикум» (заглавие 4-й главы «московской» редакции «Начала века»). Отдельные фрагменты «берлинской» редакции «Начала века» были напечатаны за границей [23], готовилась публикация всего текста книги. Однако в Берлине издание этой мемуарной версии в свое время не осуществилось, а о выходе ее в свет в Советской России, после возвращения Белого на родину в октябре 1923 г., вопрос даже не поднимался: литературная ситуация, определившаяся в ту пору, решительным обра-

---

[22] Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 91—92.

[23] Беседа (Берлин), 1923, № 2; Современные записки, кн. XVI (III) — XVII (IV). Париж, 1923. Фрагмент из этой мемуарной версии в новейшее время опубликован С. Григорьянцем в «Вопросах литературы» (1974, № 6, с. 214—245).

зом не благоприятствовала появлению подобных книг. По отношению к символизму тогда уже повсеместно насаждались негативные оценки; воспоминания же Белого при этом оказались в особо уязвимом и безнадежном положении.

Нередко полагают, что проработочная критика, огульно отрицавшая всю прежнюю, дооктябрьскую литературу как «буржуазную», принимавшая все непонятное и чуждое ей за враждебное «пролетарской культуре» и сыпавшая политическими обвинениями по адресу писателей, осмеливавшихся сохранять собственное творческое лицо, являлась уделом исключительно присяжных идеологов РАПП. Между тем, у критиков подобного рода были веские основания для самонадеянной убежденности в своем праве поучать и преследовать любых писателей, к их синклиту не принадлежавших, поскольку почин подобным литературным расправам подчас исходил от политических лидеров страны. В этом отношении Белому суждено было стать одной из первых жертв: 1 октября 1922 г. в «Правде» появилась статья Л. Д. Троцкого о его творчестве. Характеристика писателю в ней была дана безапелляционная и совершенно недвусмысленная: «В Белом межреволюционная (1905—1917), упадочная по настроениям и захвату, утончавшаяся по технике, индивидуалистическая, символическая, мистическая литература находит наиболее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче всего расшибается об Октябрь. Белый верит в магию слов; об нем позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым»; «Мечтатель» Белый — приземистый почвенник на подкладке из помещичье-бюрократической традиции, только описывающий большие круги вокруг себя самого. Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заменить собою весь мир; все построить из себя и через себя; открыть в себе самом все заново,— а произведения его, при всем различии их художественных ценностей, представляют собою неизменно поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта» [24]. Особого внимания удостаивает Троцкий «Воспоминания о Блоке» из «Эпопеи»: эти мемуары, «поразительные по своей бессюжетной детальности и произвольной психологической мозаичности — заставляют удесятеренно почувствовать, до какой степени это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозвратного мира» [25]. Заявляя, что ритмическая проза Белого содержит «мнимые глубины» и являет собою «фетишизм слова», и подразумевая послед-

---

[24] Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1923, с. 34—36.
[25] Там же, с. 35.

нюю фразу «Котика Летаева»: «Во Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть»,— Троцкий выносит окончательный приговор: «Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет» [26].

О времени своего возвращения на родину Белый вспоминает: «Знаю, что в Москве после статьи обо мне Троцкого мне заповедано участие в журналах и литер⟨атурно-⟩обществ⟨енная⟩ деятельность»; [27] «Я вернулся в свою *«могилу»* ⟨...⟩: в *«могилу»*, в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними: все критики и все *«истинно живые»* писатели» [28]. Эту отлученность от современной литературной жизни Белый, привыкший к кипучей и представительной деятельности, чтению лекций, выступлениям перед аудиторией, оперативному участию в газетах и журналах, переживал очень остро. Публичных выступлений у него стало значительно меньше, публикации в периодике удавались лишь от случая к случаю, в их числе были и мемуарные некрологические очерки «Валерий Брюсов» и «М. О. Гершензон», появившиеся в журнале «Россия» в 1925 г. Если раньше Белый был постоянно окружен писателями, друзьями, последователями, заинтересованными слушателями, то теперь он все более болезненно ощущает одиночество. В связи со смертью Гершензона Белый записывает: «...умер в Москве последний «старший друг»: больше мне в Москве не на кого опереться» [29]. Обосноваться на постоянное жительство Белому удалось весной 1925 г. лишь в подмосковном поселке Кучино, и, хотя писатель не сетовал на это затворничество, которое даже способствовало сосредоточению на творческой работе, тем не менее удаленность от привычных центров культурной жизни только усугубляла внутреннюю изоляцию. Правда, о творчестве Белого в печати продолжали звучать не одни только негативные высказывания (в частности, в 1928 г. появилась серьезная и уважительная статья А. К. Воронского о Белом, писателе «поистине замечательном и редчайшем»,— «Мраморный гром») [30], и все же репутация автора «старорежимного», «чуждого» и «крамольного» закрепилась за ним достаточно прочно.

В Кучине Белый работал над романом «Москва» (1925), сюжет которого, выстроенный по автобиографической канве, от-

---

[26] Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1923, с. 36, 39, 40.

[27] Белый Андрей. Ракурс к дневнику.— *ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100, л. 116 об.

[28] Белый Андрей. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. Ann Arbor, 1982, с. 118.

[29] Белый Андрей. Ракурс к дневнику, л. 121 об.

[30] См.: Воронский А. Искусство видеть мир. Портреты. Статьи. М., 1987, с. 73—98.

части уже использованной в «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце», воссоздает картины московской жизни в предреволюционную эпоху, отчасти предвосхищающие тщательную реконструкцию этой жизни в «На рубеже двух столетий». В Кучине же Белый писал воспоминания о Рудольфе Штейнере, которые закончил в инваре 1929 г.[31]. Эта книга, в центре которой — восторженно выписанный образ духовного учителя Белого и воспоминания о жизни в Швейцарии в кругу антропософов, литературные портреты учеников и последователей Штейнера, писалась Белым «для себя» и для ближайшего круга «единоверцев», никаких надежд на ее опубликование он тогда не возлагал. По своей идейной тенденции, мемуарному методу и стилю воспоминания о Штейнере примыкают к «берлинской» редакции «Начала века» и в известной степени служат ее продолжением: в «Начале века» изложение событий прерывается на 1912 годе, в книге о Штейнере суммированы впечатления от жизни в Швейцарии в 1914—1916 гг. Хотя внешние обстоятельства и не благоприятствовали, Белый в 1920-е годы упорно продолжал работать над произведениими, резюмировавшими и переосмыслявшими накопленный жизненный опыт. В 1928 г. он написал большой автобиографический очерк, в котором — как бы вопреки современности — отстаивал свою концепцию символизма как синтетического философско-эстетического метода познания и творчества, анализировал собственную духовную эволюцию, со всей страстью вновь и вновь растолковывал свое идейное кредо в надежде когда-либо быть правильно понятым. Очерку Белый дал гордое и демонстративное по той поре заглавие: «Почему я стал символистом и почему *я* не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития». В 1920-е годы Белый создает также подробнейшие мемуарные своды («Материал к биографии», «Ракурс к дневнику» и др.), в которых с максимально возможной для ретроспективных записей хронологической точиостью регистрирует все хотя бы даже в малой степени значимые события своей жизни, отмечает встречи, знакомства, рассказывает о своей творческой работе, перечисляет наиболее значимые из прочитанных книг и т. д.; эти рукописные источники служили Белому, безусловно, незаменимым подспорьем при работе над мемуарной трилогией. Важные мемуарные свидетельства содержат также «Комментарии Бориса Бугаева к первым письмам (переписки) Блока к Бугаеву и Бугаева к Блоку», составлившиеся Белым в 1926 г.[32].

---

[31] См.: Белый Андрей. Воспоминания о Штейнере. Подготовка текста, предисловие и примечания Фредерика Козлика.Paris, 1982.

[32] См.: Cahiers du Monde russe et soviétique, 1974, vol. XV, № 1—2, p. 83—104 (публикация Жоржа Нива).

Вновь вопрос о публикации мемуаров Белого смог возникнуть только тогда, когда приговоры Троцкого, вынесенные «Воспоминаниям о Блоке», в ходе изменения политической ситуации в высших сферах власти, утратили свою директивную силу. Поднял этот вопрос Павел Николаевич Медведев, один из первых профессиональных исследователей русского символизма, особенно глубоко изучавший творчество А. Блока. 30 ноября 1928 г. он писал Белому: «Разумник Васильевич ⟨Иванов-Разумник⟩ сообщил мне, что Вы не возражали бы против издания «Ленотгизом» трех томов «Начала века». Я, со своей стороны, был бы чрезвычайно рад осуществить это издание. Таким образом, и Вы и Ленотгиз, как будто, сходятся в своих пожеланиях. Стремясь поскорее приступить к реализации этого начинания, очень прошу Вас, Борис Николаевич, прислать мне более или менее полный проспект Вашей работы и Ваши условия, как автора» [33].

Предложение Медведева не могло не взволновать Белого, но принять его он был не в силах. Одна из причин отказа была «внешнего» характера: у Белого попросту не было на руках полного текста его мемуарной книги. 10 декабря 1928 г. он отвечал Медведеву: *«Начало века»*, три тома коего написано, не имеет первого тома, отхваченного у меня за границей, уже набранного к моменту моего отъезда в 23⟨-м⟩ году, но — канувшего в Лету. С трудом выцарапал 2 тома (второй и третий) ⟨...⟩» [34]. По сей день утраченную часть этой мемуарной версии нигде обнаружить не удалось; в архивных фондах Андрея Белого хранится лишь рукопись (авторизованная машинопись с правкой) второй половины II тома и III тома (целиком) «берлинской» редакции «Начала века» [35]. Другая причина отказа проистекала из самого существа того, что было написано в этой книге. Достаточно хорошо представляя себе тогдашнее общее положение в литературе и трезво оценивая доминирующие в ней тенденции, Белый понимал, что мемуары «Начало века» в том виде, в каком они вышли из-под его пера в Берлине в 1922—1923 г., ныне не имеют прак-

---

[33] «Взгляд», с. 432.

[34] Там же, с. 431—432. Ср. более отчетливые сведения о судьбе «берлинской» редакции «Начала века» в составленном Белым списке написанных и ненапечатанных рукописей: «...были написаны лишь 3 тома, обнимающие от 70 до 75 печ. листов. Но и эти томы, долженствовавшие выйти в издательстве «Эпоха» (Берлин), постигла неудача. Первый том был набран в Берлине в 1923 году. Он существует в матрицах. Но вследствие *«краха»* издательства и перепродажи им рукописи другому издательству (уже после отъезда автора в Россию) у автора не осталось рукописи этого тома; при всем усилии вернуть ее, вследствие неряшливого отношенья *«наследников»* издательства *«Эпоха»* к праву автора, автору не удалось получить имевшихся гранок набора» (*ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 31).

[35] *ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 25—28; *ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 11—14.

тически никаких шансов на выход в свет. «В «Начале века»,— признавался он в этой связи в том же письме к Медведеву,— я старался писать исторически, зарисовы⟨ва⟩я людей, кружки, устремления, не мудрствуя и не деля людей на правых и виновных — такими, какими они были до 12-го года; и свои отношения к ним старался рисовать такими, какими они были в 12-ом году. Современность ставит требования «тенденциозности», а не «летописи»; после 17-го года ряд людей, мной описанных, попал за границу. В первоначальном плане «Начало века» должно было состоять из 5 томов в сто двадцать пять печ. листов (75 листов было написано); 3 тома рисовали историю литер⟨атурной⟩ культуры в живых деятелях до 12⟨-го⟩ года; 4-й том должен был быть посвящен тому, что я видел на западе и чему учился в эпоху 12—16⟨-го⟩ года. А пятый том — русской революции. Вернувшись в Россию, я увидел, что такого рода «объективные» труды никого не интересуют. И продолжать свое *«былое и думы»* — бросил» [36].

Медведева такое решение не удовлетворило. «Неужто «Начало века» останется под спудом?— писал он Белому 15 января 1929 г.— Говорю об этом с подлинной горечью, потому что представляю себе, какие это были бы замечательные книги. Вам, конечно, самому виднее, и я вполне понимаю всю основательность Вашей аргументации. Но все же, если «Началу века» суждено воплотиться, не забудьте о нас. По крайней мере я готов приложить все старания, чтобы эти книги увидели свет» [37]. И эти уговоры подействовали. «Получив Ваше письмо,— отвечал Белый Медведеву 20 января,— я стал размышлять, нельзя ли мне что-либо предпринять. Я стал думать о ракурсе-транскрипции,— перелицовки, так сказать, «тона» воспоминаний (эпически-объективного, «архивного», на взгляд из современности); и увидел, что мог бы быть такой ракурс ⟨...⟩; но это предполагает работу почти заново; материал, конечно, остается, но перетраспланировка глав, пересмотр фраза за фразой текста, наконец: переписка моею рукой,— все это взывает к такому количеству часов и дней, на которые у меня нет времени ⟨...⟩» [38]. Не берясь проделать в скором времени столь грандиозную работу, Белый предложил Медведеву новую книгу воспоминаний о «конце истекшего века, быте московской интеллигенции», отчасти компенсирующую утраченный I том «Начала века», которую он обещал написать в кратчайшие сроки. Так родился замысел воспоминаний «На рубеже двух столетий», первой части новой мемуарной серии.

Книга эта была написана очень быстро, экспромтом, и сам

---

[36] «Взгляд», с. 432.
[37] Там же, с. 435.
[38] Там же, с. 433—434.

Белый не относил ее к числу своих творческих достижений. Расценивая «На рубеже двух столетий» как «продукт допустимой «халтуры», он отмечал: «Иные хвалят меня за живость письма вопреки небрежности формы. Эти мемуары я *«писал»* в точном *смысле слова, т. е. строчил их и утром и вечером; работа над ними совпадает с временем написания*; мысль о художественном оформлении ни разу не подымалась; лишь мысль о правдивости воспоминаний меня волновала»[39]. Кое в чем эта суровая самооценка оправдана: в тексте книги сказываются сбивчивость изложения, длинноты и повторы, стилистические шероховатости (некоторые дефекты Белый исправил при подготовке второго издания). Однако определению «халтура» проделанная работа никак не соответствует — ни уровнем писательского мастерства, ни достигнутым художественным результатом. В известном смысле импровизационный характер, беглость и непринужденность мемуарного повествования, присущие этой книге, заключают в себе немалые достоинства; неприхотливость и безыскусность, возможно, в данном случае скорее отвечают воплощению творческой задачи, чем переутонченность и переусложненность, столь свойственные поздней прозе Белого. Найденная манера изложения, думается, наилучшим образом способствовала созданию замечательных литературных портретов Умова, Мензбира, Тимирязева, Анучина, Поливанова, многих других представителей московского ученого мира и культурно-общественных деятелей — а именно за обрисовку этих портретов отдавали дань силе и мастерству Белого даже те критики, которые не видели в его мемуарах других похвальных черт.

Принимаясь за работу над новой мемуарной версией, Белый гарантировал в письме к Медведеву «цензурность» будущего текста. Эти слова подразумевали прежде всего попытку рассказать о прошлом с позиций, диктуемых новой исторической эпохой. У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности подобных устремлений Белого: многие его произведения конца 1920-х — начала 1930-х гг., поступки и высказывания (в том числе и высказывания «не для печати») свидетельствуют о том, что писатель хотел выйти из своего символистского прошлого и найти общий язык с живой современностью, установить неформальные контакты с носителями нового, социалистического сознания, включиться в текущий литературный процесс как его полноправный участник, а не в виде некой реликтовой персоны. Д. Е. Максимов, побывавший у Белого в 1930 г., свидетельствует: «Он говорил тогда о постоянстве своего мировоззрения, о том, что и в новых условиях остается самим

[39] «Как мы пишем». Л., 1930, с. 10.

собой, сохраняет в себе свое «прежнее», весь опыт своего пути, ни от чего не отступая. Но вместе с тем он соединяет с «прежним» «новое», созревшее в нем за последнее время,— то, что сближает его с окружающим, с современностью. И он показал мне лежащую на столе машинописную рукопись своей книги «На рубеже двух столетий» и с наивной гордостью сказал, что в этой книге такое соединение ему удалось осуществить — и оно удовлетворяет издателей» [40].

Соединение «прежнего» и «нового» — при том, что объект художественного исследования в мемуарах не мог не оставаться сугубо «прежним»,— предполагало прежде всего изменение стилистики мемуарного изложения и введение новых оценочных и полемических характеристик. Официальная же «новизна» в оценке эпохи, взятой объектом мемуарной реставрации, для Белого оказывалась неприемлемой: это была по сути та же директивная догматическая схема, которую Троцкий использовал в разоблачительной статье о нем и которая в эпоху «великого перелома» не только не была отброшена, но окостенела, как истина в последней инстанции, и обжалованию не подлежала. Принципиальным идеологическим требованием, следование которому гарантировало книге «цензурность», было резко и однозначно критическое отношение к дореволюционной культуре господствовавших классов — а именно под эту рубрику попадали все, с кем Белый общался в детстве и юности; неприемлемым было сочувственное и даже нейтрально-безоценочное касание религиозно-философской, мистической, церковной проблематики, которая была неотрывно вплетена в систему духовных исканий писателя; наконец, характеристика лиц, оказавшихся в эмиграции, не имела права быть восторженной или хотя бы теплой и сочувственной, вне зависимости от того, о каком конкретном лице и о каких его качествах и деяниях шла речь. Преодолеть все эти сциллы и харибды Белый попытался путем повсеместного изменения мемуарного стиля — в том направлении, в каком он уже заметно преобразил свою писательскую манеру в романе «Москва», сделав преобладающими приемы гротеска и шаржа.

Шаржированное изображение своих современников в принципе не представляло собой только уступку Белого конъюнктурным требованиям. Подобный метод был для писателя органичным и постоянно им использовался; еще во второй половине 1900-х гг. Белый, согласно приведенному выше свидетельству Ходасевича, изображал представителей профессорской Москвы «с бешенством и комизмом». Шарж сильно сказывается и в «Крещеном китайце», и в «Воспоминаниях о Блоке» и «бер-

[40] Максимов Д. О том, как я видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки издали.— В его кн.: Русские поэты начала века. Л., 1986, с. 372.

линской» редакции «Начала века», где он, однако, гармонично сочетается с другими стилевыми приемами. При создании же книги «На рубеже двух столетий» и выдержанных в том же ключе «московской» редакции «Начала века» и «Между двух революций» этот прием в художественном инструментарии Белого становится наиболее предпочтительным, а в иных случаях и единственно приемлемым. При шаржированной обрисовке конкретные проявления духовности, присущей тому или иному историческому персонажу, заменялись внешними признаками душевности; всеохватывающий эксцентризм уравнивал, нивелировал поступки и высказывания самой различной семантики и модальности — шуточные и серьезные, значимые и пустяковые; идеология, общественная и политическая позиция, религиозные взгляды растворялись в иронически обрисованном быте, стилистике поведения, в форсированных внешних приметах человеческой индивидуальности. Для тех героев Белого, у кого сложилась сомнительная или одиозная репутация, такой прием изображения служил своего рода индульгенцией: вместо требуемого идеологического бичевания с пристрастием — затрагивающая всё и вся иронически-гротесковая стилистика, которая в силу своего заведомо снижающего эффекта дезавуирует проблему «серьезной» и «принципиальной» оценки и тем самым умышленно исполняет благоприобретенную миссию отпущения первородных грехов. В галерее многообразных шаржированных портретов, украшающих мемуарную трилогию, наблюдается, однако, и своя стилевая градация, позволяющая свести шаржи Белого к двум основным типам. Один из них — шарж разоблачительный, исполненный гнева и сарказма; к этому типу изображения Белый прибегает обычно, когда живописует глубоко несимпатичных ему людей (как, например, Лясковскую в «На рубеже двух столетий»). Другой — шарж лирико-патетический: специфика приема проявляется в том, что он не столько снижает, сколько юмористически оттеняет и обогащает, эмоционально окрашивает дорогую Белому фигуру — отца, Л. И. Поливанова, М. С. Соловьева, еще многих персонажей. Нельзя не отметить, что во второй и третьей книгах трилогии, где на авансцену выступают уже не профессора-позитивисты, а соратники по символистскому движению и представители «религиозного ренессанса», предпочтение Белым той или иной разновидности шаржевой манеры зачастую диктуется не реальностью пережитого и характером былых отношений, а оглядкой на идеологическую нетерпимость конца 20-х — начала 30-х гг.

Сам Белый в «Воспоминаниях о Блоке» лапидарно определил свой мемуарный метод: «Не Эккерман!» Новым Эккерманом, прилежно записывавшим высказывания Гете слово в слово, Бе-

лый не сумел бы стать даже при всем старании: «На расстоянии 18-ти лет невозможно запомнить текст речи; и — внешние линии мыслей закрыты туманами; я привирать не хочу; моя память — особенная; сосредоточена лишь на фоне былых разговоров; а тексты забыты; но жесты умолчания, управлявшего текстами, жесты былых изречений и мнений, прошедших меж нами,— запомнил; сочувствие помнится; так фотографии, снятые с жестов,— верны; а слова, обложившие жесты, «воззрения» Блока,— куда-то исчезли» [41]. Но «эккермановский» метод и в принципе не удовлетворяет Белого; по его убеждению, в «Разговорах с Гете» Эккермана нет «говорящего Гете», и поэтому в книге не отражен гений Гете: «...при записании двух томов не записал он главнейшего, третьего тома, рисующего словесные жесты у Гете; и оттого-то: у Эккермана нет Гете ⟨...⟩ везде — граммофон: голос Гете» [42].

Жест для Белого, подобно ритму,— одно из универсальных бытийных понятий, отличающих живую, самовыражающуюся и творящую субстанцию от мертвой, определившейся, исчерпавшей себя; в любой эмоции, мысли, во всяком поступке Белый интуитивно провидит прежде всего линию жеста, угадывает ее уникальное своеобразие и, узнав и пережив открывшееся ему через жест, составляет определенное понятийное представление о человеке или о явлении. Жест выявляется часто помимо слов, вопреки словам, в молчании, во всей совокупности видимых проявлений личности, многим из которых чаще всего не уделяется никакого внимания. Поэтому в воспоминаниях Белого о встречах с самыми различными замечательными людьми почти не прослеживается словесная ткань разговора, не звучит «граммофон», а воссоздается образно-эмоциональная аура этих разговоров; вместо связных речей собеседники Белого наделяются лишь словесными жестами, обрывочными фразами, зачастую несвязными, рудиментарными и в отрыве от мемуарной ткани несущественными; вместо синтетических описательных портретов и психологических характеристик акцентируется какая-то одна гипертрофированная черта облика и поведения. Такие особенности портретирования диктуются и спецификой памяти Белого, и в не меньшей мере особенностями его художественного мышления: недаром реальные исторические лица в его мемуарах так схожи по методу изображения с вымышленными персонажами его же романов. Н. А. Бердяев проницательно сопоставил приемы изображения мира и человека в романах Белого с техникой кубистской живописи: «Творчество А. Белого и есть кубизм в худо-

---

[41] Эпопея, № 1. М.— Берлин, 1922, с. 245.
[42] Т а м ж е, с. 247.

жественной прозе, по силе равный живописному кубизму Пикассо. И у А. Белого срываются цельные покровы мировой плоти, и для него нет уже цельных органических образов. Кубистический метод распластования всякого органического бытия применяет он к литературе»[43].

В воспоминаниях Белого с их субъективной оптикой, свободным и непредсказуемым отбором материала, переключением внимания на жест, интонацию, различные поведенческие нюансы, фиксируемые как форма опосредованного выражения онтологической сущности человека, также сказывается своего рода кубистический метод: подобно тому, как в кубистической картине сквозь видимый хаос проступают контуры фигур, разъятых на подвижные «молекулы» и аналитически воссозданных по законам фантазии, так и у Белого сквозь обрывки обиходных реплик, сумбур впечатлений, сюиту жестов и калейдоскоп деталей рождаются новые образы, претендующие на ту глубину, цельность и оригинальность, которых не способны дать ни «фотография», ни «граммофон». Далеко не всех устраивала такая манера изображения; в ней зачастую видели попытку дискредитации и даже оскорбления писателем своих современников[44], предполагали потаенные неблаговидные намерения, не задумываясь над тем, что в мемуарах Белого общий канон изображения в принципе не меняется в зависимости от авторской симпатии или антипатии к запечатленным им лицам.

Еще большее неприятие, чем приемы Белого в изображении реальных людей и жизненных обстоятельств, вызвали его попытки по-новому осветить литературный процесс первых десятилетий XX века и свое участие в нем. И если в первом случае у критиков Белого сказывалась по большей части эстетическая глухота, невосприимчивость к нетрадиционному опыту в мемуарном жанре, то в отношении опыта полемической переоценки общих представлений о символизме, его истории и теории, характере писательской деятельности Белого-символиста контраргументы оказывались в ряде случаев вполне обоснованными.

---

[43] Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918, с. 41.

[44] Показательны в этом отношении отзывы о «На рубеже двух столетий» двух видных представителей неонароднической критики, А. Б. Дермана и А. Г. Горнфельда. Первый в письме к Горнфельду от 20 февраля 1931 г. расценил книгу так: «Нечто единственное в своем роде по смеси талантливости, подхалимства и злобно-завистливой душевной мелкости. Завидует всем, даже Щепкиной-Куперник, и оплевывает даже тех, кого «любит», напр⟨имер⟩ Стороженку. Что-то беспримерное» (*ЦГАЛИ*, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 296); Горнфельд в ответном письме от 24 февраля выражал сходное мнение о книге: «Она ужасна мелкостью, жестокостью, глупостью, при всем ее великолепии» (*ГБЛ*, ф. 356, карт. 1, ед. хр. 22). Эти сведения любезно сообщены нам М. Г. Петровой.

Новизна новой мемуарной версии, в сравнении с прежней, в центре которой стоял Блок, воссозданный любовно и проникновенно, заключалась прежде всего в решительной переоценке этого образа. Тем, как был изображен Блок ранее, Белый к моменту начала работы над первой книгой трилогии был решительно недоволен. «Блок мне испортил «Начало века»,— писал он Медведеву 10 декабря 1928 г.— И если бы писал теперь, то писал — не так, да и Блока взял бы не так; эпически, а не лирически; этот «лирический» Блок «Начала века» и «Воспоминаний» мне очень *не* нравится: нельзя похоронное слово разгонять на ряд печатных листов. Это — остаток романтики; трезвая действительность требует корректива к Блоку, пути которого, как Вам, вероятно, известно, *мне чужды*» [45]. Определенным толчком к решению «переписать» «лирический» образ поэта послужило для Белого знакомство с опубликованными в 1928 г. дневниками Блока, глубоко его разочаровавшими. «Могу сказать кратко: читал — кричал! 〈...〉,— признавался Белый в письме к Иванову-Разумнику от 16 апреля 1928 г.— Крепко любил и люблю А. А., но в эдаком виде, каким он встает в 11—13 годах, я вынести его не могу 〈...〉 Если бы Блок исчерпывался б показанной картиной 〈...〉, то я должен бы был вернуть свой билет: билет «вспоминателя Блока»; должен бы был перечеркнуть свои *«Воспоминания о Блоке»* 〈...〉» [46].

Были ли более глубинные причины этой переоценки, трудно судить. Л. Флейшман полагает, что на нее повлияли также резкие высказывания Блока по адресу Белого, обнародованные в книге «Письма Александра Блока к родным» (1927), и в особенности наметившаяся в советской критике тенденция противопоставления Блока — поэта революции Белому — узнику мистицизма [47]. Это объяснение вполне правомерно, поскольку известно, что Белый воспринимал такой способ канонизации Блока весьма болезненно и в противовес ему пытался доказать, что именно Блок оставался безотчетным мистиком, а сам он сознательно шел к революции и пытался обосновывать научное мировоззрение [48]. Как бы то ни было, портрет Блока в мемуарной трилогии вполне соответствует ее стилевому регистру: поэт обрисован в иронической манере, зачастую приобретающей даже сатирическую окраску. Таким «реалистическим» Блоком Белый тоже остался не вполне удовлетворен: «Поскольку в «Эпопее» отбором служит надгробная память,— в ней романтический перелет; борясь

---

[45] «Взгляд», с. 432.
[46] *ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 19.
[47] Fleishman L. Bely's Memoirs, p. 229—230.
[48] См.: например: Белый Андрей. Ветер с Кавказа. Впечатления. М., 1928, с. 183—188.

с этим перелетом, я в желании зарисовать *натуру* Блока впадаю в стиль натурализма поздних голландцев ⟨...⟩ Может быть, в третьей переделке попаду в цель. Так: в «Начале века» считаю Брюсова удавшейся мне фигурой, а Блока — неудавшейся. Но было трудно: ведь Блока, «героя» «Воспоминаний», надо было вдвинуть в рой фигур, чтобы он не выпирал; и переработать, сообразуясь со стилем всей книги» [49].

Если в обрисовке Блока в мемуарной трилогии, а также многих других современников, Белый, по его меткой аттестации, впадал «в стиль натурализма поздних голландцев», то в идеологических характеристиках символизма, духовных исканий рубежа веков и собственной эволюции он пошел по другому пути обновления своей писательской палитры — в направлении поверхностной и достаточно примитивной социологизации, подобной той, которая тогда господствовала в советской «установочной» литературе. Все эти попытки Белого придать своим книгам привкус актуальности оказались неорганичными, беззащитными перед любой критикой и воспринимаются сейчас как безнадежная архаика и по сути своей нечто совершенно эфемерное, беспочвенное. Задача, которую старался выполнить Белый, была вполне объяснимой: он хотел реабилитировать символизм перед ниспровергателями, доказать, что это литературно-эстетическое направление было в своих устремлениях созвучным революции, а не пособничало реакции, что в орбите «нового искусства» оказывались мастера самых различных установок и судеб, к оценке которых требуется дифференцированный подход, что многое из того, что ныне клеймится бранным словом «мистицизм», на самом деле к мистицизму отношения не имеет, и т. д. Другое дело, что, осваивая новый для себя и внутренне чуждый метаязык, Белый, в свою очередь, совершал недопустимые перекосы, передержки, преувеличения и, наоборот, затушевывал или просто обходил вниманием то, что диссонировало с его доводами. Писатель наивно полагал, что переключиться в своей аргументации на диалектико-материалистические рельсы ему не составит труда и даже в увлечении бравировал этой своей «протеистичностью». В письме к Иванову-Разумнику от 9 февраля 1928 г. он оглашает свой вызов воображаемому оппоненту: «...если нам нельзя говорить на одну из наших тем,— подавайте нам любую из *ваших*: «социальный заказ»? Ладно: буду говорить о заказе. «Диалектический метод»? Ладно: вот вам — диалектический метод; и вы откусите язык от злости, увидав, что и на вашем языке мы можем вас садануть под микитки» [50].

---

[49] Письмо к Иванову-Разумнику от 2 января 1931 г.— *ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 22.

[50] *ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 19.

Белый не сдавал собственных позиций, как считали многие (в частности, в эмигрантской среде), он пытался, маневрируя, отстоять свою тему и защитить пройденный путь, понимая, что без известных компромиссов в обстановке агрессивно насаждаемого единомыслия ему не представится возможности работать в литературе. Однако Белый явно переоценивал свои силы: обвести вокруг пальца начетчиков и догматиков ему фатально не удавалось, тому не способствовали ни отсылки к авторитету Деборина, ни казуистические пассажи из отфильтрованных и переосмысленных цитат. Все эти приемы и старания никого не покорили; наоборот, они были в один голос расценены как беззастенчивая попытка доказать недоказуемое и разоблачены как замаскированное — и оттого особо опасное! — протаскивание «вражеской» идеологии. Критик Э. Блюм, например, апеллируя к одному из образных сопоставлений в «На рубеже двух столетий», призванных убедить в «посюстороннем» характере символистского «мистицизма», торжествующе восклицал: «Нет, глубокоуважаемый гражданин Белый, под зонтом, сотканным из подобных аргументов, вам не укрыться от «зрения» марксистской критики, перед которой вы так почтительно в книге расшаркиваетесь, перед которой вы пытаетесь расстилать любезные ей словечки, не умея все же скрыть своих ушей ⟨...⟩» [51]. Примечательно, что усилия Белого «модернизировать» свою биографию были в эмиграции расценены совершенно аналогичным образом и почти в тех же выражениях: «Попытка отмежеваться от символистов, создать себе единое лицо правоверного марксиста, которая составляет основной смысл книги «Между двух революций», встречает, как оправдания тургеневского Паклина, жесткий ответ: «шепчи, шепчи, не отшепчешься» [52].

Уже первый том мемуарной трилогии, в котором речь идет только о подступах к символизму, был встречен критикой в штыки и подвергся огульным обвинениям как книга «нам политически резко-враждебная», автор же ее был наделен обликом «скорпиона», «пронзительного и извивающегося, всегда готового ужалить в спину и никогда не принимающего боя в лоб» [53]. Вторая часть, «Начало века», в которой Белый рассказывает о первых годах своей писательской деятельности и о вхождении в круг символистов, создавая широчайшую панораму литературной жизни, не могла увидеть свет длительное время. Белый перерабатывал текст в соответствии с редакторскими наставления-

---

[51] Печать и революция, 1930, № 5—6, с. 120.

[52] Сазонова Ю. Андрей Белый.— Современные записки, т. LXVI. Париж, 1938, с. 418.

[53] Зелинский К. Профессорская Москва и ее критик.— В его кн.: Критические письма. М., 1932, с. 72—73.

ми, наводил критическую ретушь, заменил первоначальный вариант предисловия новым, «покаянным». Все эти усилия не могли существенно повлиять на судьбу книги. «...Я столько слышу о *«Н⟨ачале⟩ в⟨ека⟩»* противоположного в «Гихле»: *нецензурно, вполне цензурно, интересно, враждебно!* и т. д.»,— писал Белый 3 ноября 1931 г. В. П. Полонскому [54], видимо, еще не отдавая себе отчета в том, что амплитуда колебаний во мнениях, не приводящих к какой-либо определенности, уже отражает подспудно крепнущую общую тенденцию — поставить заслон всякому мемуарному мышлению, всякой памяти о прошлом, а уж тем паче отчетливой памяти о тех именах и явлениях, о которых повествовал Белый: по вступавшему в силу закону магии назвать — означало вызвать к жизни то, что обрекалось на забвение, что мешало созиданию новой мифологии. Критик и историк литературы Иванов-Разумник очень чутко подмечал эту общественную тенденцию, особенно беспощадную по отношению к символистскому литературному направлению, когда в 1934 г., констатируя уже прочное забвение Ф. Сологуба, с горькой прозорливостью предрекал: «Через немного времени та же судьба постигнет и Белого. Все это поколение, по слову Герцена, должно еще быть засыпано слоем навоза (об этом уж постараются!), занесено снегом, чтобы пустить зеленые ростки и воскреснуть вместе с весной» [55].

Вторая книга воспоминаний Белого вышла в свет только благодаря тому, что издательское предисловие к ней написал Л. Каменев (тогда еще не преданный анафеме). В этом предисловии без обиняков утверждалось, что весь период времени, описываемый в «Начале века», Белый проблуждал «на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы», что «литературно-художественная группа, описываемая Белым ⟨...⟩, есть продукт загнивания русской буржуазной культуры», что автор воспоминаний ничего существенного не видел, не слышал и не понимал в воссоздаваемой им эпохе [56].

В третьем томе, «Между двух революций», Белый остался верен своему, якобы спасительному, методу густого и тенденциозного ретуширования лиц и пережитого, доведения шаржа до карикатуры, которому он отдал столь щедрую дань в ходе создания и переработки новой версии «Начала века». В этом отношении мемуарные книги Белого, по тематике повернутые в прошлое, являются неотторжимыми памятниками той исторической

---

[54] «Перспектива-87. Советская литература сегодня». Сб. статей. М., 1988, с. 500 (публикация Т. В. Анчуговой).

[55] Письмо к В. Н. Ивановой от 28 января 1934 г.— *ИРЛИ*, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 200.

[56] См.: Белый Андрей. Начало века. М.— Л., 1933, с. III, XI, XIII – XIV.

эпохи, в которую они создавались, освещены отсветами того трагического времени. Иванов-Разумник, близко знавший и очень любивший и ценивший Белого, указывал, однако, на его «человеческие, слишком человеческие слабости», проявившиеся и при работе над воспоминаниями,— «недостаток мужества, приспособляемость» [57]. По мнению В. Ходасевича, третий том мемуаров «очень много дает для понимания самого Белого, еще больше — для понимания беловской психологии в предсмертный период, но по существу содержит неизмеримо больше вымысла, нежели правды» [58]. В этом суждении не учитывается, однако, что тяготение Белого к «вымыслу» в воспоминаниях было обусловлено отнюдь не только оглядкой на антисимволистскую литературную политику и стремлением найти общий язык с новой генерацией, но и отражало сущностные черты художественного метода автора, неизменно преследующего целью жизнетворческое преображение реальности. Характерно, что, идя на допустимые и недопустимые компромиссы, расставляя новые акценты в истории своей жизни, Белый нимало не утрачивает своего художественного мастерства. Даже Г. Адамович, не принимавший в целом мемуарной трилогии, считает нужным подчеркнуть, что Белый «ничуть не ослабел, как художник. Попадаются у него главы поистине ослепительные, полные какой-то дьявольской изобразительной силы и злобы» [59].

В стремлении внешне «революционизировать» символистское движение Белый прибегал в своих мемуарах к толкованиям, которые никого не могли убедить, не замечая, видимо, что в этих же трех книгах ему удалось продемонстрировать подлинно непреходящее значение той литературной школы, к которой он принадлежал. Белый показал, что ему и его ближайшим соратникам, «сочувственникам» и «совопросникам» первым открылось то, что оставалось еще за семью печатями для их сверстников, прилежно осваивавших культуру «отцов» и довольствовавшихся выученными мировоззрительными и эстетическими уроками; открылись — в мистифицированном, символико-метафизическом обличье — исчерпанность прежних убеждений и верований и катастрофизм надвигающейся эпохи. Белый остро ощущал время, чутко воспринимал симптомы будущего и во многом опередил его: подлинную реальность «не календарного, настоящего Двадцатого Века», наступившего позже, он внутренне готов был встретить по незапаздывающему календарю. Кризисная, пере-

---

[57] Письмо к В. Н. Ивановой от 28 января 1934 г.— *ИРЛИ*, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 200.

[58] Ходасевич В. От полуправды к неправде.— Возрождение (Париж), 1938, № 4133, 27 мая.

[59] Русские записки, 1938, № 5, с. 146.

ломная эпоха воссоздается в мемуарах Белого глазами одного из ее наиболее чутких, ярких и талантливых представителей. Писать историю русского символизма, строго следуя канве воспоминаний Андрея Белого, конечно, нельзя: ни позднейшая, ни более ранняя версия не окажутся для этого достаточно полным и надежным источником, хотя и обогатят эту историю многими немаловажными подробностями и неповторимыми деталями. Но мемуарные книги Белого содержат главное, без чего к осмыслению пережитого писателем времени и присущей ему общественной и духовной атмосферы подступаться нельзя: они зримо передают чувства исторического рубежа, сказавшегося во всех сферах жизни — социальной, психологической, эстетической; рубежа, прошедшего через личность автора и во многом определившего ее уникальный облик.

«Думается, что основная задача биографии в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении с временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей и каким образом, будучи художником, поэтом, писателем, он сумел все это вновь воссоздать для внешнего мира». Видимо, Белый мог бы для определения общей задачи своих мемуаров воспользоваться этой чеканной формулировкой Гете: [60] мир, постигаемый через историю индивидуальной жизни, сам обретает свою биографию, рассказ о судьбе человека становится новым словом о мире и новым пониманием мира.

А. В. Лавров

---

[60] Гете Иоганн Вольфганг. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969, с. 38–39. Перевод Натали Ман.

НА РУБЕЖЕ
ДВУХ СТОЛЕТИЙ

ВВЕДЕНИЕ

(Дети рубежа двух столетий: два поколения, два типа детей: сыны и «сынки»)

«На рубеже двух столетий» — заглавие книги моей, предваряет заглавие другой книги — «Начало века». Но имею ли право начать воспоминание о «начале», не предварив «рубежом» его? Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа; я в начале столетия — сформировавшийся юноша, уже студент с идеями, весьма знающий, куда чалить, — знающий, может быть, слишком твердо, ненужно твердо; именно в теме твердости испытывал я в начале столетия удары судеб.

Правота нашей твердости видится мне из двадцать девятого года скорее в решительном «нет», сказанном девятнадцатому столетию, чем в «да», сказанном двадцатому веку, который еще на три четверти впереди нас; он не дан; еще он загадан и нам, и последующим поколениям.

Но кто «мы»?

«Мы» — сверстники, некогда одинаково противопоставленные «концу века»; наше «нет» брошено на рубеже двух столетий — отцам; гипотетичны и зыблемы оказались прогнозы о будущем, нам предстоявшем, в линии выявления его: от 1901 года до нынешних дней; «наша», некогда единая линия ныне в раздробе себя продолжает; она изветвилась; и «мы» оказались в различнейших лагерях; все программы о «да» оказались разорванными в ряде фракций, в партийности, в осознании подаваемого материала эпохи; когда перешли мы «рубеж» и он стал удаляться перед вытягивающимся началом столетия, то каждое пятилетье его нам рождало загадки, вещавшие, как сфинкс: «Разреши».

Мы — юноши, встретившиеся в начале столетия, и те немногие «старшие», не принявшие лозунгов наших отцов, и одиночки, боровшиеся против штампов, в которых держали нас; в слагавшихся кадрах детей рубежа идеология

имела не первенствующее значение; стиль мироощущения доминировал над абстрактною догмою; мы встречались под разными флагами; знамя, объединявшее нас,— отрицание бытия, нас сложившего; и — борьба с бытом; этот быт оказался уже нами выверенным; и ему было сказано твердое «нет».

В конце прошлого века сидим «мы» в подполье; в начале столетия выползаем на свет; завязываются знакомства, общения с соподпольщиками; о которых вчера еще и не подозревали мы, что таились они где-то рядом; а мы их не видели; новое общение обрастает каждого из нас; появляются квартирки, кружочки, к которым ведут протоптанные стези,— одинокие тропки среди сугробов непонимания; у каждого из непонятых оказывается редкое местечко, где его понимают; и каждый, убегая от вчерашнего домашнего, но уже чужого очага, развивает с особой интимностью культ нового очага; относительно первого хорошо сказал Блок: «Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага!.. Радость остыла, потухли очаги... Двери открыты на вьюжную площадь». («Безвременье. I. Очаг».)[1] О другом, новом для меня очаге, я писал:

Следя перемокревшим снегом,
Озябший, заметенный весь,
Бывало, я звонился здесь
Отдаться пиршественным негам[2].

Не прошло и пяти лет, как эти «чайные столы», за которыми мы отдыхали, изгнанные отовсюду, стали кружками, салонами, редакциями, книгоиздательствами,— сперва для «немногих», таких, как и мы,— недовольных и изгнанных бытом; крепла тенденция к иному быту, иному искусству, иной общественности среди нас; так вчерашний продукт разложения интеллигентных верхов стал организовываться в лаборатории выявления нового быта; так вчера названные декаденты ответили тем, что стали доказывать: «декадентами» произведены они в «декаденты». И появилось тогда крылатое слово «символизм»; продукт разложения в эпоху 1901—1910 годов проявил устойчивость, твердость и волю к жизни; вместо того, чтобы доразложиться, он стал слагаться и бить превышавших и количеством и авторитетом врагов: «отцов»; мы иной раз удивлялись и сами силе натиска; в подполье мы сидели ведь сложа руки; это сидение нас в подполье в эпоху 1895—1900 годов оказалось впоследствии закалом и выдержкой, которой часто нечего было противопоставить; мы

напали на вчерашнее «сегодня», душившее нас одновременно и с фланга, и с тыла; били по нему не только нашим «завтра», но иногда и «позавчера»; тот факт, что мы были органически выдавлены из нас воспитавшего быта, оказался силою нашею в том смысле, что наши «лозунги» нашими отцами не были изучены; и когда били по нас, то били мимо нас, а мы, просидев в плену у того быта, который отвергли, изучили его насквозь: в замашках, в идеологии, в литературе; и когда с нами спорили о поэзии, то оказывалось, что спорившие не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона, Бодлера и прочих «проклятых» [3], ни Гете, ни даже Пушкина; а когда мы оспаривали Милля и Спенсера[4], то оспаривали мы то, что многие из нас изучили скрупулезно.

Все это не могло не сказаться в том, что полуразрушенные бытом отцов дети рубежа до конца разрушили быт отцов, казавшихся такими твердокаменными и крепкими; кариатиды что-то уж слишком быстро рассыпались в порошок или покрылись мохом; а неказистые, с виду хилые, отнюдь не кариатиды, мы, именно поскольку мы были не твердыми, но текучими, протекли в твердыни, защищаемые против нас. Волей к переоценке и убежденностью в правоте нашей критики были сильны мы в то время; и эта критика наша быта отцов начертала нам схемы иных форм быта; она же продиктовала интерес к тем образам прошлого, которые были заштампованы прохожею визою поколения семидесятников и восьмидесятников; они не учли Фета, Тютчева, Боратынского; мы их открывали в пику отцам; в нашем тогдашнем футуризме надо искать корней к нашим пассеистическим экскурсам и к всевозможным реставрациям; иное «назад» приветствовали мы, как «вперед» из нашей тогдашней революционной тактики обходного движения; мы, не разделяя позиции Канта, но еще более ненавидя «ползучий эмпиризм» (кажется, выражение Ленина)[5], в пику Стюарту Миллю тактически поддерживали лозунги «назад к Канту», «назад к Ньютону» от крайностей механицизма, которым были полны и который иные из нас изучали специально; мы выдвигали диалектику, динамику, квалитатизм, Гераклита против стылых норм элейского бытия, статики и исключительности квантитатизма;[6] и уже со всею решительностью провозглашали «назад к Пушкину» от... Надсона и... Скабичевского; и даже «назад к Марксу и Энгельсу» от... Максима Максимовича Ковалевского и всяческого «янжулизма»;[7] так: в 1907 году я писал: «О, если бы вы, Иван

Иванович, познакомились хотя бы с механическим мировоззрением, прочли бы химию... О, если бы вы разучили... эрфуртскую программу» («Арабески», стр. 341)[8]. Нам предлагались когда-то: не Маркс, а — Кареев, не Кант и Гегель для исторического изучения становления логики, диалектики и методологии, а... «История философии» Льюиса[9] вместе с пошлятиной французской описательной психологии, а нас уже в гимназическом возрасте воротило от Смайльсов, которыми в отрочестве перечитались и мы; некогда мы готовы были согласиться на что угодно: на Ницше, на Уайльда, даже... на Якова Беме, только бы нас освободили от Скабичевского, Кареева и Алексея Веселовского; и мы, покажи нам Рублева, конечно же схватились бы за него, чтобы отойти от впечатлений художества Константина Маковского, нам подставленного; наши «пассеистические» уроки отцам имели такой смысл: «Вы нас упрекаете в беспринципном новаторстве, в разрушенье устоев и догматов вечной музейной культуры; хороше же,— будем «за» это все; но тогда подавайте настроенный строй,— не прокисший устой, не штамп, а стиль, продуманный заново, не скепсис, а — критицизм; отдайте нам ваши музеи, мы их сохраним, вынеся из них Клеверов и внеся Рублевых и Врубелей».

Мы, недовольные разных мастей, пересекались твердо на «нет», которое было выношено жизнью.

Теперь — эпоха опубликования всякого рода дневников; сошлюсь на них для иллюстрации своей мысли.

Вот — «Дневник» Блока:[10] какая ирония по отношению к штампу ходячего либерализма; и в Цицероне провидит впоследствии он хорошо изученный образ «кадета»;[11] все это сквозит в нем еще в 1912—1913 годах; говорю «еще»; подчеркиваю: «не уже»; принято объяснять Блока, как пришедшего к критике обставшего быта; а надо брать Блока, как исшедшего из этой критики еще в эпоху «Ante Lucem»;[12] он мог ошибаться в оформлении своих консеквенций[13] критики; но критика быта — основное в нем; то именно, что его сделало для «отцов» «декадентом»; дневники Блока — под знаком «еще»; не «уже» Блок трезвеет, а «еще» не может забыть чего-то, что некогда отделило его весьма от других. Другой пример: «Из моей жизни» Валерия Брюсова;[14] та же горечь выдавленности из быта и ощущение своей потерянности в нем.

Люди, подобные Брюсову, Блоку, мне, лишь позднее связавшиеся в попытках оформить свое культурное «credo», до встречи друг с другом уже были тверды, как сталь,

в отношении к вчерашнему дню; и эта сталь стала нам лезвием отреза от конца века; не тогда стал Брюсов декадентом, когда напечатал «О, закрой свои бледные ноги»[15], а тогда, когда изучал Спинозу в Поливановской гимназии[16] и в эти же месяцы отметил в дневнике неизбежность для него быть символистом;[17] а я стал изгоем профессорской среды не по указу «Русских Ведомостей» 1902 года[18], а тогда уже им был, когда в 1897 году товарищи показывали на меня учителю: «А Бугаев-то у нас — декадент». Подлинные дневники тогда именно и писались: в душе.

И позднее, встретившись, мы спорили о весьма многом: о значении французского символизма, не слишком значительного для нас с Блоком и значительного для Брюсова, о значении Ницше, ценимого мной и не слишком еще ценимого Блоком [19], и т. д.; но мы никогда не спорили о том, имеют ли значение фразы Гольцева, И. И. Иванова и Алексея Веселовского; и еще: не соглашаясь ни в чем с Константином Леонтьевым, мы предпочитали читать его, чем... Кареева. Таковы были мы.

Чтобы стало наглядно, кем мы никогда не были,— возьмите воспоминания Т. Л. Щепкиной-Куперник «Дни моей жизни»; все то, перед чем трепещет она, уже не существовало для нас; с какой любовью описывает она «марийствование» в «Русских Ведомостях» Соболевского, Игнатова[20], занимавшихся лет двенадцать специальным утопленьем нас в море презрения; прочитайте трепет, с которым описывается Виктор Александрович Гольцев (стр. 291); или: с каким уважением приводится мнение Стороженки о ее произведениях;[21] я, выросший в квартире у Стороженок и наглядевшийся на «почтенного» Николая Ильича двадцать пять лет, уже в 1896 году знал: Стороженко в искусстве ничего не смыслит; и спрашивать мнения у сего московского «льва» не согласился бы ни за какие блага. Я никого не критикую (каждому своя дорога); я лишь указываю, кем мы не были.

Да и сами почтенные «старцы»,— вчитайтесь, как они нежны с «Танечкой»; добрый Гольцев брюзжит-брюзжит, да и разразится вдруг о гениальной писательнице: «А малиновка все пела! Боги Греции, как она пела!..»[22] Хочется экспромтом уехать с Яворской на запад,— денег нет; а Саблин — тут как тут: «А на что же существуют авансы»[23]. И по щучьему веленью доброго «папаши»: и деньги, и паспорт; помню, как Н. И. Стороженко нас, подростков,

стремящихся к сцене, все пичкал водевильчиками гениальной Танечки, а я... хотя был гимназистом, сбежал от сладости роли первого любовника, которую мне подсунули.

Впечатление от «Дней моей жизни»: трогательное почитание юной Танечкой «старцев»; и еще большая нежность старцев к «Танечке»; что ни пикнет, все триумфально несется в редакцию; между тем эти столь нежные к «Тане» отцы,— с какою жестокою неумолимостью они именно и душили нас: Блок — идиот; Брюсов — махровый нахал и бездарность; я — и идиот, и нахал. Марксисты не выказали по отношению к нам и одной сотой той лютости, какую мы испытали от этих нежных старцев; марксисты наводили критику; либералы — сводили счеты.

«Танечка» же была своя «девочка».

А «Боренька», я,— стал предателем; и жест «старцев» в отношении ко мне после незадачливого моего «Открытого письма к либералам и консерваторам» (1903 год)[24] напоминал воистину страшную месть; и она тотчас же началась — на государственном экзамене[25], где меня силились провалить не за незнание предмета, а за «Письмо»; и эта «месть» мне сопровождала меня по годам; Брюсова не травили так, потому что он и не был «Валенькой»; а я, Андрей Белый, я именно «Боренькой» — был: сидел на коленях Льва Толстого; и кормили меня конфектами и Буслаев, и Янжул; профессора позднее кивали мне о возможности при них остаться; восхитись я ими, как «Танечка», и мои бы «пики» печатались «Русской Мыслью» еще в конце века: ведь печатался же двенадцатилетний Юрочка Веселовский; ведь справил же во «время оно» он свой десятилетний юбилей!

А я?..

«Боренька» напечатал «Симфонию»[26].

Со следами уже старинного скандала, происшедшего двадцать семь лет тому назад, мне и теперь приходится встречаться, когда я попадаю в сохранившиеся чудом, в погребах, остатки того быта, который доминировал в конце века.

Но скандал, стрясшийся надо мною в 1902 году, когда мне было уже двадцать один год,— зрел не менее пятнадцати лет в моей сознательной, подпольной жизни; в это время к «Бореньке» относились преласково, потому что «Боренька» таил критическую работу своего сознания; он обглядывал быт верхов ученой интеллигенции, среди ко-

торой встречались имена европейской известности (были и люди крупного размаха в разрезе личной жизни); но социальный уровень коллектива, средняя его, был потрясающе низок, ниже даже других бытов, не имевших к науке прямого отношения; он строился на бытике квартирок, не управляемых последним словом науки, в нем раздававшемся; нет, часто вопреки этому слову он обставлялся знаками тирании той или иной грибоедовской «княгини Марьи Алексеевны»[27], перед которой лебезил рой парок-профессорш и вытягивал за шиворот своих маститых мужей, дабы и они, привстав на цыпочки, в таком виде шли на поклон к «тирану».

И если вера иных из светил гуманности и прогресса была именно верой в прогресс, то фактически выявлялась вера в ином лозунге: «Верую в кошку серую».

И какой-нибудь серой, ободранной кошке, устанавливающей каноны квартирок, неслися с трепетом всякие дани.

Статика, предвзятость, рутина, пошлость, ограниченность кругозора,— вот что я вынес на рубеже двух столетий из быта жизни среднего московского профессора; и в средней средних растворялось не среднее.

Сколько слов о добром и вечном сыпалось вокруг меня; сеялись семена; я ими был засыпан. Среди кого я рос? У кого сидел на коленях? У Максима Ковалевского: сидел, и поражался мягкостью его живота; и я игрывал... под животом Янжула; Жуковский, Павлов, Усов, Стороженко, Анучин, Веселовский, Иванюков, Троицкий, Грот, Умов, Горожанкин, Зернов и прочие, прочие, прочие из стаи славной роились вокруг меня; не быт, а — «кладовая» с семенными мешками; но я, будучи «Боренькой», никак не мог развязать этих туго набитых семенами мешков; и весь перемазался пылью, их покрывающей; и эта пыль — быт квартир, в которых держались мешки с семенами; пыль была ужасна; «Танечке» на расстоянии подавалась горсточка зернышек; поживи она в кладовых, где держалось зерно, она, вероятно, не осталась бы... «Танечкой».

В недрах этих кладовых и был врублен в меня рубеж двух столетий, проведший грань между Танечкой, которую увел... от начала века Виктор Александрович Гольцев, и мною, без Виктора Александровича, под кривою улыбкою Виктора Александровича, этот рубеж переступившим. Скажу заранее: 1901 год, первый год новой эры, встречали, как новый, весьма немногие; для нас с Блоком он открыл

эру зари, то есть радостного ожидания, ожидания размаха событий; большинство встретили этот год обычным аллегорическим завитком пожелания новогоднего счастья; щелкнула ровно в двенадцать бутылка шампанского; и — все; чего же еще?

Будущее виделось весьма неясно:

> Весь горизонт в огне. И ясен нестерпимо[28].

Так писал А. Блок.

И я писал в этом же году, еще не имея никакого ясного представления о бытии Блока: «Разве я не вижу, что все мы летим куда-то с головокружительной быстротой» («Симфония»)[29]. И в последних днях улетающего столетия я написал последнюю фразу «Северной симфонии», повернутую к новому веку: «Ударил серебряный колокол»[30]. Для одних щелкала пробка шампанского, как и в прошлом году; другие слышали удар колокола; и гадали, о чем удар; это могли быть и звуки пожарного набата, и звуки марша; о содержаниях звуков гадали мы; наше «да» ведь не имело эмпирики; мы сходились в одном, что кризис — небывалый; и небывалость его протекает в совершенной тишине; в чем кризис? Социал-демократ мог ответить: «Скоро обнаружится социальная действительность, и сорвется фиговый листик с режима благополучия». Философ культуры мог ответить: «Гибель европейской буржуазной культуры». Философ мог сказать так: «Кризис теорий об однолинейном, прямолинейном прогрессе». Кто иной мог неопределенно сказать: «Конец эпохи»; а мистик мог заострить этот конец в конец мира вообще. Гадание о форме кризиса надо отличать от вопроса о наличии кризиса; это наличие для нас, детей рубежа, было эмпирикой переживаемого опыта; а вопрос о формах выявления его в начале века был загадан; и загаданность эту не закрепляли мы в непреложные догмы, а выдвигали ряд рабочих гипотез; утверждали: либо *то*, либо *это*. Так и в моей детской «Симфонии» изображены люди, по-разному констатирующие кризис; в «Симфонии» вы не найдете непререкаемого: непременно — то-то, а не *это*; для одних: «Ждали *утешителя*, а надвигался *мститель*» («Симфония»)[31]. Для других: «На востоке не ужасались; тут... наблюдалось счастливое волнение...» Для иных: «Погребали Европу осенним пасмурным днем» («Симфония»)[32]. Под всеми этими образами, по-разному рисовавшими кризис, был подан кризис; и в ответ на тему этого кризиса отвечали отцы так, как это изображено в «Симфо-

нии» же: «Во всеоружии точных знаний они могли бы дать отпор всевозможным выдумкам... Но они предпочитают мрак... Какое отсутствие честности в этом кривлянье...» На что другой учёный, побойчей, отвечает: «Дифференциация и интеграция Спенсера обнимает лишь формальную сторону явлений жизни, допуская иные толкования... Ведь никто... не имеет сказать против эволюционной непрерывности. Дело идет лишь об искании смысла этой эволюции» («Симфония»)[33].

Я неспроста привожу эти цитаты: рисуя рой катастрофических чудаков, мистиков и не-мистиков, являющих кризис, я не сливаюсь с каждым из них, противополагая им отцов, рассуждающих о Спенсере; один из профессоров — «отец» во всех смыслах; другой,— унюхавший завтрашнюю моду на чудаков и заранее строящий мосточек фразою о многообразии истолкования явлений эволюции; завтрашние теории многообразий опыта и были такими попытками не отрезаться от моды, сохраняя связь со «славными» традициями вчерашнего дня. Вспомните, что автор «Симфонии» — юноша, студент-естественник, работающий в лаборатории по органической химии и ведущий двоякого рода разговоры: и с товарищами экстремистами, проповедующими, что «все мы летим куда-то»; и с приличными, блюдущими традиции приват-доцентиками; и тогда вам станет ясно: совсем не важно, стоит ли он за разверстые небеса, или за допущение многообразия истолкований Спенсера; ясно одно, что он Спенсера и Милля читал с той же внимательностью, как и Ницше, и «Апокалипсис»; иначе не выбрал бы он героями чудаков, которые «окончили по крайней мере на двух факультетах и уж ничему на свете не удивлялись». И далее: «Все это были люди высшей «многострунной» культуры» («Симфония»)[34]. Ясно, автор изображает на рубеже столетий людей рубежа, несущих в душе ножницы двух борющихся эр: революционной, катастрофической с эволюционной, благополучной. И недаром вместо предисловия автор пишет: «Произведение это имеет три смысла»[35]. Стало быть: оно несет в себе проблему многообразия истолкований.

Откуда это многообразие?

И здесь следует зарубить на носу всем почтенным академическим оформителям нас теперь, через двадцать семь лет после появления скандальной «Симфонии», что за двадцать семь лет оформления нас они не оформили в нас того, что мы сами в себе оформили двадцать семь лет на-

зад; и не только оформили, но и напечатали оформление черным по белому: «*Произведение имеет три смысла*»; то есть *ни одно из трех гипотетических толкований не может быть взято догмою*, ибо метафизических догм не было уже у нас двадцать семь лет тому назад; и если с одной стороны выпирает явная «мистика» Мусатова (героя «Симфонии»), то она тут же так осмеяна, что бедный Игнатов счел «Симфонию» пародией на мистицизм, о чем и оповестил в «Русских Ведомостях» в 1902 году:[36] к сведению пишущим о нас в 1929 году.

Дело в том, что мы не любили Спенсера; и в пику Спенсеру порою рука протягивалась к Беме; но более всего не любили мы метафизической догматики; и когда той или иной догматикой символизировали нечто, то всякая догматика в наших руках превращалась в гипотезу оформления момента; *и* — на момент; и едва вложив в психологию героя фразу «Звук рога явственно пронесся над Москвой» (зто ли не «мистика»?), как: «Мистические выходки озлобили печать... либералы, народники... разгромили своих противников... Одна статья обратила на себя внимание... она была озаглавлена: «Мистицизм и физиология»... И мистики не нашлись, что возражать» («Симфония»)[37]. Так как мы не хотели быть и двадцать семь лет назад унтер-офицершей Пошлепкиной[38], то, не правда ли, отсюда рождается какая-то проблема для корректива уличения нас в «мистике» по прямому проводу?

Дело в том, что и Ницше, и Соловьева, и Спенсера, и Канта брали мы в круг своего рассмотрения, но ни Ницше, ни Соловьев, ни Спенсер, ни Кант не были нашими догматами, ибо самое наше мировоззрение строилось под боевым кличем: рушить догматы; но мы не отказывались ни от Ницше, ни от Соловьева в ряде оформлений, как от гипотез, условных и временных; и мы не боялись слов, ибо слова не были для нас жупелами; Спенсер? Давайте терминологию с «дифференциацией», «интеграцией», но... допуская «толкования»; София — так София, а там посмотрим: в смысле ли четвертой ипостаси, исторического символизма, поэтических сонетов, проблемы хозяйства (написаны же два тома на тему «София» как... «хозяйство»)[39], культуры *или* идеи человечества в духе позитивиста Конта; мы никогда не были «словесниками», фетишистами слова как такового[40], а именно диалектиками смыслов, то есть символистами; о том, что в основе символизма лежит диалектика преломления методологических смыслов, писал я неоднократно; но иные из истолковате-

лей не книги мои читали, а ими духовно созерцаемые фиги.

Градация рабочих гипотез, мобилизованная нами в начале века для оформления нашего гипотетического «да», не меняла изведанной нами эмпирики, за которую мы держались твердо; и эта эмпирика — измеренность и взвешенность того бытика, который не мог не рухнуть в бездну; и он — рухнул; как бы вы, товарищи профессора, ни чтили традиций, выведших вас в люди отцами вашими, восьмидесятниками, и как бы вы ни подчеркивали мистичность нашего чувства кризиса,— кризис был; и о нем до него сказали не вы, ибо вы его просмотрели в свое время вместе с Виктором Александровичем Гольцевым, Стороженкою и «паинькой» Щепкиной-Куперник.

Остальное-с — детали!

Именно я изучил изжитость профессорской квартирочки, поднесенной мне, профессорскому сынку; и не паинька «Танечка», а «бяка» Боренька испытывал всю железность пяты, давящей профессорскую квартиру,— для меня: прюнелевого башмака Марии Ивановны Лясковской, о чем ниже; и уже пятиклассником я знал: жизнь славной квартиры — провалится; провалится и искусство, прославляемое этой квартирою: с Мачтетом и Потапенкой, с Клевером и Константином Маковским, с академиком Беклемишевым и с Надсоном вместо Пушкина; еще более оскандалится общественность этой квартиры, редко приподнятая над правым кадетизмом.

Разве мы не были правы? И разве нас надо ругать за «нюх»? Понятие «нюха» — эмпирическое, а не мистическое: «нюх» к туче при безоблачном, видимо, небе (а таким оно представлялось из окон квартир) лишал нас, правда, возможности охарактеризовать ее цвет, форму и т. д.; и отсюда-то эмблематика в экспозиции наших гипотез в 1899, 1900 и 1901 годах.

Если б мы были мистиками в том смысле, в каком нас изображали потом, а не... «и диалектиками», надо было бы видеть в нашем юношеском кружке «Арго» материалистическую эмпирику и ждать, что мы, наняв барку в Одессе, поплывем к устью реки Риона за отыскиванием пресловутого барана;[41] все знали: барана мы не искали и в Кутаис не ездили, а сидели в Москве: Эллис изучал Маркса, а я — Гельмгольца. Так почему же в другом отношении делается вид, что мы-то именно и искали «золоторунных барашков»? И кем делается этот вид? Чаще всего профессором литературы: нас уличает наш «нюх» к кризису: воздух,

видите ли, нюхал в 1901 году; не «мистик» ли? Прием, каким «используют» нас, как только «мистиков». Я демонстрирую; берется, скажем, беспомощно-детское двустишие:

Сердце вещее радостно чует
Призрак близкой *священной* войны[42].

Попался: стоит слово «священной»; и — начинаются разговоры «о трансцендентной реальности». Будь я критиком-диалектиком, я написал бы следующее: «Автор, верно предугадывая близость небывалого размаха войн (мировой и классовой), ощущает величие размаха и наделяет его эпитетом «священный»; важно то, что он радостно рвется в бой, а не то, что он ошибается в определении характера войн, внешне еще не разразившихся перед ним; оторванный бытом тогдашних представителей общественности, умеренных конституционалистов, от живого изучения социальных явлений, он допускает аллегорическое понятие; но если мы будем преследовать аллегории, то мы должны бы и выражение «жрец» науки, «храм» науки считать чистейшею мистикой».

Так написал бы критик с диалектическим подходом к истолкованию стилистики выражений.

И подчеркнулось бы: автор стоит на рубеже двух эр; одна — миновала; другой — еще нет; и пробел неизбежно заполняем не догматами, а серией рабочих гипотез.

В 1900—1901 годах мы подошли к *рубежу* с твердым знаньем, что рубеж — Рубикон, ибо сами мы были — рубеж, выросший из недр конца века; но нас было мало, а «их» было много; мы были юны; и мы были лишены: традиций, покровительства, авторитета власти; и пока «Боренька», тайком от родителей, уже скрипел пером и прятал стишок под увесистый том «Истории индуктивных наук» Уэвеля[43], «Танечка» заливалась малиновкой в редакции «Русских Ведомостей», а у нас за стеной, у Янжулов, читал чтимый Янжулами Мачтет: на его чтения собирались седые, волосатые старцы; ряд же современников, сверстников, тоже «профессорских сынков», не отличавшихся никакими «нюхами», покорно внимали «папашам»; иные из них и стали в нынешние годы нашими истолкователями[44].

Да, мы — мистики; крестьянин тоже мистик, когда у него — «свербит в пояснице» и он утверждает: быть грозе. Почему бы не подойти к многому в наших образах с критерием метеорологии; я вот пять лет не пропустил ни

одного заката; и так изучил колориты закатов 1900, 1901, 1902, 1903 годов, что на картинных выставках определял безошибочно год написания пейзажа, если он изображал закат; Вячеслав Иванов даже звал в шутку меня «закатологом»; мотайте на ус, критик[45], «закатологией» не занимавшийся; у вас огромный материал к уличению меня в мистике; хотя бы: термин «эпоха зари» — мой [46]. А что, если я вам объясню, что эпоха эта помимо мистического объяснения имеет и метеорологическое: после извержения Мартиники (в 1902 году)[47] пепел, рассеявшись в атмосфере, окрашивал зори совершенно особенно; и метеорологи это знали, и наблюдатели природы знали; и те, кто, как я, в эти годы работал у метеоролога Лейста и у физического географа Анучина.

Есть люди, не чувствующие перемены погоды; они руководствуются зрением: туч — нет; идут без зонта; и — возвращаются промокшими; «мистики», у которых «свербит поясница»,— те знают: когда надо брать зонт, когда нет.

Вот разговор на рубеже века между детьми «рубежа» и детьми «конца века»:

— Горизонт ясен.

— Будет ливень.

— Мистика!

— Берите зонт.

— Пойду без зонта.

— Промокнете.

— Позвольте, откуда вы знаете?

— Свербит в пояснице...

— Но тучи нет.

— Ее нет, а в пояснице моей сидит она.

— Что за чепуха: вы мистик.

— Я — символист: у меня органы чувств — измерительные аппараты.

Вот резюме разговора, длившегося годами меж «ними» и «нами».

Теперь видно уже: профессор, вышедший гулять без зонта к «Константинополю и проливам»[48], оказался мокрым; теперь он сводит счеты с символистом, его предупреждавшим двадцать девять тому лет назад о том, что на благополучиях спенсеровской эволюции больших прогулок нельзя строить; в ответ на что «профессор» вырезывает из детского двустишия слово «священный» и — забывая, что и он «священный», как «жрец» науки,— доносит на сим-

волиста, которому казалась смешна идеология «тверских земств», долженствующих навеки облагодетельствовать Россию конституционным строем.

В 1898—1901 годах мы знали твердо: идет гроза; будет и гром; но будут и ослепительные зори: зори в грозе.

Это было знанием рубежа, ставшего в первых годах начала столетия «нюхом»; но «нюх», «инстинкт» в иных случаях есть приобретенный навык: рядом упражнений в разгляде реальных фактов.

Задание этой книги: в образах биографии, в картинах быта, обставшего детство, отрочество и юность, показать, как в «Бореньке», взятом на колени маститостью, на этих мягких коленях сложилось жесткое слово о рубеже, в результате которого его сошвырнули с колен и перед ним захлопнулись двери, куда была внесена на ручках настоящая паинька, Т. Л. Щепкина-Куперник.

«Боги Греции, как она поет!»

В данной книге я хотел бы элиминировать идеологию; идеология юноши будет взята мною «постольку, поскольку»: как симптоматика, как эмпирический процесс вываривания каких-то там «нюхов» о дождях и прочем, в результате которых столь многие, промокнув, приняли образ... мокрых куриц. Постараюсь, где нужно, не щадить и себя.

Глава первая

МАТЕМАТИК

1. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БУГАЕВ

Когда поворачиваюсь на далекое прошлое, то неким веяньем, как бы из подсознанья, сквозь образы, мне заслоняющие первые образы воспоминаний, их все упразднив,— поднимается тьма; силюсь в ней что-то высмотреть, силюсь довспомнить начальные прорези самосознания: сил не хватает. Тогда-то из бездн темноты мне выкидывается лишь образ отца.

Его влияние огромно: в согласиях, в несогласиях, в резких мировоззрительных схватках и в жесте таимой, горячей любви он пронизывал меня действенно; совпаденье во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался — в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем.

В детстве:

— «Откинется: весь подобрев, просияет, и тихо сидит; в большой нежности,— так: ни с того ни с сего: большеголовый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, припадая на правый на бок как-то косо опущенным плечиком; и... засунувши кисти совсем успокоенных рук под манжетом к себе; накричался; и — тихо сидит, в большой нежности,— так, ни с того ни с сего; улыбается ясно, тишайше: себе и всему, что ни есть» («Крещеный Китаец», стр. 21)[1].

Он поражал младенца кротчайшим лицом, просиявшим улыбкою; ведь некрасивый и часто свирепый на вид; кипяток: раскричится,— на весь Арбат слышно; а мы — не боимся; улыбка отца была нежная, просто пленительная; лицо — славное: не то Сократа, не то — печенега.

Вспоминая, писал о нем в молодые годы:

Ты говорил: «Летящие монады
В зонных волнах плещущих времен —
Не существуем мы; и мы — громады,

Где в мире мир трепещущий зажжен...»
Твои глаза и радостно, и нежно
Из-под очков глядели на меня.
И там, и там — над нивой безбрежной —
Лазурилась пучина бытия[2].

И всю жизнь, вплоть до этого мига, воспоминание об отце вызывает во мне строки, ему посвященные:

Цветут цветы над тихою могилой.
Сомкнулся тихо светлой жизни круг.
Какою-то неодолимой силой
Меня к тебе притягивает, друг[3].

Иные из жестов отца, его слов, афоризмов, весьма непонятных при жизни, вспыхивают мне ныне, как молньи; и я впервые его понимаю в том именно, в чем он мне был непонятен.

«Протертый профессорский стол с очень выцветшим серо-зеленым сукном, проседающий кучами книг...; падали: карандаши, карандашики, циркули, транспортиры, резиночки...; валялись листочки и письма с французскими, шведскими, американскими марками, пачки повесток..., нераспечатанных и распечатанных книжечек, книжек и книжиц от Ланга, Готье...; составлялись огромные груды, грозящие частым обвалом, переносимые на пол, под стол и на окна, откуда они поднимались все выше, туша дневной свет и бросая угрюмые сумерки на пол, чтобы... подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами, и посыпать густо сеемой пылью обои потертого, шоколадного цвета и — серого папочку» («Крещеный Китаец», стр. 5)[4].

«Он отсюда вставал; и рассеянно шел коридором, столовой; и попадал он в гостиную; остановившись пред зеркалом, точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки...» (стр. 6)[5]. «Домашний пиджак укорочен; кончается выше жилета; пиджак широчайше надут; панталоны оттянуты; водит плечами, переправляя подтяжки; подтянет — опустятся...» (стр. 7).

«...— Что вы такое? — окликнет его проходящая мама... Он — высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, будто накрыли его.

— Ах, да я-с!

— Ничего себе...

— Так-с!

Барабанит ногами к себе в кабинетик, какой-то косой...
— Да,— идите себе...
— Вычисляйте»... (Ibidem)[6].

Что отец мой был крупен и удивительно оригинален, глубок, что он известнейший математик, то было мне ведомо; поглядеть на него — станет ясно; и — все-таки: не подозревал я размеров его; «летящие монады... не существуем мы»; и он в нашей квартирочке, да и в других, очень часто, присутствуя, как бы отсутствовал; «и мы — громады, где в мире мир трепещущий зажжен»; был он просто огромен в иных из своих выявлений, столь часто беспомощных: быт, где он действовал,— карликовый: в нем ходил он, сгибаяся и представляя собою смешную фигуру; всегда отмечалось мне: странная связь существует меж нами, а разногласия все углубляются; но чем становилися глубже они, тем страннее друг к другу, сквозь них, мы влечемся, вперяясь друг в друга, как бы бормоча:

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу[7].

Возмущался я: как может он говорить так, как он говорил об Ибсене; о... Кнуте Гамсуне:
— Ну-с, мой дружок, как твой «кнут»?
Возмущался и он, наблюдая меня:

«Да, мой голубчик,— ухо вянет:
Такую, право, порешь чушь!»
И в глазках крошечных проглянет
Математическая сушь[8].

Тем не менее наискось похаживая по столовой, мы мирно беседовали: о причинности в понимании Вундта, иль об энергии в пониманье Оствальда; вопрос за вопросом вставал:

Широконосый и раскосый
С жестковолосой бородой
Расставит в воздухе вопросы:
Вопрос — один; вопрос — другой[9].

Вдруг, с прехитрою, мне непонятной лукавостью:
— А знаешь, умная бестия этот твой Брюсов!
Такие фразы, однако, срывались уже перед смертью, когда, задыхаяся от припадка ангины, в своем перетертом халатике тихо полеживал он на постели, уткнув жарко

дышащий нос в третий выпуск тогда появившихся только что «Северных Цветов»[10].

Я был темен отцу в «декадентских» моих выявленьях; и он был мне темен в те годы; был темен парением в труднейших сферах аритмологии, когда грустно жаловался:

— Знаешь,— наши профессора-математики далеко не все могут усвоить мои последние работы.

И перечислял, какие именно математики могут его понять: насчитывал он лишь с десяток имен, во всем мире разбросанных.

Был он мне темен в другом еще; в жизненных жестах; например: в экспрессии выбега из кабинетика в быт; ничего не видит, не слышит,— и вдруг, совершенно случайно расслышав, как что-то кухарка бормочет о чистке картофеля; и — как снег на голову: из отворенной двери карманом куртчонки своей зацепляясь за дверь, прямо в кухню:

— Не так-с надо чистить картофель: вот как-с!

Цифрами, формулами начинает выгранивать методы: чистки картофеля или морения тараканов, которые вдруг завелись; помню сцену: приехал к отцу математик по спешному делу из дальней провинции; мой же отец, стоя на табурете, имея по правую руку кухарку, по левую горничную со свечами, спринцовкой опрыскивал тараканов испуганных, с ужасом им вдруг в буфете открытых:

— Вот видите-с,— как-с: негодяй убегает, а я его — так-с.

И — пфф-пфф — в таракана спринцовкою; вспомнивши, что математик приезжий стоит, рот раскрыв, с удивлением созерцая картину гоняющегося спринцовкою за тараканом отца, угрожающего падением с табурета и развевающего полы халата, он бросил ему:

— Посидите тут,— вот, изволите видеть: морю тараканов; да-с, да-с — тараканы у нас развелись.

Отвернувшись от математика, бросился он спринцовкою за убегающим тараканом:

— Ах, ах,— негодяй: ишь ты,— тоже спасается; а я его...

Моя мать, тетя и гувернантка, следящие исподтишка за картиною этой, тут фыркнули; сам математик почтительный, вижу, уже начинает беззвучно трястись; и кухарка, и горничная тоже пляшут плечами; и я смеюсь; только отец — нуль вниманья на смехи, хотя слышит их:

— Ах, какая гадость; вот дьявольщина,— развелись тараканы: скажите, пожалуйста!

Только минут через двадцать, сойдя с табурета, отдавши прислуге халат, он подшаркнул, превежливо и предовольно перетирая руками:

— Ну вот-с, и прекрасно: садитесь, пожалуйста,— ведь уж и так математик уселся,— да-с, нечего делать ведь: тараканы — ужасная пакость; ну, чем я могу вам служить?

Темен был мне отец в этих странных усилиях к ясности, к точности и к немедленной ликвидации всякого иррационального пятнышка, выступившего перед ним точно на переосвещенной поверхности; он все удивительно переосвещал: освещал со всех сторон пунктами и подпунктами своих объяснений; но переосвященная плоскость переменяла обычный рельеф: на рельеф диковатый и от переосвещения — темный:

— Люблю я Риццони: вот это художник; его можно в лупу разглядывать.

Он очинивал карандашики так, что их прямо бы под микроскоп: до того совершенно они заострялись; и всем выдвигал острие карандашиков, как неизбежное; люди смеялись:

«Чудак»!

Для меня же стояло проблемой чудачество это; в переосвещении, в переобъясненности, в переочинке им все выдвигалося, как действительность подлинная, не действительность, видимая невооруженным глазом, а видимая в микроскоп; был способен заметить бациллу, как ползающий дифференциалик по скатерти; и был способен не видеть большого предмета, стоящего прямо под носом; предметы он видел в их, так сказать, дифференциальном раздробе, а данный факт жизни все силился он сынтегрировать; наша квартира в его представлении — мир интегралов, к которым еще надо долгим сложением аналитических данных прийти.

Он и видел не так; и не так объяснял: слишком ясно; и оттого — темнота водворялась.

Мне было отчетливо, еще когда я был «пупсом», что он — очень темный, непонятый: матерью, мною, прислугою, учениками, всем бытом профессорским: «добрые знакомые» видели не отца, а пародию.

Но я, подрастая, непонятым был; и отец боролся с идеологией моею, вкусами в искусстве, «мистикою», которую ненавидел он; но сквозь «при» он разглядывал уже непонятого и во мне в последние два года жизни; и даже: со страхом, с соболезнованием, с жалостью нежной поглядывал он на меня, когда я стал уже «притчею во языцех»,—

в профессорском круге, среди борзописцев, помоями поливающих за дерзкое письмо «к либералам и консерваторам»[11], своего рода юношеский манифест к «отцам», с которыми нам делать нечего; с благодарностью вспоминаю, что в эти именно месяцы всяческих расхождений во взглядах подчеркивал он: безотносительно к «что» он доволен моим методологическим оформлением иных из мыслей; была напечатана только что статья моя, «Формы искусства»[12], построенная на своеобразном преломлении взглядов Оствальда и Шопенгауэра, которого ненавидел отец.

Тем не менее, прочтя статью, он сказал:

— Прекрасная статья: прекрасно оформлена!

Одобрение относилось не к идеям, а к методам оформления; между тем: статья эта, прочитанная прежде в студенческом обществе, вызвала ужас князя Сергея Трубецкого, отказавшегося председательствовать на моем реферате; так же поступил и Лопатин;[13] мой отец, в противовес профессорскому мнению, выказал тут и непредвзятость, и объективность; его радовало, что принцип сохранения энергии я пытаюсь отметить в жизни искусств; именно эта-то попытка и ужаснула философов.

Меня поражало в отце сочетание непредвзятости с резким пристрастием; поражало и сочетание гуманности в жизненных вопросах с узким фанатизмом в настаивании на проведении мелочей именно так, а не иначе; и — страсть к ясным формулировкам, уживающаяся со страстью к дичайшим гротескам, подносимым под видом сочиненного каламбура, порою развертывающегося в рассказ, как-то: «О Халдее и жене его, Халде»[14], «О костромском мужике», «О Магди» и т. д.

Тут «чудак» в нем скликался со мной.

Не было между нами типичных, тургеневских отношений по чину: «Отцы и дети»; моя полемика «с отцами» почти не задевала отца: это-то он понимал, ибо не он ли раскрывал мне глаза на иных из «отцов»; он и не был «отцом» мне по возрасту — скорей «дедом»; по теме своей он в одном отношении взлетел над «отцами» в какое-то иное и горное измерение; в другом разрезе, как «дед», или «отец отцов», был теснее связан с действительно славными традициями науки, а не с культом слова «традиции», которым злоупотребляли «отцы» и с которыми они фактически уже не были связаны.

В эпоху моей борьбы с профессорским бытом я и не мыслил об отце-деде, как и об отце-друге; а если я видел

его опутанным «бытиком», я скорее его рассматривал, как безвинную жертву «бытика», в котором его обходили и в прямом, и в переносном смысле; у него была полная атрофия профессорского величия; он готов был спорить, как равный, с любым бойким мальчиком; я не видывал никого проще его; мне порою его хотелося защитить от других, не простых, мещан быта; они видели в его простоте нечто, ронявшее его в их глазах; и хихикали за спиною у этого Сократа, а подчас и Диогена девятнадцатого столетия; с уважением разговаривал он — с полотером, с кухаркой, с извозчиком — о полотерной, кухарочьей, извозчичьей жизни; простые люди души в нем не чаяли:

— Николай Васильевич,— наш барин... Ведь вот человек: золотой.

А тупицы пофыркивали:

— У профессора Бугаева, вероятно, старческое размягчение мозга,— сказала однажды одна из интеллигентных тупиц.

А в это время: выходили его замечательные брошюры, одна за другою, читались прекрасные лекции и писалась глубокая статья по философии математики: но простота вершинного кругозора и ширь птичьего полета не принимались в быту.

Старинная тема: «Сократ и Ксантиппа»[15]. «Ксантиппою» быта заеден был он; эту грубость к нему подмечал я у многих, как будто бы вовсе не грубых людей; ими делались «отцы» — профессора, знакомые, ученики, друзья и родные.

Мой идеологический фронт борьбы с «отцами» отца миновал.

Я родился в октябре 1880 года; отцу было уже сорок три года; год его рождения падает на год смерти Пушкина;[16] в год смерти Лермонтова он прекрасно помнит себя осажденным лезгинами в маленькой крепостце, близ Душета, где он родился.

Отец его — военный доктор, сосланный Николаем Первым и, кажется, разжалованный; так попал из Москвы в Закавказье он, чтоб годами службы себе завоевывать положение; храбрец и наездник, он пользовался уважением среди врагов-лезгин: он их пользовал часто, когда попадались в плен они; он безнаказанно ездил один в горах; «враги», зная его, его не трогали; выезжали порою к нему и выстреливали в воздух в знак мирных намерений; первое детское воспоминанье отца: гром орудий в крепостце, обложенной лезгинами.

Семейство деда было огромно: четыре сына, четыре дочери; средств — никаких; позднее дед перебрался в Киев, где был главным врачом какого-то госпиталя; под конец жизни с усилием выстроил он себе дом на Большой Владимирской, чуть ли не собственными руками; здесь умер он от холеры в один день с бабушкой; по сие время Киев — место встречи с родными, порой неизвестными; мои 4 тети вышли здесь замуж; одна за Ф. Ф. Кистяковского (брата профессора), другая за члена суда, Жукова, третья за инспектора гимназии, Ильяшенко; четвертая за Арабажина, отца небезызвестного публициста (потом профессора) К. И. Арабажина.

Кавказ — трудная полоса жизни деда; когда отцу минуло десять лет, его посадили впервые верхом: и отправили по Военно-Грузинской дороге с попутчиком: в Москву; здесь устроили у надзирателя первой гимназии, в которой он стал учиться;[17] жизнь заброшенного ребенка у грубого надзирателя была ужасна: ребенка били за неуспехи детей надзирателя, которых должен был готовить отец же, хотя они были ровесниками и соклассниками; он молчал; и шел — первым (кончил с золотою медалью) [18].

Вспоминая невзгоды, перенесенные им, он грустнел; когда он перешел в пятый класс, то из письма деда понял: деду его содержать нелегко; тотчас же пишет он, что-де прекрасно обставлен уроками; и в помощи не нуждается; с пятого класса он уроками зарабатывает себе оплату гимназии, пропитание и квартирный угол; в седьмом классе снимает он угол у повара, — в кухне, под занавескою; в это время завязывается его знакомство с С. И. Жилинским (впоследствии генерал-лейтенантом, заведующим топографическим отделом в Туркестане); второе знакомство: к нему приходит в гости гимназист первой гимназии Н. И. Стороженко, сын богатого помещика Полтавской губернии.

Связь со Стороженкой продолжалась всю жизнь.

Третий товарищ отца по гимназии М. В. Попов, впоследствии — наш домашний доктор, лечивший отца до смерти; уже впоследствии, молодым человеком, он сходится и одно время дружит с М. М. Ковалевским, с которым даже живет вместе: в Париже.

Стороженко, Ковалевский, думается мне, и были теми, кто смолоду втянул отца в круг литераторов и общественных деятелей эпохи семидесятых годов; одно время отец — непременный член всяческих собраний и начинаний; он волнуется организацией «Русской Мысли», как личным

делом;[19] громит учебный комитет; он делается одним из учредителей Общества распространения технических знаний; состоит товарищем председателя Учебного Отдела его; вносит речью своей бодрость в Отдел, разгромленный правительством в 1875 году;[20] он спорит с С. А. Юрьевым; он бывает и в лево-либеральных, и в славянофильских кругах; в свое время он был близок с Янжулом, Стороженко, Иванюковым, Усовым, Олсуфьевыми, Алексеем Веселовским, которого он всячески соблазняет в свое время профессорскою карьерой (в то время Веселовский высказывал желание готовиться к опере), с Танеевыми, Боборыкиными и т. д.; он хорошо был знаком с Николаем и Антоном Рубинштейнами, с композитором Серовым, с Писемским, Львом Толстым, историком С. М. Соловьевым, с Троицким, Владимиром Соловьевым, с Герье, с Тургеневым, с Захарьиным, с Зерновым, Склифасовским, Плевако, Б. Н. Чичериным, С. А. Рачинским и сколькими другими в то время видными деятелями Москвы.

Мне мало известны его отношения с Рубинштейнами, Серовым, Тургеневым, Писемским, Григоровичем и другими деятелями искусства; знаю, что на многих он производил сильнейшее впечатление; композитор П. И. Чайковский пишет в 1867 году брату: «Познакомился... недавно с очень интересным профессором Бугаевым. Невероятно ученый и очень умный малый. На днях он до глубокой ночи говорил нам об астрономии...; ...до какой степени мной овладел ужас, когда пришлось встретить... истинно просвещенного человека»... (М. Чайковский, «Жизнь П. И. Чайковского», том I, стр. 268);[21] в воспоминаниях Чичерина последний с недоумением передает восторг Тургенева перед ораторскими способностями отца; Чичерин не понимает этих восхищений, отмечая неинтересность одной из речей отца, прочтенной по записке; Чичерин и не мог понять отца, ибо они — зенит и надир; а что касается до «Записки», то отец всегда терял, когда схему речи записывал, он блистал импровизациями: и Тургенев, по словам Чичерина, метил его, тогда «молодого ученого», в лидеры левой группы им чаемого парламента (см. воспоминания Б. Н. Чичерина);[22] помню, как мать рассказывала: на юбилее Н. И. Стороженко[23] отец так поразил речью Сумбатова-Южина, что он, не будучи лично знаком с матерью, подошел к ней представиться, чтобы выразить ей свое восхищенье; однажды на каком-то юбилейном собрании старики, военные инженеры-механики, после речи отца бросились его качать; в 1863 году, проживая в Берлине, он

поразил воображение будущего инспектора Межевого Института, Рашкова, горячностью своих речей в ресторанчике, где собирались молодые русские ученые, проживающие в Берлине, и т. д. (см. брошюру Л. К. Лахтина «Николай Васильевич Бугаев»)[24].

Не ограничиваясь математикой, он с молодых лет усиленно самообразовывал себя; в своих воспоминаниях об отце Н. И. Стороженко пишет, что, будучи студентом-математиком, он «...часто появлялся на лекциях тогдашних любимцев молодежи: Рулье, Кудрявцева, Буслаева и др. Придя с лекций домой, Николай Васильевич продолжал дело самообразования, изучая капитальные сочинения по философии, политической экономии, а когда хотел «побаловать» себя, то читал нараспев стихотворения...»[25]

Его темперамент в те годы не знает предела; математикой не может он оградить себя в эти годы; и усиленно занимается философией; изучает пристально Канта, Гегеля, Лейбница, Локка, Юма; становится одно время начетчиком позитивистов; и комментатором Милля и Герберта Спенсера; он силится одолеть юридическую науку своего времени; и пристально следит за развитием французской и английской психологии вплоть до смерти; он даже изучает фортификацию; и удивляет в Дворянском клубе старожилов, уличив какого-то генерала-стратега, читающего доклад о ходе военных действий под Бородиным, в полном незнании действительного расположения войск; сорвав генерала, он прочитывает блестящую лекцию по фортификации; он писал стихи, статьи (после смерти я нашел статью его об «Отцах и детях» Тургенева)[26], сочинял текст либретто для оперы «Будда», которым Серов, встретясь с Вагнером, сильно заинтересовал последнего; он полемизировал в молодости под каким-то псевдонимом с де-Роберти.

И одновременно: он все время крупно работал в математике и всю жизнь изучал классическую математическую литературу; но в чистую математику углубился не сразу он; по оставлении при университете его он поступает в Военно-Инженерную академию, где слушает лекции Остроградского, и едва не проходит всего курса наук; но окончить академию не удалось: он был исключен из-за какой-то разыгравшейся в академии истории (на почве политической);[27] тогда он возвращается в университет и едет в ученую командировку, где два года работает, знакомясь с крупнейшими немецкими и французскими математиками[28]. Слушал лекции Куммера, Вейерштрасса, Лиувилля, Бертрана, Серре и др.; он всю жизнь переписывался с Ли-

увиллем, Клейном, Пуанкарэ и другими; в двух французских математических журналах он сотрудничал много лет. Он становится одним из основателей Московского Математического общества и журнала «Математический Вестник»; председателем первого и редактором второго состоял он в ряде лет[29].

Широта в нем пересекалася с глубиной, живость темперамента с углубленностью; потрясающая рассеянность с зоркостью; но сочетание редко сочетаемых свойств разрывало его в «чудака»; и тут — точка моего странного к нему приближения.

Человек огромных знаний, ума, способностей, опыта имел и уязвимую пяту: он мало знал экономическую литературу; и — не читал Маркса, к которому относился со сдержанным почтением, как относятся к чему-то большому, опасному, маловедомому; с утопическим социализмом он был знаком, но отмечал его философскую невыдержанность. Но менее всего его удовлетворяла либеральная фраза для фразы; и тут начиналась в нем издавна критика его друзей и близких знакомых — Чупрова, Виноградова, Муромцева, Стороженко, М. М. Ковалевского; сперва — дружеская; потом и довольно яростно-нападательная; в семидесятых годах он еще с ними сливался: либерал, как и они, позитивист, как и они; но с усложнением его философской позиции и с углублением в нем чисто математических интересов он не мог удовлетвориться их ходячей платформою; особенно подчеркивал он в них философское пустозвонство и отсутствие твердой методологической базы; некогда изучив логику и методологию эмпиризма на первоисточниках, он потом высмеивал в многих из былых друзей «второсортность» их верований и знакомство с логикой даже не из вторых, а из третьих, четвертых рук: «взгляда и нечто» не мог выносить он; ведь преодоление канонов позитивизма совершалось в отце в годах: упорной работой мысли, знакомством с источниками и, главное, собственным творчеством в точнейшей науке; а насколько были философски углублены его друзья,— свидетельствует случай с профессором Стороженко, потрясший меня, еще гимназиста; когда при мне курсистка просила маститого профессора указать ей сериозную литературу по Канту, то он ответил ей:

— Прочтите статью Кареева, посвященную Канту в «Русской Мысли»;[30] лучшего резюме идей Канта вы не найдете у самого Канта.

И это сказать в эпоху, когда Канту была посвящена литература, не умещаемая в пяти шкафах!

Я, не-кантианец вовсе, но все же привыкший к сериозным ответам (отец только и делал, что предлагал к сведению моему списочки книг) на сериозный запрос, внутренно так и ахнул, услышав от Стороженки такой курбет мысли; и естественно: я поведал отцу, тоже не-кантианцу, об удивлении, меня охватившем; тут он, не выдержав, со свирепой надсадою заморгал на меня лукавыми глазками, точно собираясь чихнуть; и вдруг, забывши, что я мальчонок, а Стороженко старик (а он поддерживал во мне уважение к старикам),— он, все это забыв, с безнадежностью махнул рукою: и огласил пространство просто стонущим плачем каким-то:

— Ах, да «они», мой дружок,— болтуны!

Стороженку любил он; со Стороженкой был связан десятилетия; не увидеть Николай Ильича месяц не мог он; и все-то ходил к Стороженкам: «сражаться»; тут понял впервые я: тот факт, что «они — болтуны»,— незаживающая, Амфортасова рана[31] отца, потому что по человечеству он был к «ним» привязан.

Но и я, мальчонок, уж знал: «они»— болтуны; в этом вздохе подгляда отец-«дед» и сын-«внук» подавали друг другу руку против «отцовского» легкомыслия; видя отца, видя дядей, видя потом Валерия Брюсова, Эллиса, я все себя спрашивал: что соединяет тайно при всем видимом разъединении этого старика-чудака, не пошедшего дальше Тургенева, с... Брюсовым, с... Эллисом.

И потом понял: соединяет сериозность, соединяет факт все-таки «грызения» идеологических книг; отец изгрыз Спенсера, Юма, Лейбница; Эллис некогда изгрыз Маркса; Брюсов изгрыз Спинозу; я в пору ту изгрыз Шопенгауэра и начал грызть Канта; а Стороженко и Алексей Веселовский ничего не изгрызли, не собирались грызть; и это-то вызывало в отце стон.

Что общего — лейбницианец-математик и оставивший Маркса, проповедующий Бодлэра — символист Эллис; а — как они спорили, сцеплялись, схватывали друг друга за пиджаки! И отец, накричавшись, говаривал:

— Из всех твоих товарищей, Боренька, самый блестящий — Лев Львович: да, да-с,— блеск один!

И даже Брюсов удостоился:

— А умная бестия этот Брюсов!

Ведь зная отца, я был должен сказать, что Брюсов, явившийся к нам на вечер и весь вечер прогрызшийся

с Эллисом (Кобылинским), вопреки всему — чем-то пленил отца.

Да и сам Брюсов, на отца брюзжащий за Лейбница[32], сменяет гнев на милость: «Бугаев опять говорил с точки зрения монадологии. Мне это было мучительно...» (Брюсов: «Дневники», стр. 112). И потом: «После Бугаев рассказывал о своих столкновениях с чертом — любопытно» (стр. 112)[33]. Эти темы рассказов о черте уже относились к серии *диких каламбуров* отца; отец, не веривший в черта, уличал его бытие в странных мифах; и Брюсов клюнул на них.

Стороженко не клюнул бы; про Стороженко ни разу не слышал я от отца, что он —«умная бестия».

— Да-с, Николай Ильич, так сказать...

И — наступало: стыдливо-неловкое молчание; его вывод из критики болтунов — отказ от критики; и — улет в пифагорейство[34], в беспартийный индивидуализм, в одном совпадающий с либералами, в другом с консерваторами, в третьем залетающий левее левых; рычаг критики — его философия, социологическая база которой была аритмологична; а проповедывал он, применяя сократический метод и им прижимая к углу, чтобы водрузить над прижатым стяг «монадологии»[35].

В университете действовал он одиночкой, не примыкая к группам (правым и левым); отношения со студентами были хорошие; он деканствовал множество лет;[36] спорил с левыми, а левые его уважали; не забуду, с какой сердечностью К. А. Тимирязев читал ему адрес в день юбилея Математического общества, ставшего его юбилеем;[37] многие его «консервативные» выкрики в спорах объяснимы борьбой с «задопятовщиной»; от «Задопятовых»[38] мутило его, а на «зубров» сжимал кулаки.

— Педераст!— слышался надтреснутый крик его.— А этот хам перед ним лакействует...

«Педераст» — другого именования не было для великого князя Сергея.

— Расшатывает мальчишка все!

«Мальчишка» — Николай.

— Позвольте-с, да это ерунда-с!— кричал на министра Делянова; и Делянов — терпел: с Бугаевым ничего не поделаешь; лучше его обойти, а то шуму не оберешься.

Множество лет посылали его председателем экзаменационной комиссии на государственные испытания: в Харьков, в Петербург, в Киев, в Одессу, в Казань; ни одного инцидента! Студенты провожали на поезд приезжего

председателя; последний год председательствовал он в Москве — на нашем экзамене; тут я его изучил как председателя комиссии; он был — неподражаем; другие являлися — олимпийствовать и отсиживать, нацепивши «звезды»; он же являлся на экзамен первым; и тут же, подцепив студента, начинал с ним бродить, что-либо развивать; так длилось до конца экзамена; председательское место пустовало; из кучки обступивших его студентов неслось — надтреснутое (он был уже болен):

— Стыдитесь, батюшка: идите-ка,— тащите билет.

— Не пойду, Николай Васильич: не хочу срамиться...

— А вы осрамитесь: не работали, а мужества осрамиться нет; ну что ж такого: осрамитесь, и — кончено.

И взяв за рукав, он подтаскивал упирающегося к экзаменационному столу, пошучивая и взбадривая; делалось как-то легко и просто: тот, у кого душа ушла в пятки, тащил билет, отвечал кой-как; «председатель», выставив нос из кучки студентов, поднимал очки двумя пальцами, интересуясь судьбой его:

— Ну,— как-с?

— Выдержал...

— Вот видите: а вы — говорите...

И шел предовольный; и подмаршовывал, выпятив живот и заложив за спину руки; и уже опять раздавалось:

— У Спенсера... У Гельмгольца... Позвольте-с.

Новый студент с председателем спорили: о механическом мировоззрении; или — о чем другом.

После экзаменов он, подписав дипломы, умер.

Сколько он спас от провала пред смертью!

Ему прощалось многое: горячие выкрики, парадоксы, даже мнения, идущие вразрез с веком; знали: декан — чудак и добряк; выручит в нужную минуту; сперва накричит, напустит «формализма»:

— Это не от меня зависит.

А потом побежит в канцелярию: под шумок толкать дело студента.

Знали его «пункты»; и — обходили их.

Главный пункт: агитационная пропаганда основ «эволюционной» монадологии; тезисы ее вырабатывались в десятилетиях;[39] с первых лет детства я слышу имена: Фрэнсис Бэкон, Рид, Юм, Локк, Уэвель, Гамильтон, Спенсер, Милль, Бэн и т. д.; эти-то имена и преодолевались, вывариваясь в аритмологии:[40] в основе монадологии эти имена вместе с именами Лагранжа, Лейбница, Эйлера, Коши,

Абеля казались китами, поддерживающими вселенную; будучи смолоду пропитан английским эмпиризмом, косился на линию немецкого идеализма; с уважением отозвавшись о Канте, всегда приговаривал:

— Да, а пишет — туманно; писать туманно не значит: писать глубоко; вот французы и англичане пишут изящно, легко, просто не потому, что плоски, а потому, что выносили образ мысли; немцы — не выносили.

Или:

— Троицкий доказал: Кант основательно-таки стащил мысли у Рида.

Поэтому и ценился Троицкий — не за мысли, а за проделанную работу: за изучение источников.

Не считая себя спецом-философом, отец изучил скрупулезно линию английского эмпиризма; и был он начетчиком в ней:

— Почему не изложите вашей философии в книге? — спрашивали отца.

— Потому что мне надо написать не книгу, а четыре книги, а где взять время: ведь я — математик.

Но 4 ненаписанных книги он сжал в тезисы; и перечень тезисов — его брошюра «Основы эволюционной монадологии»; тезисы развивал он на спорах и с позитивистами, и с метафизиками: Трубецким, Лопатиным, Гротом; у Стороженок он схватывался с Иваном Ивановичем Ивановым, диким спорщиком, как и отец; не к Стороженке он, собственно, шел, а к Иванову: с ним накричаться; и приходил раздовольный: сидел «в большой нежности,— так, ни с того ни с сего: и — улыбался «тишайше»: себе и всему, что ни есть» («Крещеный Китаец», стр. 21). Грот и Лопатин ценили его как философа; но метафизики не удовлетворяли его.

— Они фактов науки не знают-с!

Он был истинно одинок, истинно осмеян там именно, где начиналась в нем оригинальная глубина его; «Глас, пошлый глас,— вещатель общих дум», по словам Боратынского[41], поднимал над его одиночеством пошленькие хихики; люди кончика языка в нем Сократа не видели; вот как отразился отец в воспоминаниях И. А. Линниченко (сборник «Живой Толстой», издание 1928 г., стр. 371—372): «Однажды в приемный день Николая Ильича..., в числе гостей, пересидевших five o'clock, были: известный математик, мнивший себя философом, проф. Н. В. Бугаев, какой-то приезжий англичанин и я... Вскоре... в кабинет вошел Л. Н. Толстой. Англичанин... даже побледнел от

восторга и весь насторожился, ожидая услышать пророческое слово поэта-философа... Не успел, однако, Л. Н. занять свое место, как Н. В. Бугаев бросился к нему и... руками и крикливым голосом, в пылу спора доходившим до предельных нот сопрано, ...бегая по комнате, спеша... и захлебываясь, начинает излагать Л. Н. основные тезисы своей философии. Весь проникнутый философским... задором (с философами ему всегда приходилось воевать), Н. В. и тут стал бороться с несуществующим противником. Л. Н. молча слушал философа... Тем не менее Н. В. постоянно подбегал к нему с криком: «Нет, позвольте, я вам докажу» [42].

Вижу ясно отца в этой сцене; и — вижу: профессоров Н. И. Стороженко и И. А. Линниченко; оба были в философском разрезе люди хихика и того «гласа», о котором сказал Боратынский: «Глас, пошлый глас,— вещатель общих дум»; и уж, конечно, отец со всей смешнотой выявлений был именно непонятым Сократом среди таких слушателей (Толстого я, разумеется, исключаю); я знаю: Толстой именно на иные ноты монадологии откликался сочувственно, как откликались сочувственно и Лопатин, и Грот, и Троицкий, не полагавшие, что отец «мнит» философом себя, ибо он был — философ воистину: читая этот тон с «кондачка», вспоминаю невольно отца:

— Они — болтуны-с!

На болтунов и кричал он, подбегая к Толстому, а не на Толстого.

— Да, да,— пришел, доказал: все объяснил.

Так однажды резюмировал Н. И. Стороженко, садясь за обед, спор отца, только что бывшего здесь, с кем-то; почтенный профессор упустил из виду, что неудобно отзываться об отце при рядом с ним сидящем сыне (уже старшекласснике); сын — слышал спор; и сын видел: иронизирующий Стороженко весь спор промолчал и веского своего мнения не высказал (Стороженко всегда избегал рискованных тем для него); почему же в спину доверчиво всем доказывавшему отцу эти шутки? Противопоставил бы свое веское слово; такого — не было; что мог он противопоставить? Он был позитивист на кончике языка, знакомый с собственной идеологией разве по компиляциям: отец изучил идеологию Стороженки в первоисточниках, в годах; в годах ее, штрих за штрихом, поправлял: данными точной науки и данными оригинальнейшей гносеологии; первой у Стороженки не было; вторая — была: Кант по Карееву (?!?)...

Приходилось молча терпеть ужасный факт: печенегом ворвался Бугаев, все доказал, объяснил; и — ушел.

И это не смешно для отца, а плачевно... для Стороженки. А маски с вещателей «общих дум» очень любил срывать мой отец; но это — черта фамильная; все Бугаевы — спорщики, срыватели масок: такие «смешные»! Приходят, машут руками; вот только — почему-то все молчат: не возражают; подбегающий и машущий на Толстого Бугаев-старик — одна картина; а вот как меня характеризует Илья Эренбург: «Читает... и, читая, руками машет... И порою Белый кажется великолепным клоуном» (Эренбург. «Портреты русских поэтов»)[43]. Из этого моего вида Эренбург делает горько лестные выводы о моей смешной исключительности; я должен разочаровать Эренбурга, отблагодарив его за то, что смешные жесты мои им не поданы с «линниченковским» подхихиком; в том, что видится Эренбургу во мне, как вершинность, смешная в долинах,— самая эмпирическая, фамильная черта; все Бугаевы — такие: сын, отец, дяди.

И я знаю прекрасно свои смешные стороны; знал их и отец; и прекрасно видел, как смеялись над ним. Когда этот смех был добродушен, он сам принимался смеяться; но и злой хихик чуял он; и — ожесточался; впрочем, был он отходчив; он часто слышал:

— У Стороженки все основано на позе: скажет и забегает глазками по сторонам, наблюдая за впечатлением.

Отец обрывал:

— Оставь, знаешь ли: добряк, хохол, хлебосол... У каждого — свое.

И сидел в большой нежности; и пленительно улыбался на нас.

2. ОСТРАННИТЕЛЬ БЫТА

Отец — первый мне встретившийся идеологический спутник, поведший меня по годам: к рубежу двух столетий; поздней мне связался со сказкою Андерсена; и сказка та — «Спутник»;[44] в годах представлялось: отец, получив указания где-то, что делать, «пройдя по векам напрямик, перерезав большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты — с очень набитым портфелем, набитым «заветами»; ныне — невидимо служит и тайно всем нам образует» («Крещеный Китаец», стр. 216). Большая дорога,— история мира: Арбат; но история, свертывая, чрез Арбатскую площадь, Воздвиженку и Моховую, начало берет в засе-

данье Правления университета, где было все создано: мир, Арбат, мы и прочее.

Отец представлялся двуликим: одной стороной бытия заседает он; и в результате — бытийствует мир; другой стороною сидит в малой клеточке этого мира, в квартире у нас; и его все гоняют из комнаты в комнату: за математику. Он математикой этой мешает нам жить; и конфузится сам неприличию жизни такой; кто живет там с друзьями, кто с родственниками, кто с женой; а отец — с математикой.

Противоречие в осознаванье отца углублялось действительным противоречием, в нем жившим: меж чувством и мыслью, с одной стороны, и меж волей; нежнейшие чувства: душа, как мимоза; нежнее, отзывчивей я не встречал человека; услышит, что кто-то горюет,— спешит утешать, возвышать:

— Нет жизни,— бывало, печалится тетя.

— Да полноте!— и начинает теперь из него погрохатывать выливнем слов и — зажигало закаты; выхватывал он из себя уверения в том, что достоинство — да!— человека огромно...

— Смотрите бодрее!

«И раскидавшись ладонями, он собирал... материал переплаканных слов, превращая его... в бирюзовые ливни, в перловые ясности...; духом исходит на нас; на паркеты квартиры, напоминая Сократа пред ядом» («Крещеный Китаец», стр. 208).

Умел он привзбадривать.

Видом свиреп, а услышит, как кто-нибудь песню поет, умилится; и сам любил он откровенную песенку:

Стонет сизый голубочек[45].

Услышит — сияет улыбкой пленительной.

Мысли: он в мыслях взворачивал самое представленье о связи наук; и порою меня, «декадента», сражал он полетами, смелостью, дерзостью математических выводов, к жизни приложенных; выскажет; и вдруг припустится мысль остраннять в каламбурище. Передавали: за ужином у С. А. Усова раз при Толстом он пустился в гротески; Толстой оценил чрезвычайно один из них: за художественность! «Художеством», знаю я, более заинтересовались бы Брюсов и Маяковский, чем профессора; «художество» это преследовалось у нас в доме; кухаркам, извозчикам нес свое творчество неоцененный «мифолог»; извозчики

в чайных передавали друг другу словечки отца; и известностью у приарбатских извозчиков очень гордился он.

Стиль каламбуров — Лесков, доведенный до бреда, до... декадентства; иными из них я воспользовался, как художник, ввернув их в «Симфонии» и в «Петербург».

Да, но стоило отцу открыть рот, как мать прерывала его:

— Вы опять за свое!

— Не любо, не слушай, а врать не мешай,— отзывался он, что-нибудь высказав: с очень довольным, хотя виноватым, стыдливым, слегка перепуганным даже лицом, себя сдерживая; не сдержавшись, сорвавши салфетку с себя (каламбуры слагалися им за обедом), он несся на кухню, где был он свободен от нашей цензуры; и, бухнув гротеском пред кухонною плитою, он с хохотом, полуприплясывая и полуподмаршовывая, мотал головой сверху вниз; и крахмалами кракал, к столу возвращаяся, чтобы подвергнуться действительному обстрелу глаз матери.

Эта потребность к чудовищностям — органический зуд, выраставший из вечного сопоставления оригинальных и новых мыслей о мире и жизни с «бытиком», мысли такие расплющивающим; из среды — куда вырваться? Он в ней, как узник, до смерти сидел пребеспомощно; сидел со страхом; и страх атрофировал в нем, революционере сознания, самую мысль об замене иною средою среды, окружавшей нас; ведь ее представители — сливки Москвы; не к извозчикам же бежать в чайные?

В том-то и дело, что, может, следовало бы бежать: пусть хоть в чайную!

Но до этого отец не дошел: воли к новому быту в нем не было; отдавался он «бытику» не от любви, а... из страха: проштрафиться; и — быть наказанным... Марией Ивановной Лясковской (?!), не говоря уже о нагоняях от мамы.

И он изживал в каламбурах стремленье к «не как полагается», следуя в быте канонам: с усилием невероятным; такого усилия быть, «как и все», я ни в ком не встречал; «всем» легко то давалось; а у отца это «быть, как и все» интегрировалось с непомерным трудом; с угловатостью, вызывающей хохот «у всех», он проделывал все бытовые каноны.

Иные из профессоров, как подметил я, будучи тоже свободными в мыслях от тех бытовых предрассудков, в которых мы жили, все силились, как и отец, уравнять себя среднею линией; и — выпирали: смешными казались; отец был смешнее их всех.

Кто выравнивал фланг бытовой?

В первую очередь выравнивала «профессорша»; много я типов видал; в многих бытах я жил; но такого ужасного, тусклого, неинтересного быта, какой водворила «профессорша» восьмидесятых годов, я, бежавший давно от профессорш,— могу смело сказать: не видывал я второго такого быта: купцы, офицеры, художники, революционеры, рабочие, крестьяне, попы жили красочней среднего профессора и средней профессорши; ни у кого «как у всех» не блюлось с такой твердостью; ни у кого отступление от «как у всех» не каралось с такой утонченной жестокостью (я на себе испытал ту жестокость). И думал я, что склероз, поражавший всех нас так ужасно, имел объяснение в том ложном мненье, что «мы» — соль земли; стало быть: «как у всех» означало для нас — как у Янжулов, у Стороженок, у Бобынина, у Млодзиевских; возьмите в отдельности каждого: имя в науке, заслуги, незаурядная личность; и, стало быть: сумма имен — сумма всех преимуществ над прочими.

Вовсе не видели: целое — еще не сумма; в сложении славных имен упускалось из виду, что «славное» славной личности изливалося в лекции, в книги; и туда именно улетучивалось; а усталый и вовсе не славный остаток под формой профессора, выведенного профессоршей из кабинета, являл собой мягкую глину, лепимую пальцами данной профессорши по канонам ареопага профессорш; такое лепление превращало остатки действительной «лепоты» в пренелепое что-то; остатки огня, непредвзятости, революционных стремлений в профессоре, простите за выражение, выносились... в уборную; и утекали по водосточной трубе от достойной квартиры к полям орошения.

При таком своеобразном сложении складывались мужи, не славные вовсе; говорилося не о Янжуле, выявившем себя в книгах, а говорилось о «Янжулах»; а «Янжул» — не «Янжулы»; «Янжулы» — значит: пыль янжулова стола, плюс мамаша жены Янжула, плюс мадам Янжул, плюс я не знаю — кто и что; и — «минус» все ценное в Янжуле.

В принципе такого сложения сумма славных имен равнялась сумме всего неславного в них, спрессованного, законсервированного, как канон нерушимый.

Профессор сидел, заключенный в своем кабинете профессоршей, за него тарахтящей: в гостиной она тарахтела; он — глупо мычал и потерянно улыбался; наслышался я лепетаний парок:[46] ужасно оно; но ужасней всего: «пар-

ки» жили, осуществляя отбор самых злых, самых «парочных» парок; в результате отбора вынашивалася «тиранша», которой вручалася власть неограниченная и тупая над данным участком славнейшего «Города Солнца»:[47] университет — Город Солнца.

Такою тираншею, например, была та, кого я называл в ряде лет «мамой крестной»; ее наезды к нам в дом были жуткой ревизией быта; я к ней возвращусь; ее очень боялся отец; непонятно, что — чтил; моя мать не раз плакала из-за нее; и порой ненавидела, хотя... чтила; столь разные во всех проявленьях, родители... одинаково «чтили» Лясковскую; за что ее чтили? Не спрашивайте: не они ее чтили; а «что-то» в них чтило ее; то, что чтило,— глухое, непрошибаемое подсознание, руководимое инстинктами: слепого страха.

Неславная честь — честь моральной нагайки!

Закупоренный в проявлениях жизни средой и квартирою, собственной мрачной иронией «каламбурищ» горел мой отец, каламбурами уничтожая нещадно все то, перед чем он склонялся в своем бренном облике: да, каламбуры — отдушина; и в нее улетали пары живомыслия.

Вот почему мне бывало от них страшновато; они — не развеивали перепугов моих, о которых скажу: перепугов от быта, от старой профессорши, от математиков, от крестной «мамы»; скорей каламбуры увенчивали перепуг, доводя его до бредовых фантастических форм уже.

Мое, так сказать, вылезанье в действительность из мифа сказок,— испуганное вылезание в нечто, что, падая прессом, расплющивало: до конца; предо мною стоял ряд канонов; и — страшный канон: «как у всех»! Он — давил не меня одного; он давил мою мать; в нем отец ходил как деформированный. В эти именно первые миги сознания сколькие «Бореньки», сколькие «Танечки» из возраставших вокруг меня делалися рабами на всю свою жизнь. С не проявленным ясно, но видным теперь мне инстинктом здоровья, утаивать стал я в канонах какую-то точку свободы к себе, ощущая в подполье ее; у кого этой не было точки, тот делался раб еще до представленья о том, что есть рабство; а тот, кто имел ее, мучился, чувствуя, что конспиратор он; конспирация, правость бунта — все это потом приходило в сознанье, как мысль; но иметь в себе бунт, конспирацию и жить в подполье, не зная, что действия жизни такой означают благое спасение в будущем,— просто ужасно: живешь, ощущая преступность свою, без вины виноватость, как выросший рог: его надо утаивать.

Лоб мой таким вышел рогом: большим, неприличным; и мама бранила за лоб, закрывала кудрями; а я, совершивший ужасное преступление «лба»,— содрогался, таился; и чтил это все, что у нас весьма чтилось; но чувствовал, что почитание мое мне постыло: постылое «чтение»! Я поступал как отец: он ведь чтил «как у всех», разрушая гротесками «чтенье» свое; но так «чтить» не мог долго я; я перестал «чтить», но делал вид: почитаю! Это насилье рождало во мне противодействие страшной силы; и я стал взрывать (уже гимназистом); но раньше еще я попробовал подражать отцу; стал я пробовать пороть «дичь», как и он; испугался он:

— Что это, Боренька, право: какое затеял!

И я — прикусил язычок; но запомнил: он — сам порол «дичь»; его «дичь» каламбуров над бытом блестяща бывала; но рано уже ощутил я всю едкость трагедии в ней; и позднее, когда декадентом я стал, то заимствовал у отца «каламбур», но остраннил его в бреды «Симфонии»; остранненье такое есть передача моих восприятий — его каламбуров.

«Передавали поморы, что... подплывал кит к... берегу Мурмана... Спросил... любопытный кит глухого... помора: «Как здоровье Рюрика?» И на недоумение глухого старика добавил: «Лет с тысячу тому назад я подплывал к этому берегу; у вас царствовал Рюрик в ту пору» («Симфония»)[48]. Это — каламбур отца. И тут же рядом: «Тогда же чины... полиции поймали... протыкателя старух... Он... ораторствовал: «Нас много...» («Симфония»)[49]. Это уже навеянное стилем каламбуров отца; а вот — итог каламбуров в моем восприятии: «Все спали... Иные спали, безобразно скорчившись. Иные — разинув рты. Иные храпели. Иные казались мертвыми. Все спали. В палате для душевнобольных спали на одинаковых правах со здоровыми» («Симфония»)[50].

Сумма каламбуров плюс сумма почитаний того, над чем строились каламбуры,— давно, еще в ребенке, подытожилась фразою о сумасшедших, спящих на одинаковых правах со здоровыми; безумие и здоровье в среднем нашего быта мне подытожились: в мертвый сон.

Отец, прочитавший «Симфонию», не мог не «ужаснуться ею»; но он «ужас» свой от меня скрыл; и вернул книгу с деланно-бодрым:

— Прочел-с!

Л. Л. Кобылинский (Эллис), в те дни часто у нас бывавший и много говоривший с отцом вдвоем, уже потом, по

смерти отца, мне рассказывал, как отец, задыхаясь, взял его за ворот пиджака и не без лукавства выкрикнул:

— А у Бореньки в книге есть эдакая наблюдательность!

Если в этом сквозь недоумение признании в нем шевельнулось нечто от прочтения моей «Симфонии», так это притяжение к каламбурному стилю иных из ее сцен; а этот стиль за вычетом разных литературных влияний — отцовский стиль; он как будто до Виктора Шкловского открыл принцип сознательного остраннения;[51] и остраннял, остраннял, остраннял всю жизнь: жизнь вкруг себя,— жизнь, в которую был заключен он.

Критики действительности под формою каламбура в отце не видели: мать, профессора, да и сам он; он возбуждал порой хохот у матери, профессоров, меня, у себя самого.

И отсюда легенда о нем, что — чудак.

Но все математики — чудаки.

И вставал «математик» передо мной в первых днях детства.

3. МАТЕМАТИКИ

Математики — наибольшие революционеры в сфере абстракций — оказывались наиплотнейшими бытовиками, что на моем языке значило: скучными людьми, лишенными воображенья в практической жизни; быт жизни берется математиком вполне «напрокат», как мебель черт знает каковского стиля: было бы на чем сидеть; «рюс» так «рюс», «ампир» так «ампир»; кто, в самом деле, глядит на мебель? Ее ощущают той частью тела, которая противопоставлена голове; быт, как ощущение задних частей туловища, противопоставленных интегралу,— вот, вероятно, почему математик так скучен в быту; ну кто бывает весел... в отхожем месте?

Кое-как расставив тяжелые мебели быта, математики усаживаются на них вычислять безо всякого представления, что мебель проветряема и выколачиваема.

Непроветренный быт!

Если у Анны Ивановны собираются по средам, а у Ивана Ивановича по четвергам, у Матвея Ионыча соберутся, будьте уверены,— в пятницу: пятница же — следующий по порядку день; и — как же иначе? Если у Анны Ивановны подают бутерброды с сыром, а у Ивана Ивано-

вича с ветчиной, у Матвея Ионыча одна вторая бутербродов будет с сыром; одна вторая — с ветчиной; и — никогда с икрой: на каком основании?

И так — тридцать лет: безо всякого изменения.

Умопомрачительные скачки мысли над иррациональным «и»; а точка над «и», или жизнь, ставится в виде... бутерброда с сыром; вне математики разговоры — присыпочка тощая к бутерброду сухому; если у Анны Ивановны обсуждают мебель квартиры Ивана Иваныча, а у Иван Иваныча обсуждают мебель квартиры Анны Ивановны, то — дело ясное: тема журфиксной беседы Матвея Ионыча, математика, определилась на тридцать лет;— с тем отличием, что будет выбрано изо всех разговоров общейшее, неизменяемое и преснейшее; математики — обобщители; и будьте уверены, что лозунг квартиры профессорской, «как у других»,— доведен ими до совершенства.

Разумеется,— всюду есть исключения: есть математики, выявляющие и в быте таланты (хотя б — мой отец).

Бедные математики! Описанная мною черта — от растерянности, от рассеянности и перевлеченности вниманья; безумью полетов отдана голова: от чела до носа; а жизни отдано все то в теле, что противопоставлено голове; математик в науке — человек с наибольшею солью, человек «с перцем»; математик в быте — «песок».

Математики, став твердой ногой в твердом быте и голову твердо воздевши в мечту, ей более всего веря, но перепутав орьентацию головы и ноги, думают, что подножный быт, их держащий,— интегральное выражение всех революций сознанья, которым они так беспомощно отданы; дело в том, что фантазия математической мысли давно превзошла все фантазии и что в фантазии этой они твердо зажили, как мы в быту; так что быт с его лозунгами «как у всех» для них выглядит, может быть, наиболее недостижимой и этим влекущей фантазией; действительность икосаэдра[52], разрешение в ней уравненья,— и Анна Ивановна, ставящая бутербродик на стол,— это ли не предел фантазии? И, увидавши сухой бутербродик, пред ним математик усаживается, чтоб переживать панораму его, как вполне исключительное обстоятельство; переживает, молчит; и для вида отделывается словами о том, что погода прекрасна.

Нам скучно с ним.

О, сколько я видел их,— всяких: и чистых, и прикладных! И сперва показались мне жуткими их фигуры, особенно при воспоминании о том, что мама боится: прийдет

математик похитить меня от нее, чтобы сделать «вторым математиком».

Смутно в детстве мелькнули — серые, брадатые, сонные, немногословные (на меня — нуль внимания),— академики Сонин и Имшенецкий, Бредихин и Цингер; огромное что-то, глухое, седое, войдет и воссядет; и мама боится, и я; отец — эдак и так (человек был живой); математик — не двигается; еле губы шевелятся; только блистают очки; Имшенецкий — бойчее; а вот Дубяго, казанский профессор, декан[53], тот внушал просто ужас; и почему-то казалось, что есть математик, который его превосходит огромным умением создавать угнетающую атмосферу: Долбня! Я Дубяго боялся, но думал: еще то — цветочки; а вот как приедет Долбня — всем конец!

Но Долбня не приехал.

Ходил некогда Павел Алексеич Некрасов, оставленный при университете отцом;[54] в молодости он видом был — вылитый поэт Некрасов,— но с очень болезненным видом: худой, с грудью впалою; к дням профессуры он не поздоровел, но престранно разбрюзг; стал одутловатый и желтый, напоминал какую-то помесь китайца с хунхузом; отец про него говорил, что он некогда был недурным математиком; он поздней пошел в гору как ректор; в эту пору отец стал помалкивать; и «Павел Алексеевич» уже не произносилось им ласково.

Другие, бывало:

— А Павел Алексеевич.

Отец встанет, пройдет в кабинет.

В детстве помню доцентом его, туберкулезным и кашляющим, и скорбящим на что-то, и красным весьма; меня брали на елку к Некрасовым; нас посещали Некрасовы; но сколько ни вслушивался,— ни одной яркой мысли, ни взлетного слова: тугое, крутое, весьма хрипловатое и весьма грубоватое слово его.

Вот — профессор Андреев, опять-таки, ученик отца: говорили: «Весьма остроумен». Но видел я нос — очень красный и зубы гнилые, показываемые из длинной и рыжей весьма бороды; что он криво смеется,— заметил; а что говорит остроумно,— припоминаю: нет, словно не говорил ничего... Вот во всем соглашающийся, грубо ласковый профессор Алексеев; и — опять-таки: в сознании моем — *табула раза*;[55] а вот Селиванов: придет — никакого прока; резинку жевать интересней, чем слушать жев его рта; вот Егоров (профессор впоследствии), это — стерлядка: нос стерлядью; чернобороденьким помню его; глаза острые,

умные; и — любит музыку; видно, что умный, а как к нам придет, сядет перед отцом и уставится носом стерляжьим; нет, видно, такой ритуал, что когда математик приходит к отцу, то — приходит молчать.

В детстве сложилось во мне убеждение: в Киеве есть математик-буян, Ермаков; борода Черномора; и — все-то воюет, кричит; я все ждал: он приедет кричать; не приехал-таки!

А в Москве математики — тихие...

Многих я видел в дни детства; и самыми незабавными, незацепившимися за память, стоят математики; сколькие перебывали у нас, а... а... а... хоть шаром покати; с очень многими профессорами впоследствии спорить хотелось; они — оцарапывали хотя бы сознание, а математики — не оцарапали ничем; и — ничем не погладили.

Забавней других мне казался профессор Бобынин.

Поздней я ценил обстоятельные, интересно написанные, умные его статьи по истории математики; человек с пером, с даром, с талантом, а... а... как он выглядел?

Стыдно признаться, что в девяностых годах вместе с мамою, тетею, гувернанткою, прислугой считал я Бобынина за идиота какого-то.

— В присутствии Бобынина засыпают мухи,— всегда говорила мама; и я был уверен, что это есть факт.

— Да-с, скучнейший человек в Москве,— признавался стыдливо отец; и всегда прибавлял:

— Он — почтеннейший труд написал.

В продолжение лет пятнадцати слышал я:

— Пришел Бобынин: что делать?

Или:

— Сидит Бобынин: просидит часов десять.

Когда приходил на журфикс, не пугал; такой кроткий, седой, улыбающийся, он тишайше сидел себе в кресле; сложив на животе руки и палец вращая вкруг пальца, кивал, улыбался, порою некстати совсем; и потом начинал клевать носом: придремывать; и, пробуждаясь от смеха, от громкого голоса, он с перепугу, что сон его видели, очень усиленно в такт разговора кивал; и все знали — Бобынин; и — стало быть: так полагается, пусть его.

Но он имел порой смелость зайти невзначай; хоть не часто являлся, а все же — являлся; не было никакой возможности извлечь слова из уст этого седобородого и препочтенного мужа; глаза голубели кротчайше, улыбка добрейшая, почти просительная, освещала его лицо: голова начинала кивать; палец бегал вкруг пальца; слова не яв-

лялись из уст; садился,— наступало тягостное молчанье, во время которого начинал он придремывать; прийдет до завтрака — знали: отзавтракает, отобедает и, чего доброго, пересидит чай вечерний.

— Скучен, как Бобынин,— техническое выраженье у нас; и отец, защищавший всегда математиков, лишь похохатывал; и разводил руками; и даже: придумал он способы удаленья Бобынина; и применял их лет этак двадцать; отец, такой гостеприимный хозяин, по отношению лишь к одному Бобынину применял этот способ с такой незатейливой простотой, с какой пробку откупоривают: щелк — где пробка?!

Сидит Бобынин: раз-раз — нет Бобынина.

С лукавым прикряхтом и с потиранием рук начинал он похаживать, точно кот, вкруг Бобынина.

— Так-с... Очень рад-с...

И лукаво он втягивал воздух губами:

— Всс... ввсс...

И уже вылетал он в переднюю:

— Почистите сюртучок-с!

Нарочно громко, чтоб слышал Бобынин, что он собирается из дому на заседанье; влетал; и часы вынимал, и держал их нарочно в руке пред уже засыпавшим Бобыниным; давши поспать ему так с полчаса (для того и часы вынимались,— отец любил делать все точно при помощи мер и весов),— мой отец восклицал:

— Ну-с, мне пора-с,— по делу!

И вовсе не давши опомниться Бобынину, способному остаться в кресле без папы, Бобынина под руку взяв, вынимал его ловко из кресла; подшаркивая и подпрыгивая, точно кошка с попавшейся мышкой, с Бобыниным несся в переднюю он; и старик добродушно кивал головою и палец вкруг пальца вращал. Вылетали на лестницу вместе,— стремглав; отец скатывался горошком по лестнице; и, тяжко запыхавшись, падал Бобынин за ним со ступеней; вывлекши Бобынина, мой отец безапелляционно показывал на Арбат:

— Ну-с, вам сюда!

И потом указывал на Денежный переулок:

— А мне сюда-с!

И, стремительно бросив Бобынина, он влетал к нам на двор, через Денежный; и появлялся из черного хода в столовой:

— Ну вот-с!

— Мертвец,— раздавалась по адресу Бобынина безапелляционная резолюция матери.

— Шурик, оставь: он ведь умница; человек прекрасный; почтенный ученый!

— А зачем же он ходит к нам в гости дремать?

— Он, знаешь ли,— устанет и ищет рассеянья; он, Шурик, не какой-нибудь светский шаркун! — и шарк вычислять: в кабинетик.

Я ж бывал в совершенном восторге от техники извлеченья Бобынина; мой отец оперировал с ним, как лакей ресторанный, откупоривающий бутылку,— с пробкой.

Решительно, но и гуманно: сперва даст поспать полчаса; и следит по часам; двадцать пять минут прошло,— нельзя трогать Бобынина; тридцать прошло — нет Бобынина!

Бедный Бобынин, не раз извлеченный, являлся, хотя и не часто: опять извлекаться; большое чело, седина, безобидная кротость больших голубых водянистых глаз, детская очень улыбка — все это внушало мне жалость; как будто бы жест молчаливый явленья его говорил:

— Я... я... я... ничего: я — на все согласен; я — сяду вот тут: буду слушать; но уж не спрашивайте ни о чем меня; и — не гоните!

Умер отец; не являлся Бобынин; наткнувшись на статью о египетской математике[56], после уж я подумал:

— И это Бобынин писал?

— Тот Бобынин?

— Да он... он... он... умница?

Вот что делал наш быт с математиками.

Совсем иным в днях детства и отрочества отпечатлелся мне другой математик, Болеслав Корнелиевич Млодзиевский; почему-то я вижу его в паре с Умовым,— с Умовым, о котором я буду говорить как о своем профессоре; весьма талантливый человек и, как Умов, умница, но с умом, иначе поставленным, Болеслав Корнелиевич занимал меня; его помню: доцентом; потом экстраординарным и ординарным профессором.

Прекрасный лектор, преподаватель ряда высших учебных заведений, не чуждый весьма философии, даже способный заглядываться в сферу искусства, он кое-что в нем понимал: более от ума, чем от чувства; и он — хорохорился; Умов садился в кресло опочивать в созерцании физических космосов; Млодзиевский,— вскипая из кресла, соскакивал с кресла; и — начинал вертеться волчком; Умов торжественно выступал в буднях быта; а Млодзиевский,

вертяся, задевался о косности, издавая особый «жуж»: «жуж» волчка; был — вертуном, непоседой.

Его огромная голова с огромным лбом, продолжавшимся в лысину, увенчивалась дыбами, торчавшими перпендикулярно к плоскости черепа; маленькая бородка дрожала; золотые очки сверкали; увидав эту огромную голову, трудно было б предположить, что она сидит на худом и крохотном тельце, соединяясь с ним тонкой шеею; и голова — заваливалась назад; и, завалившись, вертелась, оглядываясь беспокойно, с лихорадочно горящими глазками на бледненьком личике; иногда Млодзиевский, вдруг нагнув низко лоб, его взмарщивал, производя впечатление бычка, готового к бою; а нервно-бесцветные губки — дрожали обиженно; верхняя часть лица метала и громы, и молнии; нижняя — плакала. Он не ходил, а — носился, вертясь и припрыгивая, гордо выпятив грудку, отбросивши голову.

Если Умов входил, как на цыпочках, в быт, чтоб его не расплющить (в пространствах космических вовсе иные масштабы), то в быт Млодзиевский влетал со всех ног; и жужжал, и толкался о косности; можно было бы думать, что нес революцию в быт; все ж сводилось — к поправочке, к маленькой: к перестановке — малюсенького предметца; и маленький, но удаленький профессорок колотился беспроко о прочные кресла; и — ничего не расстраивал: много шуму из ничего; когда Умов из кресла гласил свое «как поживаете»,— вздрагивали: не несется ль комета на нас?

Млодзиевский волчком тарахтел, сыпал двойками, проявлял придирчивость на экзаменах; и даже казалося, что он колеблет устои... пепельницы на столе (не устои стола); шум — на заседаниях, двойки — студентам; и — вся революция.

Он — что-то видел сквозь быт; это стало мне ясно позднее; и вздрагивал от... драмы Ибсена; встретясь с ним на «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»[57], я не узнал его: он не жужжал, а бледнел; и выпячивал очень свою задрожавшую губку, готовый расплакаться:

— А?— он воскликнул, увидевши мать.

— Вам нравится?

— Четвертый раз вижу.

Ибсен его укладывал в лоск; я, хотя студент, но уже старинный «ибсенист» к тому времени, не переживал, вероятно, и одной трети волнения Млодзиевского. Казалося, что пред виденной драмой он сотрясался, как годовалый младенец, которому не полезно столь мощное впечатление,

которого надо скорей, снявши с кресла, запеленать, отвести домой, уложить в постельку, чтоб он, отоспавшись, к утру бы мог возвратиться к профессорским функциям: двойками сыпать, *жужжать*.

Умов — тот мог бы по-ибсеновски, взять палку; и пойти на вершину, как Боркман, как Рубек, как Брандт;[58] Млодзиевскому же виды на горы весьма были вредны, хотя он устраивал революцию пепельниц на столе у нас; надо его было порой усаживать в твердость профессорских кресел, в которых-таки он уселся до просидения ям, потому что и в них тарахтел; но тарахты его революций не делали.

Что ж, — превосходный научный работник, прекраснейший лектор, весьма образованный!

Огромная, пренадменно закинутая голова, недовольная всем; и — весьма миниатюрное тельце: голова — перерастала быт; тельце — не дорастало; и большой головой, головою одной, прожужжал он по жизни из кресла профессорского; ножки — не достигали до пола; едва на него он вскарабкался.

Что он карабкался, мне стало ясно из нескольких дней, проведенных в дороге с ним; мы, едучи в Париж, встретились с Млодзиевским на вокзале, в Москве; он ехал в Берлин; и мы прожили в одной гостинице, рядом, — в Берлине;[59] жена его — красная очень, грудастая очень, губастая очень; такой же сынок; Млодзиевский в вагоне сидел, как ребенок; и, глядя на груди профессорши, можно бы было дойти и до мысли такой: вот кто мог бы грудями его откормить! Всю дорогу вертелся он, схватываясь за карманы и поднимая волну беспокойств за волной; и жужжал, и стенал: где билеты, не сходим ли с рельс, паспорта ли в исправности; в Берлине же те перепыхи увеличились и осложнилися гонором и беспокойством; из трепыхов семейно-вагонного быта стали они перепыхами себя не унизить во мненье берлинских коллег; едва вынули его из вагона, как из лукошка цыпленка, как он, оперяся, стал бегать по улицам с пренадменно закинутой головою громадной своей, наслаждаясь рассказами нам и семье, как его принимали и как называли его не «хер доктором», как при недавнем наезде, а «хер профессором»; мне стало ясно: действительно стоило многих усилий ему оказаться в том кресле, с которого он под влиянием Ибсена мог же упасть; и — разбиться.

Так юрк, фырк и жуж Млодзиевского, умницы, на косность быта вокруг имели значимость лишь при условье солидной подставки, — того же все быта; от жизненных

встреч и внимательного изученья жестов профессора мне отложился он мыслью о том, что и большие головы при малых телах не могли сдвинуть косностей.

Не большие мысли тут нужны были: большие дела!

Другой образ встает, подаваемый памятью с математиками; не математик, а физик, окончивший математический факультет с математической выправкою, называющий себя учеником отца, хотя был по возрасту близким отцу — Николай Алексеевич Умов; мне он особенно удивителен сочетанием блеска, ума, прекраснейших душевных качеств; и — скуки; такова реакция Умова на быт, как на лакмусовую бумажку; сунь одних людей в этот быт, и человек окрасится в красный цвет холерически развиваемых интересов к быту, затрепыхается в нем, как воробей в пыли (тем хуже для него!), являя интересное, нескучное зрелище, но... неприятное зрелище; другой человек, сунь его в этот быт, окрасится интенсивно синею скукою; интересный в статьях Бобынин реагировал на быт потрясающей скукою, развиваемой им; Млодзиевский — развивал перепыхи; Бобынин мне симпатичнее.

Умов был тоже скучен, при разгляде издали, а таким разглядом были мне его посещения нас, разговоры его с моей матерью и т. д.: по существу он — живая умница, интереснейший человек, глубокий ученый, философ, чуткий к красоте, общественный деятель; как-то: он волновался проблемами демократизации знаний; читал физику и медикам, и агрономам, живо действовал в комиссии по реформе средней школы в 1898 году; не ограничиваясь публичными речами, прекрасными по форме, глубокими по содержанию, он печатал статьи в журналах и газетах, организовывал и двигал «Общество содействия опытных наук» имени Леденцова;[60] болел студенческими волнениями; в эпоху Кассо он демонстративно ушел из Университета;[61] друг и постоянный собеседник Мечникова (в бытность последнего в Одессе) и Сеченова[62],— разумеется, он не был «скучен»; он казался таким мне в условиях быта, где ему предлагалось не блистать афоризмами, а говорить так, как «*у нас*» говорят; пресловутое «*у нас*» деформировало мне мои детские представления о впоследствии столь любимом профессоре. Но даже в скуке в нем было нечто монументальное; не просто скуку он выявлял, а саму, так сказать, энтропию, мировое рассеяние энергии.

Но эта скука получала и объяснение, и раскрытие, когда Николай Алексеевич всходил на кафедру: сверкать умом, жизнью, блеском, срывать голубой покров неба и показывать коперниканскую пустоту в величавых жестах и в величавых афоризмах, которые он не выговаривал, а напевно изрекал, простерши руки и ставя перед нами то мысль Томсона, то мысль Максвелла, то свою собственную: «На часах вселенной ударит полночь...» Пауза: «Тогда начнется — час первый...» Или: «Мы — сыны светозарного эфира»... или: «Ньютоново представление силы описало магический круг вокруг атома...» Он любил пышность не фразы, а углубленной мысли, к которой долго подбирал образ... И образы его были крылаты; он ширял на них; и ставились они перед сознанием нашим всегда неожиданно, при демонстрации очень помпезно обставленного опыта. Он любил помпу в хорошем смысле; и поражал наше студенческое воображение *.

Никогда не забуду, как однажды по взмаху его руки упали все занавески в физической аудитории: мы — остались во мраке; вспыхнул луч проекционного фонаря, с потолка спустилась веревка с гирею, которую раскачали тут же; и мы внятно тогда увидели на экране появление тени и отлетание тени; а мрак пропел голосом Умова: «Мы присутствуем при вращении земли вокруг оси».

А как он готовил нас к событию обнародования трех принципов Ньютона! И, подготовив, вывесил гигантский плакат с аршинными буквами: «Principia, sive leges motus» (Принципы, или законы движения); войдя, мы ахнули; а он, подхвативши наш «ах», с великолепною простотою, но образно, вскрыл нам ньютонову мысль.

Он вводил в суть вопроса, как жрец, сперва протомив подготовкою; взвивал занавесь, и мы видели не историю становленья вопроса, а некую драму-мистерию; так, пленив нас вопросом, он углублялся уже в детализацию и раскрытие чисто математических формул.

Я потому останавливаюсь на Умове, как лекторе, что, пожалуй, из всех профессоров он был самый блестящий по умению сочетать популярность с научной глубиною, «введение» с детализацией: редкая способность!

И через двадцать лет, вспоминая его, я отразил Николая Алексеевича в стихах:

---

* Эта любовь к эстетике опыта получает освещение в эстетическом восприятии самой физической вселенной, как арфы, Н. А. (См. очерк, посвященный Н. А. Умову профессором А. И. Бачинским)[63].

И было: много, много дум,
И метафизики, и шумов...
И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов.

Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию,—

Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновые вихри
И что огромные миры
В атомных силах не утихли...[64]

Статьи Умова, касающиеся вопросов общей физики, не уступают классическим, цитируемым речам мировых ученых,— Томсона, Лоджа, Пуанкарэ. Умов в лучшем смысле был не только философ, но и бард физики; он заставил и приучил меня на всю жизнь с глубоким трепетом прислушиваться к развитию физической мысли; и еще недавно, в двадцать седьмом году, возвратясь к некоторым проблемам атомной механики, читая Иоффе, Френкеля, Михельсона, Томсона и Резерфорда[65], я благодарил Умова за ту подготовку, которую он нам некогда дал. Прошло двадцать семь лет; но, едва коснувшись физики из совсем других горизонтов, я нашел в себе все то, что им было выгравировано в моем мозгу; он дал возможность почувствовать самый ритм кривой истории физики[66].

Н. А. Умов был новатором; в его голове бродили научные идеи огромной важности; он первый сформулировал идею о движении энергии, которая укоренилась в науке, подтвердясь в специальных работах.

Сперва он вскрывает реальный базис понятия «потенциальная энергия», как кинетической же, т. е. реальной, но конкретно не вскрытой в данной системе сил; теоретическая замкнутость системы становится фактически не замкнутой, ибо она замкнута в средах, еще не ощупанных реально. Позднее он меняет формулировку своего принципа, формулирует понятие о плотности энергии и т. д.; проводит он свою мысль в ряде конкретных работ (дает ряд дифференциальных сравнений, конкретизирующих его положение) — вплоть до теории упругости, его теоремы становятся известны за границей; «закон Умова» входит в историю физики, в сфере электромагнетизма его теории подтверждаются позднее английскими физиками, к корпорации которых он принадлежит, как «доктор» Глазговского университета; его работы рекомендует вниманию гени-

альный Томсон (Кельвин); его раннюю работу о стационарном течении электричества использовал Кирхгоф в формах, нарушающих добрые нравы науки (т. е. почти сплагировал) *.

Убежденный картезианец, он, однако, менее всего страдал узостями «механизма», подобно многим картезианцам своего времени, соединяя четкость методологической мысли с высокими и глубокими полетами.

Умов был вдохновителем и интерпретатором высот научной мысли.

Высокий, полный, седой, с огромным челом, с развевающимися «саваофовыми» власами, с прекрасной седой бородой и с мечтательными голубыми глазами, воздетыми *горе*, с плавно дирижирующей каким-то кием рукой,— кием или жезлом, которым он показывал то на доску, то на машины, приводимые в движение тоже в свое время знаменитым ассистентом Усагиным, он — пел, бывало; и — некое «да будет свет» слетало с его уст.

Лекции Умова по механике напоминали мне космогонию; ход физической мысли делался воочию зримым; формулы вылеплялись и выгранивались, как почти произведения искусства; кинетическая теория газов была им, так сказать, соткана перед нами из формул, как тонкая шаль, которой он попытался окутать и мир жидких тел, и мир твердых, как ступени осложнения тех же простейших газовых законов. Огромная область физики была им высечена перед нами, как художественное произведение, единообразное по стилю; мы почти видели, как из хаоса молекулярных биений сваивалась предметность обставшей видимости.

Таков был он на лекциях: крупная умница, свободная от ряда предрассудков; он был смел предельно; это явствует из того, что мой реферат ему «О задачах и методах физики», в котором я позволил себе ряд смелейших допущений, был им отмечен именно из-за смелости;[67] за минимальное отступление от канонов в статье моей «Формы

---

* Заимствую эти данные из «Очерка жизни и трудов Ник. Ал. Умова», написанного проф. А. И. Бачинским, внесшим корректив в мою летучую характеристику научной деятельности профессора и указавшим мне на роль Н. А., как творца научных идей, за что я приношу благодарность проф. Бачинскому; будучи знаком с Умовым-лектором, педагогом и автором блестящих статей, я, увы, был неосведомлен о значении его чисто научных работ; и у меня слетела в первом издании «На рубеже» неосторожная фраза об Умове-ученом: «Сам он не был открывателем новых путей». Оказывается, он-то им и был. Спешу исправить в этом издании погрешность первого издания.

искусства» покойный Сергей Трубецкой отказался от председательствования в обществе [68], где статья должна была быть прочитанной; наоборот,— прочитанная моя статья в академическом семинарии у Умова, и беспомощная, и дерзкая, не испугала Умова.

Уже около 1912 года, встретив меня на улице, он меня остановил; и, между прочим, напомнил:

— А помните вашу статью на моем семинарии: я ее сохранил...

Так же он был широк на экзамене; и — хотя требователен по отношению к минимуму знаний, им нам выдвигаемому, как обязательному; за незнание типичных формул он ставил двойки безжалостно; и — никогда не придирался; еще он требовал ясного понимания метода; и очень любил теоретическое расширение вопроса; и когда я позволил себе начать доставшийся мне у него на экзамене билет («Механическая теория тепла») с методологического расширения и начал говорить о механическом мировоззрении вообще, да еще увлекся, он, провоцировав к философии, оборвал меня, едва дело дошло до опытов Джоуля, поставил «5»; другой на его месте оборвал бы не на Джоуле, а гораздо раньше словами: «Ближе к делу». А он влек меня прочь «от дела», билета,— к сути, к основам теории тепла.

Мы и встретились прекрасно, и расстались прекрасно.

Да, а в быту он был... необыкновенно скучен, производя впечатление запутавшегося; от испуга ли, от снисхождения ли к мещанству, от доброты ли, он силился облечься в быт, как в новые брюки, боясь посадить пылинку невнимательности на то, к чему он и не мог быть внимательным; он расхаживал среди бытовых фигур, как слон средь жучков, боясь ступить: слон был очень добрый; поэтому: он и ступал особенно, и примолкал особенно, склоняя набок большую, прекрасную голову; и вдруг возглашал:

— Какая прекрасная погода!

А в тоне можно было прочесть:

— Бьют часы вселенной первым часом!

И все ощущали гиератику интонации; и — невольно молчали; и — он молчал, явно сконфуженный.

С той же торжественностью он выступал на прогулках с палкой и шапкой в руке, производя не смешное, а странное впечатление: так выступали герольды, возвещавшие коронацию Николая Второго, с перьями на шляпах, с жезлами в руках; и надо было его облечь в костюм средневекового доктора.

Таким он являлся к нам в дни именин отца, 6-го декабря; и своему появлению предпосылал огромный кремовый торт; этот торт появлялся ежегодно.

Умов появился в Москве уже на моей памяти (из Одессы);[69] и называл себя учеником отца (отец был еще молодым магистрантом, когда Умов, четверокурсник, учился у него).

Торжественным герольдом явился мне в детстве Умов; что возглашал, понять я не мог; но и «профессоршам» не были ясны жесты Умова; могло ведь казаться: он возглашает святость и незыблемость общих мест быта: незыблемость разговора о прекрасной погоде и незыблемость торта, им посылаемого; являлся он к нам, как будто произошло величайшее космическое событие; садился и умолкал; и после провозглашал:

— Погода прекрасна.

В день именин отца он казался церемониймейстером поздравлений; и так же поднес отцу адрес в 1902 году.

У него была милая, некрасивая супруга; и еще более милая дочка, Оленька.

В бытность нашу с матерью в Париже в 1896 году мы встретили Умова на Boulevard St. Michel; он так торжественно снял шляпу перед нами, что и мне и матери показалось: отныне — кончились невзгоды нашего заграничного путешествия (нам не везло); и когда Умов тоном, будто провозглашающим по-дьяконски «господу помолимся», сказал «не поехать ли нам в Швейцарию» (мы накануне решили ехать в Нормандию), то наша участь решилась; и мы с семейством Умовых проследовали в Берн, а оттуда в неинтересный Тун[70], показавшийся мне интересным после того, как Умов, указывая на самое обыкновенное дерево, провозгласил:

— Какое прекрасное дерево: у нас нет ничего подобного!

Я был сражен.

Умов дружил с профессором Эрисманом, жившим в Гюнтене и к нам приезжавшим; однажды все поехали к Эрисманам, кроме *меня* и Умова; *меня, мальчика*, сдали Умову на попечение; не знаю, кто кого испугался, оставшись вдвоем на весь день: я ли Умова, Умов ли меня: мы долго молчали, остолбенело глядя друг на друга; наконец Умов, крутя сигару, показал рукой на бутылку вина, склонив седины почтительно предо мною; и тоном огромного уважения ко мне произнес:

— Не хотите ли стакан вина?

Вина не давали мне; и я отказался, но — пережил я нечто праздничное; лед молчания был сломан; и он повел меня гулять, указывая на невиданные деревья и на несуществующие красоты Туна.

— Посмотрите, какая красота!

Когда вернулась мать, мне было жалко расставаться с Умовым и входить в комнаты из необъятного космоса. Не знавшие же источника торжественности Умова (перманентное созерцание парадоксов Максвелла) относили ее к увенчанию лаврами... пустого и общего места; и он ходил среди нас в «укрепителях» пустого устоя, он — революционер мысли, но — немой в быту; он освещал тысячную аудиторию, а его заставляли освещать... пыльное трехногое кресло; и вместо того, чтобы кресло вынести, он восклицал:

— Кресло — прекрасно: нигде я не видел такого!..

Вот еще математик: профессор Леонид Кузьмич Лахтин; скромный, тихий, застенчивый, точно извечно напуганный, точно извечно оскопленный, с маленькою головкою на высоком туловище, с редкой растительностью; он и в молодости имел вид... скопца; и уж, конечно, видом своим не хватал звезд; но отец отзывался о нем:

— Талантливый математик!

И Леонид Кузьмич любил нежно его: после смерти повесил его портрет в увеличенном виде у себя в кабинете, указывая на него матери; и говорил ей:

— Нет дня, чтобы я мысленно не обращался к моему учителю и вдохновителю!

Отец любил Лахтина не только за тихую скромность, но и за ум; и, кажется, ему помог в первых научных его шагах; появился он у нас растерянным молодым человеком, садился в стул, ронял нос в стакан чая, перетирал влажными руками; и невероятно косил выпученными глазами; позднее он был и реальным помощником отца, как секретарь факультета при декане; и часто являлся с портфелем: под предлогом дел посидеть за чаем от 8 до 9 1/2, когда отец уходил в клуб. Отец распространялся при нем на самые разнообразные темы: от темы факультетской до комментария к Евангелию; Лахтин не распространялся, а слушал: роняя нос в стакан, перетирал влажными руками; и пучил глазки.

Этот небойкий светлый блондин с худым лицом и малой растительностью, вспыхивающий от стыда и перепуга

и тогда становящийся пунцовым, одно время почему-то вызывал в матери, болевшей чувствительным нервом, иррациональные взрывы негодования; и отцу указывалось:

— Тихоня этот ваш Леонид Кузьмич: сидит, молчит, косит, высматривает!

А мне выдвигалось:

— Вырастешь вот этаким вот вторым математиком: смотри тогда у меня!..

И я трепетал; и начинал со страхом поглядывать на перепуганного Лахтина и подозревать его самое появление у нас в доме.

Бедный Леонид Кузьмич!

Впоследствии мать устыдилась своей истерики; после смерти отца бывала у Лахтиных, возвращалась от них взбодренной и постоянно ставила в пример Лахтина:

— Прекрасный человек... А как любит Николая Васильевича!

А было дело: однажды явился Лахтин; мать, особенно нервничавшая, перед носом его и отца захлопнула дверь в гостиную; отец растерялся и, усадив растерянного Лахтина, клюющего носом в клеенку стола, стал его разгуливать; но из-за замкнутой двери раздалось отчетливо:

— Опять сидит тут этот косой заяц!

Лахтин стал малиновый; и через две минуты исчез; не был три месяца; и — опять появился *для отца, ради любви к нему*; в этом сказалось его достоинство, его моральная сила.

Умов — разумник; Млодзиевский — умник; Леонид Кузьмич же казался мне серым, убогим, неинтересным; казался — педантом; а он был гораздо талантливей Млодзиевского в математических выявлениях, по уверенью отца; и позднее я видел в нем некую силу прямоты и чистоты («Блаженны чистые сердцем»); пусть она проявлялась в узкой прямолинейности; у него было нежное, тихое сердце; и он многое возлюбил и многое утаил под своей впалой грудью, в месте сердца, которое спрятано под сюртуком, всегда наглухо застегнутым.

А когда я потом его видывал профессором в форменном сюртуке, бредущим по университетскому коридору со странно загнутыми кистями рук (точно он терял манжеты), с клюющим грудь носом, он казался человеком в футляре, верней... пигалицей в футляре, а может быть, и законсервированным пеликаном, клюющим собственное сердце.

Во всяком случае он был герметически закупорен в ясную металлическую жесть, в жестокую жесть университетского быта; и не противился, неся на себе в годах эту жесть.

И никто не мог бы сказать, что под этою жестью пылало сердце; и прядали математические таланты; а как трогательно он волновался во время болезни жены своей, когда был молод? А как нежно любил он отца?

Там, где Млодзиевский блистал красноречием и очками, Лахтин начинал поникать, моргать, косить, краснеть и мять руки, точно мучаясь своею бесталанностью (он-то и был талантлив в чистой науке!); а где действовало сердце, там он выказывал свой высокий, хотя и уплющенный, однолинейный рост.

Мать моя, некогда заподозрившая его кротость и не видевшая его научных талантов, предпочитала юрк Млодзиевского и блеск его холодных очков,— блеск стекла; но юрк Млодзиевского в культурных гостиных был лишь беспомощным метанием летучей мыши, попавшей из мрака в свет; Лахтин же откровенно садился в уголочек; и в «высшую» культуру не вмешивался; под сюртуком этого «формалиста» сердце билось тепло; и не укалывались о него, как укалывались о холодные осколки очковых стекол Млодзиевского.

Бобынин, Млодзиевский, Умов, Лахтин,— а не показываю ли я читателю коллекции ярких, редких уродств, махровых уродств? Нет, я показываю крупные, редкие, талантливые экземпляры вида homo sapiens; но, но: у одних менее обезображены ноги обувью, у других — более; те, кто носит жесткие башмаки и много ходит, у того больше мозолей; кто сидит пентюхом, мозолей не имеет; но мозоли — не предмет эстетического разглядения; покажи кто свои мозоли,— ему скажут: «О, закрой свои бледные ноги!»[71] А в Бобыниных, в Лахтиных мозоли большой работы вылезли на лицо; и рассеялись на нем бородавками: кричать издали; и люди указывали:

— Какой урод!

Урод, потому что много вертел головой в ужасных тисках быта, в результате чего мозоли вылезли и кричат с лица.

И никому невдомек, что это вопрос обуви, что надо что-то изменить в производстве обуви и не подковывать так ужасно ноги профессора; тут ведь «профессорша» могла

бы кое-что сделать; но мой разгляд этого быта мне показал: «профессорша» не только не боролась против изготовления железных башмаков и жестяных сюртуков, но находила, что — *так надо*, ибо — *так у всех*; начиналось ужасное «как у всех». Профессора затягивали в панцирь, и скоро знаки ужасной деформации, мозольные пятна, выступая на личности, появлялись и на лице.

Математики виделись мне особенно деформированными, точно они поставили девиз: «Никаких поблажек!» Мой отец только приват-доцентом попал в театр; может быть,— Леонид Кузьмич Лахтин... тоже? Математики, по моему наблюдению, меньше имели «авантюр на стороне»; под «авантюрой» разумею я выход в иной быт; имей они больше этих выходов, куда угодно, в какой ни на есть иной быт,— они бы не пришли к этому харакири, производимому над самими собою, как людьми; они не втемяшивали бы себе в голову кола общейших правил «нашего» и «только нашего» быта; Стороженко — тот общался и с Кони, и с Толстым, и с газетчиком, и с артисткой, и с просто читающей публикою; зоолог Усов изучал костяки, но и наблюдал живые замашки зверей; «биология» как-никак наука о проявлениях «жизни»; и Усов любил жизнь во всех ее проявлениях.

А чистый математик — читал, вычислял, ходил в гости к такому же вычисляющему математику; и когда наступал момент оперения и вылета в жизнь, то это как-то совпадало с обзаведеньем мебелью для «собственного» кабинета; вопрос застигал врасплох; о мебели-то он и не успел подумать; выступала проблема жизни; и интерес впервые,— *как что у кого*; у Анны Ивановны подают бутерброды с сыром по средам; у Ивана Ивановича по четвергам подают с ветчиной их; ага,— вопрос решен: по пятницам у Матвея Ионыча будут подавать одну вторую бутербродов с сыром, а одну вторую с ветчиною; в конце концов математик производил обобщение: сыр, ветчина — побочные признаки; общее всех бутербродов — кусочек хлеба; и последняя «ветчинка» жизни исчезала со стола; и математик, умопостигаемо себя посадивши на черствый хлеб, так привыкал к этой черствости, что даже потом черство требовал, чтобы и другие черствели над черствым хлебом.

И «как у нас» — начинало действовать.

Ранние годы детства были мне полем наблюдения энного рода молодых людей, оставленных при университете; они появлялись у отца; и мы с матерью удивлялись: откуда «такие» к нам ходят? Угрюмо являлись, усаживались,

вперялись в отца, не смели иметь своего слова; на нас — нуль внимания: точно человек сидит не за чайным столом, в квартире, вместе с живыми людьми, а внутри скобок алгебраического уравнения; вынести бы его за скобку, чтоб он хоть младенца-то разглядел, пялящего на него глаза с неподдельным ужасом, потому что все другие для этого младенца — живые люди: и мама, и тетя, и кухарка Дарья, и Николай Ильич Стороженко, а это — что? И начинало казаться, что не головка вытарчивала из воротника, а загнутый завиток интеграла; пришел тощий интеграл; и — сел за стол; и, вероятно, думает, что я, Боренька,— ползающий перед ним иксик.

Так с ужасом воспринимал я «второго математика»; «второй математик» — техническое выражение у нас в доме; и принадлежало оно матери; «первый математик» — папа: и это не «математик»: «математик» он — где-то там, в ужасном месте; у нас в квартире он — Николай Васильевич и — папа; а «второй математик» — это уже математик во-первых, во-вторых, в-третьих и в-последних: только математик; и я переживал ужас; и мать раздувала его; и все мозоли бедного деформированного нашим бытом незаурядного человека кричали ужасно на меня с деформированного лица, воспринимаемые не как знаки болезни, а как знаки почти преступности.

«Второй математик» стал мне уж чисто «мистическим» ужасом; вообразите ж мое состоянье сознания, когда мать, заливаясь слезами, с укором бросала мне:

— И ты станешь им!

4. ЧУДАК

И в отце выступали черты математика; но страшными они не казались мне; общественное мнение нашей квартиры производило быструю дезинфекцию, под действием которой все истинно математическое выступало в аспекте чудачества; было раз навсегда установлено:

— Николай Васильевич — чудак!

Легенды об отце, его рассеянности, смех, возбуждаемый им, вот что подано было проблемою мне: как совместить смех с уважением, пожимание плечами с оценкой деятельности.

Бунт против быта под формою шутки,— так бы я характеризовал смутное действие отца на меня; но странные поступки ему разрешались и... Марией Ивановной;

а мне — нет; и когда я, пародируя стиль отца, четырехлетним встал на лавочку Пречистенского бульвара и провозгласил прохожим: «А не хотите ли стать митрополитами», то был убран с лавочки; и — наказан; а отец не наказывался, когда говорил чушь. Почему? И голова моя заработала, и я решил вопрос так: можно посмеиваться, подмечать все смешное, но — про себя, чтобы отец, мать, гувернантка не замечали; и, увидевши у Лясковской своего крестного отца, Усова, я наблюдал его бородавки и с нарочитой невинностью спросил мать:

— Почему это у крестного папы на лице растет земляничка?

Я знал, что делал: все — сконфузились, а мне — ничего; «маленький» я!

Так же потом Боборыкину вынес «Будильник»[72] я; с карикатурою на него; на этот раз разоблачили меня: я стал носом в угол.

Я уже «чудил», следуя по стопам отца; у него я учился юмору и будущим своим «декадентским» гротескам; самые странности отца воспринимались по прямому проводу; «чудит», то есть поступает не как все; так и надо поступать; но у отца каламбуры и странности были «искусством для искусства»; у меня они стали тенденцией: нарушать бытовой канон.

Он говаривал:

— Не любо — не слушай, а врать не мешай.

А я видоизменил сентенцию, привеску к каламбуру:

— Доказывай, что бессмысленна наша жизнь!

Уже гимназистом знал «Боренька», что доброта чудачеств отца — выражение безволия, ибо даже он, такой большой, в плену у быта.

Не останавливаюсь на наружности отца; я ее описал в «Крещеном Китайце»; «Коробкин»[73] — не отец; в нем иные лишь черты взяты в остраннении жуткого шаржа; и — ничего общего в квартире, в семье с нашей квартирой и с нашей семьей.

Невысокого роста, сутулый, плотный и коренастый, зацепляющийся карманом за кресло, с необыкновенно быстрыми движениями, не соответствовавшими почтенному виду, в очках, с густой, жесткой каштановой бородой, он производил впечатление воплощенного неравновесия; точно в музее культур перепутали номера, в результате чего ассирийская статуя, попавши к фарфоровым куколкам, пастухам и пастушкам, должна была вместе с ними производить менуэтные па и сидеть на козеточках; и козетки

ломались; а куколки — разбивались; но «носорог» в гостиной монументально выглядел в чертогах Ассаргадона;[74] и отец становился изящным, легким, грациозным, едва усаживался за зеленый стол: заседать, из комнат же нашей квартиры он выгонялся — в университет или в клуб: играть в шахматы с Чигориным, Соловцовым и Фальком (однажды он выиграл и у Штейница).

В квартире у нас он казался трехмерной фигурой на плоскости; то есть его и не было, а были — проекции фигуры на плоскости; одна, потом другая; квадрат, трехугольник, квадрат; мы и не подозревали, что с нами живет четырехгранная пирамида; а *квадраты* и *трехугольники* — не отец, а странности отца, вызывающие смех, недоумение; порой — негодование.

Не Аполлон Аполлонович дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов направлениями земного шара: север, юг, восток, запад[75], а отец, уезжающий в Одессу, Казань, Киев председательствовать, устанавливая градацию: сундук «А», сундук «Б», сундук «С»; отделение — 1,2,3,4, каждое имело направления; и, укладывая очки, он записывал у себя в реестрике: сундук А,III,СВ; «СВ» — северо-восток; как он приставал ко мне, чтобы и я последовал его примеру:

— Преудобно, Боренька!

Приставал и к матери:

— Ты бы, Шурик!

На все он имел свой метод: метод насыпания сахара, метод наливания чаю, метод держания крокетного молотка, очинки карандаша, заваривания борной кислоты, запоминания, стирания пыли и т. д.

С невероятной трудностью «методами» побеждал он мышью суетню жизни, таская за собой музей методов; но за эти методы ему влетало у нас; методы отправлялись... в помойную яму; и он уже тихонько, исподтишка, схватывал меня, пятилетнего, в темном коридорике и, испуганно озираясь (нет ли мамы, тети, прислуги), вшептывал какой-либо из им изобретенных методов:

— Ты бы, Боренька, знаешь ли, не капризничал, а прочитывал до трех раз «отче наш»: урегулирует это психику.

Только на робкого человека, не искушенного ни методом, ни практическим знанием, что эти «методы» в загоне у нас, он, очень робкий дома, храбро нападал с методом; и иные с уважением его слушали, как метод урегулирует

хаос возможностей; стоило робкому человеку послушаться, как наступало учение:

— Вот так, эдак, а не так; как же вы это?.. Не так-с! — уже свирепо кричал он.

Кто его ближе знал, тот знал: не страшен «метод»; резкий жест отстранения, и — «метод» летел к черту; и отец кротко отходил и грустно поохивал, делясь со мной горем:

— Не хватает у них, Боренька, рациональной ясности!

Но у пятилетнего Бореньки не хватало тоже той ясности.

Не забуду обучения отцом крокетной игре старенького, робеющего учителя математики, Дроздова, имевшего несчастие стать его партнером и исполненного уважения к «профессору», переживавшему свирепый азарт «разбойника» и угонявшему шары к черту на кулички: совсем Атилла! В таком азарте он и напал на дрожащего от страха старичка:

— Не так-с! Опять не попали в шар... Эхма! — с презрительным отчаянием он замахивался на Дроздова.

— Как вы держите молоток? Кто так держит молоток? Вот как держат молоток. — И он уже выламывал руки и ноги Дроздова; и угрожал поднятым молотком:

— Прицеливайтесь!.. Топырьте ноги!.. Не так, топырьте же, я вам говорю!

И тут он был пойман с поличным проходящей матерью; Дроздов вылетел, как дрозд, из рук Атиллы, а Атилла, надвинув на лоб котелок, покорно вернулся к своему шару и уже Дроздову не угрожал ничем.

Вообще он никому ничем не угрожал; гром, тарарах, а — губительная молния не падала; но лицо освещалось улыбкой, как полярная ночь сиянием. Все же «методы» распаляли страсти отца; и согласись до конца Дроздов на метод держания молотка, он был бы обременен вторым, третьим, четвертым методом; читались бы лекции; и метод стирания пыли с башмаков излагался бы в пунктах и подпунктах: а, б, в, г и т. д. Каждый подпункт был бы сформулирован ясно, кратко, точно.

Он требовал формулировки; он все формулировал.

Бывало, в споре:

— А что есть сознание?

— А вы сами скажите-ка!

— Сознание, — и улыбка торжества едко пронзала спрашивающего, — есть знание чего-либо в связи с чем-либо.

Иные из формул его были оригинальны, изящны; спор его с противником сводился к требованию сформулировать; и он сократическим способом доводил до сознания, что спорщик употребляет слова, которых он сам сформулировать не умеет; как был свиреп отец в требовании формулы:

— Вот-с, Боренька, даю тебе пять минут для доказательства, что твой Гамсун художник.

И часы вынимались; и пять минут он молчал; но если я не успевал к концу шестидесятой секунды пятой минуты закончить защиту Гамсуна, проведенную в формулах ясного мышления, то уже никакие доводы не помогали; и, дело ясное,— от Гамсуна оставались лишь рожки да ножки; и — как он кричал! Можно было думать: не Гамсун громится, а изрекаются страшные проклятья отцом над сыном[76].

Покойный В. И. Танеев, наш критик быта, спокойно рассказывал:

— Еду на именины я к Николаю Ильичу; въезжаю на Сенную площадь; и уже слышу крик из глубины Оружейного переулка; понимаю, что спорит Николай Васильевич; и говорю извозчику:— Поворачивай-ка обратно: Бугаев спорит!

Такой факт имел место (дело было весной, и окна на переулок в квартире Стороженки были открыты); жена Стороженки потом жаловалась:

— Ужасно, дорогая,— Николай Васильевич кричал на Гамбарова, махал ножом; и лезвием его рубил скатерть; а скатерть-то не наша: взяли у знакомых; ну, думаю, погибла!

В споре отец схватывал любой предмет и им махал в воздухе; иногда и подкидывал в воздухе предмет; не сомневаюсь, что в данном споре профессор Гамбаров не сумел сформулировать.

Ужасны были схватки его с Боборыкиным; они кидались друг на друга, как быки; первое знакомство матери с Боборыкиным: где-то на обеде к уху ее склоняется лысая, багровая голова в очках и яростно шепчет:

— Когда ваш муж будет меня ругать,— не верьте ему!

Оказывается, незадолго до этого они кричали друг на друга:

— За такие слова надо вам оборвать уши!

— А вас надо — вот этим графином,— и был схвачен уже графин.

Их растащили; но скоро они помирились; и всегда отзывались друг о друге с нежностью, с сантиментальностью даже:

Они вспоминали минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они[77].

Между прочим: они вместе с М. М. Ковалевским организовали какой-то журнал, к которому было привлекли и Тургенева; впрочем, журнал не состоялся[78].

Споры отца — борьба за метод формулировки; брошюра «Основы эволюционной методологии» — инвентарь формулок; страсть к спору — оттого, что, терпя всюду неудачу при внедрении своих методов, отец переносил жажду к проведению метода в чисто теоретическую сферу: когда он вступал в спор, он знал, что на людях его не станут одергивать.

Когда я родился, отец обложился пятью огромными сочинениями, трактующими воспитание; он появлялся в детской с книгой в руке: читал няне метод подвязывания салфеточки; но — был изгнан.

Неизжитость потребности с методом внедриться в жизнь сказывалась при споре как свирепость; спорщик-Бугаев — московский миф восьмидесятых годов, как говорун-Юрьев, добряк-Ковалевский, весельчак-Иванюков, красавец-Муромцев, умница-Усов. О спорах отца ходили легенды; я их не привожу, не будучи уверен в их истинности; но вот что мне рассказывали об отце, вычитавшие этот эпизод с ним (он где-то записан): председательствуя на заседании, где читался доклад об интеллекте животных, отец, председатель, прервал референта вопросом, знает ли он, что такое есть интеллект; обнаружилось: референт не знает; тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду:

— Вы?

— Вы?

Никто не знал. Отец объявил: «Ввиду того, что никто не знает, что есть интеллект, не может быть речи об интеллекте животных. Объявляю заседание закрытым». Так и вижу его в этом жесте.

Методы, ясные формулы — это способ борьбы его с темнотой быта и — с парок бабьими лепетаниями; он изживался: в каламбурах и спорах; входя в быт,— провирался на каждом шагу; но вменил в правило: быть, как и все; поступать, как и все.

Не любил он священников: «попы» — предмет ироний, нападок, гнева; но перед «священником с крестом», приходящим справлять молебен, он усиливался не ударить лицом в грязь; дядя Георгий Васильевич выходил из комнаты; его же братец Николай Васильевич вступал в комнату; однажды, когда священник уже ушел, отец, впервые заметивший в зале висевший образок, бросился на стул, сорвал его, к нашему великому изумлению, и, потрясая им в воздухе, бросился к выходной двери; не успели мы прийти в себя, как он уже несся вдогонку за священником по входной лестнице — с третьего этажа, крича: «Батюшка, вы забыли свой образок».

А тенденция к точному уяснению всех обстоятельств и борьба с темнотой привела вот к чему: ночью на входной лестнице потухала лампа; однажды родители возвращались откуда-то в три часа ночи; во мраке мать, чиркнув спичкой, увидела спускающегося оборванца, притаившегося под одной из выходных дверей; со страхом пройдя мимо него, она следила, со страхом же, за отцом; он чиркнул спичкой и, осветив оборванца,— прыжком к нему:

— Вы кто-с?

И взял его за одежду:

— Я... я...

— Что вы тут делаете-с?

— Я...

— А,— вы жулик? Скажите пожалуйста,— жулик! Это — ужасно-с: вы — молодой человек; а — чем занимаетесь?.. А?..

Жулик, совершенно опешенный, моргал глазами; мать ужасалась: сию минуту он чем-нибудь хватит отца; отец, сформулировав жизненное поприще жулика, спокойно запахнулся в медвежью шубу и стал подниматься наверх; жулик, вероятно потрясенный, бежал вниз.

В быту он был «средь детей ничтожных мира»[79] всех беспомощней; в исключительных случаях пред ним пасовали жулики; где другие растеривались, там он проявлял находчивость, как... при тушенье пожара; трижды у нас загоралась квартира; и трижды отец с молниеносною быстротою бросался на пламень; и — пожар ликвидировался.

Но обыденная его жизнь — трагический срыв в «веке сем», начиная со срыва отношений с «Боренькой»; отношения эти были ликвидированы (об этом ниже); учась на

нем, я преждевременно увидел чудовищную неувязку между целеустремлением и данностью; в углублении неувязки вызрел во мне рубеж.

Ощущалось сериозное, чреватое неудобство: жить так, как жил отец.

5. О «ПРОПОРЦИИ» И «УВАЖЕНИИ»

Но ощущалось другое сериозное неудобство: жить так, как мать.

Отец влиял на жизнь мысли во мне; мать — на волю, оказывая давление; а чувствами я разрывался меж ними.

Трудно найти двух людей, столь противоположных, как родители; физически крепкий, головою ясный отец и мать, страдающая истерией и болезнью чувствительных нервов, периодами вполне больная; доверчивый, как младенец, почтенный муж; и преисполненная мнительности, почти еще девочка; рационалист и нечто вовсе иррациональное; сила мысли и ураганы противоречивых чувств, поданных страннейшими выявлениями; безвольный в быте муж науки, бегущий из дома: в университет, в клуб; — и переполняющая весь дом собою, смехом, плачем, музыкой, шалостями и капризами мать; весьма некрасивый и «красавица»; почти старик и — почти ребенок, в первый год замужества играющий в куклы, потом переданные мне; существо, при всех спорах не способное обидеть и мухи, не стесняющее ничьей свободы в действительности; и — существо, непроизвольно, без вины даже, заставляющее всех в доме ходить на цыпочках, ангелоподобное и молчаливое там, где собираются парки-профессорши и где отец свирепо стучит лезвием ножа в скатерть с «нет-с, я вам докажу»...; слышащий вместо Шумана шум; и — насквозь музыкальное существо; полоненный бытом университета, хотя давно этот быт переросший; и во многом еще не вросшая в него никак: не умеющая врасти; во многом, — непринятая в него; поэтому, хотя и непокорная, но боящаяся, что скажет... Марья Ивановна.

Что могло выйти из жизни этих существ, взаимно приковавших себя друг к другу и вынужденных друг друга перемогать в небольшой квартирочке на протяжении двадцати трех лет? И что могло стать из их ребенка, вынужденного уже с четырех лет видеть происходившую драму: изо дня в день, из часа в час, — двадцать сознательных лет жизни.

Я нес наимучительный крест ужаса этих жизней, потому что ощущал: я — ужас этих жизней; кабы не я,— они, конечно, разъехались бы; они признавали друг друга: отец берег мать, как сиделка при больной; мать ценила нравственную красоту отца; но и — только; для истеричек такое «цененье» — предлог для мученья: не более.

Я был цепями, сковавшими их; и я это знал всем существом: четырех лет; и нес «вину», в которой был неповинен. Оба нежно любили меня: отец, тая экспрессию нежности, вцелился в меня ясностью формулы; мать затерзывала меня именно противоречивой экспрессией ласк и преследований, сменяющих друг друга безо всякого мотива; я дрожал и от ласки, зная ее эфемерность; и терпел гонения, зная, что они — напраслина; но должно сказать: не полезно четырехлетнему и переживать всю горечь напраслины, и быть объектом внедрения методов; менее всего переживать их сцены «из-за меня», дрожа, что они — разъедутся, что этот разъезд возможен каждую минуту; возможен и тогда, когда небо квартиры безоблачно; я привык к тому, чтобы безоблачность в полторы минуты превращалась в свирепые ураганы; каждый миг в моей психологии мог сместить все: не оставить камня на камне; а наша квартира переживалась мной миром; и я жил в ожидании конца мира с первых сознательных лет: и это ожидание угомонилось лишь после десятилетия.

Первые впечатления бытия: рубеж меж отцом и матерью; рубеж между мною и ими; и — кризис квартиры, вне которой мне в мире не было еще мира; так апокалиптической мистикой конца я был переполнен до всякого «Апокалипсиса»; она — эмпирика поданной мне жизни; впоследствии, уже семилетним, наслушавшись рассказов горничной о «светопредставлении», я всею душой откликнулся на «судную трубу»; я только и ждал: «вострубит» отец спором, воскликнет мать нервами; и — конец, конец всему! Критику, рассуждающему об «эсхатологических» моментах в моем творчестве, я подаю простую, наиобъяснимейшую тему: как ему невдомек, что тема конца — имманентна моему развитию; она навеяна темой другого конца: конца одной из профессорских квартирок, типичной все же, ибо в ней — конец быта, конец века.

Мы наш «Апокалипсис» пережили на рубеже двух столетий.

В любви ко мне прогнанного от меня отца была горечь, был вечный страх; я нес эту горечь; и все-таки издали тянулся к отцу; в годах стабилизировались под контролем

ревнивого ока матери прилично официальные отношения; но говорить мы разучились надолго: заговорили друг с другом впервые, лишь когда я стал сам себя сформировавшим взрослым.

Любовь матери была сильна, ревнива, жестока; она владела мной, своим «Котенком», своим зверенышем.

— Мой Кот,— так называла меня,— и что захочу, то с ним сделаю! Не хочу, чтобы вырос вторым математиком он; а уж растет лоб: лобан!».

Вот первое, что узнал о себе: «уже лобан»: и переживал свой лоб как чудовищное преступление: чтоб скрыть его, отрастили мне кудри; и с шапкой волос я ходил гимназистом уже; для этого же нарядили в атласное платьице:

— У, девчонка!— дразнили мальчишки.

И — новое горе: отвергнут детьми я; кто станет с «девчонкой» играть?

Любовь родителей рано разрезала на две части.

— Что есть, Боренька, нумерация?— спрашивал отец, когда было мне пять лет.

— Как же, голубчик мой, опять не знаешь: ужасно-с!

А как знать? Не смею знать.

— Если выучишь,— помни: не сын мне!

Так угрожала мать; и эти угрозы реализовались тотчас же сценой с отцом, если он был тут; и гонениями ужасающей силы на меня с момента выхода отца; а он — всегда уходил; и дома был гостем; все прочее время — заседал вне дома иль вычислял в кабинете[80].

И я — не знал нумерации, формула которой читалась над моим носом из «Учебника арифметики» Бугаева (был такой);[81] и там что-то говорилось о Финикии; пусть лучше не знать нумерации, чем подвергаться ряду гонений: сперва Неронову, потом Диоклетианову и т. д.; [82] первые эпизоды истории христианства, вытверженные «с зубка», тотчас разыгрались во мне, как события арбатской квартиры; «мама» — на меня, мученика, выпускаемый лев; а отец — гладиатор, с ним борющийся; но участь его — быть растерзанным или быть обращенным в бегство: в университет, в клуб.

— Что он тебе рассказывал?

— Превращение гусеницы в бабочку.

— Ну, бабочка, это еще ничего...

Бабочка, как и цветок,— не вредит ребенку, а «нумерация», приближая «второго математика»,— запретная вещь; а то, что факт естественного рождения твердо усвоен ознакомлением младенца с историей развития и фактами

трансформизма, что «аист» отстранен, это — невдомек матери (и — слава Богу: а то и за бабочку мне влетело бы!); должен заметить: я не помню эпохи, когда я бы не знал, что человек произошел от обезьяны, ибо все то было посвоему впитано мною из шуток отца и разговоров его с друзьями, как-то зоологом Усовым, моим крестным отцом, ярым дарвинистом, у ног которого копошился в гостиной я, жадно внимая (слушать разговоры взрослых не возбранялось); вообще основы позитивизма и механического мировоззрения, полупонятные, разумеется, и разыгрывающиеся в сознанье мифично, были первой мифологией моей (до религиозной мифологемы); так: почему-то не гиббон, а цепкохвостая обезьяна казалась мне праматерью человека; и Самуил Соломонович Шайкевич, адвокат, у нас бывавший, за эту приверженность к цепко хвостой обезьяне меня поддразнивал:

— А ты — цепкохвостая обезьяна.

И насколько помню себя, помню «Зоологию» Поля Бэра[83] и прекрасный зоологический атлас для детей, который я рассматривал каждый день до семилетнего возраста; показывать зверей — тоже не возбранялось; возбранялась — нумерация:

— И одного довольно!

Возбранялась и грамота:

— Не смей учиться читать.

И я, складывавший из квадратиков слова «папа», «мама», вдруг их лишенный, пяти лет забыл буквы, которые знал четырех лет; семи лет я с трудом одолел грамоту; с пяти до семи — строжайший карантин:

— Не смей читать.

Мне гувернантки читали о зверях, рыбах; и я безошибочно показывал в атласе:

— Муфлон, ленивец, каменный баран!

«Ядом» естествознания я был охвачен до поступления на естественный факультет: первое увлечение переживалось четырех-пятилетним; второе — одиннадцати-двенадцатилетним; все грезы сводились к одному: «Когда ж я буду натуралистом?» Но пятилетний интересовался главным образом млекопитающими; двенадцатилетний специализировался на птицах (сочинение Кайгородова было изучено назубок) [84].

Описывая страдания, наносимые мне матерью, я был бы безжалостным сыном, если бы не оговорил: болезнь чувствительных нервов приросла к ней, как шкура Несса к умирающему Гераклу;[85] она испытывала невероятные

страдания; ее «жестокость» — корчи мук; в минуту, когда с нее снималась эта к ней прирастающая шкура, она менялась; в корне она была — прекрасным, чистым, честным, благородным человеком; потом видел я ее в процессе медленного выздоровления и высвобождения из-под ига несчастного недуга; и я с восхищением и с любовью на нее смотрел.

Она была в описываемый период вполне беспомощна; беспомощность — и болезнь, и условия воспитания.

Дед по матери, Дмитрий Егорович Егоров, переменил фамилию («Егоров» от «Егорович»), когда узнал, что его усыновивший «отец» (он был незаконнорожденный) — «отец» со стороны (он был богатый аристократ); дед разорвал все с отцом; и сам стал себя воспитывать; имея художественные наклонности, он кончил театральное училище; одно время он пел в хоре Большого театра; но скоро, уступая совету хорошего знакомого, купца, стал помогать ему в его деле, бросил театр, занялся коммерцией; позднее имел и свое дело (меха); у него был достаток; был он человек очень чистый и строгий, но — замкнутый; его друг — доктор Иноземцев; другой, хороший знакомый — доктор Белоголовый; с ними он затворялся у себя; бабушка была ниже его и по уровню развития, и по интересам, ее девическая фамилия — Журавлева;[86] где-то, через прабабушку, она была в родстве с Ремизовыми, с Лямиными и с другими купеческими фамилиями; с А. М. Ремизовым (с писателем) я нахожусь в каком-то преотдаленнейшем свойстве через прабабушку; мать помнит хорошо свою прабабушку (мою прапрабабушку); она ходила в мехах и в кокошнике; умерла же ста четырех лет; няня матери двенадцатилетней девочкой пережила двенадцатый год; я ее помню хорошо; она являлась к нам из богадельни, и мне вырезывала ворон; в доме у дедушки почему-то часто бывал молодой студент, Федор Никифорович Плевако; с Плевако были знакомы родители; но традиции знакомства шли через мать.

Любопытно: в доме дедушки (по матери) постоянно бывали какие-то Патеры; оказывается, эти Патеры отдаленные родственники моей бабушки (по отцу), кровной москвички; один из Патеров чудак-мистик, седобородый старик, изредка являлся у нас в доме; позднее, уже по смерти отца, он был потрясен моей статьей в «Новом Пути»;[87] и расписывался во всяческом понимании меня, тогда почти никем не понятого.

Дедушка Егоров имел уязвимую пяту: боготворил свою Звездочку (так звал мою мать);[88] и разрешал ей все, что ей ни взбредет в голову; так стала пятилетняя Звездочка тираном в доме; дедушки боялся весь дом, а дедушка боялся Звездочки; так и произошло, что Звездочка, будучи в четвертом классе гимназии, объявила, что из гимназии она выходит; дедушка не перечил: началась эпоха домашних учительниц, которые, разумеется, Звездочку ничему не научили, кроме музыки, которую она любила; наоборот: *она их учила*. Одна из воспитательниц стала позднее другом матери; она бывала у нас: Софья Георгиевна Надеждина, дочь Егора Ивановича Герцена, жившего слепцом на Сивцевом Вражке, впавшего в нищету, которому помогали старики Танеевы: с Сивцева Вражка и приходила Софья Георгиевна к нам, оставаясь верной насиженному месту; по Сивцеву Вражку гуляли мы; здесь же жил Григорий Аветович Джаншиев, о котором ниже.

Дедушка умер сорока пяти — сорока шести лет; бабушка в год лишилась всего, отдав деньги в руки какому-то негодяю; наступила ужасная нищета; и одновременно — заболевание матери, полюбившей одного из Абрикосовых (сыновей фабриканта), которому родители запретили жениться на матери, как нищей (Абрикосовы — хорошие знакомые дедушки); мать ряд лет любила его; у нее было множество женихов, среди которых были и богачи; но она всем отказывала, к негодованию бабушки; и терпела нищету.

С отцом познакомилась она на предводительском балу; странно: отец в молодости, томясь тем или иным математическим открытием, испытывал настоящие муки творчества; и, чтобы рассеяться и угомонить мысль, начинал бывать всюду; и — на балах; отец был поклонником женской красоты; но чтил в красоте какие-то геометрические законы; когда ему указывали на хорошенькую, он подбегал к ней, тыкался носом в нее, подперев руками очки, и измерял соотношения: лба, носа, рта; на фигуру, на жест не обращал он никакого внимания; лишь на геометрию линий лица. Мать, по настоянию ее кузена, Лямина, была почти насильно свезена на бал, и произвела сильнейшее впечатление; открылась новая московская красавица; рой юношей, офицеров, старцев потянулся к ручке новоявленной «знаменитости»; сам генерал-губернатор, князь Долгорукий, попросил разрешения представиться; отец, увидав мать, увидел искомую им формулу соотношения про-

порций: лба, носа, рта; и — тоже представился; из этого представления возникло знакомство: отец, попав в дом матери, ахнул, увидев ужасный развал, нищету; и даже: опасности, грозящие «московской красавице»; он стал другом дома, опекуном, спасителем, сторожем; и — влюбленным; три раза делал он предложение; и — получал отказ:

Но я другому отдана
И буду век ему верна[89].

Наконец мать согласилась; отец женился на пропорциях: лба, носа, рта; по-видимому, было нечто в пропорциях, потому что их отметил и Константин Маковский, знакомый отца, изредка заезжавший к нам в бытность в Москве; он сам признавался, что взял голову юной матери образцом картины своей «Невеста на свадебном пире»;[90] лицо матери служило ему моделью для «невесты», а лицо сестры жены (кажется) Е. П. Летковой (потом Салтановой)[91] служило моделью для ревнивицы, стреляющей глазами в невесту; Леткова-Салтанова где-то часто встречалась с родителями; и ее с матерью сажали перед Тургеневым на интимном обеде в честь него, как декорум; в раннем детстве помню говор вокруг нее: «В Москве три всемосковских красавицы: Баташова, Рутковская, Бугаева».

Я очень гордился «славой» матери; но я никогда в ней не видел так называемой красоты.

Мать вышла замуж за «уважение»; отец женился на «пропорциях»; но ни «уважаемых пропорций», ни «пропорционального уважения» не сложилось никак. Все было для меня непропорционально; и никаким уважением к быту нашему не пылал я; «пропорции» — давили; а вместо уважения я испытывал страх.

Скоро мать обрела себе подругу по балам, куда естественно выпорхнула из нашей квартиры; дом подруги и увозы ею матери на балы, в театры и т. д. вызывали изредка кроткие реплики отца:

— Они, Шурик мой,— лоботрясы.

Они — бальные танцоры и частью знакомые Е. И. Гамалей, тоже «красавицы», подруги матери; потом она разошлась с мужем, переехала в Петербург, выйдя замуж за оперного певца, А. Я. Чернова; отсюда: знакомство матери с Фигнерами[92].

Но «лоботрясы», кавалеры матери, потрясали детское воображение: вдруг появится в нашей квартире лейб-гусар; и сразит: ментиком, саблей, султаном, гродненский

гусар, Сорохтин, брат Е. И. Гамалей, меня восхищал; но тут поднимался отец и гусаров вышучивал.

Помнятся еще имена молодых людей, с которыми мать часто встречалась у Гамалеев или чрез Гамалеев: графы Ланские, князь Трубецкой (предводитель дворянства), Похвисневы, Кристи, капитан Банецкий, братья Хвостовы (в их числе — будущий недоброй памяти черносотенник).

«Котик», по представлению матери, должен был стать, как эти «очаровательные» молодые люди, а в нем уже наметился «второй математик»; и — поднимались бури.

— Уеду и увезу Кота! — восклицала мать.

— Никогда-с! — восклицал отец.

И — бой гладиатора с львицей: опять и опять разгорался; а я — опять и опять ждал: светопредставления.

Но что мне делать? Интересно с отцом углублять мысли о «цепкохвостой» обезьяне; нельзя! Интересно мечтать о гусаре Сорохтине: каков султан, какова шапка! Опять нельзя!

Между гусаром и цепкохвостой обезьяной в виде «Бореньки-доцента» рвалась моя жизнь: в центре разрыва образовывалась торичеллиева пустота[93], черное ничто; но этим центром было «Я» ребенка; и «Я» — падало в обморок; начинались кошмары: я кричал по ночам; был призван доктор; он заявил:

— Не читайте ему сказок; у него слишком пылкая фантазия![94]

Фантазия была пылкая; но фантазия над фактами действительности, а не над сказками; сказки, наоборот, темперировали, смягчали уродства несоответствий; если бы доктор был проницательнее, он бы должен сказать:

— Читайте ему сказки: авось, он забудет в них бред этой квартиры.

Весь источник кошмаров — драма жизни; всякое равновесие надломилось во мне; еще бы: ломали и отец, и мать; главное, я уже инстинктивно видел: они — надломлены сами; не они ломали, а их ломало.

Среда ломала.

Глава вторая

СРЕДА

1. КАРИАТИДЫ И ПАРКИ

Среда подалась с первым мигом сознания; я. наблюдательный, скрытный и тихий ребенок, не видящий вовсе детей, изучающий мужей науки, я рос одиноким «подпольщиком»; квартирочка — маленькая; детская и гостиная, полная взрослых, так сближены были, что я из детской мог слышать отчетливо, что говорилось в гостиной. Раиса Ивановна, гувернантка, умевшая еще накрыть плащом сказок младенца и вынести из мараморохов нашей среды, очень рано исчезла;[1] мне стукнуло — пять; Генриэтта Мартыновна[2], анемичная, бледная, вовсе немая, молчала часами; и мне сквозь молчанье ее проступила гостиная громкими спорами «кариатид» от науки и жен их, бормочущих парок; они появилися у изголовья кроватки; бывало,— не сплю я; и — слушаю, слушаю, слушаю...

И вылезаю в гостиную: понаблюдать.

Будь мать более посвящена в воспитанье младенцев, она бы нашла, что сиденье средь взрослых младенца есть верное средство приблизить к нему «преждевременное развитье», которого так ужасалась она; полагалось: он — маленький, не понимает; а «он» понимал, но — по-своему; то же, что понимал «он»,— опаснее было, чем понимание нумерации; он понимал, почему у «X» прячут профессора-мужа, когда в дом является красивая дама; но кое-что оставалось невнятным; сообразительность была, теперь вижу я, дьявольская; память — просто музей; я стыдился своих наблюдений, восседая на мягком ковре под ногами гостей с принесенной игрушкой, я схватывал факты, чтобы в постельке, перед сном, их осмыслить.

Многочасовые споры о Дарвине, Геккеле (Усов о Геккеле выражался предсдержанно), механицизме разыгрывались, как разыгрывались и сплетни, меня занося серой ти-

ною; в ней было душно: сравненья-то не было мне (я не вхож был в другую среду); может быть, то, что слышал,— прекрасно; а может быть,— преотвратительно; сравнивал факты с сентенциями отца о морали; твердил он:

Говорят, широко мирозданье,
Человек же ничтожен и мал,
Но гордись человека названьем
Ты, кто мыслил, любил и страдал[3].

И вот, сравнивая те строчки со слышимым вокруг меня, я уж знал, что у нас обстоит неказисто весьма с «человека названьем», что круг наш в его средней линии — мертв, туп и пресен; давило меня нечто в нем, как бы воздух выхватывая; теперь вижу: давили — ужасная косность и статика; осознавалося: мне не взвалить на себя этих правил, воспринимаемых тяжеловесными и неплавимыми канделябрами; я же любил все текучее, как огонек, как водицу, как солнечный зайчик на печке; от слов иных замертво падали мухи; и — замерзала вода.

Начинались кошмары, в которых являлась какая-то мне «ядовитая» женщина (читай профессорша); и — кто-то гнался (сорвавшаяся с фронтона кариатида); и бухающий тяжкокаменно «по штатиштичешким данным» сосед, И. И. Янжул (он так выговаривал), рос мне из темных углов по ночам; как Раиса Ивановна унесла песни Уланда, Гейне и Гете[4], понятные сердцу, и как занемела сквозная моя Генриэтта Мартыновна, Янжулом бухнуло прямо в меня из гостиной:

— Бу... бу... у-у-у... штатиштичешким...

Бука пришел изо рта И. И. Янжула:

— Бу... бу... бу... бу...

Как из бочки: ужасно!

И тотчас же я закричал по ночам.

Вероятней всего, я вскричал от эмпирики быта; как,— это есть жизнь? Наша жизнь? Моя жизнь?

А тогда,— как же с этим:

Но гордись человека названьем
Ты, кто мыслил, любил и страдал...

И еще пугали слова об «абелевых интегралах»: что есть интеграл? Кто есть Абель?[5] И — то же: профессорша «У» собирается, бросив мужа, бежать с богачом умирающим «Х», чтобы он перевел состояние на ее имя; вдова «Н», багровая толстуха и коротконожка с ужасным лицом, запылавши страстями к профессору «С», его ловит; и пес-

ни ревет: «Все вы — хлопцы-баламуты». Профессор «С» — нуль внимания: видит какие-то корни (не огородные — греческие); лукавые «З» и «Т», приглашая их, вместе с тем приглашают — на них, чтобы полюбовались страстями пылающей «Н» и корнями профессора «С»; «Н» ревела у нас: «Баламуты!» Я думал про «С»:

«Баламут,— чего мучает; ведь изревелася «Н».

И — полубред начинался:

— Как же так? [6]

А с другой стороны, то и дело я слышал:

— Мы, мы...

Соль земли, или — светочи,— мы: мы — Москва, соль России (то — знал от отца); в Петербурге — чинуши да «лоботрясы»; профессора знают все; им подай лист бумаги и дай карандаш, жизнь мгновенно же урегулируется на листе этом в правилах высшего света; и вот они: борьба за существование у животных — у нас, у людей, есть гуманность прогресса; а форма ее — конституция; правительство и дурной городовой — не дают конституции; в церкви поп проповедует отсталые истины, кадя «угодникам», вместо которых когда-нибудь вмажутся Спенсер, Огюст Конт; тогда «жрец», иль поп, убежит; по ступенькам амвона к изображению Конта взойдет иной «жрец», научный: М. М. Ковалевский во фраке, неся шапо-клак (не Евангелие), чтобы провозгласить —«Кон-сти-ту-ци-я!»

Певчие рявкнут тогда Gaudeamus, которое знал я уже; папа наш перевел его.

И это есть тост, иль спич!

Уверяю читателей: переворот к «интеграции» Спенсера так мной прочитывался; конституция представлялась не столько мне в определеньях посредством понятий, сколь в выездах Муромцева, Ковалевского, Чупрова, Иванюкова во фраках: с какой-то трибуны сказать нечто витиеватое, что говорилося у Стороженок, и что говорилось М. М. Ковалевским у нас за обедом, над ростбифом: после он взял на живот меня (мягкий); М. М. Ковалевский был ведь шафером матери; годы парижские связывали с отцом его [7].

Знал еще: в крайнем случае будет не царь,— президент; и тогда даже В. И. Танеев, который, понюхав махровую розу у ананасной теплицы в именье своем, проповедывал все избиение крестьянами бар и помещиков,— угомонится; и, фрак свой надевши, куда-то поедет; и что-то там скажет.

Так воспринимал я слова.

Повторяю: основы конституционного строя и позитивистического мировоззренья восприняты были мной, как и цепкохвостая обезьяна, до мига, когда я сказал себе твердо:

— Я — я!

Я всосал это все в себя еще с карачек: на то «мы» — профессорский круг, чтоб младенцы у «нас» не так ползали, как у всех прочих, а конституционно и позитивистически.

Вообразите же весь кавардак в голове моей: удивительная предупредительность, даже подшарк пред прислугой отца (от души); и крик матери на нее; высочайший пафос моральной фантазии у отца; и все сплетни круга; мир, где звезда за звездою срывается с неба и чешутся хвосты у комет (наш Бредихин их чешет), и где годами — свалка: Марковников и Столетов гоняются за Александром Павловичем Сабанеевым и выгоняют его из какой-то там лаборатории; он — утешается: к Усовым ходит; и с Машенькою, репетиторшей Усовых, затворяется; Усовы ждут: предложение сделает.

Вот одна картина, которая вызвала ночной кошмар мой. Другая: кариатида-профессор — изваян в веках; если б мне прочитали «В начале бе слово»[8], то я бы поправил: университет, а не слово; и после уже шли «слова» в нем: М. М. Ковалевского, Муромцева-красавца; и — прочих; слова — на фронтоне, где кариатиды изваяны: с кафедрами; тяжковесно надвисли — превыше всего: И. И. Янжул, М. М. Ковалевский, Н. И. Стороженко; превыше их — усовский нос, прорисованный академиком Кушелевым в центре купола храма Христа Спасителя: нос Саваофа;[9] я — знал: нос-то — Усова!

В усовский нос верил я, потому что превыше всех — Усов, превыше ценимый отцом; его друг, «папа крестный» мой. Прелестью сиплых слов С. А. Усова я упивался; я им восхищался: и видом, и словом, и смехом, и трубкой его, и его бородавками; и мне казалось: наружность профессора Усова так же прекрасна, как и Саваофова; если бы был он седым, то взлетело б под купол лицо, все лицо, а не нос один; и раскидался б руками над всею Москвой, выше всех, С. А. Усов: Иванову колокольню поставь под тот купол,— уместится; это я знал; в храм Спасителя водили с бульвара меня: я гулял на Пречистенском.

Вот — две картины.

Они не увязывались в сознании.

Кариатидность, каменность, неизменная косность портала жизни; все, что менялось, менялось когда-то, при

Александре Втором; при Александре Третьем сплошное «во веки веков» водворилось. Я это уж слышал. Но водворившееся, обставшее — непонятно; ни «штатиштичешкие шведенья» Янжула, ни «шекспиризм» Стороженки, мне зримые в виде каменных гирлянд, обвивающих нависнувшие над миром кариатиды; под ними — багровая «Н» все ревет «баламутов» своих.

Результировать ставшее, навеки обставшее, я не сумел; а меня уже звали: стать там, где они все стояли — на веки веков; и профессор подмигивал:

— Вот, погоди, брат,— профессором станешь!

И старый Я. Грот прислал книгу младенцу; и надписал: «Б. Н. Бугаеву»;[10] старик Буслаев кормил пастилой: на бульваре Пречистенском; и Н. И. Стороженко, Н. В. Склифасовский (хирург), И. И. Янжул с охотою игрывали с нами, детьми; мне бы с девочкой, с Танечкой, на руки, чтоб прямо снесли нас в редакцию «Русских Ведомостей». Погубило же — преждевременное развитие; и желание срезультировать быт этот в целом его; результировать в целом не мог.

Результировала — крестная мать: Марья Ивановна Лясковская, которая принимала дань уважения: с Усова, с отца; и с других; представленье о ней мне сложилось: квартира ее есть какая-то там «Золотая Орда», куда едет профессор; и — дани везет.

2. МАРИЯ ИВАНОВНА ЛЯСКОВСКАЯ

Мария Ивановна Лясковская, урожденная Варгина (собственный дом на Кузнецком), жена Николая Эрастовича Лясковского, профессора химии, о котором писал мой отец: «Я его часто встречал у профессора Николая Эрастовича Лясковского, дом которого был связующим звеном для многих университетских деятелей того времени» (Н. Бугаев: «Сергей Алексеевич Усов»);[11] время — 1860—1865 годы; Лясковский скончался давно; но жена его, Марья Ивановна, крестная мать, превратила «связующее звено» в железные цепи; они на нас бряцали, точно тяжелые кандалы.

Что-то в лице ее было якутское: скулы монгольские, малые щелочки глазок безвеких, всегда приседавших в морщиночки приторные; всосы темные на серомертвых щеках, сухой, черство зажавшийся рот, разъезжающийся в улыбку-гримасу, слезливую, сантиментальную, чтобы,

разъехавшись, снова счерствиться безжалостно; жидкие, желто-зеленые, гладкие вовсе зачесы волос под наколочку черную; малый росток, худоба: совершенный одер; старомодное черное платье фасона древнейшего (пятидесятых годов?); очень узенькие нарукавчики, стягивающие кисти лапок лягушечьих; очень широкая юбка; распяленная тарахтящей крахмальною белой исподнею юбкой; гордилась, что носит такую:

— Белье, дорогая моя, коль не белое, так значит грязное; на белом же и пылинка видна; на цветном, так и все,— фунты грязи... Не гигиенично: у вас, дорогая моя, юбка нижняя — шелковая, розовая? Так и все... Нет, уж я — вот в какой.— И вздерг юбок, чтоб матери протарахтеть своим жестким крахмалом в лицо; да и не только матери: отцу, Сергей Алексеичу Усову, сыну его, «Паше» Усову, кому угодно:

— Так, все!

И прюнелевые старомоднейшие ботинки, нарочно, чтобы ногой — прямо в нос:

— Вот какие ношу,— так и все!

И опять — вздерги юбок.

Сергей Алексеевич Усов сипел:

— Она не показывала своих ног вам?

— ?

— Покажет: гордится размерами; «ножкой» гордится.

Старуху я помню с младенчества; было ей под шестьдесят уже; строгие нравы вносила; подтягивала знаменитых друзей.

— Так и все, дорогая: жена должна спать на одной — так и все — с мужем; так, да... постели... А вы, дорогая...

И, сморщившись медоточиво, все лапкой лягушьей подмахивала; точно высказала величайшую нежность; и глазки едва не слезились из щелочек; делалось страшно; профессор сопел, а жена опускала глаза.

Мне, ребенку, мой дядя, Георгий Васильевич Бугаев, глаза открыл трезво:

— Зеленый одер... пфф-пфф!

— Как можешь, Жоржик, ты личность почтенную так называть?— испугался отец; дядю мать прозвала «дядя Ерш» за колючесть.

Смысл Марьи Ивановны мне приоткрылся: *зеленый одер!* Здесь скажу: зарисовывая Аполлона Аполлоновича Аблеухова, я взял моделью наверное М. И. Лясковскую: в сухости, черствости, во внешнем виде, лишь вставив другие глаза да приставивши бачки; отрежьте их, вставьте

якутьи глазенки и в юбку оденьте сенатора — вылитая Марья Ивановна; некоторые же чудачества и черты нежности взял от отца.

Марью Ивановну чтили ужасно; пасла нас железным жезлом;[12] церемониймейстер профессорской жизни; вернее: церемониймейстер целого отделения физико-математического факультета. Профессора: Северцов, Борзенков, Усов, Бугаев, Щегляевы, Богуславские, Сабанеевы, Волконские, сколькие,— дани носили; откуда влияние это — не ведаю; только мне культ фетишей связан с этою куклой якутскою: чем не фетиш? И — пасла: когда Борзенков ел у нее, подстилали под ноги клеенку ему: он — сорил ей на зеркало пола; а Усова не принимали в гостиной малиновой (только в зеленой!): курил.

В узах держала!

Войдя к ней в переднюю, оробевали: от строгости, от тишины, от нас всех потрясающей чистоты; старая прислуга, Аннушка Егоровна, палец полижет, присядет на корточки; и — убирает сориночки с пола; предметы стояли в десятках лет те же; и — так же: те ж алебастры, та ж люстра хрустальная в зале; и «Вестник Европы» развернутый — там же, в зеленой гостиной; читала его с основанья; читала до смерти; и больше она не читала уже ничего из журналов.

Войдя в лакированную переднюю, отогревались сперва, чтоб хозяйке в лицо не пахнуть холодком: летом, весною, зимою поддерживалась температура на 16° по Реомюру; в 15 или в 17 градусах жить не могла: и жила таким способом лет тридцать пять.

Обогревшися, переходили в блистающий зал: обои — белые; пол же как зеркало; шли, боясь хлопнуться: скользко! По середине зала — видели зрелище: выход старухи навстречу, спешащей с перевальцем и уже в миг явленья из двери малиновой гостиной заклепывающей рот гостю сентенцией; для каждого — своею, выношенной в годах, повторяемой десятилетия; коли Бугаевы — одна сентенция; коль Сабанеевы, то уж — другая; приятнее прочих для Усовых: для Сергей Алексеича; после же для всех сынов: Алексея, Сергея и Павла Сергеича.

— Так, все — всегда говорю: всякий Гогенштауфен — лучший из Гогенштауфенов; так: всякий Усов... и — да... лучший Усов... И так, и все...

Произносилось все это скороговоркою, как прибаутка; и, топая каблуками прюнелевых, нарочито простых башмаков, семенила в гостиную, переваливаясь и махая ру-

чонкой; садясь, продолжала сентенцию новую, которая начиналась всегда:

— Я всегда говорила — так, да, Николаю Ирасовичу,— произносила «Ирасовичу», не «Эрастовичу»; и далее, под флагом беседы с «Ирасовичем», лет уж двадцать скончавшимся, выносилась суровейшая резолюция на то иль иное событие жизни (семейной, общественной) новоприбывшего гостя: уже сплетни собраны, произведен анализ; решение вынесено; появление гостя — предлог: ей прочесть приговор или выдать награду:

— Так, все: говорила всегда Николаю Ирасовичу: «Николя — не покупай мне лишних предметов; необходимое,— только оно украшает жизнь»... Так, да: у вас, дорогая моя, новый стол? Для чего? Еще старый хорош...

И потом сообщалось: когда они с мужем женились, умели же жить они на пятьдесят лишь рублей; эта жизнь длилась с год, может быть; а потом притекло состоянье богатое к ней (урожденная Варгина!); и забывалось: жила таким способом, при состоянье, десятки лет; как разносила она, когда жаловались:

— Трудно жить мне на жалованье, Марья Ивановна!

Правила стоицизма и Диогеновой бочки напоминались сурово ей: вот ведь жила же она; пусть другие живут,— так и все; иногда ж выбирала она бедняков в фавориты, за скромность, безропотность; их усадив пред собой в мягком кресле, пред ними точила слезу; и платком отирала свои покрасневшие глазки:

— Бедная моя,— так и все,— так мне жалко: глядеть не могу я на вас!

Одна барышня, получающая лишь тридцать рублей, пред которой точилися слезы, порой вызывалась пред Марьей Ивановной: сидеть перед ней и глядеть, как точилися слезы; ходила, ходила; и — вдруг возмутилась:

— Опять усадила и плакала Марья Ивановна: просто не знаешь, куда и деваться!

Ну, а — помогла она барышне: по человечеству, а не для-ради... «благотворительности»?

Никогда!

Занималась иною благотворительностью: благотворила профессорам, совершая периодические, обер-полицмейстерские объезды квартир, в результате которых роптали профессорши (мать моя — плакала); профессорам же — каждение: лучшие все Гогенштауфены! Одна умная дама доказывала, что М. И. неравнодушна, весьма, к ее мужу; и глазки слезливые строит, и ножки прюнелевые показы-

вает под предлогом своей аскетической пропаганды: простых башмаков и простых белых юбок.

Конечно ж,— не «флирт»: платоническая сердечность; и чистая дружба; но требовала «культа дружбы»; и тут проявляла ревнивость; она добивалась горячей конфиденциальности, чтобы профессор, идя на свидание с ней, запевал про себя:

> Сияй же, указывай путь,
> Веди к недоступному счастью
> Того, кто надежды не знал;
> И сердце утонет в восторге
> При виде тебя...[13]

На протяжении лет двадцати пяти — приезжала два раза в год: 13-го октября, накануне рождения «крестника» — с книгой (подарок), и 6-го декабря, в день именин отца: отобедать; отец бывал часто у ней; приезжала она в черном платье; а дома ходила она в сером платье, которое — лучше; похуже она берегла для гостей:

— Дорогая моя: всюду пыль,— так и все; как приеду домой, это платье — платье вздергивалося — долой, чтоб полы свои не запылить...

— У меня, дорогая — два платья всего: вы опять заказали себе выездное,— так все... Не по средствам живете... Жила же я...

И рассказывалось житье (пятьдесят рублей в месяц).

Полагалось бывать у нее: на Рождестве и на Пасхе; лишь избранные удостаивались получить приглашение на именины ее: отобедать; в тот день и в столовой, и в зале к стене придвигались сукном перетянутые доски, чтобы профессор, коснувшись стенки, не измаслил ее головой.

Удивлялся покорности профессоров, все сносящих: тому подстилалась клеенка (неряха), тот — грязный, тот не допускается в малиновую гостиную; к нему появляются в платье, которое обречено подметать сор квартиры; не перечисляю всех оскорбительностей, подносимых ей с ласковым видом; сносилося все, потому что — блюла: что блюла? Пресловутый девиз «как у всех в нашем круге». И разводила безжалостное лицемерье морали, слегка подслащенной, как... оболочка пилюли «касторки»; а коли под флером приличья пылали багровые страсти «Н», иль — изменяли друг другу, то — делался вид: ничего-то и нет; лишь была бы личина:

— Так, все,— говорила я Николаю Ирасовичу!

Но она полагала себя дарохранительницей: охраняла компендиум высшей культуры; и кокетничала нелюбовью

к попам и к дурному городовому, ее охранявшему; читала «Вестник Европы»; и была — «Вестник Европы» насквозь; то есть по Стасюлевичу мыслила[14], да перечитывала тома Соловьева-историка; перечитает, и — снова читает: том первый, второй.

Ни одной живой мысли: лишь старческие, слащавые дрянности вроде капсюли касторовой; мать моя — попочитает ее; и — расплачется: раз даже вынужден был Лясковской заметить отец:

— Вы бы, Марья Ивановна, Александру Дмитриевну в покое оставили б!

Боже, что было! Летали и письма трагические, были и объяснения «сердечнейшие»; тон «Травьяты»[15] звучал в них.

Будь уважение, ей расточаемое, вполне искренним. Нет, смеялись над нею; а «В», ей носившая дани, ее жгла сарказмами (но — за спиною); все ж — ездили к ней на поклон; и внушили мне: «крестная мать» есть понятье священное; все же горжусь, что я, выросши, срезал ее; и традицию «стильных» поклонов нарушил; мать дань ей возила до смерти: фетиш!

Ее чтили: надо было насквозь перетлевшему быту держаться; уже внутри не было кумиров, «традиции» под шумок обходились, и только фетиш мог извне их поддерживать; так перерождался быт славный в культ древний — в культ прюнелевого башмака, из-под юбки крахмальной грозящего.

Я потому останавливаюсь на Лясковской, что мне она — первое знакомство с богатою буржуазией; среди профессоров она виделась мне двуединой: профессоршей и милльонершей; и первое слово «богачка» связывалось со словом мне «Марья Ивановна»; в ней примешивались к ужимкам профессорши — чуждые, малознакомые ноты; у нее фабрикант и сенатор, Нечаев-Мальцев сидел; я позднейобобщение свойств, ей присущих, открыл в символическом образе «Железной пяты»[16].

Детское знакомство с пятою той — знакомство с сухою пятою Лясковской, одетой в прюнелевую ботинку; и когда она высовывала из-под юбок пяту ту, кидало меня в смутный страх, в отвращение.

К свите даннпц М. И. относились типичнейшие: М. И. С. и жена университетского деятеля Е. Л. В.;[17] типичные парки, охранительницы устоев и передатчицы слухов;

М. И. С. мне виделась перепекающей золу быта квартирочки в вкусности; как из муки, пирожки пекла,— сладкие, липкие; сладости сыпались, чтобы пресноты муки золяной не отбили бы аппетита у мужа, и так свой желудок однажды расстроившего; мой отец, даже он, так старавшийся быть незаметным в быту, на одну из слащавостей М. И. С. резко ответил:

— Не говорите маниловщины!

М. И., много лет в нашем доме бывавшая, так разобиделась, что много лет не бывала.

Е. Л. В., в противовес М. И. С., золособирательницы, обкормившей золой благоверного мужа, мне видится золорассыпательницей: зола, иль пыль слухов, накоплялась обильнейше в доме ее; этой серой золою пылила в квартирах с огромной талантливостью; прозоляя — все, все: в пять минут; в ридикюльчик набравши золы, объезжала знакомых; и сыпала ею.

Обе были презлые; одна расточала злость, переслащая ее; а другая, ее угущая всыпаньем в золу перетолченных стекляшек; и обе по-разному лицемерили; Е. Л. В. лицемерила, преподнося злость под формою... злости же: корыстной и личной под формою бескорыстного юмора и отрезания якобы «правды-матки» (была не глупа); говоря едкости и гадости о других, она потом говорила едкости и гадости прямо в глаза человеку — с таким видом, что, мол,— проста, извините; все выложу вам же о вас; и останется — только любовь утаенная: к вам же! Она имела дар к колкостям: пользуяся остроумием высшим своей якобы бескорыстнейшей соли, колола и жалила с остервененьем: присутствующих и отсутствующих,— без стыда и ответственности; все значительное, все талантливое в настоящем, в прошедшем и в будущем бешеною слюною своей покрывала, трясяся с такой отвратительной злостью, мотая своей неприятной головкой в седых кудерьках; чем старей, безобразней она становилась, тем бешеней, мельче, подлей оплеванья ее мне казалися; захлебывалася, вонзала мещанское жало во все, что ее превышало; до двадцати девяти лет встречался я с этой ехидной, ее обходя, потому что противно мне было глядеть, как она, увидавши талантливого человека, подмигивала на... его... экскременты; неглупая, жалкая пакостница превратилася в старости просто в шута, кувыркавшегося перед каждым и побивавшего мелкостью мелкости, ею просыпанные: озоляла квартиры; уедет,— квартира воняет, квартира золеет, под конец оставалося, как скорпиону, ей, хвост свой задрав над

собою, прожалить головку старушечью, собственную; ведь уже — ошельмовано все! Шельмовать — больше нечего!

В 1910 году в дни кончины Толстого она говорила вонючие вещи о нем; я ее оборвал; став зеленой от злости, она зажевала сухими губами; и — быстро исчезла: я думаю,— желчь разлилась в ней; ведь ей не перечил никто.

Марья Ивановна была искусана ею в квартирах профессорских, но за спиной, разумеется; в праздники Е. Л. В. дани несла ей; и на обеде М. И. посиживала с невинными глазками; М. И. С. и Е. Л. В. наисправнейшие посетительницы и чтительницы покойной Лясковской.

3. СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ УСОВ

Крестный отец, Сергей Алексеевич Усов, огромного роста, массивный, с большою курчавою темно-каштановой бородою и с огненными глазами, прорезывает мне большим носом, как молнией, сумерки детства; он вспыхивает бородавками полнокровного очень лица, сотрясая нам комнаты сиповатым, отчетливым смехом.

Бывало, в столовой, в гостиной — гам; резкий звонок; топот ботиков; сиплые шутки в передней; и голос, как сорванный от табака и от споров, зажатый под горлом; и возглас отца:

— Вот Сергей Алексеевич!

И — присмирение: голоса потухают, давая простор сиповатому голосу; в центре он: бьет каламбурами, шутками, уподоблениями; взрывы громкого хохота; слушаю я из кроватки его; не все понимаю; но что понимаю, как сказки: чудесно!

Отец мой души в нем не чаял; С. А. самый близкий ему; все-то слышу:

— Сергей Алексеевич думает!

— Усов сказал!

И на Усове сходятся мнения родителей; мать удивляется блеску его.

Не забуду я горя отца, когда этого великана сразила безвременная кончина в 1886 году (припадок ангины); с этой смерти начинается его оторванность; точно поднят был мост между ним и средой; он уже мало общался внутренно — по прямому проводу; он скорее выходил к людям: спорить, назидать, помогать, распекать; с Усовым он был нараспашку, к нему забегал постоянно и любовался его

крупной фигурою, дышащей смехом, спорами, высказыванием своих убеждений; отец сам любил крупно поговорить; и страдал недостатком: недовыслушать теоретических доводов противника; к Усову он прислушивался; его — повторял: им гордился.

Действительно: Усов был крупным центром Москвы в семидесятых и восьмидесятых годах; прекрасный ученый и эрудит, много думавший над философией зоологии, блестящий лектор, любимый студентами, он один из первых твердо водрузил знамя Дарвина в Московском университете, связав себя с дарвинизмом, оставивши определенную зоологическую школу, противополагавшуюся в те годы школе Анатолия Петровича Богданова; говорят: по плодам узнают; и — вот плоды: из школы Усова вышли М. А. Мензбир [18] и Кольцов; из школы Богданова — Н. Ю. Зограф.

Вот как о нем отзывается один из его учеников: «Читая зоологию, С. А. обладал способностью заставлять задумываться над такими общими, широкими вопросами, решение которых... очищало ум... Читая лекции, этот дивный профессор заставлял слушателей, задерживая дыхание, прислушиваться к каждому его слову, боясь проронить его... Наши лучшие поэты не описывали так быта животных, как описывал его Усов... Да, это был необыкновенный профессор» (Львов: «Воспоминания о С. А. Усове»)[19]. Или: «Ученик Рулье... последователь Дарвина... Сергей Алексеевич владел и методами строгого логического мыслителя и приемами осторожного наблюдателя... Специалист по зоологии позвоночных, он особенно много времени посвящал биологии и географии животных... Мне не раз приходилось... присутствовать при его беседах с его другом, знаменитым зоологом Н. А. Северцовым. Из этих бесед я убедился, какое громадное значение придавал Северцов советам и указаниям Усова» (Н. Бугаев: «Сергей Алексеевич Усов»)[20].

Усов не оставил после себя монументальных трудов; со статьями его и мне приходилось знакомиться; они — увлекательны; он вечно кипел практическими вопросами преподавания и педагогики: «Мало было слушать его самого, надо было смотреть на него, чтобы убедиться, что всякое его слово шло из глубины души... И один уже его вход в аудиторию сразу подготовлял слушателей к тому, чтобы позабыть, что это профессор, чтобы видеть в нем учителя, друга» (Львов: «Воспоминания»)[21].

Но Усов не ограничивался зоологией: «Сергей Алексеевич был строгий логический ум... В молодости он много изучал... Канта и... свободно вращался в самых отвлеченных логических тонкостях...» (Бугаев: «С. А. У.»).[22] Художественная натура, он был законодателем художественных вкусов Москвы, вместе с покойным С. А. Юрьевым и Л. И. Поливановым; знаток театра и шекспирист, он сам играл в молодости; и в пьесах иных не уступал он Садовскому; кроме того: много лет изучал он историю живописи и даже читал курс по истории изящных искусств в старших классах гимназии Поливанова.

«Начались чтения и уже не прекращались до самой кончины Сергея Алексеевича... Он нашел здесь исход тому захватывающему чувству изящного, которое составляло господствующее настроение последних годов его жизни... То не были лекции в собственном смысле... *«Не собирайте их в класс, не сажайте меня на кафедру. Посадите нас вокруг большого стола»*. На... рассматривании... коллекции основывались все беседы. Здесь-то делались С. А. Усовым... неуловимые... замечания, которые и выдавали всю артистическую натуру покойного» (Л. И. Поливанов: «Воспоминания о С. А. Усове»)[23].

Под конец жизни он увлекся древнерусскою иконописью:[24] «Смерть его застала за большим исследованием об архитектуре старинных русских церквей» (Бугаев: «С. А. У.»)[25]. Кроме того, он изучил археологию и писал по специальным вопросам: «Его исследования о старинных русских деньгах ценятся очень высоко специалистами... Зоолог, натуралист, археолог, он был замечательным знатоком литературы, относящейся к истории религий... У него на дому была целая коллекция русских летописей... Покойный Беляев, знаток... летописей, был высокого мнения об его познаниях... Шекспир, Пушкин, Шиллер, Гете были его настольными книгами... С. А. был прекрасный чтец... Его грандиозная фигура, благородное выражение лица, хороший голос, разнообразная интонация давали прекрасный материал для драматических ролей» (Бугаев: «С.А.У.»)[26].

Размах фигуры этой меня поразил в детстве; он рано угас для меня; и более всего я его слушал издали, из постельки, когда он появлялся у нас на пятницах, по вечерам; потому-то я и ссылаюсь на свидетельства о многообразии даров, в нем живших; они мне объясняют то мощное воздействие, которым я был охвачен издали, при появ-

ленье его; веяло чем-то живым, бодрым, неугомонным; он во всем переплескивался через край; и, леча летами крестьян, он вдруг специализировался на дифтерите, — да так, что, едва заболевал кто-либо дифтеритом в нашем кругу, откуда-то приносился Усов с машинкою для вдыхания; и блестяще вылечивал; когда мать заболела дифтеритом, принесся Усов; и каждый день по коридорику из передней в комнату матери протопывала мимо детской его массивная фигура; он в первые дни болезни уселся сиделкою у ее изголовья: лечил, бодрил, развлекал и читал мастерски ей рассказы Слепцова; он, может быть, от матери отстранил смерть.

Это было последнее явление его на моем горизонте; вскоре он заболел; три припадка ангины следовали один за другим; от третьего умер он.

И такою же крупной, умной, шумной, массивной, всегда независимой казалась жена его, Анна Павловна, которая по смерти моего крестного отца унаследовала его функции; я крепко потом привязался к крестному отцу в юбке; до самой смерти ее отношения наши оставались прекрасны.

Дом Усовых противостоит мне прочим профессорским домам и при жизни С.А., и по смерти его; Анна Павловна, в молодости драматическая артистка, была верной подругой С.А.: душой и калибром (во всех смыслах); потом стала другом трех больших и веселых «детин» своих и одновременно управляющим их имения, проявляя хозяйственные таланты;[27] она была «умница»; за мужественность отец ее называл «бабцом»: высокая, толстая, красивая, хохочущая, с умными, все подмечающими глазами, она умела, где нужно, и выпить с сынами, и весело прокричать с ними до хрипоты всю ночь; но и умела: зажать бразды, переменив шутки на... твердый курс.

Приятна была мне усовская квартира отсутствием «славных традиций» и хождения на цыпочках перед идолом «как у всех»; и, хотя Усовы были «лучшие из Гогенштауфенов» в мненье Лясковской, их дом был полной противоположностью дома Лясковской: чисто блещущий, злой, безжалостный холод порядка; и неблещущая, добрая, но сердечная безалаберность; ходящие на цыпочках профессора и галдящая, поющая, пьющая и танцующая молодежь; «моральным» критериям Лясковской противополагались «антиморальные» усовские, хотя сама А. П., разумеется, была за тридевять земель от разнузданного иммо-

рализма; будучи, в сущности, человеком строгих правил, А. П. убирала их внутрь, бравируя скорей цинической видимостью.

Анна Павловна и Мария Ивановна, мало сказать,— не любили друг друга: почти ненавидели; и «лучшие из Гогенштауфенов» отправлялись к М. И. Лясковской не без оттенка иронии: справлять «гогенштауфеновские» обязанности.

Дом Лясковской полнился профессорами; дом Усовых после смерти С.А. полнился молодежью, среди которой А. П. рассказывала анекдоты, подводящие к граням приличия; иные ее называли «циником» (что — неправда); но этим «цинизмом» заразил ее муж; про С.А. Усова говорилось так: «К двенадцати часам ночи Бугаев начинает спорить, а Усов — рассказывать неприличные вещи». Не хвалю «душка» иных сентенций А.П., отдававших трынтравизмом, тем более, что она была более «кулак-баба», чем попрыгунья-стрекоза; но даже в своих «переборщах» она выявляла красочное пятно, в пику серому быту; лучше быть грубым на словах, чем под скукой приличия таить миазмы.

Разумеется, Усов в свое время считался радикалом, позитивистом, ратовал за народ, лечил народ, ходил летами в рубахе, как и сосед его по имению, Ермолаев; однако он был все же собственником 6000 десятин, а Ермолаев — 4000; лечение народа и русская рубаха, конечно, не оправдывали стиля народничества; но в те годы не слишком еще разбирались в классовых противоречиях; к концу века они обострились; и «либеральная» Анна Павловна стала за... институт земских начальников (не его ли громила она сама?); не удивительно: в 1906—1907 годах запылали «либеральные» усадьбы: «Даниловка» Усовых и «Ключи» Ермолаевых; помещик же Ознобишин, тоже сосед, уцелел, пригласивши вовремя казаков. Усовым надо было в начале века решить твердо вопрос: с казаками или против казаков: либерализм — не решение.

Судьба усовских сыновей ясна: из профессора медицины, покойного Павла Сергеевича Усова (старший сын) с усилием вынудился лишь правейший кадет, любивший играть роль в московском обществе (отец «не любил», а играл эту роль); Алексей Сергеевич (второй сын), поторчав лаборантом в университете, вдруг в именьи построил завод; третий сын, Сергей Сергеевич, поиграв в трынтравизм и психологию люмпен-пролетария, женился на крупной помещице и графине.

Вот тебе и народничество, и русская рубаха, и гуманные традиции «нашего» быта!

Все это случилось потом: пока же росли веселые «парни», квартира их выгодно отличалась от скуки иных, традиционных, профессорских квартир; С. С. Усов, молодой человек с истинно художественным темпераментом и с «надрывом», искренним в те годы, одно время виделся мне, юному Давиду Копперфильду, некиим Стирфорсом (у каждого юноши есть свой «Стирфорс»!);[28] он выглядел «выпадышем» из нашей скучной среды: но, но,— ни ученый, ни «зубр», ни революционер, ни художник, а только «художественная натура», он, к искреннему моему сожалению, не скатился в лумпен-пролетариат, то есть «недопогиб», а, наоборот, взлетел: в «крупного помещика».

Не удались попытки прожить под знаменами позитивизма, либерализма, сими религиозными устоями профессорского бытия; от этих знамен в конце века несло на меня мертвой затхлостью; все действенное бежало от сих знамен: и вправо, и влево; средняя линия однолинейного прогресса по Спенсеру — редела: усиливались где-то сбоку от средней лежащие обители пессимизма, анархического нигилизма, ницшеанства, марксизма, революционного народничества; спасалися даже... в «мистику», столь осуждавшуюся «нашей средой», чтобы только остаться вне «нашей среды».

Убегало все, имеющее хоть искру жизни: от эдакой жизни!

По средней линии шествовали типичнейшие «папашины сынки». Папаша занимается биологией; и — Паша; папаша читает Милля; и — Паша; папаша — профессор, и — Паша; папаша рисует план жизни, продуманный им; и — Паша (заимствуя план папашин).

Но, но и но!

Папаша, наивный в вопросах классового сознания, носит рубаху, курит «Жуков табак», лечит народ, мнит наивно себя народником, забыв, что жене он подкинул 6000 плодороднейших десятин; где там думать о них, когда Дарвин, археология, драматическое искусство, история живописи; и — что еще?

Кипит папаша!

А из папашиного Паши выдавливается профессор медицины, Павел Сергеевич Усов, минус — рубаха, «Жуков табак», археология, драматическое искусство; и — прочее.

Ну, а по-моему — прочь, прочь; прочь от «папашиной» линии, условно оправдываемой для «папаши» и вовсе не

оправданной для «папашиного сынка»: прочь, хоть... в трын-траву, хоть... в мистику!

Вот почему под словом «позитивист» мы, папашины сыны, свернувшие прочь с «дороги» и «сынками» не ставшие,— разумели традициями стабилизированное мещанство, не только классовое, но и ту конкретную разновидность его, которая развивается, например, в книгохранилищах, при появлении там вредителей (появляется книжная труха).

«Позитивисты» — говорили мы с Блоком в юности; и «тип» вставал, не столько «папаши», сколько Паши, Аркаши, Николаши, иль как его там; еще с «папашами» я боролся; с Аркашами, с Николашами — никогда: я их слишком знал в их «статусе насценди»;[29] они шли в услужение в университет; и нанималися в педелей[30], охраняющих папашины достижения; мой отец, дед по возрасту, и дед Блока, Андрей Николаич Бекетов, были учеными крупными; людьми с размахом, как С.А. Усов.

Усовский дом еще потому мне врезается, что в нем уже где-то, под полом,— гул катастрофы; некий подземный толчок вскинул С.А. Усова выше среды, в облака, откуда он посипывал трубочкою иронии и цинизма над бытом; и этот же толчок выбросил сына, Сергея,— трагически выбросил куда-то вбок; повисев над бездною трынтравизма, он пал... в помещики.

«Паша» вышел в папашу: профессором, но... без блеска отца.

Помню в детстве явление четырех рослых парней; из них два — студента: высокий, дородный, веселый студент «Паша» Усов (позднее — профессор медицины);[31] товарищ его, худой, бледный, сутулый, в очках, с черной вытянутой бородкой, весьма некрасивый, но с умными глазами: Алеша Северцов, жених «Маши» Усовой (позднее — профессор зоологии); «Паша» меня подхватит; и — под потолок: я взлечу и опять упаду в его руки; поставит и твердою походкою, голову закинув назад, он проходит в гостиную; а вот другие два «парня»: они старшеклассники-поливановцы: Сережа и Леля Усовы; Леля — коломенская верста; а Сережа — мне нравится; вот все сидят и гудят перед пирогом именинным; и с ними — власатый, брадатый, весьма красноносый (совсем обезьяна) гудит, как труба иерихонская; вдруг обидится; и — скажет дерзость; и это — доцент Николай Иванцов (сын священника и профессора Иванцова-Платонова, небезызвестного либерализмом); все — профессорские сыновья; и потом — профес-

сора; и вот — «Машенька» Усова; и во всех что-то — усовское: что-то от Сергей Алексеевича, точно он, разделяя дары между ними, в них всех принижается; все острят под Сергей Алексеича; и во всех — молодечество... от Сергей Алексеича.

В нем жило что-то от богатыря; и когда мне читали былины, я рядом с богатырями Алешей Поповичем, Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем мыслил: Сергей Алексеевич Усов сражает кого-то своим кулаком: развернется; и — бац!

Да, он иногда поступал по-былинному, и — не как все: «циник», а говорит про Мадонну Сикстинскую:

— Я каждый день на нее гляжу; и — не могу оторваться.

И, помнится, как мой отец нам рассказывал об инциденте меж Усовым и меж Бредихиным; на заседании факультета — раскол профессуры: две партии; одна — за Усова; а другая поддерживала Бредихина; верю, что линия Усова была прогрессивней; и верю — дельней; но... но... но...: встретивши Ф. А. Бредихина в пустом коридоре во время перерыва, Усов оглядывается; увидевши, что никого нет, подскакивает он к Бредихину; сжавши увесистый, мощный кулак перед носом Бредихина и покачав им, сипит угрожающе: «Если, такой-сякой, ты будешь то-то и то-то, то» — и кулаком покачал перед носом. Самое замечательное: Бредихин стал шелковый; и после перерыва Усов взял верх.

Усмиренье Бредихина Усовым мне разыгралось деянием; и я все думал: «Чем не богатырь? Вот Алеша Попович сразился со Змеем Горынычем; Усов — с Бредихиным; а уж Бредихин известно какой: чешет кометам хвосты, будто песьи...»

Но сразивший Бредихина Усов перед Марьей Ивановной — пасс; и сводило живот ему; сам он рассказывал о поступке своем с Николаем Эрастовичем Лясковским: где-то летом с семейством Лясковских он встретился; и утащил Николая «Ирасовича» на прогулку; меж тем: незадачный профессор, спускаемый Марьей Ивановной, точно болонка, с цепочки, обязан был появиться к единой и неделимой постели супружеской в девять часов; коли он опоздает, то — ужас что! Ночь была лунная; розы — цвели; соловьи — заливались; и Усов речами кипел; словом, друга он затащил в ресторан (вино — тоже пленительно); и — уже половина одиннадцатого; Усов сам не без страха вел химика, на полтора часа опоздавшего к... «ложу».

Стоят перед дверью, трясутся:

— Можете себе представить,— посипывал трубочкой Усов,— звоним раз, другой, третий; дверь — замкнута; и — ни звука... Тут стало мне — не по себе... После ряда звонков вдруг окно распахнулось; в окне, в белом, как привидение,— Марья Ивановна; и — голосом глухим и могильным: «Николя,— уже одиннадцать!» Только: но так, что живот мой схватило, а ноги мои подкосилися... Вот как сказала!..

Почему же на Марью Ивановну буйства могучего Усова действовали, непонятно; они «соблазняли» суровую моралистку; и к Усову чувствовала неравнодушие просто она.

Усов мне нравился тем, что «не так полагается» в нем было точно общественное выступленье:

— Сам Усов, помилуйте!

И отлагалось мне: Усову законы не писаны; с ним и М. И. Лясковская, как... беззаконница; все вызывает его: затворяется с глазу на глаз; Анне Павловне это совсем неприятно; а Усов посипывает:

— Не показывала вам своей ножки? Покажет: гордится, что маленькая!

Стало быть,— не прюнелевый свой башмак выставляла, а... ножку? Ну-ну!

Нет, фигурища — Усов; понятно: при жизни его в шумном усовском доме группировалась вся Москва: можно было встретить Толстого, Писемского, Боборыкина; Писемский — его друг: умирал при нем множество раз (все казалось ему — умирает).

Лясковская, Усов, родители «крестные», мне открывают кадриль жизни внешней, врываясь в квартиру, как первая пара; и в паре идут; и за ним — профессора: руки — кренделем, а в кренделях — цепко твердые руки профессорш.

4. АПОСТОЛЫ ГУМАННОСТИ

Профессоров и профессорш, мельтешивших в детстве,— толпа; и я думал всерьез: мир — профессорский мир; остальные до мира еще не созрели: не люди, а так себе что-то, что тихо ютится, приваливаяся, как жалкий домишко, к украшенному фронтоном фасаду огромного здания; сидим на фронтоне: изваяны прочно; пьем чай себе; матери ходят друг к другу — высоко, высоко: над улицею, над тарараками громких пролеток, с которых проезжие нос

задирают почтительно: видеть нас; профессора же, отцы, встав на кафедру, громко читают студентам почтенные лекции. Все — так солидно, прилично.

И, главное,— прочно.

Мне кафедра мыслилась каменной, круглой колонной: на ней-то, весь каменный, прочный профессор читал, юбилеи справлял (то — один, то — другой!), обнародывал книги и едкие пикули-спичи точил на дурного городового под ним (долго путал я: «пикули», «спич»;[32] и слова мне казались синонимами); иногда, обращаясь к измоченному спичами городовому, торжественно требовал он конституции; городовой не любил этих спичей; но — претерпевал: на полезное, доброе, вечное даже рука полицейского не поднималась: профессора ведь не достанешь с фронтона: действительный статский советник он, ленту имеет, звезду, треуголку; за спичи ловились студенты, соскакивающие с фронтона (при отправленье домой).

Вообразите весь ужас мой, когда грянула кафедра, то есть колонна; и грянул с ней вместе — не кто-либо, а Ковалевский, Максим, мамин шафер, наш друг; но в то время, как кафедра прахом рассыпалась, сам Ковалевский, вполне невредимый, сошел с нее каменным командором;[33] и уехал себе за границу — читать свои лекции в Англии, в Швеции, в самом Париже; он все появлялся у нас за столом, наезжая в Москву из Европы: он стал европейцем; и я все, бывало, смотрел на него, как сияет довольством; и думал:

— Сидит европеец!

Наверное, все европейцы носили белейший жилет, как и он; жилет выкруглен толстым его животом; пиджак — синий; сияет довольством, крахмалом и, черную, выхоленную бородку привздернув, таким добродушнейшим он заливался смехом; и все говорят:

— Добряк, весельчак, остроумец и умница, но — легкомысленный!

О легкомыслии, слабости воли Максима Максимыча слышал еще я до мига, когда его кафедра рухнула; все увлекались курсистки им, силясь на шею повеситься; наш же добряк, весельчак, не умел должным образом их отстранять, попадаясь в весьма деликатные положения жизненные; все рассказывалось, как гонялась курсистка одна за Максимом Максимычем; он, без вины виноватый, как заяц испуганный, все убегал от нее; а она угрожала:

— Коли не полюбите, то на глазах застрелюсь.

И дошло до того, что у Иванюковых (так, кажется) прятали Максима Максимовича; даже он раз сидел под диваном и вылез оттуда весь пыльный; а все оттого, что — добряк; не повинен ни в чем, а вот разве когда кто на шею повесится, то не умеет, как следует, он отцепить; в ранних годах Максим Ковалевский всегда представлялся мне: бегством спасающимся от курсистки и требующим конституции; в прочее время за ростбифом произносящим свой спич добродушный.

Потом, когда он из Парижа являлся, у нас говорилось:

— Катается в масле, как сыр.

Представлял себе сыр, представлял себе масло; и то, как катаются в масле; и — думал:

— Ведь эдак промаслишься!

А мой отец добавлял снисходительно:

— Да, хорошо ему: барин, богач, человек независимый; живет, где хочет; и книгу, какую захочет,— напишет... А вот каково другим: книги писать; и — трудиться...

Я часто такой корректив слышал к характеристикам отцом и друзей, и знакомых: Сергей Алексеевич Усов — богатый помещик; Максим Ковалевский — богач; Стороженко — богатый помещик; все — баре, нужды не видавшие с детства, как папа: чего-чего он не видал — тумаки, угнетенья, нужда и презрительное отношенье богатых к нему, бедняку:

— Повидали б с мое!

Ущемлялося сердце мое, когда папа, весьма уважаемый, распространялся, как плохо его принимали студентом в богатых домах (репетировал он сыновей богачей):

— Знаешь, город пешком пробежишь из холодной конурки, голодный; бывало, у Ж ** — именины; обед, полный стол, а тебя — не попросят к столу.

Так, бывало, о Ж ** отзывался он: Ж **, генерал, уваженье огромное силился все ему выказать; и сажали на первое место у Ж ** его:

— Это — теперь: а бывало...

Отец, навидавшийся горя, подчеркивал:

— Да-с, молодой человек, из последнего должен себе сшить сюртук, фрак, белье; все должно быть хорошее; а сукно — первый сорт; они все, что ты носишь, глазами ощупают; и коль заметят, что твой сюртучок из плохого сукна, то затрут; даже места себе не найдешь подходящего; так рассуждают они: «Сукно плохо, нуждается,— так согласится за полцены сыновей репетировать». А есть фрак у тебя,— так за фрак будут больше платить!..

Сам отец, несмотря на усилия шить из сукна первый сорт себе платье, ходил растеряхою, в шубе разорванной; а сюртучок — как комок; и застегивал он не на ту вовсе пуговицу; а имел — шапо-клак, имел — фрак (и фигура ж во фраке?).

У Максима Максимовича фрак, сюртук и визитка — одно загляденье; и — как он их носит! Картинка! И то же: Владимир Иваныч Танеев, помещик, присяжный поверенный, республиканец, такой якобинец, что...; а так утончен, так стилен во всем; видно сразу: часами стоит перед зеркалом; папа же?

— Нет, откуда у вас завелся котелок шоколадный? Переменили опять?.. Рыжий, пыльный, продавленный.

Но котелок этот, сбоку всадивши на голову, мчится по улицам; вид не профессора: жулика; а под коленами от широчайших штанов (из сукна первосортного) свисли мешки: зонтик — рваный.

Мне был он так мил в этом «тщенье» одеться, как все одевались: куда уж!

И математики, к чести их, выглядели не всегда элегантно.

А где начиналась компания графов Олсуфьевых, Иванюковых, Танеевых, наших «весьма либералов», порой «радикалов» — там тон, жест, приличие, выбор цветов, пар пиджачных и корреспонденция их с цветом галстуха, мне выявляли... недосягаемое величие: видно, что кафедры их — столб высокий, столб, видный со всех сторон площади: спереди, сзади и сбоку: стоит на столбе наш Иван Иванович Иванюков,— элегантен: картинка!

И — конституции требует!

Самое представленье о кафедре, как о столбе, тщетно рушимом городовым, с которого лектор-профессор во фраке махает своим шапо-клаком (а в шапо-клаке бумажка: план спича), сложилося у Стороженок; там часто бывал; стороженковский дом — как мой собственный,— дом номер два: мой единственный выход: Маруся ведь, Коля и Саша за мной посылают свою няню-Катю утрами воскресными, и забирают меня на весь день к Стороженкам; занятно и весело; и поиграешь с детьми, и на все наглядишься и спичей наслушаешься; кто-нибудь там в белом галстухе: фрачник такой юбилейный!

Мое впечатление детства: по воскресеньям с двенадцати до двух у Стороженок чай, гости; к двум — едут на заседанье Общества любителей российской словесности: фрачник, читающий в обществе, за Стороженко заехав-

ший, иль Николай Ильич сам, фрак надев, везет очень надутых и важных гостей (приезжают к обеду); и тут-то слова раздаются — напыщенно:

— Кафедра!

— Либерализм — конституция...

— Гольцев, Якушкин, Чупров...

А сам Гольцев или сам Якушкин, или Алексей Николаевич Веселовский сидят за столом: тут как тут; и один из них — гордый, осанистый, в галстухе белом, прочесанный, точно надутый, как шар: оборвется веревочка,— и улетит в небеса...

Мне особенно в небеса улетающим виделся Алексей Веселовский; такого величия я, виды видавший, больше не видывал: видел Жореса я; видел Толстого я; видел весьма знаменитых писателей; что они все? Как козявочки пред Веселовским; я, бывало, к нему подойду, как магнитом прикованный, благоговея пред ним, ужасаясь совсем великаньим лицом Веселовского; кажется мне, что мой рост равен этому лицу голиафскому, одутловатому; а под глазами мешки просто с блюдце; глазищи пустые и выпученные, голубоватые и водянистые, так и уставятся перед тобой, как перед воздухом: нет никакого тут «Бореньки»,— а пустота; ну и лбище же; ну волосища же над этим лбищем; венцами махровыми на пол-аршина привстали; ну и бородища же; можно зарыться мне в ней; борода, лицо, космы; все вместе являет мне полчеловека обычного, вовсе не голову; и это все сидит на краснобычьей огромнейшей шее, едва улезающей под воротник; ну и туловище; коли Коле, Марусе и мне попытаться обхватывать, то не обхватим; бывало, он скрипнет на стуле, ко мне повернется и вилку поставит (на вилке же полпирога) и такими премягкими, розовыми губищами мне как-то пусто и строго отчмокает по содержанию нечто гуманное; но,— как обижусь; и в страхе отпряну: витиевато! И вновь громким, сдобным, довольным таким своим голосом витиеватое нечто показывает, ты подумаешь: он — великан; встанет,— вовсе не так уж велик; Веселовского видывал часто я: у Стороженок, у нас; и всегда ужасался какому-то несоответствию: вида и... впечатленья от вида; вид, как... водопад Ниагарский, а впечатленье — пустое.

Позднее я впечатление детское это зарисовал в «Задопятове»;[34] зарисовал впечатленье, а вовсе не вид.

Все, бывало, отец мой подшучивает:

— Алексей Николаевич,— да-с; любит фразу.

И слышалось:

— Просто ужасно, их Юрочка держит себя неприлично; и как этого не видят родители, что непристойно мальчишке произносить за столом уже тосты.

Рассказывали, будто раз за обедом у Веселовских, после речей Веселовского, Чупрова, Иванюкова и прочих, раздался торжественный звон ножа о стакан; оглядели весь стол; не видать, кто, поднявшийся, просит вниманья; и вдруг запищало от края стола:

— Милостивые государыни и милостивые государи...

И тут лишь увидели, что над столом — голова «пупса», Юрочки; Юрочка, поднимая стакан вслед за, может быть, Гольцевым,— тост произносит.

Стихотворение мальчика Юрочки было напечатано в сборнике памяти Юрьева; в нем мальчик Юра уже поминает с тоскою о вольнице Новгорода;[35] вскоре запереводил он армянских поэтов;[36] до этого, кажется, справил: десятилетний свой юбилей; сколько же юбилеев справлял Алексей Николаевич?

Помнится мне, что появленье супругов Веселовских у нас за столом привносило торжественность необычайную, точно сама атмосфера наигрывала марш-фюнебр: сам, сама — конкурировали в величии.

Эдакого величия я нигде потом не встречал, а я завтракал ежедневно с Жоресом; но — что Жорес: десять Жоресов, сто Жоресов не составили бы и половины величия Веселовского; я поэтому, выросши, с особым вниманьем разыскивал этих следов средь творений Алексея Николаевича; и пришел к выводу: надо либо согласиться с отцом («они болтуны-с»), либо прийти к оккультизму (предмет мании величия — оккультный феномен).

А величие было: подумайте; в оповещении о собрании сочинений Генрика Ибсена фамилия «Ибсен» напечатана обычными буквами, а извещение о предисловии к Ибсену Веселовского[37] — аршинными; величина его — полторы странички.

Весомость — пушиночка!

Со Стороженками память сплетает особый круг лиц, в детстве виданных мною у нас; это, так сказать, друзья и знакомые отца молодого; потом укрепились у нас математики, физики, даже философы, а гуманисты как бы отступили; вот именно — гуманисты; зарей возрожденья несло от них; все — знаменитые личности; милые, очень простые при этом, одетые с тонким изяществом; и атмосфера какая-то: точно Фавор;[38] да, заря возрождения, о которой сказал Алексей Веселовский однажды: «Джордано

Бруно, стоя одною ногою во мраке средневековья»,— и далее, далее, далее (нагроможденья придаточных предложений, во время которых оратор забыл, что «ногою»),— «другою приветствовал он зарю возрождения!»[39]

Этой зарей невесомой светилися лица известного круга; и к нам заходили из этого круга, видаясь друг с другом едва ли не каждый день; в тот день — журфикс у Олсуфьевых, в этот и в этот журфиксы у Усовых, Иванюковых; воскресенье вечером — Янжулы ждут; воскресенье утром — у Стороженок; у нас же — по пятницам; не продохнешь: каждый вечер собрания. В девяностых годах это все отступило куда-то; и выступили: Грот, Лопатин.

Мне помнится стройный, высокий, худой и пленительный Иван Иванович Иванюков; лицо розовое, добродушное; около глазок морщинки, когда он смеется; смеется — всегда; и пошучивает, передергиваясь, головою покачивая; разыграется,— шутки и фанты; и даже мазурку отпрыгивает; был заводчиком всяких невиннейших шалостей; и милых глупостей; что за костюм: как картинка! Я помню блондином еще его (после же помню седым); эспаньолка подстриженная; и усы чуть подкрученные; из кармана платочек — хорошенький, шелковый, пестренький.

Мать отзывалась с улыбкой о нем:

— Вот Иван Иванович,— тот настоящий «бэль ом»;[40] и не докучает наукою; знает всему свое место.

О веселье, изяществе и баловстве сего почти «очаровательного» и еще почти «молодого» профессора просто легенды ходили; им все увлекались; и появлялся он всюду с изящною, маленькой милой женой; и очень любил катнуть невзначай из Москвы в Разумовское, где проживал он; можно сказать, в эти годы почтенный профессор шалил и играл, как котенок резвящийся; и Т. Л. Щепкина-Куперник, о нем вспоминая, опять-таки отмечает иванюковскую тему: «Жизнь кипела... Веселились, как дети, вдруг увлекаясь игрой в мнения или в фанты..., получались такие картины, что, например, почтенный, корректный профессор политической экономии Иванюков лез под стол и лаял оттуда собакой...»[41]

И совершенно такие же воспоминания матери; бывало, я слышу:

— Были у Ивана Ивановича... Он — голову скосил, подлетел, подшаркнул и сию же минуту со мною — в мазурку.

И когда Иванюков появлялся у Стороженок, мы, дети, кидались к нему, на нем висли; помнится, как мы однажды

попали к Иванюковым на праздник (дети Стороженки и я), потому что дочь Ивана Ивановича, Женя, была нашей приятельницей; мы пришли в неподдельный экстаз; и поставили вверх дном всю квартиру; не помню уже, по какому случаю я, путаясь в красном халате Ивана Ивановича, выделывал пресмешнейшие вещи; даже жена его с ужасом глядела на нас; сам же Иван Иванович, чистый младенец, сощурив свои добродушные глазки, подмигивал нам, подкартавливал (он чуть картавил), подщелкивал; и себя чувствовал в собственной сфере.

Позднее лишился он кафедры; кажется, что из Москвы переехал; еще позднее я, отрок, встречал его в санатории доктора Ограновича, где кончали мы лето;[42] там жил Михайловский (уединенно), рассеянно, издали как-то, перебегая; и — точно прячась в кусты (там стоял домик маленький: в нем отдыхал он); и наезжали жившие где-то рядом Иванюковы; Иван Иванович наружно весьма изменился; стал сед; борода его выдалась седеньким клинушком; лысинка маленькая обозначилась; ходил во всем белом, в какой-то заломленной шляпе, полупанама; но был он таким же веселым, невинным, весьма добродушным; и говорили все так же о нем:

— Посмотрите,— одет, как картинка!

Шутил, как картинка, ходил, как картинка; писал — не картинно: весьма жидковато; и — скучно.

Мои представления о Стороженках: они — настоящие окна в Европу; из окон их к нам появляются: Иванюковы и Янжулы, иль — «европейцы».

Хотя Янжул жил рядом, хотя слышал его за стеной каждый вечер (оттуда бубухало глухо: «Бу-бу!»), все ж казалось, что от Стороженок является он; и понятно: Иван Иванович Янжул есть «крестный» Марусин; Маруся же — моя приятельница (дочь Н. И. Стороженки); и с Янжулом многие мне стороженковские воскресенья связались.

И. И. Янжул есть тоже в Европу окно: англичанин; и явственно в нем намечаются желтые баки, и ходит во всем полосатом; и утверждает, что в Лондоне все хорошо, а в Москве — все прескверно.

Нечасто являяся к нам, он бубухал у нас за столом (как из бочки); шутил со мной грубо; и грубо затеивал игры у Стороженок он с нами; бывало, на елке сорвет он игрушку; и к нам:

— Дети, кто шкорей эту куклу поймает, тому она будет принадлежать.

И бросал куклу нам, точно кость жадным псам; и как псы разъяренные, с ревом, друг друга тузя, мы кидались; и дикие страсти разыгрывались; он нам половину игрушек, висящих на елке, как кости перебросает; и после, все красные, дикие и озлобленные, мы сидим и косимся на «ловкача», обобравшего всех.

Нелюбовь моя к Янжулу началась из-за этой игры: тихий мальчик, весьма деликатный, пинки давать я не умел; и поэтому из-за Ивана Ивановича без игрушек сидел; возвращаюся с елки; мать спрашивает:

— Что получил!

А я — в слезы:

— Иван Иванович Янжул обидел.

И кто-то по этому поводу с возмущением высказался:

— Что за грубое животное: разве можно с детьми так!

Что «грубое животное», это я понимал: как-то раз, уж не знаю как, к Янжулам я попал, то есть за стены квартиры; и оказался Иваном Ивановичем схваченным; он, сидя в качалке, весьма бултыхался ногами; ручищами шею мою обхвативши, притиснул к себе, бултыхаясь в качалке,— так больно притиснул: едва не задохся я.

Встретит на лестнице,— сейчас пристанет:

— Вот, на-ко, Бориш!

И сует в руку гривенник:

— Вот тебе: ты накупи, брат, себе леденцов.

— Нет, спасибо, Иван Иванович, мне запрещают брать деньги от посторонних.

И думал:

«Он — грубый мужик!»

Появлялся он с Екатериной Ивановной Янжул, весьма некрасивой, и бледной, и маленькой, с кашею во рту и в пенсне; говорили: ученая женщина; и покровительствует школе кройки, шитья; и поэтому в доме у Янжулов все какие-то молодые девицы из школы кройки.

На Янжула я с опасением поглядывал: громкий, огромный, и толстый, и косный; А. Н. Веселовский — надутый; проткнешь — оболочка (какая-то кляклая); Янжула, нет, не проткнешь; будто выточен весь из карельской березы; пудами теряет мяса свои, вновь потом их наедая; и с громкою силой колотится по вечерам в стену к нам; и мы знаем уже: выбивает он пыль перед сном ради для моциона. Весь желтый, такой желтокосмый.

— По штатиштичешким данным... в Лондоне — только и слышится:

— Как, Иван Иванович, здоровье?

— По штатиштичешким!

Глух!

Мне от буханья Янжула дымом серейшим несло; и мигрень начиналась; атмосферическим явленьем каким-то, как гром, я считал его голос застенный...

— Гром — скопление электричества...

И я думал, что голос его — нагнетание электричества: душит и парит, как перед грозою.

Хоть соседями мы лет семнадцать считались, он издали как-то по жизни прошел; раз в Демьянове, где проводили мы лето и где все сближались, снял дачу: опять рядом с нами;[43] и здесь он прошел вдалеке; одно помню: ходил он в наушниках[44].

У Янжулов часто Толстой бывал[45], заходя к нам, но изредка: хлопотал за кого-нибудь: папа деканом ведь был; и приходили: просить за студентов.

Отчетливо помню: мне — года четыре; сижу на коленях; и — пальчиком бережно за пылинкой снимаю пылиночку я с сероватых штанов; вижу: из-за плеча серый клок бороды протянулся, густой и щекочущий щечку; и голос, казалось, что плачущий, мягкий, но громко-отчетливый, как у Танеева, что-то доказывает; а отец потирает руки; и — чем-то доволен; и — слышится:

— Лев Николаевич!

Я знаю уже, что тот серый уверенный бородач — Лев Толстой; кто такой Лев Толстой, я не знаю; и думаю: звание это, иль должность почетная; про Льва Толстого я слышал уже весьма часто; и — вот он: снимает с колен, поворачивает; я стою меж колен, с удивлением видя такую огромную бороду; эдаких я никогда не видывал![46]

И другой раз я помню его еще в детстве.

Отца — дома нет, мать моя — разбирает белье, чтобы прачке отдать; на полу ряд салфеток и грязные скатерти; резкий звонок; кто-то спрашивает отца: отказали:

— Кто?

— Да так какой-то, седой, из простых.

Мама вдруг как сорвется в переднюю; выскочила к перилам; и слышу,— кричит она:

— Лев Николаевич, а вы меня не хотите и видеть?

Смех мягкий и старческий:

— Нет, отчего же!

Мать переконфузилась:

— Нет, не сюда, тут белье разбираю я.

Но Лев Толстой настоял, чтоб она продолжала белье разбирать; и — вошел: и сел рядом; я тотчас же соединил

этот образ с тем, в памяти жившим; и сразу заметил, что серая борода стала белой совсем, поредела она и уменьшилась; уже не в штатском — в толстовке; сидел, засутулясь пред матерью; и ей о смерти доказывал что-то; и мать утверждала потом, что тех слов не забудет; любила Толстого; и все вспоминала, как вскоре же после замужества, когда выглядела она девочкой и жалась к стенке, у Усовых собрались все они; вдруг — Толстой; обступили его и прислушиваются, что скажет; а мать — не представили: не до нее; Толстой слушает их; вдруг глазами нащупывает мою мать и довольно сурово рукой отстраняет кого-то, к нему прилипающего:

— Нет,— позвольте!

И — к матери; мимо профессоров:

— Нас забыли представить: Толстой.

И протягивает ей руку.

В этом круге же помню П. Д. Боборыкина и сухую, худую, больную, утонченную Софью Александровну, супругу его; Боборыкин был лысый, такой же; но был — желтоусый, а не седоусый, худой и багровый; высокий, весьма подвижной, он вертел головою на тонкой, изгибистой шее с такой быстротой, что казалось: отвертится; вспыхивал, вскакивал с места, руками хватаясь за кресла; и снова садился, чтоб снова вскочить и — стать в позу, одну руку спрятав за желтый пиджак (ходил в желтом он), головой и спиной закинувшись и наставляя лорнет на глаза, вооруженные, если память не изменяет, очками.

Он любил уговаривать мать стать актрисою:

— Артистические наклонности, а — тут дом, быт и прочее...

И кончал панегириком западу, эмансипацией женщины или колкостями по адресу В. И. Танеева.

— Это потому,— усмехался Танеев,— что года три назад Боборыкин подходит и спрашивает: «Ты читал мой последний роман». Ну, а я отвечаю: «Должен тебе заметить, что я никогда не читаю тебя...» С тех пор он и ругается... Кто же, кроме болвана безмозглого, станет читать Боборыкина.

Все эти и многие прочие личности (не перечислишь их!) к нам появлялися через окно, прорубаемое из Москвы Стороженкою и Веселовским. И дом Стороженок встает предо мной, как типичный для этого круга людей возрождения (не-«математиков»); в нем я учился разглядывать

кариатид гуманизма; и — кроме того, в нем учился играть я с детьми. Я ведь был одинок: не умел разговаривать; даже играть не умел, как другие (играл я по-своему); у Стороженок учился я играм.

В одном отношении я перерос своих сверстников; ну а в другом — недорос: Коля, Саша, Маруся уже твердо знали, с кого что сорвать и кого как использовать из «знаменитостей» для нужд их детской: утилитаристы! Уверенно, требовательно срывали с гостей прибаутки, гостинцы и нужные игры; чуть что,— подавай взрослых нам; и Федотову тащут смотреть на убогое детское представление, и Склифасовского, Николая Васильевича, так завертят, что он и не рад. И их все одобряли за это; и даже от них потерпевшие; только и слышалось:

— Что за дети!

— Премилые крошки...

А я,— я боялся всего: и гостинцев срывать не умел, а чтобы затеребить Склифасовского или там Янжула,— скорее броситься в воду, чем эдакое позволить себе; это все оттого, что Маруся и Коля рассматривали Ивана Ивановича Янжула просто, а я — с разглядами, с критикою; в выявленьях же внешних, и пятилетним став, выглядел, точно трехлетний.

И шли уже «при»; были партии: кто говорил:

— У Бугаева, у Николая Васильевича,— Боренька-то: замечательный мальчик!

— У вас замечательный мальчик,— Танеев, суровейший критик нас всех, говорил.

То же самое утверждал старичок, мной любимый, Буслаев; и я, слыша это, не мог понять, что они видят во мне.

Не знаю, чем был: разве вот — «рубежом» двух столетий, таящимся бунтом, уже «декадентом» (словечка такого еще ведь и не было); до «декадентства» я стал декадентом; и до «символизма» я стал символистом; явления, связанные мне с последним, я встретил позднее гораздо, как... возвращение переживаний младенчества, но по-иному совсем (не они мной владели, а я владел ими, как «символами»); вероятно, для многих несло от меня «символизмом»; но «символизм» восприятий моих заставлял говорить их:

— Особенный мальчик.

А большинство обособленность мальчика воспринимали иначе (я знал, что другая есть партия):

— У Николая Васильевича растет сын — идиотиком!

— Несообразительный!

— Посредственный!

— Глупый!

Такие слова раздавались; и знал я, о ком они; и противополагался мне Юрочка Веселовский, «талантливый» мальчик: стихи пишет, спич говорит!

Общественный голос я чувствовал; и за него уж хватался, поддержки ища, но — без слов; голоса «за» и «против» росли, углублялися: в детстве, отрочестве и юности, пока не лопнул в скандал тихий Боренька, став в один день декадентищем, Андреем Белым. Подозревали меня, не любили уже инстинктивно: Лясковская, Янжул; и многие у Стороженок; у Усовых чувствовал дома себя; Павлов, Умов, Буслаев, Лопатин-старик (отец Л. М. Лопатина, очень меня не любившего) — те вот друзья; очень странно: «отцы» не любили, а «деды» любили меня. И В. О. Ключевский с лукавой приязнью поглядывал.

Я, судьбой вскинутый на почтеннейшие колени, приглядывался к тем, кто меня сажал на колени; я чувствовал: сажающие суть мой будущий фатум; и хочешь не хочешь,— по-ихнему взвоешь; вот выросту; добрые «дяденьки» учителями мне станут; и буду надолго при ком-нибудь я состоять, как Лахтин при отце; стороженковским детям то все невдомек; они думают больше о яствах; а я уж задумался над всею будущей жизнью; поэтому-то теребят Склифасовского; а я уж знаю: затереби-ка я милейшего Витольда Карловича Церасского, мило мигающего; он — покажет когда-нибудь, на государственном экзамене вспомнит:

— Не вы ли, Бугаев-студент, теребили меня?

И — провалит.

Как будто предчувствовал я: эти милые все знаменитости, рой гуманистов, меня соглашающихся приласкать, вдруг суровые, грозные, яростные, указуя десницами на меня, отдадут свой приказ:

— Без сожаления!

5. НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ СТОРОЖЕНКО

Стороженковские воскресники —«файф-о-клок»; стол гудит разговором; и фрачник приехал: сидит в белом галстуке; дети, мы,— ерзаем: стибриваем со стола леденец, или бублик; иль хвостик бумажный стараемся к фалде пришпилить; возможно здесь все; Николай Ильич нас поощряет к проделкам; на нас повернет толстый, сизый свой

нос; и, склонивши огромную лысую голову, напоминающую мне кулич, обрамленный каштановой, почти черной, курчавою бородою, по бородавке ударит пальцем; и после подщелкнет мне:

— Ах ты, кургашка! Ах ты, бранкукашка!

У Николай Ильича «бранкукашки» ведь все: дети, дамы хорошенькие; что понравится, то — «бранкукашка-кургашка»; не страшно мне,— весело у Стороженок; я очень люблю Николай Ильича; глазки малые, карие, мне добродушно подмигивающие; если бы даже шалить не хотел, спровоцировали бы ему самому хвост бумажный пришпилить; хвостик нащупавши, лишь пробормочет:

— Кургашка!

И, даже, привставши, сутулый и грузный, средь нас он отплясывать будет, помахивая синей курткой кургузой, с которой свевается хвостик бумажный, и петь грубым басом средь визга довольных ребят:

— Ша-ша-ша: антраша!

Эти «шашаша-антраша» знаю я (тоже «словечки»); мы, бывало, повизгиваем; Николай Ильич, пересекая столовую из кабинета со свечкой в руке, пробирается; на толстый нос нацепил он пенснэ; лента черная свисла; проходит средь нашего визга, вполне машинально поревывая: «Шашаша́-антраша».— Походка подпрыгивающая; точно на спину под куртку мешок запихал: пресутулый; и есть что-то мне в Николай Ильиче от рождественского, добродушного дедушки (возрастом тоже скорее мне «дед») [47].

В «бранкукашках» ходили мы у Стороженок — я, Коля, Маруся и Саша, почти до студенчества; Коля и Саша поздней обозначились, как «бранкукашки» бедовые; уж и делов натворили (сквернейших!); лучше бы не были мы «бранкукашками», чтобы старик этот, уж перед смертью заброшенный и одинокий, не лил слез, дверь притворив в кабинет; гости не видели слез уважаемого «апостола» гуманизма: видела дочь.

Это все началось, когда Ольга Ивановна, мать «бранкукашек», скончалась;[48] весь дом был на ней; с ней считались; высокая, очень красивая, стройная и порывистая, мне сочетаньем являлась она темпераментных увлечений со строгостью здравого смысла и бурных стремлений.

Она умерла; «бранкукашки», из деток, из крошек, в отчаянных безобразников переродились; Маруся одна оставалась Марусей; кабы не она, что бы сделалось с Николай Ильичем?

В восемьдесят четвертом году он казался уютным и сказочным; в девяносто четвертом уже он казался мне тряпкою; в девяносто шестом вспомнил я выраженье отца: «Болтуны!» Но чем был и остался навеки: добрейшим, мягчайшим, ни на кого не сердящимся, иронизирующим; дар иронии был в нем; иронизировал он над гостями, над собственным домом, над... собственной позою.

Да, он — позировал!

Он был среднею равнодействующей либералов-словесников; и его «николай-ильичевское» слово имело особенность выглядеть статистическим выводом мнений других, преподносимым ходульно, закрученно, убежденно; он долго молчал; и выслушивал; выслушав, хитро итог подводил; подведя же, лансировал; скажет,— и Гольцев, Чупров, Милюков, Веселовский, Максим Ковалевский, имеющие несогласья друг с другом (лишь в частностях), с ним согласятся; с воскресника слово «крылатое» распространится:

— Сказал Стороженко!

— Вы слышали, что Николай Ильич выдумал?

Вовсе не выдумал,— выслушал; выслушав, сообразил, все учтя, обезличил до «в общем и целом»; и Гольцеву, Иванюкову, Якушкину — Гольцева, Иванюкова, Якушкина ловко вернул, щекотнув самолюбие каждого; этот процесс обезличения шел под флагом высказывания «великого» Стороженки.

Безвольный, как тряпка, весьма легковесный, но хитрый и да — остроумный порой; в отношениях личных — невинный и добрый.

Понятно, что он — возглавлял, обезглавив себя (может, нечего было безглавить); мое впечатление позднейшее: книги почтеннейшего Николай Ильича суть «безглавица» неплодотворная, но добродушная *, уже позднее на книгах двух «львов», Стороженки и Веселовского, выучился я тому, как не надо писать, как не надо осмысливать явления литературные; в этом, действительно, многому я научился; надолго они деформировали во мне потребность в «истории литературы»; теперь лишь стираю с души я следы недоверия к спецам-словесникам; и соглашаюсь, что переборщаю я в страхе своем; теперь пишутся истории литературы иначе; теперь и полезно весьма отмечать их значение

* Очень мало дают его исследования о Роберте Грине, Лилли, Марло; пустоват его курс по истории западной литературы; столь же легковесны его статьи о Шекспире[49].

в виду засилия формалистических методов; но впечатление от пустоты, доброты, абсолютной никчемности фраз Стороженки так сильно (пронзен на всю жизнь!), что я все еще вижу тот призрак, в который вперялся все детство, всю юность; ведь было же время, когда Алексей Веселовский, Н. И. Стороженко и критик Иванов собой заслонили все подлинное, что писалось, что писано было до них: три кита!

И Москва повисала на них.

Н. И. «влиял» у себя на воскресниках вовсе не так, как Лясковская; та сокрушала железным жезлом; Николай Ильич, «пастырь», пасом был общественным мнением; с видом быка был он, в сущности, только овцою невинною; пересекая своей статистической «средней из всех» этих всех, «всеми этими» выбран был гетманом некоей воображаемой *сечи* словесного отделения филологического факультета;[50] вручили бунчук ему; слабо держался бунчук этот в слабых руках; Стороженку не мыслю я без бунчука на воскресниках; сидит Николай Ильич, стол возглавляет торжественно; дикие споры: сцепился отец с И. Ивановым; оба вскочили; и брызжут слюной друг на друга:

— Позвольте-с!

— Нет,— сами позвольте-с!

Сидит Николай Ильич с гетманским видом, подмигивая на отца, на Иванова, шуточкой сыплет (ее и не слышат отец и Иванов, но слышат два-три тихих чтителя стороженковской мудрости); рука поднята, как бы с бунчуком («бунчука»-то и нет: это —«царское платье» Москвы девяностых годов); весь «бунчук» — тарахтящая и безобидная шуточка; протарахтит, точно пуговицы роговые на пол разроняет:

— Тарах-тахтахтах!

И оглядывает своих чтителей тихих: смешно? Успокойтесь,— смешно, и — доволен, что шуткою с будто бы мудростью, положенной в шутку, от спора ответственного отвертелся; и вместе с тем гетманское достоинство — соблюдено; и у Янжулов, у Веселовских, у Иванюковых расскажут:

— Вы знаете, как отозвался на спор Николай Ильич?

Нет, Стороженку любил я совсем за другое: за пляс добродушный его: шашаша-антраша! В «шашаша-антраша» изживала себя незатейливо так юмористика;[51] хуже, когда «шашаша» выступало во фраке: с ответственным словом; тогда начинались иные истории,— например: отвергали для Малого театра «Дядю Ваню»[52] и провозгла-

шали Потапенко наследником Толстого и Салтыкова; пустенькие водевильчики Щепкиной-Куперник показывали... в пику Чехову; «шашаша-антраша» — удел детской, — не кафедры!

Конечно, на лозунге, вполне либеральном, вполне безобидном, нельзя было много проехать, как на палочке; и «палочка» не фигурирует ныне нигде; удивляюсь, что ездили-таки на «палочке» лет эдак двадцать, и думали: делают дело, в то время, когда в Харькове вовсе никем не отмеченный скромный профессор Потебня * «книжонки» пописывал;[53] и Александр Веселовский работал:

— Как... как... Александр?.. *«Алексей»* — вы хотели сказать: «Алексей Веселовский!»

Ту реплику слышу я из восьмидесятых годов; могли допустить: Алексей Николаевич раздвоился: одною рукою строча в Петербурге, другою в Москве строчит; но, чтобы был еще Веселовский какой-то, сочли б за невежу меня: «Николай Стороженко и Алексей Веселовский» — омега и альфа; вот чем надышался я в детстве, резвясь в стороженковском доме. Сплошной юбилей. «Общество любителей российской словесности»[54] — место, где все юбилеи справляют (и я, когда выросту, справлю) — расширенная стороженковская квартира; когда я теперь Оружейным иду, останавливаюсь перед тем же я домом (он даже не перекрашен, — такой же стоит он красно-коричневый), где я резвился, где шли юбилеи сплошные, — мне чудится: в окнах мелькнет нос Иванова критика; выглянет из-за окна Линниченко; и — пальцем поманит меня.

Впечатление о потрясающей знаменитости и гениальности Стороженки ребенку, мне, явно сложилось в квартире известнейшей «байдаковского» дома;[55] конечно же, под впечатлением тихих чтителей и всех домашних:

— Папин поклонник!

— Папа наш знаменит!

Это все «бранкукашки» твердили; и их гувернантки, и няни, и тети, и многие личности, здесь заседающие; во-вторых: половина гостей, здесь бывших, — гении и знаменитости; здесь-то кафедра, окаменевши, мне выросла в столб; здесь профессор мне кариатидой, увенчанной лаврами, стал; повторял я лишь то, что твердилось; твердилось мне здесь: Алексей Веселовский есть памятник

---

* Характерно, что на протяжении 20 лет весьма часто посещая стороженковские воскресники, прислушиваясь к разговорам *«великих»*, я ни разу не слышал упоминаний о бытии Потебни, Александра Веселовского, трудов Кирпичникова.

собственной жизни; и здесь же мне памятник рухнул; и «кафедра» — испорошилась; но светопредставленья (представьте мое удивленье!) не произошло никакого.

Четверть века сюда я ходил; перевидал рои лиц. А. Ф. Кони, Мечников, Боборыкин, Толстой, Поль Буайе, Соловьев, — здесь маячили;[56] помню: резвимся мы в белой столовой, с огромнейшим грохотом стол отодвинув; а из гостиной, обняв Николай Ильича, Лев Толстой к нам выходит; и пристально смотрит, как мы хулиганим; иль: Владимир Соловьев сидит в красной гостиной, весьма удивляя брадой и власами; а мы напряженно стараемся хвостик ему прицепить. В 1884—1890 годах постоянно встречал здесь Якушкина, Веселовского, Янжула, Иванюкова, Танеева, тяжелого Самоквасова; шутиком вертится, бывало, не потрясая меня остроумием, В. Е. Ермилов; в том обществе он подавался, как номер эстрадный; а изпод ног (под Стороженкою жил) появляется нами любимый И. А. Линниченко (тогда — не профессор); Иван Иваныч Иванов, когда ни приди, — все витийствует здесь; и обедает здесь; а после обеда мы, дети, сымпровизировав в детской «театр», отхватываем половину гостиной, завешиваем ее; и требуем, чтобы гости смотрели на нас; и Федотова смотрит, похваливает. Помню: здесь ослепил Боборыкина магнием я (у него — болели глаза); впрочем, это — не я, а — «бранкукашка» Коля:

— Ты, Боря, ему в глаза!

Боборыкин так даже подпрыгнул, а Николай Ильич — ничего.

Одно время придумали номер: придет к Н. И. «чтитель», являемся мы к Николай Ильичу в кабинет с грозным требованием:

— К нам, папа, к нам, Николай Ильич, — на сеанс спиритический!

Бельский, учитель гимназии наш, двойки ставящий, у Стороженок вполне в нашей власти; Н. И. не посмеет перечить он, а Н. И. прибран нами к рукам; Н. И. тащит Бельского в темную комнату, где приготовлена нами засада; мы сядем за стол, в темноте; и подушкою припасенною Бельского бьем (не мы — «дух»); исколоченный нами, уходит отсюда: за двойки в гимназии здесь ему — страшная месть.

В тот период мне нравится очень студент-репетитор «кургашек»; веселый и умный, затеивающий то интересную беготню, то сидящий, пенснэ нацепив, за столом, очень слушающий, даже в споры вступающий, — Дмитрий

Иванович Курский (поздней «нарком-юст»);[57] после он появлялся лишь: репетирует брат его, Владимир Иванович; Фриче сидит здесь, Бальмонт.

Поздней познакомился у Стороженок с профессорами: М. М. Покровским, с Матвей Никаноровичем Розановым, с Саводником, с Мельгуновым, с профессором Бороздиным (тогда — студентом), с профессором Фельдштейном (тогда — гимназистом), с писательницей Хин; и со сколькими прочими.

Люди менялись в годах; не менялся лишь тон, задаваемый мужем маститым, а после уже дряхлым старцем: довольно пустой; та квартира мне служит уроком: и кариатиды легко... покрываются мохом!

Дети Николай Ильича (Маруся, Коля и Саша) — первые мне друзья по времени, особенно Маруся;[58] дружба с ней началась, когда я был еще четырехлетним, а она — трехлетней; Коля — ползал еще, а Саши не было вовсе на свете; с ними же порой я встречался и на Смоленском бульваре, куда меня редко водили: водили гулять на Пречистенский, где встречались все те же знакомые наши: Федор Иванович Маслов, с которым Танеев дружил, пока Маслов не выписал «Нового Времени», переменив орьентацию; там Самуил Соломоныч Шайкевич, известный Москве адвокат, с супругой бродил, и Владимир Иваныч Танеев порой проносился стремительно; и профессор Александр Карлович Эшлиман, посещавший нас, сидя на лавочке, предобродушно подманивал; Николай Платонович Шрамченко, инспектор женских гимназий, являлся сюда со своей дочкою, Надей; но ждал я не их, а огромную шубу и воткнутый нос в воротник; из мехов два очка мне проблещут (ни носа, ни белых усов,— только шапка, очки, да огромная шуба); и я, вырываясь из рук, мчусь под шубу, в меха, с громким криком:

— Вот — друг мой идет!

И в объятиях мягких и теплых тону; и из меха головка седая и старческая вылупляется; мягко шамкает мне: это — Федор Иваныч Буслаев; встречаемся с ним каждый день на бульваре, свидания назначая друг другу и передавая друг другу последние новости; после же я от него получаю кусочек рябиновой пастилы с неизменным подшептом: от птички узнал он, что я — на бульваре; и вот он — пришел ко мне.

Так мы три года встречались.

Меня на бульваре все знают:

— Вот — Боря Бугаев!

Раскланиваюсь я с неизвестными даже:

— С кем, Боренька, ты?

Я же гордо:

— Знакомый мой!

Этот район населен профессурой; куда нос ни сунешь,— профессор; так с нами дверь в дверь живет Янжул; под Янжула въехал историка Соловьева сын, М. С. Соловьев; коли носом просунешься в окна из нашей квартиры, то в окна уткнешься; за окнами теми давно обитает профессор Иван Александрович Угримов; и рядом же Селиванов живет; на Сенной обитает профессор Владимир Григорьич Зубков; против — сверт в Оружейный; и там — Стороженко, и там — Линниченко.

Очерчена, замкнута жизнь: тесновато! В арбатском районе томлюсь; сюда выжаты сливки Москвы или — целой России; и столкнуты и дверями, и окнами здесь все традиции славные стаи славной; казалось бы, радоваться!

А тяжелая грусть, безысходная грусть охватила меня, переходя просто в дикую мрачность; тринадцатилетним переживал я буддистом каким-то себя, а не отроком; мрачность перерождалася в бунт открывания «форточек»: в жизнь; у Николая Васильевича вырос сын декадентом; и сказка про серого козлика, от которого остались рожки да ножки, себя повторила: жил-был «Боренька», пришел волк «белый»; и —«Бореньку» съел он.

И Николай Ильич, певший девочке «Танечке» дифирамбы, на Бореньку не сердито (добряк!) стал коситься, пока... не усвоил... чего-то...

То было пред смертью его, когда он, совершенно разбитый болезнью, повис головою в грудь, свешиваяся с огромного кресла, высматривая исподлобья хитрейшими, украинскими глазками; был одинок: «бранкукашки» (и Коля, и Саша) — перебранкуканили так, что он плакал от них; у себя на квартире дочитывал курс свой последний последнему слушателю: И. Н. Бороздину (препохвальное претерпение!). Выдавал дочь он замуж; унылая свадьба; из университетских один лишь Иван Иваныч Иванов, закатывающийся... в Нежин (да в церковь явившаяся размягченная и поседевшая кариатида-Янжул, уже академик [59], с большим поправеньем); помнится купчик, седой и подвыпивший на этой свадьбе (со стороны жениха); грустно было на свадьбе подруги; и грустно висел Николай Ильич в кресле; глаза наши встретились; пальцем меня подманил он к себе; и когда я склонился к нему, с мрачным юмором, с истинно героическим юмором, глазками

ткнув на «веселие» и на купца красноносого, вытарахтел свирепою скороговоркою он:

— Козловак!

— Что такое?— не понял я.

— Не правда ли, говорю,—«козловак»!

И еще раз ткнул глазками перед собою.

До этого мы о «Симфониях» моих — ни звука: из чувства такта (что мог он сказать о них, кроме жестокого осуждения мне?); а тут вдруг —«козловак» (словечко из «Северной симфонии»);[60] стало быть,— прочитал; и, стало быть, усвоил; не так уже непонятны, стало быть, словечки «Белого», коли, когда случилось обстоятельство, соответствующее словечку, то выскочило и словечко у отрицателя моих «словечек».

Да и как не понять «козловака»: там, там, где Максим Ковалевский закатывал спич, Алексей Веселовский же вздергивал ногу Бруно в зарю возрожденья,— ни спичей, ни мужей науки: линяющий Иван Иваныч Иванов, уж где-то в газете хвальнувший меня, говорит что-то о Матерлинке на свадьбе (horribile dictu)[61], да купчик подвыпивший (откуда взялся он?)[62] подкозловачивал.

Да, козловак!

Это было последнее слово, мне сказанное Николай Ильичем: напутственное, прощальное слово, взывающее к сочувствию; и я его понял.

Скоро стоял я над гробом его, переживая действительную скорбь, что утратил этого прекрасного добряка, незадачливого профессора и незлобивого человека;[63] и кто-то из словесников, показывая на прах, дернул ужаснейшим «козловаком»:

— Вот, вдохновитесь: и на похоронах «воспойте» нам его.

Я посмотрел на словесника; и подумал: «И дернуло же?»

Только средь «апостолов» гуманности возможны подобные «задопятовские» безвкусицы.

6. КРИТИКИ СРЕДЫ

Картина среды мне наляпана крупными пятнами красок, действовавших на воображение; анализировать эти пятна я мог лишь отчасти; противопоставить им (быту быт) я не мог; мне ведь сравнения внешнего не было; и все «мое» изживалося немо, подпольно без слов и без образов;

знай я рабочих, крестьян, иль богатых купцов, иль священников, или художников, я бы мог противопоставить; из противопоставления нечто учесть.

Но мне подан университет — с примечанием: все, что я вижу,— единственное «так надо».

Компания позитивистически настроенных либералов — одно пятно нашей среды; забеспокоило рано оно меня: неискренностью позы и нечеткостью идеологии; поза не соответствовала содержанию; честный вид не вполне соответствовал безукоризненности всех поступков и их плодов; брак позитивизма с либерализмом легко вырождался в оппортунистическое шатание; а витиеватая фраза Веселовского, очищенная от аллегорий, вводных и придаточных предложений, оказалась нулем; осточертели мне разговоры о власти идей без материальной и художественной базы слова, едва я прикоснулся к урокам Льва Ивановича Поливанова, учившего ощупывать слово; после первого поливановского урока, до всяческого модернизма — погиб Стороженко, погиб Веселовский; фрак, кляк, кафедра — оказались картонными.

Другое красочное пятно — математики: скучные, неповоротливые, беспомощные люди; правда,— весьма не фразеры; даже — слишком не фразеры; слово все-таки знак общения; а сидеть, немо друг другу показывать формулы, пусть глубокие, и подставлять спину нам, в формулы не посвященным,— нет, это слишком! Ведь вот: думал же я лет двадцать пять вместе с мамой: «Бобынин — дурак!» А он — умница! Зачем же вводить в заблуждение?

Отец и Усов — каламбуристы; отец — «слабый» в быту; Усов, кажется,— тоже слабый; в результате: революция испарялась и плавала где-то над бытом; и Мария Ивановна Лясковская створаживала этот быт.

Я ждал только повода придраться к критике того, что полусознание мое уже отвергало; каждое едкое слово о быте, помнится, перевешивало мне десятки и сотни слов, быт утверждавших; оно падало, как дождь, на иссушенную почву, мгновенно впитываясь.

Повод к критике — дяди мои, Бугаевы: главным образом Георгий Васильевич (но и Владимир Васильевич); и повод к критике весьма уважаемый матерью Владимир Иванович Танеев.

Дяди,— выпадыши из нашего быта: так сказать,— полудекаденты (ведь слова такого не знали в те годы); они — чудаки, над которыми похохатывали, которых поведение было порой ни на что не похоже; но они уже вы-

ступали: выступали против «традиций» — не каламбурами, а жизнями, достаточно сломанными.

Владимир Васильич Бугаев является редко из Питера; явный чудак: с видом взъерошенного конспиратора и нигилиста шестидесятых годов, весьма бедно одетый и весьма заносчиво нас оглядывающий, тыкающий окурок не в пепельницу, а в цветочную вазу: с явною демонстрацией.

— Вы бы в пепельницу!

— Я так привык,— что?

Произносит он «что», точно пять «ч» написано: «чччто?» Это — в пику Москве, говорящей «што».

— Какой говор у вас.

— Чччто? Прекрасный говор,— не ваш: не московский!

В юности нигилист, ультракрасный, требующий с Антоновичем отделенья Украйны, едва ли не режущий лягушек из «прынципа», и вздергивающий ногу на ногу (носком в небо) при дамах, он, студент, все забыв, пристрастился к химии, да так, что в ней выявил задатки большого научного таланта; так о нем отзывался профессор Бутлеров, силившийся его оставить при университете; не тут-то было: усмотревши в действиях Бутлерова покровительство начальства и нарушение «прынципа», дядя мой, Владимир Васильевич — «чччто?» — бросил химию, которой он увлекался; и — стал служить в банке (почему — в банке?), где ему уже не покровительствовал никто и где получал года он гроши, продолжая изучать Спенсера, Милля, Конта, которых он был начетчиком, как и отец, переча отцу и доказывая свое,— «чччто?» — а не его пониманье.

Знал он позитивистов не как... Стороженко.

Отец его тащил в «свет», а он, «свет» обфыркав и едко укалывая отца его «светом», прегордо запахивался в холодное и обтрепанное пальтишко, несся с отцом по Невскому проспекту (отроческое мое впечатленье).

— Володя,— да-с: фыркает,— юморизировал отец.

Наконец даже в банке заметили совершенно исключительную честность уже седого дяди, получавшего гроши, вдруг повысили, обеспечили; тогда он, обфыркав банк, умчался учительствовать в Финляндию, где и умер.

Когда появлялся он изредка, то мне он стоял катастрофою авторитетов; потрепанный, задирающий ногу вверх, на наскоки отца он ответствовал ехиднейшими протыканьями китов науки и нашего быта:

— Чччто? Да,— пустяки!

А вид — добродушный.

Отец, бывало, таким носорогом кидается на него со Спенсерами и Миллями; а маленький, седенький дядя, полуголодный какой-то, морским коньком выюркнет; и, выюркнув, еще уколет отца теми же Миллями, Спенсерами; и, подразнив нас, уедет надолго.

И долго живет впечатленье во мне, что среду нашу, всю, издырявил кротчайший Владимир Васильевич; умница, умнее прочих, а — не знаменитость, не прочно живет; и, живя так, совсем не горюет; и даже — доволен собой и судьбой.

Другой брат отца, Георгий Васильевич, всю жизнь являлся к обеду к нам раз в две недели, с портфелем своим: из суда (был присяжным поверенным он); этот был в другом стиле: высокий, красивый, стройнейший, со вкусом одетый и умный весьма, но, как дядя Володя,— чудак, подфыфыкающий, очень злой, с беспощадной насмешкою (впрочем,— вполне бескорыстной; и даже — себе во вред); опрокидыватель наших традиций мне он; дядя питерский — не нападал: на него нападали; тогда, защищаясь, он бил нас. Георгий Васильевич был нападателем; даже — присевшим в засаду; присядет, подкрадывается молчаньем, все выслушает, даже с неким сочувствием, точно выведывает; и, все выведав,— трах-тарарах: скажет нечто такое, что — в обморок падай!

И после — пойдет и пойдет: на часы!

С детства я знаю, что «Жоржик» (так дядю отец называл), благосклонно введенный отцом и Шайкевичем в круг «всей Москвы», в круг профессорский, где адвокатствовали Танеев и Муромцев вместе с Шайкевичем, где князь Урусов блистал,— дядя, введенный в тот круг, как весьма образованный молодой адвокат, очень умный, и «брат Николая Васильевича», весьма скоро презло и преедко обфыркавши всех, завел собственный круг: незадачников, странных весьма, не блиставших нисколько; являлся к нам противопоставить какого-нибудь им открытого очередного гения — Урусову, Муромцеву; так он — выбыл, не став адвокатом блистательным; и, разумеется, куши срывать с миллионеров, как их срывал после И. А. Кистяковский (его свойственник по сестре, тете Варе), не мог, пробиваясь кой-как своим жалованьем, как юрисконсульт при ком-то.

Наш круг, разобиженный им, от него отвернулся; и дядя его с остроумьем безжалостным жалил всю жизнь; полагаю: для этого он и ходил к нам обедать, чтобы, тишай-

ще откушавши суп, за вторым блюдом фыркать, за сладким же горькое жало вонзивши, потом доводить до каления белого моего отца.

Весьма сильно он действовал: на меня и на маму; во мне под влиянием многогодовых заходов к обеду он действовал, вкрапливая анархический образ мысли; я думаю: им-то питалось сознанье мое, объясняя свое подсознание; мне становилось понятным все то, что не нравилось лишь инстинктивно; и я подбирал его лозунги: иметь лоб и очки золотые не значит быть умницей; легкое дело кирпич написать; удивительно: в профессора попадают тупицы; профессорши — лицемернейшие мещанки; красавица, мамина подруга, Чернова (по первому мужу Гамалей), которой гордилася мама за блеск и за светские связи, оказывается,— старая цыганка; и М. Я. Лясковская — злой и зеленый одер.

Вот что знал весьма твердо уже пятилетним: от дяди.

Бывало, начнет с остроумной, как будто бы добродушнейшей шуточки; папа и мама — покатываются со смеху, бросая салфетки:

— Нет, Георгий Васильевич, вы — человек невозможный...

— Нет, Жоржик, ты, знаешь ли,— слишком!

Самим-то им весело.

А дядя Жорж, поощряемый смехом и собственной злостью,— в азарт, и — нешуточный; вдруг затрясется, салфетку сорвет с себя, встанет (престройный такой в серой паре), сверкает, как молньей, очками, и, вздернув красивую золотоватую бороду, волосы светлые переерошит, и — бьет: что ни слово — копье, протыкающее, добивающее; вот он освирепел и глазами, и носом орлиным:

— Уф, я покажу... Я... Да, уф,— я скажу им в глаза!..

Доказать философски в те годы не мог ничего он; потом уже он обложился сериознейшим чтением; мог показать только факты, да ум свой озлобленный; и он показывал несоответствие слов либеральных с поступками: с силою невероятной; отец, ужасавшийся слову его, защищавший друзей,— даже он умолкал; ненавидел «Жорж» пламенно и бескорыстно: его ж не обидел никто; Николай Ильич звал его гостеприимно; Ермолова некогда на него обратила внимание; и Самуил Соломонович Шайкевич тянул в круги... «с Муромцевым»; от всего отказался он, странно женился, засев на Девичьем на Поле и заводя отношенья свои: с Голоушевым, с художником Орловым (толстовцем), иль с доктором Трифановским, гомеопатом; меня-

лись друзья: их и не было; жил одиноко и мрачно, рождая детей и давая названия им экзотические, вероятно, что — «в пику»: Силантий, Олег, Вадим, Ада. А доходило дело до юмористических сцен; отец умолкал, уже не защищая; и, охая, он ужасался; потом убегал в кабинетик, являяся с календарем Суворина; список найдя адвокатов московских, читал (по алфавиту):

— Ааронов... Абасов... Аваков... Агадиев... Адов...

В ответ раздавалось лишь:

— Жулик... мошенник... вор...

А отец ставил крестик под именем: список московских присяжных поверенных, проредактированный Георгием Васильевичем, превращался в каталог преступников:

— Ух, да я им покажу!

Вдруг, отпылав, он добрел с быстротой чрезвычайной; и даже: чрез десять минут из конфуза, волны благодушия, мог отменить приговоры свои, объявив, что увлекся, наделал ошибок, что у Ааронова есть свои добрые стороны; и что Абасов прекрасен в одном отношенье; Аваков же, в сущности, и не так плох.

И сконфузившись тем, что насытился критикой быта, он схватывал быстро портфель; и с подъерзом в переднюю шел: уходил в быт квартиры своей, очень мрачной,— в тот быт, где года он, как в клетке, сидел и где трепетали пред «злостью» его. Иногда ж уходил, разругавшись с отцом или с матерью; и проходила неделя, другая и третья: нет Жоржа.

Потом появлялся он как ни в чем не бывало!

Мама любила выслушивать ниспроверженье кумиров: клеймился «второй математик», мания ее; отец плотный, вполне невысокий, подскакивал псом, защищающим математику под золотую под бороду дяди «*Ерша*»; он — такой худощавый, высокий, светлея кудрями, и носом орлиным своим точно внюхивался в «Николая», подскакивающего:

— Ты, Николай, не кричи: криком ты не докажешь...

И — хихикает весело: цель его — именно заставить подскакивать Николая; увидевши, что Николай — вне себя, дядя Ерш, гнев на милость сменив, переводит предмет разговора; он техникою выведения из себя овладел в совершенстве: я на себе испытал боль укусов умнейшего, мрачно бунтующего, но бесплодно, вполне одинокого дяди, во мне подымавшего с детства «рубеж»:

— Странный был человек, Георгий Васильевич,— мне говорил уже позднее Сергей Сергеевич Голоушев («Сергей Глаголь»)[64] — умница, начитанный, а — как бесплодно,

как мрачно прожил свою жизнь; я, бывало, к нему забегу; он — сидит один, в кресле, без ног; и трясется от остроумнейшей злости на все и на всех...

На него, по выражению мамы,— «накатывало»: накатит злость — декапитирует[65] все и всех; накатит вежливость — распинается, расхваливает; и вдруг сделает ценный, но никому не нужный подарок, чтобы чем-нибудь изжить желанье помочь.

Под злым юмором видел тоску и страданье в нем; а под страданием видел прекрасную, добрую, честную душу, разорванную безобразием «бытиков» и не умеющую безобразие это стряхнуть.

Да, он — видел рубеж: видел даже он бездну, в которую должны свалиться устои не только среды нашей, но и его среды, собственной его атмосферы; позитивный либерализм и либеральный позитивизм разложил своей критикой он, а не знал, куда выметнуться ему со всей жизнью; и записал он порывистые, беспомощные зигзаги, диктуемые настроением данной минуты: то вправо, то влево; и выходило сегодня: хоть бомбы бросай в негодяев правительственных; и выходило завтра: поляки, армяшки, грузины и украинцы растаскивают Россию; всегда отправлялся от данного собеседника; коли сидит перед ним консерватор, он «бомбой» в него; коли сидит украинец-племянник, поклонник Грушевского и Антоновича, он стоит за единство России, чтобы подковырнуть; подвернись Арабажин ему,— ничего не останется; Костей его называет и любит, его уложив в лоск, в глаза почти «жуликом» и «бутербродным газетчиком» выявить:

— Ух, да я Косте такого сказал: будет помнить!

А попадется Володя,— Володе же за анархизм достается: вполне государственник!

Раз, встретив Фигнера, оперного певца, он напал на него за сестру:

— Вы срываете милости: ваша сестра сидит в крепости...[66]

А, увидавши меня, принимается так изъязвлять декадентов, что я разрываю сношения с ним на три года (уж после кончины отца): нестерпимо, обидно он всаживает свое жало.

Но злость — не исход; и — увлечение за увлечением, точно запой; вдруг все заработки улетают на покупанье фарфоровых чашечек; мнит знатоком себя старых фарфоров; поздней обнаруживается, что он накупил себе битую дрянь; раздаряется дрянь; и все комнаты завешиваются

дрянными картинами; и он с Глаголем, с Орловым себя мнит эстетом; и вновь раздаряется дрянь (получаем и мы в дар ужаснейшие пейзажи); зато: куплено пять вьолончелей; Георгий Васильевич, севши в пороге двух комнат, жене, детям, даже прислуге, дерет невозможнейше уши; и жалуется жена:

— Врет,— не слышит; а не позволяет дышать; все должны, не дыша, его слушать.

Позднее — раздарены пять вьолончелей; и вместо них — пять велосипедов; садится сам,— катится; жену сажает, детей; покатился весь дом; докатался же он до того, что стал еле ходить, опираясь на палку; раздарены велосипеды; сев в кресло, три года сидел и читал: перечел уйму книг; и себя осознал он философом; но последовательность увлечений и изучений — странна: преодолев философию Канта, открыл Шопенгауэра, чтобы ему изменить с Соловьевым (он, старый безбожник,— что вынес он из Соловьева?); потом, превзойдя томы Спенсера, к нам он явился: о Спенсере спорить с отцом; и привел с собой дядю Володю, да тут оборвался: «Володя» и Николай, начетчики Спенсера, не упустили прекраснейшего случая: новоявленного «спенсерианца» задрать пресвирепо, ему доказавши:

— Да, знаешь ли, Жоржик,— с налету, голубчик мой, не одолеешь ты Спенсера... Мы вот с Володей, лет тридцать назад, изучали годами его, а ты вздумал учить нас...

За Спенсером дядя открыл только начавшего печататься Иванова-Разумника; и мне доказывал: все философии — нуль после постановки вопроса о жизни у Иванова-Разумника;[67] через него я и начал читать произведения человека, с которым позднее всей жизнью связался;[68] спасибо же дяде Ершу, что ткнул пальцем в хорошие книги; но тут разругались мы; я потерял его из виду; слышал о странном лишь появлении дяди в Религиозно-философском обществе и о произнесении им какой-то «низвергательной» речи.

В 1907 году читал лекцию я; вдруг увидел ибсеновскую фигуру, входящую в зал: седобородого, взъерошенного старика, с видом Ибсена, иль Шопенгауэра, в черных огромных очках, но едва волочащего ноги и опирающегося на палку, и гордо прямого, прекрасно угрюмого; и я подумал:

«Да ведь это Бранд, Боркман[69], иль — кто? Только — ибсеновский герой-анархист, поднимающий борьбу с жизнью».

Да так и ахнул:

«Дядя, Георгий Васильевич!»

Так он постарел, заострился за три года «ссоры». Признаться, я, уже виды видавший, немного сконфузился перед ним: вот изжалит-то! Но — не изжалил; и даже ко мне притащился на третий этаж (в одно из воскресений), застав «декадентов»: Брюсова, Эллиса, Ликиардопуло, «теософа» Эртеля, залевевшего Переплетчикова; ну, подумал,— будет ужо перепалка; Георгий Васильевич, с ибсеновским видом усевшись за чай, опершися о палку, склонил седины свои, слушая Брюсова, еще в те годы проповедывавшего «мгновение»[70], с величайшей сериозностью; ни слова; но и без того огонька в глазах, который я изучил и который всегда означал: «тигр» притаивается перед прыжком; нет,— он слушал... с сочувствием (?!?); пересидел всех гостей; и, оставшись со мною вдвоем, он склонил свою мрачно красивую голову, молча, как бы соглашаяся с виденным, слышанным; вдруг он затрясся, ударил палкою, и с отстоенной горькою страстностью, полушепотом, пронзая взглядом меня, затряс рукою:

— Ты, Боренька, разорвал радикально с прошлым; ушел от него: и ты тысячу раз прав: но,— у тебя есть будущее; и эту иллюзию ты не сжег еще, а я, взорвав прошлое, взорвал и будущее, потому что есть только настоящее; и это настоящее — «Я», вот это «Я», а не какое-то там преображенное.

Выяснилось: последние годы Георгий Васильевич обрел себя в Максе Штирнере, став убежденнейшим штирнерианцем, каким и был он, в сущности, всегда; и я понял, что Штирнер уже — не очередное увлечение, а самая суть «дяди-Ерша»: но каково же было ему со Штирнером в груди перемогать «бытики», его обставшие? Он, смолоду, видел «рубеж»; и он мог только растрясывать славные наши традиции однолинейного прогресса.

Понятно, что он, будучи «рубежом», во мне поднимал тему «рубежа» — с детства, доказывая всей своей страдальческой жизнью, что его «критика» — не слова, а настоящее жизненное страдание; понятно же, что «зеленый одер», Лясковская, вызывала в нем отвращение и что суду предпочитал он пять своих вьолончелей.

Он был человек «с перцем», острота которого была в его жизненной выношенности; характеристику его я хочу окончить упоминанием об одном его разговоре с нынешним академиком Перетцом, некогда мужем племянни-

цы его (об этом разговоре передавала мне двоюродная сестра, в Киеве).

Перетц: «Не понимаю, чем это кичатся Бугаевы; гонор какой-то «бугаевский», слышу я, а не могу понять, чем он мотивирован».

Георгий Васильевич Бугаев (подфыркивая): «Я вам объясню; очень просто: Бугаевы — «с перцем»...».

Говорят, профессор Перетц на это «с перцем» обиделся, полагая, что и тут Г. В. выказал «бугаевский» гонор указанием на то, что Перетц «без перца»[71].

И думается,— все же Г. В. был прав: Бугаевы — люди «с перцем»; характеристика двух дядей-чудаков это доказывает; отец, сделавший ряд крупных математических открытий и высказавший ряд оригинальнейших философских мыслей, был человек не только с математико-философским перцем, но и с жизненным перцем; что же касается до меня, то если я еще и не доказал свое право на «перец» в 1902 году, сильно «наперчив» быту своим «декадентством», то, думается мне, ныне это доказываю, всыпая в бочки медовых воспоминаний о добром, старом прошлом... ложечку «перцу».

Академик Перетц, усумнившийся в «бугаевском перце», может быть, все-таки согласится с Георгием Васильевичем?

7. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ

Другой критик быта и нравов, живущий средь нас и являющийся заклеймить нас,— Владимир Иванович Танеев, талантливый адвокат и личность весьма замечательная в своем времени; он двояко противопоставлялся: как сумасброд, полусумасшедший позер; и как умница, смельчак и представитель недосягаемой левизны в нашем круге; поклонник Фурье, прекрасно начитанный в социологической литературе, знаток Сен-Симона и Луи Блана, лично переписывавшийся с Карлом Марксом[72], он для профессорской Москвы восьмидесятых годов опасен во всех отношениях; за общение и за опасные фразы Танеева могло влететь не Танееву, а, например, любому профессору, с ним тесно общающемуся — тем более, что этот не боявшийся слов человек организовал ежемесячные обеды в Эрмитаже[73] и много лет рассылал приглашения сливкам нашего круга; и там, за обедом, высказывал сногсшибательные сентенции о том, что надо не оставить камня на камне на нашем строе.

Не сомневаюсь в искренности ужасно красных речей, потому что уверен в безусловной правдивости этого человека; но факт оставался фактом: Танеева не трогали, предоставляя свободу потрясать основы и в Эрмитаже, и в парке собственного имения, куда «помещиком-Танеевым» посторонние люди не допускались; стало быть: пропаганды в собственном смысле и не было; к танеевским потрясеньям полиция привыкла, зная, что «красные ужасы» котируются даже друзьями Танеева как барское чудачество; оставалось непонятным, как разрешались обеды в Эрмитаже; высказывалось предположение, что шпикам они на руку, ибо выявляют реакцию Ковалевских, Иванюковых и Муромцевых на приглашение предать все огню и мечу. Знали: сам Танеев меча не обнажит; и красного петуха не подпустит под собственную кровлю.

Опасность Разина, Пугачева не угрожала.

Правда, одно время боялись Танеева в качестве председателя Совета присяжных поверенных, но, как оказалось,— более, чем полиция, боялись Танеева присяжные поверенные, в скором времени забаллотировавшие его, после чего он, бросив адвокатуру, переехал в деревню и оказался самоарестованным в собственной усадьбе своей[74].

В этом положении он был смешон.

Повторяю: хочется подчеркивать его всяческую порядочность и признавать остроту им наводимой критики; но ведь он сам был объектом этой критики; устраивалось харакири: фурьеристом-Танеевым барину-Танееву, развивающему в усадьбе чисто самодержавную власть.

Говорил же он воистину ужасные вещи (для своего времени); его идеалами были: Робеспьер и Пугачев: он собрал ценную коллекцию изображений Пугачева; одно из них, увеличив, повесил, как икону, у входа в свой собственный библиотечный зал; и всякого, вводимого в зал (это был ритуал), останавливал перед «иконой», прочитывая лекцию; и после, отвешивая нижайший поклон не то Пугачеву, не то собственным словам о нем, припевал плачущим, громким голосом, напоминающим голос Толстого:

— Вот самый замечательный, умный, талантливый русский человек!

И еще нежно любил он Сен-Жюста.

Его постоянною поговоркою, как «так и все» Лясковской, было упоминание всем и каждому, как некое memento mori:[75]

— Это будет тогда, когда мужики придут рубить головы нам...

И, ужаснув либерала, порывающегося идти в народ во фраке и в шапо-кляке, весьма довольный, он... нюхал... розу.

По его мнению: давно пора рубить голову; туда и дорога нам; это мнение его распространялось на весь круг друзей и знакомых: удивительно, что у них головы на плечах; еще сто лет тому назад следовало бы начать головорубку; и как жаль, что Робеспьер — не дорубил.

Все это произносилось с мрачно сантиментальным вздохом; его серые, задумчивые глаза и сизо-красный, перепудренный (оттого *синий*) нос, напоминающий помесь носа ворона и индюка, вперялись в какую-то ему одному видную точку, пальцы руки судорожно сжимались; и, глядя на него в эту минуту, нельзя было сомневаться в том, что пальцы сжимают ему одному зримый топор, которым он в следующую минуту ему одному ведомым способом снесет голову: себе самому. Когда указывалось, что его жизнь не соответствует его социальным взглядам, он грустно вздыхал и тонким, плачущим голосом (не то насмехающимся) заявлял:

— Что же я могу сделать?

— Сумасшедший! — раздавалось вокруг.

— Чудак!

— Фразер!

Он не был сумасшедшим, ни позером только, хотя поза и заостряла в превосходную степень его кровавые афоризмы; двуногий афоризм, ходячее противоречие, — он сам осознал себя:

— Как поживаете?

— Ах, пора меня к черту!

И тут же нравоучительно прибавлялось:

— Когда я умру, — напомните моим близким, чтобы поскорее убрали они с глаз долой падаль!

«Падаль» — труп Танеева.

Он был убежденным материалистом, хотя я видел его скорей сенсуалистом; и он же до всякого «эстетизма» был первым московским эстетом своего времени; так: еще в семидесятых годах, насчитывая у Пушкина лишь с десяток формально безукоризненных стихотворений, он провозгласил первым поэтом гонимого и непризнанного Фета; но, поклоняясь поэту, ненавидел «крепостника»; когда Фета признали и стали справлять его юбилей[76], то среди пены похвал речь Танеева Фету прозвучала едким уколом.

Он и сам писал стихи, антологические, в духе Фета.

Сенсуалист, анархо-социалист, эстет, был он не просто безбожником, но и хулителем, проклинателем бога, высказывая истины, от которых чуть ли не падали в обморок; в ответ на вопрос, как примиряет он в себе собственные социальные противоречия, он неизменно отвечал, что его ответ — огромное, социологическое исследование, которое он всю жизнь пишет, но которое будет обнародовано лишь после смерти его; он — умер: не знаю, было ли написано обещанное исследование; оно ему представлялось ценным; многие утверждали, что его и нет вовсе и что ссылка на исследование — слова.

Что было ценностью, так это его библиотека; она была трояко ценна: социологический отдел был едва ли не наиболее богато представленным среди всех библиотек; он, насколько я слышал, стал стержнем библиотеки Коммунистической академии;[77] ценна была коллекция гравюр, посвященных Французской великой революции; наконец: ценность представляло собрание редких, роскошных изданий; как только где-нибудь выходило издание в нескольких экземплярах, Танеев не успокаивался, пока из Лондона, Парижа, Берлина, Вены не получал он своего экземпляра; библиотека являла и богатую библиографию; помнится: лукаво поглядывая на меня, он предлагал мне назвать любого автора, которого портрет и библиографический материал о котором я желал бы иметь под руками сию минуту:

— Не может оказаться автора, портрета которого у меня не было бы: ну, называйте.

Я назвал Сар-Пеладана, руководствуясь мыслью: Танеев и Сар-Пеладан — что общего?

Походив от одной полки к другой и полистав какие-то книжечки, он подкатил лесенку, влез; и скоро спустился с серией томов Пеладана и с его портретом.

— Может быть, вы еще кого-нибудь хотите увидеть?

Но я, убежденный во «всепортретности» библиотеки, отказался экзаменовать Танеева.

В библиотеке, как в темном дне жизни Владимира Ивановича, в годах утонуло все прочее: жажда рубить головы, деньги, имение, социализм, барство, собственная жизнь; библиотека до основания разрушила бытие Танеева; и в последние годы — полубольной, без гроша денег, то есть без возможности скупать книги, он являл собою какую-то мрачную помесь из Плюшкина и Иоанна Грозного; заходя к нам в эпоху 1904—1906 годов (во время наездов в Москву), он, уставившись в новую книгу, которой

у него не было, начинал странно и жадно дрожать; я, что мог, предлагал ему; и он, обладатель ценных гравюр и баснословно дорогих изданий, с благодарностью брал у меня мне ненужное книжное дрянцо; в этом прибирании чего угодно, как угодно изданного и ему ненужного почти книжного хлама я видел черты уже настоящей болезни.

Да, книжная паутина оплела танеевский меч для снесения голов; и в сырости огромного, необитаемого здания, где расставилась библиотека, была гарантия, что красный петух не пожрет томы; из огня и холодной сырости поднимался этот странный туман, все более и более заволакивающий Танеева; идеология Танеева — непроницаемый туман, в чем я убедился уже в 1910 году, когда провел месяц в его Демьянове;[78] гуляя в парке, заговорили мы о психологии и теории знания; и я чувствовал, что происходит нечто странное; я говорю и вкладываю в понятие «теория знания» общефилософский смысл, меняющийся в направлениях, но меняющийся вокруг, так сказать, исторического стержня самого образования понятия; Гегель мог так понимать термин; Кант иначе; Маркс опять-таки иначе; но нечто от термина оставалось в вариации понимания; а то, что разумел Танеев, было непроницаемо; наконец, когда он сформулировал свое понимание, я быстро замолчал; и уж никогда с ним на философские темы — ни слова, ибо он сформулировал... просто галиматью; надеюсь, что его социология была выкроена у него в голове не из этой материи.

Да, ходил он в тумане; и из этого тумана он утверждал:

— Все люди сошли с ума!

Или он утверждал:

— Все люди делятся на жрецов, убийц, хамов и рабов.

Особенно утонченна была градация хамов; в ней, например, была подрубрика: хам эстетический; к ней относились: всякие художники (и кисти, и слова) и... проститутки.

Последние года теорию срубления голов стала вытеснять теория уничтожения европейского материка монголами.

В последний раз я виделся с чудаком летом 1917 года;[79] он расхаживал с Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, жившим на даче у него[80], в белом балахоне, с угрюмым видом Иоанна Грозного, замышляющего казнь всем, и с огромной палкой, напоминающей жезл Грозного; постоянно вдвоем бродили в парке старики; Климент Аркадьевич прихрамывал (последствия паралича); и из груди его вырывалось уже пламенное сочувствие делу Ленина; Та-

неев молчал, как могила, по адресу Ленина; изредка вырывалось лишь по адресу Керенского:

— Чудовищная тупица!

Временное правительство было для него собранием идиотов.

В 1919 году (кажется) у него отобрали библиотеку;[81] если не ошибаюсь, умер он в двадцать первом году:[82] в маленькой каморке, в большой нищете.

Книга выписывалась Танеевым отовсюду; книжные магазины Готье, Ланг и Кнебель работали для него; все отцовское состояние и весь личный заработок эта книга съедала; чтобы обрамить картину из тысячей томов, понадобился огромный зал; для зала понадобилось перестраивать старый, каменный старинный домину, доставшийся вместе с купленным Демьяновым; Танеев, эстет, перестраивал этот дом, руководствуясь принципами высшей книжной эстетики,— в ряде годин; перестройка съедала все средства; и полугодиями дом стоял в развороченном виде: средств не было.

Наконец, через много лет, дом был окончен, но уже семейство Танеевых не жило в доме, где некогда было так хорошо и просторно; Танеевы переехали в боковую дачу; перестроить старый дом в новый было и трудней, и дороже, нежели если бы он был разрушен до самого основания; если бы его Танеев предал огню, он бы скорее отстроился; годы шел раззор и себя, и домашних; с ужасом рассказывалось и женой, и детьми, как под дом подводится центральное отопление, взывающее к топке, съедающей сажень в день; больше — ни одной печки. Топить дом было невозможно.

И Танеев, перебравшись в деревню, жил в новом доме не более двух с половиною месяцев в году, прочие девять с половиною месяцев ютясь кое-как, в двух комнатушечках; зимой в библиотеке даже нельзя было работать в теплой одежде; такой там стоял сырой холод; и этот холод не протеплялся до конца даже летами.

Но в расстановке книг, полок, в выписке специальных приспособлений, в приготовлении гипсовых копий с античных статуй, в развеске портретов проходили долгие месяцы, если не года; были в библиотеке и прилавки, и какие-то выдвижные, полувыдвижные и невыдвижные столики, пюпитры, откидные доски для работы стоя, сидя, ходя, полулежа; предполагалось, что обладатель будет тут проводить двадцать четыре часа двенадцать месяцев, а не два

с половиною месяца в году; но к сентябрю уже Танеев уползал из своего сырого великолепия в бедную, ничем не обставленную нору; библиотека-то и была огнем и мечом, которым Танеев истребил в себе для Плюшкина и фурьериста, и сибарита.

Сибаритством некогда была переполнена жизнь этого барина, которому со свирепою мрачностью он отдавался; сыны его рубили дрова, запрягали телеги, не вылезали из поддевок и смазных сапогов, работая, как настоящие мужики с мозолистыми руками; надо было работать и хоть на чем-нибудь сэкономить: ананасную, персиковую теплицу, грунтовый сарай для испанских вишен и прочие затеи надо же было содержать; сдавали дачи и повышали ценность земли маленького именьица с гигантским домом, с гигантским парком, с царственными аллеями.

Сибаритство Танеева «омуживало» семью; сыновья и дочери выглядели скромными, ко всему привыкшими спартанцами; и одно время были притчами во языцех для всех: мчатся телеги; на них с криком, с подсолнухами сидят рослые парни и девки в сарафанах:

— Из какой деревни?— спрашивали непосвященные.

— Что вы, это — Танеевы!

Помнится мне, ребенку, маленький танеевский особняк в Обуховом переулке: долгое время в нем жили два брата: композитор, Сергей Иваныч, и адвокат, Владимир Иваныч; вынося за скобку общую чудачливость, по-разному проявляемую, они были полной противоположностью друг другу: худой, бледный, русый, мрачный, злопамятный Владимир Иванович и полный, розовый, почти чернобородый, незлобивый и рассеянный весельчак Сергей Иванович, ушедший в музыку, которую брат ненавидел: не мог выносить. Брату Сергею надо было играть на рояли: но от звуков рояли брату Владимиру делалось дурно; и Сергей Иваныч завел беззвучную рояль; и на ней упражнялся в нужных ему, как пьянисту, нажимах пальцев.

О композиторской и директорской деятельности (С. И. одно время был директором консерватории) Владимир Иваныч был самого невысокого мнения, но учил брата, как надо дирижировать, то есть как не махать руками и не являть дурака, ибо нет ничего глупее ломающегося дирижера, а они все — ломаки; и С. И. с испугом дирижировал, пряча руки и помахивая палочкой себе под носом; Сергей Иваныч сильно побаивался крутоватого и его не щадившего брата, пока не перебрался от него в Гагаринский пере-

улок, где я у него позднее бывал, где он и умер; крутоватый брат ходил по Москве и плачущим голосом утверждал:

— Нет никого глупее музыкантов.

И эти заявления делались в лицо друзьям композитора, то есть Рубинштейнам, Чайковским, Гржимали и прочим музыкальным корифеям.

Однажды, когда у брата сидели эти корифеи, в комнату вошел Владимир Иванович и, плача голосом и кланяясь русой своей бородою и синим носом, попросил композиторов ответить ему на вопрос, который-де его мучает: что есть музыка? Поднялся спор; В. И. предложил основательно вырешить этот вопрос и ему доложить и — вышел из комнаты; спорили часы; и вот что-то вырешили; послали за В. И. Он входит; ему докладывают; тогда он, так же плача и так же кланяясь носом, назидательно замечает, что определить сущность музыки сущая бессмыслица, ибо эта сущность неопределима; весь опыт с корифеями — лишняя демонстрация: их идиотизма.

Совершенно ясно: «братцы» должны были разъехаться; рознь их шла по всему фронту; например: Сергей Иваныч, друг дома Толстых, почитатель Льва Николаевича; Владимир Иванович питал к Толстому совершенно исключительную ненависть, имел с ним сходство (в глазах и в тембре голоса); моя мать, поклонница Толстого, все распространялась об обаянии, которое разливает вокруг себя Лев Николаевич; Танеев гордился, что при общем круге знакомых ему удалось элиминировать встречу свою с этим «неграмотным и тупым фарисеем», не раз желавшим завязать с ним знакомство; однажды, встретясь с матерью, Танеев ей говорит:

— Ну, вот: и я, наконец, увидел вашего Толстого.

— Быть не может: где?

— В центральных банях,— задумчиво проплакал Танеев.

— Ну и что же?— непроизвольно вырвалось у матери.

— Ах, как он безобразен!

Танеев был сторонник античной красоты и физкультуры; «безобразие» толстовского тела было для него важным фактором, уличающим Льва Толстого; сам Танеев был весьма безобразен, напоминая не раздутого индейского петуха, а обтянутого индейского петуха; перепудренный длинный нос его вывисал, как мягкая часть, свисающая у индюка с носа, и формой, и цветом (синевато-сизым от пудры); в старости он стал вылитым Грозным.

Он был помешан на чистоте; он уродливо перемывался, утрами выбегал в умывальную, где стоял ассортимент ведер всяких вод (от ледяной до кипятка), так или иначе расположенных; не отдавшись двухчасовому перепромыванию и перепротиранью себя, он не мог сесть за рабочий стол; тайну комплекса ведер, щеток и полотенец ведала нянюшка «братцев», Пелагея Васильевна, отдать которую брату он на этом основании не мог (никто не одолел тайны приготовления умывального аппарата); в Пелагее Васильевне и заключалось соединение жизней столь различных братьев; оба без нее жить не могли.

Наконец Сергей Иваныч таки похитил, как Прозерпину, Пелагею Васильевну из царства Плутона;[83] этого В. И. брату простить не мог, утверждая полушутливо, полуозлобленно:

— Сергей Иваныч — хитрец и плут!

Понятно: после Пелагеи Васильевны Танеев уже ни разу в жизни не домылся; он мылся утонченно (и кушал утонченно); вытирая мокрую голову свою, он едва ли не сдирал с себя кожу; вообще: жизнь его — сплошное эпикурейство; помнится, как сквозь сон, его московский кабинет (до переселения «библиотеки» в деревню); поражали в нем не столы, а книжные прилавки, на которые он, стоя за прилавком, разбрасывал свои гравюры и роскошные переплеты; и, помнится, сидит его друг, присяжный поверенный Минцлов (отец позднее небезызвестной в Москве теософки, странно исчезнувшей); из кабинета вела едва ли не потайная дверь в дедовский винный погребок, откуда угодившему гостю приносились ценнейшие, едва ли не столетние вина; Танеев лет двадцать выпивал погребок свой; и оттого, вероятно, его кончик носа сизел и синел; угодившему посетителю предлагался стакан столетнего мозельвейна; не угодившему — дарилась книга; не угодить в 80% Танееву означало: посадить невидную царапину или оставить пятнышко на показываемом роскошном издании, которое превращалось в «опоганенный» хлам, иронически даримый «поганцу»; тайны подарка «поганец» не понимал; и с удивлением принимался благодарить хозяина, над ним издевавшегося.

Танеев был крайне честен; однажды, в бытность его адвокатом, к нему явился известнейший миллионер, прося взяться за дело, которое и стал излагать; Танеев слушал с добродушным хладнокровием; дело изложено; Танеев молчит; молчит озадаченный молчанием миллионер; и вдруг раздается: короткое, отрывистое, негромкое:

— Пошел вон, скотина!

И миллионер, схватив шапку, молча исчезает.

Таких эпизодов не мало с ним было; однажды, нуждаясь в деньгах, он отказался вести дело лишь потому, что клиент его назвал голубчиком:

— Я вам — не «голубчик»!.. Берите бумаги...

Клиент перепуганный кланялся.

— Нет, нет,— берите: я вам — не голубчик!

Выше среднего роста, скорее худой, с бледноватым, бессонным лицом, обрамленным узкою, русою бородою, с мягчайшею шапкою русых волос, с лбом покатым, сбегающим в монументальный, весьма перепудренный нос сизосиний, с опущенными серыми, пронизывающими мимолетом глазами, в лицо не глядящими, все подмечающими, вовсе не франтоватый (от безукоризненности «стиля» костюма), он тихо входил, будто вкрадываясь; делалось напряженно, неловко от мысли, что от тысячи мелочей он способен прийти в ужас: при виде пылинки, при обонянии недостойного запаха (переутонченное обоняние); молчаливое явление его стесняло свободу; не видывал я такого тирана, как он; не случайно он в старости имитировал Грозного: родись Грозный в девятнадцатом веке, как знать, может быть, фурьеристом он стал бы: и родись Танеев в шестнадцатом веке, он стал бы как Грозный.

Его любимейший лозунг «нестесненья свободы» был самым ужасным стеснением; не верили, слыша диалог Танеева с сыном, Сергеем, рослым малым, воспитанным по системе Жан-Жака Руссо, в поддевке, в смазных сапогах:

— Потрудись, Сереженька, друг мой,— сходи ты туда-то...

— А ты сам пойди,— отгрызался сын.

И Танеев покорно плакал:

— Слушаю, мой друг!

И шел.

Но никто не верил дерзенью кротчайшего, трудолюбивейшего Сергея Владимировича; и никто не верил в «кроткого» Владимира Ивановича; дачники испытывали «нестесненье свобод» настоящим рабством; система декретов Танеева, передаваемых устно, определяла: что можно и чего нельзя в парке, на даче; нельзя трогать цветов, бросать окурки, от вида которых он падал в обморок; одной дачнице он предложил в три дня выехать после ее заявления, что в ее доме сыровато (не сыровато, а очень сыро):

— Нет, уж, пожалуйста, уезжайте, а то вы простудитесь.

Его едва вымолили не гнать; так он карал за неосторожное выражение (между нами — за правду); в другой раз он тоже отказал от дачи, вернув деньги:

— За что вы гоните меня?

— Вы не так обошлись с вашей прислугой.

В данном случае действовал он из принципа справедливости; но его принцип всегда протыкал, как меч, ударяющий из угла; грубый человек выпалит прямо в лицо; «кара» Танеева настигает нежданно, как государственная необходимость.

Одно время он запретил военным появление в парке; и не сдавал им дач на том основании, что они, убийцы, носят саблю и всегда могут кого-нибудь зарубить; а он охраняет благополучие дачников (вернее — пасет их жезлом железным); сам-то он верил, что не стесняет свободы; видя, как дети его висят кверх ногами с вершины березы, мать раз воскликнула:

— Ведь они оборвутся: что ж вы молчите?

— Я и сам боюсь,— нюхал розу он,— а что я могу сказать?

Но стесняясь словесными запретами, он нагонял ужас жестами нестесненья свобод в семье; в доме его не вылезали из страхов, ибо он мстил жестом поступка.

— Где же В. И.?— спросила раз мать.

На что один из сынов ответил:

— Папе Елена не так штаны сложила; он и уехал в Москву.

Однажды за столом, рассмеявшись, он поднял глаза к потолку и увидел: над головою его качается паутинка; молча он встал и исчез: из Москвы, из Демьянова; жена сходила с ума; наконец — телеграмма... из-за границы: «Жив, здоров!»

— Думаю, что «дыба», им устраиваемая семье, превосходила «дыбу» Грозного, ибо была утонченно проведена сквозь Жан-Жака Руссо и Фурье; демонстрация Танеевым нестесненья свобод была пыткой для многих.

Таков этот критик быта; но «критик» иных сторон «бытика» был он замечательный; и едкость его сарказмов с детства пронзила меня.

8. ДЕМЬЯНОВО

Демьяново (под Клином) — родное место: здесь вырос я;[84] оно находилось в трех верстах от Клина при шоссе, пересекавшем почти Шахматово; от Демьянова до Шахматова по шоссе верст семнадцать; мы с Блоком в детстве проводили лето почти рядом; и можно сказать: район шахматовский пересекал демьяновский район; так Блок знал и, кажется, бывал в Нагорном, где мы устраивали пикники; Нагорное — посредине между Шахматовым и Демьяновым; около Демьянова, в семи верстах, село Фроловское, где живал Чайковский, изредка наведываясь к гостившему в Демьянове композитору Сергею Ивановичу; постоянно наезжала в Демьяново старуха Новикова, и появлялось шумное и экстравагантное семейство Кувшинниковых, не безызвестных в Москве.

Район Николаевской железной дороги,— сколькие из детей «рубежа», позднее встретившихся, проводили детство рядом: под Крюковым рос мой друг С. М. Соловьев;[85] около Поворовки живал другой друг, А. С. Петровский; около Подсолнечной — Блок; около Клина — я. Кто мог сказать, что в один из периодов пути этих людей остро скрестятся; многие живали в этом районе: около Химок профессор Захарьин; около Шахматова Менделеев и т. д. Демьяново — родное место: место встречи с природой, впервые и на всю жизнь проговорившей с лугами, лесами, цветами, ветрами, садами; мы снимали дачу в Демьянове первые десять лет моей жизни; и природа, и культура парка располагали к Демьянову; и даже перевешивали неприятность несения «ига» Танеева; очень уж хороши там окрестности: белоствольные рощи, медовые луга; очень уж прекрасны огромные пруды, подковой окаймлявшие два парка (старый и новый); в новом поражал рост гигантских столетних лип, ширина расчищенных аллей, пруд, окаймленный венком розовых кустов, великолепный луг перед танеевским огромным домом; в старом парке, сбегающем к пруду-озеру, в котором поймали осетра с кольцом и датой эпохи Годунова, все было хмуро, запущено; и поднималась мшистая статуя; я не пушкиновед, но, кажется, мы с покойным М. И. Гершензоном установили появление Пушкина в Демьянове (проездом из Москвы в Петербург) по признаку: пруда, обсаженного розами. К парку примыкали старое кладбище и церковь; и, конечно, «привидение» традиционно бродило лунною ночью в аллеях; и его видели-де (к ужасу нянек, гувернанток и...

профессора Льва Михайловича Лопатина, там живавшего).

Демьяново славилось (до библиотеки и культуры лесных посевов) розами, оранжереями и монументальной крокетной аллеей, шире которой не видывал я; отсюда раздавалось щелканье крокетных молотков и спор тогдашних крокетистов: отца и семейства Феоктистовых; аллеи пересекал Танеев в своего рода «танеевке» (род рубахи, «толстовки» — решительно он встречался кое в чем с Львом Толстым), с ножницами и корзиной; он сам срезал розы и потом заносил той или иной дачнице, производя переполохи и быстрым оком ревизуя быт дачи.

В Демьяново попадали, главным образом, знакомые Танеева; шла очередь на дачи; их добивались, как награды.

Среди дачников старого, давнишнего состава мне помнится семейство Перфильевых, наших соседей; и помнится седой старик Перфильев, Сергей Степанович, про которого говорили, что он — прототип Стивы Облонского; очень помнится и брат его, бывший московский губернатор, одно время близкий Б. Н. Чичерину и семейству Толстых (даже, кажется, свойственник Толстого), кажется, Василий Степанович; и особенно помнятся две старушки Перфильевы (сестры, старые девы), одно время возлюбившие меня.

Центром был — танеевский дом, где в огромной старинной зале, странно расположенной (ниже уровня первого этажа), стояла красная сафьяновая мебель и где по вечерам собиралось «избранное общество» выслушать приговор Танеева о «рубке голов» и в который раз удивиться и ужаснуться. — «Смазные сапоги и ананасное мороженое», — язвила одна из дачниц, характеризуя стиль этого дома; смазные сапоги — дети Танеева и весь круг молодежи, сгруппированный вокруг них; как кто приедет и захочет войти в контакт с этой молодежью, глядишь — красная рубаха, картуз, поддевка на одно плечо, непременные подсолнухи в кармане; красовались выраженьями:

— У меня что-то живот болит: уух!

Это говорила подвязанная платочком А. В. Танеева; а В. И., нюхая розу с изощренным гостем, снисходительно посмеивался (стиль Жан-Жака Руссо) и посылал в теплицу за ананасом: к чаю. Среднего, робкого человека, случайно попавшего сюда, били и в хвост и в голову: били по его мещанству, недостаточно изощренному пиджаку, ставя

его перед фактом ананасного мороженого или Григория Аветовича Джаншиева в красной рубахе; и потом, напугав изощрением культуры (тут тебе и ананас, и автор «Эпохи великих реформ»[86], и экстравагантная Кувшинникова, и идеи Фурье, и Пугачев, и... аристократка Новикова), — напугав всем этим, вели к конюшне, где восемнадцатилетняя барышня Танеева в сарафане, ловко впрягая лошадь в телегу, ногой, обутой чуть ли не в сапог, упираясь в оглоблю крепкими, мускулистыми руками, подтягивала веревкой шлею и потом, вскочив в телегу с громчайшим «ноoo», размахивая веревкой, неслась в поле: возить овес; после того, как случайно попавший бывал подкузьмлен «аристократическим фурьеризмом», его подкузьмляли тем, что заставляли его либо перепачкаться дегтем, либо доказать свое непригодное барство.

Изощренное барство гуляло в аллеях и, нюхая розы, мечтало о Робеспьере в то время, как другая половина Демьянова с гиком, топотом мчалась карьером, пугая всех (не Пугачев ли?).

Утонченный мужик и мужиковатый утонченник пересекались в иных из танеевских «пугачевцев»; помнится: характерная стильная картинка; мы — в купальне (я, шестилетний, — купаюсь с дамами): мама, Лилиша Танеева, Сашенька, гувернантка, взрослые барышни; в отделении мужском купаются: Джаншиев и Танеев; двери отделений на реку открыты; голая семнадцати-восемнадцатилетняя барышня, выскочив на солнце, кричит Джаншиеву:

— Смотрите, Григорий Аветович, как я кувыркаюсь.

И демонстрирует ему свой цирковой прыжок в воду. Джаншиев благодушно напевает в ответ:

Из-под лодки рыбки.
Это милого улыбки.

Так было в 1884—1890 годах; в 1910, в 1913, в 1917 я вновь посещал Демьяново; все потускнело; яркости противоречий лишь стерлись, но — оставались; но по парку бродили иные люди: профессор Н. В. Богоявленский, Климент Аркадьевич Тимирязев с женою и сыном Аркадием Климентовичем да ставший Грозным Танеев.

Но уже — ни красной рубахи, ни ананасного мороженого.

Помню ребенком явленье летами, как издали, С. И. Танеева (брата); особенно помню премилого, чернобородого горбуна в красной рубахе, являвшегося гостить, — автора

«Эпохи великих реформ», Г. А. Джаншиева, приятеля дома танеевского; он меня поражал бородой, обжигавшей лицо его, точно углем, кровавого цвета рубахой и добродушными глазками; он каламбурил и едко, и весело; он возглавлял все веселые импровизации; «дети» Танеева тащили его на козлы, с которых он, как с кафедры, простирая длинные, власатые руки, говорил речи лошадям: «Многоуважаемый конь» и т. д.; помню его подвязанным маминым пестрым передником (на горбу) с перевязанной головой, простиравшим руки над им изготовляемым шашлыком (на пикнике); иногда он, маленький, горбатый, удаленький, вставал на лавочку в парке: произносить что-нибудь пренапыщенное; и сам же подчеркивал свое положение «горбуна» (остроумно и весело); так в фантазии моей, где под влиянием Андерсена и Гримма копошились всякие карлики, великаны и горбуны, Григорий Аветович сложил миф о «горбуне», которого я в детстве переживал уютно.

Особенно едко подкалывал Джаншиев в сериозном споре, от которого сперва долго отшучивался; он не любил споров, являя полный контраст с отцом, который искал, как жемчужины, едкого спорщика; хлебом не корми, только дай с таким спорщиком поспорить!

В этом смысле ему, скучавшему летом в деревне, Джаншиев казался кладом; не то думал Джаншиев, боявшийся споров; и на этой почве происходили юмористические инциденты.

Отец мой привозил в Демьяново свою дикую, корнистую дубину (откуда такую достал!) и расхаживал с нею по парку, уткнув нос в книгу по психологии; левой рукою он неизменно подкидывал дубину:

— Откуда у вас, Николай Васильевич, дубина?

— А это-с мой дурандал!

— Что?

— Дурандал-с: помните, у Роланда, племянника Карла Великого, был меч, «дюрандаль»;[87] ну так вот-с: а у меня — дурандал-с.

И он подкидывал свою дубину.

Вот он, бывало, часами кружит по аллеям, читая и подмахивая «дурандалом»; и вдруг мелькнет издали красная рубаха Джаншиева; отец, близорукий весьма, узнавал издали его по росточку; увидит, и со всех ног — к Джаншиеву, этому преостроумному спорщику; а Джаншиев спорить не любит; он не спорит, а изящно пишет в воздухе вензеля своею колкой словесной рапирою; отец же в споре кричит

и нападает серьезнейшей артиллерией: безо всяких шуток; учтя все это и видя издали летящего на него Бугаева, размахивающего «дурандалом», он поворачивается быстро; и — в бегство, винтя по дорожкам; ничего этого не замечающий отец — за ним; так они бегали друг за другом, высматривая друг друга и приседая в кусты; Танеевы, дачники и мы все знали эту охоту на Джаншиева; и очень смеялись.

Мчится, бывало, маленький, перепуганный, двугорбый Григорий Аветович с быстротою, напоминающей антилопу, оглядываясь и приседая в кусты (но красная рубаха видна сквозь зелень); и мчится за ним отец, напоминая неповоротливого гиппопотама со съехавшим набок котелком (он и летом носил котелок), размахивая дубиной весьма угрожающе; а платок вывисает из бокового кармана.

Чаще всего удавалось Джаншиеву ускользнуть; но иногда он попадался; и тогда его прижимали: к лавочке, к дереву, к боку дачи, обрушиваясь с кулаками, из-под которых он, маленький, остренький, едкий, бывало, наносил ужасные раны отцу, который свирепел; а потом улыбался с довольством:

— Хорошо поговорили мы!

Доказать ему, что охота на Джаншиева — предмет веселой забавы дачников, не было никакой возможности; отец был в некоторых отношениях сама простота.

Владимир Иванович Танеев нарочно шаржировал, рассказывая матери:

— Подхожу к окошку; смотрю через луг; и — что же вижу? Среди крокетной аллеи прижатый к лавочке и сжавшийся в комочек Григорий Аветович, смятый Николаем Васильевичем, размахивающим над ним «дурандалом» и книгой, тычет презадорно ему в грудь пальцем, как пикою; и едко, как колющий ежик, подпрыгивает под ним; видно, Николай Васильевич изранен, потому что после каждого подпрыга Джаншиева взмах «дурандала» становится все более и более угрожающим; я, знаете, не мог отойти и простоял у окна с час; нельзя было бросить Джаншиева в таком положении: маленький, слабенький человечек; а ведь «дурандал» не шутка.

Разумеется, Танеев иронизировал; отец — кротчайшее существо — источал свирепости в воздушную атмосферу; гремел, а молньи не падало; только смехом и каламбурами дачников оглашался демьяновский парк.

— Опять накричались?

— Зачем же: наговорились!

Джаншиев — милый, веселый образ лета в раннем детстве; вместе с Демьяновым возникали мне веселые думы о маслятах, березниках, Анисьиной клубнике (из деревни Акуловки) и Григории Аветовиче Джаншиеве, которого заставляют взлезть на высокие козлы английского шарабана.

Останавливаюсь на Танееве и на Демьянове; ведь в демьяновском парке я более всего наслушался проповедей о терроре и о том, что наш быт, мещанский, тупой, надо отправить к черту.

Я думал:

«Коли Танеева так боятся, так много говорят о нем и так его слушаются, он — прав!— и он не раз виделся мне летами стоящим с занесенным мечом над всеми нами; что полиция, городовой, царь, даже Иван Иваныч Иванюков перед Танеевым! Умница, барин, революционер, фурьерист! Слово «фурьерист» казалося особенно страшным; образы французской революции и имена — Робеспьер, Сен-Жюст, Камил Демулэн — картинно вставали в моем детском сознании в Демьянове; в московской квартире угрожал «Абель», «интеграл» и «Логика» Милля; в Демьянове же грозили: меня оскальпировать младший сын В. И., «Павлуша» с товарищем «Мишей»; и, во-вторых: угрожали — Робеспьер и «фурьерист».

Но, постояв с воздетым мечом над нами, Танеев вдруг его опускал; и гостеприимно приглашал дачников в персиковую оранжерею, где я, туда взятый, задыхался от жара, чтоб получить персик.

Одно время слонялся в аллеях и толстый Янжул (в наушниках), неугрожающе, пресно бубукая издали; и Танеев, нюхая розу и точно в спину Янжулу, утверждал:

— Все — мещане; и — профессора, которые большей частью тупицы; есть несколько изящно-умных людей, а прочие обрастают жиром и чудовищными половыми инстинктами.

Я — слушал жадно, смекая: «ага,— прав дядя Жорж о профессорах»; дядя Жорж, вышучивая Танеева, оговаривал всегда его ум и честность; и еще смекал я: «чудовищные, половые инстинкты», должно быть, что-нибудь вроде уродства кожи у жирных людей; ну там — бородавки, сизые шишки какие-нибудь, вскакивающие на носу и под носом».

9. ЧЕЛОВЕК БЕЗ СРЕДЫ

Представление раннего детства о *среде* почему-то мне связано даже не с математиками, а со словесниками, юристами, литераторами.

Общение отца с математиками, вероятно, общение — по ремеслу; а общение с Иванюковыми, Янжулами, Стороженками, Танеевым общение в сфере *культуры*; и когда говорилось *среда*, мыслилось мне то, что я потом уже соединял со словом культура.

И тут — ошибка моя: *культуры* — не было, а был — быт.

И отец в нем чувствовал себя — «одиноким» — сказал бы я, если бы это было не то слово; он, может, лично и не подозревал о своем одиночестве; но он был как-то не так ввинчен в сложный механизм общественных отношений: весьма ценная и полезная гайка, но не в том месте ввинченная; и он мешал; и ему мешали.

А отвинтить и ввинтить его надлежащим способом никто не мог; и он сам не мог, потому что проблема такого действия вовсе отсутствовала.

И оттого он как-то косо влетал в среду, и косо из нее вылетал.

Пренелепо сложились с отрочества товарищеские отношения со Стороженкой.

Почему он и жил, и дружил с Ковалевским в Париже,— нельзя было понять (почему-то там он встречался с поэтом Ришпэном).

Может быть, по линии позитивизма; но отец философски перерастал своих друзей; основы механики были ему открыты с юности; прилежное, многолетнее изучение Бэкона, Гоббса, Юма и Локка; и... поверхностные фразы об английских эмпиристах; многолетние искания основ своего собственного «научного» мировоззрения; и — полное отсутствие самой этой проблемы у блестящих адвокатского типа говорунов.

Воззрения отца были выношены; он осторожно и бережно вносил за поправкой поправку к тогда модным теориям прогресса и эволюции.

Постепенно отец приходил к мысли об узости, статичности своих некогда товарищей, его подымавших на смех и не понимавших, чем, собственно, он волнуется: ну там поправка какая-то к Спенсеру; зачем же так волноваться?

Отец подчеркивал: механизм — механизмом, а гипертрофия квантитатизма у механицистов типичных есть даже не научный предрассудок, а неумение владеть методом и незнание методологических границ, в результате которых многопутейность науки становится ее догматической однопутейностью: «До сих пор полагали, что на каждый научный вопрос должен существовать только один определенный ответ, и не допускали случаев, когда могли быть несколько решений. Между тем в аритмологии встречаются особые функции... Их можно назвать функциями произвольных величин. Они обладают свойством иметь бесчисленное множество значений для одного и того же значения независимого переменного.

Эти функции встречаются в природе. Можно привести примеры, где имеет место их приложение. Известно, что по закону Вебера существует соотношение между ощущением и впечатлением, выражаемое логарифмическою функцией. Однако при этом обнаруживается следующая особенность. Впечатление может иногда изменяться в известных пределах, тогда как ощущение остается постоянным. Таким образом, ощущение есть прерывная функция впечатления. Обратно: впечатление, рассматриваемое как функция данного ощущения, есть произвольная величина, способная получить всякое значение в определенных пределах изменения...

Согласно с этим законом, данному впечатлению всегда соответствует в данном индивидууме определенное ощущение, но данному ощущению может соответствовать много впечатлений» (Н. В. Бугаев: «Математика и научно-философское мировоззрение», стр. 15—16)[88].

Отец постоянно подчеркивал значение механицизма там, где его невозможно оспаривать; и он с детства приучил меня относиться к механике и к общей физике с достаточным уважением; во всех своих мировоззрительных фазах, когда дело касалось естествознания, я никогда не чувствовал необходимости пробавляться виталистическими, всегда легко в механике разложимыми аллегориями; но я с отрочества из разговоров отца вынес твердую уверенность в том, что объяснить явление в духе механицизма еще не значит объяснить разложенный в механику комплекс, как именно данный комплекс; то есть, переводя на язык спора современных механицистов с деборинцами[89], и отец, и я, под его влиянием, строго отделяли сферу механицизма, как зависящего от математического анализа, от

других математических дисциплин, анализ включающих, но анализом не исчерпываемых.

Механицисты ставят знак равенства между энного рода движениями и движением внеположным, то есть движением в пространстве; они неправомерно отрицают, например, роль материальных качеств;— поэтому они не в состоянии до конца осмыслить явления химического синтеза; и дать подлинно конкретное направление ряду проблем внутриатомной механики. Сторонники Деборина подчеркивают им это; отец, в одном разрезе механицист, в другом разрезе ярко подчеркивал, что в философии механицизма взята правомерно на учет 1/2 математики; и неправомерно исключен разгляд этой 1/2 математики к другой ее 1/2: анализа к аритмологии; теории непрерывных функций к теории функций прерывных; в сфере прерывных функций он упорно и долго специально работал последние пятнадцать лет как математик[90].

Поэтому-то: его математические коррективы шли не от аллегории и аналогии, а от одной части науки к другой части той же науки.

Как математик, он включал в теорию эволюции революционную роль скачка, прерыва, вероятности, качества. Разумеется, эти тонкие методологические примыслы и поправки к некогда ходячим, популяризованным, ползуче неопределенным, ползуче благополучным истинам были неприемлемы для людей ползучего мировоззрения; неприемлемы, ибо — непонятны; непонятны — ибо эти люди отстояли за тридевять земель от философской диалектики, вершин точной науки и теории познания.

Именно московские гуманисты восьмидесятых годов, ехавшие на палочках заемного мировоззрения, стали чужды отцу с той минуты, как он углубился в разбор самих основ этих мировоззрений: и как чистый математик, и как ищущий научной истины философ.

Танеев мог, усмехаясь в розу, подчеркивать смешные стороны кипятящегося отца; но кипятящийся отец имел вовсе не смешную сторону в том, что там, где другие спали, был пробужден.

И этот пробуд и являл его в образе чудака, бегающего с фонарем под солнцем[91] и ищущего истинно философствующего.

Углубляясь в отчеты о спорах сегодняшнего дня между деборинцами и механицистами, я точно возвращаюсь в атмосферу далеких годов, когда отец волновался именно этими вопросами.

Он выдвигал: качественную количественность против только количественности, проблему сведения методологических результатов и разгляд диалектики течения их в комплексе (проблема «языков»).

Он выдвигал значение узловых точек; его не удовлетворял формализм классификационной системы наук, подменяющей каталогом проблемы и подлинной философии, и подлинного развития любой из наук классификационной системы, могущей диалектически сместиться с положенного ей раз навсегда места.

Он постоянно подчеркивал: «Анализ есть только первая ступень в развитии... математических истин. Вот почему анализ развился ранее... Для развития же аритмологии не только нужны все средства анализа, но еще и целый ряд совершенно новых приемов исследования. В этом отношении аритмология есть настоящий арсенал математических методов» (Бугаев: «Математика и научно-философское миросозерцание», стр. 8)[92].

Но, работая в этой сфере, нам недоступной, отец искал и популярной формулы своему миру идей, вынашивая ее на основании своего математического, нового опыта («новых... приемов исследования»), моделируемых на ряде поправок к философии Лейбница.

Так он подошел к своей основной качественной количественности, которую назвал неразложимым целым, доказывая, что лейбницева монада[93] может соответствовать этому наглядному, упрощенному представлению, которое научно вскрываемо лишь в аритмологии.

«Монадой» своей отец хотел внести корректив к тогдашним спорам идеалистов и реалистов, ибо его монада не материальна в духе Бюхнера и Молешота, а обладает диалектической реальностью, в сфере которой понятие «дух» вырывается у метафизиков, прочитываясь и раскрываясь иначе (имманентно, а не трансцендентно); свое мировоззрение назвал он «эволюционной монадологией», постоянно оговаривая: 1) понятие «монады» раскрываемо им не по Лейбницу; 2) понятие «эволюция» берется им не в стиле Спенсера, которого он так хорошо изучил.

Чем более он врастал в свой математический мир, тем с большим холодом и иронией отзывались на его кипения остановившиеся и ожиревшие витиеватыми фразами его вчерашние друзья, «Веселовские»; он врастал в чисто философские споры и оказался в кружке основателей тогдашнего Психологического общества, куда ходил спорить

и проповедовать монадологию; отсюда его укрепившееся знакомство с Лопатиным, с Гротом, с Сергеем Трубецким, его удовлетворявшими лишь в одной грани исканий; он постоянно подчеркивал: они — метафизики, а он — нет.

Считалось, что он дружит с Троицким; дружбы не было; была традиция: подчеркивать эрудицию Троицкого, подчеркивать им свое «да» английскому эмпиризму в пику германскому идеализму.

Троицкий, сидевший под башмаком бойкой жены, был, что называется, «рохлей»; когда-то отец защитил его, поддержал его кандидатуру в профессора, доказывая, что кафедра философии для объективности должна быть представлена не только идеалистом Соловьевым, которого прочили в профессора, но и эмпириком Троицким; но в Троицком он подчеркивал главным образом трудолюбие и знание источников.

Корень дружбы — некогда поддержка, оказанная Троицкому отцом. Помню редкие явления у нас Троицкого и впечатление от него: не то седой ребенок, не то преждевременно впавший в детство седоусый муж; удивляло явление Троицкого на именины в форменном фраке и со звездою; у нас было резко отрицательное отношение к «звезде», как явлению нелепому, тягостному и дорогому (за «звезду» вычитали из жалованья).

«Звезда» Троицкого казалась мне неприличием, как... незастегнутые штаны.

Троицкий производил слабое впечатление: плакал смехом и расслабленно опускался в кресло; потом надолго исчезал; но чем более ослабевал Матвей Михайлович, тем более вырастала в кругу профессорш бойкая Мария Алексеевна Троицкая, дочь профессора Полунина, умная, но... с душком «цинизма»; она — «куралесила», вызывая восторги; но вместе с тем: она вносила в почтенные квартиры шансонетку и снисходительное отношение к кафе-кабарейному стилю. Матери было весело с ней; отец же помалкивал, стараясь воздержаться от своего суждения для-ради Матвея Михайловича.

С девяностых годов отец, быстро удаляясь от гуманистов, стал замыкаться все более в чисто математическую среду; и, кроме того, дела физико-математического факультета отнимали у него все больше времени; одно время он сильно волновался тем, чтобы повалить классическую

систему Толстого;[94] и много успел в этом, оказавшись в инициативном кружке, подготовлявшем ряд докладов и материалов к совещанию при министерстве.

Результаты этого совещания — введение естествознания в круг гимназического преподавания и ограничение тирании древних языков[95].

В этой работе он, помнится, находился в живом контакте с теперешним академиком, Алексеем Петровичем Павловым, Умовым и рядом других профессоров физико-математического факультета.

Всегда резко отрицательно относился он к духу тогдашней Академии наук, резко высказывался против нее; и чуть не отказался принять телеграмму, извещавшую об избрании в члены-корреспонденты; он был член Чешской и еще какой-то другой заграничной Академии наук;[96] и — не был, как и Менделеев, русским академиком; более того: он гордился, что он — не академик.

Одно время не было ни одного русского университета, в котором бы не профессорствовали ученики отца; и влияние его в математических сферах было очень велико.

Этим влиянием и гордился он; а избранием в Академию — нисколько.

Поэтому избрание в члены-корреспонденты его оскорбило ужасно; запоздалое и никчемное избрание! Он объяснил сдержанность Академии в отношении к себе ролью «сфер» в Академии; «сферы» покашивались на отца в той же мере, в какой иронизировали либеральные гуманисты.

Ни здесь, ни там,— он действовал всегда индивидуально: за свой риск и страх; и когда его выдвигали в университете к ректорству, он — стушевывался; он был «декан» факультета; «деканство» свое считал он пределом расширения своих педагогических функций: урегулировать отношения профессоров друг к другу, не давать в обиду того, загрызаемого этим, налаживать отношения профессуры к студентам, присутствовать на магистерских экзаменах,— здесь он был в своей сфере; и эту сферу свою любил; и его — любили.

Он ходил постоянно обросший думами, открытиями, факультетскими делами и факультетскими профессорами; личной жизни у него не было никакой, начиная с комнаты; не комната, а комнатушка; и когда мать говорила, что у всякого профессора есть приличный кабинет, а у него — нечто вполне недопустимое для профессора, он досадливо махал руками и спасался бегством в свою комнатушечку,

в Диогенову бочку свою, где у него даже не было дивана, а постелька, заставленная математическими шкафами; лежа в этом «зашкафнике», он вычислял все свободные от дел минуты.

Уже пятилетним я удивлялся ему; критику нашего быта я не переносил на него; он быта не критиковал; он давно отказался от какого бы ни было *быта*, кроме быта идей и цифр.

Хороши были мои дяди и Танеев в словесной критике; но лучше их был отец с его отказом от всего личного, проведенным до конца, и — без всякой позы.

Я, пятилетний, смотрел на него в иные минуты почти с суеверным почтением.

Глава третья

БОРЕНЬКА

1. ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

В предыдущей главе зарисовал я обстание, в которое вылезал; постараюсь вкратце зарисовать, откуда я вылезал.

Я вылез из детской — в квартиру; и находил в ней среду; между нашей квартирой, Арбатом, Москвою, тогдашней Россией и детскою комнаткой был мне рубеж, потому что квартира уже — круг квартир, подчиненных единому правилу; можно сказать, что мое восприятье квартиры в младенческих годах двойное какое-то.

Квартира сначала разломана мне; собственно: знаю я детскую комнату; в ней все знакомо, не страшно; она-то есть дом; то же, что за стеною, уже не есть дом, потому что гостиная с окнами в мир, на Арбат, — то же самое, что этот мир, иль Арбат, из которого к нам появляются с правилами то один, то другая; и с этими полуизвестными личностями тесно связаны папа и мама, а мне эти личности часто вполне неизвестны, весьма подозрительны; в детской — иное, свое; и в моем представлении детская — внутренний мир, а гостиная — внешний, почти что Арбат; между ними отчетлив рубеж — коридор, из передней ведущий как раз мимо детской; в коридор выходили двери «парадных» комнат; гостиная, отделенная коридором, была против детской.

Перелезая в гостиную, я вступал в быт квартиры; кабы не Усов, Лясковская, Стороженки и прочие, подпирающие со всех сторон стены нашей квартиры, они бы и рухнули; устои быта казались *неустоями* просто; но — что скажет сосед Янжул, как дятел, долбящийся книгою в стену нам по вечерам (выколачивал пыль)?

И Янжул-профессор, приставленный строгой средою, напоминающий стуком книги, что он сторожит — бу-бу-

бу-бы-бы-быт, дозирал, чтобы у нас было, как и у всех, и чтобы «папа» не разъехался с «мамою».

Г. В. Бугаев и В. И. Танеев, тем не менее, ломают устои: едкою критикою.

Я ребенком просовываюсь в этот быт; и, напуганный им, от него удираю; лезу обратно в нору свою, в детскую.

Сознание мое — какое-то странное от неосознанной еще собственной независимости; оно мне казалось разбойным в те годы; душа, как преступник, таилась, выглядывая и до сроку увидя то, что ей видеть не полагалось; от мыслей об увиденном я спасаюсь в тот мир, где все протекает не по правилам индуктивного мышления Джона Стюарта Милля.

И это — мир сказок[1].

О сказке я знаю всегда: сказка есть сказка, или — не то, что кругом, а некоторое «как бы», подобно игре в жмурки; вникание в сказку мне отличает сказку от данности: никогда не стояла проблема, что действительно есть некий «бука»; «как бы» перевешивало, хотя бы в том, что я свободно в сказку играл, то есть видоизменял материал ее фабулы как мне угодно; живет на свете М. И. Лясковская; и в нее не поиграешь, потому что она есть; в «буку» играешь, как хочешь; и это потому, что нет буки, как нет «землянички» на лице крестного, а есть бородавки; я же спросил при всех о том, почему у него земляничка выросла.

Сказку я отличал от действительности; к сказке и к игре прибегая, как прибегают люди, вынужденные вести сидячий образ жизни, к гимнастике.

К сказке у меня был непроизвольный подход, как только к символу; символ — не пища, а как лекарство, вводимое в кровь; питаются хлебом и не питаются микстурой; однако: принимают микстуру; хлеб нашей жизни был плох; стало быть, коли я инстинктивно стал в усиленной дозе прибегать к микстурам под формою сказок, этому надо было радоваться.

Вовсе не понимают душу младенца, когда утверждают, что младенец верит в сказки; если «верит», то не так, как верит в бытие за стеною живущего Янжула; Янжула нет, а позвонись к Янжулу: выйдет Янжул; «бука» сидит в углу, а пойди в угол — будет тебе жутковато; и — только, а «буки» не будет.

В детстве я любил подойти к теневой черте из освещенной комнаты, повернуться и с ощущением жутковатого холодка прибежать из тени на руки гувернантки; я любил

игру: «бука» теперь не тронет; для этого надо было пережить жутковатый холодок оторопи.

Сказки мне были материалом упражнения в переживаниях; и я развил себе в детстве крепкие мускулы: владенья собою.

В этом — роль сказок и музыки для меня.

Если бы не было сказок, чем бы я защитился от жизни, в которую защемили меня. Так меж сознанием и обстанием появился буфер; обстание мучило, но не расплющивало.

Переживания, мною описанные в повести «Котик Летаев»[2], кажутся многим весьма надуманными; и оттого — непонятными; ни в одной книге я с такой простотой не подавал копии действительно бывших переживаний; *не Андрей Белый* написал, а Борис Николаевич Бугаев натуралистически зарисовал то, что твердо помнил всю жизнь; в чем дело? Что непонятно? Либо «язык» Белого, либо «натура» его весьма натуралистического письма; «слово» — краска художника слова; и если понадобились новые слова и по-новому их сочетанье, так это не каприз «Белого», а эмпирическая необходимость в красках; до «Белого» иначе описывали детство,— согласен; но это лишь оттого, что брали началом записи воспоминаний более поздний период; может быть, Б. Н. Бугаев на несколько месяцев ранее других начал вспоминать;[3] а ведь месяц в первых годах жизни — года; вспомнить на несколько месяцев раньше,— сильно увеличить масштаб; Толстой и другие брали более поздние этапы жизни младенца; и брали ее в других условиях; оттого они и выработали иной язык воспоминаний; выросла традиция языка; «Белый» не имел традиций записывания более ранних переживаний, осознанных в исключительных условиях, о которых — ниже; стало быть, иной язык «Белого» — от иной натуры; стало быть, надо не корить за языковую вычурность, а поставить вопрос о том, нужно ли изучать иную натуру натурализма Белого; по-моему — надо: всякий подлинный натуралист изучает редкие виды растений, как и обычные; в редком растении можно наткнуться ведь на подгляд в иной период земной эпохи.

Теперь о своеобразии натуры «Котика Летаева»; автор зарисовывает интересный случай проблесков сознания, складывающихся в сорокаградусном жару, в момент кори;[4] далее отчетливый момент сознания между корью и скарлатиной; далее — скарлатинный жар; и после него первый взгляд на детскую комнатку уже в условиях нормальной температуры (выздоровление). Но, взяв в принципе точку

зрения младенца, не ведающего, что он болен и что переживаемое им есть жар, автор пытается средствами сознания взрослого передать особенность жарового состояния младенца так, как память ему доносит о них; но все же: он лапидарно оговаривает то обстоятельство, что был болен корью и скарлатиной.

Случай этот — мой случай; и время — на рубеже третьего года; это — осень 1883 года; 27-го октября нового стиля мне минуло три: заболел же я в начале октября, когда мне было всего два года; очень редкая память; и очень исключительные условия, в которых она рождалась.

Этот случай должен возбудить чисто научный и художественный интерес, ибо он не есть выдумка «декадента», а документ сознания.

Я не знаю, в чем корень странного восприятия твердых устоев, как жидких: в преждевременном сознании, или в условиях температуры (болезни); но — факт: я не воспринимаю ничего твердого; я переживаю себя, как брошенного в пучину; выплыву на мгновенье, схвачусь за летящий на волнах обломок разбитого корабля; и — вновь утопаю; обломок — лицо няни, запоминаемое слово, кусок стены детской; и опять — бред; не столько фантастика образов (их как и нет вовсе), сколько фантастика переживаний, будто все расширяется; думаю, что ощущения этого расширения и есть скарлатинный жар. Но и — установлен факт: если бы новорожденный осознавал свое восприятие, то он видел бы мир на плоскости, ибо третье измерение, рельеф, есть результат упражнения мускулов глаза; ребенок может тянуться ручкой к звезде так же, как и к соске; у него нет осознания дистанций.

Я одной стороной сознания помню свои переживания действительности в период, когда еще не было мне установки дистанции; переживание растущего тельца, блеск звезды, голос матери подавались мне без всякого рельефа; помню свои безрельефные переживания; они — переживания погруженности во что-то текучее; стена, нет стены: утекла; вместо нее — звезда; невдомек, что перевернули; наоборот: все перевернулось вокруг меня, снесенное с места какими-то пучинными волнами; пучинные волны,— вероятно, учащенный пульс: ведь я был в жару (скарлатина).

Это все и пытаюсь зарисовать я в первой главе «Котика Летаева»; и не я виноват, что иные из подлинных переживаний выглядят непонятными для тех, кто не в состоянии

пережить их; многое подсочинял в жизни я, не срисовывая прямо с натуры; например, негодяя Мандро, в романе «Москва»; а мне говорят, что понятен Мандро.

А вот зарисовал подлинно бывшее; и говорят:

— Сочинено: непонятно!

Во многом непонятны мы, дети рубежа: мы ни «конец» века, ни «начало» нового, а — схватка столетий в душе; мы — ножницы меж столетьями; нас надо брать в проблеме ножниц, сознавши: ни в критериях «старого», ни в критериях «нового» нас не объяснишь.

Но это — о другом.

Возвращаюсь к норе, откуда вылезло сознание ребенка; нора — болезнь, высокая температура; сознание — прорезалось, а 40° жара подало вместо предметов — жар; сознание на миг лишь пролезло в промежуток между болезнями, уцепилось за эмпирическую картину квартиры; и опять: откинулось в жар скарлатины: в жару забарахталось.

Эта узкая щель яви во мраке — образ воспоминания, как я выполз в спальню родителей, подполз к рукомойнику: уцепился за ручку его; и — шлепнулся на пол; меня унесли, подхватив под подмышки; меня уложили в кроватку; далее — вновь сумбур; вдруг отчетливо ощущаю я руку, приложенную ко лбу; и слышу голос матери откуда-то издали:

— Он горит, как в огне.

Так началась скарлатина, отделившая меня от реального образа детской завесою диких бредов, которые, однако, запомнились мне и отчасти лишь зарисованы мною в «Котике»; в них лейтмотив бредов — ясен: я от кого-то спасаюсь; за мною несется «старуха»; [5] потом кто-то гонится, принимая образ лечившего меня доктора Родионова; я его узнаю; это доказывает, что я уже его видел; а — не помню его; и мне кажется, что первое явление его — бред; из этого факта и заключаю: нечто, подобное восприятию памяти, было в более ранний период: в период заболевания корью.

Интересно ведь: сознание о том, что «Я» — «Я», пришло мне в жару; и я боялся как бы, что «Я» — погаснет; может быть, это — явление физиологического страха смерти? Может быть, это — сама борьба со смертью в обессиленном организме моем?

Немного позднее, уже выздоравливающий, переживаю ясно память о бреде, как ощущение, что чудом спасся от дикой погони, пробегая лабиринтами снов, рисовавших

какую-то иную действительность с иными причинными связями; вот почему стихотворение Гете «Лесной царь», которое мне было рано прочитано, произвело на меня такое потрясающее впечатление;[6] я точно вспомнил погоню, которая и за мною была; гналась смерть; ведь ребенок, которого лесной царь зовет, бредит; первые месяцы после болезни, уже совершенно отчетливо вспоминаемые, переживались мною, как сравнение этой, нашей, квартирной действительности, вернее действительности детской и коврика, и няни над ним, с тою фантасмагорией бредов, от которых я только что избавился и где возникло самое мое «Я» в чувствах дико ужасного расширения органов; или: будто я не родился, а меня выхватили из какого-то космического пожара, отбили погоню, удержали в детской, как в клетке, под няней; за стенами — непонятное: там продолжается бред; там какие-то зверелюди; оттуда бухает голосами:

— Бу-бу... Рарара... Штатиштичешким...

Я не знаю, кто это: говорят, что знакомые папы и мамы.

Оттуда влетают ко мне, под няню, то папа, то мама; и, опять меня бросив, бросаются в грохочущий голосами сумбур:

— Рарара... Бубубу...

И я им не верю, но верю — няне.

Жизнь под опекою няни — следующие за болезнями месяцы; конец октября, ноябрь, часть декабря 1883 года; этот краткий период сознанием мне растянут в года; в нем формируется сама линия времени и нить непрерывных воспоминаний; октябрь играет большую роль в моей жизни: 1) я в нем родился (1880 г.), 2) осознал себя (1883 г.), 3) начал учиться грамоте, 4) встретился с первым действительным другом-братом С. М. Соловьевым, 5) позднее уже самые значительные переживания жизни падают на октябрь 1913 года[7].

Описываемый период, пережитый, как года, но обнимавший не более шестидесяти дней, стоит под лозунгом: детской комнаты, коврика, няни; еще наша квартира мной не изучена; происходящее там — невнятно; полузнакомы еще *оттуда* врывающиеся родители; там — сутолочь: споры гостей и, вероятно,— ссоры отца и матери; все это сравнимо с образами скарлатинного бреда, а не с трезвой ясностью наблюдаемой и изучаемой жизни в детской; я бы сравнил этот период с древним периодом критской культуры (до вторжения дорян);[8] и — культ матриархата мне ведом; восседающая перед кованым сундучком няня

в очках мне и мать, и храмовая богиня; все от нее истекает; и все под ней безопасно; отойди от нее — поглотит дыра темного коридора, из глубины которого может в детскую выскочить минотавр, Янжул; и — я пожран.

Скарлатинный бред — моя генеалогия; и все то, что нарастает на нем в описываемых шестидесяти днях, еще престранно окрашено; еще я не верю в мирность и безопасность поданной яви, которой изнанка — только что пережитой бред; я удивляюсь силе воспоминаний о пережитых бредах в эти шестьдесят дней; она сложила морщину, которую жизнь не изгладила; выгравировался особый штришок восприятия, которого я не встречал у очень многих детей, начинающих воспоминания с нормальной яви, а не с болезни; в их сознании не двоится действительность; в момент образования первых образов быта они уже раздвоены памятью, повернутою на бред; особенность моей психики в усилиях разобраться между *этой*, мирной картиной детской, и *тем* мороком еще недавно пережитого; все доносящееся из-за стен (хаос голосов, споры, переживаемые каким-то ревом) заставляет меня опасаться и вздрагивать; если я кану *туда*, я кану в бред, из которого я вырван в детскую; словом: раздвоение между дионисической стихией и аполлоновой[9] я уже пережил в эти шестьдесят дней, как распад самой квартиры на детскую и неизвестные, может быть, ужасные пространства квартиры, адекватные мне неизвестному миру. Черта между известным и неизвестным — отрезывающий детскую от гостиной небольшой коридорик; различия между Арбатом и гостиной еще и не было.

Мои усилия соединить застенную жизнь с детской — в усилиях связать явь детской с воспоминаниями о бреде, в этих усилиях же соединить — я уже символист; объяснение мне — миф, построенный на метафоре; слышу слова: «Упал в обморок». И — тотчас сон: провалилась плитка пола детской; и я упал в незнакомые комнаты под полом, которые называются «обморок»[10].

Так я стал символистом[11].

Кроме всех других объяснений, думаю, что одно из них — в особенности момента, складывающего мне «Я»: лихорадочное состояние; и потом — нормальное; другие дети ведут память от нормального состояния; у них иная эмпирика памяти; мне память врезывает во все последующие годины два рода личных переживаний, не пересекающихся никак: объекты бреда, объекты событий детской; память о бреде рисует как бы жизнь в комнате, у которой одна из

стен проломлена черт знает куда; но тени от лампы закрыли ужасы, там свершающиеся; освети это незанавешенное место,— я и няня, мы взревем от ужаса; я напуган болезнью; и меня посещает она еще в страшных снах; впоследствии я поступаю совсем удивительно: я научаюсь вспоминать во сне, что это — сон и что из него можно проснуться; я во сне кулаками протираю глаза; и выныриваю из сонной опасности в мир яви; это умение проснуться (я его поздней потерял) указывает на самообладание и трезвость, совмещающиеся с исключительной впечатлительностью и пылкостью фантазии.

Как бы то ни было,— память о конце первого двухлетия (длинная память) и исключительные ее объекты (фантастика бреда) резко отделяют меня от ряда детей с более короткой памятью; и с иными объектами начала воспоминаний; от характера начала воспоминаний зависит вся последующая жизнь, ибо все восприятия этого начала даже не врезываются, а врубаются в мозг, как бы топорищами; и критский двойной топор мне врубил в мозг образ доктора Родионова, гоняющегося за мною, точно бык-минотавр;[12] когда через семь лет я прочитываю миф о Тезее и Минотавре[13], я переживаю его в одном из образов воспоминания о кошмаре моем. Обычно дети себя вспоминают уже четырехлетними; трехлетний период им дан лишь в смутных, отдельных образах; я же и встретил свои три года и провел свое трехлетие в твердом уме, в трезвой памяти и без перерывов сознания; и я же помню свое четырех-пятилетие; должен сказать, что с четырех лет исчезает бесследно, на всю жизнь, ряд интереснейших, неповторимых переживаний; и кто пробуждается к сознанию позднее, тот ничего не знает уже о целом пласте переживаний; тот пласт, который подается сознанию ребенка, вступающего в третий год жизни, в отличие от воспоминаний четырехлетнего так характеризуем: представьте ваше сознание погруженным в ваше подсознание; представьте его несколько ослабленным от этого, но не угасшим вовсе; невероятная текучесть характеризует его; и объекты подсознательных, растительных процессов, жизнь органов, о которой потом мы уже ничего не знаем, проницая психику физиологией, самую эту физиологию мифизируют весьма фантастически; я копошусь как бы в другом мире, переживаю предметную действительность комнаты не как ребенок, живущий в комнате, а как рыбка, живущая в аквариуме, поставленном в комнате; представьте себе эту рыбку сознающим себя ребенком, и вы поймете, что действи-

тельность ему подана как сквозь толщу воды. Четырех лет ребенок уже вылез из аквариума; и тот, кто проспал свою трехлетнюю жизнь и проснулся к жизни четырехлетним, уже никогда не переживет того, что он бы мог пережить, если бы память у него была длиннее и сознание сложилось ранее.

Третий год жизни по отношению даже к четвертому, пятому неимоверно растянут; он подобен десятилетию; когда я устанавливал даты воспоминаниям, то я увидел: трехлетие мне состоит из энного ряда долгих периодов, а уже четырехлетие — один период, прожитой по сравнению с трехлетием с молниеносною быстротой.

Четырехлетним я с презрением смотрю в Демьянове на трехлетнего пупса; и думаю: до неприличия молод он передо мною, видавшим виды стариком; а учти я эти виды, они — главным образом события разных периодов моего трехлетия; далее — события сдвинуты; линия лет — коротка; и вдруг она удлиняется невероятно: в месте начала трехлетия (в течение воспоминаний в обратном порядке, разумеется).

Подумайте только: моя многолетняя жизнь с няней в замкнутой комнатке после болезни по точным подсчетам не могла длиться больше шестидесяти дней; до нее — тысячелетия скарлатинных бредов; и после нее — очень долгая жизнь с бонной, Каролиной Карловной (от двадцатых чисел декабря 1883 года до... масленицы 1884 года), то есть около трех месяцев;[14] а опыты этих двух месяцев, потом трех месяцев равны опытам жизни последующих двух лет (двадцати четырех месяцев).

Период с няней стоит под девизом: ею держится строй мира; исчезни она — все рухнет; и вломится минотавр, Янжул, из дыры коридорика.

И вот это все рухнуло; в одну темную ночь в детскую вломился кто-то ужасный с деформированным голосом отца и затащил из комнаты няню в какие-то невыдирные чащи (вероятно,— ее загрыз); дело же было так: няня вернулась из гостей пьяная; она, говорят, непристойно кричала в детской; отец ее из детской извлек; няня была удалена; я ее так и не увидел; потрясение было ужасно;[15] но на другое же утро (это я хорошо помню) ничего ужасного не произошло; вместо няни открылась мне вся квартира; в ней не оказалось ничего страшного; столовая и гостиная выросли передо мной совершенно отчетливо; мне они ужасно понравились; мама была весела, играла со мной;

и, главное, мне разрешили свободно перемещаться по всем комнатам; и с этого дня я в окна столовой увидел Арбат.

Вскоре помню: появление немки, Каролины Карловны, с которой мы свободно ходим по всей квартире, отъезд матери в Петербург к разведшейся с мужем Е. И. Гамалей; и — долгий период жизни без мамы, с отцом, явившейся мне тетей Катей и Каролиной Карловной; и — никаких «бук», минотавров, ужасов; все очень трезво, очень эмпирично; меня учат танцам, водят гулять; папа ночью поджег шторы; но — пожар потушил; уже дни вытекают из дней по закону причинности, а не выскакивают из темного, стенного пролома страшными «буками»; вероятно: в прогнанной няне жило много суеверий; вероятно, она подпугивала меня; Каролина Карловна — трезва, а отец без матери уже меня накачивает «рациональными ясностями».

Мать жила в Петербурге около двух месяцев; но, казалось, прошли года; она приехала к масленице; и увидев, что бонна меня держит в грязи, ее отпустила; был период, когда я попал под надзор родителей; мне долго приискивали гувернантку.

И это опять новый мир: мир впервые усвоения рассказов матери о Петербурге; из них я узнаю о Невском, о царе, об отношении Москвы и Петербурга, о блестящих кирасирах и лейб-гусарах, знакомых Гамалей; жизнь Петербурга — блеск и трепет; но отец называет эту жизнь пустой; и тут начинается полоса ссор между отцом и матерью; темы их — различные взгляды на жизнь, разность отношения к Москве и Петербургу; и — главное — уже их борьба из-за меня; я себя чувствую схваченным отцом и матерью за разные руки: меня раздергивают на части; я вновь перепуган до ужаса; я слышу слова о разъезде; я слышу: кто-то матери предлагает развод с отцом; но отец не отдает меня, и мать из-за меня остается в доме.

Я уже без всякой защиты: нет няни, нет бонны; есть родители; и они разрывают меня пополам; страх и страдание переполняют меня; опять — ножницы, но на этот раз не между бредом и детской, а между отцом и матерью.

Этот период — тоже года, а он всего какой-нибудь великий пост, то есть шесть-семь недель; я бы назвал этот период позитивистическим, ибо в нем я собираю ряд сведений о характере отношений между матерью и отцом, о Петербурге и Москве, о России.

Начинается мне вместе с семейной историей вообще русская история, а с ней и история мира.

Следующий период в противовес этому я назвал бы сказочным; он начинается с весны появленьем Раисы Ивановны, согревшей меня удивительной нежностью и лаской, отвеявшей от меня драму в доме и зачитавшей мне и стихи, и сказки (я уже понимаю по-немецки: когда я выучился — не помню; вероятно, учился у Каролины Карловны); и, во-вторых: впервые выступает мне картина природы Демьянова: приподымаются образы парка; в нем Джаншиев, Кувшинниковы, еще кто-то; и — купанье: я не купаюсь, но меня берут в купальню.

Всюду рядом милая, веселая, сказочная Раиса Ивановна.

Осень, переезд в Москву, все это очень отчетливо; и уже вновь — октябрь: в октябре с Раисой Ивановною замкнулись в детской, она читает мне стихи Уланда, Гейне, Гете и Эйхендорфа (вероятно,— для себя читает); я плохо понимаю фабулу, но понимаю сердцем стихи; [16] и — впервые выступают мне звуки музыки, действующие на меня потрясающе: мать играет Бетховена, Шопена и Шумана; опять — долгий период.

Сложите эти периоды, и получится впечатление бесконечно длинной жизни; а это все — один год: год трехлетия.

Пережив это все, я становлюсь четырехлетним.

За этот период от бреда, через раздвоение сознания, на эмпирику детской и память о бреде, чрез позитивное собирание фактов нашей жизни, чрез невыносимое, острое страдание и перепуг я подхожу к какому-то новому синтезу: этот синтез — Раиса Ивановна, читающая мне песню и сказку.

В песне, в сказке и в звуках музыки дан мне выход из безотрадной жизни; мир мне теперь — эстетический феномен; ни бреда, ни страха перед эмпирикой нашей жизни; жизнь — радость; и эта радость — сказка; из сказки начинается моя игра в жизнь; но игра — чистейший символизм.

Это — проблема нами с Раисой Ивановной сознательно строимого, третьего мира над мирами: прозы и бреда; третий мир — игра, символ, «как бы», подсказываемые звуками льющейся музыкальной рулады; кабы не сказка, вовремя поданная мне Раисой Ивановной, я бы или стал идиотиком, канув в бреды; либо я стал бы преждевременным старичком, прозаически подглядывающим за жизнью отца и матери; пойди я этими путями — я бы погиб.

Сказка не имеет ничего общего с мистикою; мистика — объятие безобразными и часто безобразными физиологи-

ческими ощущениями; сказка — выгоняет из ощущения образ, становящийся игрушкой в руках ребенка; и этим переплавляет ненормальность ощущений в ненормальность фантазии, в бытие которой не верит младенец; он лишь играет в «как бы»; а из этого «как бы» и вылупляется в нем предприимчивость, творчество; могу сказать смело: кто в детстве не играл в свои особые игры, в будущем никогда не выйдет в «Эйнштейны»; в лучшем случае из него вытянется трезвая бездарность с атрофированной инициативою.

А генезис игры — сказка.

Так было со мною.

Помню, как я не верил в сказку, упиваясь ею, как свободной игрой. Рациональная ясность отцовских объяснений о том, что «гром — скопление электричества», не объясняли мне грома, а затемняли его; что значит для ребенка слово «электричество», если ему закрыта возрастом возможность усвоить физическую формулу? Объясняя гром электричеством, мне ничего не объясняли; я переживал эмпирику громового переката; и я твердил бессмысленно «скопление электричества»; а соединить эмпиризм с рационализмом объяснения я не мог; объяснение на этих ступенях — воспроизведение; и игры мои — опыты воспроизведения: сперва под формою мифа; потом же под формою наблюдения и узнания: природных фактов («перед грозой парит»,— ага: это скопляется нечто, что есть «электричество», которое еще мне непонятно).

Преодоление неопределенной эмпирики и не проведенного сквозь живой опыт понятия в детских стадиях есть настроение образа переживания; и — работа над образом под формой все сложнеющей игры; это и было мне знакомством с символизмом до слова «сим-во-лизм»; и позднее я так и определил его: «Символизм, рожденный критицизмом... становится жизненным методом, одинаково отличаясь и от... эмпиризма и от отвлеченного критицизма». (статья «Символизм и критицизм». 1904 год.) [17] *Жизненным методом* — значило: символ имманентен опыту; в нем нет ничего от *по ту сторону лежащего*. Надо же было профессорам словесности, навыворот прочтя символизм, в десятилетии укреплять басню о нем.

Может быть, формула 1904 года никуда не годится; но сформулировал я лишь то, что в детстве пережил: проблему двух опытных линий в точке их скрещения и сознания: опыта изучения птиц по Кайгородову (двенадцати лет) [18] и опыта игры в «сказку» (двенадцати лет); оба опыта на-

чались в первом же трехлетии; и первая попытка их скрестить: жизнь игр под звуки песен и музыки, которой мы отдавались с милой Раисой Ивановной.

Необходимость преодолеть «опыты» опять-таки опыт моей жизни. Один опыт — я, растаскиваемый за ручки папой и мамой в нашей квартире; это — итог наблюдения по правилам Джона Стюарта Милля; отдайся я ему пяти лет, я бы умер, такой жизни не перенеся; другой опыт: бегство от ужасной действительности в мир безыменный, безобразный; но опыт этого бегства привел бы к идиотизму, ибо я, раздувая в себе болезненные ощущения, просто разучился бы говорить; и так уже, защищаясь от нашей квартиры, до чтения Шопенгауэра я переживал лозунг: «Мир — мое представление»[19]. И был законченным пессимистом.

Но скажите, положа руку на сердце,— неужели не видите вы в этом иллюзионизме и пессимизме жизненного инстинкта, подсказывающего беззащитному младенцу способ не умереть? Лучше быть тактическим иллюзионистом в известный период жизни, чем без иллюзий разорваться в разрывах быта.

Скажите же вы, папашины сынки, «Николаши», не вырабатывавшие мускулов противодействия среде,— скажите мне: в чем больше жизненности: вслед за папашей твердить по Лейбницу о том, что наш мир наилучший[20], и, следуя этому миру, либо умереть, или позволить выколотить из себя все живое и самостоятельное? Или же: в пику сквернам наилучшего мира всею силою пережить отроческий пессимизм с его отказом от профессорской квартиры; и в пику Лейбницу провозгласить:

— Ты, отец, читай Лейбница, ну, а я, пока что,— с Шопенгауэром!

Шопенгауэр впоследствии мне был ножом, отрезающим от марева благополучий конца века; а когда я им себя отрезал от конца века, я взглянул в будущее с радостным:

«Да будет!»

Думаю, что многие недоразумения со мною, как с символистом, имеют корень в страхе матери, что у меня преждевременно вырос лоб; я же знаю, что корень всему — длинная память и твердая память, какой не отличается «Николаша», папашин «сынок». В удлинившейся памяти и изострившейся наблюдательности и подползал к нам рубеж символизма под временным флагом пессимистического взгляда на квартирку профессора.

Вы, «Николаша», тут именно и чувствовали себя прекрасно: папаша оптимист; и — Николаша; папаша спенсерианец; и — Николаша; так вырос Николаша, критик Андрея Белого, с потиранием рук доносящий:

«Трансцендентность, пессимизм, мистика!»

Дело было иначе: так именно, как рисую я; лучше не спорить с критиками, а восстановить фактический материал жизни.

2. МИФ, МУЗЫКА, СИМВОЛ

У нас в доме не процветало никакого религиозного культа; был один культ, незримо разлитый в воздухе; и был жрец этого культа, отец; недаром его называли: жрец науки; недаром его посещали иные «научные жрецы»; университет назывался храмом науки; кафедра сознанием изменялась в алтарь; лекция — в богослужение.

Прежде личных научных познаний в науку уверовал я; и прежде личного опыта церкви я столько наслушался о попах от «жрецов» науки: они — суеверы; они — дураки; упустили науку из своих рук, а могли бы, прибравши ее к рукам и показывая научные фокусы в качестве чудес, как и египетские жрецы, держать в повиновении чиновников; и у меня создалось впечатление: все «попы» — хороши; но «поп» греческий, «поп» египетский был все же умнее нашего.

Когда я пятилетним проходил с отцом события заветов, то я уже знал: скиния[21] была электризована.

Все это о попах, о чудесах я знал, всегда знал; и — никогда не узнавал, как и то, что земля шар, а гром — скопление электричества; вместе со словом «священник», «церковь» или даже раньше еще, я слышал слова: Лагранж, Абель, Дарвин! Слова эти воспринимались мною, как имена богов и героев нашего Олимпа, имеющего храмы (университеты), алтари (кафедры); к одному из алтарей и я буду призван; и уже призывался, когда мне объяснялось, что есть нумерация[22].

Моя наивная мать боролась с нумерацией, а с воздухом научного «храма», которым я был овеян, она не могла бороться, раз я присутствовал при разговорах отца со взрослыми; а дидактические научные шутки отца, а откровенный выход из комнаты дяди «Жоржа» в момент, когда в комнате оказывался обходящий квартиры «священник с крестом», и папа, конфузливо сжимая бумажку, ему со-

вал в руку; я знал: «дядя» выходит из комнаты из-за полного отрицания происходящего, а священник входит попеть и покропить — для бумажки; папа, человек добрый, его понимает; и для-ради предлога ему взять бумажку выслушивает то, что мною воспринималось как угрожающее ревение; помню, как я был напуган в церкви, когда что-то невидимое мне из-за толпы взревело; я расплакался, а меня подхватили на руки и показали на источник рева; и я увидел зловеще грозного человека, в золоте, багрового и с выпученными глазами; это был дьякон Троице-Арбатской церкви; он и являлся с «батюшкою» по праздникам: за бумажкою; источник религиозного культа был долго скрыт от меня; и гораздо раньше, гораздо понятнее мне прозвучала служба, справляемая отцом, удалявшимся в форменном фраке: читать лекции.

Наспех обучили меня «Отче наш»; и я механически произносил его перед сном; никто не справлялся, так ли произношу я слова; и постоянно справлялись у меня о том, что есть нумерация.

Гувернантки мои не имели ни малейшего касания к религии; мать изредка с бабушкою для проформы бывала в церкви; и часто бывала: в театрах, концертах, на вечерах с танцами; тетя, сестра матери, была совершенно индифферентна к религии; дяди со стороны матери еще более; дяди со стороны отца — активно враждебны; весьма почитавшийся матерью В. И. Танеев был богохульник.

Единственное религиозное явление в нашем доме,— явление бабушки по воскресеньям из церкви со словами: «Бог милости прислал!» Но бабушка мне была неясна во всех смыслах; и менее всего — авторитет; мама, тетя и дяди со стороны матери дружно утверждали, что легкомыслие бабушки разорило их; и потом они посмеивались над хождением в церковь старушки, утверждая, что бульдогообразное лицо, красное и покрытое бородавками, старосты Богословского, более всего прочего привлекает бабушку; а отец,— хлебом его не корми, только дай подтрунить над суеверием старушки; сколько анекдотов я выслушал о краже судной трубы чертом с неба, в результате чего светопредставление отменяется; и сколькие разоблачения раздавались по адресу черта, который по глупости своей просто перестал существовать к досаде Николая Угодника и многих на небе, чья функция — борьба с чертом.

С четырех лет мне внушили весьма серьезно, что чертей, колдуний и прочей нечисти нет, да и не может быть; что же касается бога, то — бог, так сказать, есть источник

эволюционного совершенства; в чем это абстрактное и туманное совершенство, мне не было ясно; выражение «бог, так сказать», я запомнил; вся суть в этом; имя бога отцовского — «так сказать»; или — «так сказать: совершенство».

Я знал: у отца совсем особый бог, противополагаемый «богу» бабушки; позднее я подставлял под «так сказать» — оригинальное философское понятие; и в духе этого-то, мне логически еще не выясненного понятия, объяснялись события ветхого и нового заветов; события эти подавались как аллегории, для, «так сказать», наглядного представления, как популяризация научно-философского культа массам; поэтому: меня никогда не интересовали проблемы о подлинности источников, проблемы чудес и столкновение мнений о том, что мир существует 7000 лет или миллионы лет; я поздней удивлялся, как же это ни разу я не удивился несогласию в возрасте мира у жрецов религиозных и жрецов научных; и потом понял: проблемы сомнения в подлинности образов заветов и не могло быть, ибо эти образы мне подавались отцом как аллегории понятий, а мною воспринимались в ритмах музыкальной эстетики; так что я, пятилетний, до того усвоил идеи о бесконечности мира, что, услышав о пресловутом 7000-летии, я и не обратил внимания на число лет, ибо, разумеется, 7000 значит что-нибудь вроде «так сказать»; а я твердо знал, что «так сказать 7000» — отнюдь не 7000 лет; ведь и я в игре утверждал, «так сказать, буку» в углу, а, однако, в угол шел, твердо зная, что никакого буки не будет, а будет приятное чувство оторопи, мне нужное в целях игры.

Теперь вижу, что события заветов воспринимались мною как музыкальные символы; но эти символы произвели на меня огромнейшее впечатление; как четырех лет упивался я образом какого-то слепого короля («Шлосс ам Меер» — Уланда);[23] так пяти лет: композиция, стиль образов заветов, особенно нового, переполнили мое существо;[24] дело в том, что в страданиях Иисуса мне была брошена тема страданий безвинных; и я осознал в Иисусе тему моих безвинных страданий у нас в доме; и все, что я ни узнавал, я тотчас же вводил в игру; и в игре, в вариациях темы узнанного так или иначе я упражнял диалектику своего воображения; в ней же силы крепнущего познания; и — опыта познания; так, выслушав в редакции отца о событии нового завета и о том, что сын божий есть «так сказать, сын человеческий», — я тотчас же заиграл в подражание Христу, соединился имманентно с темою; церковь

оставалась церковью, чем-то чуждым и трансцендентным мне: *до* и *после* восприятия образов заветов, вошедших в мою душу как эстетический феномен, как первое восприятие драматической поэзии.

Я познал драму; и эта драма мне осветила смысл моего драматического положения в нашей квартирочке.

До сих пор страдания мои были ножницами: две линии растаскивали меня; теперь мне был показан крест, то есть возможность как-то сомкнуть ножницы; воскресение через крест, вероятно, я воспринял символом воскресения моей маленькой жизни чрез нахождение какого-то смысла моих страданий; я стал забираться в темные уголки и там тихо плакать, жалея себя, маленького, несправедливо преследуемого матерью за «второго математика»; я здесь хожу и таю свои муки; «они» не понимают меня, как законники не понимали Иисуса; но я теперь имею смысл: даже, если распнут меня, я, маленький, воскресну; и для этого надо прощать им «грехи»; совершилось перемещение страдания: «преступник» во мне, «лобан» и «математик», оказывается, такой же преступник, как Иисус; чтобы осмыслилось это все, надо на истерические крики матери на меня и на ее угрозы «не смей учиться» отвечать ей молитвою — за нее же; и я, бывало, вздыхал:

— Боже, прости маму: не ведает, что творит.

Вина моя с меня снялась; мне стало легче в нашей квартире; так бы я осмыслил символику действия на меня образа Иисуса.

Религиозный момент был мною воспринят этически и стилистически; действовали: Уланд, подслушанный «Демон» Лермонтова, Андерсен[25] и образы заветов; верить в наивно-реалистическом смысле не мог я; но всякой метафорой я упивался; никто же мне в голову метафоры не вбивал; в художественном отношении к образу и в музыкальном его изживании я был противопоставлен отцовским аллегориям, рационально мне объясняемым; он был не музыкален.

Искусство музыкой мощно ворвалось в мою душу: но и этот врыв я до времени утаил от всех.

И, когда ушла Раиса Ивановна[26] и унесла с собой сказки, уносившие меня на лебединых крыльях из тусклых будней, сама музыка лебедем спустилась над детской кроваткой моей; и я залетал на звуках; говорю: «музыка опустилась над детской кроваткою», потому что музыку воспринимал я, главным образом, вечерами; когда мать оставалась дома и у нас никого не было, она садилась иг-

рать ноктюрны Шопена и сонаты Бетховена;[27] я, затаив дыхание, внимал из кроватки: и то, что я переживал, противопоставлялось всему, в чем я жил; пропадала драма нашей квартиры и мое тяжелое положение в ней; не существовало: ни профессоров, ни их «рациональных» объяснений, мне якобы вредных; не было и никакого «второго математика»; эволюция, Дарвин, цепкохвостая обезьяна имели смысл, власть, основание в том мире, где не было звуков: в мире дневном, в мире, обстающем кроватку; но после девяти часов вечера в кроватке под звуки музыки выступал иной мир. Не закон тяготенья господствовал, а то, слово к чему мною было подобрано, когда я стал взрослым.

И это слово есть ритм.

Мир звуков был совершенно адекватен мне; и я — ему; бытие и сознание были одно и то же, диалектически изливаясь друг в друга руладами; если религия, искусство, науки, правила, быт были чем-то все еще мне трансцендентным, к чему я подыскивал, так сказать, лесенки, к чему мне надо было взобраться, то музыку переживал я имманентно своему «Я»; никакого культа, никаких правил, никакого объяснения; все — ясно; и все — свободно: летай как хочешь — вверх, вниз, вправо, влево, в этом звучащем пространстве; в этом звучащем пространстве я был и бог, и жрец, и чтитель собственных изречений, вернее: безгласных жестов.

В миги моих музыкальных восприятий я как бы хитро говорил себе, что я выведен из тюрьмы, которая мне навязана безо всякой вины с моей стороны; не было ведь никакого Арбата, дома Рахманова, «храма» на Моховой; и отсутствие этих косных домов принесло мне радость совершенной свободы.

Но было чувство жгучего стыда, при одной мысли, что кто-нибудь ненароком узнает о моем увлечении; и был страх: тогда меня тотчас лишат музыки; ведь горький опыт мне показал: всякое проявление интереса к чему-либо оканчивалось запретом; интерес к отцу с его объяснениями мне истории с «цепкохвостою» обезьяною кончился: запретом всякого конкретного общения с отцом; так же некогда меня лишили: няни, Раисы Ивановны; пришел доктор Родионов и отнял сказки:

— Они — вредны ему!

Признайся я, что музыка мне — отрада, и я услышу:

— Музыка тебе вредна; не смей слушать.

Мать запрет рояль; и все кончится.

Но тогда я погиб: темница оплотнеет вокруг твердой стеною всевозможных устоев.

Нет, до чего я был хитер пяти лет! Я уже вел себя, как осознавший свое положение пленник: мне запрещено: любоваться гусарами; но и: любоваться зверями зоологического атласа, слушать сказки, твердить назубок, что есть нумерация: мне занавешен кудрями лоб, потому что я — «лобан».

— Посмотрите на лоб: урод вырастет. Он — вылитый отец!

И я знаю: отец — урод; быть уродом — позор: уродство отцу прощается: за какие-то такие заслуги, которых у меня нет, да и быть не может; поэтому: непростительно мне уродство мое; а я вопреки запрету (мне — быть уродом) уже стал уродом; кудри одни меня оправдывают; и — нарядные платьица, в которые переряжают меня, чтобы скрыть уродство; и мне стыдно мальчишек: они пристают ко мне:

— Девчонка!

Я мечтаю о том, что если мне заплетут косицу, то я сумею, под шапку упрятав волосы, появиться в компании мальчиков.

Ясно, что при таком перепуге и при таких пинках со всех сторон невозможно не схитрить; и я хитрю; отводы глаз мои изумительны; трепеща от звуков музыки с четырех лет, я обнаружил любовь к ней и ее понимание лишь к седьмому классу гимназии; до — прикидывался равнодушным; и мать — вздыхала:

— Он — как отец: ровно ничего не слышит... Не музыкален, как все математики!

Было мне горько до слез от таких слов; но стыд и страх закупоривали меня; и я не шел на «провокацию»:

— Попробуй услышать — и нет тебе музыки!

Моя стыдливость в признании своей влюбленности в звуки напоминала скрытность серьезно влюбленного.

Музыка мне окрылила игру; так же, как я научился, лежа в кроватке, летать на звуках, я научился под перекрестным взором взрослых играть про себя, да так, что никто бы не догадался, во что я играю: мифы души, выраставшие на крыльях музыки, соединял я с предметами обыденного быта; «как будто» моих игр стало мне серьезной проблемой настроения в противовес двум действительностям третьей; и эту игру, окрепшую до серьезных заданий, впоследствии назвал я процессом символизации; в символизации преодолевал ножницы я: 1) между бытом

родителей и собою, 2) между отцом и матерью, 3) между разнородными утверждениями авторитетов, Лясковской и Танеева, о том, что «так надо» жить и что жить «так не надо».

Во всех планах жизни ножницы разрезали меня; и во всех планах жизни ножницами разрезал я разрезы жизни; так преодолевал я проблему ножниц; оспаривания отцом и матерью правоты их взглядов разрешил скоро я в неправоту их обоих, противопоставив им мое право на свой взгляд на жизнь и на свое объяснение явлений жизни; моя эмпирика заключалась в выявлении моих безыменных, мне не объясненных никак переживаний сознания; и я уже знал, о чем можно спрашивать, что объяснимо родителями и что ими не будет объяснено никак; это последнее я затаил.

Но иногда мне нечего было противопоставить, кроме музыки и своих собственных эстетических переживаний; уже гораздо позднее, бронированные доводами, методами и мыслями моими о них, они выдвинуты были мною в жизнь; и стали материалом моей уже громко исповедуемой идеологии символизма.

Я стал символистом до всяческого оформления мучившей меня проблемы преодоления ножниц; символизм был мне моим отстраданным, проведенным сквозь катакомбы лет опытом, о котором я впервые заговорил вслух пред всеми лишь в седьмом классе гимназии и о котором молчал не менее двенадцати лет своего детства и отрочества;[28] то, что я говорил, было сложно, запутанно, ибо не существовало мне шпаргалок из готовых мировоззрений; и я должен был на первых порах сам озаботиться тем, чтобы из ряда мировоззрений наготовить себе защитительный материал; легко жарить по Писареву, по Льюису, по Спенсеру; так жарило большинство соклассников; а я жарил из себя самого; и запутывался.

Но я говорил убежденно: в основе слов лежал опыт лет.

Если в волне никем мне не объясненных переживаний и было нечто от «мистика», так это было понятно: ребенку, лишенному возможности объяснить свой опыт в правилах индукции Милля, было свойственно не понимать многого; и мой отказ от ряда «обидных ясностей» ползучего эмпиризма в ту пору скорее напоминает действие революционера, бьющего по данным стабилизации, бьющего чем попало, лишь бы не соглашаться покорной овечкою с объяснениями, которые в ряде десятилетий сказали несостоятельность; и я бил — в разные времена: и Шопенгауэром,

и Ницше, и Соловьевым, и Марксом по тому, что мне казалось догматом, однолинейным, не диалектичным, статичным. Если я схватывал не то оружие, если я не стал попугаем, повторяющим марксистские фразы, так это потому, что Маркса я стал читать в 1906 году [29], а символистом я стал в 1884; чем и кем прикажете объяснить мой личный опыт 1884, 1885, 1886, 1887 и так далее годов? И я объяснял разными мировоззрениями; но брал их рабочими, временными и текучими гипотезами; я никого не «боялся»: Соловьев — так Соловьев (в одном случае), Ницше — так Ницше (в другом).

Позднее я писал о Ницше: «Можно освещать проблему ценностей у Ницше в свете этой проблемы у Маркса, Авенариуса, Риккерта; но нельзя результатами такого сравнения выражать Ницше, невыразимого... Когда речь идет о воззрениях Ницше, то мы имеем дело: 1) с системой символов, захватывающих невыразимую глубину души; 2) с методологическим обоснованием этих символов в той или иной системе знаний... 3) сталкиваемся с серией противоречивых миросозерцаний у самого Ницше» («Арабески», стр. 81—82) [30]. И далее: «Операционным ножом, случайно подобранным на пути, биологией, отсекает Ницше себя от себя самого, связанного с передовыми дегенератами своего времени — Шопенгауэром и Вагнером» («Арабески», стр. 87) [31]. Так писал я в 1907 году столько же о Ницше, сколько и о себе; но передовой дегенерат моего времени — либерал с ползуче неопределенным мировоззрением, поданным в лозунгах «обидной ясности», меня оболгал; и — операционными ножами, то есть и Шопенгауэром, и Соловьевым, и Марксом (позднее), и Ницше, я отрезывался от него, не прикрепляя своей руки символиста к орудию момента, подхваченному мною на том или ином отрезке пути.

Поэтому не прикрепляйте меня вы, прикрепители, объяснители, популяризаторы,— всецело: к Соловьеву, или к Ницше, или к кому бы то ни было; я не отказываюсь от них в том, в чем я учился у них; но сливать «мой символизм» с какой-нибудь метафизикой — верх глупости; прикрепите к Соловьеву — и наткнетесь на фразу в статье-воспоминании о Соловьеве о его малоговорящей метафизике;[32] прикрепите к Риккерту — и наткнетесь на едкую пародию (против неокантианцев); самое мое мировоззрение — проблема контрапункта, диалектики энного рода методических оправ в круге целого; каждая, как метод плоскости, как проекции пространства на плоскости,

условно защищаема мною; и отрицаема там, где она стабилизуема в догмат; догмата у меня не было, ибо я символист, а не догматик, то есть учившийся у музыки ритмическим жестам пляски мысли, а не склеротическому пыхтению под бременем несения скрижалей.

Если вы пыхтите, когда мыслите, то не переносите пыхтения ваших тяжелодумий на мой символизм, которому девизом всегда служили слова Ницше: «Заратустра плясун. Заратустра легкий... всегда готовый к полету... готовый и проворный, блаженно-легко-готовый... любящий прыжки и вперед, и в сторону...»[33] Шопенгауэровским пессимизмом отрезавшийся от обидно ясного оптимизма позитивистических квартирок, стихами Соловьева пропевший о заре, учившийся афоризму у Ницше, а академическому дебату у гносеологов, сидевший в чаду лабораторий и дравшийся с желтой прессою, я — ни шопенгаузрианец; ни соловьист, ни ницшеанец, менее всего «ист» и «анец», пока не усвоен стержень моего мировоззрительного ритма, бойтесь полемики со мной; всегда могу укусить со стороны вполне неожиданной; и, укусив, доказать по пунктам (гносеологически), что я поступил не вопреки мировоззрению своему, а на основании его данных, ибо мировоззрение мое для вас весьма туманная штука: оно ни монизм, ни дуализм, ни плюрализм, а плюро-дуо-монизм, то есть пространственная фигура, имеющая *одну* вершину, *многие* основания и явно совмещающая в проблеме имманентности антиномию дуализма, но — преодоленного в *конкретный монизм.*

И потому-то укусы мои часто бывают укусами в спину, когда борются со мной, повернувшись ко мне спиной.

Не я ли писал в 1909 году, что «падают твердыни теоретической философии» и что «нечего в них искать теоретической значимости»? («Символизм», стр. 68);[34] стало быть: грошевое дело пришивать меня к Шопенгауэру, Риккерту и Соловьеву, не так глядевшим на «теоретическую значимость». И я же писал в 1915 году в согласии с собой: «Мировоззрения человечества — живая метаморфоза индивидуально целостных триадических построений». И далее: «Элементами... мировоззрений будут... четыре категории моносов: 1) «Монос» градации... 2) «Монос» тона... 3) «Монос» мироощущения... 4) «Монос» метода...» («Мировоззрение Гете», стр. 182—183) [35]. С точки зрения диалектики градационной последовательности для меня могут быть: 1) монизмы (материализм, рационализм, идеализм и т. д.); 2) дуо-монизмы: «монос» материя бе-

рется в эмпиризме, в логизме, в трансцендентализме и т. д.; 3) плюро-дуо-монизмы и т. д. (Ibidem, стр. 186—187); я, например, перебираю градацию диалектикой допустимых логизмов: 1) логический материализм (Демокрит), 2) логический математизм (Кантор), 3) логический рационализм (Когэн), 4) логический психизм (Фехнер), 5) логический монадизм (Лейбниц) и т. д. (Ibidem, стр. 188). И я говорю, что надо оттенять «нюанс моно-дуо-плюральной градации, многообразие модуляций которой — сама история философии» (Ibidem, стр. 189) [36].

Не зная, что конфигурационный закон диалектического разверта мировоззрительных фигур мысли, всегда условных в статике, есть *альфа* и *омега* моей мировоззрительной точки зрения, я ведь могу, если захочу, наделать много бед критику, «Николаше», папашиному сынку, всегда прямолинейно пыхтящему однобоким догматом; он, например, ткнет в одну из проекций моей фигуры мысли и радостно поймает с поличным:

— Ага,— вот он у него где, мистический квадрат!

А я, диалектически перебежав по моей четырехгранной пирамиде, основание которой — квадратно, а бока — треугольны, я ткну в спину треугольником научно-позитивного мировоззрения: «Закон эквивалентов нашел бы свое выражение в формальной эстетике» («Символизм», стр. 187) [37]. Ну, похоже ли это на мистику и трансцендентность? Вот цитата: «Эмблематика... смысла... распадается на три части; в первой выводится теоретическое место для понятия... системы; ...во второй дедуцируются эмблемы...; в третьей части мы можем систематизировать все эмблематические места познаний и творчеств в любой дисциплине» («Символизм», стр. 117)[38]. Заметьте: в *любой дисциплине:* в химии так же, как и в философии. Что это значит? А вот что: «Мы можем дать систему творческой ценности в методах механического миропонимания; нетрудно видеть, что... религиозное, эстетическое и примитивное творчество в пределах механического миропонимания примет вид взаимного превращения различного рода энергий... Мы можем дать системе творческих ценностей гносеологическое обоснование: нетрудно видеть, что мы получим... учение о формах и нормах творчества...»[39] и так далее. Я перечисляю каталог эмблем, которые суть методологические понятия для опыта в науках и которые становятся диалектическими понятиями в контрапункте из взаимного преломления; система символизма должна стать словарем возможных исчисляемых преломлений; и, глав-

ное, в «Эмблематике смысла» я не даю такой каталожной системы, а указываю лишь путь работ для будущих теоретиков символизма, методологов, а не метафизиков, диалектиков, а не догматиков.

Согласитесь, папашин сынок, оклеветавший меня в годах, что вам же хуже будет, если я согласно диалектическому принципу моего символизма, вооружившись своими естественно-научными познаниями в ответ на ваши инкриминации в трансцендентизме, возьму да и переведу свои «трансцендентные» эмблемы на язык материи; и ухну вам в спину: Бором, Резерфордом, Томсоном, которых вы не изучали и которых изучал я.

И, главное: я, как символист, буду последователен, оставаясь верен принципу своего мировоззрения, дающему мне право то говорить так, как заговорил бы химик, то заговорить так, как заговорил бы художник Ницше: «Заратустра плясун... Заратустра легкий... любящий прыжки вперед и в сторону». А — главное: гносеологически загрунтовавший себе право на подобного рода «алогические» прыжки.

Мораль: изучайте трудолюбиво в целом мировоззрение противника, а не воруйте цитатки; много есть у меня всякого цитатного добра, но кто берет цитату вне круга цитат, ее объясняющих, тот — вор и убийца смыслов.

Я пишу о том, как я стал «символистом» от музыки еще пяти лет; в этом символизме от музыки, от гераклитианского вихря[40], строящего лишь формы в движении и никогда в покое, и подставляющего вместо понятия догмы понятие ритма, или закона изменений темы в вариациях и всяческого трансформизма, и заложена основа всего будущего моего.

О том, как в университете я, чтитель поэзии Соловьева и Блока, был дарвинистом против формализма и механицистом против витализма, я надеюсь рассказать позднее; повторяю: и трансформизм, и Дарвин, но и Ницше, и Метерлинк были мною сперва пережиты в опыте, и уже потом узнаны в печатных томах, ибо мои позднейшие вкусы в литературе — отбор по переживаниям, мной испытанным в детстве.

Еще штрих: я всегда ощущал рубеж столетий между собою и бытом; и мне всегда стояла проблема борьбы с обстанием; так же, как теперь я борюсь с «Николашей», редукцией папаши, я боролся с большими «папашами» маленьких «Николаш»; и борьба ребенка, отстаивавшего свое

право на бытие, была и трагична, и героична (не юмористична, как борьба с «Николашами»).

Дети рубежа и не могли перейти в начало века, не сказав «нет» этому веку; в момент же этого «нет» у них еще не было ничего готового в смысле собственного мировоззрения; их «да» слов не имело; а отцы так и сыпали словесными терминами. Но была твердейшая уверенность в том, что отцами подаваемое «да» никуда не годится.

Отсюда — уход из сферы чуждого «да» или — сжатие младенца в точку кроватки; и переживание огромной ночи, припавшей к младенцу; переживания Нирваны не раз охватывали, как опасность прижизненной смерти[41].

И отсюда же ноты Нирваны в моей биографии; отсюда и юношеское шопенгауэрианство.

3. ДЕТИ РУБЕЖА

Мы, дети рубежа, позднее встречаясь, узнавали друг друга; ведь мы были до встречи уже социальной группой подпольщиков культуры; группа объединилась не столько на «да», сколько на «нет»; эпоха, нас родившая, была статична; мы были в те годы — заряд динамизма; отцы наши, будучи аналитиками, превратили анализ в догму; мы, отдаваясь текучему процессу, были скорей диалектиками, ища единства противоположностей, как целого, не адекватного только сумме частей; слагаемые, или части, не отражающие чего-то в целом, называли эмблемами мы; искомое целое, как обстанием не данную действительность, мы назвали сферою символа; под словом «символ» разумел я конкретный синтез, а не абстрактный; в его квалитативности, а не только в «квантитас»; рассудочный синтез квантитативен; после Канта всякий синтез принял форму «синтеза в рассудке»; и — только; под «символом» разумели мы химический синтез; разумели «соль», свойства которой не даны ни в *яде* хлоре, ни в *яде* натрии, соль образующих; ставить знак равенства между химией свойств и частей в целом, не данной в частях, и мистикой может только человек, не изучавший природы химических веществ, природы диалектики, природы количественной качественности, о которой правильно говорит Энгельс[42]. Мы разумели некую жизненность факта, не взятую на учет формальными эстетиками. Слово «сюмболон» производил я от глагола «сюмбалло» — соединяю [43], как «вместе сбрасываю» с выделением химической энергии, пресу-

ществляющей хлор и натрий в третье, *новое* вещество: в соль.

«Символизм» означало: осуществленный до конца синтез, а не только сопоположение синтезируемых частей («сюнтитэми» — сополагаю);[44] в сопоположении количества не выявляют еще своих новых качеств.

При чем мистика? Разве химическая реакция мистична?

В «символизации» мы подчеркивали процесс становления новых качеств; в словесной изобразительности диалектику течения новых словесных значений. Мы были всегда гераклитианцами, несущими бунт в царство средневекового Аристотеля; самое понятие гераклитовского Логоса[45] было нам понятием ритма, закона изменений, а не статической формы или нормы рассудка.

Но наше ритмическое единство допускало подстановки; мы могли говорить о нем и в терминах философии Логоса, и в терминах энергетики, ибо умели переводить метод в метод и прочитывать явления, держась не за букву (проблема перевода с языка на язык); учитесь, неповоротливый критик: «символист» вам подсказывает, как в методической диалектике брать проблему эмблематики смысла, о которой я писал двадцать лет назад[46] (удивительно путанные головы,— им было рассказано внятно, а они — опять за свое: «мистика, мистика!»).

Мы отрицали склероз мозга очень многих голов своего времени; и мы были правы в борьбе со склерозом: прием иода, иль символизма, не растворил извести в их головах.

Мы, символисты, имеем право говорить о символизме хотя бы на основании закона давности; тридцать лет — срок почтенный; и наше право базировано двояко: тридцать лет мы говорим о символизме так, как я говорю; и тридцать лет мы даем критикам материал нашим творчеством; мнение «спеца» о предмете споров должно быть взято на учет особенно там, где царят и сознательные, и бессознательные фальшивки, где действуют фабрики волчьих паспортов с транзитными визами «мистика» и «трансцендентность».

Типичные ли мы мистики? Типичные мистики не бывают смолоду перепичканы естествознанием; Брюсов, любитель математики, спинозист-гимназист[47],— мистик ли? Я — естественник; Балтрушайтис — естественник;[48] издатель «Скорпиона» по образованию — математик;[49] Эллис — образованнейший экономист.

Если мы — «мистики», так давайте же переделаем наизнанку «спецовскую» литературу по истории и философии «мистицизма».

Энгельсу позволено говорить, например, так: «У естествоиспытателей движение понимается как механическое... Из этого недоразумения вытекает... стремление свести все к механическому движению... чем смазывается специфический характер прочих форм движения»[50]. Что ж, Энгельс — мистик? Деборинец А. Столяров, соглашаясь с Энгельсом, заявляет: «Сведение всякого движения... к механическому... означает... сведение диалектики к механике» (А. Столяров: «Диалектический материализм и механицизм», стр. 118)[51].

В духе заявлений Энгельса и школы Деборина, за двадцать лет до деборинца Столярова, отказываясь от метафизики («Мы видим... крах метафизики...» — «Символизм», стр. 94)[52], символист Белый пишет: «В термодинамике не обойтись без понятия об энергии, но... понятие, вынесенное за пределы частной науки, становится понятием многосмысленным и совершенно неясным» («Символизм», стр. 52)[53].

На основании какого права подобного рода корректив к философии квантитатизма прочитывается критиком, мало работавшим в сфере методик точных наук, как приглашение гадать на кофейной гуще? Белый — маска Б. Н. Бугаева, имеющего диплом первой степени о прохождении им курса точных наук и соответственных лабораторных занятий.

На основании какого же права безглавят смысл написанного символистом?

На основании права передержек.

И я почтительнейше прошу, чтобы при ОГПУ было открыто отделение суда и кар за передержки, имеющие тенденцию дискредитировать; и сфера критики должна иметь критику в суде высших государственных органов.

Меня поражает: для чего существуют кафедры истории литератур и вся аппаратура материалов, когда в итоге разглядов того или иного исторического течения из него изъяты все «слоны» и перечислены все «козявочки».

Существует музей всех «козявочных» привкусов «мистицизма» в символизме; и ни звука о «слоне», без которого символизм — не символизм: о диалектике вращения метода вокруг метода, в итоге которого развивается эмблематика частных смыслов: школьно-художественных, частно-научных и прочих.

Ни звука!

«Николаша», папашин сынок, постарался особенно тут именно: на протяжении двадцати лет.

Еще есть один не отмеченный «слон»: именно: при набившем оскомину выведении символизма из крупной промышленности не взято на учет социальное происхождение символистов: если бы был составлен каталожный список символистов (кто их отцы, из какой они среды и так далее), отметился бы весьма любопытный факт; отцы большинства символистов — образованные позитивисты; и символизм в таком случае являет собой интереснейшее явление в своем «декадентском» отрыве от отцов; он антитеза «позитивизма» семидесятых — восьмидесятых годов в своем «нет» этим годам; а в своем «да», в символизме «пар эксэланс»[54], он врождается в энное количество течений, уже действующих в начале века за пределами того «символизма», о котором писали историки литературы; действительно странно: в 1910 году провозгласили конец «символизма»; а до 1910 года «символизм» смешивали с «декадентством».

Когда же был символизм-собственно?

Мудрый Эдип, разреши![55]

«Символизма» нет, а «символисты» здравствуют в 1910 году, как никогда: Блок не написал еще своих лучших творений; Белый еще не написал «Петербурга»; Сологуб — в расцвете сил; Брюсов — в расцвете сил; В. Иванов — в расцвете сил; с «символизмом» — покончено: да здравствуют символисты!

«Символисты» даже не реагируют на конец «символизма»; и не отказываясь от него, спокойно себе работают: Белый в «Мусагете», Брюсов в «Русской Мысли»[56].

Что же случилось?

Оказывается — закрылся журнал «Весы» с согласия на это сотрудников «Весов», нашедших, что данная школьная группировка потеряла значение;[57] но «символизма» это не задевает, ибо символизм никогда и не мыслил себя литературной школою; он — «школа» с 1907 до 1909 годов для-ради тактических целей: борьбы с дешевкою «мистического анархизма».

Отчего о сем немаловажном обстоятельстве — молчок?

Отметим: русские символисты не сыновья крупных промышленников; сколько было образованных капиталистов во втором десятилетии нашего века; они не дали —

ни одного символиста; символисты — дети небогатых интеллигентов, образованных разночинцев, разоряющихся или захудалых дворян, давно забывших о своем дворянстве; наиболее типична связь символистов с передовой интеллигенцией конца века; в аспекте «декадентов» мы «скорпионами» выползли из трещин культурного разъеда в конце века, чтобы, сбросив скорпионьи хвосты, влиться в начало века[58].

Я — сын крупного математика, вылез на свет из квартир, переполненных разговорами о Дарвине, Спенсере, Милле; Блок — сын профессора, внук известнейшего ботаника, профессора же[59], женатый на дочери профессора Менделеева; Эллис — побочный сын известнейшего московского педагога;[60] С. М. Соловьев — внук знаменитого историка Соловьева (профессора же); Балтрушайтис, В. Иванов — никакого отношения к крупному капитализму не имели; Б. Садовской — тоже; более молодые модернисты, истекшие из символизма и утекшие по-разному из него: Шершеневич — сын профессора; Шервинский — сын профессора медицины[61] и т. д.

Остается Брюсов, единственный — сын «купца». Но мы увидим, насколько «купец-папаша» — «купец» в самом деле (об этом — ниже).

Вот если бы заговорили о генезисе символизма из известного слоя интеллигенции и анализировали бы, например, роль московского университета в формировании кадров московских символистов на рубеже двух столетий,— вышел бы интересный этюд.

Что крупная буржуазия стала ухаживать за символистами, когда они стали входить в моду,— так за кем только не ухаживала буржуазия: разве не ухаживала она за модными профессорами, за модными социал-демократами; я сам был на социал-демократическом вечере в квартире у владельца фабрики «Дукат» в дни всеобщей забастовки 1905 года [62] (реферат — не состоялся ввиду осады университета казаками). Как реагировал на моду среди буржуазии на символизм А. Блок,— известно; как реагировал я в 1906 году на начало этой моды,— вот цитата: «Доколе еще прислуживать вашей мерзости, доколе быть шутом вашей пустоты, посмешищем вашего ничтожества, рвотным камнем вашей пресыщенности?.. Верю, что в всесветлом грядущем граде мы встретимся лицом к лицу и с работником, и с оратаем *... И не... слюною пресыщен-

* Оратай — землепашец.

ности, как с вами, увенчается наш союз, а делами строительства... Как смеете вы хотя бы ценить нас!.. Прочь с дороги!.. Мы, художники, посылаем вам наше неугасимое проклятие» («Арабески». Художники оскорбителям. 1906 г.)[63].

Надо отделять вопрос о моде на символизм в таких-то и таких-то годах среди крупной буржуазии, *как и в других слоях* общества, от генезиса символизма где-то весьма недалеко от «славных» университетских традиций в виде диалектической антитезы им.

Почему столь много интереса к моде среди буржуазии на нас (как и на науку, как и на... мистику, как и на... интерес к экономике, к театру и т. д.) при полной атрофии интереса к самому генезису символистов и «символизма»?

Печальная тема: искание предлогов... к доносу (разумеется, не простому: ку-ль-тур-но-му!).

Да, но Брюсов — сын «купца».

На нем и остановлюсь.

Отец Брюсова — купец, разложенный, как «купец», стремлениями передовых людей своего времени: купец с надрывом;[64] все прочие «отцы» символистов — типичные интеллигенты; передовые стремления восьмидесятых годов — лаборатория символизма; отцы их доказывали эволюцию по Спенсеру и конституцию по Ковалевскому.

Где же тут мистицизм, наивная вера? На Соломоновых островах она была бы возможна; в недрах передовых московских кабинетов — нет уж, позвольте-с! Там не выкрикивали: «Верую в кошку серую!» Там по Герберту Спенсеру шили «спенсеры» (род одежды).

Останавливаюсь на первых годах Брюсова, ибо он — сын «купца»; и у них, вероятно, все — «по-купецки»; вот что пишет Валерий Брюсов: дед-крестьянин завел свое «дело»; но... писал басни, стихи, видел Пушкина, поэзией увлекаясь более, чем делом (не типично!);[65] отец-купец, тяготясь «делом», пытался бежать от него; это не удалось; и он — провалил «дело»; вот как об этом пишет Валерий Брюсов в «Из моей жизни»: «Подошли шестидесятые годы... Молодежь стала заниматься Писаревым» (стр. 10)[66]. «К этому времени относится основание моим отцом... какого-то самообразовательного кружка... Познакомившись с будущей женой, конечно, отец начал «развивать» ее» (там же)[67]. Брюсов пишет об отце: он — бывший нигилист и поклонник Писарева, после учиненного отроком В. Брюсовым безобразия, пишет ему, что — не стесняет его убеж-

дений; в данном случае купец-отец скорее напоминает мне мягкотелого Н. И. Стороженку, нежели «железную пяту».

Стиль не купецкий: горе-купец — отец Брюсова.

Ну, а «быт» будущего символиста, Брюсова?

«Игрушки у меня были только разумные... Родители мои очень низко ставили фантазию... Мне никогда не читали сказок... Я знал имя Дарвина и, будучи трех лет...— проповедовал на дворе... его учение... С детства меня приохотили к естественной истории... Любимейшим моим наслаждением было ходить в Зоологический сад...»[68]

Читатель,— чувствуете? Точно Брюсов рос в моей квартире. Совпадение — до смехоты; только: вместо Зоологического сада я уходил в свой зоологический атлас.

Но — далее.

«Очень меня утешали... научные развлечения Гастона Тиссандье...»[69] (А меня «птицы» Кайгородова и французская книжка для детей «Знаменитые жизни» — биографии знаменитых ученых); «страсть к систематизации довела меня до того, что я составлял таблицы своей выдуманной истории — хронологические и статистические...»[70] А я выдумывал свою мировую историю (об этом — ниже); «воспитание заложило во мне прочные основы материализма. Писарев, а за ним Конт и Спенсер... казались мне основами знаний»...* [71] А я, гимназистом, принялся за грызение «Логики» Милля[72], за «Историю индуктивных наук» Уэвеля и т. д.; воздух «квартир», как видите,— один; и мне дарили «разумные» игрушки, запрещали сказки; и я знал: человек — произошел от обезьяны; только я был ближе к штабу позитивистического очага; и оттого-то я знал и критику действительности этого «штаба»; картина знакомая; что издали почитают, то вблизи критикуют. Но в целом не схожие Брюсов и Белый пересекаются в атмосфере, в точке исхода: от позитивизма к символизму.

Случайна ли их встреча впоследствии? Разумеется — нет: они должны были встретиться.

Итак, в точке исхода еще пока — никакой «мистики»; пресловутая «мистика» в диалектике исхода из позитивистической «тезы»; она — антитеза; она начинается там, где преждевременно развитые, не в меру любознательные мальчики, Валя и Боря, вопреки их обстающему великолепию «основ» и биологии, и социологии, и психологии по Спенсеру, стали испытывать тоску, гнетущее чувство ощущения, что ты — «в подполье»; я спасался в музыку от

* Все выдержки «Из моей жизни», стр. 14—47.

картины профессорской квартиры, прочитанной, как иллюзия, долженствующая рассыпаться; поздней я говорил этой картине цитатой из Шопенгауэра: «Мир есть мое представление», что означало: «этот» мир, «такой» мир, ибо я волил иного мира, живого мира.

А вот что переживал Брюсов от семи до четырнадцати лет: «Играть со мною не любили... Я предпочитал играть один...» «У меня начинался бред, я вскакивал и кричал... Ночные припадки стали... повторяться так часто, что мама запретила мне читать страшные рассказы» («Из моей жизни», стр. 14—19)[73].

Опять — трогательное согласие; только: я «закричал» раньше Брюсова: пяти-шести лет; с первой встречи с Валерием Яковлевичем и эта тема, тема бреда, прошлась меж нами, потому что социальные корни ее — те же.

Брюсов пишет: «Я всего более боялся поступить не так, как следует» (стр. 21). И я! Я смимикрировал «Бореньку-дурачка»; Брюсов — «нахала»; это — уже различие в темпераменте.

Брюсов заявляет: «Я не умел вести себя... и мучился каждый миг. Много думайте раньше, чем подвергать своих детей унижению» (стр. 21—24)[74].

Присоединяюсь!

«Я не был приспособлен к мужскому обществу... Хуже были отношения с учениками... Позже, у меня нашелся... товарищ... это был предмет насмешек всего класса... Каждый урок немецкого языка сделался для меня ужасом... Многое из того, что другим дается шутя... стоило мне великой борьбы... Когда на меня смотрели слишком пристально, я терялся, горбился... Я привык наглостью скрывать врожденную робость...»[75] Так пишет Брюсов. Психология «гадкого» утенка — налицо в будущем поэте; а вот «Танечка» Куперник — та «лебеденочек»; воссочинит стишок — рев восторга!

Брюсов «дерзил»; я — до сроку тихо таился; зато я «взорал», да так, что раскрылись рты (это было в седьмом классе).

Так мы, две величины, разные в целеустремлениях, но равные в одной и той же третьей, в среде,— встретились: символистами.

Брюсов записывает в «Дневнике»: «Нет, нужен символизм» (март 1893 года)[76]. Через четыре дня он записывает: «Теперь я — декадент. А вот Сатин, Каменский, Ясюнинский и др... восхваляют символизм. Браво!» Записано в тот же год: «Весною я увлекался Спинозою. Всюду по-

явилась «этика», а Яковлев стал пантеистом» («Дневники», стр. 13)[77]. Или: «Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении... Кедрину показал теорему. Тот восхищался»[78].

Духовской, соклассник, пишет пародию о беседах ученика Брюсова с учителем математики Евгением Никаноровичем Кедриным (и моим учителем).

О диаметре и шаре
В нашем классе толковали —
Никанорович Евгений
Да Валерий Брюсов-гений[79].

Я подчеркиваю: в дни осознания себя символистом Брюсов увлекается математикой и изучает Спинозу. Подчеркиваю: в дни, когда я полон зоологических увлечений и изучаю томы зоолога Ива Делажа (энциклопедию томов!)[80], я усаживаюсь писать «Северную симфонию»[81], которую оканчиваю в эпоху занятия качественным анализом и увлечения «Основами химии» Менделеева;[82] а кончив «Мистическую», вторую «Симфонию», с головой ухожу в анализы: весовой и объемный.

Статочное ли это дело для «мистиков»!

Кстати, о брюсовских отметках в «Дневниках»; Брюсов кончал Поливановскую гимназию, когда я уже в ней учился;[83] и я помнил Брюсова-гимназиста; в своих воспоминаниях я приписал ему бороду, а у него были лишь усы; это — неважно; помнилась растительность на лице;[84] еще более — угри; более всего — свирепая угрюмость этого одиночки. А товарищей Брюсова по классу (Иноевса, Ясюнинского, Щербатова, Сатина) я более помню, чем Брюсова; Яковлев же оказывал мне, младшекласснику, покровительство; и мы с ним разгуливали по гимназическому залу, обнявшись.

Через три-четыре года я уже знал наизусть пародии на «декадентов» Вл. Соловьева;[85] мы их здесь же, в этом зале, прочитывали хором; а в последнем классе я, как и Брюсов, разгуливал с премрачным видом, проповедовал символизм, «мой» символизм, ибо основ символизма Брюсова в те дни не знал; и у меня уже были адепты; и я мог бы записать, как Брюсов: «Проповедую символизм, а Владимиров, Янчин, Готье — соглашаются»; учитель Бельский удивляется тому, что я читаю Канта («Пролегомены»);[86] ученик Сатин, младший брат товарища Брюсова, противополагает моей проповеди теории Рэскина, Писарева; с гимназистом Иковым же мы спорим о Белинском и Ту-

ган-Барановском; с «Никаноровичем Евгением» мы, правда, не толкуем о математике, а с отцом, математиком Бугаевым, толкуем об аритмологии; и он уже дает мне читать свои брошюрки с уверенностью, что я их пойму, ибо он не подозревает во всей своей научной простоте, что я мамкой ушибленный «мистик», каким я стал после тридцати лет всяческого опыта чтения и размышления — у папашиного «сынка», Николаши, моего сурового критика.

Пошли черт ему такой же вооруженности всякими знаниями и научными интересами, какие выпали на долю нам, «детям рубежа», еще с гимназических лет.

Я рисую двух восьмиклассников, хотя и отделенных семилетием, однако встретившихся до личной встречи где-то в подполье, из которого они потом вылезли; оба стоят при рубеже, в рубеж врублены, рубеж дорубают, чтобы стать в «деятелях» в начале столетия; оговариваюсь: я ничего не доказываю, ставя лишь образы быта и отношение к ним; а уже задача марксистского критика социологически осмыслить поданные факты.

4. МАЛЕНЬКИЙ БУДДИСТ

Мне остается немного дорассказать о периоде до гимназии; все, что я скажу, может заранее вывести читатель: что получится из загнанного семейной ситуацией ребенка, боящегося естественных проявлений и давно переросшего свой облик «бэби»?

Период от 5 до 8 лет едва ли не самый мрачный; все, мной подмеченное, как неладное, невероятно углубляется мной: углубляется драматизм отношений родителей друг к другу и ко мне; мне ясны страдания отца, не понимающего чего-то основного в матери; мне ясны страдания матери, не понимающей чего-то основного в отце; и это непонимание их друг друга и меня, их уже понимающего,— мучительный разъед деликатнейших вопросов совести; как мне жить и быть: с ними и с самим собой?

Мать, поступающая непроизвольно жестоко,— явно больна в этот период тяжелою формою истерии и болезнью чувствительных нервов (по уверению проф. Кожевникова); в силу условий воспитания (привычка повелевать, уверенность в себе) все болезненное в ней ненормально раздуто во внешних проявлениях; отец, умница, но безвольный в быту, в ней подчеркивает лишь ее эгоцентрические проявления; и оттого-то переход от уступчивости

к чтению матери «методически» правил о том, как себя вести с прислугою, гувернанткой, со мной, всегда — искра над пороховою бочкою.

В сотнях мелочей быта — растут ножницы мне: трагедия подстерегает из всякого угла, во всякую минуту; никогда не знаешь предлога к очередному «взрыву»; а каждый взрыв угрожает разъездом отца и матери; для меня же этот разъезд — конец миру, конец моего бытия.

В конце концов отец отбит от меня; мы не без испуга поглядываем друг на друга под контролем глаз матери; я же порю для ушей матери то, что мне кажется «невинным вздором»; отец не понимает моей игры в «младенца»; и удивляется моей недогадливости в «научных» вопросах; я же приобретаю мучительную привычку говорить глупости и не уметь в словах выразить своей мысли всериоз; эту привычку понес по годам я; с величайшим трудом стер с себя грим «дурачка» лишь в старших классах гимназии; нечего говорить о том, что выявления мои исказились; я ходил с испуганным, перекошенным лицом, вздрагивая и не зная, что делать с руками; я был под бременем своей незадачливости, уродливости и «вины», в которой не виноват; когда взрослые мной любовались, я приходил в ужас; мне казалось это издевательством.

В. И. Танеев, авторитет, при мне говорил матери в Демьянове:

— Ваш Боренька удивительно воспитан: откуда это в нем? Ни вы, ни Н. В. воспитывать не умеете... А у него — выдержка.

Не выдержка, а,— увы!— передержка.

Многие, знавшие студентом меня, не могли бы представить меня до шестнадцати — семнадцати лет; немой, косноязычный, не умеющий ответить на самые простые вопросы (от внутреннего «перемудра»), я выглядел дурачком для детей, знакомых, для гимназистов, товарищей по классу; что было передержкой в 1886 году, то к 1895 году было просто уродством, подобным насильственному пришиванию к лицу маски.

В 1887 году мне минуло семь лет, мать, убедившись, что я «отстал» и что «преждевременное развитие» с меня стерто, сама поняла, что меня пора учить грамоте, которую я забыл и которой я еще владел четырех лет; новый цикл мучений имеет место: обучение меня грамоте; именно потому, что обучала мать, выказавшая гениальную просто способность *не уметь обучать*, я не мог грамоты осилить

около полугода; урок чтения начинался трясом, продолжался слезами, кончался угоном меня.

— Пошел,— не могу с тобой заниматься.

Но и этот угон,— не разрешение: горе мне, если я раз пять не приду умолять, чтобы мать сменила гнев на милость и чтобы «урок» имел продолжение.

Мучение номер два: с этого же времени меня начали обучать музыке, которую я боготворил из постельки и которую едва не возненавидел у рояля, когда над пальцами моими гулял карандаш матери, ударяющий больно по пальцу, взявшему неверную ноту; и тут — тряс, слезы, угон; и — мольба о продолжении урока. С первого урока я был объявлен немузыкальным, лишенным художественного чутья; «второй математик», временно угасший от моих гримас «под дурачка», воскрес у рояля; кричалось, что все математики не понимают музыки; я — тоже; следовательно, я — второй математик.

День проходил под знаком двойного терзания: урок грамоты, урок музыки; я жаждал ночи, постельки, или вечера, когда отец уйдет в клуб, а мать — уедет в гости. Но наслажденье Бетховеном и Шопеном из постельки продолжалось. Засыпал я с тяжелым чувством перед завтрашним днем, который не мог принести ничего радостного; именно в эти годы я пережил четырехстишие Брюсова:

И ночи и дни примелькались,
Как дольние тени волхву...
В безжизненном мире живу:
Живыми лишь думы остались[87].

Никогда потом я не переживал такого пессимизма; позднее, играя в пессимизм шопенгауэровской системы, я лишь вспоминал этот период жизни; философия Шопенгауэра была мне скорее эстетическим феноменом воспоминаний о прошлом; потому-то я и говорю, что я «играл» в пессимизм, когда уже не был пессимистом; в описываемые годы мне было не до игры; ведь настоящего у меня не было; не было детства в детстве; от детскости оставалось лишь тяжелейшее сознание, что я продан, как раб, в неволю взрослым; а о будущем еще не было никаких мыслей: ни планов, ни заданий, ни надежд; лишь тяжелое ощущение энного ряда лет «учебы», которая началась таким ужасом, как обучение меня грамоте и музыке; я думал: если дома меня *так* учат, то что же будет в гимназии?

Провал с грамотой и с музыкой мною переживался, как окончательный провал моего «Я»; я — потрясающе глуп, бездарен; и мне не одолеть гимназии.

В эти именно годы суровость детского дня моего была так подавляюща, что я, музыкально подбирая мотивы моих дней, сравнил бы их с монотонностью гамм; и я... влюбился... в гаммы; с какою-то болезненной радостью я отдавался монотонным переливам: вперед-назад, вперед-назад, — без конца, без начала; ни мелодийки; сурово, однообразно, пустынно. Восприятие гамм и непроизвольная символизация их с днями моей жизни позднее отразились в «Симфонии»: «И эти песни были, как гаммы. Гаммы из невидимого мира. Вечно те же и те же, без начала и конца» («Симфония»)[88].

Я бы мог подставить вместо слова «гаммы»: дни пяти-шестилетнего Бореньки.

Весь этот период я провел с гувернантками; сперва жили немки; потом француженки; но они не умели уже меня оживить, как умела это сделать Раиса Ивановна. Генриэтта Мартыновна[89], страдавшая малокровием и немотою, как я, была скорей транспарантом, пропускающим сквозь себя нездоровость среды и атмосферы квартиры, чем экраном, заслоняющим от них; ее молчание, ее неумение меня отвлечь и заставило меня преждевременно выползать в гостиную и собирать наблюдения об отношениях взрослых друг к другу; ни разговора, ни игры, ни просто конкретно выраженной ласки: бледная немощь всех проявлений! Фрейляйн Ноккерт[90], с растительностью на подбородке, была иная: пребезобразная, но преуютная; она поставила на вид, что все же надо мне читать хорошие книги для детей; и мне зачитали Андерсена и Гримма.

Так сказка вернулась под флагом: «Хорошей книги для детей».

Осенью и зимой 1886 года мне был прочитан вслух весь Андерсен; моей любимой фигурой оказалась «ведьма»;[91] о «ведьмах» так уютно рассказывала мне Ноккерт; выходило: ведьма — прелестнейшее существо, несмотря на уродство лица и козлиную бородку. Я разглядывал: ведь бородка-то такая была и у Ноккерт; и она безобразна, как ведьма: не ведьма ли она?

Но тут случилось несчастье: в начале 1887 года Ноккерт надела свое ново-сшитое, гелиотроповое платье, о котором мы с ней мечтали; и в этот же день, в новом платье, поссорившись с матерью, покинула наш дом; и уютный мир «ведьм», мне блеснувший, как солнечный луч, был потушен, потому что Кениг и Беккер[92], бледно мелькнув, бледно исчезли, не нарушив сурового перемогания дней.

Через несколько лет, уже будучи студентом, я увидел однажды на Смоленском рынке пребезобразнейшую старушонку, весьма бедно одетую, с длинной, седою, козлиной бородкою; я подумал:

«Где это я видел ее?»

Посмотрел в спину: спина исчезла в толпе; и тут только вспомнил:

«Да ведь это — Ноккерт!»

Я бросился ей вслед, чтобы, остановив, принести горячую благодарность за «ведьм», так скрасивших бытие мое: но она исчезла в толпе.

При нашем режиме гувернантки не могли пустить корня; они, быстро усвоив драматический темп течения дней у нас, блекли и ходили подавленные; и я слышал от всех: одно и то же:

— Мсье,— удивительный: добрейший, умнейший... Но — мадам...

А «мадам», мама, зная эти толки о ней, лишь углубляла свою болезненную истерику; и гувернантка, сторонница «мсье», скоро стала личным врагом матери, какая бы она ни была; если это была немка,— говорились обидности по адресу Германии; если француженка,— французский народ становился ареною едкостей, и ему противопоставлялись немцы. Отец защищал «мучениц», подливая лишь масло в огонь, и потом — бежал в клуб.

Оно и понятно!

А гувернантке и мне бежать было некуда; и гувернантки не могли повлиять на меня; скорее я мог влиять на них своим перепуганным видом.

Потом появились француженки;[93] эти были, пожалуй, менее удачны, чем немки; мадемуазель Мари[94], пиитически настроенная, суровая швейцарка, учила меня читать и писать по-французски, кричала, топала; в результате же я перепугался. И получил пощечины за неверное чтение, пока прислуга, сжалившись надо мной, не рассказала матери о побоях, наносимых мне (я ж — не умел жаловаться); мадемуазель Мари попросили уйти; мадам Тереза[95], сморщенная седая старуха, на мои совершенно невинные глазения на нее, когда она одевалась (ведь я же привык видеть дам и барышень в дезабилье), делала мне замечание:

— Когда женщина одевается, мужчина не смотрит.

Я же ничего не понимал: да разве я «*мужчина*»? Она распевала со мною в Демьянове:

О клэре де ла люне
Мон ами Пьеро...[96]

И мы пели о Мальбруке...[97]

Вдруг открылись: ее подозрительные связи с какою-то воровскою шайкою; она — исчезла.

После нее мадам Фюмишон[98], толстая старуха, впавшая в манию, не обращала на меня никакого внимания, все гадая на какого-то помещика, в которого она была влюблена (и он — в нее): фигурировала в ее рассказах злая «разлучница», мать помещика. Раз она приказала мне:

— Играйте вслух.

Я заиграл вслух: то есть я выборматывал какие-то глупости по-французски, расставив солдатиков; на самом же деле я играл под «игрой вслух» в другую, свою, замысловатейшую игру.

Мадам Фюмишон скоро исчезла.

Я же продолжал врастать в свои чисто буддийские переживания Нирваны и даже не заметил исчезновения мадам Фюмишон; прежде исчезновения эти переживались драматически: исчезновения няни, Раисы Ивановны, Нокперт; теперь я уже понимал, что все — «суета сует и всяческая суета»[99].

За этот период огромным событием было мне подслушивание чтения взрослыми «Призраков» Тургенева;[100] я ничего не понимал, кроме одного: прекрасно; а что прекрасно,— не понимал; когда кончили, я — в рев:

— Еще, еще, еще,— читайте!

Не понимая сюжета «Призраков», я понял ритм образов, метафоры; понял, что это — как музыка, а музыка мне была математикою души; так же я еще ранее понимал стихи Эйхендорфа, Гейне и Гете; то есть феномен искусства понятен был мне; вернувшись позднее уже к «Призракам», я не понимал, что же меня, ребенка, в них восхитило; они разыгрались во мне с невероятною силою, с нетургеневской силою; именно «Призраки» Тургенева мне особенно чужды теперь; может быть, в этом отчуждении есть досада, что они, пленив младенца, разочаровали юношу; так же пленяли меня «Сказки Кота-Мурлыки»[101]; и так же я был обижен позднее, что они не соответствуют воспоминанию о них.

В детстве я понимал, не понимая сюжета; и даже неясно понимал, что сюжет, смысл (рассудочный) нужен для понимания; лозунг Верлэна, требующий музыки слов,— самоочевидность младенчества моего, а не лозунг сноба-эстета; я и до сих пор не понимаю, когда не понимают феномена художественности; ведь понимают же этот феномен в чистых звуках: разве нужен сюжет для сонаты Бет-

ховена? Мне нет дела до того, что Бетховеном примышлено к музыкальной теме: она — понятна, когда она — действует, волнует сердца.

Я и до сих пор в процессе творчества не думаю о сюжете, все усилия направляя к выявлению своих критериев художественности: понятно, когда волнует, как музыка; и «непонятно», если пересказ, отняв музыку, становится слишком ясен, обидно ясен! Стоит только отдаться художеству, и — недопонятое рассудком, понятно сердцу.

Ведь не относятся же к звукам рояля, как к настукиванию костяшками счета цифр:

— На сколько у вас тут настукано?

— На двадцать пять рублей!

— Ага,— теперь понятно!

А вот музыка — стучит, стучит, заставляет и сердце стучать, и пульс, а непонятно, на сколько она настучала: на тысячи или на медный грош.

Вероятно,— на медный грош!

Замечательно: когда потом я читал трактат Ганслика «О прекрасном в музыке»[102], то я нашел в нем ощущения детства отвлеченно оформленными.

Вовсе другое, но такое же сильное впечатление на меня произвел «Давид Копперфильд» Диккенса, первый роман, прослушанный при чтении его вслух мамой, прекрасной чтицей;[103] вскоре потом мне читали «Пиквика»;[104] с той поры Диккенс — мое перманентное чтение, и теперь я читаю Диккенса; в последний раз я читал «Давида Копперфильда» в 1927 году; первый раз прослушал в 1887-м: сорок лет читаю этот бессмертный роман; и в каждом повторном чтении открываются новые и не усвоенные оттенки; на этом чтении еще раз видишь, что в художественных произведениях «что», или смысловая тенденция, не более одной десятой полного смысла; девять десятых лежат в «как» выполнения; знаешь как свои пять пальцев фабулу Копперфильда; и снова путешествуешь по изученным пространствам романа; художественные произведения, как красоты природы: последние мало просмотреть; надо около них набраться сил; знаешь горы Кавказа; тем с большею радостью к ним влечешься; меня ужасает забота о количестве художественных продукций; вся суть в качестве; три романа Диккенса значат больше, чем триста романов с пониженным качеством.

С семи лет мне зачитали серию книг из пресловутой «Библиотэк роз» (по-французски);[105] а потом я сам уже

зачитал: для себя. Иные из произведений Сегюр[106] меня заставляли рассказывать почти назубок для упражнения в стиле языка; но я вынес немного из этого чтения; любопытно: французской грамотой я овладел с необыкновенной легкостью; тому причина: не мать учила меня, а гувернантка; перед матерью-преподавательницей я испытывал тем больший ужас, чем большую любовь испытывал к материчтице; высшим наслаждением мне было ее чтение вслух, ее ярко художественные рассказы, воспоминания ее детства, об ее впечатлениях жизни в Петербурге и о певце Фигнере, которого я стал заочным поклонником; однажды даже я заявил всем:

— Ухожу от вас!

— Куда, Боренька?

— К Фигнеру, в Петербург.

Мать впоследствии передала это Фигнеру, и он ответил через нее, что всегда рад меня встретить; мать каждую зиму уезжала месяца на полтора в Петербург к подруге, вышедшей замуж за оперного певца, А. Я. Чернова. И тогда в доме наступала тишина; но и делалось скучно; мать вносила в нашу жизнь тревоги и бури; но выдавались дни, когда настроение ее прояснялось; и она принималась меня баловать, играть и шалить со мной; мои шалости были нервно порывисты; я, собственно говоря, не умел шалить; увидав балет в Большом театре, я начал подражать танцорам и танцоркам, и в этом подражании изживал потребность к движению.

Вообще же шалости мои были невинны; у меня не было злых намерений: подкузьмить, подвести, как у Коли Стороженко; меня можно было смело оставить одного; ничего бы не произошло: игры мои были тихи, задумчивы; они более были головными играми, чем играми мускульными; кипело воображение; а на внешний вид я играл чинно.

У меня не было и ненавистей ни к кому; я едко критиковал многих: но не нападал активно, а скорей с горечью отходил от того, что мне не нравилось; более я боялся, чем не любил; не любил определенно я крестную мать, М. И. Лясковскую, Янжула, да двух-трех профессорш.

К этому времени[107] мне было прислугою внушено, что Маруся Стороженко — моя невеста; я поверил этому: и убедил себя, что в Марусю влюблен; даже сообщил это Марусе; в этом сообщении было много наивного; а в игре в любовь этой все было легко, певуче и чисто; стороженковская няня — Катя, да и все в доме у Стороженок были

посвящены в эту детскую игру между нами; в ответ на мое заявление о том, что я Марусин жених, Маруся ответила мне, что ее жених не я, а Ледя Сизов (сын В. И. Сизова, заведующего Историческим музеем).

Тем дело и ограничилось.

Детское общество я узнал только чрез Стороженок; когда меня приводили к ним, я у них встречался с сыновьями Якушкина, К. П. Христофоровой, с Ледей Сизовым, с Женей Иванюковой и с Варей Кабановой; вообще же дети играли малую роль в моем детстве; чаще всего: я боялся детей; особенно я детей боялся в Демьянове; там я был самый младший; мне в удел доставалась Вера Владыкина, самоуверенная девчонка, прибиравшая меня к рукам; я был, так сказать, приперт к ней; демьяновские дети ее ненавидели за строптивый нрав; а меня угрожали убить и оскальпировать (из-за длинных волос); особенно неумолима была бедовая четверка пританеевских мальчиков, состоявшая из Павлуши Танеева, Миши Бармина, Жени и Лели Бутлеров (все — старше меня года на два, на четыре, а то и больше); двойственный Вася Перфильев, когда ссорился с Танеевыми, то появлялся около нас с Верой; стоило его поманить, и он, мгновенно делаясь ирокезом, так же, как и прочие, начинал ползать за мной по кустам; высшей мечтой моей было попасть в индейцы к старшим мальчикам, но мне заявлялось, что, во-первых, меня нельзя брать в игру из-за длинных волос; во-вторых: если я стану индейцем, то за кем же они будут ползать и кому угрожать? С Верой Владыкиной — шутки плохи: она подымет скандал на весь демьяновский парк.

Я не очень тянулся к Вере; Вера, бойкотируемая за нрав, сама заводилась около меня; я ей был удобен, потому что я подчинялся; подчинялся же я потому, что, подчиняясь, вовсе не играл в то, что мне навязывалось другими, играя про себя; но в тот период я так свыкся с положением своей зависимости, что ниоткуда не ждал сносного отношения к себе; покорность моя от продуманного до конца знания: *в этом мире нет свободы;* передо мною отовсюду выступала слепая воля, то под формою материнской власти, то под формою власти среды, то под формою временного и сравнительно удобоносимого летнего ига Веры Владыкиной; вот еще повод, почему поздней я клюнул на раздвоение Шопенгауэра: «Мир, как воля и представление». «Мир есть мое представление»,— говорило детское «Я», сжимаясь в точку постельки: выход из постельки

означал: ты вступил в царство слепой, нутряной, животной воли; здесь не жди целесообразности: здесь царство бессмыслия, царство слез и обид.

Вот основные линии моего бытия до восьми лет; они скудны; на все я смотрю из-под флера скуки; ни о каких надеждах не может быть речи: день пережить — да и в сон!

Когда мне минуло восемь лет, отчасти был снят карантин с отца; и он был подпущен ко мне в качестве преподавателя основ арифметики и грамматики, но только отчасти: наступал болезненный припадок у матери,— и она, забыв о разрешении отцу меня учить, а мне — у отца учиться, подымала прежние гонения на «преждевременное развитие». В этих условиях было мне пыткой готовить уроки отцу; и я забирался в темные уголки, чтобы не попасться на глаза с грамматикой Тихомирова[108] или с арифметикой Бугаева; учил уроки я кое-как, с оглядкой, со страхом; кроме того: я не мог усвоить абстрактных определений «предложения», «существительного», «прилагательного»; в конкретном разборе я во всех этих категориях разбирался; но я не понимал схоластики отвлеченного определения; мой опыт с учением мне показал, что детей надо знакомить с абстракцией гораздо позднее; после пятнадцати лет я сразу получил вкус к строго логическому ходу мысли; и шел первым по логике; логизирование в моих ученических сочинениях удивляло учителей; но до пятнадцати лет я был необыкновенно туп для всего абстрактного и живо умен во всем конкретном. Как тринадцатилетним я не мог понять тонкостей в различении *генетивуса субъективуса от генетивуса объективуса*, хотя и твердил: «Амор деи — любовь бога, любовь к богу», так точно девятилетним я ломал голову над утонченностями абстрактных определений, а отец требовал от меня именно четкости в формулах; по утрам он не раз кричал на меня:

— Как же это ты, Боренька? Эхма, голубчик!

В ответ на что поднимался голос из комнаты матери:

— Не смей учить!

Или:

— А, математике учишься, а музыке — не хочешь учиться?

Уж какое учение тут!

Опыты этих уроков с отцом лишь углубили уверенность во мне: я — бездарен; наука — не для меня; особенно мучила двусмыслица моего положения: формальное непрепятствие отцу меня учить при реальном запрещении

мне сидеть с учебником; отец, не посвященный в трудности мне ему приготовить урок, опять-таки: требовал знания на «пять с плюсом»; я же, дрожа пред «историями» между отцом и матерью, должен был скрывать от него трудности приготовления ему уроков.

В опыте этой зависимости от ненормально создавшихся отношений между двумя по существу прекрасными людьми я получил опыт своего пролетарского бытия; кем был я? Рабом прихотей и отвлеченных абстракций, делавших различные эксперименты над живой моей жизнью; я видел свою зависимость; я ее критиковал, а избавиться от нее я не мог; поэтому очень рано я всею душой понял прислугу в нашем доме; ее положение было всего понятнее мне; но она имела возможность избавиться от ига нашего дома; не раз слышал я:

— Барыня, пожалуйте мне расчет!

А я,— разве я мог сказать:

— Папа и мама, пожалуйте мне расчет?

Прислуга переживала рабство в условиях девятнадцатого столетия; я в ряде отношений переживал древнюю форму рабства: политического бесправия и проданности в «рабы»; мое позднейшее сочувствие пролетариату коренится в воспоминании о своей жизни от пяти до одиннадцати лет.

Считаю поступление в гимназию началом ликвидации рабства; с той поры, как функции воспитателей перешли к педагогическому совету Поливановской гимназии, «воспитанник Бугаев» уже получил некоторые права.

К этому времени относятся первые, полуосознанные переживания пола на почве моего купания и мытья в бане с дамами; когда меня мыли в бане молоденькие горничные, мне делалось неловко от смутных вздрогов пола во мне;[109] я считаю, что после девяти лет не гигиенично мальчикам купаться с «дамами», а меня заставляли проделывать это до двенадцати лет.

5. ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА

В 1889 году я с наслаждением прослушал «Князя Серебряного»[110] и с наслаждением коснулся песен «Оссиана»;[111] и весной же этого года наступило радостное событие, чреватое будущим: около меня появилась мадемуазель Белла Радэн (по отцу — француженка, по матери — немка); она прожила четыре года, доведя до второго класса

гимназии; она стала «другом» впервые; до нее — не было «друзей»; кабы не она, чем бы я стал?[112]

Мадемуазель Белла не соответствовала своему имени; наружностью она была не «Беллой», а «Бэтой»;[113] но умные, серые, понимающие меня без слов глаза ее были дороже мне всех красот; они теплились: сериозной любовью, сериозной сознательностью, на меня обращенной; из всех гувернанток она-то и была: «педагог». До нее я рос заброшенным; гувернантки учили меня подшаркам и тому, как сидеть за столом и держать ножик с вилкою; «мадемуазель» (так я ее называл) прочитала сериозную драму маленького «человечка» и протянула ему, как взрослому, руку помощи; с ней я забыл, что я «маленький»; и оттого-то лишь с ней я был *маленьким* (без кавычек); с ней с одной не ломался я; в нашем с ней забвении о всяких воспитательных критериях, в ее постоянном подчеркивании мне, что я и сам все понимаю, и заключалось мое спасение; она начала расколдовывать мою душу, оцепеневшую ненормально; как улитка, годами таился я в своей скорлупе; когда мы оставались вдвоем, то «улитка» выползала из раковины.

Сколько ее споров я выслушал с иными из глупых «взрослых», при мне ей объяснявших, какой я отсталый ребенок; с каким негодованием, почти с мукою она давала глазами понять, что при мне таких разговоров вести нельзя; она схватывала меня, прижимала к себе и, гладя по голове, бросала непрошеному психологу:

— Оставьте, он — все понимает... Вы вот не понимаете ничего!

И потом она успокаивала меня:

— Не верьте, Бобинька, глупым людям.

Она обращалась ко мне на «вы»; называла же меня Бобинькой и «мон ами»;[114] ум ее сказывался в том, что она не замазывала мне бестактных слов обо мне; она одна знала, что такое замазывание и беспроко, и вредно, что я все вижу; и лучше критиковать действительность нам вдвоем, чем мне забиваться в мое подполье.

Но, наблюдая мои нервные гримасы на людях, она не выдерживала, и, когда мы оставались вдвоем, она упрекала меня:

— Я вас не понимаю: для чего вы ломаетесь? Вы делаете все, чтобы о вас подумали с самой худшей стороны. Зачем это ломанье под «дурачка»; вы — совсем другое.

Увы, ей не было до конца ясно, что без «под дурачка» мне никогда нельзя было прожить: «под дурачка» — водо-

лазный колокол, надев который, я утопал в океане невнятицы; потом колокол стал привычкой; привычка ко времени появления мадемуазель уже вогналась в инстинкт; с инстинктами трудно бороться.

С первого нашего лета в Демьянове мы прочно задружили; летнее иго Веры Владыкиной превратилось во влюбление Веры в умную мадемуазель, взявшую Веру под свое покровительство и заставившую ее считаться со мной; по отношению же к меня истязавшим мальчуганам она взяла иной курс; она вошла с ними в дипломатические сношения и выработала конституцию моих игр с «индейцами»; я, благодаря мадемуазель, был принят в компанию мальчиков.

Расширились мои социальные связи; и углубилось индивидуальное общение со старшим «другом».

С мадемуазель мы игрывали вдвоем; она была не прочь и порезвиться, но в меру; но центр общения — доверие, которое она мне оказывала; она редко следила за мной; она мне объясняла, что *так*, что *не так*; и, объяснив, отпускала на все четыре стороны; и я ценил это доверие; я боялся его нарушить.

С ней начинаются упоительные чтения вслух романов Жюль Верна, Майн Рида и Купера: по-французски; и это чтение длится из года в год; она всегда озабочена выбором новой книги; почти не давая уроков мне, она вводит меня в миры путешествий, знакомит с географией и этнографией, добивается, чтобы мне купили географический атлас, заинтересовывает коллекцией иностранных марок; «Хижина дяди Тома»[115], де-Амичис[116], биографии ученых, чего только мы не перечитали с ней; с ней я впервые прикоснулся к культуре; главное: формальные уроки она сводит к минимуму; мать, видя, что я не сижу, уткнув нос в учебник, доверяется ей; и не преследует «преждевременным» развитием; при мадемуазель я начинаю много бегать и лазить по деревьям; из меня вырабатывается великолепный лазун; и вдруг обнаруживается подлинная гимнастическая ловкость, предмет удивленья мальчишек; она добивается того, что по воскресеньям нас с ней отпускают в немецкое гимнастическое общество; и я два года, еще до гимназии, и марширую, и прыгаю, и упражняюсь на «барах» (впоследствии, отроком, я щеголял различными фокусами на трапеции, быстротой бега, высотою прыжка, умением ходить с зажженной лампой на голове и взлезать на четыре поставленных друг на друга стула).

Толчок ко всему этому — мадемуазель.

С осени 1889 года передо мной углубляется собственный мир, мир дремучих лесов; я, Кожаный Чулок *, испытываю невероятные приключения в лесах, около озера Онтарио вместе с моим другом, делаваром Чинганхуком;[118] леса — комнаты нашей квартиры в часы, когда родителей нет дома; это часы от двух до пяти; мать — на Кузнецком; отец — в университете; все комнаты — в нашем распоряжении; моя игра разрастается, захватывая за днем день; и уже — не оканчивается; я всегда озабочен сочинением фабулы происшествий в «американских лесах» (нашей квартиры); где я? Что делаю? Кого выслеживаю? Какие козни строит против меня Магуа, Остроглазая лисица **? Мне кажется, в этой игре, в продумывании ее фабулы и началась та линия, которая в будущем вытянулась в писательство; в этот сезон я упражняюсь в сюжете и в приурочивании предметов комнатного обихода к предметам ландшафта лесной природы; дверь детской, на которую я выучился взлезать и сидеть часами верхом на ней,— скала, высоко приподнятая над лесными чащами; и недоступная врагу; лишь сидя на ней, я в безопасности: опустись в леса,— там рыщут гуроны, враги мои. Взобравшись на дверь, я часами задумчиво выглубляю фабулу своей игры; в ней вырастала необходимость: переработать всю обстановку комнат; каждая — многоверстный район, которого топография мне известна; самое дремучее место леса — гостиная; зеркало — падающий водопад; красный комод — гранитная гора. У меня множество заданий: все мелочи событий квартиры переложить в игру; скажем — звонок: в передней появляется Леонид Кузьмич Лахтин; тотчас же возникает вопрос: что это значит? Ага — посол от гуронов: ухо держи востро! Если это профессор Алексей Петрович Павлов, то — союзник: делавар.

Сидя верхом на двери и ногами раскачивая ее, я учитываю создавшееся положение; и принимаю решение; потом уж спускаюсь в лес. У меня впечатление: сезон 1889 года я просидел на двери в думах о сюжете; отец, мать, близкие так привыкли меня видеть сидящим верхом на двери, что и не делали замечаний; дверь — мое кресло.

Эта игра — упоительна; вообще: жизнь начинает мне улыбаться; умная мадемуазель — друг дома, своя; и отец, и мать, поручив меня ей всецело, уже не ссорятся из-за меня.

---

* Название героя серии романов Купера [117].

** Тоже личность из романов Купера [119].

А учиться с мадемуазель — одно восхищение; это же — игра, а не ученье; и здесь все мне дается легко; я сперва отыскиваю на карте Северной Америки область озер, где «он» бродит («он» — субъект игры); потом — заинтересовываюсь уже всею Америкой; потом интересует меня, как попасть в Россию; и я — в России; незаметно земной шар мною изучен; и мы с мадемуазель загадываем ряд кругосветных путешествий. Вслед за физической географией заинтересовываюсь я и политической; государства, народонаселение, столицы, количество жителей, армия и флот — все входит в сферу моих интересов; но я ничего механически не заучиваю, а стараюсь узнанное ввести в игру; и в упражнениях над расширением сюжета игры я овладеваю фактами.

В середине зимы меня везут в Малый театр, везут на детскую елку в Благородное собрание; я встречаю новый год шампанским; тут отец заболевает ревматизмом, и омрачается быт нашей квартиры; но болезнь благополучно заканчивается.

Конец зимы окрашен мне чтением арабских сказок; и чтением ряда мифологических книг (для детей); некоторое время я переполнен событиями греческой мифологии, опять-таки овладевая ими в играх; я разыгрываю миф о Язоне, об аргонавтах, о Персее; с особенным вдохновением совершаю я двенадцать подвигов Геракла.

Над всеми играми — добрый их гений-покровитель: мадемуазель.

Весной отца назначают председателем экзаменационной комиссии в Одессу; после Одессы родители собираются на все лето в Крым; Демьяново — ликвидировано; меня же с мадемуазель решают завезти в Городищи, под Киевом, к племяннице отца Ф**[120].

Мое первое путешествие (Москва — Киев) волнует меня: я липну к окнам вагона, вбирая в себя смену климата и удивляясь белым хаткам Украины; в Конотопе к нам в отделение входит седой, веселый высокий старик с взъерошенными волосами и седой бородой; увидев отца, он делает необыкновенные, театральные жесты:

— А, Николай Васильевич!

Между отцом и ним завязывается веселый, живой разговор; старик шутит, громко смеется, с театральными жестами откидывается; и, кажется, декламирует что-то.

Старик мне очень нравится; время с ним летит незаметно; я узнаю, что это писатель Григорович.

Он скоро сошел, не доезжая до Киева.

Когда потом я увидел Григоровича на портрете, то я сразу узнал его; он запомнился мне точь-в-точь таким, каким изображают его.

Киев меня поражает горами, Лаврой, садами при домах; и — кучей родных (четыре тети); у каждой — дети от взрослых до почти моего возраста; это все двоюродные сестры и братья; и я усиленно бываю у тетей; все время проходит в знакомстве с родственниками; мадемуазель я почти и не вижу; она проводит все время со своими родителями, живущими в Киеве; я поражен изяществом ее брата, мсье Жозефа, служащего в каком-то банке; он производит впечатление красотой, светскостью, умением очаровывать; впоследствии он стал одним из директоров «Креди Лионэ»[121], сделав в Париже большую карьеру; и я слышу, что сестра мадемуазель, мадемуазель Сесиль,— гувернантка у детей известного киевского адвоката Куперника; я слышу о девочках Куперник, о каких-то несчастиях их семейного положения; но все это — смутно: внимание мое перевлечено на родственников; мне очень нравятся веселые и относительно молодые тети: тетя Саша и тетя Анюта, с которой дружит мать; удивляюсь седой и почтенной тете Марианне Арабажиной; и стареющей, строгой, красивой тете Варе Кистяковской; поражает красивый чернобородый двоюродный брат, уже доктор, Александр Федорович Кистяковский; и красивый, элегантный, оставленный при университете двоюродный брат Костя (позднее профессор К. И. Арабажин); нравится и его сестра, красивая и веселая Милочка, которая возится с нами, с ребятами (будущая жена профессора Перетца).

Киев прошел, как сон, в играх в саду у тети Кистяковской и в саду у тети Саши Ильяшенко; и мне не хочется вырываться из этого веселого общества в незнакомые Городищи, где нас ждут.

Мы-таки приезжаем туда.

Муж двоюродной сестры там главный управляющий двенадцати экономий, составляющих 60 000 десятин *одного лишь* имения Балашова; у Балашова несколько таких имений; главноуправляющий всех управляющих живет в Петербурге, отсюда совершая объезды по губерниям балашовского «государства»; а Балашов, кажется, живет за границей.

Сразу же не понравилось в Городищах мне; не понравился грубый, циничный Ф**, муж моей тоже двоюродной сестры; эта «сестра» по возрасту — тетя мне; она — сухая,



Н. В. Бугаев. 1870-е гг.



А. Д. Бугаева. Около 1880 г.



Уголок комнаты, где родился А. Белый. Сидят слева направо: Е. Ф. Егорова, бабка поэта, и А. Д. Бугаева.





«Кормилица Афимья Ивановна Лаврова, мой друг, участник детских игр. Ей первой читал свои стихи». Надпись А. Белого на обороте фотографии.

А. Белый. 1885.



Военно-Грузинская дорога.





Р. И. Раппопорт, гувернантка А. Белого.

А. Белый. Около 1890 г.



Крещатик. 1910-е гг.



Флигель в имении «Дедово» Коваленских и Соловьевых. 1890. Акварель.



А. Белый. 1887—1888.





А. Д. Бугаева. 1880.

А. Д. Бугаева. 1904.

А. Белый в кругу семьи (слева стоит А. Д. Бугаева) в имении «Серебряный колодезь». 1904.





А. Белый — гимназист. 1895.



Л. И. Поливанов. 1890-е гг.



Г. В. Бугаев,
дядя А. Белого.



Библиотека Танеевых в с. Демьянове. На лесенке стоит В. И. Танеев.



К. И. Арабажин.



Н. И. Стороженко.



Чертольский пер. в Москве (б. Царицынский).





С. А. Усов.
Внизу автограф А. Белого.

С. А. Усов.



Пречистенка. 7 марта 1913 г.



М. А. Мензбир.



М. М. Ковалевский. 1889.



Вид Московского Кремля. 1890-е гг.



Н. В. Склифосовский.



Зоологический Музей. Москва. 1890—1900-е гг.



Надпись А. Белого на фотографии: «Доктор Белоголовый, друг дедушки со стороны матери».



Московская консерватория.



Д. Н. Анучин.



Новодевичий монастырь.



Б. Н. Чичерин.

Ф. Н. Плевако.





А. Н. Веселовский.



Суворовский бульвар, 7. Фото В. Дрибинского.



К. А. Тимирязев.

Кремль. Спасская башня.



Мадемуазель — в ужасе:

— Что вы делаете? Зачем вы лжете?

— Видите,— с торжеством демонстрировал меня гостям «мужлан» Ф**; мадемуазель люто его ненавидела — из-за меня; она писала отцу о том, что пребывание нас в Городищах оскорбительно: и для меня, и для отца; в ответ на что получилось письмо, чтобы мы немедленно ехали в Москву, но что по дороге мы можем заехать на дачу к Куперникам и провести несколько дней с мадемуазель Сесиль (это в ответ на просьбу мадемуазель).

Я был вне себя от восторга; я и потом не мог простить Ф** циничного издевательства над беззащитным младенцем; и уже в бытность «Андреем Белым», изредка натыкаясь в Петербурге на членов семейства Ф**, не откликался на приглашения бывать у них в доме,— в том доме, глава которого меня оплевал ни за что ни про что, когда я был беззащитен и мал.

По дороге в Москву мы очутились в Боярках на даче Куперник;[126] помнится, что родителей не было там (сам Куперник, кажется, был в Одессе); помнится какая-то взрослая Геня, да мадемуазель Сесиль; и помнится кроткая, хорошенькая девочка, Асенька; мне было весело, но я мало обращал внимания на обитателей дачи (им было не до меня: в доме была своя драма); среди подростков появлялась и барышня в голубом платье, некрасивая, печальная, с грустными, умными глазами; и ее называли Таней; о Тане много разговаривали мадемуазель Белла с мадемуазель Сесиль; в «Днях моей жизни» Т. Л. Щепкиной-Куперник я не мог найти признаков точного ее пребывания на даче в Боярках именно в дни нашей жизни там (около недели); вместе с тем: в июле 1890 года Т. Л. должна была быть именно на этой даче; из этого заключаю, что «Таня» в голубом платье и была будущей писательницей; она описывает переселение свое с дачи на месяц поздней нашего посещения[127].

Неделя, проведенная в Боярках, после унылых Городищ, принесла радость; хорошо было слоняться в лесах и брать приступом дачный забор,— неприступную крепость (в моем воображении); здесь мне открылось, что грядки подсолнечников, поля подсолнечников — полки и корпуса армии, которой я стал командовать; в Городищах прочел я историю последней Турецкой войны и узнал о победах Скобелева; Скобелев — это «я» же, а Боярки — театр военных действий; неделя, проведенная здесь, превратилась в ряд блистательных, грандиозных побед; мне

было не до обитателей дачи Куперник, не до Асеньки даже, когда с утра я объезжал корпуса, днем дирижировал битвами, уже охватившими район Боярок, а не только дачи; к вечеру собирался военный совет и решал события следующего дня; и, засыпая, додумывал я события игры, по-своему переиначивая историю; ко времени отъезда наши войска стояли уже под Константинополем; я возвращался в Москву, покрытый лаврами, во главе всей армии, которой командовал.

Вставал вопрос, как совместить историю моих американских приключений с новою ролью; я не мог просто бросить свой миф; предстояло: связать оба мифа... И я сочинил биографию: в молодости «он» («я» — второе) вел жизнь траппера[128] в американских лесах; а, вернувшись в Россию, «он» стал служить в армии (ко времени войны); ряд успехов поставил его во главе войск; возвращался «он» в июле 1890 года в Россию великим деятелем; да, но — история? Тут-то начинается пересочиненье истории, чтобы она соответствовала игре; обнаружилось: я и не Скобелев: не было еще такого; не было «такой» России до осени 1890 года; скоро понадобились сведения о России для пересочинения истории на мой лад; через год уже я читал календарь Суворина, изучая статистику, структуру государственных учреждений, состав «двора» и главы, посвященные армии и флоту (мои ближайшие функции); и с той поры в ряде лет зимами разрабатывал я план летней кампании; летом вспыхивала война: осенью ж я возвращался в Россию, увенчанный победами.

Первый мой триумфальный въезд сквозь Кремль (с Курского вокзала) был в июле 1890 года; когда мы въехали в Спасские ворота, то грянул залп из орудий (под воротами гремели камни пролетки).

Период перманентной игры обнимает десятилетие; она — вторая действительность; в ней мальчик — «герой»: установление связей между отдельными моментами нескончаемого сюжета, имеющего своей сферой историю, вырабатывает во мне и контроль мыслей и инициативу, которая вылезает в жизнь зрелой позднее уже, а поверхностному наблюдателю предоставляется созерцать тихого и недалекого мальчика; миф Ф** о моем идиотизме имеет в видимости прочные корни; мадемуазель знает, что это не так.

Возвращаюсь к игре, чтобы, покончив с ней, к ней не возвращаться; она длилась до времени сериозного изучения Шопенгауэра, Милля и символистов; попутно, озна-

комляясь с «героями» истории, я их обирал, перелагая на свой лад; «он», выросший из Кожаного Чулка плюс Скобелева, скоро включил и Суворова; путешествие в Париж в 1896 году было взятием «им» Парижа (перефасоненная история 1812—1814 годов, но приуроченная к 1896 году); ранее, узнавши о подвигах Юлия Цезаря и речах сенатора Цицерона, я обобрал и Цезаря и Цицерона; но римский Сенат изменился: не Сенат, а парламент возник; «он» вырвал его у правительства; надо же было объяснить себе ежедневное посещение гимназии: «он» ежедневно ходит в Сенат и не урок отвечает с парты, а речь произносит; с 1895 года «он» быстро левеет; продлись игра несколько лет, «он» выступил бы в роли возглавителя революции, но «он» угас раньше: в эпоху моего интереса к буддизму, Индии и Шопенгауэру; последние «его» действия: перепресыщенный внешними лаврами, «он» удаляется от мира, покупает земли в Белуджистане и заводит сношения с ламами, индусами, чтобы разить английский империализм; на этом-то пути «он» и заинтересовывается Ведантою[129] и шопенгауэровской ее транскрипцией; последние следы «его» теряются в слухах о нем, что он с головой ушел в авторство, пишет стихи, замышляет невиданные произведения, долженствующие удивить мир. Далее — краткий перерыв; «его» — нет.

И тотчас же: рождается «Андрей Белый»,— то же мое «второе я».

Повторяю, постановочная арена продумываемой биографии — «творимая легенда» истории; и тут-то я опять совпадаю с Брюсовым: «Я составлял таблицы своей выдуманной истории»[130],— пишет Брюсов; я же проигрывал собственную историю; Брюсов-математик и я, внутренний музыкант, сказались в разном модулировании той же темы игры.

Скажу: какая же это игра? Это — проснувшийся интерес к широчайшим проблемам, еще превышающим силы моего интеллекта; «игрою» я уже к ним подкрадываюсь; и покушаюсь: по-своему их разрешить; тут я — «символист», изучающий символизацию: дана дверь детской, дана необходимость ей найти место в американских лесах; вывод: дверь не дверь, а белая скала над вершинами леса; вывод: я — на скале; так заводится привычка: сидеть на двери верхом; в годах я непрестанно символизировал; и доходил до большего и большего совершенства реализовать мои символы; это сказалось позднее в том, что натуралистические образы в книгах моих выглядят, как симво-

лы; и обратно: символы мои ищут себе натуралистической подкладки[131].

И когда я через несколько лет задумываюсь о символе, то мне ясно, что символ — триада, где символический образ — конкретный синтез, где теза — предмет натуры, а антитеза — сюжетный смысл: мне нечего сочинять символизм, когда у меня многолетний опыт игры и ряд упражнений в символизации.

Она — индукция из жизненных фактов.

Я так увлекался игрою, что никакие иные игры не удовлетворяли меня: ни горелки, ни казаки-разбойники, ни лото, ни мяч — то игры с правилами.

Я отмечаю игру, разросшуюся в древо символической жизни; побег древа привез я из Боярок.

Не будь мадемуазель, не процвели бы и игры; она создала свободу игры; никогда не пыталась узнать сути ее; видя, что я, слезая с двери, беру атлас и пристально его рассматриваю, она догадывалась: в целях игры я делаю это; она доверяла фантазиям игр; под сенью ее мужал в играх.

В октябре 1890 года я заболел легкою формою дифтерита; мне помнится не столько болезнь, сколько Гоголь, которого начала мне читать вслух мать во время болезни; Гоголь — первая моя любовь среди русских прозаиков; он, как громом, поразил меня яркостью метафоры и интонацией фразы; весь сезон 1890 года мать читала мне «Вечера» и «Миргород»; поразил напевный стиль «Бульбы».

Зима проходила легко; ходила учительница; мы писали диктанты и проходили заново арифметику; с мадемуазель шли занятия по французскому языку; все давалось легко; с музыкой улегчилося тем, что мать изредка проверяла занятия с мадемуазель, которой я и проигрывал сонатины Кюлау, Клементи; даже матери выучил «Варум» Шумана[132].

Уже два года шли споры, в какую гимназию меня отдавать; мать стояла за гимназию Поливанова; отец за первую казенную; ему хотелось, чтобы я окончил ее, как и он: с золотою медалью; он, не получавший «4», а только «5», решил, что «5» есть мой балл, что потом создало ряд затруднений.

В тяжбе о гимназии права была мать: я не мыслю себя ни в какой иной гимназии, кроме Поливановской; один факт встречи с Л. И. Поливановым считаю счастьем; об этом — ниже.

6. ГРОТ И ЛОПАТИН

В этот сезон помнятся разговоры о Психологическом обществе; имена Грота, Лопатина звучат постоянно[133]. У нас появляются эти Гроты; Николай Яковлевич Грот, профессор философии, недавно появившийся в Москве, импонирует мне своей внешностью: красивый, бойкий, ласковый и какой-то мягко громкий! В нем нет скованности математиков; и нет пустозвонной фразы, столь характерной для иных из «великих гуманистов» того времени; нет в нем и чванной скуки, которою обдавал Янжул.

Грот в это время живо волновался рядом философских вопросов, делами Психологического общества и выработкой мировоззрения; он отходил от своего позитивистического «вчера»; и, кажется, очень увлекался экспериментами Общества психологических исследований; об этом обществе я слышу постоянно в связи с Гротом; и слышу об опытах Шарко.

Помнится: появляется Грот; и начинается разговор о какой-то «причинности»; отец и Грот говорят — трескуче громко и жарко; Грот схватывается рукою за кресло и оправляет свои черные, как вороново крыло, вьющиеся волосы; его приятная, мягкая борода черно оттеняет бледное лицо с правильными чертами, прямым носом; а черные глаза сверкают приятным одушевлением; говорит он меньше отца, но говорит выразительно: мягким отчетливым грудным голосом, переходя на теноровые ноты; мне он представлялся каким-то Фигнером, пустившимся в философию; я изучаю его непроизвольно актерские, плавные и красивые жесты; и еще более красивые позы: склонится головою, опершись рукою о колено, поднимет голову, наморщив лоб; и задумчиво слушает — точно собирается спеть арию Ленского: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни». Выслушает, откинется в кресло, проведет рукой по кудрям; и все это — красиво; и точно опять: собирается спеть арию Ленского: «В вашем доме»[134]. Заговорит жарко, убежденно, красивыми фразами; одна рука делает плавные круги в воздухе, а другою схватывается нервно за ручку кресла; вот он, забывшись, привскочит; а он — не привскакивает; говорит с жаром, с сердцем, а не забывается, как, например, мой отец.

Грот — наблюдателен; оглядывает в разговоре наш стол; и вдруг, выскочив из отвлеченности — к маме с любезным, житейским вопросом, чего математик не сделает: он как вопьется очковыми стеклами, так и замерзнет; на

стол и не взглянет; а Грот стол оглядывает; выбирает морское печенье, заметит меня: улыбнется; математик — сутулый; сюртук, как на вешалке: руки же — потные часто; сопит и пыхтит. Николай Яковлевич эластичный, склоняется слева направо и справа налево красивыми позами; одет прекрасно, в приятнейшем галстухе, выявляющем весь контраст его белого лица с черною, как смоль, бородою.

И маме Грот нравится; и — ходит к Гротам; у Гротов — не как у иных других: там и романсы поют, и рассказы рассказывают; Лев Михайлович Лопатин волнуется, и Владимир Сергеевич Соловьев заливается смехом; и разговоры о Соловьеве уже переползают из квартиры Гротов и в нашу квартиру; главное, оттуда заносятся в дом наш весьма удивительные и страшные разговоры о привидениях, об исключительных случаях жизни; отец мой помалкивает о рассказах, а мать потрясена ими, оживлена: интересно у Гротов!

Я тоже и потрясен, и немного испуган; и через несколько лет, сунув нос в журнал «Вопросы философии и психологии»[135], я начинаю оттуда вычитывать все, что касается гипнотизма; и одна из первых статей, мной прочитанных,— статья Петрово-Соловово «О телепатии»;[136] но за всеми статьями этими чуется «интереснейший» Грот; пробую ребенком читать статью Грота; и натыкаюсь на уже знакомое слово «причинность».

Бывало: сидит математик; робея, косноязычит:

— Видите ли, Николай Васильевич,— пси, фи!

А отец ему:

— Тарарах-тахтахтах... Э, фи, и: кси, пси, фи. Тарарах!

Ничего не поймешь: пси, кси, фи!

Не то спор с Н. Я. Гротом; хотя и тут — многоякие виды причинностей ползают, но из всего получается произносимое мягко и громко:

— Душа человека!

И Грот мне овеян душою: душевный такой,— моложавый, красивый; бородка обстрижена мягко: вполне философский певец он; поет, что причинностью не объяснишь проявлений души; очень мама довольна; и — я; тетя Катя выглядывает из-за двери на очень красивого Грота; причинность же многоногою сороконожкою видится; эту последнюю знаю по атласу: брр, как заползает гадина эта, причинность,— меж нами! Нет, Грот — молодец, что ее отражает; и с Гротом я в этом вопросе — всецело; я —

против отца; тот — не ясен; зачем защищает причинность под формою сутолочи: функциональной зависимости? Ох, эти функции! Видел листочки отца я, исписанные теми функциями: многолапые, как насекомые; лучше без функций; что функции или причинность,— кто скажет? И у причинности есть бесконечные звенья, как у сороконожки; на каждом звене — пара лап; понимаю, что тактика Грота — покончить с причинностью; тактика же отца — приручить ее; папа хочет для этого дела призвать математиков, чтобы, как Дуров свиней, приручили причинность они; им не верю: они — косолапые; и, как начнут приручать бесконечные звенья, причинность меж рук их, наверное, вышмыгнет; и между книгами спрячется, чтобы заползать у нас: по ночам.

Так бы символизировал споры отца с Н. Я. Гротом; метафизической позиции Грота противополагал отец монадологическую; последнюю понял гораздо позднее; позицию Грота же — понял мальченком; встал на нее.

Вероятно, детские восприятия споров оставили след, когда позже знакомился со статьями «Вопросов философии и психологии», я искал статей определенного содержания, воображенного ребенком; вот почему еще позднее я разделял взгляд на причинность Шопенгауэра; освобождение от причинности и закона основания познания было пережито за много лет до понимания этих проблем; в основе переживаний — фигура Грота, поющая:

— Душа человека!

Главное: Грот так плавно поет, как и Фигнер; поет,— и печенье заметит, и на меня глядит одобрительно; а мой отец, зацепляясь за кресло, кидается странно на Грота:

— Позвольте же-с, Николай Яковлевич... А прерывные функции?.. На основании математики!..

Опять «математика»: мама не верит; не верю и я.

Карандашиком он щекочет под носом у Грота; тот примет картинную позу (и мама довольна, и я); сам отец остается доволен:

— Поговорили, да-с, с Николаем Яковлевичем!

Грот — красавец: а все же — не ангел; есть «ангел», который мне видится фарфоровым купидончиком; наверное, у «ангела»— крылышки; говорят же: «ангел он доброты». Это — Лев Михайлыч Лопатин, которого «Левушкою» называют; представляю его ну, конечно же, с крылышками!

«Ангела» наконец я увидел; и — был потрясен: у него — не крылышки, а — бородка козлиная, длинная: вносится в двери задорным тычком; страшноватые красные губы, совсем как у мавра; очки золотые; под ними ж — овечьи глаза (не то перепуганные, а не то нас пугающие); лобик маленький головки маленькой, жидко прикрытой зализанными жидковатыми волосятами; слабые ручки, перетирающие бессильно друг друга под бородою протянутою; а идет с перевальцем; переступая с бессильного плача на бас.

— Хохохо.

И — расплачется дрябленько, жиденько: не то ребенок, не то просто козлище!

Вот так уж ангел!

Первое впечатление от Лопатина — двойственно; в «ангела доброты» не уверовал я; испугался его; и, не раз наблюдая его за столом, размышлял: не отчаянная ли ошибка вкралась в репутацию «ангела», «добряка»; что странный человек — да; а что «ангел» — сомнительно; позднее ко мне повернулся он «добряком»; все расхваливал Бореньку за успехи в гимназии Поливанова:

— У Николая Васильевича превосходный мальчик.

Поздней, восьмиклассником, я логике учился у Лопатина; получая сплошные пятерки; странно: у него было скучно учиться; Поливанов, преподававший логику в седьмом классе, логику мне зажег; логика Лопатина мне вовсе потухла.

Прошло еще два-три года; Лопатин стал ярым уничтожителем моей деятельности, отказался председательствовать на моем реферате;[137] кричал по московским гостиным, всплескивая ручонками:

— У Николая Васильича сын — декадент!

Еще позднее — я, участник его семинария по Лейбницу[138], получал от него замаскированные уколы; я был вынужден раз дать отпор ему; он — на отпор ничего не ответил мне (был трусоват); года еще через три мы встретились благодушнейше у М. К. Морозовой, где я встречался с ним почти до смерти его (до 1920 года); впечатление двойственности — не изгладилось; наши позднейшие разговоры, признаться, не волновали меня; переменялось ведь отношение к «Белому» у ряда деятелей: у профессора Хвостова, друга Лопатина, у Е. Н. Трубецкого; М. К. Морозова, у которой сидел постоянно он, была моим другом.

Вот почему переменился Лопатин ко мне.

Лопатин, Грот — атмосфера Психологического общества, охватившая отца с конца восьмидесятых годов; до самой смерти ходил он на заседания общества: возражать, спорить, проводить свою монадологию; с математиками не наговоришься; Янжул — глух; «гуманисты» — болтуны-с... А Лопатин и Грот за словом в карман не полезут; отец им — свое; они ему — свое; интересно, точно шахматные турниры с Чигориным.

И я уже слышу какие-то другие фамилии: Оболенский, Герье, Сергей Трубецкой и Шишкин.

— Умница этот Шишкин.

Шишкин — физик, читающий доклад в Психологическом обществе. Однажды в нашей квартире раздается звонок; я выбегаю в переднюю и натыкаюсь на громадную массу: стоит гигант, и слон (толщиной); борода — огромная, белая,— ниже груди; такие же белые волосы разметаны по плечам. Я потрясен; все «саваофы», виденные мной на иконах,— ничто по сравнению с «саваофом» вот этим, «саваоф» обращается ко мне с каким-то вопросом, а я слышу лишь громко взлетающее:

— Вафф... Вафф...

Прислуга показывает на дверь; и «саваоф», припадая на громадную ногу (он оказался хромым), вваливается в столовую; скоро я узнаю: это — Николай Иванович Шишкин, физик-философ, доказывающий свободу посредством механики:

— Умница, знаешь ли,— радуется мой отец.

Оказывается: Николай Иваныч — учитель Поливановской гимназии, друг Поливанова, один из основателей гимназии; реферат Шишкина решает мою судьбу: меня отдадут в Поливановскую гимназию.

7. ПАВЛОВЫ, ЦЕРАССКИЙ, АНУЧИН, СТОЛЕТОВ, ГОНЧАРОВА

В этот сезон мне особенно начинает говорить профессор геологии, Алексей Петрович Павлов (нынешний академик), посещающий моего отца; он снискивает мое расположение тем, что дарит мне прекрасные американские марки; я удивлен; и столь же обрадован маркам, сколь доброму вниманию Алексея Петровича; я не привык к конкретному вниманию профессоров; Янжул оскорбляет меня предложением взять у него гривенник (я — не нищий и «на чай» не беру!); Стороженко прищелкиет под

носом с неизменным тарахтом «кургашка» (так ведь для него «кургашка» — все!); Лахтин, Млодзиевский и прочие на меня — нуль внимания; а Алексей Петрович, случайно услышав о том, что у меня коллекция марок, порылся в письмах своих; и мне навырвал американских марок (с кусками конвертов); я, хоть и ребенок, однако понял: конкретность внимания; и с той поры записал его в числе своих друзей; с той поры Алексей Петрович, изредка пересекая поле жизни моей, всегда мне является символом чего-то доброго, прекрасного, честного; с детства я полюбил его явления, верней, кратковременные забеги к отцу: вот растворяется дверь, и в комнату входит спешащей, немного подскакивающей походкой, весь протянувшись вперед, высокий, бледный, встрепанный, голубоглазый, немного подслеповатый профессор с ласковыми губами, точно припухшими из-под светлых усов и небольшой бороды; рассеянно присаживается на кончик стула и, выхватывая какие-то бумаги из бокового кармана, начинает быстро, оживленно гудеть и поревывать густым, молодым басом, спеша высказаться; а глаза, умные, сериозные, смотрят из-под болтающегося пенснэ: всегда в прищуре; Павлов имел вид невыспавшегося человека, не замечающего этого; и бодро, молодо, осмысленно несущегося из вихря дел (факультетских) в вихрь дум (научных); или — обратно.

А между тем в его рассеянности есть какая-то пристальность: рассеянность от прицела внимания в весьма конкретный предмет; сидит, торопится, выкладывает отцу свои домыслы, а меня заметит: ласково улыбнется; вот и марки принес, а никто ему не рассказывал, что марки есть страсть моя и что я люблю не покупные марки, а марки, вырванные из полученных писем; и мать заметит; и с нею тепло, сердечно, искренне переговорит; знал я эти «профессорские» снисходительные разговоры с дамами, не прошедшими образовательного курса; уноси ноги от такого «внимания»! А Алексей Петрович говорит с человеком, как с человеком: всегда в открытую, всериоз, со вниманием.

С детства я полюбил бескорыстно явление у нас Алексея Петровича, гудение его баса, его торопливость; посидит немного, а впечатлений от него мне, ребенку,— ворох; не все понимаю, а к чему ни прикоснется,— преинтересно!

И отец говорит:

— Умница Алексей Петрович: прекрасный, благородный человек... Талантливый ученый!

И мать соглашается:

— Милый Алексей Петрович... Люблю Марью Васильевну...

Марья Васильевна — супруга Алексея Петровича, известный палеонтолог; у меня с детства — предубеждение против ученых женщин: а Марья Васильевна — такая живая, чуткая, интересная умница, что явление ее у нас — мне подарок.

И Павловы у нас бывают; и мать бывает у Павловых; и Павловы — совсем не то, что другие профессорские «четы».

Позднее, выросши, я понял: Алексей Петрович, ученый специалист, работающий в науке, науке отдавший жизнь, кроме всего,— человек широкий; свободный, горящий бескорыстием интересов; он доказывает, что наука не суживает кругозора, наоборот, расширяет его, и направляет взор к живым конкретностям жизни; вот уж про кого не скажешь, что — «чудак»; не «чудак» — тонкий умница; и рассеянность в нем не смешна, а нечто, само собой разумеющееся: рассеянность от пристальности, сосредоточенности; но итог ее — непредвзятость.

Алексей Петрович остался в памяти моей, как непредвзятейший человек; впечатление: его квартира превратилась в продолжение палеонтологического кабинета; но и его университетский кабинет — продолжение его квартиры; Марья Васильевна — и тут и там: там — научный друг Алексея Петровича; здесь — друг жизни; в квартире Павловых я не чувствовал никаких признаков того «бытика», о котором у меня вырываются горькие слова; быт, мещанство, чванство, «традиции» — все это перегорело без остатка в горящей жизни супругов ученых; и, глядя со стороны на эту жизнь, делается бодро, молодо, весело: прекрасные, плодотворные, конкретные жизни двух неразлучек, Марьи Васильевны и Алексея Петровича. Или они работают в кабинетах, или отдыхают в путешествиях и научных экскурсиях; кабинет не закрыл природы; и красота природы ворвалась в кабинет.

Павловы, появляясь везде, нигде не зацеплялись за сплетни и душные мороки; я — ребенок, отрок, студент, декадент, писатель, мировоззритель,— на протяжении многих лет никогда не менял моего детского впечатления от Павлова, подарившего американские марки, потому что он умел всегда как-то дарить: мыслью, улыбкою, непредвзятым отношением к тому, к чему столь многие относились предвзято; и, между прочим: он — мог одарить пением;

у него был хороший голос; и он приятно, не чинясь, как юноша, охотно соглашался пропеть романсы Грига.

Внутренне-строгий к другим, еще более строгий к себе,— он прекрасно, дельно, конкретно читал нам лекции по геологии (исторической и динамической) над принесенным им в аудиторию ящиком горных пород; но я упрекаю себя в том, что недостаточно использовал эти интересные лекции, редко бывал на них; оно и понятно: ведь с третьего курса я лишь доканчивал естественный факультет: философия, эстетика, начинающаяся литературная деятельность привлекали мое внимание; и, кроме того: химическая лаборатория отнимала очень много часов; и я, не будучи химиком-спецом, но проделывая необязательную работу (занятия по количественному анализу, занятия по органической химии), не мог иметь роскоши досуга для посещения всех лекций; и приходилось невольно выбирать.

Но и простые заходы на лекции Павлова всегда много давали; а ясность и точность его требований весьма облегчали приготовления к экзамену у него, что я лично испытал: тысяча страниц по геологии (пятьсот по динамической, пятьсот по исторической) одолевались с усилием, но вполне нормально; и спрашивал он, не гладя по головке,— просто, благожелательно, непредвзято.

Супруги Павловы мне казались вечно горящими, вечно спешащими, но всегда конкретными, вдумчивыми; помнится, как тронула меня Марья Васильевна в эпоху моей максимально «скандальной» репутации, как позера и декадента-нахала, участливым интересом к устремлениям тогдашней группы московских «Аргонавтов».

— Ну да,— сказала она,— повторяется то же явление; молодежь пробивает пути; ей не верят, ее травят... Ведь и мы, некогда молодежь, дрались за Дарвина так, как вы боретесь за новое искусство.

Меня особенно тронуло неожиданное появление Алексея Петровича и Марьи Васильевны на моих воскресниках, где собирались молодые «Аргонавты» и уже более старые «Скорпионы» (Брюсов, Бальмонт и др.); они явились весело, просто, «по-хорошему»; и с той поры, изредка появляясь на воскресеньях, они разделяли охотно для многих «смешанное общество»,—«смешанное», потому что три четверти посетителей воскресников — *тогда гонимые* и обществом, и прессою символисты.

Помнится,— Алексей Петрович пел Грига нам; и — хорошо пел; веселый галдеж не обрывался при появлении

почтенного, но молодого духом и непредвзятого умницы-профессора.

Более того: Павлов меня расспрашивал о моих интересах и даже записывал кое-какие книги, которые я ему рекомендовал прочесть; не забуду одну из последних встреч с ним, когда высказывались некоторые мысли о возможности палеонтологической психологии, то есть о возможности относиться к слоям полусознания и подсознания, вписанным в наши психические привычки, как к ископаемым пластам. Его коррективы, как умницы, мне запомнились; и запомнилась непредвзятость, с которой он допустил возможность такого рода домыслов.

С 1912 года я уже не встречал Павловых; но всегда радовался, когда вести о них доходили до меня.

В этот период встает передо мною образ покойного астронома, Витольда Карловича Церасского; худой, высокий, галантный поляк, он с первой встречи не производил впечатления профессора, а скорее модного публициста, острого литературного критика — не без богемства, которого он не развертывал в почтенных гостиных, но мог бы при случае развернуть... в кабарэ; я разумею не содержание его бесед, чаще всего научных, но стиль целого; не профессорский стиль, а... а... будто бы знакомый; в романах Пшибышевского появляются фигуры, подобные Церасскому, зарисованному извне; его худое, протонченное, нервное лицо с умными, наблюдательными, далеко не добрыми глазами, маленькая светлая бородка, высоко закинутая назад голова на сухощавом, выточенном, длинном теле скорее вызывала впечатление какого-то польского деятеля искусств, шармера, которому, однако, палец в рот не клади: откусит; и кто его знает: может быть, он — скрывающийся под маскою остряка,— бомбист-анархист; а, может быть, наоборот,— член святейшей иезуитской коллегии.

Вид загадочной личности; но — уютный.

Он, как никто, умел брать гамму всех переходов от пленительного, остроумного собеседника — вверх и вниз; вниз — до дамского угодника, Дон Жуана, умеющего, где нужно, проткнуть противника фехтовальною шпагой, умеющего, надев альмавиву и заменив беретом профессорское свое изможденное лицо, пропеть лунной ночью под чьим-нибудь балконом:

Я здесь, Инезилья,
Стою под окном[139].

Изможденное это сухое лицо с темными под глазами кругами говорило о бессонных ночах; а вот источник происхождения этой бессонницы — неизвестен: просиживание ли ночами под трубой телескопа, или бессонные пирушки и разговоры а ля «Homo Sapiens» Пшибышевского;[140] знали, что это от астрономии, а не от кутежей; а ведь еще неизвестно, под каким аспектом глядел на звезды Церасский; и какие-такие звезды эти. Кто-то его у нас называл «звездочетом»; и в нем было нечто от «звездочета»; помню младенцем седого Бредихина, которого называли «астрономом»; когда он переехал на Пулковскую обсерваторию[141], у нас появился остро-сухой и прытко-веселый Витольд Карлович — не как астроном, а как «звездочет»; и позднее мне с фигурой его в острой барашковой, высокой шапке, напоминающей высокий колпак, связывалось скорее представление о средневековом астрологе, тем более, что он принимал эту кличку «звездочет» и легко ею как бы кокетничал... перед дамами.

Я воспринял его появление как нечто романтическое: он, по-моему, должен был быть астрономом с фантазиями, с порывами улететь на луну; и вместе с тем, он мне ассоциировался с «поляком»; вот — «поляк», вот — нечто «вечно-польское»; а с «вечно-польским» ассоциировалось: мазурка, скепсис, лицемерие, талантливость, но немного и пустоцветность в самом блеске таланта.

Такую имел я ребенком фантазию о «поляке».

Ребенку, мне, Церасский старался подмигивать и подщелкивать; и всегда давал понять, что мы бы с ним, возьми я его в игру, могли бы доиграться до весьма интересных моментов; это впечатление таинственной интересности все росло во мне по мере того, как я подрастал; появлений его я ждал; и он вызывал во мне большой интерес к нему. Мало кто мне так нравился, как Церасский; Церасский и Павлов — мои любимые профессора в детстве; и знал ли я, что такое прекрасное начало знакомства окончится так плачевно, что теза нашей встречи оборвется на антитезе без всякого синтеза, что воспоминание об обаятельном профессоре останется одним из горчайших воспоминаний и что, не без усилия, вспоминая нашу последнюю встречу, я сдерживаю порыв искреннего негодования.

Помнится, как он усиленно звал мою мать на башню, в обсерваторию:

— Приезжайте, когда хотите: выбирайте чистую лунную ночь и приезжайте без стеснения... Я вам покажу звезды и луну.

Мать так и сделала: в 1890 или 1891 году в одну из чистых лунных ночей она, взяв меня, поехала к Церасским на Пресню; нас встретило разочарование, или сухая, не очень приветливая мадам Церасская, нам заявившая:

— Витольд Карлович сидит, запершись на башне; и, вероятно, просидит всю ночь...

— И нельзя его никак известить?

— Никак! Он строго нам заказал — раз навсегда: только смерть да пожар — предлог вызвать его; даже если бы я заболела смертельно, и то я не могу оторвать Витольда Карловича от его научных занятий.

Мы посмотрели на окна; ночь — чиста; счастье увидеть ведущую нас звезду так близко в виде огромного купола и трубы под ним, вперенной из купольного разреза в небо; а — надо ехать обратно; вдруг входит Церасский в высокой шапке колпаком, с приподнятым воротником пальто, с фонарем в руке — такой таинственный, интересный (оказалось,— он забыл какой-то предмет и вернулся домой за ним); увидав нас, он сделал одну из своих очаровательных поз, поцеловал ручку матери; и — воскликнул:

— Вот и прекрасно. Вы не могли б выбрать ночи благоприятней... Сегодня луна такая, что — ооо! — помахал он рукой с фонарем и оборвал сам себя,— идемте...

Он таинственно вывел нас в сад и повел по ослепительно белой дорожке; сбоку высился маленький куполок маленькой обсерваторийки:

— Здесь сидит мой помощник, Штернберг *,— сказал Церасский; и повел прямо к большому куполу; мы высоко поднялись по таинственной, винтовой лестнице; и оказались под куполом на самой вершине, перед гигантищем-телескопом; здесь все манипуляции «звездочета» приняли фантастический отпечаток: он что-то начал вертеть; и весь купол поехал вокруг нас своим прощепом неба к трубе, а труба начала подниматься.

Более двух часов пленительный «поляк», став пленительным звездочетом, с непередаваемой любезностью и деликатным вниманием показывал нам и Сатурн, и Вегу, и двойные звезды, и луну по-всякому, сопровождая показ красочной лекцией, доступной и мне, ребенку; а как пре-

---

* Впоследствии профессор астрономии, деятельный большевик и деятельный боец в Октябрьские дни[42].

дупредителен был он! Показывая то или иное матери, он давал ей разъяснение одним языком; показывая мне, он менял выражения, интонации; и как бы подмигивал:

«Так-то, брат, вот, если бы не твоя мать, мы бы с тобой вылетели в трубу; и ринулись к звездам».

И у меня создалось впечатление, что только мать помешала тому, чтобы Витольд Карлович мне предложил сесть к нему верхом на шею и, ухватив меня за ноги, добрым конем ринуться из прощепа купола: к звезде Веге. Полумрак купола, черная, сухощавая фигура Церасского в колпаке, качающийся в его руке фонарь усиливали впечатление.

Таинственность «звездочета» и интерес к нему выросли после этого посещения обсерватории.

Прошли года.

Я студентом, бывало, видел Церасского в толпе студентов и профессоров, пересекающим серый коридор из большой математической аудитории в профессорскую; он казался еще суше, еще истомленнее; цвет лица его стал зеленоватый; нос — заострился; круги под глазами увеличились вдвое; бородка уменьшилась; в ней появилась седина; какой-то средневековый аскет с надменной позой... бреттера; строгое, злое, протонченное лицо! Разглядывая его, я думал, что было бы, если бы Церасский встретился в гостиной со Станиславом Пшибышевским; он, вероятно, очаровав Пшибышевского, последовал бы за ним в пивную, подглядеть за стаканом пива подноготную Пшибышевского, чтобы на другой день с характерно-надменным закидом головы подписать свою фамилию под адресом, выражающим просвещенное негодование его всем этим жалким декадентам. И я думал: Церасский, вероятно, умеет со всяким шутить, как кошка с мышкою; мышка — дама, журналист, студент-ученик, декадент, кто угодно; и в нужный момент умеет ловко в игре перекусить горло; он — думал я — умеет наступать на мозоли не так, как иные, не невзначай; узнает, на каком пальце мозоль, и потом, проходя с легким, не внимающим видом, пристукнет мозоль не пяткою, а гвоздем каблука; и даже не повернет головы на вскрик боли.

Таким он мне виделся, когда он в аспекте профессора выходил из аудитории: уже не очаровательный поляк, а из меди вылитый римский полководец: типичное латинское, а не славянское лицо!

Прошло полтора года: вышла моя «Симфония»; псевдоним — открылся;[143] я стал декадентом; густой взвой брани стоял вокруг меня, не только сверстников, не только

публицистов и газетчиков, но и большинства тех, у кого я сиживал на коленях; иные из профессоров-учителей провожали меня сердито-возмущенными глазами, но не Церасский, любезно раскланивавшийся и менявший вид римского полководца на персонаж из романа Пшибышевского; Григорий Алексеевич Рачинский, с которым недавно я познакомился и который один из немногих сказал «да» моим стремленьям, при встречах все-то подмигивал мне:

— Обратите внимание на профессора Церасского; он очень многое понимает.

Или:

— Церасский, тот — умница.

На лекции Касперовича, поляка-модерниста[144], я, к изумлению, среди декадентской публики встречаю поляка Церасского; в перерыве, увидёв меня, он подходит ко мне и, точно подмигивая, говорит:

— Знаете что,— я хотел бы с вами поговорить; пойдемте-ка после лекции в пивную; выпьем бутылочку; за бутылочкой и поговорим.

Я был сердечно тронут вниманием высокоуважаемого профессора, такого надменного в университете, выпить бутылочку со студентом, да еще проклинаемым декадентом; но я никак не мог удовлетворить это желание ввиду присутствия матери, не допускавшей, чтобы я посещал пивные; главное: у меня не было ни гроша денег; а как признаться профессору в таких мизерных, интимных обстоятельствах.

Я, сконфузившись, пробормотал отказ; и не забуду пристально сухого, латинского взгляда, с которым «звездочет» молча отошел от меня; мне стало неловко, точно я сделал какой-то гадкий поступок; но взгляд профессора был только еще нажимом мозоли носком: каблук ждал меня!

Через два месяца умер отец; мне приходилось по делам, связанным с этой кончиною, бывать в университете (у Лахтина и у ректора Тихомирова); однажды, взбегая по пустым университетским лестницам, я чуть не налетел на спускающегося по этим лестницам сухого, зеленого, точно выпитого, точно вылитого из меди Церасского-«императора»; я — кланяюсь; вместо ответа вздергивается сухая бородка, откидывается назад голова; и я вижу шествующий мимо меня... кадык профессорского горла; перед этим в меня втыкаются мстительные, злые глазенки двумя оскорбительными укусами.

И потом уже проносится зеленый, изможденный профиль с заострившимся, как у трупа, носом.

Интонация этого прохода с незамечанием меня напоминает мне не проход генерала, не замечающего пешки, а проход «генералиссимуса», с высоты триумфа оплевывающего подлеца, которому он только что подписал приговор.

И мне становится понятным подобного же рода проход мимо меня к гробу отца этого же профессора; хотя я был удручен горем, и мне не было дела до интонаций, однако я удивился; даже несочувствующие мне, вовсе далекие профессора, подходили и высказывали соболезнование мне и матери; а профессор Церасский, только что звавший в пивную «интимно» поговорить, плевом в меня шел к гробу отца.

Истинно латинское умение владеть гаммой своих выражений: от шармера до... оплевателя.

В этот год я делаюсь весьма наблюдательным; и уже целый ряд лиц живо проходит передо мною.

Я очень люблю такого ласкового, рассеянного, черного, как жук, загорелого, профессора Николая Егоровича Жуковского, которого очень любит отец мой и который все придумывает какие-то летательные крылья; когда, бывало, среди гостей появляется Николай Егорович, то лица всех точно просвещаются улыбкой, а он, помахивая руками и поматывая чернобородою головой, переваливаясь идет мимо столовой в гостиную и заливается тонким смехом-плачем своим; такой грузный, такой тяжелый, а плачет, как женщина, или заливается тонким распевочным ладом громкой, даже пронзительной фразы своей.

— И знаете,— взвизгивает по-женски,— в соотношении — ударение на слове «соотношение», потом пауза.

— Этом.

Глубочайшая пауза.

— Наахооооодим,— уже настоящее причитание.

Придет и точно оплачет квартиру; голос плачет, лицо же с прищуренными глазами сияет детской улыбкою.

Анучин — маленький, беленький старичок; лицо — красное; нос — огромен; лобик маленький, красный, в поперечных морщинках, как рачья шейка; волосы — дыбом, бородка с прожелтью (особенно под усами); глазки — крошечные, хитренькие, голубые; смотрит — исподлобья; всегда помалкивает; и у нас за столом сидит на углу, точно

собираясь встать; мне он с угла всегда делал тихие, незаметные знаки, меня интригующие: морщил лоб, но — нестрашно; и хватался за нос,— за распухший, за красный; основное впечатление от Дмитрия Николаевича — доброта, но не без сарказма, хитринки, осторожности: доброта — доминировала; что доминировала именно доброта, я узнал уже позднеи на себе: Дмитрий Николаевич, редактор «Русских Ведомостей»[145] и профессор, принимавший от меня кандидатское сочинение, меня выручил во всех смыслах в минуту, когда другой «дядя», спутник детства, меня окончательно утопил: мстительно, со смаком; топил — Эрнест Егорович Лейст; спасал — Дмитрий Николаевич Анучин; и я тем более благодарен последнему, что он резко отрицательно относился к моей деятельности «Андрея Белого», не только как профессор «старого стиля», но и как представитель редакции меня уничтожавшей газеты.

Дмитрий Николаевич выручил после того, как Лейст мне поставил «2»; поставил же он «2» за то, что я, им сбитый с толку (а он «мстительно» сбивал с толку), сказал в полном самозабвении, что вода кипит при... нуле (?!?).

Тогда вмешался Анучин, заставив меня рассказать ему мой билет, и спас; природная доброта Дмитрия Николаевича победила в нем принципиальную оппозицию.

Своего длиннобородого палача, Лейста, я помню с 1890 года уже; он неизменно являлся в праздничные дни и поражал меня... бородою, цилиндром, белым кашнэ и тем, с каким официальным (немного тупым) почтением он передо мною расшаркивался и жал руку, точно он был Боренькой, а я профессором Лейстом; ребенком я удивлялся неуместной почтительности этого бородача, его немецкому акценту и оголтелому, глуповатому виду, с которым он сидел на диване, не произнося ни слова; другие говорили, а Лейст хлопал глазами и тряс бородой; отец с детства внушил мне: метеорология — не наука, а сборник анекдотических фактов, и дразнил Лейста инженером Демчинским:

— У того, пусть неверная теория о влиянии лунных фаз на погоду,— а все же попытка объяснить факты: у вас же нет и этих попыток!

Наслушавшись таких речей, метеорологию я презрел, как презрел Лейста за оголтелый вид и за немотивированное официальное почтение ко мне, ребенку; знал ли я, что Лейст — мой будущий фатум; не спаси Анучин, я прова-

лился бы; а провались,— у меня не было б терпения вторично проделать церемонию государственного экзамена.

К Лейсту и к Анучину я еще вернусь.

Помню я и рыжебородого, добродушнейшего Александра Павловича Сабанеева; о нем, как о профессоре,— ниже; в 1890 году он меня сильно интересовал тем, что терпел крестные муки от «разбойника» Марковникова; «разбойник» Марковников гнал тихого Александра Павловича из лаборатории; Александр Павлович плакался у нас на свои беды; муки Александра Павловича менее интересовали меня; более всего интересовали проделки, откалываемые Марковниковым; и я внимал рассказам отца о факультетских заседаниях, на которых ему, как декану, приходилось спасать то того, то другого от Столетова и Марковникова.

Профессор Марковников — стародавняя гроза профессоров физико-химического отделения факультета; и минотавр, бегающий с ревом по коридорам лаборатории: посадить на рога профессора Сабанеева в девяностых годах и профессора Зелинского в девятисотых годах; в эпоху, когда я, студент лаборатории, его видывал (в лаборатории), он был уже — гром без молнии, или вепрь без клыка; вырвав клыка у Марковникова — смерть профессора Столетова; профессор Столетов и был — клык; и не Марковников нападал, выгонял и бил копытом-ботиком, нагнув голову, а Столетов — Марковников; вернее — Столетов, спускавший с цепи Марковникова, ибо Столетов — нападал с толком, с чувством, с расстановкой, а Марковников нападал уже без толка; и — ломал клык, уступая территорию лаборатории Николаю Дмитриевичу Зелинскому; от нападений Столетова на заседаниях расстраивались сердца, случались истерики, профессора пускались в паническое бегство, а декан-Бугаев проявлял чудеса ловкости — спасти положение: защитить обиженного от обидчиков так, чтобы не получить удара в грудь клыком Марковникова и чтобы Марковников сам себе не сломал клыка, то есть чтобы Столетов сам посадил Марковникова на цепь.

При мне уже Марковников без клыка являл грустное зрелище красного апоплексического старика в меховой шапке, выскакивающего из недр коридора; выскочит, постоит, посопит; и спрячется.

Голова скандалов — Столетов; он — охотник; Марковников — спускаемый с цепи (да простит мне знаменитей-

ший химик вульгарные уподобления)... не пес, а — ...кречет.

Диада Марковников — Столетов иногда становилась триадою: Столетов — Марковников — Соколов (Соколов — профессор физики); триаде противополагался — весь факультет; но иногда весь факультет обращался в бегство перед триадою: и декан-Бугаев в длинной веренице лет так научился находиться в перманентном скандале и с таким веселым юмором рассказывал за столом о факультетских побоищах, что побоища меня перестали удивлять: и я думал, что факультетское заседание и есть побоище.

Положение это кончилось смертью Столетова; умер Столетов, притих Соколов, Зелинский выучился фортификации; и Марковников удалился в коридорное недро, из глубины которого изредка раздавались лишь его глухие стенанья (их и я слышал!).

Знаменитый профессор Столетов: крупный физик, умница, чудак, экзаменационная гроза; помню его, как в густом тумане; я его видел строго молчащим в рое профессоров; выделялись другие фигуры, занимая воображение; и — стушевывался образ Столетова; помню строгие глаза, очерк бороды, очки; не скажешь, что — гроза и что — Илья Муромец факультетских заседаний; но я знал: это — весьма опасный атаман весьма опасной тройки; он устроил подобие Запорожской Сечи в университетском государстве; и отец, коронный гетман, вынужден защищать факультет от походов «вольницы»; и потому-то неясные контуры Столетова выглядели, как штиль перед ураганищем.

Я знал: студенты идут к Столетову не экзаменоваться, а — резаться; никакое знание, понимание не гарантирует от зареза; в программе экзаменов профессор настроит ряд ужасных засад, которые способны преодолеть смелость, а вовсе не знание; вопросы профессора:

— Отчего блоха прыгать не может?

Молчание: двойка.

Надо отвечать:

— От абсолютно гладкой поверхности.

Засада — в каламбуре смешения слов «отчего» и «от чего»; кто поймет «от чего» в смысле «почему»,— получит двойку.

Еще вопрос:

— Что будет с градусником, если его выкинуть на мостовую с третьего этажа?

Ответ:

— Разобьется.

Двойка.

Надо было анализировать состояние ртутного столба градусника, а не стекло футляра, а тут — каламбур (градусник, как стеклянный инструмент, и градусник, как вместилище ртути).

Перед каждым экзаменом Столетов сочинял новые каламбуры, меняя их; и посыпал билет перцем каламбура; не знание предмета, а остроумие и умение смаковать каламбур решали вопрос: «пять», или — «два».

В странном методе экзаменовать сказывалось какое-то тихогрозное юродство в умнице-профессоре.

У нас появлялся Столетов прередко, вполне неожиданно, безо всякого дела; и — не один, а... в сопровождении неизвестного чудака (всегда — нового, потом исчезающего бесследно); приведенная Столетовым к отцу странная личность развертывала веер юродств; а Столетов, бывало, сидит, молчит и зорко наблюдает: впечатление от юродств приведенной им к отцу личности; насладившись зрелищем изумления отца перед показанным ему чудачеством, профессор Столетов удаляется: надолго; и потом — как снег на голову: появляется с новым, никому не известным чудаком.

Почему-то явление к Столетову чудаков вызывало в нем всегда ту же мысль: надо бы с чудаком зайти к профессору Бугаеву.

Факультетские истории, взметаемые Столетовым, сплетались в сплошную «историю» (без конца и начала): Столетов виделся мне охотником крупной дичи, спускающим двух гончих, Марковникова и Соколова; и то я видел: спасающегося в бегство Сабанеева, в виде большого верблюда, то видел я Н. Д. Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы; то сам Н. А. Умов в виде огромного, пушистого овцебыка пересекал поле зрения; за ними — мчащийся лев-Марковников; или — подкрадывающийся Столетов-тигр; и отец возвращался с заседаний оживленный, но... нисколько не возмущенный; защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и сжимал кулаки, и срывал с себя салфетку (за обедом); а приняв меры к защите, с добродушием поперчивал суп и лукаво потирал руки; не без сочувствия к скандалистам он приговаривал:

— Да-с, что поделаешь: бедный Александр Павлович!

И мне не до конца верилось, чтобы отец действительно до мозга костей думал, что Александр Павлович — косми-

ческий «овен», ужаленный Столетовым-«скорпионом»; и мне думалось: «Не игра ли это в солдатики?»

Отец не ходил в театры, и потребность к зрелищам, может быть, изживалась в нем неожиданными *сюжетами*, подносимыми Столетовым; поздней я увидел, что Столетов — мифолог-режиссер, сочиняющий мистерии заседаний так, как сочинял каламбуры, или приводил к отцу чудаков; потом я убедился, что к Столетову отец относился и как к драматургу, скрашивающему серые будни «деловых засидов» (до геморроя); он, как декан, возмущался Столетовым, а как зритель, любовался его молодечеством; об ученых заслугах Столетова он имел очень высокое мнение; о заслугах Марковникова — тоже.

Об Александре Павловиче Сабанееве, тащимом в профессора Усовым и отцом, может быть, он был того же мнения, как Столетов о приводимом к нам «чудаке»; Сабанеев был не столько почтенным ученым, сколько amicus ex machina[146] для ряда деятелей; Усов и папа похохатывали:

— Чудак Александр Павлович.

Может быть, привод Столетовым к отцу чудаков означал символический разговор:

— Ваш чудак-Сабанеев и в подметки не годится этому вот чудачищу!

Отец любил Столетова; любил и Марковникова; и поздней я расслушивал в выкрике с надсадой прямо-таки нежность по адресу буянов:

— А Марковников со Столетовым опять заварили кашу.

Может быть, на его языке это означало:

«А Мейерхольд-то: задумал новую постановку... Преинтересно».

После смерти Столетова не было на факультете «буянств»; и отзывы отца о заседаниях стали небрежны; видно, ему на них стало скучно; то ли дело — «столетовские» времена!

В течение девяностого года, а может и годом ранее, помню я приезд из Петербурга академика Имшенецкого, профессора Любимова и ботаника Бекетова; петербургские гости обедали у нас; Имшенецкий с дочерью, бледной болезненной барышнею, мне скорее понравился: благообразный, высокий, седой и приветливый; Любимов — маленький, бритый, с чиновною светскостью (он не понравился мне); и пленил Андрей Николаевич Бекетов, седейший,

добрейший старик с длинными волосами, с большой бородою; в нем мне прозвучало что-то приветливо мягкое, нежное, очень спокойное; как он сидел, головою откинувшись в кресло и длинные руки распластывая на кресельных ручках, и как он поглядывал,— все мне внушало доверие; вокруг него я вертелся; и скоро уже у него меж коленей стоял, а он гладил меня и сердечно, и бережно; и посадил на колени; и я с них сходить не хотел; так знакомству с поэтом, Александром Блоком, предшествовало знакомство с дедом его (Бекетов — дед Блока).

Вообще, в этом сезоне — обилие лиц, внятно врезанных в память: Петр Михайлович Покровский, ученик отца, впоследствии профессор в Киеве (брат филолога М. М. Покровского), в этом году появлялся взволнованный и недовольный; он похож был на брата филолога, только черты лица — резче, грубее; лицо же — краснее; казалось мне странным, что он математик, как, например, Селиванов или Егоров; те — тихие; а Петр Михайлович — умный, живой, забияка; он — спорил с отцом; он, привскакивая со стула, большими шагами шагал, критикуя порядки; физик П. В. Преображенский, Григорий Дмитриевич Волконский, Иван Николаевич Горожанкин и ряд других лиц предо мной проходили.

Особенно памятна А. С. Гончарова, любимица, даже гордость отца, утверждавшего: некогда он заинтересовал Анну Сергеевну вопросами психологии, да так, что она, поехав в Париж и окончив Сорбонну, стала доктором философии, была лично знакома с Шарко, с Рише и с Бутру; она, первая из женщин, взошла на Монблан; и после этого триумфа — явилась в Москву; часто бывала у нас; она — та самая Гончарова, то есть из семьи жены Пушкина;[147] и, даже: разглядывая портреты сестер Гончаровых, отчетливо можно было восстановить все черты фамильного сходства, взяв исходною точкою лицо сестры Натальи Николаевны, жены Дантеса;[148] те же гладкие темные волосы, так же на уши зачесанные; и та же, так сказать, носолобость; то есть отсутствие грани меж носом и лбом; казалось: лицо бежит в нос; нос огромный у Анны Сергеевны, умный и хищный; глаза — оживленные, темные; только: она являла уродливейшую карикатуру даже не на Наталью Николаевну, а на некрасивую сестру ее; эта была бы ангелом красоты перед Анной Сергеевною; редко я видел лицо некрасивей; спасала огромная одушевленность и брызжущая интеллектуальность; являяся к нам, она часами умнейше трещала с отцом на труднейшие философ-

ские темы; отец оживлялся; он очень ценил Гончарову; когда-то он принимал живейшее участие в спешном образовании двоюродного брата А. С., робкого Павла Николаевича Батюшкова, поступившего в университет и часто являвшегося к нам; П. Н.— внучок поэта Батюшкова;[149] Гончарова и Батюшков в начале девятьсотых годов отдались теософии; пока же слова такого не было в лексиконе у Анны Сергеевны; но слово «психология» склонялось во всех падежах; и склонялось во всех падежах слово «гипнотизм»; Анна Сергеевна мне была приятна умом и той ласковостью, с которой она относилась ко мне; скоро она подарила мне в прекрасном переплете «Из царства пернатых» профессора Кайгородова;[150] и с той поры подымается во мне не прекращающееся несколько лет увлечение птицами; Анна Сергеевна покровительствовала моему увлечению естествознанием и от времени до времени подаривала за книгою книгу, посвященную царствам природы.

Раз я был на детском вечере у Гончаровых; и даже танцевал с очень хорошенькой племянницей Анны Сергеевны (дочерью сестры ее).

8. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КАБЛУКОВ

Не помню, как возник передо мною, ребенком, Иван Алексеевич; как-то он тихо и вкрадчиво завелся, появляясь у нас; может быть, это случилось и позднее описываемого периода; но вместе с Павловым, Церасским, А. С. Гончаровой встает Каблуков.

Постоянный посетитель симфонических собраний, премьер Малого театра, юбилеев, выставок, посетитель всех квартир в Москве, считающихся почему-то интересными, появился он и у нас; я его помню — приват-доцентом, старательно одетым, в светло-серых панталонах и с постоянно натянутою, темно-коричневой перчаткой на левой руке; ее он не снимал в комнате; а в праздничные дни вижу огромный, черный цилиндр Ивана Алексеевича, с которым, если память не изменяет, он входил в комнаты; до его появления у нас я слышал о нем; и я его видывал; он бывал ведь везде: у Щегляевых, Танеевых, Усовых, Сабанеевых, Стороженок; у отца было какое-то особое, свое, отношение к Ивану Алексеевичу, точно они где-то, когда-то, в чем-то разошлись, что не хочет замазать отец; Иван Алексеевич — такой ласковый, утонченно предупредительный, точно он не ученый, а светский угодник.

Мое впечатление: Иван Алексеевич был более гостем матери, чем отца.

Каблуков поражал меня огромнейшей головою своею с вьющимися, каштановыми волосами затылка и с вечною лысиною; поражал основательным туловищем; кабы ему соответственные ноги, он был бы гигантом; а ног-то и не было; были совсем коротышки; росток — небольшой; напоминал приземистого, земляного, тяжелого гнома, хотя ростом — не гном (роста среднего); ноги его по точному вымерению были короче, чем следует, на две каблуковских головы; принимая во внимание весьма большую, тяжелую голову и бороду не небольшую, укорочение ног поражало весьма.

Думалось: не Ванька ли Встанька он (Ванька-Встанька — безногий)?

В те годы он был каштановый, не седо-серый; лицо — бледноватое; а утиный нос сиял краснотцой; он не столь перепутывал звуки согласных; и менее ронял слов; весьма скромно держался; ходил с перевальцем, таким церемонно-достойным; сюртук был застегнут (с пренизкою талией). Слишком изысканным для неизысканной вовсе фигуры виделся каблуковский сюртук; было старание быть несколько манерным, пленительным; это не шло ему: ни цилиндр, ни перчатки никак не увязывалися с утиной походкою; а красноносое, гномье лицо не увязывалося с претензией быть кавалером при дамах; Иван Алексеевич подчеркивал тоном: ученый — видит пленительность дамского личика и дамский наряд; голову гордо закинув, прищурив кабаньи какие-то глазки свои, рот широкий раздвинув улыбкой, Иван Алексеевич переваливался, бывало, в концертах за дамами, им услуги оказывая.

Мать к нему обращалась свободно, как будто главнейшая функция его — стоять у кассы, билет доставать, а не лекции читать:

— Иван Алексеевич, достаньте мне то-то и то-то.

И он, предовольный возможностью новой услуги, подергивал красным носом и рот раздвигал; и скрежущим, точно оржавленным голосом резко покрикивал, перетирая пальцы:

— Отчего же-с... Возможно-с...

Билет доставался.

Иван Алексеевич, став профессором Сельскохозяйственного института[151], церемонно являлся к матери; и тем же заржавленным голосом торжественно приглашал мать в недра лаборатории, к опытам, и инсценируя, точно пред многотысячной аудиторией, он сжимал моей матери воз-

дух; путаясь в выборе гласных, согласных, научно он ей объяснял принципы замораживания:

— Ты что ж — поняла?

— Я? Ни слова... А воздух — такой голубой, как водица прозрачного озера...

И мать с тетей Катею покровительственно начинали смеяться; всегда повторялось:

— Такой он услужливый[152].

Иван Алексеевич часто бывал у нас после смерти отца, появляясь и на мои «символические» вечеринки в эпоху 1903—1906 годов;[153] общество декадентов и буйственность шума, пародий, инсценируемых Эллисом, не смущали его; и мы не смущались нисколько явлением профессора в стан «декадентов» (ходил во все станы он); появляясь, он позировал Эллису; у Эллиса был просто спорт: передразнивать. Высмотрев модель, Эллис к модели коварно подсаживался; покручивая усики, начинал с моделью сериознейший разговор; и высматривал: позы и жесты; так изучал он Иванова, Брюсова, профессора Хвостова; и Иван Алексеевич ему моделировал; потом по московским гостиным зациркулировал бесподобнейший номер, разыгрываемый Эллисом; назывался же номер: «Иван Алексеевич Каблуков». Номер этот демонстрировался не раз: у меня, у Владимировых, у Шпетта, д'Альгеймов, у Щукиных, Метнеров, Астровых, у Христофоровой, в бедном номере «Дона», где жил автор инсценировки; потом даже Эллиса приглашали вполне незнакомые люди на номера «Каблуков», или «лекция Хвостова», иль «реферат Вячеслава Иванова»; большинство анекдотов о путанице слов и букв Каблукова, теперь уж классических, имеют источником не Каблукова, а импровизацию Эллиса; импровизировал он на основании скрупулезнейшего изучения модели; и шарж его был реален в своей художественности; я утверждаю: знаменитая каблуковская фраза не принадлежит профессору: «Знаменитый химик Лавуазье — я, то есть не я: совсем не то... Делал опыты: лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло» (вместо «колба лопнула и кусочек стекла попал в глаз»); выражения «совсем не то» и «я, то есть, не я» — обычные словечки Каблукова; эта фраза — цитата из блестящей импровизации Эллиса, как и приписываемое Каблукову «Мендельшуткин» вместо «Менделеев и Меньшуткин»,— тоже цитата: из той же пародии.

Эллис из Каблукова создал миф, повторяемый и в наши дни, как сделал он миф из лекции Хвостова «О свободе воли», которую прочитал во всех домах Москвы до... объ-

явления Хвостовым (?!?) лекции этой в Психологическом обществе, лет эдак через семь, когда Эллиса и дух простыл; помнящие блестящий мир Эллиса и бывшие в Психологическом обществе выходили из залы заседания, не умея сдержать смеха, потому что Хвостов в блаженном неведении о пародии на него лекцией «О свободе воли» своей лишь повторял пародию Эллиса: настолько Эллис шаржировал в духе им досконально изученного подлинника.

В девяностых годах приват-доцент Каблуков еще не вполне стал «профессором Каблуковым» девятисотых годов; он был молчаливей, подтянутей, чопорней, развивая предупредительную элегантность; по мере того, как старел и важнел Каблуков, расплывался он как-то; перчатка — исчезла; сюртук — расстегнулся; от цилиндра же не осталось помина: промятая широкополая черная шляпа на нем появилася; и — ширококрылая крылатка, в которой, покачиваясь на улице, точно барахтался он; Каблуков утолщался, серел, становясь все приземистее; нос пылал с откровенною яркостью; и выгибались ноги; голова же седеющая престепенно откидывалась, губы сжались и выпятились, точно кислое что-то отведал он; он приобрел теперь вид настоящей брюзги; и немного неряхи. Являяся в гости, уже не держался у стенки, не вскакивал предупредительнейше перед дамой, чтоб стул предоставить ей, перегибая талию его стянувшего сюртука; появляясь в дверях настоящей брюзгою, без талии, с явно болтающимися полами незастегнутого сюртука, переваливаясь и не глядя направо-налево,— шел прямо он в кресло, чтоб в нем распластаться, капризно играя пенснэ и дугой выгнув ноги; он не так уже вслушивался в громкий говор застольных речей, не прицеливался к разговору, как прежде, чтоб вставить с волнением слово в него; севши в кресло, совсем не прислушавшись к речи, которую перебивал он, довольно некстати, пререзко, прегромко высказывал мненье свое о вопросе, в который часто и не был совсем посвящен; в девяностых годах, соглашаяся ласково со стариками, порой принимая журьбу их, теперь, в девятисотых годах, сам журил он неласково и придирался, прочитывая несвоевременные наставления.

Первый образ его связан мне с посещеньем журфиксов родителей; второй с посещением моих воскресений, где собиралася молодежь (художники, литераторы, поэты, критики); в этот период в нем расковалась престранно речь; и он потерял способность произнести внятно простую фразу, впадая в психологические, звуковые и этимологи-

ческие чудовищности, которыми он себя обессмертил в Москве; и желая произнести сочетание слов «химия и физика», произносил «химика и физия»; и тут же, спохватываясь,— «совсем не то»,— начинал разъяснять новыми чудовищностями, в которых «я», то есть совсем не «я» фигурировало то и дело.

В Иване Алексеевиче было много беззлобного, вполне добродушного; вот уж кто не мог внушить никому страха (за исключением «Каблукова, ассистента на экзаменах»: тот внушал страх); его обильные щипки, нотации, им читаемые молодежи, вызывали веселый, дружный, добродушный смех; он, не обижаясь нисколько, продолжал назидания; нападение его на нас не походило на нападение коршуна на кур; скорее напоминал он увязавшуюся за курами одинокую, дотошно крякающую утку; есть утки такие; привяжутся к курам, и ходят, и ходят, и ходят за ними; и дергают хвостиком; и крякают — даже щипаться пытаются (уточные носы не опасны!). И кряком, и закидами головищи, и перевальцем Иван Алексеевич в эти годы напоминал мне стареющего одинокого безуточного селезня; оттого-то он всюду сидел; сидел и крякал, перетряхивая пенснэ, посаженное на кончик носа (оно не держалось); и я любил добродушное появленье Ивана Алексеевича, не вполне понимая, почему он бывает на воскресеньях, а не просто делает визит матери, когда у нас в доме нет недостойной публики, которая — мишень насмешек всех бульварных газет.

А ему что-то нужно было: при нем музицировали, читали декадентские стихи; Иван Алексеевич сидел, слушал, молчал, ни на кого не глядя; и вдруг, обрывая шум, перекрякивая его некстати, изрекал важную, по его мнению, культурную истину, ни капли не относящуюся к химии, вроде:

— Вопрос об отделении государства от церкви не маловажен.

И оглядывал Астрова, Рачинского или кого-нибудь из церковных спецов, посещавших меня в те годы, радуясь, что просветил наши сознания этой Америкой, им для нас принесенной.

И все же он вслушивался в то, что кругом говорилось,— именно тогда, когда делал вид, что не слушает; в нем жили какие-то внутренние потребности вне науки, которые он не вполне себе сформулировал; он по-своему тянулся к проблемам культуры; и этим объясняется появление его всюду.

Очень любил он музыку.

Впечатление об Иване Алексеевиче — впечатление о добром, порядочном человеке, старающемся заглянуть за пределы ему отвоеванного в науке места; смешные стороны, в нем подчеркнувшиеся, вызывали улыбку; беззлобную и не обидную для профессора, потому что она не задевала уважения, которое он нам внушал.

9. ПРОЩАНИЕ С ДЕМЬЯНОВОМ

Лето в Демьянове — последнее детское лето;[154] оно мне звучит по-особенному; я прощаюсь с прудами, с полями, с аллеями, уж не подернутыми романтической дымкой; я знаю: мы больше сюда не вернемся: открылися крупные расхожденья между Танеевыми и родителями.

Переменилися обитатели: нет Феоктистовых, Трувелеров, Перфильевых; Веры Владыкиной нет; нет и Бутлер; исчез образ Джаншиева; и Сергей Иванович, композитор, уже не мелькает в аллеях; живут Сыроечковские, семейство инспектора четвертой гимназии; с Борей, Володей и Женей Сыроечковскими я играю в индейцы; живут Аппельроты,— два брата: Владимир Германович, веселый, рыжебородый филолог, которого любят за лихость, за декламацию и каламбуры. В. Брюсов сердечно его поминает в своих «Дневниках», как прекрасного преподавателя латыни (в гимназии Поливанова);[155] он — скоро умер; а брат его, Герман Германович, математик, ученик отца, будущий профессор, претихий, предобрый, в очках, совсем лысенький,— партнер отца по крокету (против Сыроечковского и Владимира Германовича); эта четверка все лето сражалась в крокет: математики против филологов. Вот Дмитрий Дмитриевич Галанин, брадастый, очкастый, умнейший учитель, гуляет в аллеях; семейство Эртелей, друзей Танеевых, переполняет весь парк громким смехом студентика Мишеньки, пением Марии Александровны, розовощекой, дородной девицы, одетой всегда в сарафан, с черной, толстой косою; старушка их мать — очень добрая; и очень громкая; тут проживают Гаусманы.

И тут проживают Лопатины.

Старичок, отец «Левушки», козлоподобного «ангела», Михаил Николаевич Лопатин, почтенный судеец, весьма мне приятен; жена его, Екатерина Львовна, рожденная Чебышева (сестра математика), явно мирволит мне,— не так, как *сынок*, Лев Михайлович, приват-доцент, здесь заканчи-

вающий диссертацию «Положительные задачи философии»; [156] его и не видно; к нему приезжает В. С. Соловьев.

Мы подглядывали, веселясь, как в поля, на заре продвигается медленно четверка Лопатиных; шли, точно выровненные, стройной линией, глядя в спины друг другу; каждый член дома весьма отстоял от других (не менее, чем на двадцать шагов); дистанция не нарушалась ничем. Впереди, заложив руки за спину, мерно, торжественно старый *папа* вел *мама*, подняв голову, точно гусак, выбирающий путь гусенятам, гусыне; и в двадцати шагах так же торжественно, мерно седая, сухая, морщинистая, но прямая, как палка, *мама* продвигалась, блистая на солнце очками, вперившися в спину *папа*; она зонтиком, точно острейшей пикой, нацеливалась на песочек дорожки пред тем, как им ткнуть; за *мама*, ей уставившись в спину, блистая такими же золотыми очками и так же отставши на двадцать шагов, шел философ-сынок, вздернув голову; совсем как *мама*, но — в штанах, при бородке; старался не озираться; характера не выдерживая, все ж озирался: на псов; перед маленьким песиком крупный философ готов был, присевши на корточки, громко взорать от испуга, пока прибежавшие дачники его не выручат; и уж за ним в отстоянии том же, походкою тою же, бледная барышня шла, вперед вытянувшись и нацеливаясь своей тростью в песочек: Екатерина Михайловна, дочка.

Выйдя в поле и став на бугре, престарелый папа снимал шляпу, рукой заслоняясь от света, любуясь закатом; и, став в отстоянии друг от друга (на двадцать шагов), любовались закатом: *мама*, сын и дочка,— на полубугре, под бугром, при болоте; *папа*, поворачиваясь и тою же дорогой домой возвращаясь, встречался с *мама*; пройдя десять обратных шагов; а *мама*, отсчитав после встречи свое расстояние, круто повертывалася у той самой кочки, где и *папа* повернулся; повертывались: Лев Михайлович, Екатерина Михайловна — там же; не нарушалось равнение плац-парада вечернего.

И выбегали смотреть из всех дач, обсуждая порядок глубоко безмолвных прогулок: до полевого бугра; и обратно.

С мама я дружил; мадемуазель заводила на дачу Лопатиных: сиживали, пили чай; Лев Михайлович прятался; над потолком топотал сапогами; он бегал и взад и вперед, когда думал; обдумав, строчил: ночи, дни; уже вечерами,

идя мимо дачи Лопатиных, видели свет во втором этаже: штора спущена; тень бородатая дико металась на шторе; философ Лопатин сражался с философом Рилем *.

Указывали на беспокойно страдавшую тень; говорили:

— А вон Лев Михайлович!

— Все философствует он!

Когда ночь выдавалась и тени деревьев казались особенно жуткими, то молодежь, подступая к окну, принималась кричать:

— Лев Михайлович!.. А!.. Лев Михайлович!

Бедная бородатая тень останавливалась за шторой, молчала; ее вызывали; взлетала стремительно штора; и, бородою бросаяся в ночь из окна, превращенный из тени в живую персону, как филин заухавший, страждущий любомудр отзывался:

— Хохо, господа: что такое?

— Гулять!

— Не могу, не могу: я работаю...

— Чудная ночь!

— Не могу.

Начиналося упорное приставание хором до мига, когда свет в окне угасал, а внизу отворялася дверь; и показывалась оголтелая, маленькая, гладенькая, какая-то овечья головка, растерянно протаращенная бородою — в ночь.

И мгновенно подхваченный под руки (справа и слева) смеющейся молодежью, философ насильно влачился по парку — по самым дремучим и жутким местам, где крестьяне и няньки встречали тень старого самоубийцы; философ дрожал, похохатывая, как плотва между рук, наслаждаяся собственным страхом и пуще пугаяся; молодежь под предлогом прогулки с коварною целью таскала его между складками черных теней и луной озаренных берез; Лев Михайлович, перепугавшись, испытывал поэтическое вдохновенье рассказчика страшных рассказов, которые он в годах собирал: так, уверившись, что он напуган, к нему приставали:

— Рассказывайте что-нибудь; да — страшнее!

И увлекали его к нам на дачу; в громаднейшем зале, ненужном совсем, мать поставила свой инструмент, превратив залу в клуб; с утра до ночи здесь музицировали; вечерами же пели хором; сюда и тащили Лопатина; здесь его усадив на диван и обсев, щелкали орехами, слушая дикие страхи; Лопатин, взволнованный, с неподражаемой

---

* Содержание второго тома «Сочинений Лопатина».

силою чувства мял ручки, испуганно похохатывая и выпучивая зеленоватые, овечьи глаза:

— И,— глаза навыкате,— «дверь»,— руки терлись, а борода так и прыгала...

— Дверь отворилась; и странное эдакое, знаете ли, весьма неприятное,— он косился на дверь,— дуновение пронеслось.

В ответ — дружный хохот.

Уже после ведомый домой через парк, переживал муки страха он; а фонарек, ему данный, плясал в его пальцах.

Рассказывали: один раз привели его к нам вместе с другом, приехавшим навестить его: Владимиром Соловьевым, которого прежде видел я (у нас и у Стороженок);[157] на этот раз я не видел его: уложили в кровать; говорят,— Лев Михайлович подмигивал на Соловьева:

— Его попросите — хохо — рассказать что-нибудь: говорят, что он видит какую-то — хохо — тень розовую.

И в ответ Соловьев, бородатый, косматый, заржал, как ребенок, от смеха; и даже, качаяся туловищем, сапогами по полу стучал: так смешны показались подмиги Лопатина.

Та клубная комната — неисчерпаемый источник восторгов; почти каждый вечер брат Льва Михайловича, Николай Михайлович, мировой судья, собиратель народных песен, их пел своим сиплым, надорванным грубоватым голосом: пел превосходно; а М. А. Эртель, невеста его, аккомпанировала часами; в постельке же я замирал, песни слушая.

Николай Михайлович был полною противоположностью Льва Михайловича; мужественный, сдержанный, брюнет с сиплым басом (он попивал); ходил угрюмый и мрачный, хотя в женихах состоял; скоро умер он.

Демьяново промелькнуло сном светлым и быстрым: со мною была мадемуазель, верный друг.

А когда переехали в город, отец мой, однажды встав рано, сказал:

— Ну, Боренька, одевайся, голубчик мой: мы — к Льву Ивановичу Поливанову; я вчера с ним беседовал; и он — нас ждет: тебя проэкзаменуют,— и прочее там: я нарочно вчера ничего не сказал, чтобы не волновался ты; курс уже пройден; и, стало быть, какая же подготовка к приемному испытанию?

Так совершилась судьба,— и я стал поливановцем.

Глава четвертая

ГОДЫ ГИМНАЗИИ

1. ЛЕВ ИВАНОВИЧ ПОЛИВАНОВ

Всякий раз, когда память выкидывает мне сентябрь 1891 года, у меня впечатление, будто дверь в мою жизнь отворилась; и жизнь оказалась лишь детскою комнаткой; дверь отворилась стремительно, с катастрофическою быстротой; и в пороге ее встала вытянутая, великолепнейшая фигура Льва Ивановича Поливанова, чтобы в следующий момент мощным львиным прыжком опрокинуться на меня. Высокий, сутулый, худой, с серой, пышно зачесанной гривой на плечи упавших волос, с головою закинутой (носом приятно скругленным — под потолочный под угол), с черно-серой подстриженною бородою, щетиною всклоченной прямо со щек, прехудых, двумя темными ямами всосанных под мертво-серыми скулами,— очень высокий, сутулый, худой, с предлиннейшими, за спину закинутыми руками, в кургузой куртченочке синего цвета, подчеркивающей предлинные и прехудейшие ноги, он ринется вот на меня ураганами криков (от баса до визга тончайшего), кинется роем роскошеств, развертывающих перспективищи.

Как описать мне его?

Всякий раз, когда я прикасаюсь к перу, чтобы им зачертить силуэт Поливанова, я отступаю; попытка наталкивается на почти непреоборимые трудности; очень легко подчеркнуть для писателя нечто типичное в человеке; отвлекшись от частностей, выявить это типичное; и невозможно почти зачертить тип готовый; попробуйте дать силуэты Сикстинской Мадонны иль микельанджеловского Моисея; тут фотография действует с большею легкостью, чем живописание публициста и даже художника слова. Вот первое признание о Поливанове; законченный тип иль портрет, нарисованный кистью великих художников, бурно вырвавшийся из рамы в жизнь быта Москвы, в нем сло-

живший себе свою раму; и в раме заживший; рама — дом Пегова, стоящий на углу Пречистенки и Малого Левшинского переулка[1].

Да, Лев Иванович поражал воображение: всех воспитанников (от приготовишек до восьмиклассников), продефилировавших мимо этой фигуры на протяжении минимум тридцати лет; ставши студентами, преподавателями, профессорами, артистами, они продолжали сбегаться к этому в собственной раме стоящему произведению Микель-Анджело (под формою посещенья вечерних субботников Льва Ивановича в том же доме Пегова); Лев Иванович поражал воображение преподавателей Поливановской гимназии; поражал воображение всех, приходящих с ним в конкретное соприкосновение. И, вероятно, он-то и пленил навсегда такого крупного умницу, каким был покойный Сергей Алексеевич Усов, когда этот последний между лекциями по зоологии прибегал в дом Пегова читать воспитанникам Поливановской гимназии лекции о Микель-Анджело, которого он так любил; Лев Иванович впоследствии дал прекрасные воспоминания об этих лекциях;[2] но он, разумеется, не отметил: среди произведений великих итальянских художников было одно художественное произведение, которое постоянно восхищало «художника» в Усове; и это произведение — Лев Иванович Поливанов, один из «пророков», заготовленный Микель-Анджело для Сикстинской капеллы и случайно не попавший в компанию Даниила, Иезекииля и прочих художественных шедевров.

Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр; тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммою этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. Все прочее, что не вмещалось в «педагоге», не было интересно в Поливанове; не были интересны его живые и трудолюбивые примечания к ученическому собранию сочинений Пушкина «для воспитанников»;[3] не было интересно толстое сочинение о Жуковском под псевдонимом «Загарин»;[4] даже живые, прекрасные его хрестоматии[5] не были интересны по сравнению с Львом Ивановичем, оперирующим этими хрестоматиями; ничто сумма «трудов» Л. И. Поливанова по сравнению с Л. И. Поливановым, оперирующим этими трудами для воспитанников именно «частной гимназии Поливанова»; но в его руках, при его исполнении эти труды превращались в фуги и мессы Баха; а его визг,

рев, вскрик, интонация, жестикуляция (все способы «вжигать» в воспитанников любовь к прекрасному) — выглядели «райскими песнями» какой-то супер-Патти.

Вспоминая эти симфонии живых действий, вытравляющих в душе, как в гравировальной доске, неизгладимые линии жизни,— видишь: в этих действиях мы схватывали не проповедуемое нам «что», а «как» подхода к явлениям живого слова.

Живет себе тихо, не зная бурь, эдакий одиннадцати — двенадцатилетний мальчонок; в один прекрасный день поведут его по Левшинскому переулку в дом Пегова; он думает, что это его отдают в гимназию; гимназия — ни при чем; гимназия — рама; не в этом вопрос, хороша или дурна «Поливановская гимназия»; она может быть и дурной, и хорошей; впечатление от нее — побочное; суть в том, что внутри этой рамы — какая-то пещь Даниила[6] иль яма со львами; впечатлительный мальчик и не подозревает, что в этой гимназии его посадят между прочим и в львиный ров; «лев» нападет с рыком и ревом; и перепуганный мальчик будет думать: «лев» его съест, а «лев», оскалив зубы, рыча и прыгая вокруг него, в самый страшный момент вдруг превратится в некое нежное видение; и вместо «льва» появится Лев с большой буквы (так звали мы Льва Ивановича) и, сломав все обычные перспективы детской комнатной жизни простым нарисованием на доске «орла» римского легиона, введет в широкую и интереснейшую картину, если это случится в первом классе, где он преподавал латынь; если это перерождение сознания случится в четвертом, то произойдет это за фабулой метаморфозы приключений древнеболгарского «юса» (урок славянской грамматики); он заставит пережить превратные судьбы «юса» в его блуждании по корням, как если бы мы читали приключения Казановы;[7] и превратив звук «юса» в «иотту», подписываемую под долгим «о» (омегою), наконец убьет захилевшего «юса», перечеркнув его мелом на доске и взорав над ним:

— На Ваганьково * его, на Ваганьково!

И потрясенный отрок на всю жизнь с широко открытыми глазами будет вперен в тайны метаморфозы звуков; и будущая сравнительная филология будет ему открытою книгою этою заранее загрунтовкой.

Если это будет урок в старшем классе, и именно объяснение значения Шекспира,— будьте уверены: после этого

---

* Ваганьковское кладбище.

урока «воспитанник частной гимназии» будет в годах урывать все свободное время, чтобы отдаться чтению Шекспира и проблеме театра в ущерб успехам своим в «частной гимназии Поливанова»; и учителя истории, математики, латыни отметят:

— Воспитанник Бугаев перестал учиться.

Не перестал учиться, а начал «учиться Шекспиру», который был ему подан, как, во-первых, Шекспир, во-вторых:

— Как, вы не видели Федотову в роли лэди Макбэт?[8] Бросьте все и бегите!

Ему уж заодно будет подана великая воспитательная роль театра,— с визгом, с криком, с брыком длинных, подскакивающих ног, с Росси, детали игры которого будут поданы ученикам;[9] и — класс сбежится к «Льву»; и «Лев», забыв, что урок кончен, что и перемена меж уроками прошла, что нетерпеливый учитель следующего урока стоит у двери и ждет, когда же директор опомнится и уступит ему место, объясняет значение Росси. Опомнится? Какое там! После такого разбора и даже воспроизведения жестов Росси,— кончено: и воспитанник Бугаев, и весь класс за ним по законам овидиевой метаморфозы[10] превращен в «шекспиристов»;[11] отныне — Шекспир, Малый театр, Ермолова, гастроли Мунэ-Сюлли[12] вытеснили приготовление уроков; и учитель латыни удвоит количество двоек, не понимая, кто же испортил класс («испортил» — директор: Шекспиром или Софоклом); а учитель истории, сам бывший «поливановец», сам некогда с гимназической скамьи заигравший в шекспировских ролях (и даже игравший Ромео под режиссурой Поливанова),— тот все поймет: я говорю о Владимире Егоровиче Гиацинтове[13], преподавателе истории и географии некогда:

— Отчего вы урока не выучили?

— Как же, Владимир Егорович, ведь у нас Лев Иванович?

Он улыбнется сочувственно (сам понимает); и лишь для проформы заметит:

— А все-таки надо было выучить.

Но двоек не выставит, ибо двойки по истории не выставляемы там, где незнание новой истории от узнания параграфа в истории западной литературы: был урок объяснения роли Шекспира; произошло событие, выгравировавшее в целом классе неугасаемую любовь к театру; и — навсегда.

В казенной гимназии за незнание урока истории поставят двойки; а в Поливановской будет учтено, что незна-

ние — от узнания; неуспех — от успеха; и уже в одном этом огромная победа над «казенщиной», которую так ненавидел Лев Иванович; как увидит у «воспитанника» казенного типа тетрадку для записывания уроков, вырвет ее, взорет, подчас разорвет:

— Терпеть не могу этой каа-зее-ооо-нщины!

И «о» огласит весь дом Пегова, и надзиратель испуганно выскочит из учительской; не случился ли пожар? Владимир Евграфович Ермилов, известный московский пародист, одно время служивший воспитателем в Поливановской гимназии, мне не без шаржа рассказывал:

— Сижу я раз в пансионе... Вдруг слышу — громкий плач грудного младенца... Выскакиваю, бегу коридором: где младенец? Откуда он... Прибегаю к классу; дверь закрыта; оттуда — младенческий, пронзительный плач; приоткрываю дверь; и вижу: класс сидит, затаив дыхание, а Поливанов, сидя на собственной ноге и махая книгой в воздухе, дико плачет.

Вот эти-то громчайшие «и», «о», «а» и наводили ужас; и — впечатление: Лев разорвет отрока Даниила;[14] но скоро отрок начинал понимать, что эти разрывы ведут не к смерти, а к вложению огня в разорванную грудь:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Чаще всего происходило явление:

Открылись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы[15].

Воспоминания о Льве Ивановиче оттого так трудны, что они сводятся не к описанию этой неописуемой внешности, точно соскочившей с потолка Сикстинской капеллы, а к воспоминаниям эффектов возжжения им в нас, «воспитанниках», разного рода «любвей»; градация этих «любвей» — градация классов; в каждом на что-нибудь открывались глаза; в третьем классе на скульптуру фразы (и под формою этой эстетики прояснялся синтаксис); в четвертом — превращения «юсов» лишь — портал, под которым мы проходили для восприятия красот «Слова о полку Игореве»; в пятом — огромной трубою Поливанов-трубач нам вструбливал Шиллера, геттингенскую душу[16] и высокое, чистое отношение к женщине. Каждый класс —

новое действие раскрытия нам живого слова; и Поливанов несся с каждым из классов сквозь классы, опять для себя переживая заново основные свои увлечения: римской историей, эстетикой синтаксиса, учением о драме Аристотеля, чтобы в восьмом классе добить уже усатых молодых людей: любовью к Пушкину.

И что замечательно: мы, пережженные восторгами, выходили в жизнь с открытыми глазами на искусство, а что, собственно, думал Лев Иванович о таком-то и таком-то произведении,— не играло никакой роли; я, например, не разделяю ряда его привязанностей и нелюбвей, как-то: нелюбви к поэзии Фета и слабости к вялой поэзии Я. П. Полонского, с которым он лично дружил; [17] не это — важно: важен взворот психики, кризис сознания, который он производил — всем: нападками, несправедливостями, криками, перевоплощением в материал слова, в факте простого чтения его нам и предложения рассказать именно не своими словами:

— Как тут сказано!

И мы заучивали почти назубок пересказы: без отсебятины.

— Какой формалист!— могли бы воскликнуть недогадливые «психологи», стремящиеся развивать любовь к смыслу, а не к форме; Поливанов, учитель логики, и развивал в седьмом классе в нас любовь к этому логическому смыслу; Поливанов-словесник развивал именно в нас любовь к форме; и знал: переложить пушкинскими выражениями пушкинский стих,— значит развить ухо к стилю; так задолго до формалистов он знакомил нас со всеми положительными сторонами формального метода, элиминируя его мертвость.

Действовало не «что» его слов, а «как» его стиля, подхода; и он весь был не «что», а «как»; не автор трудов, интересных, но не исчерпывавших и тысячной доли его влияния на нас; не мыслитель, не идеолог, врубавший в нас «догму», заполняя воображение школьников, а стоящее перед нами на протяжении восьми лет произведение искусства, вышедшее из рамы картины, ставшее трехмерным,— произведение резца Микель-Анджело, одинаково пленявшее умницу Усова, покойного Сергея Андреевича Юрьева и трех сынов Усова, поливановских мальчишек.

И эта пленявшая сила стиля, проводимого во все детали жизни под кровом дома Пегова, и была силою педагогического воздействия, о которой не скажешь; как игра Мо-

чалова не передаваема в воспоминаниях, а была бы передана лишь в том случае, если бы Гоголь написал рассказ «Мочалов»; так и Лев Иванович мог бы живо восстать, как деятель своего времени, если бы, например, у него учился тот же Гоголь, потом написавший очерк: «Лев».

И я, в этой книге, посвященной зарисовке не личностей, а социальной среды конца века, не могу, отстранив иные задания книги, дать своей монографии: «Лев Иванович Поливанов».

Оттого и муки: ведь легко зарисовывать типичное в обычном человеке; коли перед вами стоит готовый «тип», подобный «типам» мирового искусства (наряду с Гамлетом, с Пиквиком, с Брандом и т. д.), то — слова немеют; и вместо абзаца книги «Лев Иванович Поливанов» с пера срывается крупная, чернильная клякса.

Считаю: вполне не случайно, что рама, в которой годами дышало на нас впечатлением искусства лицо Поливанова, впечатывая в душу стиль красоты,— эта рама, или дом Пегова, теперь — «Государственная академия художественных наук»[18].

Никогда не забуду я утра, когда мой отец меня вывел из дома Рахманова[19] и, усадив на извозчика, повез на Пречистенку, в дом Пегова; дорогою он говорил:

— Может быть, Лев Иванович, оставив формальности, тут же при мне проэкзаменует тебя...

Но Лев Иванович был именно «формалист», не в смысле казенщины; под словом «форма» разумею — конструкцию, стиль; Лев Иванович был «стилист»; и он понимал прекрасно, что значит для мальчика поступать в гимназию; вопрос не в проверке знаний; какие же проверять знания у ребенка, поступающего в первый класс, владеющего хорошо французским, сына известного математика (владеющего, стало быть, и основами математики); остаются правила правописания, которым все равно ребенок будет обучаться, да закон божий, который все равно он будет проходить; суть не в проверке знаний, время которой — десять минут, а торжественное введение ребенка в зал, по которому бегают двести «воспитанников»; гул изумления и любопытства при виде «новенького» и представление этого «новенького» надзирателю и товарищам по классу; важно для поступающего высидеть день в классе еще не в качестве принятого, а принимаемого; важно, чтобы ребенок пережил и волнение ожидания, и торжество

узнания, что он «выдержал»; тут не проформа, а представление, выдержанное в своем «стиле», и прекрасное по итогам.

Кроме того: отец, требовавший от меня знания на «пять с плюсом», мог меня смутить более, чем сам Поливанов.

И хорошо сделал последний, что не сразу напал на меня в присутствии отца с вопросами, а увел в зал, развлек видом классов, ослепил новизной впечатления; и между уроками рисования и чистописания, вовсе не страшными, я был подвергнут так называемому «экзамену»; диктант я написал вместе с другими; а по арифметике спрашивали меня после большой перемены.

Все было для меня стильно, ново, торжественно; и — вовсе не страшно.

Никогда не забуду томления ожидания, когда представительный швейцар Василий провел нас по лестнице, обрамленной белыми колоннами, и потом, огибая ее, мимо зала, гудящего мальчиками, провел в директорский кабинет, соединенный с квартирою Льва Ивановича (кабинет этот, кажется, теперь в помещении заведующего «Гахном» П. С. Когана); шкафы с книгами, деревянная, пестрая мебель; вдруг дверь сорвалась как бы с петель; из двери влетел Поливанов, казалось, огромным прыжком оказавшийся в центре комнаты; высокий, сухой, но какой-то кургузый: не то красавец, обросший щетиною, и от этого приобретающий сходство со зверем, не то продушевленный, одухотворенный осел (было что-то ослиное: в носолобости: в несколько покатом лбе, переходящем в покатый, большой, бледно-матовый нос,— именно не орлиный, скорее — лошадино-ослиный); меня поразил этот скуластый и гривистый очерк лица двумя темными всосами щек, прилетевший на длинных ногах, на меня остро бросивший выблеск стеклянных очковых кругов; и меня поразила быстрота вихревая каждого выброшенного движения, выброшенного точно взрывом в груди: точно каждое — результат сердечного разрыва; и вместе с тем: поразила скованность, стянутость, как бы мертвость мгновенных пауз между движениями; не чувствовалось ничего среднего в этой смене пауз и жестикуляционных разрывов: точка мертвого штиля; и ураганный взрыв голоса, головного закида, подброшенной ноги и взвитой в воздух руки, мгновенно убранных в новую мертвую, вещую, стянутую пау-

зу. Эта смена сознательно скованной выдержки, с которой он, выслушивая отца, точно притаивался, вбирая в себя глазами и всеми порами кожи слова его, чтоб разорваться, как бомба, и раскидаться в движениях ответного слова,— эта смена движений меня поразила: изумление перед невиданным явленьем природы пересилило и приятно-забавные впечатления от его пленительной и показавшейся мне доброй улыбки, и перепуг паузы, во время которой улыбка молниеносно слетала с бледно-зеленоватого, многолетней бессонницею выпитого лица (кожа да кости,— одер!): рот становился зловеще безгубым (полоска!); ноздря ж угрожающе выпыхивала кипятки точно бешенств невиданных, и под серой щетиной подпрыгивал четкий кадык; вот Атиллой обрушится на меня, на отца; миг: морщиночки, проиграв, как лучи, на худейших щеках, освещали лицо пречудесно; и молния света слетала с очков золотых.

— Прево...сходно!— отчеканивал он: прево — произносилося под губами раздельно, тихо, быстро; а сходно, разъезжаясь на «оооо», громовом, басовом и грудном, выгибало сутулую спину, как бы подскочившую над в нее севшею, гривисто откинутою головою; грудь выпячивалась колесом, а рука, мертво легшая на спинку кресла, широкой, приветливою спиралью развертывалась во всю комнату; и — ко мне обращенье:

— Пойдемте же!— быстрой, раздельной скороговоркой; и после «друг мой» (с подчерком спондея): 20
«друг» — голосовой удар; «мой» — голосовой удар.

Первое, что поразило меня: изумительная проработка голоса, владеющего не нашими «пьяно» и не нашими «форте», спускающегося на «басы» ниже протодьяконских и тотчас взлетающего в дишкант, напоминающий комариный писк, в миллион раз усиленный, или напоминающий перетирание тряпкой стеклянной посуды, когда она начинает повизгивать; невероятно, почти ненормально расширенная клавиатура голоса и ненормальная выпуклость предложений, слов и слогов, производящие впечатление не то красоты, не то уродства, как нечто невиданное и неслыханное.

Так бы я выразил первое впечатление от этой странной фигуры, производящей такие выпукло увеличенные жесты, обрываемые вогнуто увеличенным и тревожащим просто молчанием; и в такт к этой выпуклости и вогнутости взвизги, взревы, но артикулирующие и выбивающие слова слог за слогом, точно выбиваемые медали каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Очень скоро я понял: изумление

это, невольно вызывающее нервный смех, есть изумление дикаря, которому первоклассный декламатор впервые прочел первоклассное стихотворение Боратынского, выбивая в душе словесную орнаментику; и, подчиняясь этой уже орнаментике декламации, двигались мускулы лица, развертывались и свертывались конечности.

Ну — да: Мочалов, снятый с подмосток сцены в момент произнесения с ног сшибающего монолога и поставленный лицом к лицу с вами: вам этот монолог произносящий в ответ на ваш житейский вопрос; согласитесь: выдержать Мочалова десятилетнему Бореньке — не легко; и осознать впечатленье свое от этого обращения театрального гения к нему всериоз — диковато: не то смеяться, не то плакать, не то в испуге крестить живот (как крестили в испуге мы животы перед каждым уроком Льва Ивановича), не то прийти в восторг от красоты этой ураганной стихии, но скованной педагогическим гением, отдающимся до дна любой стихии, но сперва четко учитывающей, какую стихию выпустить из своего перенумерованного инвентаря; Поливанов отдавался безудержно: гневу, любви, восторгу, проклятию, предварительно взвесив в паузе, так меня испугавшей своею скованностью, какую же в самом деле стихию двинуть на ученика, ибо стихии, видимо его разрывавшие, были в сознании его четко перенумерованы: стихия «а», стихия «б», стихия «це», как роли (роль Шейлока, Отелло, Ромео, Юлия Цезаря[21] и т. д.); и весь этот инвентарь великой игры, игры перманентной, игры в жизнь ради идеологических соображений, и был жизнью Льва Ивановича, отданной для воспламенения и выковки культурных бойцов, вооруженных пафосом, как мечом, из ему отданных мальчат: Боренек, Васенек, Петенек.

И оттого-то первая встреча Бореньки с этим великим артистом под формою педагога была кризисом сознания Бореньки; если Боренька плакал от прочитанных ему сказок Андерсена, что же должно было случиться с ним, когда он увидел в качестве высокохудожественной материи — не картину, не словесный образ, а двуногого человека, слово, ставшее плотью, плотью сухой и костлявой, но все же плотью (в очках, в синей кургузой куртке); и это художественное явление — не случайный залетный гость, как подслушанное чтение «Призраков» Тургенева, а человек, которому отдают «Бореньку»,— директор, руководитель, гроза гимназии, который поведет по годам разных классов и в каждом создаст с обстановочным громом в душе «Бореньки» художественное творенье свое.

Я нарочно так долго задерживаюсь на этой первой встрече с Львом Ивановичем Поливановым; каждая следующая встреча — первая встреча, ибо никто никогда не мог заранее знать, как будет реагировать «Лев» на тот или иной поступок того или иного из «воспитанников», как человек и как директор; его поступки — художественные интуиции, но на платформе многолетнего изучения детской, отроческой, юношеской души в ее многовидных вариациях; и на любую вариацию он реагировал вариацией своей вечной «поливановской темы», которую мы никогда не видели обнаженно в сухом лозунге, правиле, запрете, зарегистрированном наказании; его лозунги, правила, награды, запреты были всегда постановкою новой пьесы, в которой он, великий артист, ослеплял нас, ввергая в горькие слезы; но и исторгая слезы восторга и благодарности.

Оно и понятно, что он в годах испепелил себя; все сытое, жирное, бытовое перегорело в нем без остатка; и оставался скелет темы, да сухожилия, производящие свои удивительные художественные сокращения, да кожа, замыкающая эту конструкцию в прекрасную, как из слоновой кости выточенную форму.

А голос, взлетающий, оглушающий, тихо лепечущий, и поющий, и вопиющий, и глаголющий чеканною скороговоркою баска, безо всякого почти комментария врезал нам в души художественные произведения: Шекспира, Софокла, Пушкина; объясненье Поливановым текста было часто простым прочтеньем, но прочтеньем, ощупывающим добро материала и подающим нам метафору за метафорой так, что она сопровождала нас в годах.

Помнится, как он нам, пятиклассникам, за уроком, объясняющим эпос Гомера, читал прощание Гектора с Андромахою и смерть Гектора; он читал, а у меня щекотало под горлом; и я боялся, что слезы хлынут из глаз. Не забуду фразы, им прочтенной, о том, как на могиле Гектора —

...Ульмы
Нимфы холмов насадили, Зевеса великого дщери[22].

«Ульмы» с ударением на «у» (ууу — льмы), прочел он,— и точно присел за книгу, съежившись и оглядывая класс поверх очков голубыми, обращающими внимание на «ульмы» глазами; и «ульмы», «ульмы» гудело в сознании; и мы видели эти «ульмы»; и понимали, что вся невыносимая жалость и сочувствие к Гектору в зыби легких и чуть серебристых ульмовых ветвей; и мы оказались сами под

«ульмами», перенесясь через тысячелетия к самой могиле Гектора.

«Ульмы» — с ударением на «у» прочел он и присел, съежившись, за книгу, а глаза нас оглядывали, точно жаловались:

«Ульмы... Под ульмами и мы... Что? Жалко Гектора?»

И ввинтив жалость в нас так, как Чехов в нас ввинчивает симпатии к читаемому отрывку Гомера, когда мы внимаем ему в роли Гамлета[23], так пронзив нас словом «ульмы», уж быстрою скороговоркой дочитывал:

— «Нимфы холмов насадили»...

И ведь подите: через тридцать три года я, стареющий муж, без волнения не могу вспомнить этого интонационного жеста нам прочтенной строки; ведь за ним — Гомер, весь Гомер, переброшенный из тысячелетий в душу, воскресший в воспитаннике Бугаеве.

На вопрос:

— Любите Гомера?

Отвечу:

— Влюблен в Гомера!

— Почему?

— Меня ввели в сферу его, еще когда был я отроком.

— Кто?

— Лев Иванович!

— Чем?

— А тем, как он сказал «ульмы», — и посмотрел на меня своими голубыми глазами — светло и грустно, с улыбкой, расцветшей из побежденного плача над телом Гектора.

Но так, как читал Лев Иванович, говорил Лев Иванович: с паузами, интонациями, вырезывая броском произнесенной фразочки лозунг жизни, переотчеканивая слова, переотчеканивая и позы; Брюсов, натура, диаметрально противоположная Поливанову (как *надир*, убегающий под землю от *зенита*), осужденная всею ритмической темой своей не любить Поливанова, в сухих набросках «Дневников» одной фразой вылепливает Поливанова; без любви, но — вылепливает (а всех других спутников «Дневников» не вылепливает): «Подал «Кантемира». Лев ужаснулся» (1891 год. Ноябрь, 8). Или: «Входит хладно Лев» (1893 г. Январь, 2). Или: «В бальник Лев... ткнул 5» (1893 год. Февраль, 2)[24]. В «Дневниках» Брюсова — записи протокольны, без художественного остраннения; исключение для «Льва»; «Лев» даже в протокольной отметке является

у Брюсова остраненным, данным в стилизации: «ужаснулся», «хладно» вошел, «ткнул» в бальник 5. И это потому, что всякий жест Льва Ивановича — художественная, произвольно задуманная и непроизвольно проводимая педагогическая игра; и да: он — не ставил баллы, а тыкал их в бальник огрызком толстого, синего карандаша, точно выковыривая в нем яму, когда это была двойка, великолепно влепляя пятерку, точно даря ею на ряд годин; и да: он постоянно ужасался, ужасался молча, иногда малейшей заминке школьника; и брови его взлетали; казалось: расстояние меж глазами и ими — огромное расстояние, что ужасало ужасно; но школьник находился, и подымавшийся бровями ужас бесследно исчезал; и одно это взлетание бровей или посапывание ноздрею при рте, съевшем губы (вобравшем их) пред тем, как разразиться ураганными воплями,— все это так выгравировало ужасание Льва, что мы предпочитали десять единиц, явно поставленных нам, одному этому лишь предостережению (сопению, взлету бровей); или — «хладно» вошел; никто не мог так молниеносно охладеть после лавы чувств, как Лев Иванович; а славянизм «хладно» непроизвольно отмечает торжественность для всего класса охладения «Льва»; самое ужасное было в том, что момент этого охладения предвещал лишь двойку; но суть не в двойке, а в интонации ее влепления или вковырянья в бальник; она могла быть влеплена с грохотом извержения: в пламенах, лавах, ревах и визгах; но она могла и не влепиться; вслед за хладом, скажем до земного нуля, могло последовать тихо отрезаемое с хладом до абсолютного нуля (до «—273 °»):

— Довольно-с!

И седая голова, упавшая бородой в бальник, им закрытая, примирала в нем, а рука, хладно замерзшая, не влепляла, а кончиком пальца вчеркивала микроскопически малую двоечку.

Великолепная интонация всех движений — вот что повергло меня в глубочайшее изумление при первом созерцании к нам с отцом в кабинете влетевшего Льва Ивановича; и ударило на всю жизнь произнесенное им:

— Прево-сходно! Пойдемте же, друг мой!

С этой фразою он, распростившись с отцом и воткнув в рот огромный янтарный мундштук, обдавая дымком папиросы меня, полетел над перилами лестницы, властно закованный позой; а я — за ним; мы внеслись в белый зал, где мальчишки пред ним расступались, ему низко кланя-

ясь; несся в учительскую, пред собою метя перепуги; и я за ним несся.

Влетание это — судьба моя: я влетел в свое очень ответственное восьмилетие; и я влетел, может быть, в свою участь: стать «Белым» — писателем, а не профессором естествознания — Бугаевым; после того, как «сей жрец» в сердце мне возжег пламень поэзии, естествознанье, которое так я любил, все же мне отодвинулось: из первого плана жизни оно стало вторым.

С первого гимназического дня до проводов тела почившего Льва Ивановича (в феврале 1899 года)[25] я жил, переполненный, взволнованный, удивленный и восхищенный образом «Льва», к которому тянулось сознание, как к магниту; не без испуга (никогда не знаешь: огонь, из него излетевший, будет ли тебе чистою игрой света, как северное сияние, или губительной молнией, сразившей тебя); привлекало, взволновывало художественное *чуть-чуть*, о котором принято говорить, что оно — удел гениев; я не ставил вопроса о том, гений ли Поливанов; но теперь, из дали лет, мне ясно, что он весь какое-то *чуть-чуть*; в мине, в позе, в голосе, в поступке,— чуть-чуть направо — и сплошной шарж, гротеск, безобразие утрировки, способное внушить грохот хохота; и да,— чуть-чуть недопонять его: и Поливанов станет смешною фигурою; и обычно поливановцы, с блистающими глазами вспоминая своего «Льва», для «Льва» не видавших начинают рассказывать о каких-то смешных жестах: сидит на ноге, рвет со злобы ученические тетрадки, пляшет и прыгает, как обезьяна, перед доской, объясняя на ней что-нибудь; непонятно, в чем соль. И почему передающие смешные жесты Льва Ивановича сообщают о них с патетическим восторгом; чуть-чуть вправо от непередаваемого оттенка; и — смешная фигура. Чуть-чуть влево; и — сквозь всю смехоту выступит: формалист, педант, бестолково объясняющий урок, заставляющий почти назубок выучивать свои тугие и крутые определения родов поэзии: всякий образованный педагог радуется, когда ученик говорит от смысла, своими словами, а не от школьного учебника, а этот — к учебнику возвращает:

— Нет, как тут сказано!

Педант и несправедливый педант: помню, как, отвечая урок, я тончайше, со знанием дела анализировал образы «Слова о полку Игореве», расплетая труднейшие этимоло-

гические древнеболгарские формы и передавая все детали мной заученного комментария; «педант» — не угомонялся; и гонял меня минут пятнадцать по деталям текста и комментария; и наконец прижал к точке незнания, что при какой-то «ниве» была какая-то маловажная битвочка князька с князьком:

— При какой же,— голосовой удар на «какой», так что дзанкнули стекла,— какой ниве была эта битва, Бугаев?

Название «нивы» — запамятовал.

Поливанов искоса снизу наверх покосился на меня выкатившимся голубым глазом, снимая очки и чеснув очковою спицей за ухом; съел губы, ноздрей запыхтел (дурной знак!).

Я молчал.

— При,— голова с изморщенным лбом затряслась укоризненно очень,— «Нежатиной ниве»:[26] довольно-с!— Он выпыхнул из ноздри; и поставил «четыре с минусом» (и это после пятнадцатиминутного гонянья по тонким деталям, которыми я овладел).

Другой раз, свирепейше вковырнув двойку за неуменье перечислить все в книге указанные примеры спряжений, он вызвал меня:

— Бугаев!

Я встал; и отрапортовал:

— Купить — куплю, любить — люблю, кормить — кормлю, ловить — ловлю, потрафить — потрафлю.

— Довольно-с!

И «пять» гигантских размеров с восторгом влепилось в бальник.

В одном случае за тонкое знание «четыре с минусом» лишь за то, что недовыучил никчемнейшую деталь; в другом случае «пять» за легчайшее и никчемнейшее перечисление пяти слов, которые даже без всякой заучки берутся памятью.

Не формалист ли?

И не нащупав тончайшего, неуловимейшего «чуть-чуть», придется сознать, что столь волновавшие нас события поливановских уроков распадаются, с одной стороны, на смешные, несправедливые, почти безобразнейшие чудачества; с другой стороны, на формальные требования, вытравляющие из голов все живое.

И в наружности Льва Ивановича можно было ощупать без чуть-чуть, порхающего красотою одушевления, лишь две крайности: кривляющийся урод и мертвый красавец; застынет в своей мертвой паузе — правильные черты лица;

и вспоминаешь: Поливанов, явившийся некогда на первый урок свой в одну из казенных гимназий, поразил красотою, изяществом манер и изысканностью наряда; и в минуты, когда морщины изглаживались и он бездвижно окостеневал, выступала красота этого изможденного профиля; он был воистину и прекрасным «львом», но отощавшим и мертвенным от переутомления (шесть уроков в день, дома ночью — правка бесчисленных тетрадок, чтение корректур, книг, научные занятия: он никогда недосыпал; и оттого: часто просыпал свой первый урок от девяти до десяти); а начнет двигаться — обезьяна какая-то, вопящая и нелепо раздробляющая в осколки монументальные куски мела: ударом в доску.

А кто видел порхающее, одушевляющее «чуть-чуть», связывающее рык и скок с мертвою красотою позы, тому и в голову не пришло бы его увидеть красивым или уродливым, ибо и красота и видимая экстравагантность вылепляли его рельеф, рельеф динамический, вечно текущий интонациями; и этот рельеф был прекрасен в высшем смысле; греки имели термин для выражения высшего сочетания положительных качеств: «калос к'агатос» (прекрасно-добрый)[27].

И только в этом термине косо ухватывалось поливановское, нас, как магнит, притягивающее «чуть-чуть».

Мне приходилось когда-то слышать едва ли не каждый день подобного рода замечания о Врубеле:

— Дикое уродство: несосветимый бред!

Так утверждали поклонники Константина Маковского; высшая ступень красоты действовала и на них; но они реагировали на нее, как на бред; и мы, осязая нам данную основную тему Поливанова сквозь всегда летучую ее вариацию,— начинали: либо трепетать, испытывая (да простят мне это выражение!) нечто «мистическое», либо смеяться; но испуг и смех — от недоуменной нервности, от ощущения приподнятости на много тысяч метров над уровнем моря; и строй его педагогических воздействий на нас, как тактика, в нас высекающая то-то иль то-то, казался непонятным; его требование: рассказать не от себя, а от Пушкина, по-пушкински, было апелляцией к процессу нашего вживания в стиль Пушкина (какой же это формализм?); а его импровизация оценок ответов, в сущности, была отрицанием бальной системы, и двойка, полученная у Поливанова, никого не страшила; завтра ее сменяла пятерка.

Одни из учителей, имея любимцев, ставили им снисходительно отметки, придираясь к другим; иные из учите-

лей, силясь быть объективными и оценивая прилежность и знание воспитанников, ставили им за ответ их средний балл; попадешь в «четверочники» — так сиди на «четверках», отвечая на «пять»; или на «три»; спустишься к «троечникам», и — не выпутаешься из «троек». У Поливанова в системе отметок не было любимцев и нелюбимцев; но было настроение данного дня; раскапризничается и — первому ученику за прекрасный ответ поставит «тройку», испортив ему месячную отметку; наоборот, последнему ученику с восторгом поставит «пять»; но эта субъективная несправедливость дня компенсировалась полною непредвзятостью: ему ничего не стоило за незнание поставить «единицу» тому, у кого стоял удручающий ряд «пятерок»; и — обратно; не надо было выслуживаться; если ты года сидел на «двойках» и вдруг, паче чаяния, отвечал на «пять», ты «пять» и получал, не выдвигаясь и не выслуживаясь. И в порядке спрашивания он не придерживался никакой постоянной системы; одни, спросив сегодня, завтра не спрашивают, соблюдая очередь в вызовах; другие, нарушая психологию порядка вызова, ловят учеников (спросил вчера — спросит и сегодня). У Поливанова не было ни системы порядка вызовов, ни системы ловли; он вызывал по вдохновению, а не по расчету.

В целом: ни «двойка» у «Льва» не могла никого удручить сериозно, ни «пятерка» успокоить; ужасались не отметкою, а интонацией, целым «мистерии», именуемой уроками, и восхищались этим целым; а за отметки не цеплялись.

Иногда знаешь урок и знаешь, что Поливанов тебя не вызовет, а потрясаешься «дурной погодой», им разливаемой; другой раз готов плясать от восторга перед — вот перед чем: перед радужною игрою сегодняшнего «чуть-чуть» в Поливанове.

Случай первый: однажды, влетев к нам, первоклассникам, которым он преподавал латынь (а со второго до восьмого он вел занятия по русскому языку, словесности, логике), и позабыв, очевидно, какой отрывок задал он переводить, он начал спрашивать следующий по порядку отрывок, не заданный; понятно,— все путались; весь класс получил двойку; мы с первых же минут поняли: просто забыл он, что задал нам; но никто не решился ему это поставить на вид; и каждый с терпением перемог свою «двойку»; и — без всякого ропота: роптать на «Льва», будь он распрепридирчив, мы не умели. Через две недели

все злосчастные «двойки» исчезли из бальника (сам догадался, что наставил их зря, а они не мешали нам, ибо мы знали, что «пятерки» замоют «двойку»).

Другой случай: однажды он объяснял нам склонение латинского местоимения «хик, хэк, хок» (этот, эта, это); и, увлекаясь, запел на весь класс; что интересного в склонении местоимения? А мы, Ганимеды, чувствовали себя им, Зевсом, унесенными в небеса;[28] но, увы,— звонок; надзиратель открыл дверь класса; «Лев» спешно доканчивал объяснение и призывал нас твердо выучить неправильные формы склонения; призыв так зажег нам сердца, точно он был призыв к интереснейшим забавам: мы с блистающими глазами, бросив парты, обступили столик, на котором он декламировал нам необходимость одолеть неправильные формы; и он сам, вдохновленный, встал I, воздев руку, кричал над нами:

— Надо так знать склонение «хик, хэк, хок», чтоб скороговоркой безо всякого припоминания сыпать склонением: тебя разбудят ночью,— ткнул пальцем в живот какого-то малыша, молниеносно присев перед ним едва ль не на корточки,— а ты, сквозь сон, во сне, заори благим матом из постели,— тут он, взлетев с корточек, закинув голову и потрясая восторженно рукой, заплясал, припрыгивая в такт своего полупения, полувскриков, с привзвизгами.

— Хик-хэк-хок, хуйус-хуйус-хуйус, хуик-хуик-хуик, хинг-ханг-хок, хик-хэк-хок.

Он подпрыгивал выше, подкрикивал громче; и мы вслед за ним стали хором выкрикивать, дружно подпрыгивая; проходящие мимо нас воспитанники старших классов, преподаватели, надзиратель с большим изумлением, не без улыбки останавливались, наблюдая дико-восторженную пляску класса вокруг пляшущего и кричащего Поливанова; можно было подумать, что это — пляска с томагавками каких-нибудь дикарей; отплясавши склонение, вихрем он вылетел в зал, направляясь в учительскую; вихрем вылетели мы, кричащие,— потные, красные; неправильное склонение это мы знали теперь навсегда; никакими усильями воли оно не изглаживалось.

Вот такими-то манипуляциями приводя нас в восторги, он вводил в наши души труднейшие латинские формы; и кабы он провел нас до старших классов, как учитель латыни, мы стали б, наверное, все латинистами; но со второго класса учитель латыни бессмысленно все растоптал, что в душе Поливанов посеял нам.

Эти два случая (коллективного удручения нас коллективною, несправедливою двойкою и повального увлеченья склонением местоимения) для непосвященного — сочетание бессмысленных крайностей: несправедливости и смехотворности.

Урок Поливанова был — гром и свет; он распадался на две части; каждая по-разному взбудораживала; первая часть — спрашивание урока; вторая часть — объяснение; уже за два урока до поливановского вытягивались трепетно лица; в глазах каждого стояло сериозно-задумчивое:

— Это — не шутка: еще неизвестно, что будет... Не так-то легко это пережить.

С утра спрашивали швейцара Василия: «Будет ли Лев?» Л. И. часто отсутствовал (переутомление, недомогание); подкарауливали его приход; едва отворялась дверь над входною лестницей из квартиры директора, как часовые неслись в зал:

— Лев идет, Лев идет.

И екало наше сердце:

— Лев — будет!

Мы знали, что настроение «Льва» прямо пропорционально быстроте его пролетанья по залу в учительскую; недомоганье, бессонница, дурное расположение духа замедляли шаг его; когда он в кургузой куртчонке (потом в предлиннейшем, почти волочащемся сюртуке-лапсердаке: такой сюртук сшил себе) мимо летел ураганом, сутулый, с закинутою головою; прижав к груди книжки, воткнув в угол рта предлиннейший мундштук,— раздавался гул:

— Добрый!

Когда он являлся, ступая едва, съевши губы и ноздри топыря, за спину длиннейшие руки свои заложив,— мы смирнели и даже не смели шептать слово «злой», потому что ведь всякому видно, что штиль этот пред ураганищем в классе, где будут поломаны мачты судов, наших знаний: суда же — утоплены.

Перед уроком такого «Льва» мы, малыши, подбежавши к огромному образу, кланялись образу, дружно крестясь: надзиратели не удивлялись классовому молебну, всегда означавшему:

— У них будет Лев!

Раздавался звонок; мы бросались испуганно чрез проходной ряд классов в свой класс и под партами тупо, бессмысленно перекрещивали животы, а какой-нибудь богомолец, себе ожидающий казни, молился один в пустом за-

ле, чтоб броситься в класс в ту минуту, как дверь из учительской быстро распахивалась; Поливанов, весь стянутый, скованный мертвою позою, несся к нам в класс; появляясь в дверях, он стремительно поворачивался, и «двадцать пять пар перепуганных глаз пожирали скуластый и гривистый очерк лица, двумя темными ямами щек прилетевший и бросивший выблеск стеклянных очковых кругов» («Московский Чудак»)[29], чтобы, откинувшись в кресло, бросать в душу нам препокатый и в серую гриву влетающий лоб (вид Зевеса!), иль, наоборот, севши на ногу, ногу изогнутую поставив на кресло, руками обнять, а на колено худое припасть бородою, ноздрею посапывать (вид мартышки!):

— Ну-с, Кузнецов, отвечайте!

— Что?

— Чтооо?

— Я — не слышу!

— Довольно-с,— вцеплялася двойка.

«Довольно-с» произносилося тихо, зловеще; но иногда бывал вскрик — дикий, жалобно хищный; нога, на которой сидел и которую обнимал, вырывалась из кресла и ударялась о стол; кресло с туловищем, разрываемым криками, отталкивалось: отлетало. Порою же вытянувшись в кресле, в нем лежа, скользил головой и ногами; голова — скатывалась ниже и ниже до... уровня сиденья, а вытянутые, предлиннейшие ноги, пересекши пространство под учительским столиком («кафедр» терпеть не мог Поливанов), оказывались под моею партою (я сидел перед ним), отнимая место для ног: я испуганно их поднимал, чтобы не наступить на башмак Поливанова; иногда в таком вытянутом виде начинал он читать нам балладу Шиллера; вообразите же мой восхищенный ужас, когда он, вдохновленный чтением шиллеровского «Кубка», стал нам объяснять, как «однозуб»[30] (пила-рыба) зазубренным носом распиливает; он лежал длинной палкою, с головою, упавшей в сиденье, и с ногами, лежавшими под моею партою; вдруг из восклицательного знака став вопросительным, то есть изогнувшись в неожиданном подпрыге с вылетом вовсе из кресла, убрав ноги молниеносно, но вытянув длинную, мне показавшуюся гигантской руку, вооруженную синей палкою карандаша, он стал этой палкою целить мне в грудь, вопя благим матом:

— А однозуб — так вот,— он приподнялся на меня, а я откинулся,— так вот распиииии-ли-ва-ет носом врага,— и синюю палку карандаша стал свирепо он ввинчивать мне

в грудь; я — откидываться; рука — за мною; я — повалился головой на заднюю парту; он, привстав и одною рукою опираясь на мою парту, другой догонял мою силившуюся от него ускользнуть грудь, ввинчивая в нее свой синий карандашище:

— Так однозуб распиливает,— наконец от меня отвалился он; но этот номер относился уже ко второй части урока, которую, натерпевшись от страхов и мук, воспринимали мы, как невыразимо благодатную.

На этой, второй, половине урока я остановлюсь.

Едва переваливали мы через бурную и опасную половину урока («спрашивание»), во время которой над каждым могла стрястись неминуемая беда, как нас охватывала радость интереса к мирным, культурным перспективам, которые развертывались пред нами; этот момент я бы назвал моментом перевала.

— Ну-с! — точно облизываясь от предвкушения наслаждения, говорил Лев Иванович, протягиваясь за тем или иным томом «Хрестоматии Поливанова», грамматикой[31], логикой или даже латинскою книжкою «Ходобая»[32].

В первом классе не забуду я, как выгравировались в нас склонения и спряжения этим Бенвенуто Челлини, чеканщиком человеческих душ; он внедрял в нас глагольные формы в их корневой зависимости друг от друга, заставляя на вчетверо сложенном листе чертить схему сочинения, подчинения и соподчинения форм, и на этом уроке преподавания изменения окончаний вводил в интереснейшую игру; и то, что мы даже в старших классах вытверживали неосмысленно относительно других форм, то органически, легко и свободно входило в наше сознание относительно четырех латинских спряжений на «аре», «эре», «ере» и «ире»; или: он заставлял вшивать тетрадку в тетрадку (тетрадки выписанных и заученных латинских слов), подсчитывая количество узнанных в году слов, и заинтересовывал нас вопросом, нагоним ли мы к концу года всю тысячу слов. И всякий думал:

— Тысяча слов: огого!.. Не шутка!..

Так скучный процесс заучивания превращался в интереснейший процесс коллекционерства; и вдруг к концу года он устраивал смотры наших тетрадищ (толстых пачек вшитых друг в друга тетрадочек), иногда вместо урока задавая лишь повтор слов, всех, заученных в этом году; и с таким вдохновением выкрикивал слова, летая пальцами по многим десяткам страниц, что делалось любо-весело: любо-весело, потому что мы, увлеченные знанием слов,

старались перегнать друг друга в их усвоении; мы восхищались количеством слов, и Поливанов радовался, как ребенок, нашему знанию.

Должен сказать, что сквозь все восемь классов гимназии я главным образом пронес знание слов *первого класса*; все неузнанное потом, с другими учителями, как-то не держалось в памяти.

Или, редко весьма, задав урок, он вызывал к доске ученика и давал ему перевести фразу с русского на латинский, не вмешиваясь в процесс перевода, подставив доске спину и весь сжавшись в терпеливом и предвкушающем замирании; и весь класс замирал с ним: от страха и любопытства; он не торопил, не ставил в вину тяжелодумия; можно было хоть десять минут потеть над фразой; он не повертывал головы: часто звонок, возвещающий об окончании урока, обрывал это опасное, весьма интересное предприятие введения нас, первоклассников, в «экстемпоралиа»;[33] я говорю опасное предприятие, потому что балл был вымерен; фраза, переведенная без ошибок — «пять»; с одной — «четыре»; с двумя — «три»; с тремя — «два». Но фраза, переведенная без единой ошибки, переживалась всеобщим и бурным ликованием: Льва Ивановича, переводчика, всех нас. И фраза, за которую я получил «пять», живет во мне радостным лучом и поныне; и я самодовольно твержу ее: «Видемус ин виа магнам турбам агриколарум». Он ее, повернувшись, не прочел, а воскликнул; весь класс, восхищенный, ее воскликнул: бальник украсился огромной пятеркой; я же, пунцовый от счастья, пошел к парте.

Иногда увлеченный объясняемым словом, он рисовал нам образно картину сената, Рима, римского войска, перечислял цвета тог, закидывал себе на плечи воображаемые тоги и прохаживался перед нами, пупсами,— большой, седой, сутулый,— воображая, что он — римский сенатор (он был превосходный актер и имитатор); в результате — новый источник восторга.

Так уроки латинского языка мне стоят в первом классе, как ряд прекраснейших помпейских фресок.

Второй класс,— русский язык: яти, диктанты,— все врезывалось в душу рельефами; и как уроки по лепке из глины художественных конструкций, переживали мы простой синтаксический разбор; он и в него ввел игру, заставляя чертить структурные схемы читаемых отрывков, где большими буквами означались предложения *сочинения*, малыми, висящими на черточках под большими —

предложения *подчинения* со сбоку приписанным подчиняющим словом («что», «потому что», «который» и т. д.); он усложнял фразы, появлялись *соподчинения*, сочинения второго, третьего порядка; мы увлекались сложнейшими орнаментиками; и я не раз себя заставал за постройкою схем вовсе не заданного отрывка, а отрывка, мне понравившегося готикой построений придаточных предложений; выявив утонченную схему, я ей любовался; забегая вперед — скажу, что на экзамене в четвертом классе, производимом перед ассистентом из округа, каждый из экзаменующихся получал от Поливанова сложнейший отрывок периодической речи (Карамзина, Гоголя) и безукоризненно превращал его на доске в конструкцию схемы; никто не проврался, потому что каждый знал; ни в одной гимназии не занимались этою конструктивной эстетикой.

Весь третий класс проходил труднейший русский синтаксис с множествами «генетивусов», «дативусов» и т. д., но — не как схоластику, а как чтение прекраснейших описаний природы из русских классиков, с рисовкой конструкций, с выучиванием назубок особенно вычурных в своем строении фраз; и всегда с пленительными дополнениями: если разучивался отрывок «Констанцское озеро» или «Рейнский водопад», то — описание природы Швейцарии, пропетое Поливановым с ни с чем не сравнимою интонацией. Я ахнуть не успел, как одолел русский синтаксис, потому что не скучные формы одолевались, а теория композиции, показанная на образцовых примерах.

Еще не зная, что есть *стиль*, мы получали вкус к стилю фразы.

В четвертом классе также одолевалась труднейшая и скучнейшая грамматика древнеболгарского языка; но в нее Поливановым ввинчивался сравнительно-филологический стержень; труднейшие формы стягивались к немногим узлам превращения звуков и форм; давалась таблица превращений, в которой «юс» отправлялся на Ваганьково, и мы приступали с легкостью к трудному разбору форм Остромирова Евангелия;[34] у нас оказывалась великолепная постановка уха к формам; и мы владели самою осью разбора, как пьянисты, не останавливающиеся от чтения «а ливр увер»[35] и не связанные трудностью овладения композицией.

Пятый класс: и перед нами срывалась завеса с древних памятников русской словесности; и слово епископа Иллариона[36] воспринималось во всей красоте его риторической

готики; над «Словом о полку Игореве» мы сидели не менее полутора месяцев; мы ощупывали метафору за метафорой; тонкие пальцы Льва Ивановича бегали при этом по столу, вылепливая метафору; и в результате я должен признаться:

Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон [37].

«Шум и звон» — звуковые краски и ритмы «Слова».

Здесь должен сделать признание тем из слушателей моих курсов, которые не раз трогали меня, вспоминая с благодарностью мои лекции, ощупывающие живое слово;[38] если я кого живым словом Пушкина, Гоголя, Баратынского, Тютчева зажигал, то зажигал лишь ощупью словесного материала; а умению ощупывать слово учился я у несравненного, дорогого учителя моего, Льва Ивановича, уроки которого, чем я старее, тем с большей живостью встают предо мною; не приписывая себе ничего, тем не менее скажу с гордостью: я ученик класса словесности Поливанова, и как воспитанник «Бугаев», и как «Андрей Белый».

Чем старше был класс, тем более Поливановым вводилось в урок — не идеологии, а каких-то кусков живых ландшафтов культурного мироощущения; так: при изучении средств изобразительности разбор отрывка «Чуден Днепр при тихой погоде» Поливановым красотой и глубиной своей живет во мне, как самая красота гоголевского отрывка [39].

Месяца полтора (до или после чтения «Антигоны») [40] мы с Поливановым проходили учение о драме Аристотеля, вытверживая назубок тексты Аристотеля и выслушивая тончайший анализ их,— проходили сверх обязательной программы, то есть «казенщины» (по зычному вскрику Льва Ивановича); за это время: перед нами вставал не только Аристотель, не только драматическая культура греков,— вставало значение театра, как рычага и конденсатора культуры; давался попутно анализ театра, вырастали фигуры Росси, Сальвини, Мунэ-Сюлли в характеристике Поливанова (вплоть до имитации их жестов); мы перекидывались к Малому театру; мы выслушивали критику современного репертуара, анализ игры Ермоловой; и, когда прошли эти полтора месяца, что-то изменилось в нашей душе: не только Аристотель, Софокл, Эврипид стояли живыми перед нами, но и мы оказывались живыми оценщиками театрального зрелища в зрительном зале Ма-

лого театра. С этого момента начиналось наше как бы культурное сотрудничество со Львом Ивановичем.

Для меня этот период особенно связан с постановкою в гимназии учениками двух старших классов отрывков из «Гамлета», «Генриха IV» и «Камоэнса» Жуковского[41], то есть с репетицией по субботам, на которой мы, не участвовавшие в спектакле, присутствовали, то есть присутствовали при скрупулезном разборе игры и воспроизведении этой игры режиссером Львом Ивановичем; на эти субботники сбегались: ученики старших классов, поливановцы-студенты, учителя, участники «Шекспировского кружка», превосходный артист (бывший поливановец) Владимир Михайлович Лопатин, некогда лучший и незаменимый Фальстаф[42], об игре которого с уважением отзывается Лев Толстой;[43] и вот — выступали вместе с подмосток сцены: семиклассники Голицын, Перфильев, восьмиклассники Бочков, Фохт, студент-поливановец Попов, учитель Бельский, и сам ставший уже историческим Фальстафом, Фальстаф — Лопатин в роли Фальстафа. За режиссерским столом сидел Поливанов (верней не сидел, а вскакивал из-за него, вмешиваясь в игру), Владимир Егорович Гиацинтов (наш «шекспирист», учитель истории и географии *, отец артистки С. В. Гиацинтовой; А. М. Сливицкий, наш учитель и незабвенный автор столь детьми любимых «Волчьей дубравы» и «Разоренного гнезда»[44], и кто-нибудь из старых членов «Шекспировского кружка»: или А. А. Венкстерн (шекспирист, пушкинист, отец писательницы) [45], или сам... притащившийся из дебрей философии профессор Л. М. Лопатин (тоже шекспирист).

На этих репетициях упразднялись все грани между старшими и младшими учениками и учителями; Лев Иванович вдохновенно показывал, как Генрих IV должен разгульно разваливаться на трактирном столе.

Мы, не игравшие, смотрели во все глаза; и потом начинались уже «наши» постановки кусочков Шекспира на дому, у себя, например,— в квартире М. С. Соловьева, о чем не без удовольствия узнавал Поливанов, всегда гордившийся культурными устремлениями своих учеников, как о том свидетельствует письмо его педагогу Никольскому: «В самом деле, что за VIII и VII классы у нас! Это просто прелесть: вообразите, сами собою... развив в себе интересы высшего порядка, они собираются и читают сериозные рефераты... Есть даже крайности (напр., Брюсов

* Потом заведующий Музея изящных искусств.

читает Спинозу!). Кн. Голицын..., учась усердно, сумел найти время и горячее желание изучать Данта, VII класс увлекается лириками (напр. Тибуллом и Катуллом)...» (Валерий Брюсов: «Из моей жизни».)[46]

«Дорогой учитель,— увлекались, потому что нельзя не увлечься там, где увлекали нас вы!»

Так бы я ответил на это письмо директора, увлеченного своими воспитанниками.

В этом взаимном увлечении возник некогда «Шекспировский кружок», из стен гимназии развившийся в культурное дело, ставший одно время очагом шекспировского культа, давший ряд талантливых исполнителей (поливановец Лопатин, поливановец Садовский, ставший потом артистом Малого театра)[47], очень ценимый шекспиристом С. А. Юрьевым[48], писателем Тургеневым[49], профессором Усовым и другими.

«Ученичество» у Поливанова выливалось в сотрудничество с ним учеников не раз; прочно помнят блестящую «постановку» пушкинских торжеств в восьмидесятом году (одна речь Достоевского чего стоит!)[50], а не все знают, что бремя организации и выполнения торжеств легло на Л. И. Поливанова и что это бремя с ним разделяли ученики восьмого класса его гимназии.

И уж так устанавливалось, что, когда кончали гимназию, становились членами «Общества бывших воспитанников Поливановской гимназии» и получали сердечное приглашение Льва Ивановича бывать у него на его традиционных «субботах»; бывали студентами; бывали — позднее; «поливановцы» в свое время — секта, имеющая предметом культа любовь ко Льву Ивановичу.

Любили его без оглядки, всемерно: любили — лучшие лучшими сторонами души; эта любовь охватывала, как пожаром, развиваясь медленно на протяжении восьми лет, по мере того, как он охватывал нас на уроках все большими и большими горизонтами, поднимая перед нами в ответственный возраст пробуждения половой зрелости высоко человеческий, чистый и прекрасный образ женщины, которую он, старик, нас, юношей, призывал любить под аккомпанемент шиллеровских баллад, нам читаемых; он выковывал веру в мужество и силу человека, крича нам, что «диплом» — ерунда, коли с этим дипломом заблуждает по миру угашенное сознание; он приоткрывал нам тайны театра.

И все это — на своих не сравнимых ни с чем уроках.

Но главное, за что любили его, во что верили, что не

сразу осознавалось, но что ощущалось с первой встречи особенным вздрогом всего существа: он нас насквозь видел; эта уверенность, что видит насквозь, что не проведешь никакими подслуживаньями, не удивишь падением совести,— не питалась ничем видимым; он производил впечатление лишь увлеченного уроком педагога, урок спрашивающего, урок объясняющего; но и спрашивал, и объяснял он индивидуально; и — главное: индивидуально реагировал на поступки и проступки; никто не мог сказать, как отнесется «Лев» к тому или иному явлению нашей жизни.

Он был весьма неожиданен, но не субъективен; в его мгновенных реакциях на то или иное чувствовалась реакция на когда-то продуманное и узнанное об ученике, на которого он, видимо, не обращал внимания.

В очень ответственных достижениях и падениях он настигал нас неожиданною судьбою;— и его резолюции, хотя неожиданные, казались неоспоримыми.

В них-то и выявлялись необычайная его проницательность и умение подойти к душе воспитанника с братской помощью.

Не удивлялись видимой его несправедливости, ибо в ней изживала себя высшая справедливость; и когда ученик впадал в, казалось бы, непростительный грех, а «Лев», потомив его будто бы незамечанием греха и вызвав в нем процесс раскаяния, вдруг нападал со спины благородством «невменения в вину», не говорили, что «Лев» не справедлив, зная, что удар по душе благородством перевернет павшее сознание и останется в нем жить — в годах; когда этого кризиса сознания нельзя было произвести и он проницательно видел начало неисправимого «декаданса», то, придравшись к ничтожному поводу, он мог исключить воспитанника; и не роптали, не ставили вопроса:

«За что?»

В этом доверии к парадоксальной форме выявления отношений, в вариациях темы, всегда спрятанной в боковом кармане, и изживало себя ощущение:

«Поливанова — не проведешь видимостью: он видит — насквозь!»

Отсюда этот трепет страха: «гроза» гимназии был «грозой» очищающей, грозой весенней, ведущей к очищению атмосферы, или «грозой», ударяющей по прямому проводу, если она очистить уже не могла. И тогда бросалось короткое с выбросом бумаг в лицо:

«Вот-с ваши бумаги!»

И несчастный, багровый от неожиданного потрясения, вылетал из гимназии: навсегда.

В старших классах из действий этой индивидуальной, моральной фантазии высекался в нашей душе свет любви, благодарности и сердечного жара, с которым мы, бывшие поливановцы, встретившись друг с другом и узнав друг друга, тотчас же переводили разговор на «Льва», как это было со мной, уже в 1925 году, когда я, встретив артиста Лужского у Б. Пильняка, от него услышал:

— А вы поливановец?

— Да!

— Я тоже одно время учился у «Льва».

И разговор перешел на любимого, незабываемого учителя.

Я бы мог долго распространяться о Л. И. Поливанове; но, связанный временем, местом и темою, должен себя оборвать; скажу лишь: сложные и порой незадачливые годы гимназической жизни от первого и до последнего класса пронизаны, точно молнией, импульсом Льва Ивановича;[51] идя за его гробом, я, взрослый юноша, самостоятельный «символист», показывающий «фигу» авторитетам своего времени, проливал горчайшие слезы и не старался их скрыть.

Мне казалось: во мне самом погасла светлейшая искра, меня вдохновлявшая.

2. ПОЛИВАНОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Поливановская гимназия и Поливанов — были в одном отношении имманентны друг другу; в другом — трансцендентны; имманентны так точно, как рама, приятно обрамляющая картину, лежит в той же плоскости; и — трансцендентны: хотя и прекрасная рама, а все же не произведение Рафаэля.

Если казенные гимназии — топорное дубье, то гимназия Поливановская все ж — произведение художественное, продуманное со знанием дела и выполненное вполне честно; Поливанов же вкладывал душу в нее; но в нем не жил социальный организатор: лишь изумительный педагог и учитель, действующий от сердца к сердцу; и не во всех деталях гимназия воплощала стиль Поливанова; она была

скорей местом встречи ученика с директором; и за это мы, окончившие гимназию, приносим ей горячую благодарность.

Кроме того: в девяностых годах она была лучшей московской гимназией; в ней отрицалась «казенщина»; состав преподавателей был довольно высок; преподаватели принадлежали к лучшему московскому, культурному кругу; не одною силою педагогических дарований их должно оценивать, а фактом, что человек, интересующийся культурою, в них доминировал над только «учителем»; были в учителях и жалкие остатки от «человека в футляре»; но «человек в футляре» — явление заурядное в те года; остатки футляров ютились в теневых углах, боясь Поливанова и педагогического совета в его целом, но где являлись преподаватели казенных гимназий, не могло не быть пыли, приносимой из «казенного учреждения» на форменных сюртуках; все ж: человечность, культурность подчеркивались во всем стиле преподавания: и подчеркивалась личность ученика; и трафарет сверху не так мертвил душу; трафарет же снизу, приносимый воспитанниками из родительских квартир, — давал себя знать.

Поливановская гимназия противополагалась казенным; противополагалась и Креймановской[52], не говоря о Лицее;[53] в Лицей попадали от нас немногие, прокисшие «сливки общества» (то есть именующие себя таковым), аристократы, снобы или тянущиеся за ними; Поливановская гимназия все ж была не для них; от Креймана попадали к нам лучшие элементы, не мирящиеся с креймановским составом, подчеркнуто буржуазным; пример — Брюсов;[54] прочтите, какою тоской веет от его креймановских впечатлений; наоборот, появляются бодрые, здоровые ноты чисто гимназических интересов в гимназии Поливанова. Вот выписки из «Дневников» Брюсова за время окончания им гимназии Поливанова (VII и VIII классы): «Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении» (11 апреля 1891 года). «Сначала заходил Станюкович. Вечером у меня Щербатов и Иноевс... Потом Никольский, И. А. Нюнин... Споры. Удавшийся литературный вечер» (12 апреля)[55]. «Пишу, пишу и пишу «Кантемира» (Ноября 3). Окончил «Кантемира» (Ноября 5). «Начал драму «Любовь» (Ноября 13); это выписки из «Дневников» за 1891 год;[56] за 1892 год: «Читал... «Моцарта и Сальери» (Март, 18); «Купил Оссиана и Нибелунгов. Вечер на «Гамлете» (Март, 22); «Сегодня я писал «Юлия Цезаря», изучал итальянский язык, разрабатывал «Помпея Великого»...

Читал Грота и Паскаля, разбирал Козлова и отдыхал на любимом Спинозе. Надо работать! Надо что-нибудь сделать!» (Июль, 28); «Перевел пьесу Метерлинка «L'intruse» (Сентябрь, 7)[57].

Весь период пребывания в Поливановской гимназии испещрен отметками о себе; и эти отметки свидетельствуют о высших интересах; наоборот: период Креймановской гимназии, зарисованный в «Днях моей жизни»,— стон о бессмыслии и пошловатые разглагольствования о кафе[58].

Поливановский период обрывает в Брюсове пошлость; я думаю, что это — влияние гимназии.

Во-первых, состав учеников: с иными из них у Брюсова завязываются культурные связи (у Креймана — ни с кем!); Брюсов зажил в гимназии, о чем сам пишет: «В общем живу гимназией» (Октябрь, 29); «В четверг вечером был у меня Станюкович. Читал... ему... «Каракаллу»; «Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении» (Апрель, 12); «Весною... увлекался Спинозою. Всюду появилась этика, а Яковлев стал пантеистом. Осенью я взялся за Мережковского. Все начали читать «Символы»... и т. д.;[59] «Все» — поливановцы; приводимые фамилии принадлежат соклассникам; Щербатова, Ясюнинского, Яковлева — я хорошо помню. Из ряда записей гимназиста Брюсова видно, что его интересы были в контакте с классом; и этот культурный коллектив юношей был в общении с преподавателями.

«Кедрину показал теорему. Тот восхищался», «Вчера с Сатиным и Ясюнинским был у Аппельрота. Толковали»; «Читал Фуксу свое стихотворение. Тот — Поливанову» и т. д.[60]. Кедрин — учитель математики; Аппельрот — учитель латыни, которого особенно ценил Брюсов; Фукс — учитель истории. Поливанов живо реагирует на перевод Брюсовым из Вэрлена — критикой, написанной в стихах, под заглавием «Покаяния лжепоэта-француза». «Входит хладно Лев и подает записку. Читаю: Пародия» *[61]. Поливанов резюмирует ее строфой:

Запутался смысл всех речей:
Жуковского слух мой уж слышал.
Но Фофанов (слов любодей) —
Увы! — из Жуковского вышел.

Брюсов защищается от нападок директора перед учителем Фуксом; и отвечает Поливанову:

* Все цитаты из «Дневников».

В моих стихах смысл не осмыслив,
Меня ты мышью обозвал,
И, измышляя образ мысли,
Стихи без мысли написал[62].

Но отношения меж директором и воспитанником не портятся от обмена пародиями; и через несколько дней Брюсов заносит в «Дневники»: «Утром очаровал Льва Ив. ответом о Дельвиге»; через несколько лет, готовясь к государственному экзамену, он заносит: «Жалею, что не пошел на похороны» (Похороны Поливанова)[63].

Я нарочно ссылаюсь не на себя, а на Брюсова: Брюсов, натура холодная, настроенная в эти годы едко-критически, зарисовывает отметками культурную атмосферу Поливановской гимназии; Брюсов и Поливанов — лед и пламень: что общего? А рука Брюсова не заносится над Львом Ивановичем; Брюсов отворачивается: и скорей благодушно.

Поливановскую гимназию я считаю безо всяких иллюзий лучшей московской гимназией своего времени, даже скинув со счета такое исключительное явление, как сам Лев Иванович; но, сказав так,— оговариваюсь: далеко не во всем она была пронизана поливановским ритмом; и там, где она не пронизывалась этим ритмом, она имела и много недостатков; например, Поливанов был воплощенной двуногой педагогической системой; каждый жест его был систематичен в своей конкретности; но именно пребывая в конкретном, он никогда не сформулировал своей системы в абстрактных лозунгах; может быть,— и не умел, как, например, Мейерхольд, умеющий великолепно поставить пьесу и не умеющий объяснить своей постановки. Поэтому: коллектив преподавателей был обречен на коллекционирование «традиций» не данной системы; это были — словечки, ритмы, жесты, вспыхивающие, как мимолетные молнии; «традиция» молний — рутина, может быть, новая, поливановская; но Поливанов — враг традиций (в том числе собственных); отсюда — роковая неувязка: меж Поливановым и гимназией, имевшей долю поливановского консерватизма и не выдвигавшей радикально лозунгов новой школы; «казенщина», осуществляемая во всероссийском масштабе, висела ужасною пылью над всей Москвою; коли на улице пыль, то из форточки вместо воздуха она и ворвется; и в гимназии, с открытой форточкой, не изжилась пыль.

Вопреки Поливанову, вопреки ряду талантливых и живых педагогов, вопреки группе учеников, одушевленных высшими интересами, эта пыль «конца века» носи-

лась в воздухе; в девяностых годах она была и злой, и бронхитной; окончательно разлагалась система Толстого[64], воняя миазмами; никакая частная гимназия, охваченная тисками предплевевского режима[65], не могла стать фабрикою озона в то время.

Наконец,— главным разлагающим гимназию («минус» Поливанов!) фактором был состав учеников; что могли бы предпринять двадцать честных, культурных педагогов, влюбленных в жесты Поливанова, но не имеющих системы жестов, против напора двухсот родительских квартир с мной описанным «бытиком», выносимым двумястами мальчиками, приносившими с собою и воздух квартир; верхушка, то есть педагогический совет, был несомненно выше среднего уровня московской интеллигенции; но на призыв верхушки к культуре (добрый, но слабый) откликалась верхушка лишь в виде воспитанников Яковлева и Брюсова, читающих Спинозу. Не читающие «Спинозы» отваливались, создавая в стенах гимназии пошловатую атмосферу, пусть менее пошлую, чем в других гимназиях; все ж — достаточно пошлую.

Гимназия — ни при чем: катилась по наклону гимназическая система; и вместе с ней не могла не склоняться к закату и Поливановская гимназия; оставаясь рамою Поливанова, она была все же рамой, то есть не до конца преодоленным футляром.

Социальные замашки воспитанников во многом перевешивали добрый, культурный, но слабый совет; Поливанов, восхищая совет, отдавался индивидуальным заданиям воспитания (этого, того) и преподавания; но и он не мог сдвинуть гимназии, как социального целого, с косной точки.

Среди преподавателей моего времени был ряд интересных, умных, честных, порой прекрасных и очень культурных личностей: таков физик-философ Шишкин, великолепный преподаватель, но отвернувшийся от всяких социальных заданий; умница (ленивая умница!) «грек» П. П. Копосов, старичок, любящий детей, и весьма далекий от запросов юношества, вялый как преподаватель, интересный как человек, Е. Н. Кедрин (математик); метеором блеснувший В. Г. Аппельрот; превосходный учитель русского языка, талантливый чтец и переводчик «Калевалы» Л. П. Бельский;[66] отдавшийся интересам эстетики и театра и оттого рассеянный, как учитель истории и географии, В. Е. Гиацинтов; удивительно даровитый педагог и прекрасный учитель греческого языка А. С. Владимирский (к не-

счастию, заваленный уроками в казенных гимназиях); милый детский писатель А. М. Сливицкий; говорят, весьма интересный и очень любимый Янчин, до меня умерший (известный автор учебников географии)[67] и другие; университет был достаточно представлен преподавательским персоналом своего времени: логику в восьмом классе преподавал профессор Лопатин; латынь преподавали: проф. М. М. Покровский, проф. В. Г. Зубков, приват-доцент Стрельцов; историю — будущий проф. Ю. В. Готье.

Преподавательский персонал был и культурен, и интересен; а все же: в целом звезд не хватали; отдельные интересные попытки преподавания не увязывались в определенную «новую систему».

Состав воспитанников?

Он слагался из разных групп; ядро коллектива — дети верхов русской интеллигенции, часто профессорской, часто дети либеральных немцев, крупных и средних помещиков; было много детей, родители которых отдавались вольным профессиям; были и дети, вышедшие из демократической среды, но — меньше (относительно высокая плата, 200 рублей, отрезывала многим доступ в гимназию; и это, разумеется, жаль); вот этот-то дворянски-помещичий отпечаток и являлся «штампом» коллектива, перевариваемым гимназией с огромным трудом, и далеко не всегда, далеко не цельно.

Среди профессорских сыновей, обучающихся в мое время, помню: сыновей проф. Эрисмана, проф. Зубкова, проф. Н. И. Стороженко, проф. Снегирева, проф. Поспелова, проф. Пустороcлева, проф. Огнева, проф. Грота и др.; из представителей либерально-интеллигенческих фамилий отмечу: Колюбакина, Родичева, Петрункевичей, Бакуниных, Сухотиных, Дьяковых, Сатиных, Колокольцовых, Духовских и т. д.; здесь же учились одно время и дети Льва Толстого, М. Л. и А. Л.[68] (Лев Львович кончил Поливановскую гимназию до меня, и я его уже помню студентом).

Менее была представлена аристократия (кн. Голицыны, граф Бутурлин и т. д.) и промышленная буржуазия (И. И. Щукин, будущий министр промышленности А. И. Коновалов); аристократия более гнездилась в Лицее, а буржуазия у Креймана. И тем не менее, за вычетом кружков, отдавшихся высшим интересам, социальный состав поливановцев — тяжеловатый состав, вызывавший вскоре же после моего поступления тяжелую оскомину

и запылявший мне яркие вспышки поливановских молний (об этом — ниже).

Были изъяны и в преподавательском составе; не понимаю, как Лев Иванович не видел, что участие в преподавании К. К. Павликовского — грубая ошибка стиля; в ответ на удивление по поводу явления Павликовского, говорят, Л. И. сказал:

— У меня он никогда не выявит своих замашек, а латынь он знает прекрасно.

Может быть, К. К. и знал латынь, и «замашек» не выявлял; «замашки» — то обстоятельство, что он был известен в Москве, как «гроза» в качестве преподавателя латыни в первой казенной гимназии; о его преследовании учеников и придирчивости ходили легенды; но я, учась у сей грозы семь лет (латыни и немецкому языку), должен сказать: никаких явных преследований мы не видели; и уж если кто кого явно преследовал, так это порой мы его, а не он нас; преследовали, потому что его не любили; не любили за то, что он засаривал головы, подымал кавардаки, отбил от латыни и не мог ничего путного объяснить (при всем знании латыни); но это «замашки» уже иного рода; «замашек» преследователя он, дико боявшийся Поливанова, конечно, не смел выявить; но он их, так сказать, вогнал внутрь себя, нагоняя странную, весьма странную атмосферу на класс, в результате чего иные из нервных начинали видеть кошмары; отношения их с Павликовским принимали такой сумбурный характер, что ни они, ни сам Павликовский уже не могли разобраться в том, что, собственно, происходит и кто в происходящем повинен.

Я имел несчастие быть в числе «жертв», пораженных атмосферою, распространяемой К. К. до такой степени, что отец мой позднее жаловался на К. К. физику Шишкину; и не я один могу отметить этот факт ощущения вечной борьбы с Павликовским (не фактической, а борьбы взглядов, интонаций, взаимно друг другу посылаемых угроз); то же испытывал и С. М. Соловьев, имевший несчастье к нему попасть; то же испытывал и Э. К. Метнер, в 1902 году рассказывавший эпопею своей «борьбы» с К. К. в бытность учеником первой гимназии[69], где К. К. упражнялся и в «грозовых» своих действиях; Э. К. вынужден был уйти из первой гимназии, откуда многие бежали из-за Павликовского; один из таких «несчастливцев», бежав от К. К., попал в наш класс: вообразите его кислейшее недоумение, когда он на уроке латыни увидел перед собою своего ста-

ринного гонителя, но уже в роли «негонителя». Он скоро исчез от нас.

Оговариваюсь: я лично не видел никаких фактических гонений; передавали, что в частной жизни К. К.— скромный, порядочный человек, скорее передовых взглядов (в смысле политики); но нечто от Передонова[70], «плюс» человека в футляре, «плюс» многого кой-чего, что я затрудняюсь определить (от юродствующего шута горохового, косноязычного придиры, от даже знаменитого «скорлупчатого насекомого» бреда Ипполита из «Идиота»)[71],— в нем жило; но центр выявленья этого столь многого — психика, не осознанная ни им, ни учениками; в результате — сумбур вечного недоразумения и пугающего изумления; будто бы человек: и лицо человечье, и членораздельная речь, и все, как у иных других, а кажется, что то — маскарад, что какой-то обитатель не нашей солнечной системы, свалившись на землю, сшил себе человекоподобную оболочку и выучил свою роль, явившись к нам: ее разыгрывать; мы — не верим; мы ждем: оболочка прорвется; из дыры носовой вытянется длинный жучиный хоботок (противно ползать по нашей коже); из дыры разорванных человечьих глаз выставятся насекомьи глазенки, а старомодный фрак с золотыми пуговицами превратится в скорлупчатый эпидермис.

И знаменитое «скорлупчатое насекомое» из бреда Ипполита учинит бред классу.

А бреда не было.

Ссылаюсь в описании этой субъективной импрессии не на себя, а на поэта С. М. Соловьева и на Э. К. Метнера, мне сходственно характеризовавшего К. К.

И вот я не понимаю, как мог Л. И. Поливанов, столь тонкий чтец детских сердец, допустить циркуляцию такой импрессии в детских душах; не о «гонении» на нас Павликовского шла речь, а о губительном впечатлении, им в нас оставляемом.

А что касается до его знания латыни,— не сомневаюсь в нем, не сомневаюсь, что он любил латинских поэтов и гутировал стилистику цицероновых речей; но гутировал для себя, выражая свои восторги не внятным истолкованием, или ощупью формы, а повышением голоса до резких, тонких, носовых и довольно гнусного тембра вскриков, лишь сотрясавших психику; как вскрик Поливанова высекал свет понимания, так вскрик Павликовского убивал всякое понимание, водворяя нудный хаос; и все становилось — не «впрочет»: к ужасу его и нас; начинались

взаимные бестолковые обвинения: учителя учеников, учеников учителя; он подбегал к недоумевающему и противным, коричневым, согнутым пальцем постукивал по его голове с вывизгом отчаяния и бессильной злости:

— Слышь,— ты, голова!

Что означало:

«Дубовая голова!»

В ответ на что воспитанник с уже пробивающимися усиками бросал книгу и кричал на него, подчас ударяя кулаком по парте:

— А вы не ругайтесь!

Я, тихий юноша, раз проорал на весь класс:

— Это черт знает что!

В ответ он, согнувшись в три погибели, подбежал ко мне (совсем как «скорлупчатое» громадное насекомое) и, ущипнув за одежду двумя стальными пальцами, тащил из класса, а я, вырвавшись, не ушел; и он — отстал.

В таких безобразных сценах топились остатки понимания латыни (самого ответственного предмета!); и дело кончилось жалобой отца на него: Павликовский-де меня преследовал, что — неправда, ибо в тяжелом безобразии уроков нельзя было понять, кто кого преследовал; ни он не хотел преследовать нас, ни мы его, а взаимные преследования, терзания усугублялись, выявляя не «класс латыни», а тяжелейшие, болезненнейшие страницы Достоевского вроде схватывания зубами за ухо Николаем Ставрогиным известной личности;[72] чем-то мучительно извращенным веяло на этих уроках: не то — психическая тупость, не то — психический садизм с большой дозою передоновщины.

И так семь долгих лет!

Жаль, что латынь, так прекрасно показанная Л. И. Поливановым в первом классе, бесследно погибла для меня со второго класса; и я, легко справляясь с греческим, не только не мог ничего понять, но — непонимание мое росло семь долгих лет; и, удивляя Л. П. Бельского своим логизированием, получая «пять» у строжайшего и тоже иррационального Поливанова, не боясь в пять раз более строгого по требованиям А. С. Владимирского, я превращался на уроках латыни в тупейшего идиотика; и не я один, а — весь класс; требования к нам К. К. были минимальны; а мы, при всех усилиях эти требования удовлетворить, все более и более их не удовлетворяли; с каждым классом К. К. спускал требования; а ножницы между их минимумом и нами росли; и мы систематически углублялись в дебри

незнания от непонимания (семь лет углублялись!); достаточно сказать, что «3» было высшим баллом по устному, что «2» средним баллом по письменному; с завистью смотрели на редких счастливцев, получавших за экстемпоралиа «3» с двумя минусами и с надписью: «крайне слабо»; тетрадки наши были полны чудовищными ошибками; уж к пятому классу я, собственно говоря, махнул рукой на латынь: не «впрочет»; Павликовский же махнул рукой на себя и на нас; и появилась конституция нашего взаимного отказа друг от друга; мы требовали, чтобы он нас вызывал тогда-то и тогда-то, а в прочие дни не приставал к нам со своими птичье-жучиными вскриками, дабы нам читать под партою (так мною были прочитаны: Ибсен, Бьернсон, Гауптман, Ионас Ли и сколькие другие авторы); он предоставлял нам все это, но требовал от нас, чтобы мы сами к нему не лезли: с нелепыми приставаниями; а «пристать» к нему — необыкновенно тянуло: уж очень он казался гадко-занятной, жутко-занятной фигурою (как-никак, а — «монстр» иного солнечного мира, мимикрирующий человека).

Так была убита латынь.

Ни разу за семь лет я не слышал от него ни одного внятного объяснения; все объяснения — запутывания путаннейшего текста грамматики Элленда-Зейферта[73], гнуснейшим, витиеватым, вовсе не русским языком (он был не то чех, не то галичанин, не то поляк, один из тех исказителей языка, которые наводнили гимназии с эпохи внедренья системы классической); вместе с «русскими» учебниками, авторы коих «Нетушиль», «Поспешиль», «Элленд-Зейферт» и прочие, появился и Павликовский; и когда эти учебники исчезли и в гимназию ворвалась струя естествознания, К. К. постарел, смяк, стал прихварывать; и исчез с горизонта.

Ни одного объяснения!

Объяснял он усилением голоса; прочтет текст, написанный не «впрочет»; прочтет его же с удвоенной громкостью, потрясая наставительно пальцем; самодовольно оглядывает:

— Поняли?

Никто не понял.

Тогда он гнусаво протрубит ту же фразу, написанную нерусским языком; опять не поняли; выучивая назубок различия пятнадцати «кум» (когда) и «ут» (чтобы), мы завирались ужаснейше; так прошли объемистый курс с чтением Овидия, Виргилия, Цицерона, Горация.

Это ли не безобразие?

Так же К. К. меня разучил немецкому языку (не повезло нашему классу,— он и немецкий ломал!); поступая в первый класс, я еще знал кое-что (реминисценция детства); в восьмом же классе, читая Лессинга, я уже ничего не знал; и хотя я годами потом проживал в Германии, теснейше общаясь с немцами, я говорю по-немецки ужасно: во мне деформировалась как бы ось грамматического восприятия языка.

Деформировал Павликовский.

Маленький, коренастый, с коричневым лицом, напоминающим помесь птицы с обезьяною (от обезьяны — павиано-мандрилл; от птицы — смесь коршуна, вороны и курицы), гигантски пропяченным заострением клювоноса, имеющего на перегибе горбины площадку,— носа, который он растирал противно пальцем правой руки, иногда залезая в ноздрю желтым ногтем, сутулый, с маленькою головкою, обрамленной черненькой бороденочкой с проседью (точно обкусанной), с сардонически улыбающимся (презло и прегадко) ртом — даже тогда, когда не на что было улыбаться, с пытливыми какими-то желтыми зрачками юрких глазенок, он производил впечатление вечного паяца (и когда объяснял, и когда хвалил, и когда порицал); и нельзя было разобрать, над чем он глумится; его глумление выражалось в иронических «ээ», «хээ», «хм», в постукивании нас по лбу пальцем (лишь в шестом классе мы его отучили от этого), сопровождавшем исправление стиля наших переводов, где доминировали выражения вроде: «Кто бы то ни было из долженствующих быть хвалимыми, что бы ни говорили из долженствующих быть поносимыми, да прославит тебя, о, Мет Фуффеций» и так далее. Наломав нам эдакого рода фраз, он насмешливо ухмылялся:

— Хээ!

С «хээ» ставил двойку; с «хээ» ставил три с плюсом (высшая награда). Впечатление, что все нахально осмеивалось (ученик, его способности, самые его запросы культуры, самое «святое святых» его чувств), нас охватывало при вступлении в класс Павликовского; и мы, взбешенные этим подразумеваемым цинизмом, уже начинали кидаться на него, как злые псы; и — да: «забижали» его, но в ответ на какое-то осмеяние жизни, на кривлянье паяца, на «хээ»; и звали «Кузькой»; и писали на доске по-гречески перед появлением его у нас «Тини тинос» (дательный и родительный падеж от греческого местоимения «тис»), что означало: тяните нос, то есть тяните «Кузьку» за его

длинный нос; шесть лет каждый день тупо писалась все та же надпись; и шесть лет, каждый день, входя в класс и не глядя на доску, он буркал:

— Сотрите!

Знал, что написано.

Иногда начинало казаться, что он вовсе не глумится, а плачет; глумящийся вид — просто маска несчастного человека, как маска героя Гюго; того звали «Человек, который смеется»;[74] этого надо было прозвать «Человек, который имеет вид глумящегося шута» (но он и глумился); сердце охватывала порою жалостная жуть перед непонятною человеческой формой с утраченным человеческим содержанием; иногда охватывали и иные импрессии: чуялись какие-то бреды; странно, что Павликовский во мне вызывал реминисценции моего скарлатинного бреда, когда мне казалось, что кто-то за мною гонится; и этот бред начинал сниться по ночам; возвратясь из гимназии, я приносил светлые искры уроков Льва Ивановича и темное, душное, дома продолжающее облипать облако латинского урока, или — бреда наяву. Но Поливанов бывал у нас лишь три раза в неделю; а Павликовский — каждый день; и два раза в неделю по два часа (урок латинского, урок немецкого); в плоскости воспоминаний он — самое широкое пятно их; и — самое темное пятно.

Я им болел от третьего до шестого класса (учась у него с второго и кончая восьмым); мне казалось, он чем-то остро гадким налезает на меня; в пятом классе я взбунтовался: и стал наступать на него; он — испугался; и между нами к седьмому классу водворилась конституция: он не будет мешать мне читать Бьернсона под партою; я не стану дразнить его; это «дразненье» его мною, не любящим дразнений и углубленным в свои проблемы (литература, «символизм», философия), было лишь выражением особого нервного заболевания, в которое меня вогнали уроки латыни и в которое впадали не все, но исключительно впечатлительные мальчики; знали, что есть особая категория детей, не выносящих Павликовского; когда и М. С. Соловьев, как мой отец, жаловался на Павликовского, то лицо, близкое к педагогическому совету гимназии, улыбнулось:

— А, он из таких же, как...

И были перечислены имена «таких»: «каких» же — хотел бы спросить я. Уже позднее, когда я освободился от *темного облака* латинских уроков, я себе ставил вопрос:

«Что, собственно, переживал ты?»

И я себе отвечал:

«Ты переживал миф об Аримане»[75]. Появление К. К. в кошмарах делало его имманентным давно забытому бреду, в котором *кто-то* за мною гнался; и этот бред был тем тягостнее, что он был бредом наяву, среди бела дня, в атмосфере учебного заведения.

Уже студентом, увидев моего былого «мучителя» на Пречистенке, я не без любопытства его нагнал и поздоровался с ним, нарочно стараясь разговорить его, пошел с ним и пристально в него вглядывался, чтобы понять, что ж в нем внушало еще недавно мне ужас; он, сказавши с чрезмерной любезностью, с *приторной* любезностью несколько фраз, вдруг остановился; и стал прощаться со мною, хотя наш путь лежал в одном направлении; он *явн*о не пожелал мне показать своего человеческого лица; он *явно* заметил мое любопытство; он *явн*о испугался; и, как большой, черный, скорлупчатый жук, представился мертвым.

Я его бросил, пройдя вперед и не разрешив тайны своего недоумения.

Странная, весьма странная личность.

Я не стану вспоминать ряда преподавателей; скажу лишь: ярко запечатлелся мне образ «греков»: Копосова и Владимирского; каждый, по-своему, прекрасно преподавал: остались в памяти интересные лекции по истории церкви Н. П. Добронравова, интересные уроки с Фуксом (учителем истории в других классах и учителем французского языка у нас), прекрасные уроки по физике и космографии Н. И. Шишкина и уроки Бельского по русскому языку.

Остальные преподаватели не ярко запомнились: более запомнились, как хорошие, гуманные, культурные люди, а не как педагогические светила.

3. «ПУСТЫНЯ РАСТЕТ, ГОРЕ ТОМУ, В КОМ ТАИТСЯ ПУСТЫНЯ»

Мое поступленье в гимназию — головокружительный вихрь впечатлений; и — впечатлений приятных; ослепительным вспыхом сиял Поливанов, устраивая интересные грохоты ежедневно (латынь — каждый день); во-вторых: почему-то боялся товарищей классных, напуганный обещаньем демьяновских мальчиков со мною расправиться; в классе никто пока не грозил мне расправой; наконец:

неожиданно, играючи как-то, весьма отличился успехами (я, бесталанный!); у нас не было казенного звания: «первый ученик», и тем не менее, получив в месячных отметках круглое «пять», безо всяких усилий блеснуть, я стал «первым» во мненье товарищей и преподавателей; «слава» приятно вскружила мне голову; до сих пор жил я в бесславье:

— У Бугаева сын — идиотик!

— Не музыкальный: второй математик!

— Ты знаешь ли, Боренька,— соображай: у тебя что-то плохо с задачами.

Только и слышалось.

Вдруг перемена.

— Бугаев у нас идет первым,— попискивали одноклассники, льстя и заискивая передо мной (передо мной!?!).

— Хорошо, Бугаев,— поплевывал словом наш классный наставник, Евгений Никанорович Кедрин.

— У Николая Васильевича прекрасный мальчик, мне сам Лев Иванович говорил это,— заволновался Лопатин, передавая известие по квартирам и став неожиданно моим «ангелом-покровителем».

И улыбалась счастливая мадемуазель; и отец улыбался; и даже преедкий и все критикующий дядя, Георгий Васильевич, неожиданно принял участие в моем бенефисе, грозясь посрамить грубоватого Ф**, так недавно еще старавшегося очернить меня:

— «Я напишу им,— уф,— в Киев: я им покажу — уф»,— грозил Ф** Георгий Васильевич, счастливый, что мною подколет он Ф**.

Ну, словом,— не жизнь, а триумф!

Ликвидировалась тяжелая атмосфера квартиры: ведь я жил в гимназии; по возвращенье ж — уроки готовил; а вечером читал Жюль Верна, Майн Рида, иль Диккенса; в гимназии мне, малышу,— уваженье, привет: от товарищей, швейцара Василия, учителей, надзирателя, Михаила Ростиславовича, добродушнейшего старичка, бородою седою напоминавшего деда елочного; математик наш, Кедрин, седой старичок,— презабавник; а Бельский тот даже погладит меня по головке; дружу с Николаем Тарновским я, с Мишею Вышеславцевым (тот «идиотик» действительно,— вовсе не я: я ему покровительствую; он мне благодарен весьма).

Всею прошлою жизнью задавленный, переживал первый класс, как триумф, убеждаясь и сам, что с «наукою»

у меня обстоит не так плохо; я не «пер» вперед; но, став первым, старался учиться настолько, чтобы по мере возможности не осрамить репутации.

Так с молниеносною быстротой пролетел первый класс; вероятно, барышня, вывезенная в первый раз на общественный бал и стяжав на балу неожиданно лавры, переживает подобное нечто; мой выезд на бал — поступленье в гимназию; и поступление это справлял целый год я.

Весна; пролетели экзамены (я — второклассник); вопрос оставался открытым: куда мы поедем на дачу; с Демьяновом, где десять лет жили мы,— ликвидировано; так настаивала моя мать, а отец — удивлялся; он скоро уехал (до самой смерти он веснами уезжал председателем экзаменационной комиссии); мать металась с «мадемуазель», ища дачи; нигде ей не нравилось (лучше Демьянова не было местности); и наконец, с горя, сняли унылую дачу в унылой Перловке[76].

В ту пору открылась французская выставка;[77] мать брала мадемуазель и меня на нее очень часто; мы много бродили и кушали вкусные французские вафли; я удивлялся машинному отделению (беги ремней, верч колес, щелк колончатой стали); но более я удивлялся явлению, над которым Москва хохотала: французским импрессионистам (Дегазу, Моне и т. д.); наши профессорши негодовали:

— Вы видели?.. Ужас что... Наглое издевательство!

Видел и я; и, увидевши, я почему-то задумался; мое художественное образование равнялось «нулю»; кроме живописи храма Спасителя[78], да репродукций с Маковского иль с Верещагина, я ничего не видал; у меня не могло быть предвзятости иль понимания, сложенного на традициях той или иной школы; и я, останавливаясь пред приятным и пестрым пятном, «безобразием» нашумевшего «Стога»[79], ужасно печалился, что не умею я разделить негодования матери и мадемуазель; говоря откровенно: французские импрессионисты мне нравились тем, что пестры и что краски приятно сбегались в глаза мне; но я утаил впечатленье, запомнив его; и не раз потом я размышлял над тем странным, но не неприятным переживанием; «странным, но не неприятным»,— подчеркиваю: эта «странность» казалась знакомой мне; будто она намекала на нечто, что некогда мною изведано было; и подавались первейшие переживанья сознания на рубеже между вто-

рым и третьим годом жизни (быть может, тогда я так и видел предметы?).

Я останавливаюсь на летучем, но остром переживании импрессионистов: через четыре года я, пятнадцатилетний, в Аляухове[80], санатории, где жили мы, неожиданно барышням и молодому человеку стал защищать «декадентов» и «французских импрессионистов», которых не знал еще и впечатление от которых — впечатленье мальчика, стоящего на французской выставке: перед «Стогом».

Помню, что два раза с нами на выставке встретился Лев Львович Толстой, элегантный студент, очень вежливый с матерью.

Не останавливаюсь на унылейшей жизни в Перловке; лишь помню: мадемуазель водила меня на дачу Джамгаровых (банкирская контора); у Джамгаровых гувернанткой служила сестра ее; помню наезды Некрасовых, живших чрез станцию, да мое изредка участие в детских танцевальных вечерах, устраиваемых в Перловке; я там познакомился с рыжеволосою девочкой, Женей Дейбель, в которую были влюблены, по-моему, все перловские мальчики (и я!); она обратила внимание на меня; и я даже мог ей поднести прекрасную розу; а все — «мадемуазель», подсказавшая мне этот поступок: она покровительствовала совершенно невинным моим увлечениям: за это спасибо ей.

Было решено: осенью «мадемуазель» уходит; ей-де нечего делать со мной; пришла осень: ушла;[81] и осталась в душе, точно яма: мы же жили с ней душа в душу — четыре года; первое время она иногда появлялась на углу Пречистенки и Левшинского переулка, подкарауливая наш выход из гимназии, чтобы увидеться нам; и — провожала до дому; потом поступила на место; и встреч больше не было; изредка появлялась к нам в гости, к величайшей радости моей, до... 1906 года, когда уехала за границу.

С тех пор я не видел моей некогда «избавительницы»; и всегда — друга.

Второй класс: тут что-то во мне изменилося в отношеньи к гимназии; не вся гимназия,— только молнии поливановских уроков зажигали меня; но, в противовес им, появилось темное и нерасходящееся, все сгущающееся,

облако латинских уроков, из которых стал мне грозить Павликовский — тою странною атмосферою бреда, о которой я силился намекнуть в предыдущем отрывке; я стал приходить домой, точно покрытый копотью; и пребывание дома уже никак этой копоти не рассеивало: не было «мадемуазель»; приходила для языка француженка, мадемуазель Ада Ги, более всего старавшаяся разработать свое колоратурное сопрано; и дававшая мне уроки, чтобы заработать плату Климентовой-Муромцевой, обещавшейся поставить ей голос для сцены; с мадемуазель Адою было легко; все ее уроки заключались в пересказе мне ряда бретонских легенд, легенд о Тристане и так далее; очень любила она страшные рассказы (и я!); и на рассказывании их друг другу базировалось наше общение; она приходила к нам в шесть часов, когда я сидел за уроками; кончал я приготовленье уроков к восьми; и, стало быть, на упражнение в языке оставалось не более двадцати — двадцати пяти минут.

Так продолжалось три года.

Очень сильные впечатления шли от гимназии, но впечатления — недоуменные; я терял вкус к ученью; первые месяцы полугодия — сплошное пять; начались латинские «экстемпоралиа», и я, получавший у Поливанова за перевод пять,— стал получать тройки; потом и двойки; это — удивило меня; месячная тройка по письменной латыни — большая неприятность; она привела в ужас отца; он, не получавший в гимназии и «четверок», привыкший, что и моя отметка лишь «пять», не переваривал «тройки», не желая понять, что у Павликовского, совершавшего разгром интеллектов в детских головах, громившего их в десятилетиях, и спеца по атрофированию всякой логики, получить «четыре» по письменному — никак невозможно; вслед за «удовлетворительно» (3) появилась месячная отметка по письменной латыни: «слабо»; новый ужас отца; круглое пять по всем другим предметам; и грязная клякса — «слабо». С той поры начинается мой мартириум дома:

— Что же это ты, Боренька: опять «три»? Чего же ты не знал?

И — пристает, пристает, ужасается; выжидает следующей отметки, притаиваясь, точно волк, караулящий овечку: несносно. Он не кричал, не наказывал, а охал, брюзжал; латинские двойки и тройки серьезно испортили мне возвращенье домой из гимназии; в гимназии — бред

с Павликовским, уже давно снящимся по ночам (я — стал опять вскрикивать!); дома — подстерегания:

— Кто спрашивал, что отвечал, чего не знал?

Я удивляюсь отцу: человек умный, даже мудрый во многом, как мог он не понимать, что так приставать к ребенку с «пятерками», требовать, чтобы вопреки разгрому сознания учителем-путаником я преодолевал то, чего товарищи не преодолевали, пользуясь помощью репетитора, все же отглаживавшего их мозги после дурацкого их комканья Павликовским,— требовать «пятерок», апеллируя к своему опыту после того, как прошло почти пятьдесят лет, гимназические программы изменились, действовала вовсю толстовская система громленья мозгов латынью,— требовать «пятерок» — бессмыслица; вместо того, чтобы «отгулять» меня дома после шести часов сидения за партой, развивающей неврастению, он требовал, чтобы я усиленней готовил уроки; и сам же охал, что не остается времени для чтения, прогулок, самообразования; и я механически отсиживал часы над латынью, но уроков не учил (лишь делал вид, что учу: учить — бессмысленно); главное: после первой месячной тройки потерялся весь интерес к «пятеркам», как к спорту: все равно успехи «изгажены» (это постарался внедрить в мое сознанье отец), и я решил: ну и черт с ними, коли «все погибло»! Так своим приставаньем с пятерками, как с демьяновой ухой, отец мне испортил легкую игру в «успехи»; испытав давление дома и разгром сознанья в гимназии, я точно переродился; сразу слетела с классов пресуществлявшая их романтическая дымка; и выступили гимназические будни, озаряемые лишь Поливановым.

Процесс погасания интереса к гимназии, успехам, формальному заучиванию и просто ненависть к себе, как первому ученику,— все это выдернуло меня из гимназии, поставив перед сознанием совсем другие объекты; я стал томиться иными интересами; и поздней понял, что это томление по «культуре», по связи знаний, по смыслу, по органическому усвоению; меня интересовало естествознание, самообразовательные книги, которых родители не доставали мне: мать, потому что не умела доставать, отец, потому что «и так гимназия съедает все время»; бедный отец: если бы он знал, до какой степени гимназия уже не съедала времени, потому что я взял за правило не готовить уроков (готовил лишь «Льву»), но делал вид, что готовлю, бессмысленно сидя часами перед развернутым «Эллендом-Зейфертом» и переживая вновь странные, безыменные,

вовсе не детские думы свои о людях, о жизни, о смысле и о том, в чем корень негодования, ужаса и гадливости к пауку Павликовскому, обволакивавшему меня, точно муху, стилем отношения, напоминающего бред страниц Достоевского.

Меня бы надо спасать хорошей литературой, к которой так тянулся я; а литературу отняли, и я скоро начал, томясь без книг, свойственных моему возрасту, украдкой заглядывать в кабинет отца; и все равно читать книги: по гипнотизму, спиритизму и по вопросам философии, в которых пока не понимал ничего. Или — хуже того: украдкою читал (во время отсутствия матери) ее книги: читал Бурже, Прево, Золя; и, кажется, в третьем классе прочел «Бэль ами» Мопассана[82].

Все же не этими впечатлениями жил я, а впечатлениями от весьма странных, недетских состояний сознания.

Ну, а товарищи, гимназическая среда?

На этом стоит остановиться.

Как только мои товарищи по классу заметили, что я, «первый ученик», стал подхрамывать на одну ногу (латынь), отношение ко мне пошатнулось; ко мне уже не подбегали спрашивать, как перевести то-то и то-то; и по мере того, как я переставал учиться, а я медленно, но верно деградировал (появились «четверки» и «тройки» по математике, по греческому языку и так далее) из класса в класс, относительно меня стало водворяться упорное и ни на чем не основанное убеждение, что я — тупица, лезущий из кожи вон, просиживающий часами за приготовлением уроков и не достигающий успехов; происходило ж это оттого, что я не «форсил» тем, что я не готовлю уроков, а просто помалкивал в этом пункте; кроме того: большинство из товарищей, избалованных, состоятельных мальчиков, имели репетиторов, переводивших им заданные нам отрывки из Геродота, Цезаря, потом Цицерона, решавших им заданные задачи, писавших им сочинения; я ж репетитора не имел, дома мало занимался; к отцу обращаться за помощью было мне никак невозможно: он бы накричал на меня; и он бы, прежде всего, не понял, до чего в условиях конца века стало учиться труднее, чем в его годы; кроме того: моя дикая замкнутость и гордость помешали мне откровенно высказать ему степень трудности преодолеть разгром головы, учиняемый Павликовским; за других работали репетиторы, а я, не понимая латыни, да-

же лишен был возможности готовить переводы собственными силенками. Те же гордость и замкнутость помешали мне развеять миф о том, что я работящий тупица (надо было удивляться, как я, почти не работая дома, шел все же в первой группе учеников). Со второго класса я перерождаюсь в «тупицу»; с третьего становлюсь ею; с четвертого — еще того чище; открывается моими товарищами то, что еще до них открыл грубый Ф**: я — идиотик!

Удивительное перерождение от первого к четвертому классу: от триумфатора к... униженному и оскорбленному!

Такому переживанию способствовали не одни неуспехи в латыни (главном предмете), а ряд обстоятельств: во-первых, моя необщительность, неумение говорить по прямому проводу и дурно приобретенное нервное ломанье (перезастенчивость, перепуг семейною драмою и так далее); пока я авторитетствовал на ролях «первого ученика», разъясняя отсталым науки, основная гримаса моей скривленной жизни не выступала; поскользнулся я на путях «славы»,— и выступила неуверенность, «самозванчество», отделенность от других; отделенность сказывалась во многом; например, во время перерождения мальчиков в отроков (от двенадцати к пятнадцати годам) в каждом намечается повышенное любопытство к словам, разговорам, мыслям на тему пола; начинают фигурировать слова «женщины», «девчонки» и так далее. Стоит появиться одному нахалу и цинику, как напряжение интереса к сфере пола разрешается отвратительными хихиками, непотребными разговорами и так далее; у меня же было инстинктивное отвращение ко всякому «хихику», и цинических разговоров я просто не выносил; это подметили; я стал притчею во языцех; на меня нападали скопом, прижимали к стене и врезывали в уши порой ужасные гадости; я отбивался, чуть ли не плакал, вырываясь из плена, красный, как рак; эта стыдливость в соединении с нежными в те годы чертами лица и шапкою полудлинных волос, которые заставляла носить мать (у нас не следили, чтоб стриглись),— создали несносную форму дразненья: — «Бугаев — девчонка!» — хихикала сперва группа озорников нашего класса, втягивая в преследование меня весь класс; потом уже ревел об этом скопом нападающий на меня класс; кончилось дело тем, что три или четыре класса (наш младший, два старших) приучились преследовать тихого, не подающего повода для преследования мальчика:

— Зубрила!

— Девчонка, Лизка!

— Дурак!

Хор голосов сопровождал меня по пятам: в зале, на переменах, в классе, даже на улице (при выходе из гимназии): мне показывали языки, кукиши, меня щипали, затискивали в угол, чтобы выкрикивать нецензурные гадости, от которых тошнило меня; переход из третьего класса в четвертый был переходом от презрительного невнимания ко мне к систематическому издевательству; и в этом издевательстве к просто шалости примешивались и социальные корни: в нашем классе скоро выметилось основное ядро, дающее тон всему классу; я наблюдал не раз это интереснейшее явление: класс — индивидуум; к четвертому классу определяется индивидуальность, зависящая от *головки* класса; если эта головка отдается высшим интересам, получается прекрасный класс, где говорят о Данте и о Шекспире и где «похабники», «свистуны», «прожигатели жизни» прячутся по углам; победят хлыщи,— весь класс лезет из кожи принарядиться: появляются духи, брелоки, циркулируют рассказы о светских подвигах вне гимназии; победят негодяи, весь класс — негодяй.

К моему прискорбию, индивидуальностью нашего класса было отсутствие индивидуальности; следующий, старший класс (Сухотин, Голицын, Бочков и др.) развивал интересы к поэзии, литературе, театру; у нас я развивал в мыслях потенции ко всему этому; но сложившаяся и тон дававшая *головка* класса интересовалась иным: шли разговоры о велосипедных гонках, «конкур иппик»[83], о том, кто вне гимназии носит смокинг; богатые, равнодушные к культуре, перебалованные родителевы сынки с четвертого класса заговорили о высшем свете, о тоне, о «как принято»; господствовал стиль легкомысленного и сытого светского кондачка; и всякое отступление от него встречалось уничижительным презрением; я не соответствовал этому тону; и я был *пария* («не нашего общества»!); мне, например, до университета не давали денег; и за покупкой любой тетрадки я должен был обращаться к отцу; а наши «лоботрясы» швырялись деньгами, гоняли швейцаров за пирожками, конфетами; этим всем я не мог щеголять; и — пал во мнении «сливок» класса:

— Не нашего общества.

Ко всем напраслинам присоединилась обиднейшая: мой отец, человек небогатый, но не нуждающийся, не отказывал ни мне, ни матери ни в чем необходимом; и если не давал денег мне, так это происходило частью от рассе-

янности, частью от непонимания: какие еще деньги нужны в гимназии? Отсутствие денег у меня создало миф о том, что я прозябаю в нищете, которой не было; мне обидно подчеркивалось, что все порядочные люди тратят деньги, а я «нищий»,— человек непорядочный.

Так полагали наши «аристократы».

В противовес «аристократам» действовала компания отнюдь не «демократов», а просто нерях, безобразников («папуасов», как мы потом их называли с одним из товарищей); грязные, циничные, влепляющие друг другу в «рожу» и в высшие интересы не погруженные до седьмого класса, они-то и нападали на меня дразненьем, бранью, цинизмами; в эпоху 1893—1896 годов наш класс явно распадался на две несообщающиеся группы: на ватагу «папуасов» и на «сливки» общества; в крайней половине доминировали свои социальные интересы; «сливки» играли в касту; «папуасы» бессмысленно дебоширили. Я был одинаково отверженец и здесь и там; я и сам активно отталкивался от обеих половинок класса; стало быть: у меня не было друзей, покровителей (были из старшеклассников, но это не придавало мне «социального» веса среди сотоварищей); быть без друзей в гимназии — значит: быть активно преследуемым.

И преследования росли: и старинная судорога моя, судорога казаться глупей, чем я есть, повторилась после краткого триумфа.

Укоряемый дома за двойки и тройки по латыни, полубредящий невесомыми преследованиями Павликовского, затравливаемый как «тупица», «девчонка», «дурак», «нищий» обеими половинками класса, лишенный своего друга-мадемуазель, я весь как-то замер, съежился в точку абсолютнейшего невыявленья; в четвертом классе некий П** (с которым в седьмом классе я дружил, когда «победил» класс)[84] выдумал воистину гнусную клевету на меня, о которой не могу не упомянуть: в те годы я был очень чист, борясь и в мыслях со всякими двусмысленными переживаньями; и уж, разумеется, не страдал никакими пороками; но в те именно годы я был очень слаб, всегда угнетен, бледен, страдал мигренями (в университете лишь окрепло здоровье); и вот этот бледный вид в связи с нервною задержью всех движений внушил П** гнуснейшую мысль, что я предаюсь тайному пороку, о существовании которого я и не подозревал в те года. Начинались его гнуснейшие намеки о том, что он знает причины, отчего я впадаю в идиотизм, и что если «это» будет и впредь про-

должаться, то я стану сумасшедшим. Этот П**, из кожи лезущий, чтобы выявить чванство пустого тона, «социальный святоша» и ограниченный весьма законодатель «княжеского» тона (он гордился, что его дедушка — «князь»), испортил мне год подмигиваньями на тему о том, что он знает, почему я «такой» (предполагалось — «идиот»); и я, без вины виноватый, чувствовал себя Раскольниковым, настигнутым на улице «подозрительным мещанином», вшептывающим:

«Убивец!»

Не раз себя помню застывшим на лавке большого колонного белого зала: один; перемена; все ходят парами, тройками, выявляя естественные замашки; а я — один; и — подойти не к кому: этот срежет, тот пристанет; чего доброго, еще подлетит компания озорников и, ломаясь, привяжется на всю перемену:

— Тупица, дурак, красная девица!

И заставит выслушивать гадости про «девчонок».

Сирые дни: встаешь в семь с половиною; не приготовлен урок; и при ламповом свете «тщетно тщишься» с налету преодолеть Цезаря; пора в гимназию; пересекаешь унылый пустыннейший Денежный переулок; снежок; каркает ворона, каркает в душе,— прокаркала душу; сворот; и — гимназия; «бац» — постылый звук захлопываемой двери; постылый, потому что и в гимназии — ничего не ждет: ждет подчеркивание несуществующей нищеты со стороны «сливок»; и приставание со стороны «папуасов»; ждет бред латинского часа; и — такое ж унылейшее возвращенье домой; дома мать,— далекая и холодная (она точно ушла от меня в эти года: мы с ней встретились вновь с седьмого класса); и ждет отец, как бы тоже ушедший от меня, повернутый только профформой вопросов, от которых невесело вовсе:

— Кто спрашивал? Чего не знал? Что задано?

И я уже начинаю выдумывать (нехорошо,— на сердце скребут кошки от этого!):

— Спрашивал тот-то.

— И ты?

— Я все знал.

О «тройке» — ни звука.

Обед — скучный, монотонный, всегда опасный, ссоры отца и матери, переживаемые мучительно, разражались в часы обеда (не ссорились лишь тогда, когда не были вместе; за обедом — встречались; стало быть, ссорились); это вынужденное сидение втроем угнетало меня: особенно

придумывание мною «родственных» разговоров, сплошная натуга!

После обеда — сиденье под лампою перед Цезарем, которого не перевожу, но делаю вид, что перевожу; под Цезарем — роман, читаемый украдкой; иногда нет романа, а сплошное балдение: отсидев шесть часов за партой, отсиживаю вечер под лампою; иногда мать упражняется; этюды Крамера монотонно-сурово звучат мне в душу, поднимая рой созерцаний; не думы,— упорная медитация, ставшая в годах иогой какою-то; позднее открылися результаты сидения и разглядывания кончика носа; они — в понимании вещей, другим не понятных; можно сказать: Шопенгауэра, Метерлинка и частью Ибсена я высидел в эти годы под лампою; высидел свой план бунта по Ибсену, отказ от «конца века» под флагом пессимизма и узнание, что шорохи быта квартир и гимназических интересов — сплошное шелестение сухих листьев: шелестение смерти.

Метерлинковская «Втируша»[85] уже притиралась к душе моей, и я постиг слова Ницше: «Пустыня растет: горе тому, в ком таится пустыня!»[86]

Странное дело: чем более я удалялся от сотоварищей, тем более я их видел со стороны; видел наш класс; видел среднюю равнодействующую быта соседних классов; и, так сказать, видел быт «так вообще» гимназистов, «так вообще» гимназии («Поливановской», как и всякой другой): быт не утешительный! Пыль квартир ученой интеллигенции, хорошо мной изученная, оказалась пылью «сынов», которую я наблюдал в гимназии; но круг наблюдения был шире: я наблюдал «сынков» аристократов, купцов, людей свободных профессий, помещиков,— крупных, средних и мелких; дети мелких помещиков гыгыкали на меня:

— Дурак, девчонка!

А дети крупных грассировали:

— Не нашего общества!

И уже подымалось в душе:

— Хороши все!

И даже подымалось:

— Ужо вам!

В этом «ужо» отчеканивались первые этапы решения: меня оскорбляющих согнуть в идеологический рог; мысль о бронированном кулаке выявилась к концу гимназии, когда я заставил-таки класс считаться со мною, как с символистом.

Меня спросят:

— Ну, а... преподаватели?

Отвечу:

— Только Поливанов!

Остальные, не преследуя меня (кроме Павликовского!), даже оказывая мне внимание,— не задевали; и внимание это было каким-то вниманием с опаской; отцы-учителя — Гиацинтовы, Шишкины, Бельские,— не имея ничего против меня, точно чувствовали в воспитаннике «змеёныша», который ужалит их вкусы и оскорбит репутацию гимназии, выпускающей в жизнь пушкинистов, а не «скорпионщиков».

Бельские, Гиацинтовы, Шишкины и Лопатины, то есть ареопаг консервативных культурных традиций, надстроенных над поливановскими словечками, традиций не имеющими,— в 1893 году учителя, а в 1903 возмущенные гонители «моего духа» в московских гостиных,— не могли не чувствовать меня чужаком; я был отщепенец среди их сынов; и, стало быть: я был и для них отщепенец; формально мне ставились недурные отметки; и холодно признавалось, что я *не без успехов*; но я тогда уже знал: учителя — плохая опора!

Лишь в Поливанове, проницавшем насквозь, чувствовал я тайную симпатию и какое-то понимание меня в сфере, где слова немеют (ведь видел же он горенье мое на уроках его!); но видя, что я напуган, переконфужен, он деликатно оставлял меня с собою самим.

Оговариваюсь: я нисколько не посягаю на высшие интересы преподавателей и отдельных учеников нашей гимназии, даже групп учеников; присутствие интересов таких и было плюсом Поливановской гимназии моего времени; инициатор всего и баян — Лев Иванович, зажигавший сердца даже среднего уровня (все отдавались урокам его); но в одних те уроки формулировали культурную жизнь; а в других они были лишь интересным феноменом, но — преходящим; пока рычит Лев, класс в восторге; но уроки окончены, и Поливанов со всеми симфониями языка — отлетает: и одолевает пошлость квартир, пошлость вкусов, привычек и устремлений.

В мое время двести воспитанников выявляли совсем не одну, а несколько средних линий; состав был препестрый; и там, где когда-то была несомненнейшая увязка по линии интересов культурных, господствовал в мое время разъед;

Поливанов, группа преподавателей, отдававшихся высшей культуре, и группа учеников (в большинстве — старших классов), связавшаяся с интересами этими,— одно пятно пестрого состава гимназии; сытые маменькины сынки с форсом, с сознанием своего состояния и принадлежности к «сливкам» общества (без сознания, что «сливки» прокисли) — другое пятно; и, наконец, группа с пониженным интересом к культуре, наоборот, с повышенным интересом ко всякой пошлятине, группа, не пропекаемая Поливановым, лишь слегка задеваемая,— третье пятно; в ней и тип «поливановца» уже становился типом казенного гимназиста (в дурном очень смысле).

В этой неувязке состава учеников чувствовался располз Поливановской гимназии, в котором она не была повинна,— располз социальный, с бессознательно изживаемыми классовыми противоречьями; сознания «рубежа» не было в руководителях гимназии; и потому ее положительные стороны с культом Пушкина, Шекспира, Софокла и прочими преимуществами высших интересов к моменту выявления рубежа должны были «консерватизироваться», то есть потерять остроту жизненного стимула; ни Поливанов, ни преподаватели не понимали новых веяний: ни социальных, ни художественных; не понимали того, что и Пушкин, и Шекспир, и Софокл должны быть по-новому добыты, то есть отмыты от штампов конца столетия не просто возвратом «вспять», а творческой переработкой самих восприятий сознания.

Поливанов весьма ценил Брюсова, как умницу: говорят, впоследствии, когда ахнули все на «Бледные ноги»[87] и утверждали с уверенностью, что Брюсов — неграмотный дурак, Поливанов ответил на это:

— Оставьте. Умница, но — ломается.

Он не понимал, что не Брюсов ломает-«ся», а что Брюсов, я и сколь многие, которых он в переломном моменте не видел, стоят на перевале; и им — сломаны; не Брюсов ломал-«ся», а время ломалось,— то время, которого Брюсов уже был выразителем и которое Поливановская гимназия уже не могла отразить.

Если бы Поливанову в 1895 году рассказывать, что очень любимый, ценимый им и близко знаемый Лев Львович Кобылинский (тогда гимназист казенной гимназии)[88] двояко его ушибет (во-первых,— марксизмом, и, во-вторых,— символизмом), как «Эллис», что воспитанник Бугаев и воспитанник С. М. Соловьев, которым оказывал он

внимание, станут тоже «символистами», объединясь вокруг Брюсова-ломаки,— он ахнул бы.

Но еще более ахнул бы он, что именно из этой группы будущих «весовцев» раздадутся призывы по-новому любить пушкинский стих, Шекспира и античную драму.

А между тем: «рубеж», ощущаемый вздрогом точки перевала, но воспринимаемый стариками ломаньем, уже гнездился в недрах Поливановской гимназии в описываемое время; в это именно время кончал гимназию Брюсов, проповедуя Ясюнинскому, Иноевсу, Яковлеву, Щербатову символизм (и они шли на это); то есть восьмой класс, о котором Поливанов писал Никольскому, что этот класс «прелесть какой», уже содержал в своих высших интересах «яд», и опасный «яд»; и в то именно время маленький «Бугаев», еще «примерный ученик», глубоко затаил в душе впечатления от французских импрессионистов.

Будущие «декаденты»-поливановцы проделали все то, что, по мнению Поливанова, отмечало их интересы, как высшие: они увлекались Шекспиром: Боря Бугаев с Сережей Соловьевым ставили в квартире сцены из «Макбета», прекрасно учились русскому языку и ценили классиков поэтов, а Валерий Брюсов восхищал ответом о Дельвиге[89].

И — тем не менее: они-то и были бациллоразносителями той болезни, которая заставила скоро ахнуть просвещенный преподавательский ареопаг.

Бессилие против вторжения интересов к марксизму (у нас появились поклонники тогдашнего Струве и тогдашнего Тугана-Барановского), к символизму и к многому другому еще выявляло распад, ужасный распад, прикрываемый маской благополучия,— распад не гимназии, а жизни.

И этот общественный распад передо мною встал: картиной «гимназии вообще» в лучшей гимназии своего времени.

Описывая преследование меня со стороны товарищей по классу эпохи 1893—1896 годов, должен отметить: меня презирали, главным образом, ровесники, то есть наш класс и ближайшие младшие и старшие классы; наоборот: многие старшеклассники мне особенно симпатизировали, как Яковлев, которого отмечает Брюсов, Богословский, с которым я поздней познакомился уже «Андреем Белым» (через Бориса Зайцева); Брюсова я лично не знал, но помню его: он нас, малышей, необыкновенно интриговал своею мрачною одинокостью, растительностью, угрями и встрепанностью;[90] помнится, где-то он вспоминает, что малыши

досаждали ему, и он, «большой», вступал с ними в драку;[91] у меня не было столкновения с Брюсовым; но я мог досаждать ему: бывало, он шагает один от колонны к выходной двери из зала на переменах, а я, второклассник, заложив книгу за ремень, поставив сапоги ребром к скользкому паркетному полу, несусь на ребрах подметок, как на коньках, наперерез Брюсову (я все-то кружил вокруг него, вероятно, мешая ему слагать стихотворные строчки).

На почве покровительства мне взрослыми у меня одно время завязалось общение с гимназистом Тороповым (когда я поступил в первый класс, он был уже старшеклассник); общение заключалось в том, что Торопов бродил со мною, меня обнявши, за большой переменой, объяснял мне закон божий, и поглаживал по голове; кажется, он отмечал во мне «высшие устремления»; это был краснощекий, вспыльчивый брюнет, с черными выпученными глазами, с уже пробивающейся растительностью; он увлекался геометрией, доказывая классу теоремы и приходя от этого в раж; он делался вне себя — от диких споров; лицо становилось багровым, горловой, басовой, чуть подшепетывающий голос начинал толкать звуком зал; у него были толстые красные губы, большой нос и нелепые движенья рук; скоро я понял, что он — неуравновешенный фанатик, кидающийся из одного увлечения в другое; к нему приставали; тогда он, став малиновым, приходил в ужасную ярость, пугая всех нас драками; раз я видел, как дрался он с группою соклассников; — и ужаснулся свирепому, малиновому, сумасшедшему его лицу с бессмысленно выпученными глазами; его едва привел в чувство вмешавшийся надзиратель; и скоро уже, оправив пенснэ (он носил пенснэ) и став нормальным, он сконфуженно ходил по залу.

В обращении ко мне он проявлял добрые, даже какие-то нежные жесты; рассказываешь ему что-нибудь, а он, полуслушая, гладит по волосам и тихо качает головой, отдаваясь своим мыслям.

Позднее прогремела фамилия Торопова, как председателя Союза активной борьбы с революцией;[92] передавали ужасные вещи об этом изверге; обвиняли в убийстве Герценштейна;[93] передавали, будто он предложил свои услуги быть палачом; главное, цинично гордился этим. Торопова я презирал: он казался мне монстром.

Однажды в ресторане «Прага» (это было, вероятно, в 1907 году), проходя по залу, я увидел бывшего «старшеклассника» Торопова, оказывавшего мне столь большое внимание; он почти не изменился: те ж выпученные глаза,

громкий голос, размашистые движения; я — к нему, нисколько не ассоциируя Торопова с «тем» Тороповым:

— Здравствуйте!

— Ну, как поживаете? — приветливо сказал я.

На что последовал его ответ:

— Хорошо вам, поэтам, отдаваться песням, а вот на нас, политиков, кошек вешают.

Я, еще не понимая его, воскликнул с полной наивностью:

— Да с какой это поры вы стали политиком?

Торопов и политика — не увязывались в моем сознании: ведь я видел его то увлеченным математикой, то — поэзией; но на мой вопрос он захохотал, пожал плечами и, раздвинув руки, бросил громчайше; и — не без вызова:

— Как с какой поры? Да ведь я То-ро-по-в!

Тут только встал в сознании образ «монстра»; того Торопова, Торопова-палача, Торопова-убийцы, быть может; мелькнуло:

— Неужели ж *тот* Торопов — *этот*?

Я обалдел: он, глядя на меня и видя, вероятно, ужас, отразившийся на моем лице, продолжал смеяться, но в смехе выступил явный конфуз.

Я с болью ответил ему:

— Я... не знал...; жалею, что подал вам руку...

И, повернувшись, пошел от него, переживая муку: «того» Торопова ведь любил мальчиком; он продолжал, смеясь, на меня глядеть; и странно: скорее с грустью, чем с негодованием.

Мне говорили потом:

— Вы счастливо отделались: этот сумасшедший мог вас и пристрелить; у него всегда револьвер в кармане.

Кажется, вскоре потом он кого-то и пристрелил.

Другое, тоже горестное воспоминание: когда я был в первом классе, в нашей гимназии учились братья Карр; их было, кажется, четыре брата: один учился в нашем классе (во втором классе его уж не было); братья эти казались мне очень тупыми; наш Алоис Карр был чуть ли не последним учеником; кого любили все, и наш класс, и приготовишки, так это младшего брата Карр, «Сашку»; маленький, прыткий, веселый блондин с открытой душою, постоянно радующийся чему-то, проказничающий, но никогда не обижающий, этот маленький «Каррченок» пользовался всеобщей любовью; взрослые его тискали, сажали

на колени, кормили конфетами; мы весело с ним принимались на переменах играть и бегать.

Скоро все братья Карр исчезли из нашей гимназии.

С какою болью впоследствии я читал страшные подробности убийства отца и матери извергом человеческого рода, Александром Карр; этим ужасным, прогремевшим на всю Россию «Александром» стал милый «Сашка».

4. БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРУ

Переход от двенадцати лет к пятнадцати переживался особенно тяжело, как и период от пяти до восьми лет; между лежат четыре года, окрашенные дружбою с мадемуазель Беллой Радэн; при ней пережил я и свой «триумф» гимназии, и более легкую жизнь дома; она была в курсе моих интересов вплоть до разыскивания мне книг для чтения.

В третьем, четвертом и пятом классе я деградирую как «воспитанник»; в глазах учителей я хуже учусь; в глазах товарищей я превращаюсь в «идиота»; и в соответствии с этим омрачается и атмосфера нашей квартиры; отец неумело проверяет мои знания, лишь отбивая меня от бессмысленного зубренья; но он не указывает мне выхода: не дает книг для чтения; я вкупорен в себя самого; у меня создается впечатление, что никто мне не может помочь.

Никому невдомек, что мои «неуспехи» от крупного «успеха»: от бурно развивающихся высших стремлений и запросов, которые я предъявляю знанию; оно должно быть культурой, входя органически; я теряю вкус к совершенно бессмысленному отсиживанию по шести часов в день, во время которых на объяснение уходит максимум полтора часа; прочие уходят на никчемное выслушивание того, как путают ученики и как путаются учителя в своем отношении к запутавшимся; никчемность сидения и зубрежки, мало сказать, что продумана мною; она, выражаясь языком философов,— интуитивно увидена: увидена насквозь и раз навсегда, после чего никакие логические доводы меня не подвинут к добросовестному выписыванию латинских слов и осмысливанию форм по традиции «Эллендa-Зейферта»; ведь сам «Зейферт» увиден, как идиотская гримаса глумления над душою отрока, ищущего смысла, культуры.

Этой ясной истины, ясно мной пережитой уже в третьем классе, к великому моему удивлению, никто не по-

нял; не поняли товарищи, движущиеся по классам верхом на репетиторах, не поняли преподаватели, не понял отец; вместо того, чтобы, переговорив с директором, освободить мне хоть день в неделю для личных культурных нужд, он, поахав, что гимназия уроками съедает время, предложил мне доедать себя, удвоив часы отсиживания за бессмысленным приготовлением к тому, к чему и нельзя подготовиться; ибо нельзя подготовиться к смыслу латыни, когда вместо этого смысла стоит тень министра Толстого, внедрившего латынь с сознательной целью: смысл обессмыслить.

Мой отказ от учения был именно моим «да», сказанным алканью подлинного учения; товарищи удовлетворялись «пятеркою»; я удовлетворился бы только системою знания; а эта система вырастала из организации моих собственных интересов, из роста их.

С четвертого класса я начинаю учиться у себя; и моя борьба с неправильным внедрением «ложной учебы» принимает вид настоящей революции: с организованным подпольем и с бомбами; решение себя обучить, минуя гимназию, минуя наш дом, крепнет после поражения с естествознанием; весь второй и третий класс я пропылал любовью к естествознанию и жаждою иметь соответственную литературу: я выковыривал из детских журналов и книг все, что носило отдаленное приближение к природе — к ботанике, к зоологии, к метеорологии; и, за отсутствием книг, я должен был с естествознанием разорвать; грустно признаться: имея такого отца, с такой библиотекой, заключающей Дарвина, Бэкона и так далее, я не имел дома естественнонаучной пищи; да,— не имел, потому что, во-первых, никто не принес мне в комнату Дарвина, а читать воровским способом я пока еще не умел (через два года уже умел!); во-вторых, какое ни иметь развитие, но факт останется фактом: «Происхождение видов»[94] не книга для двенадцатилетнего; а Кайгородовы да Богдановы[95] к третьему классу были мной высосаны, переусвоены; я их перерос; и позднее уже ни «Научные развлечения» Тиссандье[96], мною взятые у отца, ни украдкой прочитанные «Умственные эпидемии» не вернули мне интереса, который был сломан.

Скажут:

«Почему вы открыто не заявили своих претензий»?

Ответом пусть служит все написанное в этой книге о том, как проблема открытости была переломана бытом нашей квартиры во мне с четырехлетнего возраста; чтобы

заговорить *открыто*, нужно было произвести революцию всех наших устоев; я и заговорил *открыто* потом, когда выступил *в открытую*; открыть мне что-либо означало: *взорвать* подполье.

Пока копились силы для взрыва, я жил подпольщиком.

Потерпев крах с естествознанием, я повел иную политику с другой своей страстью, во мне разгоравшейся; эту страсть зажег Поливанов: он-то, собственно говоря, и был повинен в соблазнении меня.

Страсть, им вздутая,— живое слово во всех его проявлениях: поэзия, художественная проза действовали электрически; проблемы, связанные с эстетикой, вплоть до философии искусства, казались поданными природой моей, им мне во мне открытой; а между тем: жажда не могла насытиться; среди огромной залежи отцовских книг не было художественных; книги матери, среди которых были Гоголь, Шиллер, Алексей Толстой, Фет — на запоре: мать никому не давала их, боясь, что ей перепортят ценные переплеты; я тянулся к классикам; а откуда их достать? Их сознательно не давали, мотивируя тем, что классики не уйдут, а вот уроки готовить надо.

Я изгрыз (перечитал и перепрочитал) художественные отрывки хрестоматий Поливанова; они раздразнивали меня; в третьем классе я пережил упоение Пушкиным, а Пушкина знал по отрывкам.

Что было делать?

С четвертого класса я превращаюсь в дрянненького воришку, снедаемого страстью к художественной культуре, украдкой вытаскивая из запертого шкафа матери и из комнаты отца все, что имело хоть какое-нибудь отношение к моим интересам; прочитаны: Диккенс, Гоголь, весь Алексей Толстой, Лермонтов, Майков; одно время я увлекаюсь поэзией Алексея Толстого; но, одолев «Дон Жуана»[97], начинаю понимать, что он — вялая дрянь; с пятого класса к художественному интересу присоединяется интерес к чтению вообще: к сериозному чтению; с этого времени я — тайный посетитель кабинета отца; сколько и дряни, и книг, малопонятных для моего возраста, одолел я, начиная со Смайльса; я читал «Физиологию ума» Карпентера[98], не имея никакого представления о физиологии, и дрянную книжонку Аллана Кардэка «Ла женез дю спиритизм»;[99] и я уже присвоил себе тайное право рыться в «Вопросах философии и психологии» за ряд лет.

Странное, беспочвенное, бессистемное чтение!

А те авторы, которые были мне по возрасту, как Толстой, Гончаров, Тургенев, Пушкин, Белинский и так далее, отсутствовали; и я вынужденно питался официальным чтением, приносимым отцом для матери из клуба; градация томиков Генри Уд, Коллинз, Вернера, Ожешко, Марлитт, Золя и Бурже заглатывались в эти годы, не удовлетворяя нисколько; из месяца в месяц росла жажда чтения классиков, эстетиков, философов искусства, историй литератур; от этого круга чтения я был отрезан.

С шестого класса в мой художественный горизонт врывается волна новых имен: Гауптман, Бодлэр, Мередит, Рэскин, Уайльд, Вэрлен, Ницше, Ибсен (и другие); коечем раздобываюсь я в квартире Соловьевых; это крохи по сравнению с моей потребностью; я твердо знаю: гимназия — ничто; самообразование наперекор гимназии, отцу, быту, вкусам — все; не просто самообразование по шпаргалке, а удобрительный материал для того, что я сам в себе образовал; в гимназии уроки Льва Ивановича провоцируют, как ни странно сказать, послать к черту режим уроков.

В четвертом классе Николай Келлер, один из зубрил (ограниченный юноша), изобретает затею: он будет издавать художественный журнал; я даю ему «художественный» отрывок в прозе, написанный в один присест; отрывок приводит в изумление Келлера, который заявляет: его репетитор нашел в нем присутствие незаурядного таланта; я — горд; выходит первая тетрадка журнала; что же я вижу? Вместо лапидарного отрывка (странички в полторы) — шесть страниц вялой сантиментальности, где фигурирует и «очаровательная ночь» и «очаровательное пение соловья». В чем дело? Оказывается: Николай Келлер с репетитором, вдохновленные моим отрывком, к нему приложили руку; я, тихо ахнув, не осведомлялся о журнале. Моя реакция на все: тихо ахнув, убиться в молчании.

Но, тихо ахая, я противополагаю бессмыслице свою борьбу за культуру; и в этой борьбе скоро перехожу грань дозволенного.

Забегая вперед скажу: настал роковой день, когда я, не сообразив последствий моего поступка, переступил черту; был мерзкий осенний день; сеял дрянненький дождик; как-то особенно не хотелось в гимназию; я пошел крюком; оказавшись на Сенной площади перед читальней Островского, я сказал себе: «Не случится ничего дурного, если я опоздаю на два глупых часа, ознакомившись с каталогом читальни». В каталоге оказались «Северные богатыри», «Гедда Габлер», «Нора» и «Праздник в Сольхаузе» Ибсе-

на;[100] я спросил себе «Северных богатырей»; сел, открыл книгу: погиб! Ибсен — разрыв бомбы во мне; вместо двух часов я прочитал Ибсена шесть часов, чего-то не дочитав; стало быть, следующим утром я опять не попал в гимназию; дочитав Ибсена, я начал «Преступление и наказание» Достоевского; читатели понимают сами, что вернуться в гимназию, не дочитав романа, нельзя; но в день, когда я кончил роман, я начал «Идиота»; посещение гимназии отсрочилось до окончания чтения главных романов Достоевского; но тогда начался Тургенев; я действовал, как сомнамбула; прекратить посещение читальни не было уже никаких сил; раз «преступил», надо было использовать «преступление»; [101] повторилась сказка о тысяче и одной ночи с тем различием, что это была сказка пятидесяти дней, во время которых я просиживал по шести часов за неотрывным чтением; тоска лет по художественному питанию удовлетворялась; я похудел, стал зеленый от переутомления, глаза мои лихорадочно блистали от разрывавшего художественного потока, сладкого и гибельного; гибельного, ибо на что же я шел? Дома меня встречали, как возвращающегося из гимназии; а на вопрос «кто спрашивал» я буркал что-то невнятное, стараясь не мучаться от стыда и раскаяния; а впереди ждал вопрос уже в гимназии:

— Где вы пропадали?

Я с неделю обдумывал, как мне вывернуться. Не было никакого выхода; во всем признаться? Меня б не поняли: до сих пор преступление утайки еще было переносно; наступил момент, когда оно жгло, как пламя, ибо я написал своею рукой записку от якобы матери к надзирателю: отсутствовал-де по болезни.

И этот «подлог» — адское пламя, на котором я горел целый год; в оправдание себя скажу: муки совести превысили преступление, совершенное во мгновение ока; и — в безвыходном положении; положение создавалось пылкостью любви к «художеству»; тем не менее: страдал я ужасно; страдая же, знал: результат преступления перерастает вину; пятьдесят дней, отделяющие невинность от убийства совести, переродили до основания; и хотя я чуть ли не сошел с ума от разрыва впечатлений, они, утрясываясь полтора года, сковали меня в вооруженного опытом и самосознанием мужа. Подумайте, что я осилил сразу: Ибсена, Гауптмана, Зудермана, всего Достоевского, всего Тургенева, Гончарова, «Фауста» Гете, «Эстетику» Гегеля, ряд поэтов («Вечерние огни» Фета, Полонский, Пушкин,

Некрасов, Надсон); я перерыл ряд современных журналов, читал «Северный Вестник»[102], открыл Сологуба и Бунина, мне неизвестных, читал Гиппиус; и из ряда проглоченных статей выработал сознательную программу чтения; присоединившиеся в скором времени к моему чтению Шопенгауэр, Белинский, Рэскин плюс моя работа над ними наложили отчетливое клеймо на формирующееся мировоззрение; на этом клейме было выгравировано: «символизм».

Я стал символистом ценой убийства Авеля; «Авель» во мне чистота совести; пятьдесят дней, отделившие меня от меня же, превратили в Каина; и двенадцать месяцев потом Каин, убийца совести, томился тоскою и страхом; но если бы ему предложили повторить этот опыт с «обманом», он, ужасаясь вдвойне, его бы повторил, ибо в обмен за чистоту риз он получил культуру: ведь Каин, не Авель,— ее творец.

Я не стану описывать драматическую эпопею того, как «Каин» томился; и как открылся обман; что произошло между ним, отцом и директором Поливановым; это — сюжет драмы, которую некогда я хотел изобразить в повести «Преступление Николая Летаева»; но первая глава, «Крещеный Китаец», разрослась в повесть;[103] повесть не была написана; в биографии, живописующей генезис «рубежа» во мне, ей тоже не место, как драме, слишком драме; и драме, написанной в ибсеновских тонах.

Здесь должен сказать: я не просто знакомился с драмами Ибсена, рисующими схватки между двумя формами долгов: «ты должен для других» и «ты должен во имя» стремления, тебя распинающего; я, читающий драмы Ибсена, сам был героем одной из ибсеновских драм; оттого-то они меня до такой степени вывели из себя, что некоторое время я развивал фантазию: тайно бежав в Норвегию, добиться того, чтобы быть принятым в дом Ибсена в качестве его лакея.

В этой мысли о «лакействе» изживала себя потребность послужить в изгнании тому, кто углубил мне взгляд на драму жизни; эта фантазия пылала в моей душе в период неоткрытости моего преступления; я думал:

«Когда все откроется и я покрою себя несмываемым позором перед директором, родителями, знакомыми и друзьями, я бегу, чтобы в услужении «для другого» смыть пятно позора, которым я себя замарал».

И в чистке ибсеновских башмаков изживала себя мистерия омовения Каином ног того, кто его подвинул на убийство.

Читатель,— это не шутка!

Не оправдывая себя и горько каясь, я ставлю вопрос и с другой стороны: скажите мне, что же это за быт, где возможны такие нелепости и где действующие лица — носители высших стремлений и высшей культуры? Я, шестнадцатилетний «преступник»,— чистый юноша, краснеющий от женского нескромного взора; и — добрый юноша, не способный убить вороны; одушевляющие меня стремления — прекрасны; и знай их Поливанов, он бы воскликнул со свойственной ему эмоциональностью:

«Прелесть какие!»

Действительно: я углубился в Гегеля, в Рэскина, меня ждут Шопенгауэр и Кант; я пишу для себя длиннейшее исследование о природе красоты [104], стараясь выявить отношение между понятиями «идея», «тип», «символ»; я уже очень образован (не довольствуясь «идеализмом», читаю Уэвеля и Милля); образован, добр, пылаю сочувствием к добру и свету: не пью, не курю, не развратничаю, не переношу пошлости.

А я... преступник; и главное: соблазнитель мой, взманивший на путь преступления обострением жажды к «художеству»,— сам Лев Иванович, невольное действующее лицо драмы, в которой я — герой.

Третий участник драмы — отец: чистый, прекрасный человек, весьма понимающий мои умственные запросы, ибо мне подкладывающий Милля, но не понимающий, что запросы шестидесятых годов уже не запросы девяностых; отец, видящий бестолочь «толстовской системы» громленья мозгов и с нею уже борющийся, подготовляя кампанию за естествознание (против министерства), и все же стоящий за то, чтобы я себя этой системою догвоздил; и ради этого лишающий меня правых эстетических потребностей, не умеющий расколдовать во мне скрытность, которую маской ко мне пришили с четырех лет; ведь преступление Каина — итог быта: итог двенадцати лет ужасного коверканья родителями себя, своих отношений друг к другу, перекрещенных на мне.

Повернув историю моего «преступления» под углом борьбы двух столетий и страшного провала критериев жизни высшей интеллигенции, ведь, пожалуй, и не найдешь «преступников», наткнувшись на исторический рок.

Мне от этого — не легче, ибо «преступника» в себе переживал я год: денно и нощно; конечно, я вышел из опыта *ужасного и прекрасного* года (прекрасного, ибо мир культуры стоял предо мной невероятным ландшафтом будуще-

го), с твердым решением: не повторять «преступлений» подобного рода; совесть моя окрепла, но окрепла на разглядывании все же *кривого* поступка, и все же поступка, совершенного мной.

В преступление *«воспитанника Бугаева»* были посвящены три лица: *воспитанник*, профессор Бугаев и Лев Иванович; знаю, что у отца и у Льва Ивановича был разговор обо мне; не знаю содержания разговора; оба по-разному убили меня; отец — взрывом горя и ясным прощением; а Лев Иванович — изумительным благородством; два месяца он был со мной подчеркнуто нежен; и слышалось в тембре обращения:

«Ничего, ничего: не горюйте, Бугаев».

Он вызвал во мне взрыв моральной фантазии; я, глядя на него, как бы произносил клятву; он как бы молча принимал ее.

Но, приняв, он жестом дал мне понять, что ему *все известно.*

Должен закончить описание этой драмы «осанной» благородству и тонкости педагогического таланта этого человека, когда он действовал от сердца к сердцу ученика.

Описывая трагический случай, венчавший борьбу за культуру мою, я заскакиваю: он — финал лет, которые озаглавил бы: «Путь от триумфа к позору»; но генезиса той или иной темы нельзя выдержать только в хронологическом порядке, не превратив биографии в крап фактов, весьма интересных для автора, но не для читателя. Пока совершались процессы вырождения из домашнего и гимназического бытов и процессы «врождения» в то, что мне стояло, как ренессанс, я отдавался ряду невинных и разрешенных переживаний; как ни была мрачна моя жизнь, я, и страдая, не терял жизнерадостности, сквозь все пробивавшейся; ослабевало страдание в том или ином участке сознания,— мгновенно участок начинал процветать; и я процветал любовью к Малому театру, к Ермоловой, к Садовским, к Гореву, к пьесам Островского; не было момента, когда бы я бросил свою игру *; в 1893 году мы жили на даче в Царицыне; тут настигло меня увлечение девочкой, Маней Муромцевой (дочерью С. А. Муромцева), с которой я познакомился на даче Вышеславцевых;[105] очень хорошо помню отца ее, Сергея Андреевича, еще черно-

* Смотри в предыдущей главе.

родого «красавца», как его называли тогда, а вовсе не «председателя Думы»;[106] с той поры периодически возникает его жена М. Н. Муромцева, с которой встречаюсь я в самых разнообразных местах до шестнадцатого года (в «Эстетике»[107], у нас, на выставках, в Кружке[108], у Кистяковских и даже у теософов); помнится Царицынский парк, моя беготня с детьми Давидовыми; и та же четверка Лопатиных, сменивших Демьяново на Царицыно, устраивавшая парады прогулок на удивление дачникам; помнятся соседи по даче, шумные барышни Орешниковы, с которыми я впоследствии не раз встречался, а с Верой Алексеевной (женой писателя Зайцева) и дружил: В. А. была очаровательная белокурая розовая барышня (всегда в розовом платье), к которой я чувствовал почтительную... почти влюбленность.

Из Царицына я привез страсть к танцам; и увлечение ими длилось весь третий класс, когда я учился танцам у двух учителей сразу: у Тарновских (по воскресеньям) и у Вышеславцевых (по субботам); у Тарновских я постоянно встречался со стариком бароном Корфом; у них же я видел Южина-Сумбатова, которого обожал за Мортимера в «Марии Стюарт»[109], и В. И. Немировича-Данченко; а у Вышеславцевых мне запомнился Крестовников (будущий председатель Биржевого комитета).

Увлечения танцами были летучи: вспыхнувши, отгорели, сменясь увлечением фокусами, которые я проделывал с таким совершенством, что ужаснул свою суеверную бабушку; за фокусами вынырнула страсть к акробатике, в которой я был тоже горазд; пойди я по этому пути, я очутился бы в цирке; я потрясал ту же бабушку тем, что мог, поставив друг на друга четыре стула, на них взобраться; и, стоя под потолком, держать горящую лампу на голове, что мне запретили; я проделывал курбеты и на трапеции; помню, что в Кисловодске я прельщал барышень, раскачиваясь и не держась руками за веревки; за акробатикой последовала страсть к костюмам; я выдумывал разные стильные костюмы из домашних пустяков; и начинал поражать воображение матери, вдруг появляясь в костюме английского пэра эпохи Елизаветы; мать восклицала:

«Совсем, как в Малом театре!»

А я, поразив воображение, удалялся, чтобы предстать пред ней «Мавром» или Германом из «Пиковой дамы», весьма поразившей меня;[110] эта страсть к «маскараду» скоро нашла богатую пищу, когда в соловьевской труппе

я стал всеми признанным и всеми оцененным костюмером; когда мы ставили «Два мира» Майкова[111], то режиссировавший Михаил Сергеевич Соловьев не вмешивался в мои функции; и их одобрил «спец» Владимир Михайлович Лопатин, присутствовавший на представлении.

Но под всеми этими играми разыгрывались иные игры; мои игры про себя, верней, опыты «остраннения» атмосферы, сперва тайные, потом разыгрываемые, как мифы и «гафы»[112] (уже студентом); впоследствии Брюсов отметил в «Дневниках» след этих «гафов»: «Бугаев заходил ко мне несколько раз. Мы много говорили... о кентаврах. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий монастырь. Как единорог ходил по его комнате...» Или: «А. Белый разослал знакомым карточки (визитные), будто бы от единорогов... Иные смеялись..., а Г. А. Рачинский испугался, поднял суматоху по всей Москве. Сам Белый смутился... Прежде для него это было... желанием создать атмосферу,— делать все так, как если бы единороги существовали» (В. Брюсов: «Дневники», стр. 134)[113].

По носу критикам, доносящим на меня за «мистику»; и в эпоху записания «Дневников», и гораздо ранее, будучи шестиклассником, будущий Белый весьма старательно упражнялся в «как будто» в стиле собственных макетов собственной студии символизирования, источник которой — *игра*, а не вера: то, что Шкловский называет принципом «остраннения»; и Брюсов понял с первого мига встречи, что постановка «Атмосфер» великолепно уживается в Белом с критицизмом, Кантом и интересом к «Основам химии» Менделеева; тринадцатью страницами ранее тот же Брюсов записывает: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии»; пропускаю слишком лестную для себя фразу; и — дальше: «Зрелость... ума при странной молодости» («Дневники», стр. 121)[114].

Брюсов с первого мига понял, что мои символизационные упражнения, захватывающие не только «словесную фразу», но и «переживание» (индивидуальное и социальное) отстоят за тридевять земель от вер в мистическую «кошку серую», которыми порой так страдал в юном возрасте Александр Блок, бессознательно провоцируя меня к философским вопросам ему (в письмах), шуткам с выдуманным нами «Лапаном»[115], постановочным макетом «остраннения» быта, чтобы выведать, в чем же корень его «Прекрасной дамы»; главное: право устраивать студию нового быта Белым оформлено отделом «Арабесок» под заглавием «Творчество жизни»[116], то есть претворения пе-

реживаний, подчиненных стилю; как тщились создать стиль мебели, так юный Белый тщился в великой предерзости своей создать новые атмосферы переживаний под флагом «игр»[117], — то самое, что Валерий Брюсов выметил в своих юных строчках:

Я сделал снег из лепестков[118].

Но эти мои стилизационные игры идут из моей детской игры, «своей» игры, корень которой — в перелаживании предметов быта в знаки чего-то иного, еще искомого; из этой «игры» и выветвлялись все иные игры: и в «костюмы», и вот во что: прочитав «Эстетику» Шопенгауэра (третья часть «Мир, как воля и представление»), я пленился идеей Шопенгауэра о непосредственной возможности «увидеть идею»; и я каждый день останавливался на прогулке перед, например, домом: и зрительно учился увидеть стилистическое целое его формы (безотносительно к улице, нелепым вывескам), как нечто основное; я считал, что вижу «идею» дома, когда это удавалось; позднее с юным С. М. Соловьевым садились мы на бульваре, и я, наблюдая прохожих, силился увидеть «идею», то есть нечто типичное, чтобы мгновенно сымпровизировать фамилию, выражающую сущность прохожего; я восклицал:

— Вот идет Соня Алова с мисс Мак!

Проходила девочка с гувернанткой.

Раз я воскликнул:

— Фетюков!

И услышал в ответ:

— Здравствуйте!

«Фетюков» оказался знакомым С**; я так увлекся его типом («идеей»), что не узнал в нем знакомого.

Что это — «мистика» или студия наблюдений?

Свои разглядения я называл созерцанием «идеи»; в этой ошибке в выборе слова я повторял лишь почтенное заблуждение Гете, уже взрослого, спорящего с Шиллером о том, что идею «перворастения» можно узреть[119].

Я, не посвященный в этот спор, не подозревающий еще о нем, собственно, поднимал вопрос Гете: что есть идея в явлении?

Под флагом «созерцания идей» я развил глаз: к усвоению не только стилей, но и природных явлений; я уже часами разглядывал оттенки зорь, месяца, цветов, лиц, человеческих жестов; все изученное мной, натурально, легло далее в основу чисто писательской привычки к наблюдательности, корень которой — в тех упражнениях, которые

я развивал то в акте созерцания, то в акте постановочного макета, который шутя называл я «странных дел» мастерством (даже термин Шкловского был мною подобран)[120].

Читайте и поучайтесь, критики символистов: читайте и будьте грамотнее; читайте великого поэта-натуралиста Гете, которого вы не знаете; если бы знали, стыдно бы было вам видеть мистику там, где действует углубленный натуралист, упражняющий глаз.

Мои «странные» игры, сплетающие созерцание, мысли об эстетике Шопенгауэра, стилистические упражнения с просто детской игрой уже возникают с пятого класса гимназии, когда я всецело отдаюсь звукам музыки и месячным лучам; я, вглядываясь в луну, начинаю изучать отражение луны в зеркале; я кладу зеркало на стол, сам влезаю на стол; и смотрю на отражение луны в зеркале под ногами — до самогипноза, зорко изучая и переживания свои; вдруг мне кажется, что вдыхание нашатыря усилило бы во мне действие лунного света: я говорю себе:

— Луна связана с аммиаком.

Шаги; я слетаю со стола; зеркало — на месте: перед столом сидит «воспитанник»; и — изучает Цицерона:

— Переводишь, Боренька?

— Перевожу.

Так я заигрывал про себя в пятом-шестом классах.

Полосой вот таких игр я, уже вооружающийся Бодлэром, врезывался в чисто «декадентские» упражнения с тем явлением, которое называет Вундт аналогиями ощущений; что это — «мистика» или «эксперимент», «трансцендентность» или «имманентность» — призываю на суд грамотного человека, читающего и Вундта, и Гете, а не невежу и болтуна.

Золото сделал я, золото
Из солнца и горсти песку.
Тайна не стоила дорого...
Падал песок из рук у меня,
Тихо звеня...
Золото сделал я, золото.

Валерий Брюсов[121].

И я в серой пыли заевшего меня быта уже «делал золото»; оно-то и создало во мне собственный стиль «строки»; но стиль строки — от стиля восприятий; стиль же последних — из опытных упражнений, адекватных лабораторным; первая книга «Бореньки», ставящая грань между ним и «Белым», написана: своей формою, своим стилем.

Откуда он вынут?

Из опытных упражнений: с собой, а не со строкой; о форме не думал, а вышла «своя».

А почему типы «Симфонии», никому не видные в 1901 году, появились обильно к 1905 году? Потому что они были впервые наблюдены: наблюдение и опыт лежали в основе моего «символизма».

5. ТОЛСТЫЕ. ОЖЭ. АВТОРСТВО. ШОПЕНГАУЭР

Эти годы напоминают мне в одной грани мчащийся поезд; я, высунувшись из окна вагона, запоминаю случайные ряби станций; и станции — отлетают; станции — картины быта; а поезд — пролет сквозь него; что прежде грозило сковать, теперь скользит по поверхности; мучают глубокие драмы, а не поверхностные впечатления бытия; в них я — актер, исполняющий водевили.

Постоянный заход к Стороженкам относится к этого рода не задевающим впечатлениям; Н. И. Стороженко, как авторитет, трояко убит за период гимназии: отцом, Поливановым, вскрывшим литературу, и М. С. Соловьевым, к которому скоро прислушаюсь я; к этому профессору водворяется лишь благодушное отношение: добродушный хохол,— не более; для меня он и не *вредитель* вкусов (вредитель для *слабых* голов он); с его детьми ослабевают мои связи; некоторое время я стараюсь развернуть мои способности и у Стороженок в виде инсценировки детских спектаклей; и тут наталкиваюсь на *мальчишек*, деформирующих эстетику моих начинаний и сводящих ее к грохоту, растерзанию, шарапу; скоро *сыны*, став поливановцами, заводят сношения с *негодяйскими* элементами своих классов; Маруся, дочь, обзаведясь роем подруг (Дюбюк, Салиасы и т. д.), становится арсеньевской гимназисткой[122]. Едва нудятся отношения мои с мальчиками Бутлерами, в 1894 году мы проводим в имении у М. Я. Бутлер (сестры друга отца) полтора месяца[123], живущие в воспоминании, как серое пятно; мать в одном из своих болезненных кризисов опять взволнована моей *преждевременной* развитостью; и гонит меня от взрослых: а Женя Бутлер пренебрежительно использует меня в качестве помощника по фотографической части; переживаю себя изгнанником общества: наезжающая молодежь, моя мать, мальчики Бутлера, превышающие меня возрастом лишь на два и четыре года, водятся тесной компанией, в которой возрасты смешаны

(от пятнадцати до пятидесяти лет), а я, тринадцатилетний, изгнан, как *маленький*; и должен водиться вне этого общества в обществе грачей и галок, обильно населяющих унылый сад унылой *Александрии*, имения Бутлеров (Спасского уезда, Тамбовской губернии); дней десять гостим в Липягах около Спасска, где во мне принимает участие добрая А. С. Жилинская (жена брата М. И. Бутлер); помню здесь барышень Хохловых (дочерей артиста)[124] да посещение соседей, князей Цертелевых; помню рассеянного Д. Н. Цертелева, поэта, писавшего о Шопенгауэре[125] и друга В. С. Соловьева, не раз бывавшего в Липягах; он мне запомнился не как философ-поэт, а как забавно рассеянный фотограф.

После Тамбовской губернии проводили часть лета в унылой Либаве, впечатления от которой тоже не осталось: и море не радовало.

Следующее лето проводили мы с матерью в Кисловодске, а доканчивали снова у Бутлеров; в Кисловодске я был предоставлен самому себе, проводя день в парке и занимаясь упражнениями на трапеции и проглатыванием девяти стаканов нарзана; мать водилась в обществе своей подруги, Е. И. Черновой, жившей в Кисловодске с глупым мужем, *красавцем* Аркашей (А. Я. Чернов); рой расслабленных «генералов» ее окружал; среди них запомнился сенатор Н. А. Хвостов,— издали.

И это лето я прожил «изгоем»; внешний мир не питал.

Сезон 1894—1895 годов отметился мне знакомством с Мишей Толстым, сыном писателя, оставшимся на второй год и оказавшимся соклассником; признаться: сей отпрыск великого дома меня не пленил: и он мной не пленялся; рыженький, некрасивый отрок, с неряшливым видом и кривыми зубами, но с печатью фамильного сходства, он держался балбесом, поддразнивая учителя Копосова; был не до конца глуп; но и умом не отмечен: поверхностный отрок с невыраженными интересами, с потенциями к хлыщу, но уже зараженный чванством («Толстые мы!»). Я никогда не столкнулся бы с ним ближе, кабы не родители; все началось с визита Софьи Андреевны Толстой к нам; прежде она встречалась с родителями у общих знакомых (Олсуфьевых, Стороженок, Усовых и т. д.); узнав, что мы с Мишей товарищи, она явилась к нам с предложением возобновить знакомство и с приглашением меня к ним по субботам; родители ответили визитом; и после этого от времени до времени Миша усиленно звал к ним прийти.

Помню первое посещение толстовского дома, в Хамовниках;[126] с матерью; открыл двери великолепный лакей во фраке и в белых перчатках; нелепость явления этой фигуры подчеркивалась несоответствием со стилем дома, не отличавшимся великолепиями: просторный, деревянный особняк, в котором гостиная, столовая и ряд комнат были меблированы так, как меблировались обычные профессорские квартиры; великолепный лакей выпирал смешно и кричаще.

Софья Андреевна любезно встретила мать и, улыбаясь полными своими губами (нижняя выпирала), направила на меня свой снисходительный лорнет, произнося то, что полагается произносить почтенным хозяйкам дома при виде отроков: нечто вроде:

— Я рада: идите к Мише; он ждет вас.

И, взяв мать под локоть, с помахиваньем лорнетки повела ее от меня: присоединить к дамскому обществу, собравшемуся в какой-то проходной комнате нижнего этажа; потом, когда мы, «безобразники», с шумом и гиком пересекали все комнаты, я не раз видел Софью Андреевну, непрерывно клохтавшую словами и размахивавшую лорнеткой, как веером; что-то было в тоне ее вполне нестерпимое, когда она подмигивала собеседницам и, не позволяя им распространяться (переговаривала их всех!), говорила о «великом» человеке, которого она знает, как никто, и который отличается милыми, но невеликими слабостями; у меня создалось впечатление от нескольких толстовских суббот, что это — выставка спеси и легкомысленного болтания Софьи Андреевны о «великом», но смешном муже, точно он — выставочный предмет, на который сюда сбежались глазеть, но который для нее — предмет домашнего обихода.

И поэтому, когда «великий» показывался в гостиной (этот сезон он проводил в Москве, а не в Ясной), делалось отчего-то всем стыдно: вероятно, более всего ему; и на мать Софья Андреевна не оставила приятного впечатления, скорей впечатление легкомыслия и чванства: кокетничаньем «величинами» и «толстовками», цену которым она одна знает.

Помню, как я, поднявшись на лестницу второго этажа, где из надлестничного помещения вели двери в столовую и в гостиную, попал в рой поливановцев: здесь были, кроме Андрюши и Миши, дети Стороженок, мой соклассник Сережа Подолинский, Лев Сухотин (старший на класс), два брата Колокольцовых и Дьяков, грубоватый старше-

классник; из неполивановцев запомнился Саша Берс: мы образовали пустой коллектив, с гоготом принявшийся бегать и швыряться мячом через сервированный чайный стол, делая вид, что всем весело (мне ж было и нелепо, и скучно); более понравились девочка Саша и очень милая Марья Львовна, вмешавшаяся в наши игры и осмысливавшая их; очень понравился совсем маленький, нежный, с полудлинными волосами Ваня Толстой, очень скоро умерший; иногда от взрослых влетала к нам шумная, экстравагантная, умная Татьяна Львовна, державшаяся, как художница (и тоже — с лорнеткою).

Я не любил детских игр с обязательными правилами, с обязательством гоготать, махать руками и ногами и выдумывать никчемные шалости, чтобы показать, что мне весело; может быть, другим было весело; мне ж было скучно, тем более, что отношение ко мне поливановцев-однолетков было скорей отношением сверху вниз (тупица, «не нашего общества» и так далее); этот оттенок связывал руки; и кабы не Александра Львовна (тогда розовощекая, бойкая Саша) и не Марья Львовна, добрая и осмысленная (поразили меня прекрасные, лучистые, голубые глаза), то я, в компании «аристократа» Подолинского, циника Дьякова, и двух балбесов Колокольцовых, и склонного к балбесничеству Миши, просто завял бы; мы играли в мяч, кошки-мышки, прятки: летали с гиками с первого этажа во второй, скатываясь по перилам, врывались в столовую, произвести переполох среди взрослых; запомнились мне (не помню, были ли они в первый раз или во второй) — Сухотин, скоро женившийся на Татьяне Львовне, уже с младенчества хорошо знакомый Сергей Иванович Танеев (композитор), чувствовавший себя у Толстых, как дома, и на весь дом *по-танеевски* плакавший над шахматами, бледный, кажется, длинноволосый сын художника Ге и какие-то почтенные дамы (среди них, вероятно, мадам Пастернак)[127].

В разгар игры в гостиную вошел Лев Николаевич,— тихо, задумчиво, строго, как бы не замечая нас: поразила медленность, с какой он подходил к нам легкими, невесомыми шагами, не двигая корпусом, с руками, схватившимися за пояс толстовки; поразили: худоба, небольшой сравнительно рост и редеющая борода; впечатления детства высекли его образ гораздо монументальней: небольшой старичок — вот первое впечатление; и — второе: старичок строгий, негостеприимный; увидав нас, он даже поморщился, не выразив на лице ни радости, ни того, что он

нас заметил; между тем он подошел к каждому; и каждому легко протянул руку, не меняя позы, не сжимая протянутой руки и лишь равнодушно ее подерживая; помнится, остановившись передо мной, он оглядел меня пытливо, недружелюбно и подал руку, как если бы подавал ее воздуху, а не живому мальчику, растерявшемуся от встречи с ним; помнится, кто-то из взрослых ему напомнил:

— Сын Николая Васильевича.

— Да, да,— знаю,— равнодушно ответил он голосом В. И. Танеева, глядя не на меня, а на воздух над моей головою; круто повернулся и вышел в столовую, чтобы присесть за шахматы с С. И. Танеевым; и оставить нас донельзя переконфуженными, точно накрытыми на месте преступления; наступило молчание.

— Да,— старичок!— нелепо пробормотал Подолинский, чтобы сказать что-нибудь; и разговор перешел на «Войну и мир», чтобы обнаружить «позор» мой: я, пятнадцатилетний, еще не читал «Войны и мира», а все другие — прочли: и Миша, посвистывая, бросил с пренебрежением по моему адресу:

— Всякую дрянь читают, а хороших книг не читают!

Я был добит!

Не очень-то мне сказал мой первый дебют в толстовском доме: не понравилась мне Софья Андреевна, заморозил холодом «старичок» в толстовке, оскорбил циническими выкриками Дьяков, когда мы, мальчишки, остались без девочек; и подавили фрак и белые перчатки великолепнейшего лакея; если б не мать и не настойчивые приглашения Миши, я бы и не появился вторично в этом неискреннем доме.

А я появлялся в этот сезон; но нечем помянуть свои появления: та же беготня по комнатам с вылетанием в сад, где мы кидались снежками, галдели и говорили обязательные циничности, от которых не было весело; запомнились два эпизода, имеющие отношение к Льву Толстому.

Один: в столовой молодежь поет цыганские песни; я с Колей Стороженко оказался при лестнице, ведущей вниз; к лестнице выходит Толстой (не помню с кем), останавливается у перил, собираясь сойти вниз, положив руку на перила, поднимает голову и оцепеневает, вперяясь в пространство и весь погруженный в слух; вдруг, с неожиданным порывом, махнув рукой на пение, он восклицает:

— Как хорошо!

И, опустив голову, легкими шагами быстро спускается с лестницы.

Другой эпизод: Александра Львовна должна нас искать (мы играем в прятки); удалив ее, мы, поливановцы, мечемся по дому, ища обители; вдруг Миша соображает:

— А ведь отец-то ушел?

Кто-то обегает комнаты: возвращается с вестью:

— Ушел.

Миша толкует:

— Если мы заберемся к нему в кабинет, Саша нас никогда не найдет: ей невдомек, что мы осмелились забраться туда.

Решено: какими-то боковыми переходами попадаем мы в кабинет Л. Н., отдельный от дома; простая комната; запомнилась черная, кожаная мебель, если память не изменяет: диван, кресла, ковер; перед ковром письменный стол; мы комфортабельно разваливаемся на ковре и на креслах; Дьяков залезает на диван и лежит на нем; раздрав ноги и похлопывая себя по животу, он изрекает пресные идиотизмы свои; проходят минуты; мы слышим топот шагов Александры Львовны, тщетно нас ищущей; в кабинете почти темно; лишь луна из окон его освещает.

Вдруг легкий шаг из дверей за появившимся кругом света (то — свечка); кто-то идет к нам, ставит свечку на стол; и мы с великим конфузом видим: это — Толстой; поставив свечу и накрыв нас в наших разухабистых позах (Дьяков с разодранными ногами на диване), он не садится; стоит над столом, со строгим недовольством разглядывая компанию; компания — как замерзла (Дьяков даже с дивана не стащил ног): длится ужасное, тягостное молчание, ни мы ни слова, ни Лев Толстой; стоит над столом и мучает нас свинцовым взглядом.

Наконец после молчанья он произносит с нарочитою сухостью, обращаясь не то к Дьякову, не то к Сухотину:

— Отец на земском собрании?

— Да.

И мы стенкою, один за другим,— наутек из кабинета, точно на нас вылили ушат холодной воды.

Долго я потом роптал на этот холод Толстого, распространяемый на нас, пока не понял всей правоты его; ведь он в нас видел «лоботрясов» из «Плодов просвещения»;[128] и был прав: стиль компании, подбиравшейся около Миши, был-таки лоботрясный; и этот стиль мне был тоже не переносен; кажется,— это мое последнее посещение дома Толстых, куда не тянуло; скоро Миша перешел в Лицей; наши встречи в гимназии прекратились; через год

я получил вновь приглашение в гости; но не пошел, и мать была одна у Толстых: вернувшись, передавала, что за мною хотели послать лакея и жалели, что я не появился; я же не печалился; матери тоже не нравилось в этом доме; вымученное Софьей Андреевной возобновление знакомства само собою оборвалось.

Впечатление от Толстых,— впечатление от полустанка, у которого постоял поезд жизни моей лишь несколько секунд; как не соответствовало оно оглушающему влиянию на меня Льва Толстого с 1910 года[129].

Такими же пролетными впечатленьями был мне ряд впечатлений, связанных с внешней жизнью, с просовыванием носа «в свет»: с появлением ряда профессоров и профессорш, с поездкою за границу в 1896 году; мать не умела путешествовать; попав в новый город, она металась недоуменно, пугалась, скучала; и все кончалось бегством домой; сплошной катастрофой стоит мне бегство по Европе:[130] по Берлину, Парижу, Швейцарии; мелькнули: Берн, Тун, Цюрих, Вена, ничем не обрадовав; сокровищницы культуры, музеи, прошлое,— всему этому повернули мы спину; считаю: первое мое знакомство с Европой 1906 год, а не 1896. Запало лишь пребывание в Берлине с Млодзиевскими; и жизнь в Туне с Умовыми; запали и дни, проведенные в Париже с Полем Буайе и с его умной женой; Поля Буайе я встречал и раньше в Москве, когда он, перезнакомившись со всеми друзьями, чувствовал себя москвичом:[131] я его видел у Стороженок; бывал он у нас; бывал и у Янжулов. Узнав, что мы едем в Париж, он списался с матерью и встретил нас на вокзале, поразив высочайшим цилиндром, черною эспаньолкой и эластичностью, с которой он вспрыгивал на фиакр; он показался мне тем именно парижанином, которого я видел на иллюстрациях к банальным французским романам; в 1896 году он был уже седеньким, но таким же юрким; везя нас с вокзала мимо Сорбонны, он заметил матери:

— Ваш муж, если бы ехал с нами, снял бы шляпу перед этим зданием, в котором и он учился!

Но мать Сорбонной не тронулась: и, по-моему, докучала Буайе и его жене жалобой на жару и на то, что ей скучно; тщетно Буайе придумывал, чем бы ее развлечь, посылая к нам сына, Жоржа, влекшего в «Жардэн д'акклиматасион»[132], где я ездил верхом на слоне, а Жорж — на верблюде; когда мы встретились с Умовыми, обещавшими нас

увезти в Швейцарию, то, вероятно, у бедного Поля Буайе с души свалилась большая тяжесть.

Возвращение в Россию было интересней выезда из нее: наш спутник по вагону, бледный, бритый, больной француз, ехавший впервые в Россию, вступил с нами в живой разговор; оказалось, что у него ряд рекомендательных писем к знакомым (Стороженкам, Веселовским и так далее) от того же Поля Буайе, с которым мы проводили недавно время; он оказался католическим священником, находящимся в конфликте с папой и уже не первой молодости принявшимся за изучение славянских языков, в частности, русского; он читал в подлиннике Тургенева, а не мог произнести вслух ни слова по-русски; мать разочаровала его: в летние месяцы никого в Москве нет (ни Стороженок, ни Веселовских); ему придется томиться до осени в пыльном городе; и звала его в гости к нам.

Мосье Ожэ (так звали его) появился у нас, встретившись с отцом, только что вернувшимся с юга; мосье Ожэ оказался образованнейшим человеком, знающим психологию и литературу; он являлся к нам каждый день, часами толкуя с отцом; ехал он в качестве доцента русского языка по кафедре Буайе в «Эколь дэ ланг з'ориенталь»;[133] вставал вопрос: куда деться нам во вторую половину лета? Куда деть беспомощного Ожэ, больного и одиноко томящегося в пыльной жаре; решили всем вместе ехать в санаторию доктора Ограновича, Аляухово, присевшую в леса около Звенигорода; там и оказались.

В санатории был общий стол, за которым шумели больные на одних правах со здоровыми; запомнился профессор анатомии Петров да постоянно являвшиеся Иванюковы, жившие где-то поблизости, в маленьком домике, спрятанном в кустах, уединенно работал и отдыхал державшийся в стороне Н. К. Михайловский, статную фигуру которого, одетую во все серое, с развевающейся бородой я хорошо помню; он рассеянно пробегал в отдалении, точно улепетывая от нас; ветер трепал широкополую шляпу и белокурую бороду, а пенснэйная лента мешалась; отец так и лез на него: померяться силами в споре; однажды он с ним сражался; после мать попрекала его теми же словами, произносимыми с той же интонацией:

— Хороши... Накричались... И как вам не стыдно...

А он с тою ж улыбкою так же перетирал руки:

— Отчего же-с: поговорили!

Аляухово жило в памяти из-за Ожэ; ему отвели маленькую комнатушку; и он в ней замкнулся: жечь кури-

тельные бумажки, распространяющие запах ладана; и, по-видимому, предаваться католическим медитациям, потому что часами просиживал в темноте, закрыв ставни и очень смущаясь, когда настигали его; у него болели и грудь и ноги; еле передвигался; скоро он вызвал яркое недоуменье в отце, разводившем руками:

— Непонятно, зачем приехал... Просит не говорить, что священник... Ходит в штатском... Не может внятно ответить, зачем в России...

Было решено: «иезуит»!

Неожиданно «иезуит» обратил внимание на меня; он предложил мне брать у него уроки языка и истории литературы в обмен на свои упражнения в русском; это наше взаимное обучение превратилось в ряд живых и продолжительных очень бесед, увенчиваясь прогулками в поля и леса; и я на месяц превратился в гида этого престранного человека; бледный, бритый, с лицом, напоминающим стареющего Наполеона, с серыми, добрыми и очень грустными глазами, с плачущим, почти женским голосом, с мягко зачесанными каштановыми волосами, он с необыкновенным старанием выправлял стиль моей речи и выговор, попутно рисуя талантливые силуэты Мюссе, Виньи, Ламартина и критиков Сарсе и Лемэтра; второго он обожал; первого не любил и вздыхал о падении языкового стиля во Франции, погружая отрока в тонкости французской эстетики, расколдовывая немоту до того, что я начал выспрашивать его о французских символистах; от него-то я получил первое представление о Реми-де-Гурмоне, «католике» Верлэне, парнассцах, Вилье-де-Лиль Адане; я ему признавался: французские импрессионисты, мной виданные в детстве, живы во мне (в ту пору я знал пародии на «символистов» Валерия Брюсова и читал статью в «Вопросах Философии»,— Гилярова «Предсмертные мысли во Франции», сильно заинтриговавшую меня: перевод поэмы Верлэна, там помещенный, произвел огромное впечатление);[134] Ожэ не симпатизировал «декадентам», но и не слепо ругал их, а говорил осторожно, культурно о том, что «декаденты» — симптом безбожной цивилизации (как и подобает говорить священнику); интересно, что во время наших полевых прогулок в аляуховских полях я впервые осознал свои симпатии к левейшим художественным течениям,— не могу сказать, что благодаря Ожэ, им не симпатизировавшим, а как-то рикошетом от его доводов; из его осторожного тона (не «хихикающего») я вывел свое заключение: надо за декадентов стоять тактики ради; в чем

суть этой тактики, мне еще не было ясно; но тактику я провел с неожиданной для себя пылкостью вскоре же; когда сын Ограновича начал ругать Брюсова, я с неожиданной для себя горячностью сказал, что Брюсова я очень люблю, что не было правдой (я позднее лишь полюбил Брюсова).

Вот ведь что странно: едва ко мне подходили сериозно, я обретал дар слова, по в разговоре с глазу на глаз; наши беседы с Ожэ расколдовали мою немоту, и я долго, весьма неглупо ораторствовал с ним по-французски; но подойди посторонний,— и возникал «идиотик»; это свойство во мне скоро подметил Ожэ; и ответил на него подчеркнутой деликатностью в обращении со мною.

В Аляухове я впервые прочел «Войну и мир», переживая потрясения;[135] и недавно мной наблюдаемый «старичок» в толстовке впервые раскрылся мне; меня потянуло его вновь увидеть; но от свидания с ним отрезал Миша Толстой; Льва Николаевича увидеть из-под «Миши» казалось оскорблением моего чувства.

Другое впечатление от Аляухова: я пережил в неделю просто безумное увлечение дочерью Ограновича, с которой из «стыда» не хотел знакомиться, хотя она и оказывала издали знаки внимания; «роман» оборвался тем, что она неожиданно уехала в Крым, а я хотел броситься в воду; но это было не более, чем —

Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться[136].

Постояв над водой, я пошел к Габриэлю Ожэ; и мы заговорили с ним, кажется, о сонетах.

Настала осень. Мы переехали. Ожэ неожиданно собрался в Париж, когда в Москву вернулись те, к кому у него были рекомендательные письма; странное появленье и странное исчезновенье; мы с ним условились: гимназические сочинения по русскому языку я буду переводить на французский язык, он, исправив текст в Париже, мне будет его возвращать; я ему послал сочинение о былинном эпосе, получил исправленный перевод с рядом утонченных поправок и с похвалами содержанию; матери он высылал томики романов, отцу новинки по французской психологии; и вдруг круто оборвал всякую переписку, не вернул мне текста второго сочинения; мы решили, что он сгорел во время пожара выставки на улице «Жан-Гужон» (трупы сгоревших исчислялись десятками): он жил рядом с выставкой.

Странный человек, появившийся на пороге моих увлечений Верлэном; через несколько месяцев в руки мои попадает «Сэрр-шод» Метерлинка; и я — в плену у него [137].

В эту эпоху начинается мое авторство;[138] я пишу: пишу много, но — про себя; стыдливость моя не знает пределов; если бы меня уличили в те дни в писании стихов, я мог бы повеситься; пишу я и нескончаемую поэму в подражание Тассу, и фантастическую повесть, в которой фигурирует иог-американец, убивающий взглядом, и лирические отрывки, беспомощные, но с большой дозой «доморощенного», еще не вычитанного декадентства;[139] одно из первых моих стихотворений — беспомощное четверостишие:

Кто так дико завывает
У подгнившего креста?
Это — волки?
Нет: то плачет тень моя![140]

Или:

Унылый, странный вид:
В степи царит буран,
Пыль снежная летит,
Ложится на бархан.

Эпитеты «дикий» и «странный» — мои излюбленные; но Ибсена я не знаю еще (мое «окаянство» случилось поздней: через год).

В этой детски-беспомощной лирике с вовсе не детскими темами отразилась моя диковатая, странная жизнь про себя; вскоре после отъезда Ожэ заболеваю я; в болезни прочитываю «Из пещер и дебрей Индостана» Блаватской;[141] и я — «теософ» до всякого знакомства с теософической литературой; мои «теософские» настроения получают пищу прочтением «Отрывка из Упанишад» в переводе Веры Джонстон, переводами из книг «Тао-Те-Кинг» Лао-Дзы и «Серединою и постоянством» Конфуция; все мной прочитано в «Вопросах Философии и Психологии»[142]. Впечатление от «Упанишад» взворотило все бытие; впечатление это я описал в «Записках чудака»; не возвращаюсь к нему;[143] «Упанишады» меня свели с Шопенгауэром; вскоре, отрывши в книгах отца том «Мира как воли и представления», я увидел эпиграф, посвященный «Упанишадам»;[144] и сказал себе:

«Отныне эта книга будет мне чтением».

И я начинаю в ряде недель осиливать Шопенгауэра с конспектом, с переложением (по параграфу в день);

первые параграфы первой части я разучивал назубок, задавая их себе вместо гимназических уроков, которых не учу. Так я начал прохождение собственного класса, заключающегося в изучении Шопенгауэра, в созерцании картин природы, подчиненных «закону основания бытия», а не «закону основания познания» (термины Шопенгауэра); я учился в природе видеть «Платоновы идеи»; я созерцал дома и простые предметы быта, учась «увидеть» их вне воли, незаинтересованно; эти практические упражнения к чтению «системы» позднее вылились просто в наблюдательность, в зарисовывание эскизов с натуры и в подыскивание метафор, схватывающих ту или иную наблюденную особенность; я полюбил прогулки на Воронухину гору (над Дорогомиловским мостом); и каждый день оттуда вглядывался в закаты: скоро я стал «спецом» оттенков: туч, зорь, неба; я изучал эти оттенки: по часам дня, по временам года; и этим изучением набил себе писательскую руку, что сказалось впоследствии; но в процессе разглядывания предметов я не думал о писательстве, а о параграфах шопенгауэровской системы, относясь к созерцаниям, как к праксису освобождения от воли; в эту эпоху я очень зауважал буддизм и его аскезу[145].

Скоро к теоретическому часу (изучение «системы») и к практическому часу (созерцающие наблюдения) присоединились иные часы: я всегда любил музыку; но, усвоив себе философию музыки Шопенгауэра, я утроил свое внимание к музыке; и она заговорила, как никогда; в эти годы мать увлекалась Чайковским; и Чайковский во всех видах царил у нас в доме: оперы, романсы, переложение симфоний, балет «Щелкунчик»; музыка последнего особенно действовала на меня; и под аккомпанемент вальса «Снежных хлопьев» или «Па-де-де» происходили мои действия остраннения быта (задействовала лаборатория «странных дел мастерства»); я становился в угол и твердил себе:

«Всегда здесь стоял, никогда отсюда не выйду: тысячелетия простою».

И комната мне виделась вселенной, которую я преодолел, ставши в угол, откуда, как из-за вселенной, я-де созерцаю «все это», нам праздно снящееся; предметы мне виделись по-иному в те миги; и я говорил им:

«Вы — то, да не то!»

В сущности, и эти «дикие» действия были введением в «науку видеть», ибо вслед за ними мне открылся мир живописи, в который я вошел свободно, точно годами изу-

чал ее историю; мне было без пояснения ясно, что Маковские, Клеверы,— никуда не годная дрянь, а Левитан, Врубель, Нестеров, прерафаэлиты — подлинное искусство (но это — немного позднее); теперь вижу, что студии к «науке увидеть» — мои разгляды вещей по-особому, «странному», как я тогда выражался.

Наконец Шопенгауэр заинтересовал меня Фетом: я читал Шопенгауэра в переводе Фета (и потому ненавидел поздней перевод Айхенвальда);[146] узнав, что Фет отдавался Шопенгауэру, я открыл Фета; и Фет стал моим любимым поэтом на протяжении пяти лет[147].

Так свершался отбор классиков — в моем собственном университете; таков я был до знакомства с Брюсовым, Мережковским, Верлэном, Ибсеном и прочими литераторами, которые потом мне служили оправданием самого себя (не я следовал «моде», а «мода» прибегала ко мне: меня подтверждать).

Единственное влияние со стороны, питавшее мое самоопределение в пику всем,— квартира Соловьевых, которую я начал посещать за год до этого периода, еще не углубляясь в разговоры всериоз с супругами Соловьевыми, которые относились ко мне как к мальчонку; я еще ходил не к ним, а к сыну их, Сереже, с которым у меня завязались дружеские отношения впервые несмотря на разницу лет (ему было десять, а мне пятнадцать).

На Соловьевых я должен остановиться.

6. СЕМЕЙСТВО СОЛОВЬЕВЫХ

В конце 1892 или в начале 1893 годов произошло обстоятельство, изменившее будущее; освободилась квартира под Янжулами; в нее переехали жильцы, которых я стал встречать у подъезда, на лестнице, в Денежном переулке; первое впечатление: подхожу к подъезду; из саночек вылезает маленький почтенный блондин лет тридцати пяти с длинным и бледным носом, с золотохохлой бородкою, в медвежьей шубе, в меховой шапке; он, шубу свою распахнув, нос склонил к кошельку, долго роется в нем; это — Михаил Сергеевич Соловьев; как о том оповестила блещущая новая дощечка на двери.

Начал встречать я мадам Соловьеву; она удивила: какая-то странная: не определишь, нравится или нет; действовала на воображение: маленькая, с узкими плечиками, с сухеньким лицом, старообразным и моложавым, некра-

сивым и миловидным, с черными, не то пристально осматривающими, а не то рассеянными и какими-то «не в себе глазами»; быстро повертывалась, когда с матерью проходили мимо нее, и оглядывала: становилось неловко (не знаешь, что делать с таким взглядом); оглядывала не так, как другие (профессорши, мещанки, прохожие); оглядывала не рассуждать, какие «они» и какие «мы»; или — как у «них» и как у «нас»; оглядывала для неведомых целей,— «абстрактная пристальность» или «конкретная рассеянность»,— так бы я определил этот взгляд.

Лицо запомнилось: сухое, вытянутое, смуглое, с прямым носом, с темными, сухо сжатыми губами, обрамленное огромной соломенной, коричневой шляпою, очень изогнутой; с мушчатой вуалью, закрывающей часть лица; так рисовали разве английских «мисс» начала века, иллюстрируя романы Диккенса; потрясающая старомодность наряда, шедшая к стилю фигурки; наряд даму не интересовал; и дама казалась небрежно одетой; но небрежность-то и выявляла стиль «Диккенса», немного чудачки (по Диккенсу), но беспокоящей; и было что-то порывистое в походке, когда она быстро, но четко проюркивала по лестнице.

Первая встреча: мадам Соловьева остановилась у двери своей позвониться; я обернулся; поймал пристальный и меня беспокоящий взгляд; уставились мы друг в друга; и показалось, что дама, вытянувшись ко мне, собирается о чем-то спросить; я уже приготовился с «что угодно».

Вопроса же не последовало; мы оба переполошились сконфуженно (что делать друг с другом?); тут на сухом, некрасивом, старообразном лице с дерзко пристальным взглядом выступило что-то от маленькой девочки; подобие пленительной внутренней улыбки, точно мадам Соловьева готовилась сразу, без мотивировки, по прямому проводу сказать:

«Ну и прекрасно: и будемте знакомы; и давайте играть, во что угодно».

Испугавшись такой готовности, быстро я повернулся; и — наутек:

«Странная: не сумасшедшая ли?»

Странная, но... уютная...

С тех пор при встречах на лестнице происходили эти огляды друг друга; и трудно было сдержаться, чтобы не поклониться.

Мама сказала:

— Художница!

Все стало ясно: «художниц» я знал (Ржевскую, помнил в детстве Кувшинникову); они именно странно оглядывают; а папа заметил:

— Михаил Сергеевич Соловьев,— сын историка, Сергея Михайловича.

И сообщил эпизод из своих встреч с «историком», а также эпизод поездки с молодым Владимиром Соловьевым (из Киева или в Киев), во время которой Соловьев — разболелся; Соловьевы мне говорили лишь Всеволодом, романистом, романами которого («Сергей Горбатов»; «Великий Розенкрейцер»)[148] я увлекался.

Маленького Сережу я видел в церкви; ему было тогда лишь девять лет; он поражал надменством, стоя на клиросе с дьячками и озирая прихожан.

«Такой малыш, а кичится»,— так думалось мне.

Бедный «Сережа», неповинный в напраслине: впечатление — от необычного вида; светло-желтое пальто с пелериной, а бледное личико в шапке пышнейших светло-пепельных волос было ангеловидно; что-то не детское: задумчивость нечеловеческих просто глаз, казавшихся огромными, сине-серыми, с синевой под ними; вид отлетающий от земли («не жилец на земле»!); нет детскости, но и нет старообразия: грустно-задумчивая безлетность,— она-то и показалась мне «чванством»; еще показалось: сумел забраться на клирос, куда не пускают, бегает с раздутым кадилом за иконостас; и, выходя оттуда — оглядывает: знай-де наших!

Все это я выдумал, «небрежение» было рассеянностью от погружения в игру; играл в церковные службы, как я в индейцы, и подаренных ему деревянных солдат одевал в тряпичные орари (я же более думал о разрывных снарядах).

Сережа Соловьев увиделся мне ломакой, играть не способным; и скоро я был удивлен, увидавши в окне, с каким восторгом слетает он в саночках с сугроба; завелся-таки на дворах: на нашем и на церковном; и горечь звучала в душе: я бы... не прочь... на двор, а не пускают!

Так до знакомства я был заинтересован семейством: какие-то особенные, собственные, «не наши».

Знакомство состоялось без меня; Соловьевы сделали визит родителям, потому что Ольга Михайловна хотела написать портрет матери, родители отвечали визитом; и мать стала ходить ежедневно: позировать; возвращалась же возбужденная, плененная Соловьевыми — не знаю кем, не знаю чем (кажется — всем!); рассказывала она: какая

интересная, тонкая Ольга Михайловна, какой выдержанный Михаил Сергеевич; как ей нравится обстановка.

«Такое какое-то там свое!»

И восхищалась Сережей: прелестный мальчик; умница, а — ребенок («не преждевременное развитие»).

— Вот тебе бы познакомиться с ним!

Думал:

«Странное предложение: что же буду я делать с этим мальчонком: ведь я — пятиклассник!»

Мать приглашала Сережу в гости; мне было скорей грустно, чем радостно (от знакомств с «детьми» наживал только хлопоты); еще думалось:

«Придет вот этот «гордец», да и будет окидывать таким взглядом вот: что с ним поделаешь!»

Появление «Сережи» случилось скоро; у нас гостила моя кормилица Афимья Ивановна Лаврова, хитроватая крестьянка, со странной чуткостью, мой единственный друг, которому кое-что приоткрыл я об играх моих и даже: читал ей стихи (я,— стыдливейший!); она не имела представления о том, что это такое, но вздыхала и плакала.

— Ты понимаешь, кормилица, этого не понимают они: ты — молчи...

Соглашалась, молчала: казалось, что-то понимает она; и я стал утилизировать ее для своих странных игр: (в «символизм»); она на все соглашалась; играли мы втихомолку.

Обрадованный приходом кормилицы и предвкушая с ней «наиграться» (хорош пятнадцатилетний «философ»— играет с кормилицей!), я был неприятно смущен звонком, а когда узнал, что пришел Соловьев, то просто перепугался (точно не мне пятнадцать лет, а ему); не успел я опомниться, как дверь отворилась; и явился, видимо бодрясь и сутуло раскачиваясь, припадая на одну ногу, Сережа в черной, бархатной, длинной курточке с белым кружевным отложным воротничком, в длинных чулках, совсем английский мальчик, пришедший из семнадцатого столетия: без всякой надменности поморщивал большой лоб и мотал светло-пепельными кудрями, он начал мне объяснять деловито, что вот он пришел: познакомиться; мы сели друг против друга и начали разговор, точно взрослые; я понял: никакой надменности в этом мальчике нет; он — добрый ребенок, с которым играть интересно; и — странно: никакой разницы лет! Всякую мою мысль он оживленно подхватывал, развивал ее *совсем в моем стиле*: снисходя к его возрасту, я предложил ему игру в солдати-

ки, на что он охотно согласился без задней мысли; мы поиграли: всериоз; далее привлекли и кормилицу к играм; именно тот период я стал бывать у Толстых, но ничего подобного не случалось там в играх: с Сережею интереснее.

Игра расколдовала меня; и я его ввел в страшные рассказы; обнаружилось, что весьма понимает их; и именно так, как я понимаю; я поразил воображение его дикой *фантастикою*; и по реакции на нее увидел, что он, как и я; только то, что во мне утаено, у него открыто; он, не стыдясь, говорил с детскою прямотою о том, о чем я годами молчал при взрослых.

Наша встреча кончилась разговором *по душам*,— первым моей жизни; на такие разговоры не реагировали: поливановцы, стороженковские дети, Бутлера, Миша Толстой; и — прочие.

Сережа просидел у меня до сумерок: он меня очаровал[149].

Скоро и я отправился к нему в гости, безумно конфузясь его родителей; остановился у двери; не смел звонить; только лестничный холод заставил меня коснуться звонка (мы жили в одном подъезде; я пошел без верхней одежды).

Встретили: Сережа и мать Сережи, Ольга Михайловна, которую я с таким любопытством оглядывал,— в длинном черном капотике, напоминающем рясу послушника, отчего показалась худей, суше, миниатюрнее: поразила прическа,— настоящая башенка черных волос, поставленная перпендикулярно к темени и перетянутая черной лентой, завязанной бантом; я был ростом с нее, а она отнеслась ко мне, как к ребенку, погладив по голове и улыбнувшись пленительной улыбкой, располагающей к простой дружбе; сказала, чуть пришепетывая, грудным контральто:

— Вот... какой... хороший!

И, отступая, оглядела меня: так со мною не обращался никто; или совали руку со снисходительным величием (профессора), или мигали с фальшиво-товарищеским «что брт!» («брт» вместо «брат»); а тут — просто, трезво, коротко, деловито:

«Какой... хороший...»

И я сразу почувствовал, что между мною и Ольгой Михайловной та же прямая плоскость и что — «скатертью дорога» всякому общению между нами; это просто ошеломило меня; ошеломленный, я был введен и усажен за чайный стол, стоящий посредине очень большой комнаты, показавшейся удивительно пестрой и располагающей к обще-

нию; кресла стояли не так, как надо, а как того хочется; были развешены весьма приятные тряпки, картины и какие-то ассирийские фрески, и какие-то египетские орнаменты; книги сидели с кучами журналов на креслах; не художественный беспорядок, бьющий в нос в студиях напоказ, а «беспорядок» художественной работы, лишь кажущийся «беспорядок»; видно, в комнате много думали и потом отдыхали за нужными разговорами; в месяцах так сдвинули кресла, что они стали креслами со смыслом, так переместили книги и разбросали тряпочки и умеренно запылили пестроты, чтобы здесь себя ощутили, как в уютном царстве «морского царя», куда нырнул Садко.

Впечатление уютного «подводного царства» я ощутил, опустившись на этаж под нашу квартиру: там у нас буднично; и мебель стоит, как у всех; и сидят профессора, как у всех; а здесь все иное.

Здесь чудеса, здесь леший бродит,
Русалка на ветвях сидит[150].

Сказочно, мило, необычно, а — просто: так бы и зажить навсегда нам втроем!

Вот первое впечатление от атмосферы квартиры; но не русалка села на ветви, а наливала чай Ольга Михайловна, всериоз участвуя в разговоре с Сережей; не «леший» бродил, а вышел из еще мне неясного, дебристого мира — от диванов, штофа, полуосвещенных поверхностей, Михаил Сергеевич Соловьев, появленья которого я так боялся; вошел тихо, беззвучно, крадучись, как уютный тот «кот ученый», который бродит по золотой цепи; вошел в мягких туфлях из кабинета: пошел бледным носом на стол, золотобородый и золотохохлый, с невозмутимым, с добро-строгим, устало-прищурым лицом и с нестрогими голубыми глазами, чуть скошенными (нос глядит мимо, а глаз из-под блещущего золотого пенснэ дружелюбно косится); протягивает молча, но дружески, теплую свою руку; а на плечи накинул он итальянскую тальму (был зябок).

Уселся: уставился носом на пепельницу; молчит, слушает, будто взвешивает, что я такое им всем говорю; и чувствуется: молчанье над чаем его более активно, чем наше слово; я уж было и струхнул; но именно в эту минуту, не глядя на меня, с невозмутимой серьезностью он пробасил грудным голосом:

— Вот, Боря, какую я покажу штуку.

И, взявшись за нос свой большой и сухой, с выдававшейся горбиною, он нос сломал: на всю комнату вдруг

раздался хруст его переносицы: я подскочил; он пленительно улыбался и, скосив на меня голубой строгий глаз, протянул мне разжатую руку; а в ней оказались часы; ими-то щелкнул он. Это событие растопило мгновенно остатки льда между нами; первое посещение Соловьевых стало мне возвращением в мир живительных образов, некогда распускавших уже свои крылья, когда Раиса Ивановна читала стихотворения Уланда.

И как жаждал я повторений тех чтений, так и теперь попадал к Соловьевым; и возвращалось все вместе: Раиса Ивановна, друг-мадемуазель, мои сокровенные переживания про себя; у Соловьевых все то оформлялось, осмысливалось: словами Ольги Михайловны и строгим, но добрым лозунгом Михаила Сергеевича, молча подсказывавшего:

«Быть по сему!»

«Не бывать!»

И, как струя воздуха около воздушного насоса, я был всосан в эту квартиру: никто меня сюда не звал; просто я оказался здесь.

У меня завелся второй дом: и — в том же подъезде.

Семья Соловьевых втянула в себя силы моей души; установились с каждым свои отношения; по-разному тянулись: чувства — к Сереже; ум — к тонкой, интеллектуальной О. М.; воля же формировалась под ясными и проницающими радиолучами моральной фантазии Михаила Сергеевича; в последующем семилетии он, пожалуй, более, чем кто-либо, переформировал меня[151], не влияя и даже как бы отступая, чтобы освободить мне место; однако импульсы мои развивались в линии отступления М. С., в линии его невмешательства в мою волю; будто он, взяв меня за руку (невидимою рукой), вел, пятясь спиной, к горизонтам, к которым лишь я шагал твердо; я развивал философию эстетики, проповедовал Шопенгауэра, Канта, занимал его путаными проблемами соотношения естествознания и философии; вышло: некоторое время я ходил в начетчиках В. Соловьева; а Вундт, Геккель, Гегель, Гельмгольц, Гертвиг и прочие незаметно от меня отступили.

Наконец: Михаил Сергеевич в определенный момент после долгого молчания, сказав «да» моему творчеству, взял и под маркою «Скорпиона» напечатал рукопись, о которой я и не думал, что она есть литература; сделал это он тихо, но твердо: один момент я даже ахнул, испугав-

шись писательского будущего; но он был непреклонен; и я стал «Белым»[152].

Михаил Сергеевич молча формировал мою жизнь; в процессе этой формировки молчал он, выслушивая меня; мы с О. М. и с Сережей ораторствовали, спорили, кипели, надеялись; М. С. молчал и вел.

Он — третий по счету жизненный спутник, не только оставивший след, но и формировавший жизнь; он был гипсовый негатив: что во мне стало выпукло, то в нем жило вогнуто.

Он — сама вогнутость.

Первый мой спутник — отец; его бы я определил, как даже не выпуклого, а протопыренного углами, действующими на воображение; он нападал правилами, словами, стремясь меня выгранить; не выгранивал, откалывал от сознания негранимые части; нельзя же молотом бить по стеклу: разобьется; он бил по мне:

— Как же ты, Боренька?..

Его безвредный *крик* на Дроздова из-за крокета с «топырьте ноги» — стоял неумолчно; не стесняя свободы всериоз, в мелочах «несносно мешал»; и хотел «протопырить» в математический регион, я же улепетнул в естествознание; он за мною туда: со Спенсером в руках; я присел за искусство; он — топырил; я — отступал; он добивался рельефа; рельеф получался вогнутый: не позитив — негатив.

У отца не было паузы; и ритм его — кинетика ударов, деформирующих подчас слух; вместо танца во мне начинался лишь дерг; дергоногом каким-то я силился шествовать за его прегромкой походкой; реакция на нее — сжатие воли при полном восхищении им, как чудесным феноменом; отец — был мое «представление»; воля моя не произрастала им.

В другом спутнике жизни, в Льве Ивановиче Поливанове, была вогнутость, как и выпуклость; интонационная выпуклость влагала урок; и в вогнутой паузе переживалось вложение; скажет, бывало, с предельным рельефом; и тотчас умолкнет, выслушивая звучанье в тебе его слов; сказал бы, что линия действия Поливанова складывалась из равных друг другу отрезков: выгнутых и вогнутых, не оставляя места свободе импровизации для своего материала; она оставляла свободу фантазии воспроизведения им же вложенных: Пушкина, Шиллера и Шекспира; они процветали в тебе; обратись с Метерлинком к нему — он отрежет, как Брюсову:

Но Фофанов, слов любодей,—
Увы!— из Жуковского вышел.

В Михаиле Сергеевиче была огромная вогнутость тишины, насыщенной озоном; на содержание жестов сознания не обращал он внимания: «Метерлинк, Ибсен, Достоевский, или Шопенгауэр, Гартман, Оствальд,— не это важно»,— как бы говорило его нежно испытующее, но строгое молчание,— «важно, с чем входите в эти ландшафты».

Формировал тишиной; ты ему развиваешь часами; он — слушает: и — ни привета, ни ответа; вернее — огромный привет:

— Высказывайтесь!

Неожиданно высказывались до дна, как не высказывались перед собою; когда же дело доходило до этого, *твоего дна*, на которое, как на грунт, ставилась идейная обстановка,— начинал видеть: выходит не так, как ты полагал по схемам; тогда только, тихо глядя перед собою, он мягким, добрым, но твердым голосом резюмировал:

— Так, Боря, а вот как же будет у вас с вашею формой, совмещающей временность и пространственность?

Так он резюмировал раз итог реферата о формах искусства, не споря, а созерцая обстановку идей; он видел, что «формы» у меня есть, а с формальным принципом обстоит неладно.

И, вернувшись от Соловьевых, чувствовал уличенным; и начинал в неделях перестроение плана концепции; заставив раз пять это все перестроить, вдруг твердо решал:

— Сами видите, что ошибались.

И улыбался, лукаво покашиваясь голубыми глазами, в которых зоркость, память о всем, ему развитом, сочетались с большою, конкретной любовью.

Или:

— А вот это так!

И уж теперь не сойдет с «это так»; в нужную минуту поддержит; более того: приобщит «так» к своему миру идей; будет меня защищать своим крупным авторитетом: пред крупными авторитетами; не уступит Лопатину, Трубецкому, да еще и «Володю», брата, наставит моим им вывереннным «так».

Его творческое молчание, как солнечные лучи, давало пищу произрастания; древо мысли моей, которое я знал лишь бесствольной травкой, он вырастил в твердый корою ствол конкретного лозунга; говоря языком Канта: выращивал не «теоретический» разум,— «практический»:

основу воли: сковать мировоззрение, как меч, прорубающий путь, а не... «рефератик», к которому относился с лукавой «шутливостью»:

— Боря читает реферат,— говорил он; и — улыбался; или:

— Сережа — влюблен: достал у батюшки Маркова шубу, надел бороду; и — куда-то отправился ряженым.

Другой бы ахнул: он знал: все — невинно и чисто; и принимал участие в шалости сына; М. С., не добиваясь откровенности и не доказывая, вошел твердо тихими шагами в мое подполье из своего «надполья»,— паркетного пола, по которому он ходил, давая советы: Ключевскому, проф. Огневу с той же легкостью, с какой он формировал нас, войдя в наш «заговор» с дымящейся папиросою, с ему присущим лукавым уютом; он спрашивал нас:

— Итак: вы за бомбы?

Посидев в нашем бунте, заставил признать: бомбы делают «не так», а «эдак»; сам принялся за начинение бомбы, которую бросил в московский круг друзей в виде «Симфонии» Андрея Белого.

Мягко властным и строгим кротостью я и увидел его с первого мига встречи; два еще года принят был мальчиком Борей, другом Сережи; однако себя я считал и гостем родителей.

В семилетии Михаил Сергеевич мне стал негативом, в который излился жидкий гипс; когда гипс отвердел, то, оставаясь собою, Белый стал выпукло выражать то, о чем вогнуто и осторожно *не говорил* М. С., лишь покуривавший да выслушивавший; в ответственные минуты он решал мягко:

— Вот это — так... А это, Боря,— не так.

Внимательно изучив Брюсова,— сказал ему твердо «да» (ни мне, ни Сереже, ни О. М. не было ясно, что выйдет из Брюсова); а М. С. порешил:

— Будет крупный поэт.

И поехал встретиться с Брюсовым; Брюсов явился к нему в квартиру[153].

Еще с большей пристальностью им был ощупан до подноготной весь Мережковский в эпоху начала «славы» своей; и этой славе М. С. сказал тихо, но твердо:

— Нет!

А Брюсов, Сережа и я полагали не так; прошло семь лет; я понял:

— Михаил Сергеевич был прав!

К М. С. чутко прислушивались разнообразные люди: дети — я, Сережа, сын протоиерея Маркова, Огневы, Петровские; прислушивались взрослые: родня жены его чтила; Коваленские и Марконеты, начиная со старушки А. Г. (детской писательницы), кончая детьми, следовали его советам; чтили знакомые: философы Лопатин и Трубецкой, директор гимназии Рязанцев, генерал-лейтенант Деннет, декадент Брюсов, «враг» Владимира Соловьева Д. С. Мережковский и сам Владимир Соловьев.

Было что-то великолепное в тихом сидении скромно курящего М. С. Соловьева за чайным столом в итальянской накидке и в желтом теплом жилете под пиджаком; и разговор, к которому он лишь прислушивался, приобретал особенный, непередаваемый отпечаток, становясь тихим пиром; не чайный стол,— заседание Флорентийской академии, вынашивающее культуру; все же было — проще простого, трезвее трезвого: никакой приподнятости; шутка, гостеприимно к столу допущенный Кузьма Прутков, вместе с тонким диккенсовским юмором Ольги Михайловны, разрешали к свободе; О. М. умела говорить с серьезным видом и без подчерка вещи, казавшиеся эпизодами из «пиквикского клуба»; скажет матери, наливая чай:

— Боря с Сережей пошли к Сереже,— посмотрит исподлобья:

— Они — разговаривают...

Мама — в смех.

Считаю, что юмор, которым мать мою поражал потом Блок[154],— фамильное сходство с О. М.: О. М. и мать Блока — родственницы (через бабушек).

Юмор О. М. мог быть колючим; юмор М. С.— юмор, разливающий сердечное тепло и смягчающий его сериозные приговоры, высказываемые людям в глаза; с М. С. нельзя было спорить, он не перечил, выявляя подноготную спорщика; последнему оставалось спорить с собою.

Труднее всего было бы мне дать силуэт М. С.; в нем не было рельефов, выпуклостей; была вогнутость, рельефившая собеседника — не его; и все же: в некрасивой этой фигуре была огромная красота; поражали: худоба, слабость, хилость маленького и зябкого тела с непропорционально большой головой, кажущейся еще больше от вьющейся шапки белокурых волос; казалися слишком пурпурны небольшие, но пухлые губы, опушенные золотою бородкой; но прекрасные светлые глаза, проницающие не глядя, а походя, и строгая морщина непреклонного лба перерождали дефекты внешности в резкую красоту разлива-

емой атмосферы, слетающей с синим дымком папиросы его.

Поливанов — переменный ток: рык — пауза; молния — тьма; гром — штиль; в большой дозе — трудно и вынести; поднимал, но и — обрывал; поднесет, как на гигантских шагах; взлетите и — сноситесь вниз; от замирания взлетов и слетов, двоек и пятерок, страхов и радостей порой хотелось бежать; хорош пятый акт драмы; но — шестой, но двенадцатый, но двадцать пятый: и — убегал от восторгов поэзии, срываясь в шалости, чтобы мучиться в ожидании синайских громов.

Михаил Сергеевич,— тихий, непрерывный, ароматный пассат[155], незаметно бодрящий, не утомляюший — действовал оздоровлением; Поливанов мог излечить дефект нервов встрясом от противоположного; многих органических дефектов не мог излечить; и тогда отсекал от себя; М. С. действовал, как сосновый воздух на туберкулезных: без встряса; ничего не происходило, кроме приятной уютности; пройдут месяцы, а расширена грудная клетка; окрепли легкие; легко жить.

Силуэт бессилуэтен его, как здоровая атмосфера; он весь — атмосфера, а ее не ухватишь в рельефах:

Развеяв веером вопросы,—
Он чубуком из янтаря
Дымит струями папиросы,
Голубоглазит на меня.

Только — не никотин, а аромат сицилианского берега: аромат флер-д'оранжа.

И, мне навеяв атмосферы,
В дымки просовывает нос.
Лучистым золотистым следом
Свечи указывал мне путь,
Качаясь мерною походкой,
Золотохохлой головой,
Золотохохлою бородкой,—
Прищурый, слабый, но живой.

А. Белый[156]

Лучистый след — не свечи, а питающего волю морального света; «прищурый» и «слабый» — во внешнем смысле; живой и могучий — во внутреннем.

Потрясала спокойная ровность: человек, столь во многом стердивший меня, никогда ничем не потряс, а провел изумительно по ландшафтам единственным; от первой шутки показываемого слома носа до выпуска в свет писа-

телем — ровная линия еле заметного, но не ослабевающего подъема: без бурь; за все время общения нашего,— ни одной ссоры, недоразумения, намека на облачко; всегда подъем по легкой, почти равнинной линии при безоблачном, чистом и ясном небе: без духоты.

Таково было действие его на людей; таково было действие его на меня.

Не то Ольга Михайловна.

М. С.— вогнутый, не яркий, но — светлый; О. М.— яркая, точно резко кричащая краска; но остро чернила она рельеф карандашом своей неугомонной до беспокойства мысли; вся — неравновесие, незаконченность, перемарывающая заново этюды, но обрамляющая угловатость порывов неуловимейшим юмором, на который реагировала моя мать; и угловатости малиновели пленительною улыбкой, во время которой делалась девочкой; она сохраняла авторитет взрослой; в улыбке же становилась ровесницей мне; я с ней стал на равную ногу: окончив гимназию; но с первого посещения Соловьевых я понял: есть плоскость, в которой мы однолетки; и она делает вид хозяйки и матери: показать другим, что умеет, как и они, держать себя старшей.

Скоро я понял: черта, нас сближающая,— непредвзятость; у нее не было взятых напрокат устоев; а свои устои вынашивались с трудом; пестрые тряпки и ассирийские фрески создавали скромной комнате завлекательность; так и О. М.— «девочка», ровня (как мы), но оттого, что больше всех видит, знает, переживает, оттого и может свободно признаться малолетнему сыну:

— Сережа, я знаю, что я ничего не знаю.

Вслух, при нас, не чинясь, как «большие», думала про себя; думание — неугомонная диалектика огромной культуры, которая в ней жила, в других — нет.

Бесконечно много читала, выискивая новинки: и для себя и для «Нового Журнала Иностранной Литературы»;[157] вглядывалась во все новое: Уайльд, Ницше, Рэскин, Гурмон, Верлэн, Маллармэ,— стояли перед ней, выстроенные во фронт; прицеливалась к ним трезво: что дать русскому читателю? Уайльда или... «Сен-Марса», которого перевела она[158]. Входили в неурочный час в пеструю комнату и видели О. М., сидящую с ногами на кушетке и согнутую в три погибели: на коленях, поставленных тычком и покрытых пледом,— доска; на доске — бумага; О. М. переводила часами, перевязав голову (мигрень); работа же — срочная; работала, иногда с утра и до ночи,

чтобы к обеду, к чаю, соскочив с кушетки, переродиться в яркую, от мысли юнеющую и сильную духом и юмором собеседницу: ничего от «ученой», «литераторши» и «синего чулка»; только — уют, живость и провокация к разговору; пленительная распределительница тем и уютнейшая хозяйка дома, угощающая чаем, суетилась над чашками, накрывши «подрясничек» (черненький балахончик) случайно попавшейся сквозной, тюлевой шалью; вы заглядывались: уже не английское что-то, а подлинно итальянское: смуглая, черноглазая, поражающая рельефом порывистой мысли и юмором паузы; а перевод — ждал: труженица!

Чтение, переводы, живопись, незабывание театра, концертов, пристальное прослеживание новых иллюстрированных журналов «Югенд», «Студио»[159], поздней «Мира Искусства», ознакомление с новой книгой Бальмонта и Брюсова, соединение с умением пережить сызнова «Фритиофа» Тегнера;[160] и вместе с тем: настороженность любящей жены (М. С. слаб), матери (Сереже грозит ревматизм); жила семьей, не забывая огромной родни (Соловьевы, Поповы, Бекетовы, Коваленские, Марконеты и прочие составляли своего рода «клан»), живо переписывалась, накладывая на все яркий отпечаток вкуса, ума и просто знания; какая богатая, непредвзятая и кипучая жизнь!

Ей было не до того, чтобы казаться «маститой», как ученым дамам нашего круга (Веселовской, Янжул), или экстравагантной, как это принято у «художниц» (она — выставляла на выставках); переводчица-эстетка, историк литературы, дебютировавшая яркими пробами пера, художница, хозяйка дома, умница, горячо ищущая правды и смысла, ни на чем не остановившаяся, готовая и на монастырь, и на взрыв — какая же она «только художница»?

Я к ней привязался как к старшей сестре, а не только как к матери друга.

И ей я пылко благодарен за то, что она поверила мне, меня разглядев в затаенном, дерзающем, бунтарском (М. С. долго ко мне присматривался); она же сказала сразу:

— Вы — наш.

Она, а не М. С., даже не Сережа, ввела меня в их семью, усадив против себя за круглый стол; так и просидел с 1895 до 1903 года (сидели крест-накрест: я — против О. М.; а Сережа — против М. С.).

Скоро из ее именно рук я стал получать оформляющую мое сознание художественную пищу;[161] М. С. выдвигал

классиков, заявляя, что его вкусы — консервативны (это не мешало выдвигать маститым друзьям бунтарей, нас); О. М. сказала свое «да» всему «декадентскому» (то есть тому, что именовалось декадентским); передо мною возникли в первый же год посещения Соловьевых: прерафаэлиты, Ботичелли, импрессионисты, Левитан, Куинджи, Нестеров (потом — Врубель, Якунчикова и будущие деятели «Мира Искусства»); вспыхнул сознательный интерес к выставкам, Третьяковской галерее; ряд альбомов, журналов с изображениями итальянцев и новейших художников в сведении с моими тайными упражнениями в «глазе» и «наукой увидеть» столь же бурно развил культуру изобразительных искусств, сколь оформил мои симпатии к символистам; она заинтересовала меня вскоре Бодлэром, Верлэном, Метерлинком, Уайльдом, Ницше, Рэскиным, Пеладаном, Гюисмансом; то, о чем я издали слышал, приблизилось, стало ежедневным общением, обменом книг и мыслями о прочитанном; в противовес ровному выращиванию меня в моральных лучах Михаилом Сергеевичем, стиль моей дружбы с О. М. выявил неровное, угловатое схватки и несогласия, в которых не всегда она оказывала правоту взрослой (это и было в ней дорого); не прошло и двух лет, как мы с ней остро царапались из-за Ибсена, Достоевского, которых я боготворил и которых она ненавидела, из-за премьер слагающихся в настоящий театр «художественников», которых отрицали все Соловьевы и к которым пылал я;[162] тем не менее: посещения Соловьевых (сперва не менее трех раз в неделю; потом — четырех, пяти, ежедневных и, наконец — два раза в день) стали мне школой; к урокам Поливанова, к собственному философскому чтению, к практическим упражнениям присоединялось принятие в члены чайного стола Соловьевых, или моей Флорентийской академии.

Я был раз навсегда вырван из гибельного подполья; в общении с О. М. начал обретать свой язык, который был «наш язык», язык бесед с Сережей и Ольгой Михайловной; мое безъязычие коренилось в том, что я, переживая метафору в жестах игры и любуясь метафорой языка, не ввел ее в обиход; а все новое, что во мне жило, было неоформлено без метафоры; у Соловьевых я слышал:

— В. Ф. М.[163] — фавн; он — козлит.

Меня осенило:

«Ээ,— да так можно вслух говорить; я же думал, что это — верх неприличия!»

И я заговорил на жаргоне квартиры; жаргон оформил и заострил: вышел язык «Симфонии».

Этому приобщению меня к языку я обязан Сереже и О. М.; до них я не забывал в процессе выговаривания процесса выговаривания; и строил фразу, как перевод на латинский язык; разговаривая же, думал: «что бы еще сказать?» Все, что высказывал, было некстати; с Ольгой Михайловной забывал процесс речи; и — речь лилась; оказывался сметливым отроком.

Характеризуя покойную О. М., должен подчеркнуть в ней не то, что подчеркивалось (между прочим и мною); не только экстравагантный порыв, который в ней жил, но многое другое, преобладавшее: трезвость, реализм, практицизм, свойственный трудовому человеку, помогающему мужу зарабатывать средства к жизни; и остро видела мелочи; ее полеты служили ей средством на краткое время забыть рой забот (материальных, семейных и родственных), чтобы с утра в них опять очутиться; ей было бы свойственно говорить: «Утро вечера мудренее»; «утро», трезвость дневного сознания были подчеркнуты; романтизм иных жестов имел изнанкою не наивное улетание в «куда-то» и «что-то», а страстность весьма реальной натуры: страстность и ум,— этими чертами определялась она более, чем эстетизмом; в ее понимании новых веяний не было подленького эстетизма, который выступил на поверхность жизни Москвы, как сыпь, с которой теперь нас безграмотно (а иногда и подло) связывают; она понимала многое не от «мистики» чувств, а от ума; утонченность действенна, когда она не врожденна; врожденная утонченность часто есть «декаданс»; утонченность в О. М.— итог большой работы, усилий ума; все отдающее «эстетизмом» ей было чуждо, как отвратительный стиль; она любила Рэскина, но разбиралась в Рэскине, любила Берн-Джонса, Гента, Россетти задолго до моды на них; любила не слепо, с разбором; вовсе не понимать ее — мыслить, будто была она переутонченницей ради «стиля»; ее фигурка в стар採еньком подряснике, покрытом тюлевой тряпочкой, и прическа башенкой (для скорости), нас пленявшие, были самим антимодернизмом; стилизованные головки, прически на уши или десятки вскоре появившихся «незнакомок», «прекрасных дам» и прочих «нечистей» внушили бы ей, трезво-реальной, гадливость; по отношению к этой компании, сведшей «новые веяния» к стилю головок с коробок конфет, она была скорее уж «синим чулком»; если же случался и «стиль» от сочетания старенького балахон-

чика с тюлем и башенкой кое-как сколотых волос, так это был «стиль» всех ее жизненных выявлений, выстраданных узнаний, рабочих трудов, так ее облагородивших, что, надень она и рогожу, а на голову хоть котел, нашлись бы дуры, которые бы из этого действия небрежения ее к себе вывели б новую моду. Помню, как убила ее встреча с умницей Гиппиус, элегантной, одетой с утонченным вкусом и вовсе не выпиравшей тем «стилем», которым скоро окрасилась Москва и которому подражали: от богатых купчих до бедных курсисточек; Ольга Михайловна, переписывавшаяся с Гиппиус, но ее не видевшая, пришла в ужас от нее с первой встречи; в чем дело? В «стиле», в сознательном «эстетизме», хотя б и со вкусом; сколько было ссор между нами из-за З. Н. Гиппиус, которую О. М. вычеркнула из списка живых; за что? За лорнетку, подкрас губ и за белое платье нам «напоказ».

Она ненавидела «модернизм» в кавычках; с позою не мирился ее наблюдательный юмор.

Тем не менее она горела — не «мистическим» горением холодных, как рыбы, дур эстетизма, а горением испанской страстности живого, неуравновешенного темперамента; горела умом; она была очень умна; я не видел ни одной умной «эстетки».

Короче говоря, не сравнивайте О. М. с некоторыми ее художественными увлечениями,— с фигурами а ля Россетти иль с призраками метерлинковских драм; подглядев в Гиппиус штрихи Гедды Габлер[164], О. М. счеркнула ее со списка знакомых; подглядев русскую «бабу» в Олениной-д'Альгейм, пришла в восторг от нее. Сравнивайте «стиль» ее жестов скорее с красками испанских художников; в здоровый период жизни в ней что-то было от персонажей художника Зурбарана; нервно перетерзавшись и временно заболев в последний год жизни, она явила зловещую хмурь (ряд идейных разочарований, боязнь за здоровье мужа, заботы о сыне и так далее); тогда она стала напоминать колоритом и линией жестов художника Греко, если бы осталась жива, быстро б справилась со своей омраченностью; и появилось бы в ней нечто от Рембрандта. Глубокие тени умственного анализа были ей свойственны в сочетании с «чуть-чуть» красок; но в «чуть-чуть» была жизненность простоты и вовсе не «мистики» примитива; налет «мистики» — налет последних месяцев жизни: с осени 1902 года; этот налет появился так, как могла б появиться рогожа на плечах вместо тюлевых кружев; даже в этом,

болезненном, одеянии последних месяцев она была *сама, своя*; но не думайте, что «рогожа» — ей присущее платье.

Все это должно сказать, потому что фигуры покойных в традиции думать о них искажены: модернистическими дурами, дураками и действительно больными людьми, из которых многие — родственницы покойной.

И Михаила Сергеевича нельзя представлять в средневековом тоне; его образ мне видится взятым в технике кисти — не то Перуджино, а не то Рафаэля; автор головы Сикста[165] мог дать реальный портрет Михаила Сергеевича. Ботичелли дал бы кривую пародию.

М. С. действовал на волю, О. М. на интеллект; мир переживаний, чувств — сфера общения с Сережей; чувства изменчивее, интеллект имеет непеременную ось; с Сережей единила молодость; пяти лет разницы не существовало; конкретною мыслью о переживаниях опередил возраст; я в тот период (от пятнадцати до семнадцати лет) скорей отставал; у меня были абстрактные мысли с конкретными чувствами; в чем-то уравнивалось различие возрастов; в итоге — сочувствие, возникшее между нами;— и стертость граней между «игрой» и «всериоз»; у обоих — очень «сериозные игры»; а в жизни оба были детьми; я — вопреки моей искалеченности; он — вопреки глубокодумию своему; мы не раз менялись позициями: был период, когда мысль моя развивалась стремительно; Сережа же мыслями отставал; зато чувства мои обеднели; а в нем чувства приняли удивительные оттенки, меня пленявшие; мы не раз дополняли друг друга; образовалось сотрудничество под ковкою мироощущения, в которое материал вкладывали: *я* и он; вспоминая иные словечки, мысли, подгляды, просто не знаю, кто автор их: я иль Сережа: будь высказаны в печати они, какою литерой надо бы их подписать: «Б» (Боря), или «С» (Сережа); справедливее их подписать псевдонимом «БЭЭС» (Боря-Сережа, Сережа-Боря).

Самое ценное в этом общении: итог его — коллективное безымянное творчество: так в древности возникали «мифы»: наши игры и разговоры — мифотворения или — эскизы к Сереже-Бориной картине, краски которой слагались: из теневых тонов моей сирой жизни, из линии моих «странных игр»; Сережа брал палитру красок у матери, световой колорит у отца; так мы оба нуждались в беседах с Ольгой Михайловной и с Михаилом Сергеевичем; без них где взять красок? Родители, привлеченные к сыну и к дру-

гу сына, показывали световой колорит ярких красок; и сами с годами втянулись в «игру», переросшую детскую стадию, ставшую давно *мироощущением* нового быта.

Мироощущение — не мировоззрение; и мироощущение не ощущение; позднее мировоззрительные элементы подавал я, а материал по-новому воспринятых ощущений подавал мне Сережа, ставший необходимым мне, как я ему; только мировоззрением, только ощущением каждый из нас удовлетворяться не мог; *мироощущение* — эскиз, сочиняемый нами вдвоем: краски, свет от родителей Соловьевых, линия и тень, принесенные мной, создавали количественную качественность (где понятие — количественно, а ощущение — качественно); это был новый синтез наш.

В моем сознании это было действием символизма.

И родители, живо заинтересованные сотрудничеством под формою дружбы, стали вкладывать в сотрудничество сериозный смысл: в посидениях вчетвером и в беседах с Сережей: вдвоем; и беседы вдвоем были нужны тем более, чем более получали мы моральной и умственной пищи за чайным столом Соловьевых; нужно было услышанное сложить в жест нашего мироощущения, чтобы сложенное в первую голову принести родителям Сережи, Ольге Михайловне и Михаилу Сергеевичу; они стали первыми нашими оценщиками и первыми критиками; и незаметно — вполне — сотворцами.

Поздней круглый стол Соловьевых стал выходом и в общественность; ведь за этим столом появлялись знакомые Соловьевых, сериозно ценившие их и с ними считавшиеся; появлялись: писательница Коваленская, молодой историк Михаил Николаевич Коваленский (будущий большевик), Сергей Николаевич Трубецкой, Владимир Сергеевич Соловьев; позднее — Валерий Брюсов, Гиппиус, Г. А. Рачинский; ценя Соловьевых и видя, что они с нами «всериоз», посетители — начинали и с нами общаться, как с равными; и Брюсов пишет после первого посещения Соловьевых: «Сын Соловьева, юный Сергей Михайлович, тоже мило беседовал о Корнеле и Расине. Ждали сына проф. Бугаева, декадентствующего юношу... но... его не было дома (он живет рядом)» («Дневники», стр. 106) [166].

Выход в люди действительно *рядом* был: стоило из детской комнаты, где устраивались наши творческие деяния и «сокровенные» разговоры, пройти коридориком, и попадали в уютную атмосферу родного стола, за которым сидели те, которые интересовали нас: Трубецкой, Брюсов, Мережковский, «дядя Володя» (Владимир Соловьев),— взя-

тые, так сказать, в самом выгодном свете и с нами внимательные, хотя бы ради родителей, которые,— «наши», которые в случае беды отстоят; так готовился в семилетии выход нашего подполья иль детского творимого еще мировоззрения, прогнанного сквозь критику и О. М. и М. С., в большой свет.

Так сложился в Москве кружок, сгруппированный вокруг Соловьевых,— кружок, о котором узнали, к которому притянулись и старшие, и молодые: знакомые Соловьевых и некоторые из моих университетских друзей.

Считаю значение Сережи в моей интимной, а также общественной жизни незаменимым, огромным; мой маленький «друг» скоро вырос в сознании в сериознейший авторитет, не говоря уже о любви и доверии, которые были конкретны меж нами, мальчишками, и которые — те же меж нами теперь, когда мы склоняемся к старости: тридцатипятилетие дружбы — не шутка.

Самым ценным в общении с Сережей было то обстоятельство, что предмет общения (шутки, игры, обмен впечатлений от жизни, от мира искусств) располагались вокруг единого стержня, или, по-нашему,— «одного»; самое выражение «об одном», «о главном» в те годы сложилось меж нами; думаю, что это наше «одно»,— понятие о «целом»; в одном оформлении оно есть понятие о культуре, как живой связи знаний, а не каталоге лишь; в другом разрезе — это мое понятие о конкретно совершаемом синтезе, как символе; в третьем — понятие энтелехии;[167] философские, эстетические, теологические, культурные и социальные оформления переживаемой темы — диалектические вариации, ее не исчерпывавшие; тема — в культуре, которую надо бы заново вытворить: то, в чем жили и что считалось культурой,— уже было разъедом и пылью: концом,— не началом; тема *рубежа* уже была подкладкою игр всериоз или сериозностей в шутку,— зовите как хотите; все мы были дети: и без игры обойтись не умели; с другой стороны, по отношению к многим детям, «сынкам» и «дочкам», распространителям идиотизмов традиций, мы были как старички; и в кошки-мышки играть не хотели; в конец же мира — играли; не важен сюжет игры; важна тональность; всякая игра — была вариацией не игры, а «навек одного»;[168] мы выдумали символику белого *цвета* (не в политическом, разумеется, смысле!), как смысла пленума красок; и противополагали пленуму, как культуре, отсутствие красок: мрак; играли в то, как со светом борется мрак; если бы мы в те годы штудировали

оптику Гете, мы стали б гетистами; но поскольку оба читали «Апокалипсис», то и брали оттуда сюжетные образы, располагая свободно их; и слугою тьмы делался нам гимназический Павликовский (ведь и Сережа стал поливановцем), а ипостась — Отец-Сын-Дух — разыгрывалась в трех живых лицах: отец — Лев Иванович; сын — Иван Львович; а дух — внук Льва Ивановича (ныне — профессор) [169].

Это не теология, а сценарии к теме: культура и цивилизация; «одно», как культура; и «единица», как часть целого.

Темами игр всериоз или игривых размышлений была, сказал бы я, детски-дерзостная попытка инсценировать в лицах не скучные кошки-мышки, а не до конца нам ясную культурно-философскую мысль; за мной тянулась в годах *своя игра* в несуществующую историю; у Сережи — своя игра: в мифы; после взаимного ознакомления оказалось: *игра* подходит к *игре*; соединив игры, увидели сквозь них — не игру вовсе; заговорили на собственном арбатском жаргоне; О. М. и М. С., прислушавшись к нам, поняли нас, оберегая игры от глупого глаза подглядывателей.

Из особого стиля слов (нас двоих, а потом четверых) развился и особый язык; есть воровское наречие; представьте себе наречие, силящееся новыми словами коснуться всего хорошего и доброго; образовалась привычка к особому языку: впоследствии Блоки в Москве, стараясь дружить и проникнуть в укромные уголки «арбатского» *говора*, не поняли многого, читая «словечки» языка не должным образом; представьте, что вышло бы, если бы филологически соединили слова «буза» и «арбуз» на основании будто бы общего корня «буз»? Какое вавилонское столпотворение смыслов возникло бы! У Блока был свой язык, чуждый нам; не в этом была беда,— в том, что, разойдясь с нами, Блок выдумал о нас фикции на основании прочтения по прямому проводу слова «бутуз», как *арбуз*; уже всякие *тетушки*, отстоящие за миллион верст от генезиса символических языков и игр, нагромоздили всякие вавилонские башни — доказывать: «паинька» Блок заразился мистикой от «бяк» *Бори и Сережи*;[170] другой вопрос, как у ученого математика вырос сын идиот, производящий слово *арбуз* от *бутуз*, или как осторожный и трезвый М. С. Соловьев допустил, чтобы у его сына ум зашел бы за разум.

Ох, эти сплетни, продукт распада дворянского бытика, притирающиеся революцией и прокладывающие мостки по топям мистического анархизма!

Блок-то и был единственный «мистик», сперва фетишистски отнесшийся к метафорам жаргона, потом перенесший собственные смешения с больной головы на здоровую; хорошо, что он потом отрезвел: не мы ли трезвили его двухлетней полемикой (в эпоху его мистико-анархических увлечений) [171] в качестве помощников позитивного, трезвого, Брюсова.

Я нарочно связываю эпоху первых игр с маленьким Соловьевым с более далеким периодом; мы шли вместе годами — не в догме, не в оформлении, не в рабочей гипотезе, а в музыкальной *теме*; и теперь, будучи с С. М. Соловьевым в оформливании столь же противоположны, как *зенит и надир*[172], мы продолжаем в «теме», в «мелодии» слышать друг друга.

А Блока я понимал, может быть, два-три года, не более; да и то оказалось, что ничего-то не понял.

Бывало, летит записка из третьего этажа во второй: «Дорогой Сережа, не придете ли?» Или: летит записка из второго этажа в третий: «Дорогой Боря, не придете ли?» И *Сережа* или *Боря* — идут; одно время заходы эти стали ежедневным явлением. Если Сережа поднимался на третий этаж, то он попадал за вечерний чай, где помалкивал перед отцом (будучи связан дома, немел я: Сережа, конечно, подметил это); отец с лукавой иронией, бывало, разлистывает рыхлый том «Оправдания добра» Соловьева:[173]

— А дядюшка ваш,— он покрикивает,— все добро вот оправдывает!

И бежит в коридор с громким возгласом:

— Аннушка, почистите сюртучок!

И — в клуб.

Мать сидит у себя, иль — в гостях: языки развязались!

Если я вниз опускаюсь, с Сережей проходим по темному коридорику в тихую и просторную его комнату; и игра-разговор вдвоем выступает изо всех берегов; к половине ж десятого громкий приветливый зов:

— Сережа, Боря — идите к чаю!

И прекрасное посидение возникает с родителями, как посидение в креслах партера пред поднятой занавесью; и так продолжалось года; я не помню, как бледный и хрупкий ребенок, одетый в красивые черные или красные курточки, обвисающие кружевами, с мягчайшими светлыми волосами вытягивался в загорелого почти брю-

нета, крепкого, широкоплечего, в красной рубахе, в выцветшей студенческой шапке (всегда на затылке), с лихо вздернутыми каштановыми усами, соединяющего революцию с филологической кабинетной культурой, отмахивающего по полям километры в смазных сапогах и ищущего единенья с народом в окрестных селах.

В линии лет ничего не ломалось в нас: мифы словечек лишь стали проблемами стиховедения у меня; и критикою конъюнктур у него; тема исканий новой культуры еще оставалась в эпоху 1907 и 1908 годов; потом мы, дружески распростившись, пошли по разным дорогам, перекликаясь всегда; за двенадцать лет — ни одной тучки непонимания при всей разности оформлений и выбора рабочих гипотез текучих моментов.

С самого начала встреч мой друг-брат вносил в тему общенья ярчайшие краски своих символических восприятий; а я — нес рельеф; светотени; и перспективу макета, который потом становился ареной действительности.

И уже вскоре мелодия нашего разговорного действа вступила в стадию театрального действия; и мы ставили отрывки из «Пиковой дамы» и «Макбета» в дыре коридорика, как в неком «вертепе», привлекши двух мальчиков (Колю Маркова и Ваню Величкина); я — стал выдумщиком бутафории; Сережа — оценщиком текста; в следующих постановках уже вылезаем из тесного коридора, отхватывая и часть комнаты: для импровизируемой сцены; уже постановки — сложнее; текст — то же: мы пишем сценарии к «Капитанской дочке», к отрывкам из «Пиквикского клуба» Диккенса; ставим и Майкова («Два мира»), и сцены «Мессинской невесты»;[174] к постановке Майкова призываем на помощь Михаила Сергеевича, а к Шиллеру вызываем «спеца», Владимира Михайловича Лопатина; ширится труппа; ширится круг зрителей; сам Поливанов узнает о наших затеях; но театр закрыт: студия перерастает его, становясь своеобразно разыгрываемой комедией «дель арте»; мы — постоянные импровизаторы, мифотворцы сюжетов, рисующих драматическую борьбу *света и тьмы (начала с концом)*; миф — события, происходящие с нами и нашими знакомыми; место действия: Арбат, Новодевичий Монастырь, Поливановская гимназия; перелагая знакомых в свой миф, мы выращиваем всякую фантастику в стиле Гофмана и Эдгара По: фантастику реализма; нужна нам не сказка, не тридесятое царство: нам нужен Арбат, Неопалимовский переулок; и для съемок мест-

ностей зорко оглядываем топографию переулков, чтоб в наших рассказах друг другу соблюсти иллюзию натуры. Бывало, начинаю импровизировать, как собрались в гимназии (описываю какой-нибудь эпизод), и вдруг прерываю себя:

— По лестнице бежит перепуганный Кедрин... Ну, а теперь ты, Сережа!

Сережа, подхватывая сюжет, остранняет его до катастрофы:

— Тут открылось — вот что: Казимир Клементьич * ведет под гимназию подкоп... Тебе, Боря!

Перекидывали, точно мячик, сюжет; сочиняемый миф — настоящее сюжетное наводнение: становился трилогией, тетралогией он; тема ширилась до всемирной истории; центром же оставалась Москва; договорились до мирового переворота, в Москве начинаемого.

Почем знать — может, были предчувствия будущего; уж поздней Соловьев прочел лекцию о «Конце всемирной истории»;[175] она оказалася на руку нам, почти детям, и мы, разумеется, ее прибрали к рукам (прибирали все, что казалось интригующим).

С какого-то из моментов комедии «дель арте» в ней оказались родители: сперва зрителями, потом участниками в сочинительстве сюжетного мифа; они имели и ухо, и такт различать метафорический стиль от материальной реальности; к сожалению, этого уха не оказалось, например, у М. А. Бекетовой в тоне ее воспоминаний об играх у Блоков[176].

Они появились средь нас в теме *рубежа*; и двойка родителей соединилась дружески с детской двойкой; Михаил Сергеевич, человек трезвый, учитывающий и взвешивающий; скорее консервативный во вкусах, нежели новатор; но за романтикой наших «зорь» он расслышал и ощупь реального; за любовью к Шекспиру и Пушкину, у консерваторов быта, разглядывал и к Шекспиру и к Пушкину приставшую пыль; его приятель-пушкинолюб, цензор Венкстерн, тогда маститая личность Москвы, изживался в ненужных стихах да в ненужном брюзжанье на новое; не от новаторства Михаил Сергеевич понял, что Брюсов-то со всеми странностями ближе к Пушкину, чем культ бюста Пушкина; в годах он вымеривал наши силы и силы отцов, с позитивною трезвостью он вырешил: ближайшее десятилетие — за нами.

---

* Павликовский.

В теме *рубежа* появился к нам в детскую, простучав башмаками по темному коридорику, рубежу поколений; в романтике наших вспыхов учел он здоровье протянутости к молодому и дерзкому; с прехладнокровною трезвостью откурив папироску свою с Трубецкими, не пускаясь в излишние споры, вошел к нам он с «уф, надоело» (по адресу Трубецких), и с обычной лукавою мягкостью он зажег папироску у нас.

Маститые друзья уважали ужасно его: Трубецкой приходил за советом; Венкстерн чтил в нем трезвое умение ценить все «великое».

Как же ушиб его ценитель и классик, представ в 1902 году пред Венкстерном вполне неожиданно.

Дело же было так.

Выходила «Симфония»; подлинный издатель — Михаил Сергеевич; Венкстерн — разрешающий цензор; культур-трэгер в нем был в диком ужасе от «Симфонии» и даже не мыслил, что автор здоров;предполагая юношу-маньяка, из жалости к идиотику, он его вызывал для отеческих увещеваний («Молодой человек, не губите себя»); я же был псевдоним: не пошел объясняться; издатель пошел объясняться.

— А, Миша, здравствуй!— радостно встретил Венкстерн, просто не зная, куда усадить, но не понимая мотива появления Соловьева в цензуре; мирно они говорили; наконец Венкстерн спрашивает:

— Почему же ты никогда не придешь ко мне на дом: вот, в кои веки пришел, а пришел — в место службы; почему для свидания нашего ты выбрал это именно место?

— Я же к тебе пришел по делу вызова меня тобою, как цензора.

— Как?

— Очень просто.

— Ничего не понимаю!

— Ты же вызвал автора «Симфонии», но он — псевдоним; вот я и явился к тебе как издатель!

Такой приблизительно вышел у них разговор в передаче М. С.

Венкстерн выпучил глаза: наступило тягостное молчание:

— Ты... издаешь... этот бред?

— Да, я.

— Не понимаю!

— Считаю произведение художественно ценным.

Опять наступило молчание, тяжелое и угрюмое: одно время Венкстерн полагал, что М. С., сойдя с ума, сам сочинил этот бред.

Скоро сплетни раскрыли и мой псевдоним;[177] события показали: М. С. не сошел с ума; изумление сменилось яростью: ареопаг охранителей высшей московской культуры сбесился: шипели Шишкины, болтали Бельские, высмеивали Венкстерны; презирали Петровские; патетически ломал руки Лопатин; терроризировал терпкой гримасой меня Трубецкой; за нос хватался Анучин; лопотал Лейст; и подшипывал Сушкин: «Терпеть не могу декадентишки!»; а Михаил Сергеевич тихо и твердо молчал; но дымок папиросы его рисовал мне «да» — мне, Брюсову, стихам Блока, перевиваясь через *рубеж двух столетий* и расстилаясь уравновешенными волокнами; в неравновесии оказались скорее седые отцы; но и — ужас: среди отцов обнаружились перебежчики: седеющий Рачинский, старушка А. Г. Коваленская, чтимая писательница.

Тема *рубежа* выпирала уже из ряда фактов — наружу с большим неприличием.

Я потому привожу разговор Соловьева с Венкстерном (со слов Соловьева), что разговор этот — симптом *рубежа*: и происходит на рубеже; связываю свою рубежную тему с темою Соловьевых: квартира их стала одной из «зловредных» ячеек, в которой вымечивался *рубеж* понимания с проблемою разъезжающихся пугающих ножниц.

Что для нас с Сережей было заскоком из юности и романтизма зари, человеку другого уже поколения, но трезво видящему неизбежность разрыва со старым, стало ясно исторической неизбежностью и, может быть, роком.

Из лиц, с которыми пришлось встречаться за круглым столом в эпоху 1895—1899 годов (эпоха гимназическая), отмечу стан родственников, потрясавших количеством; мне впоследствии Сережа представляется несчастным бегуном, ежедневно мчащимся по квартирам родных, переутомленным, напуганным родственными разговорами, всегда угасающим и натыкающимся на надутые физиономии:

— Ты нас забыл!

— Подумай,— жаловался он мне,— я же только и делаю, что обегаю: всю жизнь обегаю, установив очередь; но круг обега велик; едва обежишь,— беги снова; при этом старании, отнимающем рабочее время,— все обижаются!

Родственники со стороны отца — семейство профессора Нила Попова, состоящее из кислой вдовы в трауре, Веры

Сергеевны (тетки), двух дочерей и сына, Сережи Попова (бывшего поливановца); странная Надежда Сергеевна Соловьева (тетка), Поликсена Сергеевна, являвшаяся часто в Москву со старушкою матерью, женой историка; семейство профессора П. В. Безобразова (Мария Сергеевна, опять-таки тетка Сережи), периодически возникавшие в Москве и из Москвы исчезавшие: семейство с тремя дочерями. Со стороны матери — две бабушки: родная А. Г. Коваленская и двоюродная С. Г. Карелина (дочь путешественника и этнографа), великолепная розовая старушка, соединившая сантименты поэзии Жуковского с языческим жизнелюбием и разводившая около Москвы кур и розы (куры — дань плодородию, а розы — дань романтизму); наконец многолюдное семейство А. Г. Коваленской, переплетенное узами родства с семейством Бекетовых: характера родства я всю жизнь не мог уловить; только знал: бекетовская линия была в кровном, но замаскированном церемоннейшими приличиями антагонизме с Коваленскими;[178] и этот антагонизм я всегда чувствовал, когда говорил с покойной матерью Александра Блока; максимум субъективной несправедливости вскрывался в ней, такой доброй и умной; и едкие стрелы слетали по адресу Коваленских, что и опрокинулось на Сережу в пресловутой ссоре нас с Блоками; единственный раз я позволил себе пылкие выражения по адресу покойной Александры Андреевны (матери Блока), чтоб прекратить ее поток незаслуженных обвинений против моего друга; это было мотивом и моего уезда из Шахматова[179]. Должен сказать: старенькая А. Г. Коваленская по адресу «бекетовской» линии посылала такие же стрелы; и в этом деянии мне была неприятна.

Коваленских было не мало: семейство Николая Михайловича (дяди Сережи) с дочерями и сыновьями: сын, «Миша» в то время студент (бывший поливановец) — постоянный посетитель «круглого стола», марксист, то любезный, то кисло обиженный: больно он потом подколол меня из газеты «Курьер»;[180] во-вторых: семейство Виктора Михайловича Коваленского (жена, дочь Маруся и крошки — Лиза и Саша); семейство Марконет, верней Марконетов (два брата, тетя Сережи, Александра Михайловна); скоро один из Марконетов скончался; другого я описал в воспоминаниях, посвященных А. Блоку; были Дементьевы, еще кто-то,— не перечесть!

Все — родня!

И она появлялась за круглым столом; все считались с советом и мнением Михаила Сергеевича, он, средь них молодой, мне казался подчас патриархом кряхтящим многоветвистого «клана» родни, среди которого я забыл отметить Владимира Соловьева, являвшегося при наездах в Москву и просиживавшего всегда за шашками, чтением своих произведений Михаилу Сергеевичу или так себе заседавшего и хохотавшего на шутки и комические высказывания маленького племянника, который при нем начинал вдруг проказничать.

Не могу я коснуться отдельных персон многочисленного клана родни: не хочу осложнять свою книгу огромнейшим флюсом, раздув в главке, рисующей Соловьевых,— градацию: «Коваленские», «Марконеты», «Поповы» и «Безобразовы».

Отмечу Александру Григорьевну, бабушку, сказочницу, которую чаще видел и которая с нежною лаской приветила *Борю Бугаева* (потом и открыла ему цветочное Дедово); мы с ней подружились; особенно подружились осенью 1896 года, когда родители Сережи уехали за границу, а бабушка переселилась к внуку и стала возглавлять чайный стол, нас обвеивая атмосферою сказок; в ней было что-то мне сочетающее Андерсена с Вольтером, Жуковского с просто старенькой бабушкой в чепце и косынке, но без единого седого волоса,— бабушкой, маленькой и приветливо дрожащей над разливанием чая; Андерсен, так сказать, был явно написан у нее на лице; а Вольтер — таился: в молчании сжатых губ, в зорко видящих и чего-то не договаривающих острых и умных глазах ее; «мягкая» бабушка могла стать при случае бабушкою очень твердой; и — лучше бы этого не было![181]

«Твердую» бабушку я поздней разглядел; «мягкая» бабушка в 1896 году заворожила меня; сидим, бывало, за чаем; она же, трясясь, все лепечет такие уютные вещи; вокруг — образы баллад и переводов Жуковского: и «Рыцарь Роллон», и «Епископ Гаттон», и «Смальгольмский барон»;[182] и из открытых дверей пустой спальни родителей выглядывает привидение: уютно, а жутко.

Из не-родни у Соловьевых встречал в эти годы: Е. К. Лопатину, знаемую по Демьянову и по Царицыну, дочь профессора Герье, Е. Ф., проф. И. Ф. Огнева, гистолога, который весьма импонировал гистологической философией (а сынов Огневых забрали мы в труппу); бывала Е. Унковская — худая, сухая, кривая и бледная; реагировала — поджимом губ, перетонченным и многострунным: на ум-

ные вещи — приятным поджимом, на глупые — кислым; за ряд с нею встреч я не выслушал ни единой мысли: ни умной, ни глупой; вероятно — от переутонченности; появлялся весьма интересный искатель проблем, репетитор Новский; являлся и бледно-желтый, седой, весь скрежещущий смехом генерал-лейтенант Деннет — тот, который попался и Брюсову на зубок в «Дневники». Был еще какой-то генерал Lettré, но совершивший Хивинский поход и там на верблюде читавший Тацита» (стр. 106);[183] появлялся и публицист В. Величко; но после поездки своей в «Испагань»[184] не являвшийся (каламбур Владимира Соловьева по поводу появления Величко сотрудником «Нового Времени»: «Испагань»,— потому что Величко, по мнению В. С., «испоганился»). Бывал и профессор Сергей Николаевич Трубецкой,— неуклюжий, высокий и тощий, с ходулями, а не ногами, с коротеньким туловищем и с верблюжьей головкою, обрамленною желто-рыжей бородкою, с маленькими, беспокойными, сидящими глубоко подо лбом глазками, но с улыбкою очаровательной, почти детской, сбегающей и переходящей в весьма неприязненное равнодушие,— человек порывистый, нервный, больной, вероятно, пороком сердца; в нем поражало меня сочетанье порыва, бросающего корпус на собеседника, размаха длинной руки с проявляемой внезапно чванностью и сухой задержью всех движений; подаст при прощанье два пальца; или, повернувшись спиной, уйдет, не простившись; то — в старании быть ласковым — какое-то забеганье вперед; то — жест аристократа; и — не без дегенерации: не во имя сословных традиций, а в защиту метафизической философии; автор книги о Логосе[185] впоследствии меня волновал и по личным мотивам, волновал резким поворотом от предупредительности к надменству: для унижения во мне «декадента»!

Но прямота, правдивость — подчеркивались; и сквозь маленькие неприятности, им поставленные на иных из тропинок мне, должен признаться, что нравился он: и в приязни, и в неприязни — сердечный; не головой реагировал, а сердечной болезнью (она-то и унесла в могилу его).

О встречах с Владимиром Соловьевым и о своих впечатлениях от него писал * и не раз; не хочу повторяться.

---

* См. «Первое свидание» (поэма), «Владимир Соловьев» («Арабески»), «Воспоминания о Блоке» (журнал «Эпопея» № 1) [186].

Привыкнувши к Соловьевым, у них я учился вступать в разговор с посторонними, одно время являя нелепое раздвоение между Соловьевыми и всеми другими: у Соловьевых я был интересным отроком, с которым всериоз разговаривали; во всех прочих домах и в гимназии я оставался весьма ограниченным, тихим, немым гимназистом.

7. Я ОБРЕТАЮ «УВАЖЕНИЕ»

В седьмом и восьмом классе — иной уже я: бурно, катастрофически даже, я весь разорвался в словах; прежде чувствовал давление на орган речи; меня считали немым; но теперь: я хлынул словами на все окружающее.

Прорыв в слово готовился работою чтения; и всею культурою соловьевской квартиры, приучавшей меня к убеждению, что и я говорить могу; то — плод общения с Соловьевыми, с писательницей А. Г. Коваленской, беседы со взрослыми (и Трубецким, и Владимиром Соловьевым); я осмелел. Что мне мнение Подолинского, Сатина или Готье и прочих воспитанников седьмого класса, когда мне внимает Владимир Сергеевич Соловьев? Углубление в мысль в соединении с овладением культурой слова дало силу сбросить инерцию создавшегося положения с «немотой», с «глупотой»; я почувствовал под собою опору: и дома, и даже в гимназии.

Опора дома заключалась в том, что для матери обнаружилось: я исключительно музыкален; произошло это так: интересуясь культурою северян (Ибсеном, Бьернсоном, Гамсуном, Галленом, Григом и Свендсеном), я на последние деньги купил для матери тетрадку «Лирише Штюкке» Грига; очаровав ее Григом, я ей принес новую тетрадку того же Грига; мы оба отдались норвежским мелодиям; подчитывая литературу о Григе, я стал приносить то балладу, то сюиты «Пер Гинт» и «Зигурд Иорзальфар», незаметно и хитро пропагандируя Грига;[187] мать следовала за мной в своих интересах; с изумлением она говорила:

— Ведь ты понимаешь музыку?

Григ, даже Ребиков вместе с бешеным увлечением Вагнером и интересом к Римскому-Корсакову переживались согласно; в виду понимания музыки мною, меня стали брать на симфонические концерты; у нас было два абонементных билета; отец же концертов не посещал никогда; с седьмого класса уже начинается систематическое отсиживание концертов, до самого окончания университета;

мы с матерью посещали и частную оперу Мамонтова; я незаметно модернизировал вкусы матери, вплоть до внушения ей понимания декораций Врубеля; посещаем и выставки; я и здесь с незаметным нажимом склонял ее: к Левитану, Нестерову, Татевосянцу, Коровину; мать отдается импрессионизму и примитиву. То же по отношению к Художественному театру: Чехов, Ибсен, Гауптман становятся кругом совместного чтения; некогда она мне читала Гоголя, Диккенса; теперь я, семиклассник, являюсь ей читать «Слепых» Метерлинка, «Потонувший колокол» и «Ганнеле» Гауптмана;[188] с удивлением она говорит обо мне:

— Откуда у него этот вкус?

Она ставит это на вид и отцу, подчеркивая перед ним якобы влияние на меня Соловьевых: она — сторонница сближения с ними.

Отец морщится; признавая талант в философе Соловьеве, он все же боится влияния на меня Соловьевых, весьма отклоняющих от науки меня; и в художественных увлечениях подозревает нечто мне чуждое; «новые веяния» ему не звучат: в Григе и Вагнере слышит шум; в постановках «Художественного театра» — видит культ «нервности»; и в корне отрицает во мне самую возможность разобраться в искусстве; у него свое представление об искусстве; искусство же понимает тот, кто себя посвящает обследованию истории искусств и «научных» эстетик вроде работ Фехнера и Гельмгольца; в этом *априори* отрицания во мне возможности к пониманию эстетики он упорен до самой смерти почти; наоборот: мать, подчеркивая мой вкус, ликует, что старинные ее опасения о появлении в нашей квартире «второго математика» не сбылись; эта-то уверенность ее и огорчает отца; математик *номер два* — не появится: он получает тройки по математике; огорчают исчезновения к Соловьевым; но, будучи нежным, как шелк, не стесняет он свободы моей, лишь оговаривая «увлечение» Соловьевыми:

— Они, Боренька, все — люди больные!

— Владимир Соловьев человек талантливый, но — больной: да-с, знаешь ли,— галлюцинации видит.

Присутствуя на нашем спектакле (отрывки из «Мессинской невесты»), он поднимает крик тотчас же после окончания представления:

— Нездоровая пища!.. Молодые люди изображают убийство! Надо вооружиться бодрым настроением; а разыгрываются всевозможные ужасы,— что они могут дать?

Он наталкивается на старушку Коваленскую; она ставит на вид ему: это — Шиллер: может ли Шиллер худо влиять?

Невинная старушка перепугала отца: и он все к ней возвращался, испуганно моргая глазками:

— Старушка — туда же: неискренняя и напыщенная... Больная старушка, а — туда же...

Почему «больная старушка» — этого объяснить он не мог; а «больная старушка» была именно здоровой старушкою: многочадная, жизнелюбивая, она прожила до семидесяти пяти лет; по отцу выходило:

«Больная старушка... Туда же вот!»

Владимиру Соловьеву впоследствии он простил даже «Повесть об антихристе»; простил мне «Симфонию»; и даже нашел: Брюсов — «умная бестия»; а А. Г. Коваленской он до смерти не мог простить, что она защищала драматическую поэзию Шиллера; и все повторял:

— Больная старушка!

Не доверяя моим интересам к художеству, он с шестого класса подкладывал мне свои книжечки; это были: Бокль, Льюис («История философии«);[189] в восьмом классе он подложил «Основные начала» Спенсера и «Логику» Милля, которую я одолел в университете лишь;[190] одолевал уже в восьмом классе; подложил и «Историю индуктивных наук» Уэвеля (три тома);[191] влюбленный в Шопенгауэра, пытающийся читать «Критику чистого разума» Канта[192], я чувствовал сыновнюю обязанность заняться предложенным чтением; симпатии связывали с другим кругом чтения; но оставалось одно: отдаться и Миллю, и Спенсеру, и Уэвелю для-ради самообразования, и я грыз страницы, толкующие о «Наведении»; одно время я точно знал характер полемики Милля и Гамильтона (теперь вот забыл!); отец был доволен; мы похаживали по столовой, беседуя об *априори* и *апостериори*; и он подчеркивал: себе самому:

— У Бореньки,— да-с — интересы к научной мысли!

При наличии их для него «остраннялася» моя склонность к художеству; он начал меня посвящать и в «Основы эволюционной монадологии»; были мною усвоены его статьи; в разговоре с ним шевелил его темы; позиция отца познавательно заинтересовала меня; и рикошетом от него заинтересовался я — Лейбницем, прочтя сборник ему посвященный;[193] и прочел самую «Монадологию»[194]. Кажется, в эту именно пору произошла первая моя встреча с «опытами» Фрэнсиса Бэкона;[195] раскрыв их случайно, не

мог оторваться; это тебе не Смайльс и не Спенсер, к которым у меня было немотивированное пренебрежение.

Одна из бесед с отцом окончилась мне судьбою моею: он будто невзначай с замиранием сердца сказал:

— Близится окончание гимназии, голубчик мой: и тебе придется подумать о факультете.

Он дал характеристику факультетов; и выходило: есть один только факультет: физико-математический; оба его отделения (математическое и естественное) дельны; прочие факультеты, за исключением медицинского,— не научны весьма; а образованный медик должен начать с естественного отделения.

Бедный отец! Волнуясь и меня испытуя, не знал он, что я в ряде месяцев уже подготовился к этой беседе; увлечение естествознанием миновало: я влекся к филологическому факультету (и именно: к философии); но я знал, что отца «ушибу», коли отдамся влечению; не желая стеснять свободы в серьезном, он согласился б с желанием стать мне филологом, а потом бы не спал по ночам и вздыхал:

«Да-с, карьера Бореньки — сломана-с: в корне взять — просто ужасно-с!»

Я знал: вопрос о факультете явит дуэль великодуший; я видел: выяви великодушие он,— он будет очень страдать; у меня возник план окончания двух факультетов; знание естествознания входило в круг моих философских забот; с роком «перекряхтеть» в университете лишних четыре года мирился я; так ответ мой готов был:

— Я уже думал об этом: хотелось бы мне поступить на естественный факультет!

Тут лицо отца просияло; и он не сдержал себя:

— Конечно, естествознание прекрасный предмет научной тренировки; словесные и юридические науки можно одолеть походя; для этого не нужно лабораторий; в естествознании практические занятия, знакомящие с методом, все...

Он — сиял, я — печалился, откладывая момент отдачи себя любимому кругу интересов на ряд лет.

С той поры отец удваивает со мной разговоры на научные темы, доволен он мной; и он подкладывает с подшарком за книгою книгу.

Так намечается в доме мой новый завет с родителями; разговоры с отцом о науке и с матерью о «новых веяньях».

В гимназии тоже является родственность интересов с воспитанником Владимировым, оставшимся на второй год в седьмом классе;[196] он великолепно рисует; главное:

увлекается Врубелем, Малютиным, Римским-Корсаковым, русскою стариною и Григом; на переменах мы оживленно толкуем; и я его посвящаю в новую литературу и в философию искусства; он же ориентирует в новом русском искусстве; мы заражаем друг друга; общение в годах углубляется: Василий Васильевич Владимиров один из ближайших друзей моей юности и первых литературных лет; а друг его Д. И. Янчин, сын покойного учителя географии (вместе с Владимировым оставшийся на второй год) незаметно втягивается в наши беседы; образуется тройка: Владимиров, Янчин, как второгодники и «новички» в нашем классе, не заражены традицией не считаться со мной.

И я, укрепленный моралью, саморазвитием, Соловьевыми, поддержкой родителей и признанием меня Владимировым и Янчиным, не без вызова оглядываю товарищей, вчера меня презиравших: пришла пора задать «перцу им!».

Тут-то и разразился случай: я лопнул словами.

Так это было.

Мать меня повела к Зубковым (к жене профессора и ее двум дочкам); я неожиданно для себя запроповедовал барышням о значении философии Индии: слушали, разинув рты; и я себя ощутил вдруг с павлиньим хвостом; пошли ужинать; присутствующий профессор детских болезней Корсаков мне показался вялым; я, неожиданно для себя его оборвав, стал и ему проповедовать: медицина не имеет критериев различать безумие от здоровья; мадам Зубкова была смущена; мать — удивлена; Корсаков — обижен; гимназистки глядели на меня с восхищением; и я вдруг ощутил в себе некую мощь от чувства своей правоты.

Дома мать не столько жаловалась на меня, сколько с юмором передавала:

— Понимаете ли — учит: да еще впал в азарт.

Отец, знавший меня «тихим» мальчиком и сам в душе спорщик, поглядывал с недоумением:

— В самом деле, Боренька,— как так, дружок мой: с позволения сказать, толком не зная, учишь профессора?

Ощутив вновь прилив странной мощи в себе, вместо того, чтоб сконфузиться, как обычно, впадая в азарт и ероша волосы, я заявил, что у Корсакова нет вовсе логики.

— Как так, дружок!

— А он утверждает, что — и так далее.

И, продолжая спор с Корсаковым, в первый раз круто я заперечил отцу, заперечил с наскоком; отец, забывая доводы, растерявшись, оглядывал меня с изумлением; вдруг рассмеялся, разведя руками:

— Скажите пожалуйста: ерошится и фыркает!

Вероятно, он и во мне увидел бугаевский «перец».

«Тихий» Боренька, став прегромким и пренесносным, остановиться не мог; да и — проспорил: весь восьмой класс и все четыре года университетской жизни; на другой день, в гимназии, затеявши спор, он с потрясением пальца,с морщением бровей проповедовал... символизм: туманно, но вдохновенно, обрушивая на голову сбежавшегося класса потоки имен и цитат; старичок-надзиратель, привыкший к «тихому» воспитаннику, хотел было крикнуть:

— Тише, Бугаев!

Но встретившись с его взглядом, опустил голову и прошел мимо.

Класс фыркнул; скоро недоумение оборвало смех; у меня оказались сторонники (Владимиров, Янчин); я разгромил Писарева, Макса Нордау; я выдвинул лозунги.

— Чудак!

Так разводили руками.

— Декадент,— сказали потом: с удивлением, со страхом, не без почтения; открылось: что декадент-то — «философ».

Явились и перебежчики из лагеря презиравших; они подчеркивали теперь мне свое почтение; утвердилась вполне репутация «теоретика символизма» и классного «Петрония» (законодателя вкусов)[197] после вопроса, поставленного учителем Бельским:

— Бугаев, ведь вы и Канта читали?

— Читал,— ответил я не без гордости.

Вопрос был поставлен при отдаче классного экспромта на тему: «Природа и поэт». Прорвавшийся наружу поток слов и мыслей уже в берега не вмещался; недавно писал Поливанову сочинения лишь стилистические, убирая все мысли: писал так, как «надо писать» воспитаннику; но Поливанов, к великому горю, отказался от класса, преподавая лишь в нескольких (он заболел); новый учитель, Бельский, стал нам задавать классные экспромты; не сдерживаемый пиететом, привыкший уже проповедовать классу, я в данном экспромте уже проповедовал Бельскому символизм, сведя тему экспромта к проблеме созерцания идей в явлениях и запутавшись в определениях соотношения формы и содержания в родовых и видовых идеях, доказывая, что обычно принимаемое обратное отношение между объемом и содержанием в эстетическом мышлении переходит в прямое. Часовой «экспромт» разрастался в моей голове в философский трактат, введенье к которому

даже не успел я закончить (ни о «природе», ни о «поэте» — ни звука!).

Бельский был изумлен: передавая мне сочинение, он говорил:

— Я едва разобрался в ходе мысли у вас: будем надеяться, что вы сами бы разобрались в нем, если бы довели до конца сочинение.

Все же поставил мне «пять».

Товарищи глядели на меня с почтением; Павликовский — покашивался с боязнью:

— Не представляйтесь таким легкомысленным: вы не то, чем показываете себя,— пробуркал он в ответ на какой-то мой «гаф».

Бельский же рассказал в учительской о случае с сочинением и о том, что читаю я Канта.

Конец гимназии — мой идейный триумф; «бронированный кулак», символизм держит в повиновении иных из товарищей; «сливки общества» любезничают; «папуасы» — испуганно уступают дорогу; «тройка» (Владимиров, Янчин, я) — представительница «высших интересов»; они же — *интересы символизма*[198].

Тут умирает Поливанов;[199] его смерть — удар; новый директор, сын Л. И., Иван Львович, вступает в директорствование весьма скромно и весьма тактично: с нами, кончающими и не знавшими его как учителя, держится он скорей старшим товарищем и умеет внушить доверие и уважение за несколько последних месяцев нашей гимназической жизни.

Они мне окрашены сердечным отношением при идейных спорах с шестиклассником, Володей Иковым, убежденным марксистом, участвующим в нелегальных кружках (он позднее писал под псевдонимом «Миров»)[200].

Выпускной экзамен проходит удачно;[201] подаю прошение в университет; я — студент[202].

И — отсюда мораль: не надо вить веревок из неокрепших сознаний; детство, отрочество и юность мои являют пример того, что получится из ребенка, которому проповедуют Дарвина, Спенсера, нумерацию в великой надежде: сформировать математика.

Оказывается: выдавливается не математик, а... символист; так славные традиции Льюиса и Бокля приложили реально руку к бурному формированию московского символизма в недрах позитивизма; у меня отобрали книги по

искусству и заменили их «своим» чтением; и этим выдавили лишь мощный протест (мощность — от немоты моей!) какою угодно ценою, даже ценою подлога, сорвать с себя искусственную заклепку из Спенсера; я показывал язычок Шопенгауэром и прочею «мистикой»: с шестого класса гимназии.

Одинаковое явление происходило в те годы с ближайшими спутниками, которых я в 1899 году вовсе не знал: например, с Эллисом, Метнером, в то время студентом; этот будущий западник, насквозь гетист, насквозь отрицатель «русского духа», из протеста против обязательного западничества в оформлении Янжулов и К° педалировал немодным славянофильством, утверждая Аполлона Григорьевича и Константина Леонтьева; мой первый университетский товарищ, А. С. Петровский, с детства окуриваемый религией, стал скептиком, изучающим материализм, и химиком в тот же период; и в те же дни гимназист Кобылинский, воспитываемый на любви к слову и к классикам, старательно изучал Карла Маркса.

Но «химик» Петровский, «марксист» Кобылинский, «славянофил» Метнер и «символист» Бугаев, тем не менее, через несколько лет оказались в том же товарищеском кругу; основное, что создало возможность к общему языку,— дух протеста против вчерашнего дня.

Глава пятая

УНИВЕРСИТЕТ

1. ПРОБЛЕМА НОЖНИЦ

Мне остается пробег по темам «рубежа»; и зарисовка последних двадцати месяцев жизни в девятнадцатом веке; в этот срок подчеркнулся рубеж в личной жизни; социально подчеркивался он за последнее четырехлетие старого века растущей тревогою: таяло прежнее отроческое представление о России, Европе, державшееся до 1894—1895 годов, или конца царствования Александра Третьего; мысль о том, что мы вышли из полосы исторических кризисов, в отрочестве изживала себя в двух представлениях: в консервативном и в либеральном; консерваторы представляли Россию отверженной на вековечные времена; либералы же, вливая Россию в Европу, видели благополучие ее эволюции, в результате которой встречались приятнейшие волки и овцы; России для этого благополучия нужна была, по их мнению, ничтожнейшая операция, о которой озаботится Тверское земство; конституция будет старанием этого земства дана или вырвется рукой Петрункевича;[1] что значит малюсенький вырывательный шок, коль за ним — тысячелетия роста гуманности: один пограничный шлахтбаум; и покатилась история по шоссе!

В представлениях этих лагерей не было места тревоге; тревога и политическая революция представлялись мирнейшим гуляньем во фраках; чувство сдвига сознанья отсутствовало в круге, где я развился; либералы грозили дурному городовому растрясом режима не для себя: для него; скучная мирность застоя, конец истории всяческих потрясений, бывало, меня убивали; читая об исторических революциях, думал я: «Все это — в прошлом; всего этого не увидим мы».

Но сдвиг сознания вкрадывался в детей рубежа, так сказать, со спины, пред собой взметая лишь пыль быто-

вую; одиночество созерцания взметаемой пыли охватывало; для меня таким созерцанием было узнание всей моей жизни; а у нас дома не видели неблагополучия нашего, ни безобразия нас замкнувшего быта; социальная действительность подавалась в двух редакциях (либеральной и консервативной); я же инстинктом послал уже к черту редакции эти, как комнатный перекур после споров; с детства впитанное переживанье свое я оформил лишь в 1903 году в «Открытом письме к либералам и консерваторам», воспринятом консерваторами как безобразие радикальное, а либералами как ретроградное; анархического протеста не видел никто; а моя социальная грамота началася позднее: в беседах с отходящим от Маркса Л. Л. Кобылинским; сериозное социологическое чтение началось с 1904 года.

Перевлекала внимание методология ножниц меж миром искусства и миром науки в попытке идеологического построения символизма как триадизма; и социальным вопросом не занят был я; Ахиллесова пята осозналась уже в первых годах начала века.

Измененье сознания изживалось индивидуально,— не социально: в терминах кризиса сознания или в терминах неопределенно переживаемого конца века (с подстановкою разных гипотез конца культуры, Европы иль мира); социально-экономической базы переживаний своих я не видел; терминология, мной усвоенная тогда, то казалась «мистической», то аллегорической; но словесные надстройки служили для зарисовки реальности.

Сознание было барометром, отмечающим смену ровного движения ртутных столбов на катастрофические зигзаги; и в усилиях связать явления личной жизни, мира искусств, смены мод и даже цветов пейзажей и новых словечек ощупывал я единую причину, которая была мне «иксом», разрешимым тогда, когда будет составлено уравнение.

Чуткость моя — в попытке ощупать «икс» в членах составленного уравнения; изменение жизненного темпа было мною составлено, как уравнение; «символизм» был уравнением этим.

Выражения вроде «что-то», «конец», «мировая борьба», «атмосфера» — не имели значения мироучительных лозунгов, лишь гипотетических допущений («допустим, что», «предположим», «в случае, если»); к языку правомерного допущения я был приучен отцом, показавшим

способ точнейшего извлечения корней от произвольного допущения.

Я, читающий Гамильтона, Уэвеля, Милля и собеседник отца, поучившийся у него возможностям математической мысли, не представлял себе узости и склероза сознания в прочитывании эмблематической мысли мозгами мещан; и я не искал популярности, но самоопределения в специальнейших экскурсах; и в голову не приходило, что нужны оговорки к летучим, афористическим или специальнейшим допущениям от теории «вероятностей», чтобы жаргон символиста не понес сквозь года грубый штамп, отпечатанный мещанином, реагирующим на слова «форма» и «атмосфера»:

— Ага,— гончарная форма...

— Ага — мистическая атмосфера.

О форме я слышал:

— Вынь ее, да положь ее.

— Я о методе.

— Пока не положишь в ладонь,— не поверю.

Об «атмосфере» доселе я слышу:

— Устали мы от «атмосфер»: мистика.

В ряде лет шел диалог меж моим изложеньем системы гипотез (с перечислением «иксов» и «игреков») и обывателем, напоминающий разговор попечителя-дурака с директором гимназии в эпоху Николая Первого:

Попечитель. В классе лампа повешена криво.

Директор. Ничего не стоит, ваше превосходительство, провести диагональ и в точке пересечения повесить лампу.

Попечитель. Диагонали поставить на мой счет.

Так и слова о «кризисе», «конце», «заре», «ножницах» понимались «диагоналями, поставленными на мой счет».

— Катастрофа.

— Ха-ха: «народился Антихрист!»

— Антиномии.

— О каких он «лимониях?»

— Ножницы.

— Думает,— в голове у него портновские ножницы вместо мозгов.

Скучно, читатель!

Оговоривши право на слова «атмосфера» и «колорит годов», я скажу: с 1896 года видел я изменение колорита будней; из серого декабрьского колорита явил мне он явно февральскую синеву; синие февральские сумерки безотрадней январских; вместо ровной облачной пелены — бур-

ные отдельности синих клочьев; кто имеет глаза, тот уж знает: приблизилось таянье с ветрами и снегопадами, возвещающими выступление из берега растопленных вод; это было мной пережито на перегибе к 1897 году; предвесеннее чувство тревоги, включающее и радость, и боязнь наводненья, меня охватили; тот синий, угрюмый оттенок — воспринятый мной пессимизм, несущий потенциальную энергию больших действий в отказе от маленьких действий квартиры; в комнатах — пепел слов; за окнами угроза — снежищами, слякотями и затопами; пессимизм был пессимизмом восприятия квартирного запаха, да и самой квартиры, поставленной как на плотик, который не выдержит вешних волн; пережито все это было в моменте, как... мировая угрюмость; нечто от этой угрюмости для меня отразил Чехов в «Чайке», Бальмонт в «Тишине»;[2] не это ли предпотопное посинение туч мне отметила и драматургия Ибсена, Зудермана, Гауптмана, которою я упивался: статья Гилярова «Предсмертные мысли во Франции»[3] ставила в заглавии эпитет «Предсмертные»; декаданс конца эпохи выметился отчетливо; то же, что переходило «рубеж», являлось в символе «засмертного»; отсюда же символика заглавия драмы: «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»[4].

Переход же к 1899 году был переходом от февральских сумерок к мартовской схватке весны и зимы; 1899—1900 годы видятся мартом весны моей; с 1901 года уже я вступаю в мой май, то есть в цветенье надежд, в зарю столетия.

Культурные мои прогнозы совпали и с переживаемой юностью; первый год столетия был год моего совершеннолетия, личных удач, окрепшего здоровья, первой любви, новых знакомств, определивших будущее, написания «Симфонии», рождения к жизни «Андрея Белого» и так далее[5].

Понятно, что он открывает «зори»; если же и для Блока, Метнера, С. М. Соловьева моя «заря» совпала с их «зорями», это — факт их биографий, не «мистика»; совпад знаменовал связь не через абстракции в некоей органике кооперации нашей; кружок «Арго» лишь оформляет кооперацию; не моя вина, если Александр Блок в 1901 году внес в слово «заря» излишнюю «мистику», так что и наш разговор о том, как размежевать «Зарю» его и «Прекрасную Даму» его, длился два года, плодя рой бессмыслия от его нечеткости выражений.

Критики, не опрокидывайте «Зари» с больной головы на здоровую; в 1901 году я был молод, здоров, работал

в лаборатории и от избытка сил бегал глядеть на зарю и шутливо описывал, какие оказии получаются, если спутать зарю с розовым капотом возлюбленной, вписанной в душу большущею буквою; доказательство — «Симфония»; там описана путаница, и описано: опричь путаницы «Много светлых радостей осталось для людей» («Симфония»)[6].

Эпоха 1899—1900 годов, подводящая к рубежу, характерна мне еще проблемой ножниц, которые разъезжались, которые надо было сомкнуть.

Год окончания гимназии видится плодотворным; я разрабатывал проект написания мистерии «Пришедший», увиденный, как мой «Фауст». Тема — пришествие Антихриста под маской Христа; первые куски драмы записаны весной 1898 года; тогда же записан отрывок «Пришедший»; в 1903 году я испортил его, подготовляя к напечатанию в «Северных Цветах»; было стыдно выставить год написания, 1898; я выставил год правки, 1903[7]. Тему Владимира Соловьева я предварил планом драмы за два с лишним года; М. С. Соловьев считал гимназическую редакцию удачней «Повести об Антихристе» своего знаменитого брата; М. С. Соловьеву читал я отрывок в 1899 году; он впоследствии рассказал о нем и Владимиру Соловьеву, желавшему ознакомиться с моей рукописью.

С начала 1899 года читаю Соловьевым стихи и отрывки в прозе и усиленно самоопределяюсь как начинающий писатель; написаны две весьма дикие драмы, которые читаны только Сереже;[8] перед выпускным экзаменом пишу трактат, разбирающий творчество Ибсена как символиста[9], и сочиняю украдкой мелодии на рояле, в которых отсутствует призрак техники.

С другой стороны, необходимость стать мне естественником подбрасывает проблему естествознания; я понимаю: она — не шутка; знакомство с фактами отнимет часть художественных работ; без интереса к естествознанию — не проведу я четырехлетки.

И летом 1899 года, готовясь к университету, себя окружаю я грудою книг: учебников и сериознейших сочинений; я уже увлечен и новыми фактами, и усвоением метода, и философией точных наук; «История индуктивных наук» Уэвеля меня подготовила к моим интересам.

Первый месяц по окончании гимназии — не месяц отдыха, а месяц труда и сомнений от роста ножниц и ощу-

щения, что ножницы не смыкаемы; начатая мною поэма в прозе в форме «Симфонии» («Предсимфония», уничтоженная);[10] и — гистология, сравнительная анатомия, ботаника, химия; попытка примирить гимназическое шопенгауэрианство с естествознанием путем усвоения плохой книги «О воле в природе» Шопенгауэра и позиции Эдуарда фон-Гартмана («Философия бессознательного») осознается компромиссом;[11] ножницы растут; но и попытка отдаться новым интересам, сохраняя время для творчества — тоже компромисс; с поэмой не ладится; и здесь — ножницы.

Я изнемогаю; и я решаю: не налегать на искусство, забыть о писательстве, чтоб вполне стать студентом, вооруженным фактами; до 1901 года, не бросая ножниц, я балансирую меж обоими лезвиями, перебегая с одного на другое; то с головой ухожу в научные интересы, а то сижу над формой «Симфоний», над Ницше и Мережковским.

Трудное, бурное время.

Университетские интересы меня победили тем, что не оставили времени для других; это — мучило; зато: отец ликовал: Боренька становился естественником, имеющим будущее.

Он не видел в моих интересах и даже успехах далекого плана: моей восьмилетки (4 года — естественный факультет, 4 года — филологический); при всем интересе к наукам и к фактам, мной ставилась цель овладения методом осмысливания фактов в духе мировоззрения, строимого на двух колоннах; одна — эстетика, другая — естествознание; мировоззрительная проблема — увязка двух линий; то — в будущем; настоящее — открытые ножницы, порой скользящие в противоположные направления тротуары; изволь, став одною ногой на одном, а другой на другом, не разъехаться; и оставалось одно: стояние в точке ножниц выразить пляской на месте.

Мое положение казалось безвыходным, если извне наблюдать меня; правой рукою писал я «Симфонию», где лаборант Хандриков сходит с ума от жизни в лаборатории;[12] левой же — взвешивал на весах анализируемую крупинку, находясь в той именно лаборатории, которую описывал как сумасшедший дом; левое полушарие мозга исследует дарвинизм и основы механики, а из правого в «Симфонию» излучаются мысли: «Мы живем одновременно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем. И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим для простоты» («Возврат»);[13] над химическою

горелкою и над «Возвратом», начатым в гистологической чайной, совершалась «пляска на месте» или проблема увязки эстетической тезы с естественнонаучною антитезою в синтезе-символе, две проекции которого выглядели вовсе разно: в проекции философии — метафизическою реальностью; в проекции естествознания — химическим синтезом; или качественностью, не данной в тезе и антитезе; задачею было: преодолеть метафизический привкус в философии, в понимании синтеза и преодолеть до конца, но и осмыслить основы механического мировоззрения как методическую эмблематику.

Понятие символа как конкретного синтеза (не кантова или гегелева) — вынашивалось в годах; университет — место собирания фактов; факты — научные данности, приборы, теории; и теории наук были мне сырьем оформления в моем стиле.

Этого подхода к проблеме естествознания не понял никто.

Этого не понимали ближайшие: В. В. Владимиров, товарищ по гимназии, ставший товарищем по факультету[14], А. С. Петровский, с которым подружился в первые месяцы университетской жизни[15], студент Суслов, которому проповедовал я эстетику в коридорах лаборатории, перекинув через плечо прожженное полотенце и ожидая, пока не осадится мой раствор. Этого не поняли профессора; как заинтересуешься наукою, готов профессор замкнуть лишь в пределах своего кабинета, отрезав от прочих; отсюда — мучительство: хотелось крикнуть:

«Я специалист университета, имеющего восьмилетний план: лаборатория, Зоологический музей, Этнографический кабинет суть мне предварения, а вовсе не цели».

Мыслилось сочинение, подобное сочинению Наторпа (о точных науках); с Наторпом я не был знаком; методология моя не могла быть неокантианской (позднее я посвятил неокантианству четыре года).

Этого не понял отец; его я не посвятил в восьмилетку; летучие интересы (зоология, химия, физическая география) его огорчали тем более, чем более он признавал мои естественнонаучные мысли.

Этого не поняли и «эстетические» друзья: Сережа, родители, Соловьевы; не понимали мотива отдачи естествознанию; и горению над мыслью Гельмгольцев, Оствальдов и Менделеевых; Соловьевы видели меня лишь в той половине жизни, которой не видели отец и профессора.

Никто не внял проблеме моего двуединства: эстетико-натуралист, натуро-эстетик; не поняли временного отказа увязывать то, что по плану должно было в годах увязаться; виделась пляска противоречий; виделся разговор об эстетике над учебником анатомии или разговор о Гельмгольце над бетховенской музыкой.

Почему же иные из профессоров отмечали меня? Отчасти по инерции (интересующийся предметом сын декана, профессора, желает остаться при университете; что же — пусть: свой, университетский); были и иные мотивы; интересуясь той или иною теорией, я искал фактов; в поисках их попадал я в лаборатории; разбираясь в отношениях к клетке, я прислушивался к теориям Вейсмана, Бючли, Альтмана и других; в подборе фактов казался зоологом; реферат Зографу «Мезозоа»[16] внушил последнему мысль оказать мне гостеприимство представлением рабочей клетки в музее; желание писать Анучину сочинение об орнаменте внушило последнему мысль заинтересовать меня географией на основании удачного повтора его лекции о формах земли в представлении древних.

Профессора не видели: подход мой к предмету — теоретический; интерес к фактам — тоже; Зограф, крохобор, теорий не выносил; он усаживал на годы за исследование окрасок кишечников таракана; скоро повздорил я с ним; Анучин же получил ложное представление о географических интересах моих на основании тоже случайного факта: умения экспромтом пересказать его лекцию.

В голове моей зрел собственный университет: я сочинял свой план прохождения предметов; у меня были текучие интересы к фактам в процессе уяснения мест наук в системе наук; то я увлекаюсь кинетической теорией газов и читаю «Историю физики» Розенберга[17], удивляя Умова рефератом «Задачи и методы физики»; то я обращаюсь к Зографу за специальною статьей по малоисследованному вопросу о «мезозоа»; Зограф не видит: положение «мезозоа», как форм промежуточных, выдвигает мне чисто принципиальный вопрос о всяком организме как социальном целом; тут и монадологические интересы отца; и неизученность бытия «мезозоа»; проходит месяц, и я отдан мыслям о системе Менделеева. Составив мысли о нужных фактах, ознакомившись с «Энергетикой», начинаю искать энергетический принцип в трансформе форм искусства; осеняет дерзкая мысль: и формы искусства подчиняются метаморфозе; пространственность, временность — модификации некоего не данного целого; мысль работает над

понятием время-пространство, над изученьем предмета еще не преподанного студентам; где-то копошится предчувствие принципа относительности; я, забыв лабораторию, Зоологический музей, ловлю мысли Ганслика и Гельмгольца, пытаясь ощупать закон эквивалентов в эстетике.

Профессора констатируют охлажденье к лабораторным занятиям; я же чувствую себя спецом в ощупи мыслей об эстетике, как точной экспериментальной науке; отражение мыслей первокурсника — статьи в «Символизме», продуманные задолго до написания; «Эстетика невозможна как гуманитарная наука» («Символизм», стр. 234); «Ее задача — выведение принципов, как связи эмпирических гипотез...; гипотезы ее опять-таки — индукция из эмпирических законов» («Символизм», стр. 234)[18] и так далее.

Все чуждо Соловьевым; и мой реферат «О формах искусства» — скандал в метафизическом семействе студентов, сгруппированных под Лопатиным и Трубецким,— скандал двоякий: 1) появление «декадента» на кафедре, 2) проповедь эмпирики и индукции там, где господствует метафизический «нормативизм». Я шокирую мыслями о «точной» эстетике и ближайших друзей, Соловьевых; и ими ж я радую отца, столь враждебного моему «декадентству».

Усилия же ликвидировать антиномии в разграничении сфер методов с надеждой на конкретный синтез,— всем чужды; они и являют меня в моих университетских спорах и в комбинации интересов лишь пляшущим над препятствиями.

Проблема ножниц, осознанная и отстаиваемая от засилья правого и левого крыла антиномической двоицы, кажется пятном сумбура во мне: отцу, Соловьевым, Петровскому, всему кружку университетских друзей.

Но с усилием и с пыхтением я стараюсь катить сизифово колесо свое на одному мне видную вершину символизма.

Проблема ножниц приставилась, как нож к горлу, с момента, когда естествознание вломилось в меня,— да так, что не оставалось времени ни на что другое.

К этому присоединилась и биография; на свои жалкие сбережения тридцати лет труда отец купил заложенное небольшое именьице в Тульской губернии;[19] раскидавшись широкими планами — развести парк, новый плодовый сад и рационализировать запущенное хозяйство (это отцу-то, предлагавшему кормить лошадей гречихою,— рационали-

зировать хозяйство при плуте-старосте, его обиравшем!); лето 1899 года проводили в имении, отдаваясь интересам к земле; научные интересы (ботаника, зоология, метеорология) сочетались во мне с землеведеньем; я изучал овраги, почвы, полевые работы и плодоводство; прочел три сочинения, посвященных яблокам, что в связи с ботаникой Бородина[20] казалось мне важным делом; присоедините интерес к введению в сравнительную анатомию, которому я отдался, изучая с конспектом учебник Мензбира[21], изучение неорганической химии, чтение «Новой химии» Кука и «Общей физиологии» Ферворна;[22] присоедините интерес к полемике механицистов с неовиталистами и чтение книги академика Фаминцына[23], и вы увидите: занятий было по горло, спор неовиталистов с механицистами был вырешен: неовитализм отклонил я; в сфере правого крыла антиномических ножниц я — 1) антивиталист, 2) дарвинист; я постулирую: преодоление крайностей механической философии — в осмысливании основных механических понятий, а не в отклонении роли механики в жизни: я — биомеханик, а не виталист; скоро я удивляю студента Суслова своими нападками на виталистов и натурфилософов школы Окена (шеллингианца):

— Как можете вы, эстетик, философ, не считаться с натурфилософией?

Суслов мыслит обо мне по прямому проводу, как о философе, подбирающем факты естествознания для ему нужной догмы, не видя во мне проблем критицизма, ножниц и символизма, строимого как борьба со всякими догмами и с философией по прямому проводу; всякое «коли то, так это» кажется тем примитивизмом, который я отвергаю; не равенство я устанавливаю («икс» равен тому же), а уравнение, то есть возможность решения; таким уравнением служит мне формула символизма, решаемая в годах,— не одним поколением, целой культурой усилий, осуществимой школою теоретиков и организацией институтов.

Этих мудреных заданий моих не понимает никто.

Здесь должен сказать.

Задания вовлекают меня с головой в посильное изучение наук, но для нужной цели; и до 1901 года я заражен страстью к естествознанию; позднее, с 1901 года, новый взрыв культурных интересов, а не угашение интересов 1900 года; точной наукой интересуюсь я, а усложнение

интересов, знакомств, заданий в левом крыле моих ножниц относит меня от науки; летом 1899 года расстался я со своими планами писателя; с января 1901 года, обратно, я вынужден расстаться с рядом научных забот из-за писательской линии; с 1901 года до окончания университета я — Андрей Белый в большей степени, чем студент Бугаев; до января 1901 года я — более студент Бугаев, чем Андрей Белый.

В зарисовании «рубежа» у рубежа я должен изложить линию естественника во мне, тянущуюся до окончания университета; в сочинении «Начало века» должен я взять тему января 1901 года, вывлекшуюся из университета; тема вспыхивала и в 1900 году: наоборот, доминанта тем 1899—1900 годов вспыхивала и в 1901, и в 1902, и в 1903.

«Университет» и есть то, что стоит передо мною у рубежа; в описании университетских интересов своих не могу я отдаться хронологической биографии; я должен живописать «тему» в ее развитии до 1903 года, элиминируя ряд тем 1901 года в предварении слышных и в 1899 году.

Этим и объясняется круг тем этой главы: он — выбор с устранением интересов, которые — предварение лишь того, что ярко запело во мне с января 1901 года.

2. ЗООЛОГИ

Круг зоологических дисциплин первым врывается в мое сознание: микробиология (ткани и клетки) — во мне поднимает волну интересов, которым вполне отдаюсь; и, во-вторых: интересует история трансформизма с зачатков его у Фрэнсиса Бэкона через Ламарка, Жоффруа-Сент-Илера и Гете к Дарвину, к Геккелю; короткое время я увлечен Ламарком, отдавшись моде, приподымавшей идеи Ламарка над Дарвином; гистологические и эмбриологические картины эстетикой поражают воображение; переживаю «мистерию» фаз кариокинетического деления клеток[24], образования зародышевых зачатков (мезо-, экзо- и энтодерма)[25], как некогда драмы Ибсена.

Неудивительно: первые месяцы ряд кафедр сосредоточивает внимание на клеточке и на простейших; профессора Зограф и Тихомиров, сравнительный анатом (и тоже зоолог) М. А. Мензбир, ботаник Голенкин по-разному трактуют клетку; я забегаю на лекции приват-доцентов Зыкова и интересного Вагнера, читающего энтомологию; передо мной — столкновение идей; Зограф, Мензбир и Ти-

хомиров — боролись друг с другом; Тихомиров, ректор, антидарвинист, читавший нам общий курс и поэтому касавшийся проблем истории, употреблял все усилия разбить Дарвина; Зограф, вялый дарвинист, подчеркивал биомеханику Бючли; М. А. Мензбир, убежденнейший дарвинист, великолепный лектор, умнейше владеющий фактом, превратил курс «Введение в сравнительную анатомию» в философию зоологии, дающую яркую отповедь наскокам на Дарвина; первокурсники вводились в идеи и в факты; отсюда: повышенный интерес к микробиологии у меня; я получил сырье с предложением самому ориентировать свою мысль вокруг линий, рекомендуемых Зографом, Мензбиром или Тихомировым.

Вот почему мой стол завален книгами: тут Гертвиг, Бобрецкий (зоология), Дарвин, Геккель и французский дарвинист, Катрфаж; надо всем — проблема клетки, или — проблема построения «храма жизни».

Любимец же мой — профессор М. А. Мензбир.

К нему привлекла отданность его идеям Дарвина: до фанатизма; и — привлекали: научность, самообладание в выборе и экономии фактов, слепляющих художество лекций его; фактами не загромождал, выбирая типичнейшие, но обставляя последним словом науки, в выборе ретушей и освещений фактов чувствовалась выношенность; говорил трудно, но — популярно; объясню парадоксальную эту увязку противоречивых понятий: включая в лекцию факт, он ставил его в освещении теоретической призмы, стараясь выявить основное ребро и убрать все ненужное; сравнивая Мензбира, как формировщика нашего научного вкуса, с действием различных стилей искусств, я заметил бы, что в нем увлекался художественным реализмом; лекция Мензбира — умный показ строго отобранных сравнительно-анатомических фактов, как стиль постановок Художественного театра; смотришь «Вишневый сад»; сквозь натуру жестов сквозит тебе символ;[26] слушаешь Мензбира,— и вылепляется концепция трансформизма из ткани фактов.

Так, чтением лекций, не превращенных в полемику, он зарезал Тихомирова; слушая Тихомирова, можно было подумать: его «философия» зоологии даже не антидарвинизм, а антимензбиризм; при слушании М. А. Мензбира не существовало абстрактных идей, Зографа, Тихомирова; не существовало и М. А. Мензбира, стушевывавшегося перед доской, на которой вылепливал он конструкцию клеточки, появление центросом[27] и так далее. Не было красок эсте-

тики, прекрасных фраз, афоризмов, которыми поражал физик Умов; была четкая линия мысли, не претворенная в художественно подобранный силуэт фактов; и линия фактов входила теорией; факты стояли в картине; а лик картины — Дарвин.

Лекции эти сравнимы с гравюрою Дюрера проработкой штрихов и тенью строгости, убирающей все наносное в виде дешевых прикрас, не проверенных заскоков от «моды», которою пылил в глаза Зограф.

Материал факта, продукция показа у Мензбира — первый сорт; видно было, что курс его — итог дум и усилий: итог всей работы; читал он «Введение», а поднимался занавес над всею наукою; всего себя, видно, влагал в этот курс. И значение курса — огромно: он-то и был форматором биологических интересов, как лекции Умова, вводившие в механицизм; Умов и Мензбир с механицизмом и с дарвинизмом стояли пред нами.

И если в первый же университетский месяц зарылся я в «Происхождение видов»[28] и в Гертвига, так это — действие Мензбира; если на моем столе явилась «История физики» вместе с литографированными листами умовских лекций, так это — действие Умова.

Но до чего оба были различны: Умов — бард с развевающимися власами; Мензбир — скромный лишь установщик выставки фактов, после пробега по которой нам делалась ясной Гетева «Идея в явлении»; Умов взлетал в философию; Мензбир же не летал: как-то ползал, средь фактов продалбливал проходы к научным кладам типичного факта; Умов играл афоризмом Максвелла, Томсона, пленяя воображение глубиной, не всегда проницаемой; Мензбир лишь выпуклыми словесными уподоблениями и служебной метафорой доносил факт до ощупи. Для Умова характерны выражения вроде: «Бьют часы вселенной первым часом»; мы вздрагивали, чуяли глубину под словами, не облагаемую трезвым понятием; для Мензбира же характерны метафоры вроде: «Гаструла[29] напоминает видом ягоду малины, снятую со стерженька». И образ малины связывался с гаструлой; сложнейшие конфигурации фактов врезались им в мозг, как гравировальным резцом.

Мензбира было порой трудно слушать; он вел нас крутою тропинкою фактов, не развлекаясь красками иль анекдотиками, которыми жонглировал Зограф; по окончании лекции всякий бы мог повторить ее: так вылеплялась она умным ладом идеи с подобранным фактом; лекции Мензбира выглядеть могли бы идеологическою ловушкой,

подсовывающей ловко итог его мысли, если бы не строгость, не безусловная честность, которыми действовал он.

В нем жила парадоксальнейшая гармония «фанатизма» с «научною объективностью»; он был фанатик факта; и он фактически обосновывал фанатизм.

Такова и наружность его.

Небольшого роста, в сереньком, худой, желтый, желчный, со встопорщенным чернейшим над огромнейшим лбом клоком, с черной бородкой, сутуло сосредоточенный, дико выпученными и какими-то желтыми глазками перед собой глядящий, безбровый, весьма неказистый, вступал перевальцем он в переполненную аудиторию, не глядя, не видя, не слыша; глубокая морщина перерезывала выпуклый лоб; первое движение — силою напряжения мускулов рук сдвинуть кафедру, загораживающую от нас доску (всегда забывали убрать эту кафедру); ни позы, ни жеста; одно трудовое усилие: запомнился выгиб тела, сдвигающего тяжесть кафедры; он напоминал первобытного человека иль высокоразвитую гориллу, являя кричащее доказательство теории Дарвина; взглянешь и — скажешь:

«Ну, конечно же, человек происходит от обезьяны».

Отодвинув кафедру, косолапо оцепеневал с мелом в руках и с пропученными пред собою глазами, не видя студента, которого взглядом фиксировал; раз этой точкой фиксации стал я, сев в первый ряд; как в меня впучился он, так и не поворачивал головы, меня не видя, лишь поворачиваясь к доске (рисовать) и потом продолжая вперение глаз в ту же точку (в меня).

Постояв, помолчав, начинал свою лекцию он, выбивая громким и ровным голосом точные, ровные, гладкие фразы, как выученные наизусть; вероятно, он так говорил от слишком ясной ему картины мысли, насквозь индукции; ровно, строго, спокойно она выбивала в нас твердый рельеф. Развивал ли теорию радикала циана, слагающего белковые вещества, рисовал ли этап преформации хряща в кость,— получался твердейший рельеф без единого яркого слова; а научное воодушевление сказывалось углубленьем морщины; и делался мрачным весьма; не крылатое слово, весомое очень.

Кончив лекцию, клал он свой мел и без паузы тихо и прозаичнейше удалялся с опущенною головою, вперясь пред собой исподлобья, точно это не он выбил в нас барельеф; и точно лекция его — не событие в жизни курса, а просто стирание пыли со шкафа: весьма прозаичное дело; казалось, что Мензбир в любой момент жизни готов

прочесть великолепную строгую лекцию; и в любой момент лекции этой ее оборвать, чтобы без перехода заняться стиранием пыли; он говорил ведь на лекциях лишь о том, о чем думал двадцать четыре часа в сутки; и оттого было строго молчанье его, что оно было — произносимой научною мыслью. Я не видел профессора с бо́льшим отсутствием позы и фразы иль с меньшим желанием поддержать репутацию одного из любимейших профессоров; мне казалось: он делает все, чтобы потерять популярность; помнится, что боялись к нему подойти: его громкий басок мог огреть; разлетишься, а он отчитает тебя; его часто встречали и провожали аплодисментами, на которые он — нуль внимания: точно их нет; лишь морщина означится, вид станет более зверским; гориллою-умницей, или пещерным аборигеном он выглядел с головой, переросшею современников на миллионы лет,— а ходит в шкуре. Михаил Александрович, право, казался таким.

Вид вовсе не располагал к легкому общению с ним; а любили за лекции, за строгую честность, за идейную непримиримость к казенному духу; ученый, на десять голов превышающий прочих из группы зоологов, был почти вытеснен из Зоологического музея, куда не являлся, ютясь со своими студентами, местами и коллекциями чуть ли не в частной, специально снимаемой квартире, где было тесно и неудобно: а курс наш ломился работать у Мензбира; мест же не было вовсе; Тихомиров и Зограф владели и помещением, и материалом, и штатом помощников, и местами, и прочим; высшее начальство из «вне университета» так действовало, что Мензбир упразднялся как бы.

Ни кокетства, ни позы или желания подыграться к нам. Мрачность одна.

Но именно мрачностью и внешнею некрасивостью действовал он: был прекрасен воистину.

Он разогрел биологические интересы во мне; обстоятельства неожиданно так сложилися, что ареною интересов стал мне сам собою подставившийся Зоологический музей. На первом курсе не было практических занятий с Мензбиром; и были — у Зографа, давшего мне авансы к широкой работе. Когда же позднее рванулся я к Мензбиру, то мест у профессора этого не оказалось уже. Мензбир внушал уважение; не забывал я, что он был любимейшим учеником крестного моего отца (С. А. Усова);[30] в те уже годы учителем был он нынешнего академика Кольцова, на первой лекции которого я присутствовал.

Мензбир — строгий экзаменатор; экзамен его означался эпидемией провалов, которой предшествовала эпидемия страха; он не щадил тупоумия, разгильдяйства, незнания; вместе с тем: он делал все, чтобы трудный предмет превратить в популярный, в рельефно воспринимаемый; экзамен по введению в сравнительную анатомию при строгих требованиях экзаменатора был прелегким лишь оттого, что я слушал профессора, не пропустивши, кажется, ни одной лекции; каждая входила картиною незабываемой (несмотря на тяжелый научный балласт); при учебнике Мензбира, знания которого требовал он, лекция восстановлялась сполна; не забываешь того, что в тебе формирует метод.

Иначе вошли его лекции по сравнительной анатомии позвоночных (третий и четвертый курс); эти лекции — номенклатура, данная четко, но с труднозапоминаемыми подробностями; позвоночными интересовался я мало; на лекциях этих я редко бывал, день просиживая в лаборатории; оттого-то и я в полной мере переживал предэкзаменационные страхи; но экзаменовал меня не он, а покойный академик Сушкин; должен сказать: это не был экзамен, а — личное сведение счетов (за «декадентство»), на которое М. А. не был способен; он строг был к другим; но он строг был к себе.

Он стоит предо мной точно высеченным из цельного камня: модель «homo sapiens», возглавляющая коллекции видов Зоологического музея, он — сама научная честность, брезгливо отмежевывающаяся от эффектов, сведения счетов, дешевенького политиканства и прочего.

Этому профессору хочется сказать горячее спасибо за то, что он нам, студентам, давал.

Иное впечатление живет от Александра Андреевича Тихомирова, некогда дарвиниста, потом — антидарвиниста [31], ректора, к которому не питали особой приязни; М. А. Мензбир был любимец; А. А.— нелюбимец: ректор, не дарвинист, антагонист Мензбиру; не верили пылу антидарвинистических выступлений ректора и яркой любезности с оттенком «шармерства» в общении с нами; несчастнейший тон! И — несчастная внешность! Высокий, вертлявый, худой, серо-дряблый, с бородкою маленькою, серо-русой, небрежно бросающий слова; и вздернутый носик курносый, в пенснэ; резкою интонацией и фистулою картавящего, пришепетывающего голоса, чуть-чуть напоказ, с обезьяноподобными движениями длинных рук,— он

не нравился; и называли его «макакой», или — «маркизом»; казался «макакою», думая, что он — маркиз; ректор-шармер, антидарвинист, перед нами подчеркивающий дружелюбие и желание всякого благополучия нам, вызывал оппозицию; видом своим говорил: не попадайтесь на удочку модных теорий; и я — заблуждался, но разобрался; и вот я, как друг, как наставник, как крупный ученый, доказываю правоту своей критики.

А мы не верили.

С развязным шарком, с привздернутым личиком старой макаки, играющей роль, он влетал с большим треском на кафедру; и дружелюбно кладя свою длинную руку на чучело, с юмористическим щуром оглядывал нас сквозь пенснэ, вздернув нос, и громчайше цедил:

— Эээ... гээспээда... говорят, чтээ...— ворошил шерсть гиббона он,— чтээ это — наш предок».

Было ясно, что предок А. А.— не гиббон, а — макака.

Глядя ж на Мензбира, я думал: в тысячелетиях времени доработалась обезьянья природа до очень прекрасного экземпляра.

Вид же этого ломающегося профессора (может,— от нервности?) мысль укреплял о происхождении от макаки «этих» гримас,— обезьяньих и вырожденческих.

Тон небреженья с подшарком всегда был присущ Тихомирову; помню чету Тихомировых с детства; и — с детства помню: громчайшее пришепетывание неприятнейшего фальцетто; весьма утверждали, что он даровитый ученый; антидарвинизм — просто муха, ему не мешавшая уходить в шелководство; и разговоры о шелковичных червях, скорционере, которым питаются черви, мне памятны с детства; Ольгу Осиповну, супругу, он называл «мамашею» (выходило — «мэмэша»); в громчайшем «мэмэша» был тот же несчастнейший тон, нам казавшийся позою; есть несчастнейшие интонации, уродящие человека, не менее отсутствия носа. Какой-то природный изъян, а не поза, казался в нем моральным изъяном; курс, им читанный, был интересен — в деталях; а в целом — не нужен.

Стиль лекций Мензбира — стиль художественного реализма; стиль лекций А. А.— аллегорическое барокко, гофрированные выкрутасы подробностей, философических отступлений, порой интересных; а в целом топилась главная мысль: антидарвинистическая тенденция; иные из лекций Мензбира мог бы теперь повторить чрез тридцать лет; а что говорил Тихомиров, в чем сила его главной мысли, сражающей Дарвина,— скрылось в густом тумане;

в момент слушания уж была она тусклая, строимая на аналогиях (не гомологиях): стиль Малого театра эпохи упадка,— так во мне отразился тот курс; преинтересных подробностей, как, например, объяснения значения эмбриолога Ковалевского, не отрицаю я; очень неглупый, талантливый человек, специалист по шелководству, некстати вызвавший в суд Дарвина,— таким остался он мне; очень действовал самоуверенный тон, и указание «некоторым, которые» думают не по профессору (читай: «Мензбир»).

Ситуация целого (ректор, абстрактный политик, владелец музея, а Мензбира нет в нем) зарезывала Тихомирова, и оттого все галантности, приглашающие у него поработать, не соблазняли нисколько; у Тихомирова не было учеников; да и сам он казался залетной фигурой в музее; нет времени: ректорские обязанности, визиты, салоны и прочая...

С Тихомировым я встречался и дома: он являлся к отцу: и держался — предупредительно; Ольга Осиповна, жена его, была милая дама; в беседе со мной, ницшеанцем в то время, однажды он выразился (и — в мой огород):

— Человека еще почти нет, а тут выдумали сверхчеловека какого-то: чушь одна.

Я улыбнулся, пожав плечами; и подумал: профессор в сентенции этой приблизился к Дарвину.

Он был снисходительный экзаменатор: трудных вопросов не предлагал; и трепещущих Мензбира старался он выручить даже; и все ж не любили его; порою его было жалко: ведь был он ученым.

После смерти отца мне пришлось идти говорить с Тихомировым; он принял любезно в своем кабинете; столы были густо покрыты какими-то листьями, а на них копошилися шелковичные черви; Александр Андреевич, все на свете забыв (и дела и тот факт, что я отца потерял), привлек меня тотчас же к копошащемуся червятнику; и, взяв на палец прозрачную гусеницу, другим пальцем погладив ее, стал показывать он:

— Посмотрите, как бьется, пульсирует под эпидермисом...— и так далее.

Понял: любовь к гусенице,— не «антидарвинист», не «маркиз» и не «ректор»,— вот что было в нем главным. Он — ученый: а остальное — наносное.

Первая встреча с университетом — Зоологический музей; семинарий по химии, физике на первом курсе — проформа; практические занятия по ботанике — определение

растений (сухое и мертвое дело, коли не живое растение, а спиртовой препарат); практические занятия по анатомии человека, зачеты по остеологии и миологии (работа на трупе) — для первокурсников сериозное дело, как и экзамен (4 части учебника анатомии Зернова); но анатомия человека — предмет проходной; он рассматривался как барьер пред другими предметами: одолеешь,— свободен: иди заниматься, чем хочешь; в анатомическом театре естественники — гости у медиков.

Зоологический музей стал своим; у каждого студента — своя штаб-квартира; кто — в лаборатории; кто — в Ботаническом саду (на Мещанской), кто — в гистологическом кабинете; а я — в музее; мне казалось, что я в дремучем, тенистом лесу; затеривался меж витрин и моделей в таинственных сумерках; думалося легко; посетителей — нет; нет — студентов; нет хлопанья дверей, толчеи, разговоров; и не висят объявления; «субы»[32] не шмыгают; и педеля не выглядывают; вместо них — смотрит глазом стеклянным косматейший зубр, иль раскинулись щупальцы спрута: присоски — с тарелочку; и лишь кто-нибудь из работающих на хорах зоологов-спецов нос высунет, или на слоновьих, но мягких ногах, увлекаемых пухлым туловищем, точно шаром, воздушным, надутым, бледноволосый Григорий Александрович Кожевников пронесется, до ужаса выкативши пред собой водянистое светлое око,— не удивится, не спросит, что делаешь: право твое думать в этих тенистых углах среди тигров, присев на клык мамонта; я ж привлечен был хозяином этих пространств, изукрашенных зверем пяти частей света.

Зал превысокий, двусветный, но темный; и хоры с перилами: вокруг стен; там отдельные камеры (клетки для специалистов, с ключами); не забегая в пространства музея, уносятся они лесенкой вверх, отпирают каморки, усаживаются за микроскопы; бродя здесь, наткнешься на полукруглую аудиторию (амфитеатром), от прочих сторон отгороженную только схемами зоологическими, меняющимися на протяжении курса; под ними, меж окнами и витриною — сборище за столом; человек пятнадцать студентов работают скальпелями, пинцетами над принесенными морскими ежами: практические занятия у Николая Васильевича Богоявленского; он тихо обходит студентов, тому иль другому показывает, в чем дефект препарата; за угол зайти,— ни студентов, ни Николая Васильевича: тишина лесов Конго: фантазии строятся.

Вдруг треск гнусавого, громкого очень фальцетто из далей шкафов:

— Николай Васильевич, да где у нас склянка!

Иль:

— Юра, опять мне напортил!

«Юра» — товарищ мой: Юрий Николаевич Зограф; фальцетто же — не верещание козлоногого фавна, а профессора Николая Юрьевича Зографа, хозяина этих безлюдных пространств, схем, столов, микроскопов, зоологических клеток; Григорий Александрович — приват-доцент; Николай Васильевич — лаборант; Мензбир носу не кажет; а Тихомиров, мелькнув метеором на лекцию,— скроется.

Зоологический музей — царство Зографа: он ведет здесь хозяйство большое, пасет стадо, только не коз,— а помощников; точно квартирою водворен он; лаборанты, студенты, работающие у него, все — вернейшие посетители субботников Зографа, танцующие с дочерями его,— всем есть место в музее; стиль — очень семейственный, стиль благодушный; чаек с колбасой, с белым хлебом, с шутчонками, с кряканьем, с полулиберальным умолком и с полусальным подразумеванием — в кабинете профессорском.

Встретив тебя средь шкафов, фавн-профессор, коли персонально не знает тебя, на вороний свой нос нацепивши пенснэ, оглядит хитро-ласковыми, подозрительно как-то злыми черневшими глазками, первый поклонится:

— Имею честь?..

— Интересуетесь?

— Не могу ли служить?

Чем же ты, неизвестный, снискал дружелюбие? И невдомек посетителю: там, в кабинете, при лаборантах, при «Юре», сынке, будет анекдотически передана мимолетная встреча с почтенной персоной почтенной персоны; будет замечен наряд; разговор мимолетный обидно весьма истолкуется; а при встречах с тобой та же ласковость.

Ложка с дегтем, опущенная в медовую бочку,— все, связанное с профессором Зографом, мне синтезировано в восприятии этом.

Некрупного роста, но плотный, с заостренною бородкою цвета воронова крыла, и с такого же цвета глазами, с прямыми и жидковатыми волосами, лишь кажущийся моложавым (коли приглядеться, то старообразный), с болезненно белым оттенком лица без морщин (коли вглядеться — морщины), он — вылитый грек, Зографаки: не Зограф; но основное его выражение — хитрая ласковость;

в нос вороний сморкался и прищуриваясь двумя глазками зоркими, злыми, в то время как рот добродушно кривлен, громко крякая фальцетто; пресахарный (пресахариновый,— может быть).

Первое впечатление первой лекции: Зограф, шутник интересный, читает не зоологию, а препикантными, разукрашенными фактиками перед нами жонглирует; преинтересно! А в целое как-то не свяжешь; напоминает он грека-лавочника, средь палаток базарных палатку свою разбивающего и старающегося перекричать весь торгующий ряд:

— Ко мне... Все, что угодно, здесь есть... На всякий вкус... Первый сорт... Сифонофоры...[33] Теория Бючли...[34] Коли не интересно, так покажу сейчас рог носорожий: его соляной кислотой обольешь — зашипит... Кто раскусит, в чем соль?.. Вы что улыбаетесь? Вы, может быть, интересуетесь инфузориями? Могу: всякие есть — и рогатые, и усатые; корненожками торгую... Уподобляюсь моллюскам...

И тут же, на кафедре, для завлечения внимания студентов, показывает моллюска:

— Представьте, что полы моего сюртука срослись с телом; вот мантия вам.

Раз, увлекшись, слащавым фальцетто с недобрыми глазками он прокричал:

— Представьте же себе, что пред вами я рассыпаюся прахом.

Коротко говоря: читал плохо; но завлекал первокурсников громким подбором дешевых эффектов; и иногда — неприличий; первые месяцы нам эта яркость бросалась в глаза; Тихомиров — абстрактен; для Мензбира надо внимание; наоборот же — при фактах плакатных, пленяющих воображение новичков, и сусало сходило за золото; синька ж — лазурью казалась; и главное, ведь у Мензбира не было занятий при курсе; у Зографа, дарвиниста, показывавшего нам фокусы трансформизма,— эти занятия были; и главное: он согревал на груди у себя интерес: к рыбам, так к рыбам; к червям, так к червям; и давал возможность: устроиться, иметь помещение и собственный микроскоп.

Правда, оказывалось: обзаведясь микроскопом, ты ждал направленья работе своей; вместо этого: тебя звали посмеиваться с профессором за чайком; и порою над тем, к чему сердце лежало; тебя звали: бывать на субботниках, оказывать внимание семейству профессора: принятый

в дом,— сын родной! А с другой стороны, намекалось уже, что ты — служащий, имеющий преимущества (клетку и микроскоп), что впереди тебя ждут обязанности к профессору-покровителю; первоначальные твои интересы, согретые грудью профессора, делались: неинтересом профессора: делай, что хочешь, как хочешь, а указаний — не будет; будет разве чаек, да прибаутки, порой очень злые по адресу: Мензбира или Шимкевича, конкурента Зографа по учебнику; так выяснилось: пора оставить романтику интереса к теориям, принципиальным вопросам; и работать так, как Зограф работал, как требовал он, чтоб работали (всей интонацией злобной): окрашивать метиленовой синькою иль осмиевым препаратом какой-нибудь усик: год красить, два красить, три красить; разглядывать, вести дневник зарисовок,— без вывода, плана, толку (принципиальных работ, двигающих науку, профессор терпеть не мог); просто, спокойно; не нужно домыслов; прокрась себе усик лет шесть; «материалы» к естественнонаучному изучению будут; открытий — не надо; и материалы ошибок — все же есть материалы: кто там разберет? Кто сидел над окраскою «Нина грациенс», паразита, водящегося в кишечнике таракана? Никто; коли напутал,— тебя не проверят; с выводами неудобно: подымется полемика; вздумают проверить ошибки твои, скандалящие «школу Зографа».

Мне профессор Анучин, с восторгом схватяся за нос, подморгнул: в антропологической работе профессора Зографа, измерявшего кого-то, статистика измерений выявила чудовищность: измеренные руки в опущенном виде не совпадали с самими собою в горизонтальном вытянутом положении, вырастая и убавляясь не то на собственную треть, не то на четверть.

Зограф силился формировать кадр весьма примитивных студентов, одушевленных сидением и собиранием материалов, способных стать раковыми опухолями на организме науки.

Пленение Зографом первокурсников фактиками и гремием у себя на груди романтических интересов к науке (каких угодно!) виделось действием грека-торговца, ставящего на лотке, под глаз, лопающиеся от сока персики, в мешок же сующего зеленеющую кисль.

Читал неинтересно, рассыпчато, дешево, крася своим каламбуриком факты (линючие краски).

Этот хитрый профессор был первым моим, так сказать, покровителем.

Произошло это так:

Я работал в музее у Н. В. Богоявленского (практические занятия первокурсников) и посещал семинарии Зографа; семинарии заключались в следующем: кто-нибудь из студентов, усаживаясь рядом с Зографом, делал устную сводку по беспозвоночным; мне достались «простейшие»; вскоре, после моего реферата на семинарии Умова, ко мне подошел брюнетик-студент и представился:

— Зограф.

Это был сын профессора.

«Юра» Зограф упорно оказывался среди нас; так мы стали товарищами; он усиленно звал по субботам к себе; так встретился с профессором и с его зоологическим кружком молодых ученых (Беккером, Грациановым, Кивокурцевым, Н. В. Богоявленским); с этого посещения возникло общение; через сына он знал о моих интересах к проблеме клетки и ткани: стал снабжать меня книгами из собственной библиотеки; к своему реферату о «мезозоа» имел я в распоряжении специальнейший материал; после этого реферата профессор стал мне открывать перспективы работы моей у него; с начала второго курса он даст инструмент и отдельную клетку: мы-де заработаем в теплом соседстве с сыном его, Юрой, и с однокурсниками, введенными в наш кружок: Воронковым и Гиндзе; не зная еще стиля работы при Зографе, я был в восторге; и на столе у меня появилися великолепные томы зоологической серии Ива Деляжа (том «простейших», том «целентерат» и так далее);[35] будущее представлялось радужным; и настоящее радовало; дружба с «Юрой», Зоологический музей, квартира профессора.

Темные пятна выплыли скоро, когда обнаружилось на журфиксе профессора, что я — горою за Брюсова, Врубеля и Метерлинка; я помню смущение паствы профессора, когда я поднял перчатку его в виде злого смешечка: с тех пор появились какие-то доброзлобные отношения меж нами; фавническим козлитоном каким-то подшучивал он надо мной; на журфиксах я ближе узнал интереснейшего, чуткого к искусству Н. В. Богоявленского, с которым мы сходились на Врубеле; мои «вкусы» еще не мешали профессору, пока я был первокурсником; а с начала второго курса добровидные побадывания меня Зографом приняли ожесточенный характер: он, по-видимому, побаивался моего влияния на сына.

Получив свою клетку и обосновавшись в музее, не знал я: что делать? Ни тебе «простейших», ни указаний, ни плана работ; сложа руки, сиди иль всецело отдайся отцу-

покровителю: он тебе усик жучиный покажет; сиди, методически крась, разрезай, нюхай — до окончания университета; и главное, не приставай с теоретическими интересами; ведь в порядочной научной семье есть свой тон; нарушать его не полагается: так средь «овец» препослушных, пасомых профессором, я оказался волчонком в овчарне; свист змеиный сквозь ласковость внешнюю явно теперь излетал из хихика; а я получил впечатление, будто рука моя протянулась за грецким орехом: разгрыз его: вместо ядра — одна горькая гниль.

Зограф мне стал неприятен: и я наблюдал удивительную завистливую пустоту, суетливую мелочность всех выявлений патрона; особенно было противно увидеть гонение на превосходный учебник Шимкевича[36], вышедший вместе с огромным болтливым учебником Зографа;[37] нас заставляли работать по Зографу: протестовал я, крича:

— Превосходный учебник Шимкевича: очень удобно работать, имея его под руками.

Все — кончено.

«Декадентство» еще мне прощалось: похвалы же Шимкевичу Зограф не вынес; в ответ вырывались на лекциях Зографа злые сарказмы «о некоторых, которые» увлекаются Метерлинком; после же лекций с особой слащавостью разложившегося чернослива профессор обращался ко мне с преласковеньким фальцетто:

— Борис Николаевич,— как?

В этой ласковости было что-то несносное; я же думал: да, ласков, но потому, что отец мой — декан!

Я подумал и бросил свою привилегию, клетку, в вороний нос Зографа; увы,— у Мензбира не было уже рабочих мест; изгнанный из музея, ютился он тесно; и очередь на рабочее место огромна была; так я стал беспризорным; так интересы к «простейшим» без микроскопа оказывались интересом впустую (а к чистке кишечников я испытывал равнодушие); я понял, что авантюра моя с зоологией, предостережение — не забывать восьмилетки: «естественный факультет,— думал я,— предварение к занятиям философией».

Увлекшися «простейшими», я это забыл: но если бы продолжал увлекаться биологией, то оказался б в тяжелом самопротиворечии, оставленный при университете, с неизжитыми художественными и философскими наклонностями.

И я сосредоточил внимание на химии, но уже не как специалист, а как просто изучающий метод работы

для своего плана: естественное отделение факультета без практики — нуль; химия оказалась мне практикой для теории моего прохождения предметов.

3. ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория — место встреч, подачи заявлений (там находилося субинспекторское отделение), чаек (в раздевальне швейцар открыл чайную), непередаваемый запах: не то леденцов, не то медикаментов, иль равнодействующая из воней (изонитрилы воняли тухлятиной рыбной) и ароматов (эфиры); бело-серое двухэтажное здание: справа — дверь в субинспекторскую; слева — малый прилавок с колбасами и калачами; кипит самовар: за столом сидит растерзанный химик; пара и тройка, назначившие друг другу свиданье, покуривают; вверх две ступеньки, ведут в полукружие коридора: направо, налево; налево аудитория и лаборатория качественников, кабинет Зелинского и ветвление коридоров, с лестницами вверх и вниз (в темноту подвального помещения, где работают специалисты, где комнаты с приборами, стеклами, где стеклодув выдувает стеклянные колбы и где студенты-органики дуют себе для забавы колбченки); коридор направо уводит под лестницу, бегущую вверх, где помещение для органиков, количественников, и специальные, как-то: комната для приготовления воней, с открытою форточкой; я там корпел над ужаснейшим веществом; и не мог вещества приготовить: исплакался весь, исчихался (эфир обдирал горло, легкие, нос); и оттуда ход на площадку (на крыше), где вони отборные в небо взлетали.

Потом перестроили лабораторию.

В коридоре — шубы, пальто, тужурки и фартуки.

Здесь первокурсником браживал я с волосатым студентом, Н. Сусловым, проповедуя нормы эстетики, и еще в помещения внутренние не проникая.

Периодическая система элементов меня увлекала, а не лекции по неорганической химии, открякhтываемые Александром Павловичем Сабанеевым; он удивлял в годы детства своею огромною, рыжею бородою и статностью роста; и я не понимал: как, обладая такой бородой и сложением, он не поколотит Марковникова: теперь, ставши худым и седым, он забавлял ситуациями, происходящими между ним и его лаборантом Григорием Дмитриевичем Волконским; Григорий Дмитриевич имел странный вид; он яв-

лялся в дверях так, как будто он прыгал чрез обруч, заклеенный папиросной бумагою; и нас, и себя самого озадачив таким появленьем, сидел оголтелый; вид не соответствовал неглупым высказываниям: вид шутника; и ходил он в гороховом; желтая бородка, огромный обветренный, криво заостренный нос; коричневатые щеки; движенья — нелепые; перед каждою фразою некое нечленораздельное высказывание организма, напоминающее — начало ослиного вскрика (полувзрев, полувсхлип); и не знаешь, бывало, смеяться иль плакать; иронизировал он или жаловался — не уловишь: демонстрировал колкостями против ректора и попечителя (он был прогрессивен); и то, что высказывал, было — толково и едко.

Он вечно спешил, прибегая испуганно с шапкой в руке, никогда не садясь, лишь присаживаясь, вскакивая, чтоб, пересевши к кому-нибудь, громко всплакнув иль взревев, унестися с несчастнейшим видом, не соответствовавшим наблюдательному остроумию; вид — мистера Дикка, героя Диккенса;[38] жесты — шута; содержание слов — саркастическое.

Редчайшее несоответствие между словом и жестом; купался же до коры ледяной; говорил всем он ты: половину профессорской молодежи он вынянчил; можно было подумать: хитрец; был — добряк и простяк; отличался редчайшей способностью перепутывать все на лекции Сабанеева неудачным показыванием химических опытов; стоял на лекциях по правую руку профессора, толок смеси, вертяся и взрывая под носом его; мы ждали обычного добродушного крика профессорского:

— Ну же, Григорий Дмитриевич!

Григорий Дмитриевич, подпрыгивая и всериоз развозяся, в гороховом всем, нас оглядывал с торжеством (вот покажет), бросался поджечь что-нибудь; и — не было взрыва, коль взрыв был в программе; но разлеталася вдребезги колба с ужаснейшим грохотом, коли в программе следовала тихая реакция; забрызганный жидкостью Сабанеев в бессильной досаде бросался к своему лаборанту и замирал; то ж проделывал и Григорий Дмитриевич в отношении к профессору, глядя на него укоризненно:

— Я же говорил: вы сами видите?

И между ними под нашу бурную радость открывалась всегда крылатая перебранка:

— Эка!..

— Сами вы!..

— Тем не менее... однако ж...

Не сразу возобновлялася лекция; лаборант и профессор обиженно подставляли друг другу спины; минут через пятнадцать согласие водворялось; Григорий Дмитриевич, выставив нос над прибором, подмигивал словам Сабанеева с невероятным сочувствием; и профессор нежнейшие взгляды бросал на него; готовились новые смеси,— до нового:

— Ну же, кхе-кхе, Григорий Дмитриевич,— и жест к нам:— Хотя я, кхе-кхе, смешиваю оба раствора, кхе-кхе, тем не менее... однако ж... Ну что же? Григорий Дмитриевич?

Григорий же Дмитриевич с неожиданным вовсе, с ослиным подревом:

— Нет фосфора, Александр Павлович!

И оба, профессор и лаборант, бросив лекцию, опять начинали метаться и бегать, отыскивая пропавшие реактивы; они находились; профессор, оглядывая нас, покряхтывал:

— Тем не менее...

— Однако...

— Же...

Вместо простого «однако» — «тем не менее однако же».

Коль удавалась реакция (случай редчайший!) — о, как сиял Сабанеев! Волконский оглядывал нас Наполеоном.

В лаборатории он казался беспроким; но был очень «проким» в Большом театре, заведуя там пиротехническими фокус-покусами,— вроде творения «огней» при «Валькирии», или устраивал пожары Вальгаллы;[39] и, может быть, производил искусственный гром. Думается, был пиротехник скорее, чем химик; но химию где-то преподавал; даже составил учебник: судя по склонностям, мог бы увлечься пусканием змеев и конкурировать с диккенсовским змеепускателем, мистером Дикком; относить это нужно лишь к форме занятий, а не к содержанию: мистер Дикк влагал в дело свое очень странную мысль.

Александр Павлович лаборатории изменял с... рыболовством; и в союзе с солдатом химическим проводил все свободные дни на реке, перед удочкой; очень любил жену свою, его потчевавшую сладчайшими булочками.

И продружил лет он тридцать с Волконским; бурные объясненья на лекциях не изменяли сердечнейших отношений меж ними...

Вот и все, чем означился курс Сабанеева; да — вот еще: удивил на экзамене; можно быть добрым, но — все же не столь; можно явно подсказывать, но — не рассказывать за студентов билеты: себе самому.

— «А не знаете ль формулы серной... кхе... кхе... кислоты?»

И сейчас же: себе самому же:

— Аш два... Эс... кхе... О... четыре. Прекрасно!

И так же забавен был семинарий по химии у Сабанеева; его вел мой старинный знакомец: еще поливановцем помню его; Алексея Сергеевича Усова, сына крестного отца, сабанеевского лаборанта, прекраснейшего Гогенштауфена, по завереньям Лясковской, в лаборатории было найти невозможно; он отсутствовал; являлся же — раз в неделю: на час; и — опаздывал; длинный, всегда с перепугу моргающий под очками, с перепугу на нас не глядящий, а мимо, вспыхивая от стыда, как псаломщик, отбарабанивал коломенскою верстою задачку, просто считывая ее с бумажки при записывании на доску; записав, остолбеневал, не садился; ужасно блистал очками; мы тотчас сбегались к нему, и просили упорнейше разъяснений, которые очень охотно давал: и — исчерпывающие! Решения списывались с его слов; их собравши, совал в боковой свой карман, поворачивался; и — удалялся: до следующего понедельника.

Несколько решенных задач означали: зачет.

«Сабанеевцы» все — чудаки: рыболов Александр Павлович, пиротехник Волконский, да Усов, Алеша, руководили познаниями в очень крупном отделе крупнейшей науки; если бы не Реформатский и не «Основы химии»[40],— то вместо неорганической химии в голове завелась бы пустая дыра.

Какой же контраст с молодцами-«зелинцами»! Прекрасные спецы, до корня владеющие предметом: Наумов, Зернов, Дорошевский, Крапивин, Шилов, Кижнер; и — прочие.

Ассистенты профессоров являли контраст; Волконский и Шилов: прыгающий, взревывающий, разбивающий склянки,— и чистенький, чопорный, аккуратнейший молодой человек, производящий немо сложнейшие и порою опасные манипуляции: ни склянки разбитой, ни порошочка рассыпанного; Зелинский и не посмотрит на ассистента; плечом поведет лишь:

— Готово?

И — шепот Шилова.

Кончено: реакция проведена.

Пролетающий лабораторным коридором (с урока в театр) носолобый Волконский; и над огромным прибором в профессорском кабинете гибеющий Шилов.

Разделение стилей между «органиками» и «неорганиками» простиралось на служителей; служителя Сабанеева,— добродушные, растяпые, неряшливые, мне казались скорей рыболовами, затащенными случайно с реки в эти научные недра; а служитель Зелинского, обслуживающий его кабинет,— интеллигентный поляк, очень-очень подтянутый, выбритый и радикально настроенный, производил впечатление лаборанта.

Профессор Николай Дмитриевич Зелинский читал нам курсы по качественному и количественному анализам, а также по органической химии; если лекции Сабанеева стояли под знаками благодушия и отсебятины, то постановка лабораторных занятий Зелинского стояла под знаком высокой, научной культуры; Зелинский являл тип профессора, приподымавшего преподавание до высотных аванпостов науки: тип «немецкого» ученого в прекраснейшем смысле; не будучи весьма блестящим, был лектор толковый, задумчивый, обстоятельный; многообразие формул, рябящее память, давал в расчленении так, что они, как система, живут до сих пор красотой и изяществом; классификационный план, вдумчиво упраздняющий запоминание, был продуман; держа в голове его, мы научились осмысливать, а не вызубривать; вывести формулу, вот чему он нас учил; забыть: это не важно; забытое вырастет из ствола схем, как листва, облетающая и опять расцветающая, от легчайшего прикосновенья к конспекту.

Знания формул не требовал: требовал — сметки; умения вывести формулу; и ответить ему — значило: только подумать химически, оживить в сознании путь выведения формул; а сбиться в деталях — неважно: тут шел он навстречу процессу мысли, но — при условии, что процесс этот был; не знать — значило: под неумелым карандашиком в цепях превращения углеводородных ядер являлся эфир, не кетон; это и означало: не знать.

Факт смешения формул двух смежно лежащих кетонов — его не сердил.

Он знакомил с процессом сложения и распадения, как с диалектикой; ритмы же метаморфозы вводил он прекрасно в сознание наше; продукты метаморфозы, иль формулы, взятые памятью, менее интересовали его; лекции Мензбира — художественные гравюры, где линии фактов слагали осмысленную картину; лекции Н. Д. Зелинского выглядели пестрейшим орнаментом, запоминаемым просто: многообразие всех вариаций — изменение нескольких простых положений линейных.

Он подчеркивал и пространственную структуру (иль — стереохимию), вылепляя из красных и белых шаров, соединяемых палочками, модельки веществ (характер молекулярного соединенья атомов); структуру порою анализировал с педантичною точностью; лекции не для химиков-спецов могли показаться скучными.

Не в лекциях профессора был центр курса: в лаборатории; лекции вне занятий его — транспарант, на котором начертывались ретуши к рисунку: снимите такой лист с рисунка — штришки; наложите его на рисунке: они изменяют рисунок.

Лабораторные занятия по качественному анализу — обязательны для второкурсников; обязательность была не формальна — реальна: она отнимала не менее полугодия, максимум — год ежедневных сидений в лаборатории; курс — путеводный план при занятиях. Курсы Зелинского прочно врастали в наши лабораторные занятия; лаборатория врастала в курсы; слагалася нерасплетаемость теории с практикой; у Зелинского мы приобретали навык к работе; Мензбиру и Умову можно было сдать экзамен, и не отсиживая в их рабочих ячейках[41].

Проходя качественный анализ у Н. Д. Зелинского, мы ходили настоящими химиками пусть хоть месяц; вне этого не могли сдать зачета; он мягко, но твердо гнал нас сквозь химический строй; в воспитании умения хоть немного понюхать научного пороха огромная заслуга профессора.

Курс его был: курс плюс практические занятия; и центр — в последних.

Весьма спокойный, весьма деловитый, весьма обстоятельный лектор, студенту с налета казался он скучным, опутанный кружевом связанных формулок, метаморфозу свершающих; для посещающих лекции он вытыкал препестрейший как будто персидский ковер на пространстве двух лет; таким ценным и цельным ковром, убедительным очень в деталях орнамента, и по сию пору остается мне курс органической химии; к Зелинскому подходили слова:

«По делам судят».

Скромное слово его обстоятельных лекций свершало культурную миссию в наших сознаниях.

Все, работавшие у Зелинского, увлекались задачами, лабораторной техникой, лабораторией, где мы в хорошем значении слова представлялись себе в отношении срока работ и количества их; хоть дана была норма не маленькая, но успешные могли удвоить, утроить ее; никто не препятствовал, не торопил или не замедлял, не окидывал

нас оком следователя: посещаем, не посещаем ли лабораторию; учет велся; задача была регистрирована; но стиль прохожденья учебы был нам дружелюбный: и отношения между профессором, нами, его лаборантами в целом прекрасно слагались; лаборатория становилася домом, куда нас влекло.

Каждый за год должен был пройти совершенно конкретную школу; и минимум требований ее в отношении к требованиям других семинариев был, конечно же, максимумом.

Практические занятия по качественному анализу можно было окончить в два месяца; можно было окончить их в семь: управляйся, как знаешь; в течение года легко проходился курс лабораторных занятий, отнимая в день часа три; при прохождении быстром количество часов увеличивалось; и иные отсиживали с девяти и до четырех, бросив лекции; так иль иначе,— анализ усваивали: разбирались в уменьи работать над отделеньем веществ; лаборанты Зелинского оказывали помощь; но студентам в рот знаний не клали; мы сами осиливали ряд задач от простейших до сложных; мы получали свой стол, шкапчик с необходимыми веществами и инвентарь орудий работы (более специальные находилися в общем пользовании, вытребовались у служителя, получались у лаборанта); студент поступал в переплетение комнат, учился пользоваться приборами, работал то у себя на столе, то под вытяжным шкафом, то в сероводородной комнате; он выучивался и технике работы (до некоторой степени), и той руке, без которой не обойдешься, и сметке, которую не вычитаешь из книги: умению поступать не по букве учебника, а и по собственному соображению; он узнавал, что на практике нет идеальной реакции, что в московской воде найдет кальций, которого ему не всыпали, и что цианистый калий, которым он пользуется, скорее уксуснокислый калий от разложенья на воздухе.

Кроме умения расчленить ряд процессов в картину последовательного исследования веществ, надо было уметь научиться: приборам, руке, экономии места и времени, да и поправкам на портящиеся реактивы, которыми пользовались; из всего вытекал ряд конкретных узнаний: качественного анализа не проходили,— проделывали его сами. Каждый должен был проделать до сорока, не менее, задач на определенье металлов и металлоидов. Задача получалась от лаборанта; ему ж и сдавалась. Два раза Зелинский давал сам задачу (каждому из студентов): одну

на металлоиды, другую на металлы и металлоиды; сам составлял смесь, передавая ее студенту; определив ее, студент шел в молчаливейший кабинет, обставленный тканью приборов, где работал профессор со своим ассистентом; здесь студент и давал подробнейший отчет: что нашел, как искал; по форме это была непринужденная и скорее дружеская беседа с профессором, мягко идущим навстречу, готовым помочь; как-то не замечалось: у всякого другого профессора это был бы свирепый экзамен; а у Зелинского экзамен не казался экзаменом оттого, что студент в уровне знания и уменья понять стоял выше уровня требований по другим предметам; и мягкий профессор системою постановки работ крутовато подвинчивал: ведь бросали ж другие предметы для лаборатории; гибение не погибельно было,— весьма интересно; сорок задач, под бременем которых в другом случае восстонали бы мы, проходили цветистою лентой весьма интересных заданий с сюрпризами, устраиваемыми веществами; только, бывало, и слышалось:

«Черт... я прилил соляной, а он не растворился... я в него всыпал, знаешь ли...»

Или:

«Нагнулся я под вытяжной шкаф, а меня как ударит в нос горькими миндалями».

Качественный анализ проходился нами, как приключение европейца, попавшего в дебри леса и убившего там бизона вполне неожиданно.

Кончив университет, вспоминали:

«А помните, как работали в лаборатории?..»

Лабораторная жизнь была жизнь, чреватая впечатлениями, опасениями, радостями: «жизнь», а вовсе не отбывание зачета; чувствовалась умелая мягко-строгая рука Зелинского; и требовательный экзамен-зачет проходил незаметно; не режущим, а дружелюбно внимающим казался Зелинский.

Он выжимал из нас знание, а мы не вызубривали; готовиться к экзамену у него нам порою казалось нелепостью: готовились в лаборатории, в ежедневных буднях, которыми с мягкой настойчивостью обставлял он нас всех; принужденья ж не чувствовали; химию знали лучше других предметов; если бы другие профессора умели присаживать так к прохожденью предмета, то средний уровень знаний повысился бы.

Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко державший преподавание,— таким видится Николай Дмитриевич.

Высокий, прямой, с закинутой головой, отчего над спиною сияла почтенная лысина, с длинными мягкими вьющимися каштановыми волосами почти до плеч и с окладистой бородой (после — стриженной удлиненною эспаньолкой), прямоносый, с мягкими усами, с большими, умными глазами, весьма обведенными синевой, приятно бледный,— неслышно он шел коридорами иль между рядом приборов, порой останавливаясь и разговаривая очень тихо; точно шел он пространствами древнего храма; но в оттенке торжественности позы не было; это была торжественность про себя: от сознания культурного дела, творимого здесь.

Он был красив тишайшей научной думой: и внешним обраэом производил приятное впечатление: правильные черты лица, очень сдержанные манеры, безукоризненная серая или желтоватая, чисто сшитая пара; кругом настоящими охальниками и выглядывали, и выскакивали студенты, на него натыкаясь; чумазые, разъерошенные лаборанты, черт знает в чем, с прожженными пиджаками, с носами какого-то сизо-розового оттенка (от едких запахов — что ли) его окружали; он, тоже работающий, поражал чистотою, опрятностью и неспешкой инспекторского прохода по комнатам; являясь на лекцию, тихим и мягко приятнейшим баритоном с грудным придыханием певуче вытягивал на доске «альдегидные» цепи свои; так же тихо он объяснялся с тем, с этим.

Когда проходил, то мы естественно присмиревали; праздно не обращались к нему, хоть не требовал он пиетета.

Тишина в нем жила от мысли и пиетета к высокому научному учреждению; в соединении с большою культурностью и с повышенным чувством такта она окружала Зелинского непередаваемой атмосферою.

Неся решение им данной задачи в профессорский кабинет, тихий, большой и опрятный, мы переступали порог кабинета, как переступают исповедальню; из тени поднималась навстречу большая, кудрявая голова, с полосой чисто вымытой лысины, выступало бледное, несколько измученное лицо; и тихий, чуть заикающийся тенор, могущий пропеть баритоном, конфиденциально выспрашивал:

— Ну? Что в...в...в...вы нашли?

Начиналася исповедь, которая и была экзаменом по анализу; вышедшие из кабинета с зачетом на действительном экзамене не спрашивались, а лишь вызывались: про-

фессор, справившись с записною книжечкою, выставлял оценку зачета; студент отпускался.

Не-химик, как-то вполне незаметно пройдя анализ, я заработал по анализам весовому, объемному (у ассистента Зелинского — Дорошевского); даже попал в лабораторию по органической химии, сдавши экзамен (в размере государственного) на третьем курсе (на государственном отделался пятиминутной беседою); и оказался в маленькой группе органиков, работавших в тихом, просторнейшем помещении, обладателем каких угодно приборов, хозяином времени; почти — лабораторным жильцом.

И здесь редкое пересечение комнат скорбною фигурой Зелинского, величественно нам сиявшего лысиной, напоминало явление тени отца в трагедии «Гамлет» атмосферою некоторой робости, которую он, не запугивающий, внушал, потому что зоркий взгляд будто не видящих глаз, обведенных явною синевою, все видел, не глядя; и как только студент оказывал талант или сметку, профессор Зелинский уж веял около него, как безмолвная тень; дело кончалось порой похищеньем студента, как Прозерпины, сим скорбным Плутоном: студент провалился с Зелинским в тартарары, как случилося это с Петровским, хорошим химиком, главное, техником, набившим руку и развившим нюх к ведению сложных процессов, который отсутствовал у меня; как пронюхал Зелинский о нюхе Петровского, одного из двухсот, работающих в помещении, куда Зелинский и не заглядывал,— неизвестно: наверное, учуял из недр своего тихого и пустынного кабинета; в один прекрасный день второкурсник Петровский исчез; я нашел его в темном подвале, где в уединенье и мраке, слегка озаряемом лишь горелкою, стал он варить и кипучие, и вонючие смеси профессору, отбиравшему хороших работников и заставлявшему их вести опыты для себя; так студенты временно становились в прямое сотрудничество с Николаем Дмитриевичем.

Позднее А. С. Петровский, прекрасный химик, потерял вкус к работам, мечтая о курсах, не имеющих к химии ни малейшего отношения (о курсе еврейского языка и т. д.); Зелинский не принуждал; но помнил работы случайных сотрудников; встретившись с Николаем Дмитриевичем у знакомых уже в двадцать четвертом году, я весьма удивился, когда он, вспомнив об А. С. Петровском, обратился ко мне с просьбою, чтобы Петровский дал ему какое-то

нужное ему сведение о процессах работы, веденной двадцать четыре года назад.

Зоркость и знание мелочей, составляющих лабораторную жизнь, внушали не страх, а невольное уважение перед хозяином лаборатории, тихо пересекавшим ее во всех направлениях. Изредка он устраивал трюки; даст вовсе бесцветный раствор: решаешь, решаешь,— и нет ничего.

— Что нашли?

— Ничего не нашел.

— Как ничего?

— Ничего.

— Позвольте, да что же у вас в колбе?

— Вода!

— А разве вода ничто?

Профессора знал я с детства; был таким же тихим, опрятным и бледным, с удлиненным лицом; длинноволосый и длиннобородый; он появлялся к отцу горько жаловаться на притесненья Марковникова; но в жалобах слышалось много достоинства; и — мягкой твердости; мог же он быть непреклонным: но не было в нем никаких скачков; педаль нажималася мягко.

Окончив университет, я встречался с Зелинским: в концертах, в театрах; он — не замыкался в своей специальности; у него был живой интерес и к культуре искусств, и к общественности; мы встретились с ним в Берлине, в 1922 году; и вместе обедали в ресторане, вспоминая знакомых, «органиков» моего времени; он стал седым; в чертах лица проступила мягкость и доброст, венцом седины, точно лавром, покрывая жизнь.

Будучи «органиком», видывал и великого притеснителя профессоров Сабанеева и Зелинского, чьи работы об углеводородах приобрели мировую известность; разверзнется дверь в помещение «органиков»: черная пасть коридора, в которую не ныряли —«зелинцы», зияет; нырять в лабиринт этот темный, откуда глухое стенание Минотавра доносится, страшно; в пороге с обнюхивающим видом стоит Минотавр, лоб кровавый наставив, глазенки метая на нас,— в меховой рыжей шапке, в огромнейших ботиках.

Это — Марковников.

До моего появления в лаборатории Марковников с дикой толпою «буянов» врывался к Зелинскому; комната, в которой свинчивали комбинации колб, холодильников, трубочек разных калибров с ретортою, была общею; мень-

шая часть отдавалась Марковникову, а большая — Зелинскому; двери с противоположных сторон уводили: к Зелинскому, переполняющему помещение духом Европы, и в «недра», вполне неизвестные мне, где, казалося, «леший бродил»;[42] студенты и лаборанты Зелинского с большим страхом проюркивали коридором: там — комната; в ней гнездился Марковников, изредка лишь вылезая, чтоб стать у порога или с бурчаньем и фырком обходить своих студентов: звуки, напоминающие жизнь тапира, казались сердитыми, при близком же знакомстве с пугающим их обладателем оказывались фырканьем добрым; профессор Марковников шутками «своих» веселил; «чужие» ж, мы, слышали рявки, не понимая, за что марковниковцы любят своего ужасного «генерала»; они называли его «генералом», вполне позволяя кидаться ему на себя, их обругивать, замахиваться железной горелкою; но сдачи давали ему; на него и кричали, и топали: стиль там простецкий господствовал; уверяли: Марковников — очень сердечный крикун и буян; обижаться нельзя, если он нецензурным словечком огреет,— а можно дать сдачн; умел он обласкивать: соскакивал с «пьедестала», едва ль не засучивая кулаки; а Зелинский умел свою хладную мягкость нести угрожающе.

Два темперамента! Понятно: в линии касания сфер явления атмосферы разражались образованием бурных осадков в виде студентов-марковниковцев, вооруженных горелками и отнимающих силой столы у «зелинцев», после чего начиналась история, длящаяся годами.

В мое время уж не было славных боев; впечатление от «генерала» стабилизировалось: распахнется дверь черным отверстьем, и явится бегемотоподобный старик с баклажанного цвета лицом, обвисающим белыми с желтизною косыми какими-то бачками; маленькие глазеночки мечутся над повисающими глазными мешками; пофыркивает как-то: милостиво-разъяренно; одутловатое лицо таит взрыв: не то шуткою выпалит, а не то изругает; одутловатый, приземистый, в серой поношенной паре, в огромнейшей шапке и в каменных ботиках, постоит, помолчит, посопит; и вдруг рот раскривится; студенту мигнет, повернется и, еле передвигая ноги, уйдет в коридор.

Сравнительно редко в лаборатории появлялся высокий, румяный, красивый и крепкий А. Н. Реформатский, тогда лишь доцент, популярнейший лектор у нас и на курсах,

спешащий на лекции и не ведущий работ; он видится мне залетной кометою; было странно наткнуться на примостившегося наспех с прибором А. Н. в сюртуке, с полотенцем, с горелкой; иные расставят сооруженья приборов: стоят они месяцами; их маленький обладатель юркает около и примелькивается нам до того, что, исчезнув порой на неделю, все видится: а прибор ожидает его; и уж знают: прибор этот — Кижнера; тот — Чичибабина; Реформатский — влетит, сымпровизирует какое-то легкомыслие, неуютно поставленное на юру, торопливо поводит горелкою, колбу свою нагревая,— и нет Реформатского; нет и прибора; не то что иные приборы, казавшиеся неугасимой лампадой; и обладатель исчез, а все пламя пылает; и булькает что-то, и пришепетывает; так врезается в месяцах кижнеровский неугасимый прибор: точно жертвенник, пламя свое поднимающий.

Так вот,— начал я с Александра Николаевича, а свернул — к Кижнеру; след простыл первого, а на второго — наткнулся: в который раз. Кижнеровский прибор зажил самопроизвольною жизнью, уже не нуждаяся в Кижнере; ночью кипит себе; Кижнера даже не видишь: он стал транспартировать; вовсе невидимый, потому что прибор примелькавшийся — Кижнер и есть: туловище — холодильник; а голова — реторта, наверное, испаряющая исследование, просеку вырубающее; мы, студенты, имели нюх; чувствовали по разрастанью прибора — рост мыслей; иной начнет с маленького; глядь,— посиживает верхом на паяльном приборе и трубки стеклянные гнет; стеклодув ему дует в подвале гигантскую колбищу; глядь, прибор вдвое: разъехался; и на второй уже стол переехал: явилась сложнейшая сеть из коленчатых трубочек с вставленным хлористым кальцием; появилась стеклянная палка термометра; и, как паук, Кижнер ткал свою стеклянную паутину; а самого — не видать; года два натыкался на лысого, рыжего, странно розового (бело-бледный: по середине щек — пятна), очкастого человека, одетого черт знает как: в чем-то рыже-засаленном и пережженном; он обнаруживался нелепо у брома, в подвале, в проходе; толкнешь его здесь, там наткнешься; он не человек, а немой инвентарь.

— Кто это?

— Кижнер.

Тогда еще я просовывал нос в его специальнейшую работу «О строении гексагидробензола»;[43] его же я знал по прибору, лепечущему здесь неделями; а человека под ним

не приметил; уверен: введи-ка в переднюю лаборатории бабу-ягу, поведет она носом и скажет:

«Здесь Кижнера дух: гексагидробензолом здесь пахнет»[44].

В мое время лаборатория во многом становилась какою-то «кижнерицею», а Кижнера — нет; тот насвистывает, этот голос подает; Кижнер — вовсе немой; проявляет себя разве тем, что толкнешь его локтем в проходе, в ответ оплеуху получишь его полотенца, с плеча развевающегося: оголтелый взгляд малых, безвеких, моргающих голубеньких глазок, точно головки притертых двух пробочек, красненький носик, очки, рыжий растреп бороденочки, кругловатая лысинка: часть собственного прибора, толкающаяся алогично — у бромовой банки, при которой чихаешь и кашляешь (при отливании бром ест гортань); и я думал, что Кижнер — чахоточный, брому нанюхавшийся; было бы странно узнать, что у Кижнера — дом или, боже упаси, есть жена; его дом — органическая лаборатория; жена — аппарат, с которым занимается деторождением; пеленками детей Кижнера, бензольных веществ, все, бывало, разило; недавно сравнительно мне рассказали последствия, постигшие Кижнера, от неумеренной работы над радием.

Говорю о Кижнере; а начал с А. Н. Реформатского; ассоциация по противоположности.

Оборванный, заплатанный, длинноногий Кижнер, в зеленомухрасчатом коротком пиджаченке; застегнутый на все пуговицы черного, чистого сюртука Александр Николаевич, с чистейшим полотенцем, декоративно брошенным на плечо, около вспыхнувшей случайно, в случайном месте, горелки, которой судьба на неделю угаснуть, чтобы вспыхнуть в другом помещении, точно блуждающий огонек; немой Кижнер и громкий, но редко гласящий басок Реформатского, пересекающий все помещения; черт знает каковская оправа кижнеровских очков, и золотая оправа очков Реформатского, подчеркивавшая красивый профиль, обрамленный желтоватой бородкой здорового, краснощекого очень лица; лысинка, и шапка волос; Кижнер, с которого точно срывались одежды (потом — куски пальцев, изъеденных радием); и спешащий срывать лавры А. Н.

Не сомневаюсь, что до меня — да и после — он много работал, приборы сплетая: при мне не работал, работая совсем на другом поприще: вводил в химию нас и курсисток.

Каждая наука имеет свои специальнейшие глубины, противопоставленные высочайшим принципам, которыми

владеть не умеют столь многие (чаще всего — специалисты); редчайший дар — увидеть научный ландшафт как феномен культуры; и, пережив его всячески (эстетически, философски), пропеть им в сердца толп, чтобы десятки и сотни из них двинуть в химию; мобилизация кадров научных поклонников Менделеева — специальность еще более редкая, чем специальность отсиживанья у приборов; Кижнер казался количественным синтезом: работником, равным двадцати; Реформатский казался каким-то химическим синтезом: из «Основ химии» и его дум о ней рождалась неповторимая песня, пропетая всей культурной Москве и зажегшая неугасимую лампаду огромнейшего восхищения перед ландшафтом науки, увиденном в его целом.

То, что мы получали от Умова, как песню о физике, как полет с ним над мирами Максвелла, то мы получали от Реформатского: этого мы получить не могли ни у Зелинского, ни у Сабанеева.

Он поставил в курсе периодическую систему, как некий космический, песни поющий орган; из нажимов клавишей рокотали мелодии соединений веществ, данные в ритме системы, где качественность, вес и цвет элементов рождались из места таблицы, которую понимал Реформатский как музыку; прямо с лекции этого непередаваемого химического вдохновителя я окунулся в «Основы химии» Менделеева, ставшей и мне химическим евангелием.

— «Основы химии»,— говорил Реформатский,— есть наше химическое евангелие.

И он прав: после Бора и перепроверки системы Менделеева рентгенологией она лишь окрепла.

Курс Реформатского, апостола Павла «от Менделеева», я никогда не забуду.

Среди фигур, примелькавшихся в лаборатории, помнилась встрепанная фигурка Крапивина, точно выглядывающая и подглядывающая, с пробиркой в руке, или с книжечкой, в которую, озираясь на нас из-за шкафа, он вносил что-то наспех; и вновь ускользал; как летучая мышка, писал он восьмерки, эволюируя между профессором и меж студентом; не разберешься, бывало, с кем свой, с кем чужой; все пробирку принюхивал, как алкоголик принюхивает рюмку водки, а не кислоты; преученый очкан с покусительством на анекдотик, прошептываемый меж двух шкафов: среди двух реакций: казался какою-то недоты-

комкой[45], с грубоватою прибауткой; такой фамильярный; и вдруг, разобидевшись (был обидчив), свинью подлагал, предлагая студенту приготовить подлейшую вонь.

Рассеянно и неярко мельтешившая эта фигурочка являлася фатумом: без Крапивина не проживешь в «органической»; тон панибратский не гарантировал от неприятностей, маленьких, складывающихся в большие; начнет строить мины, все выйдет подмоченным: уверенность в знании, реакция; а — ни на что не пожалуешься; та же простецкая маска, но что-то мотающая на рыжеющий ус и такую же бородку; то — неприятные для тебя, случайные жесты добрейшей, ко всем расположенной личности: бывают такие случайности; под руки скажут,— ты кокнешь термометр; перебегут дорогу в ту минуту, когда производишь ответственное измерение,— и нет измерения; дадут очень легкую работку,— но только такую вонючую, что и не в силах ты преодолеть этой вони (случайность!).

Нет, лучше персону сию обойду, объяснив впечатленья свои: «Встал ты с левой ноги: вот и кажется то, чего не было!»

Иное мое впечатленье от прохожденья количественного анализа у Дорошевского, бледного брюнета с подстриженной бородою, с печальным и умным, красивым лицом; он похаживал в серой иль светло-коричневой паре: такой опрятный; и — не шмыгал, являясь тихо и дельно: вступить в отношенья с работающими; потом удалялся, не видясь почти; не могу я сказать, чтоб работою был очарован (этот анализ был нужен для права «органиком» стать); Дорошевский пресухо давал нам взвесить порошинки: и сухо гонял перевешивать их; мы балдели часами перед чувствительными весами; Дорошевский не нажимал; и не распускал; у него был свой срок для зачета; зачет был обязателен для начальства, коли мы записывались на количественный анализ; и незачет — вписывался в формуляр как изъян; полугодие — официальное время зачета; коли начинали занятия осенью, пред рождеством надо было, хоть тресни, окончить работу.

Увлекшися осенью 1902 года писаньем «Возврата»[46], я споткнулся о часовое подвешиванье крупинок, которые становилися просто ведрами растворов; я ж, выпарив их, находил ту ж крупинку, которую снова усаживался перевешивать; смертная скука! Анализ — в ней именно: просиживанья на табурете перед весами, закрытыми колпаком

из стекла (от дыхания вес изменялся), с крупиночкой в щипчиках (прикосновение пальцем меняет вес), и с разновесочками, из которых обиднейшая — напоминающий пылиночку металлическую преязвительный «рейтер», который усаживаешь, прищемив его щипчиками на коромысло; он — валится; в поте лица водворив разновески (пройдет с полчаса), эдак с час ожидаешь, пока стрелка медленно уменьшает свои амплитуды размахов; и после — высчитываешь; надо, чтобы ошибка твоя выражалася в десятитысячных долях; коли в тысячных выразится — начинай все с начала: тебя Дорошевский прогонит; перерешаешь задачу раз пять: четкость и кропотливость,— они только спрашиваются: сообразительности — никакой; провиденциальная скука,— таков уж предмет!

Меж двух взвешиваний (данной крупинки и найденной после выпариванья) — скучнейшая, простая реакция, но ужасавшая медленностью разведения вод и выпариваний.

Я нервил, недовешивая иль перевешивая; и Дорошевский меня прогонял; совершенно отчаявшись, я убегал в чайную: и писал в уголочке «Возврат» (на бумажных клочках).

Незаметно прошло полугодие.

И — пресс зачета: зачет — обязателен; ведь *незачет* здесь есть двойка, отмеченная в формуляре; осталась неделя; уже разъезжались; лаборатория пустовала: я являлся к «весам» в половине девятого, а уходил — в семь — в восьмом; электричество сияло в пустынях сплошных: Дорошевский да я, да служитель скучающий, зло озирающий; и — никого; лишь уйди Дорошевский,— меня бы служитель сию же минуту да в шею: в часы неположенные занимался; никто ж — ничего, потому что сидел Дорошевский со мною: сообразивши, что я догоняю пропущенный срок, с деликатною мягкостью он пересиживал в лаборатории, но не давал мне понять, что держу его я: будто сам занимается; все выходил из своих помещений; печально поглядывал и печально посвистывал; под его контролем я сдал весовой анализ; и дней в пять промахал по объемному (за задачей задача).

Нет, Дорошевский нисколько мне не ослабил работы; себя он наказывал пересиживанием всех сроков со мною.

С пяти появлялся из комнаты, где он тишел, с молчаливым сочувствием перемогая мои попыхи, понимая, что девятичасовая работа над взвешиваньем и цежением капелек из титровальных приборов — досадная штука; и все

же: задач не убавил; когда цикл их кончился, — спрашивал строго в объеме предмета; поставил зачет.

Мы расстались прекрасно.

Среди химиков, с которыми приходилося дело иметь, отмечу Наумова, лаборанта Зелинского, ведшего работы по качественному анализу: небольшого росточку и с носом, оканчивающимся утолщеньем (от внюхов, — быть может?); принюхивался он к десяткам пробирок; его теребили:

— Сергей Николаевич!

— Не могу понять, — посмотрите!

— Как будто бы барий!

— Ее я разрушил и выпарил, а — посмотрите-ка!

К носу Наумова — десять пробирок всегда подымались, куда б ни пришел; он, премаленький, все-то покачивал укоризненно лысинкой, да очками поблескивал, внюхиваясь в сто пробирок. Взболтнет, и приложит к ноздре; и замрет, как собака, разрывшая норку кротиную.

— Батенька, эка вы! — и, поглядев иронически, мимо пройдет без ответа к пробирке другой; проболтнет, и приложит к ноздре.

— Что ж, — не доосадили?

И — к новой: болтнет, и принюхает.

— Пахнет-то чем?.. Четвертая группа: под сероводород ее!

Всех сто студентов за день обойдет: сто пробирок отнюхает; нос-то и пухнет; он все решал нюхом; не менее четырех тысяч задач проходили чрез его руки за сезон; каждую он сам составит, отметит, даст, примет; в процессе решения вынюхает; как укладывался хаос нюхов в носу его — не понимаю; не суетился, похаживал с полуироническим неблагодушием: с явным оттеночком злости веселой, размешанной с философическим, даже циническим скептицизмом; над малою темной бородочкой лишь припухало раздутие носа; производил впечатленье не то собутыльника, не то сурового скептика нашего «нюха», с иронией обучающего не тому, что написано в книге; написано: «То-то прилить». Приливали: осадка же — не было; жаловались: тут в Наумове радость дьявольская зажигалась:

— Так, батенька, — зубы гнилые показывал, взбадываясь носовым утолщением с иронией просто космической; и, с наслажденьем поднюхав, шел к банке; и черт знает что делал он, нарушая все правила:

— Так вы и делайте!

Только потом открывал с издевательским просто приплясом:

— Эк вы: что же в чистой воде не откроете бария разве? Да что угодно откроется: барий и кальций, и калий, и натрий; нет, вы научитеся отличать растворенное, данное, от просто почвенных примесей... химик!

И сделавши нам «длинный нос», шел довольный: принюхаться к следующему приставале.

И нас осеняло:

«Учебник учебником; соображение ж остается!»

Он с дьявольской радостью соображению обучал, нам подрявкивая:

— А вы всыпьте-ка втрое больше указанной порции: с кислотцой проболтните!

Учебник об этом — молчал!

Казалось: Сергей Николаевич действовал *нюхом* — не правилом вовсе; его глазомер и рука удивительны были (и вешать не надо!).

Сразивши студента вполне небреженьем к учебнику, он, полотенце закинув, бодаяся носом и зубы гнилые показывая, едко критиковал: горе-химика, «суба», порядки; и выходил к запевалам «дубинушки», оглашающей лабораторию к вечеру (когда «субы» исчезнут),— подтягивать басом.

Порою он крупно ругался с тем, с этим: но — по-товарищески; еще чаще он иронизировал — над студентом, учебником, миром; теории к черту слал: практик!

Товарищ его, тихий Зернов, вводивший в суть правую сторону качественной лаборатории (С. Н. по левой ходил) — был иной: белокурый, угрюмый, премаленький: перебежав, точно суслик, столы, исчезал, как в нору: в свой подвал, где работал Петровский; казалося: мышка летучая, светобоязнью страдающая, шныряющая ночами меж столиками, а днями сидящая в черном подвальном углу.

Лаборатория: тень пренелепого, длинного очень, угрюмого Чичибабина, пересекающая дорогу, тень — скольких, которых дать абрис нет времени.

Лаборатория — штаб естественного отделения физико-математического факультета, разбросанного на больших пространствах; аудитории, где слушали лекции математики и филологи,— и в них мы толкались: Мензбир читал тут, Голенкин читал, читал Лейст; здание Гистологи-

ческого института, где мы встречалися с медиками; здание Анатомического театра; боковой, большой корпус, с Никитской — Зоологический музей; Геологический, Минералогический кабинеты — все это разбрасывалось в пространствах Никитской еще, Моховой; дальше выходы к Лейсту (Метеорологическая обсерватория, в районе Пресни), в Ботанический сад (Мещанская), в Антропологический кабинет (здание Исторического музея), залы коллекций в Политехническом (тут мелькал Зограф); район передвижений — огромен; перебегали от здания к зданию; посетитель всех лекций добегаться мог бы до высунутого языка: зигзагами с Мещанской в Гистологический; и — обратно; и некоторые — писали; иные закупоривались в одном помещении, отрицая все прочие.

Нужен был орган связи; таким и являлася лаборатория и у студентов, и у педелей (особая канцелярия,— как раз против чайной).

Чайная — место споров, забегов и передыхов: осаживается раствор, свободен час,— сиди в чайной: за пятым стаканом и за шестою ватрушкой; мы «органики», потом выделили место чая — на плоскую крышу.

Среди работающих «органиков» помню: Кравеца, Мозера (ныне профессора), С. Л. Иванова (тоже профессора), Погожева, Чиликина, образованного Печковского (переводчика), Аршинова, Иогихеса, Петровского; на четвертом курсе выделился кружок плоской крыши, куда вылезали (Погожев, Петровский, Печковский, Иванов, Аршинов и я) и куда приходили к нам Янчин с Владимировым, где вопросы искусства решались, откуда я шел на журфиксы к Бальмонту (перед окончанием университета), где неугомонный проказник, С. Л. Иванов, выделывал штуки,— лицом, интонацией, высказывая пресерьезно ужасные дичи; я здесь же устраивал цирк и показывал, как возможно над бездной ходить по перилам, имея на голове стакан чаю, иль прыгая на одной ноге чрез поставленный на перила сосуд; весна, молодость, просто избытки сил нудили лазить по перпендикуляру стены, зацепляясь за выступы: кто выше взлезет? Чай пили в химических стаканах (для осажденья), помешивая стеклянными палочками; и он длился часами под таратаканье весенних пролеток; в окне же торчало лицо лаборанта, не понимающего, что за крик поднимает компания озорников, с крыши бросавших вовсе не химические лозунги: лозунги символизма; кривилось порою лицо, но не трогало; тронь четвертокурсников, еще «органиков» (кстати сказать,

имеющих в числе сокомпанионов будущих профессоров)? Иные — занелюбили нас: непонятный тон, очень «декадентские» сентенции; я, например, сидя на глиняном мощном сосуде, начинал рисовать субъективнейшие импрессии окислов азота, рыжебородых и рыжекудрых, иль речь заводил о «кентаврах», или изыскивал химию изменения звукового корня: во Франции — такое-то изменение звука; а в Бельгии — эдакое: «не любо — не слушай, а врать не мешай!» Лаборанты и ассистенты Зелинского, присутствуя при вылете на крышу компании (в ней и «органики» дельные),— «врать не мешали», косясь; думается,— палки, подкладываемые в мою работу, относились к этому заведенному стилю.

Как-никак, весной 1903 года на крыше лаборатории действовал тот самый кружок, который осенью 1903 года составил фракцию «аргонавтов» моих воскресников (Петровский, Печковский, Владимиров, Янчин);[47] и квартира Владимировых уже выкинула флаг «нового» быта; с Владимировым и Ивановым шли порой с крыши отмахивать в окрестности Новодевичьего монастыря, поражая прохожих изображаемым галопом кентавров.

Химическая лаборатория видится мне романтическим местом; полутайная переписка с Д. С. Мережковским и с Гиппиус началась при посредстве швейцара лаборатории; я был вынужден умалчивать дома о своей бурной дружбе с петербургским литературным кружком, и дал Гиппиус адрес лаборатории;[48] идешь утром к приборам; швейцар же с подмигивающей улыбкою передает толстый, темно-васильковый пакет; спросишь чаю, и — углубишься в метафизические глаголы о плоти, забыв все на свете!

— А, синий конверт? — подмигивают Петровский или Печковский.

Прочтешь им из письма философское отступление; разгорается обсуждение, спор за «химическим» чаем.

В лаборатории же читывал первые письма Блока ко мне[49] и его стихи, пропагандируя их значение, отчего лопались колбы и градусники, весьма удлинняя мой свиток долгов (за разбитую служебную посуду); пригнанные к горлышкам пробки, залитые парафином, дымили мне, пропуская газ; повернув машинально горелку Петровского, взрыв ему раз я устроил; и раз сунул голову под вытяжной шкаф, чтоб свой тигель понюхать, забывши, что он выделяет циан; ужасающей вонью ударило в нос. Ничего, я оправился и побежал к лаборанту; тот дьявольски:

— Коли живы, так нюхайте, что ль, нашатырь... Да в задаче-то минимум циана!.. Эх,— химик!

А все — «символизм»; с ним связалася лаборатория, где я практически осуществлял свои «ножницы», чихая над Блоком от не залитых парафином отверстий прибора.

Но не одною романтикою живет память о лаборатории: и живой благодарностью Н. Д. Зелинскому, завлекавшему меня, не специалиста по химии, в ее недра конкретным показом того, что есть подлинная наука, как на ошибках и неумениях учатся экспериментальной мысли; другие не дали научного быта (давали «своим»); а Зелинский — дал этот быт. Со второго курса я не прикреплялся уже в программе занятий ни к кому стилем собственного прохождения курса, который должен был дать мне представление о методологии точных наук для будущих гносеологических штудиумов; Умов дал ясное представление о месте физики; Реформатский, Зелинский раскрыли мне химию; а Мензбир — биологию; методологический костяк откладывался из чтения на дому, из знакомства с литературой, из изученья философов, касающихся естествознания: Вундта, Ланге, Оствальда, Гельмгольца и Геффдинга; я использовал естественный факультет для своих целей тем, что умел попадать на работу, не рассчитывая быть оставленным и извлекая лишь то, что было мне нужно. Вся постановка работ у Зелинского мне безмерно давала; и я пережил себя *химиком у прибора*, не ставши им; это достигалось свободой и тактом, которые веяли всюду, где возникала фигура Зелинского.

4. ГОРЕ-СПЕЦИАЛИСТ

Со второго же курса мое положение, как студента, перед которым стояла проблема специализации, становилось весьма неудобным; специальности, строимой мной, озаглавленной «Методология естествознания», не было; не было спайки естествознания с философией, естественной в Германии, где «доктор естествознания» именуется «доктором философии»; а у нас: коли ты философствуешь, изучай филологию, расселение племен меж притоками Припяти; коль читаешь ты Дарвина, то помалкивай о философии. Только Умов водил нас на грани сплетенья науки с вопросами общими; а другие не подымалися над философией частной науки; попытка их философствовать напоминала мышление сапожника иль пирожника, объясняю-

щих мировые явления частными орудиями ежедневной работы: сапожнику свет — это лоск ваксы, а для пирожника форма явлений — пирожная форма; подобные истины гласились с передовых аванпостов «такой-то науки»; другие, сколь многие, попросту не поднималися до аванпостов своей специальности; Н. Зограф всею силой души *ненавидел философию зоологии*; и *поди-ка*, поговори с Наумовым, единым принюхом решающим качественную задачу: он тебе меж пальцами едко пробирку покажет, подставивши к носу.

— «Видел?»

Я не умел объяснить окружающим конструкцию моего прохожденья; и к какой бы специальности я ни причалил, к исходу четвертого семестра на меня косилися бы с точки зрения затаенной мысли, что ищет-де пристроиться к нам; мы же, руководители, право имеющие отпугнуть или принять в свое лоно, посмотрим, каков из себя.

Этот стиль обусловливал систему подлаживанья; и каждый старался всем видом своим убедить, что ботаник до мозга души, коли он собирался писать сочинение по ботанике; тот же пыжился видеться химиком; интересующихся собственными программами отрицали; и со второго же курса естественников раскалывали насильно на две только группы: на физико-химиков и на биологов; с третьего курса биологи разбивались (опять механически) на зоологов и ботаников, а физико-химики делались: только химиками, только физиками; теоретические интересы к биомеханике в связи с теоретической механикой, например, не имели реальностей.

При такой установке работ со второго же курса стало мне ясно: что с изучением Вундтов, Оствальдов — вполне ни при чем я; сочетание в чтении химика с психофизиологом и увлеченье проблемами жизни неспроста центрировали меня вокруг клетки; первый курс увлекался этими проблемами; получи я возможность нормально работать над клеточными организмами, моя специальность сложилась бы естественно; но несчастная ссора с Зографом и беспрокость его руководства лишили меня на третьем семестре *органической* возможности иметь специальность; что было мне делать? Варить черепа костистых рыб? Но — на каком основании? На одинаковом основании я мог мерить дожди (я их мерил!), составлять нитробензол (составлял!) и строгать древесину, при помощи микротома[50] (строгал!); но прийти мне к Зелинскому, к Лейсту, иль к Тимирязеву с ласковым видом и с жестом «я — ваш»,

я не мог; очень многие делали так, загрунтовывая себе местечко для кандидатского сочинения и выдавая себя за поклонника только «этого вот предмета».

Положенье беспризорного трудно: химия мне давала нюх; но с проблемами биологии не хотелось расстаться; сочиненье же по химии плюс сидение в лаборатории отрезало бы от круга предметов, стоящих в моей программе.

Я и выдумал собственную двухлетку для третьего и четвертого курса (тогда разбираются специальности, пишется сочинение): сосредоточить практическую работу в лаборатории, специализироваться же формально по этнографии; предмет живой, в круг которого входит культура; но этнография, включая чтение на дому, посещенье анучинского музея, брала не слишком много времени, оставляя возможности работать на стороне, в другом круге наук.

Так вот я раздвоился: Анучину писал сочинение, а просиживал в лаборатории, вызывая недоуменье Анучина тем, что так редко к нему являюсь; и вызывая недоумение Зелинского тем, что, сдав ему экзамен на право работать с «органиками», не беру у него же и темы. Товарищи не понимали меня: и Владимиров, компанион по Анучину; и Петровский, приятнейший компанион по Зелинскому.— Последний ворчал:

— Что вы тут делаете?.. Устраиваете мне взрывы?.. Рук у вас нет.

Я же устраивал взрывы и бил колбы, не уходя от Зелинского, до четвертого курса.

Но и с Анучиным произошла неувязка.

Я явился к нему с тайной целью: специализироваться по этнографии, облюбовав свой уголок: орнамент; тогдашнее «идэ фикс»:[51] формальный метод в трансформе культур (по народам, эпохам, этапам развития); в это время наметились естественнонаучные подходы к анализу древностей; интересовала трансформа морфологических линий орнамента, соотношение цветов; орнаментами я интересовался и вне университета, разглядывая коллекцию их в соловьевской квартире; естественно, потерпевши крушение с Зографом, чрез этнографию я хотел связать оба конца разъезжавшихся ножниц (естествознание и искусство) в проблеме орнамента, изучаемого научно. Тут ведь можно было работать; мечтали с Владимировым, как бок о бок усядемся: он — за костюм, а я — за орнамент.

Встреченный благосклонно Анучиным, я скоро поведал ему о намерении писать сочинение по орнаменту; он уди-

вился, шутливо заморща свой лоб и хватаясь за нос, с благодушием на меня поглядел; но... с иронией шамкал:

— А, вон куда вы?.. Что же, что ж — интересная тема... Но только — предмет необследованный.

Я начал доказывать: обследовать — можно; сам же он пускался в экстравагантные изыскания (негритянские элементы у Пушкина, и так далее).

Он со мной согласился; но вскоре же начал настойчиво обескураживать:

— Бросьте-ка: трудная тема; источников — нет.

Уговоришь его,— отойдет; а на следующей неделе печально подходит:

— Писали бы мне по географии: а орнамент оставили бы.

Почему-то он думал: география интересует меня; вероятно, на том основании, что сумел я однажды экспромтом рассказать ему его лекцию — перед курсом; на первую лекцию по географии — никто не явился, а на вторую — ввалилась толпа; повторять он не хотел; увидев меня, его слушавшего, мигнул мне, повторить его лекцию без веры, что помню; весьма удивился, что я повторил; так вошла в него мысль о моих будто бы географических интересах.

Месяца два старичок отговаривал меня от орнамента; что ж, ему лучше видно; и я с грустью вторично расстался с излюбленной темой; время шло даром: надо было спешить; тут меня осенила проблема «оврагов», к которым присматривался издавна я в имениях; рост оврагов в России давно принял грозные формы; проблема борьбы с ними виделась мне боевою задачей, а источники были представлены в виде сырых материалов (не то, что орнамент); я влетел неожиданно в специальность, которою не интересовался нисколько, за исключением малого участка: овраги; и то — только русские.

Анучин был доволен:

— Это вот дело... С орнаментом же вы знаете,— и, ухватив себя за огромный свой нос, он заплакал морщинами лба,— не глазами[52].

Потом я не раз сожалел об уступчивости, изучивши Анучина с его методом «потише» да «полегоньку»; надо было наперекор ему все же писать об орнаменте; с географией я влетел в неприятность: я, географический спец, должен был знать метеорологию, в существовании которой весьма сомневался (ведь россыпи данных, к единству никак не сведенных,— еще не наука!); я поплатился жестоко, попав на зубок к бородатому Лейсту, едва не зарезав-

шему меня на экзамене; спас лишь Анучин, вовлекший меня в невыгодную авантюру.

А Владимиров имел стойкое мужество выдержать мрачность Анучина, тоже пускавшегося перед ним тихо плакать морщинами: о русском-де костюме писать невозможно; источников нет-де; и прецедентов таких не бывало. Владимиров, муж упорный, талантливый художник, выслушав это, решил, что покажет Анучину, как сочиненья такие возможны; летом он удрал на Мурман, обошел его, плавал по северу, усердно зарисовывал костюмы, богатый альбом с приложением своих соображений он представил как кандидатское сочиненье; Анучин был в восторге, забравши в музей редкий альбом зарисовок; к сожалению, я был помягче.

И я ж пострадал, отстраняя от себя интересный предмет и ставши «географом» под... щучьи зубы профессора Лейста.

Дмитрий Николаевич Анучин,— два года я числился специалистом при нем: и, казалось бы, воспоминаний о нем живет рой; между тем — никаких; каким виделся в 1886 году мне маленькому, таким виделся в 1902—1903 годах; и таким же увиделся около 1920 года; хотя б изменилось в нем что-нибудь; я же менялся: ребенок, отрок, юноша, муж, муж почтенного возраста; Анучин — все седенький до желтизны, размохрастый, с огромнейшим носом, но с маленьким лобиком, плачущим той же морщиной, в то время как рот под усами седыми до... желчи оранжевой цвел той же лисьего вида улыбкою; плечи — покатые; впалая грудка; всегда в сюртуке; выше — издали; около — маленький-маленький; дико вихры жестковатые встали, как будто нацелясь; головка же — полувытянута, полуопущена как бы под тяжестью турьих рогов: турьерогий; по волосяному покрову, по козьей бородке — вполне дряхлолетнее козлище, очень спокойно копытце влагающее в сюртучок, чтобы, из бокового кармана платочек доставши, схватиться за мясо могучего сизого носа, навислины очень достойной; «ан фас» — хитрый лис; профиль же козерожий; с трибуны, из ложи мог в прежнее время и грозным казаться: на университетском акте, усевшись пред публикой на возвышенье, Анучин, увидя высокого и власть имущего чина,— так вскинул свой профиль пред тысячной аудиторией, что я подумал: с межбровья зубчатая молния, вспыхнувши, чина сразит: но электрического явления не было; истечения электричества были тихи; и профилем виделся Д. Н. издали; при приближении

фасом повернут он был: добродушной, лукавой-лукавой, улыбочкой: лис — лис ласковый, а не козел.

Очень добрый!

А говорят: было ж такое время, когда Д. Н. был волосом черен и выявлял, может быть, обитателя предараратской равнины; [53] но верно то было тогда, когда Ной выходил из ковчега, имея по левую руку клыкастого и мохноглавого мамонта; правую же руку вложивши в ладонь Д. Н., им выводимого вместе с собою, представил его эриванцам; Д. Н., тотчас в поезд сев и прикативши в Москву, вышел седеньким, точно таким вот, каким видел я его; и отправился, в шубу свою запахнувшись, к подъезду, глядящему в кремлевскую стену, к зданию Исторического музея, где он помещался со своим музеем, с кабинетами (антропологическим и этнографическим), как исторический памятник; к этому зданию бегали мы на Анучина, перебежав Александровский сад, с Моховой; вот, бывало, раскроешь тяжелую дверь: впереди ведет лестница в пустеющий зал Этнографического музея, где и тряпками, и позументами ярко зыряне, мордва, вотяки раскричалися, выпучивши из витрин стекло глаз; что-то было здесь от «паноптикума»: неуютно; мы свертывали в дверь направо, пред лестницей, и попадали в парницу, имеющую назначенье скорей растить персики, а не Анучина греть (старичок, вероятно, был зябкий); раздевшись в передней, совсем небольшой, попадали в теплейшую и небольшую какую-то серую комнату; стол удлиненный — посередине; вокруг него — стулья; шкафы — по стенам; на столе — или череп с прибориком для измеренья угла лицевого, иль издание редкое, пышное, собрание дочерей праматери Евы всех пяти частей света: фиджийки, зулуски, китайки, турчанки, швейцарки, француженки, но без костюма (студенты любили альбом тот рассматривать). Между шкафом и столом, перед креслом, возглавившим стол, очень маленький, очень спокойный Анучин с хроническою улыбкою вечности, с бегающими зорко глазами, плакал морщинами лба пред тремя-четырьмя обступающими его студентами, опередившими нас. Никогда я не видал уездов или приездов Анучина в это теплейшее место; всегда он здесь был, как растение, связанное с почвою, между шкафом и креслом; пошамкивал, нас ожидая, о том иль о сем со студентами, не торопясь, не сердяся, не радуясь.

Здесь он читал этнографию, антропологию и физическую географию: попросту, можно сказать, по-семейному; приходили к нему человек эдак двадцать — пятна-

дцать; и все умещались за длинным столом, им возглавляемым.

Он пождет-пождет,— и начинает читать, пошамкивающим тихим голосом, тут же стоя около кресла при шкафе и шагу не сделавши; как разговаривал,— так и читал: иногда даже трудно было понять, началася ли курсовая лекция, иль частная беседа продолжалась; так и оканчивалися лекции, продолжаясь в беседу о том и о сем; уходили: Анучин стоял в той же позе, схватяся за нос, и пришамкивал студенту; ни разу не изменилась картина; всегда он нас ждал — в этой позе и в этом же месте; всегда провожал нас глазами — от этого места; встречая позднее Анучина в разных местах,— я ужасался; в моем представленьи он содержался, как редчайший персик в своей исторической теплице.

Лекции?

Не сомневаюсь: Анучин прекраснейший, глубокомысленный, знающий очень ученый, и, кроме того, просвещеннейший, либеральнейший деятель; не сомневаюсь: скучал он читать то же самое кучке студентов — в десятилетиях времени; в силу почтенного возраста и неизменных седин надо всем доминировало представление, что нет ничего нового под луною; эта кучка студентов, которая чмокала соску, когда здесь Анучин таким же студентам читал,— та же кучка, забыв этнографию, пустится в жизнь, когда он будет читать теперь еще соску сосущим младенцам; бремя непеременного круга вопросов, которого центр неподвижный — он, видно, давило почтенного старца; читал он пресонно, превяло, пренеинтересно, размышляя совсем о другом и зная, что слушающие, не внимая, не размышляя, для вида сидят; и, чтоб не казаться смешным, он пример подавал,— и подремывал между словами.

Лекция по географии — думы мои о Дионисе, об Аполлоне, об Архилохе, Терпандре; сквозь них раздается, бывало, тишайшее старческое:

— Берега бывают прямые, изрезанные, лопастные...

Молчание.

— Еще какие?

Молчание.

Кто-нибудь рявкнет:

— Полуовальные!..

Взгляд Анучина с хитрецой иронической выблеснет: «Знаю, брат,— выдумал из головы, что ж,— сойдет!»

Лекции по этнографии — думы мои в разморенье тепличного жара о том, что раствор, поди, выкипел, пора бе-

жать в «органическую»; Дмитрию Николаевичу пора бы тянушки свои перестать жевать.

Он же жевал:

— Религии бывают: христианская, магометанская.

Пауза.

— Еще какие? Кто скажет?

Молчание.

Кто-нибудь рявкнет:

— Китайская!

Взгляд хитренький,— но безотзывный.

Возьмешь под шумок да юркнешь прямо в дверь: Александровским садом — к Зелинскому.

После лекции по географии, мной повторенной пришедшему курсу (толпища была!), Д. Н. дружбу большую мне выявил; раз даже, взяв меня за руку, руку пожав, прошептал с тихой нежностью:

— Вы погодите: «они»,— он глазами на «них» показал,— скоро схлынут; просторно здесь будет нам с вами.

Он предположил, очевидно, мое перманентное пребыванье с ним в поисках этнографических древностей; я же, имея заданием «орнамент», был рад этой дружбе: «Ну — думаю, уж и направит он руль моих устремлений!» Но «орнамент» Д. Н. испугал; старичок все меня загибал в географию; я еще пробовал пускаться в этнографические беседы, весьма сомневаяся, чтобы показанные им осколки камней были подлинными «граттуарами» иль первобытным орудием, представляющим ценность; мы шуточно спорили; раз даже я утверждал, что коль то «граттуары», то я могу принести ему много дюжин эдаких «граттуаров» с прогулок близ Новодевичьего.

И я увидел тот же хитренький взгляд: безотзывный!

Так проборовшись два месяца из-за «орнамента» и, говоря откровенно, распарясь ужасно в теплице, Анучина я успокоил; и, бросив заданье, увлекся «оврагом»: и мне, и ему это проще; ему — не давать указаний о литературе и не углубляться в мои углубления; мне — не ходить на Анучина, а усесться в Румянцевском, где материал по оврагам, иль двадцать четыре тома отчетов Нижегородского и Полтавского земств об оврагообразующей силе, составленных Докучаевым[54], праздно пылели, меня ожидая; я так и поступил, появляясь к Анучину редко и заставая его в той же хронической позе.

Меня спросят:

«Ну, а как с указаниями?»

Для чего? Все ж указано: овраги бывают — такие, сякие; и борются с ними — так, сяк. Материал? Докучаев, Масальский, статеечек несколько, да глава динамической геологии («Сила размыва»). А практика? Всюду, куда ни приедешь,— растущий овраг; ложись в траву и наблюдай его формы, отвесы; учитывай плодородие десятин, отстающих в сравнении с плодородием плоских поверхностей; бегай к оврагу, калоши надев, после ливня, чтоб видеть эффекты размыва; Владимиров север объездил, чтоб зарисовки костюмов иметь; я же лето провел комфортабельно в Тульской губернии: лежал на животе, любуясь закатом и, между прочим, имея под собою обрывистые овраги, все камни в них скатывал (прелюбопытно!).

Так я сочинял про овраги: «весьма» получил.

Лишь одно неприятно: зачисленный в списке «географов», я был обязан по роду занятий и к Лейсту таскаться (практические занятия у Лейста для нас обязательны были); по лестницам обсерватории браживал (очень высокие) и дождемерную кружку (пустую) держал я зачем-то в руках.

Нет, физическая география, как и метеорология,— не науки, а помеси пестрые: тут тебе кое-что из «Геологии» Иностранцева[55], кое-что просто из физики, кое-что из черчения (картографическая проекция), кое-что из космографии (закон, кажется, Бера — речных берегов); то же — метеорология: анекдотический сборник в пятьсот страниц «помесей» (учебник Лачинова).

Просто выяснилось: «горе»-я специалист; защищаюся я: физическая география — «горе»-наука!

Моему внезапному исчезновению не удивился Анучин; и тот же все добренький голос, и тот же все плач поперечных морщин: только искра иронии в глазах усилилась явно.

По напечатании моей статьи «Формы искусства» в весьма для Анучина одиозном «Мире Искусства»[56] он мне подмигнул среди лекции, иронически процитировав громкую фразу мою из статьи: мол, читал; подморгнул он беззлобно, хотя, вероятно, статья озадачила (профессор Кирпичников, передавали, ее похвалил); с появлением этой статьи старичку стало ясно, что путь мой — весьма-весьма мимо моей «специальности», как и пути его слушавшей группы, среди которой художник Владимиров думал о Мюнхенской академии, а Петров, его слушатель, вероятно более думал о музыке, как я думал о Мережков-

ском, о Брюсове, о строчках Блока и даже о нитробензоле, который я в анилин превращал в это время.

Понявши, что путь мой далек, что естественное отделение факультета — мой двор проходной, успокоился он; и весьма благородно спасал на экзамене от тупоумно вперенного и бородатого Лейста, желавшего очень меня доконать.

Дмитрию Николаевичу, доброму старичку, как с вершин араратских взиравшему на факультетские злобы,— спасибо!

Совершенная противоположность — лекции Климента Аркадьевича Тимирязева, представителя той дисциплины, которая стала мне самой далекой в то время, когда он нам начал читать: не интересуясь вовсе растением с первого курса, что мог я от лекции по анатомии и физиологии растений усвоить? И, кроме того, нагруженный весьма интересами литературы, искусств, методологией и обязательными предметами ставимой мною себе университетской программы, ходил Тимирязева слушать я изредка, чтоб увидать прекрасного, одушевленного человека, метающего большие голубые глаза, с привзвизгом ритмическим вверх зигзагами мчащегося вдохновенного голоса, выявляющего фигурой и позой — взлет ритма.

Я им любовался: взволнованный, нервный, с тончайшим лицом, на котором как прядала смена сквозных выражений, особенно ярких при паузах, когда он, вытянув корпус вперед, а ногой отступая, как в па менуэтном, готовился голосом, мыслью, рукою и прядью нестись на привзвизге,— таким прилетал он в большую физическую аудиторию, где он читал и куда притекали со всех факультетов и курсов, чтоб встретить его громом аплодисментов и криков: влетев в сюртуке, обтягивающем тончайшую талию, он, громом встреченный, бег обрывал и отпрядывал, точно танцор перед его смутившею импровизацией тысячного визави в сложном акте свершаемой эвритмии; стоял, полуизогнутый, но как протянутый или притянутый к нам, взвесив в воздухе очень худую изящную руку; переволнованный, вдруг просветляясь, сияя глазами, улыбкой цветя, становясь чуть розовым, кланяясь; и протягивал, чуть-чуть потрясая, нервнейшие руки.

Приветственный жест этот нам, как ответ на приветствие, так к нему шел, так слетал безотчетно, что всякая мысль, будто бьет на эффекты (о нем говорили так клевет-

ники), отпадала; перекид пониманием меж ним и собравшимися был естественен так же, как радость весенняя, обуревающая на заре; видел он в молодежи зарю социального взрыва; и видела в нем молодежь зовы зорь; манифестация жаркой волною охватывала. Но вот он начинал: поражало всегда расстоянье меж взрывом восторгов и темою после взволнованной паузы: о растворах, о соках растений, сосудах и плазме.

На первую лекцию к третьему курсу под топанье, аплодисменты влетал он с арбузом под мышкою; знали, что этот арбуз он оставит; арбуз будет съеден студентами; он — демонстрация клеточки: редкий пример, что ее можно видеть глазами; Тимирязев резал кусочки арбуза и их меж рядами пускал.

В Тимирязеве поражал меня великолепнейший, нервно-ритмический зигзаг фразы взлетающей, сопровождаемый тем же зигзагом руки и зигзагами голоса, рвущегося с утеса над бездной, не падающего, взлетающего на новый, крутейший утес, снова с него взвивающегося до взвизгов, вполне поднебесных; между взлетами голоса — фразу секущие паузы, краткие, полные выразительности, во время которых бурное одушевление как бы бросалось сквозь молодеющий лик; и — падала непокорная прядь на глаза: он откидывал эту прядь рывом вскинутой вверх головы, поворачивая направо, налево свой узкий, утонченный профиль с седеющей узкой и длинной бородкою; то отступая (налево, направо), а то выступая (налево, направо), рисуя рукою, сжимающей мел, очень легкие линии, точно себе самому дирижируя,— он не читал, а чертил свои мысли, как па; и потом, повернувшись к доске, к ней бежал, чтоб неразборчиво ткани сосудов чертить нам.

Казался таким легконогим, безбытным; а для меня посещение его лекций было менее всего изучением физиологии тканей, а изучением жеста ритмического.

В эту пору такими же взрывами, взлетами ведь протекала борьба его с министерством; я помню, как бросил перчатку он выходом из университета; и как он, гонимый, добился-таки своего; помню, как повалила толпа со всех курсов, встречать его ревом; и он перед нею расцвел в той же паузе вытянутой[57].

Все, к чему ни касался он, символом пело: и красная лента, которая механически на профессора сваливалась и в которой был должен профессор на акте читать (с треуголкой в руке и при шпаге),— эта красная лента пропела

пред тысячной аудиторией знаменем красным, когда Тимирязев на кафедру встал.

Поражала в К. А. очень яркая сердечность порыва, соединенная с огромной культурою и с расширением его интересов (на искусство, общественность, музыку, литературу); я не говорю о науке, которой владел он; я — не специалист, лишь отсиживавший его лекции, да разве горе-участник практических занятий по анатомии растений, которые вел ассистент его, Строганов; знающие утверждали, что курс Тимирязева по физиологии тканей был курсом, им лично проделанным экспериментально; его общие статьи — верх изящества; его публичные лекции — блеск. Не ученый меня умилял в нем,— утонченный культур-трэгер, умевший в каждый шаг силу чувства влагать; я не забуду профессора Тимирязева на юбилее Математического общества, превратившемся в чествование отца;[58] он читал ему адрес; и в этот акт силу сердечности внес, когда голос его задрожал, и он рывом, бросаясь как бы, его подал отцу.

Мои личные отношенья к К. А., как студента,— экзамен; он спрашивал — быстро, просто и дельно; увидев, что знаю, он не задерживал и не «меменькал», как некоторые другие, молчащие перед молчащим студентом, или высиживающие минут эдак десять вопросик (а время — идет).

Не помню, как познакомился я с К. А; только при встречах здоровались. Кончив университет и читая публичную лекцию в 1907 году (в Политехническом) о Фридрихе Ницше[59], я был удивлен, пред собою увидев К. А.; зная, что стиль моей лекции очень далек ему, переконфузился перед «учителем»-слушателем; слушал тихо, культурно, не так, как иные, которые, если сочувствуют, то из десятого ряда кивают, коль нет, то ужасные мины состраивают; К. А. слушал скромнейше.

Потом, вскоре встретив его, если память не изменяет, на выставке, и подойдя, я признался ему, как смутил он недавно меня:

— О, о,— что вы,— пропел он с изысканным жестом француза (в нем было французское что-то), все с тем же, изученным мною: культурно-сердечным.

Позднее удар с ним случился.

В 1910 году мы встречались в демьяновском парке, где жили как дачники;[60] он в коляске сидел в тени лип, иль прихрамывал, опираясь на палку; В. И. Танеев к нему каждый день заходил; они, кажется, в эту эпоху дружили; соединяла — культурность, начитанность, знание литературы и такт удивительный.

В 1917 году я опять с ним встречался, в Демьянове же. где еще Тимирязевы жили; он двигался лучше, но был возбужден; мы согласно хвалили журнал, издаваемый Горьким (сотрудничал в нем он),[61] и горьковскую газету, «Новая Жизнь», казавшуюся большевистской тогда (то есть в июне 1917 года)[62].

С Танеевым они сходились на критике Керенского.

Еще с университета имел удовольствие видеть Климента Аркадьевича, номер второй: только кожа лица была молодая, а бородка — светлее казалася (без седины); он ходил в светлой чистенькой очень тужурке; был младшекурсником, математиком (кажется); назывался ж — Аркадием Климентовичем (удивительное сходство лица — минус непередаваемый огонь Тимирязева и плюс степенность, солидность движений, весьма отличавшая Аркадия Климентовича от Климента Аркадьевича).

Я бы мог и далее продолжать обзор университетских курсов, лекторов, учреждений; но полагаю: здесь приведенного материала достаточно, чтобы составился образ преподавания моего времени; прибавлю: лекции профессоров Павлова, Вернадского, Карузина, Горожанкина очень много давали для составленной мной программы, единство которой — система сопоположения фактов, мне нужных и, так сказать, выщипанных отовсюду; преподавание было высоко поставлено; с Сабанеева, Зографа, Голенкина и Анучина я уходил порою *не солоно хлебавши*, порою с притупленным интересом к предмету; но соединение имен (Умов, Зелинский, Вернадский, Мензбир, Павлов, Тимирязев и Горожанкин) было созвездием; такого соединения превосходных специалистов не встретил я на филологическом факультете, на котором оказался с 1904 года; лишь на нем понял я высоту преподавания, пошедшего впрок,— у нас, на естественном.

5. У РУБЕЖА

Естествознание остро врезалось в мое сознание с 1899 года; весь 1900 год прошел в усиленном чтении и в занятиях определенного устремления: овладеть фактами точных наук, чтобы овладеть пониманием методов; а понимание методов служило мне материалом к увязке одной половины моих идеологических ножниц; другая полови-

на — мои интересы к искусству, чтение в этом круге, проблема вынашиваемого символизма, наконец — творчество; посередине меж двух вытягивающихся устремлений — искание внешней формулы перехода: от философии естествознания чрез теорию знания к философии искусства; одно время я усиленно читаю Вильгельма Вундта, начиная с его «Основания физиологической психологии»[63]; к Вундту я привлечен волюнтаристической и параллелистической (хотя и не четко проведенной) позицией; Шопенгауэр не удовлетворяет уже; Гартман — тем менее; ищу логических мыслей у Ланге, прислушиваюсь к энергетической позиции Оствальда и скоро заинтересовываюсь откровенным параллелизмом психолога Геффдинга;[64] так в проблеме обоснования своего мировоззрения я уже натыкаюсь на вопрос, меня мучивший два с лишним года потом — вопрос, в то время весьма дебатировавшийся в философской литературе и который сводился к разговорам о примате теории знания над психологией, или, наоборот, о примате научной психологии над теорией знания; философы делились на психологистов и антипсихологистов; и я со своим символизмом, как мировоззрением, должен был дать себе внятный ответ, на чем базироваться: на психологии или на теории знания: Ланге подводит ко мне уж вплотную всю неокантианскую линию вместе с папашею Кантом, а психологизм уже сплетает с самой эстетической базою в то время новейших психологических теорий: тут и Липпс, тут и интерес ко всевозможным прагматическим лозунгам, включая и Ницше. Самая проблема осмысливания незаметно расширилась, атрофируя интерес к научному фактособирательству.

К этому присоединилось уже вне теоретического интереса просто безумное увлечение Ницше как художником и как личностью, вытесняющей мои доселе столь любимые кумиры: Вагнера, Достоевского, Ибсена, Гауптмана, Метерлинка.

С осени 1899 года я живу Ницше;[65] он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я, отстранив учебники и отстранив философии, всецело отдаюсь его интимным подглядам, его фразе, его стилю, его слогу; в афоризме его вижу предел овладения умением символизировать: удивительная музыкальность меня, музыканта в душе, полоняет без остатка; и тот факт, что Ницше был и в буквальном смысле музыкантом, вплоть до композиции, в этот период мне кажется не случайным; ведь и я в те годы утайкою

пробирался к роялю и часами отдавался музыкальным импровизациям своим, когда родителей не было дома.

Философ-музыкант мне казался типом символиста: Ницше мне стал таким символистом вплоть до жестов его биографии и до трагической его судьбы[66].

Уже в то время я строго различал две сферы: сферу символизма, как теории, оправдывающей право на творческую символизацию, и сферу этого строительства (символизм, как символизация эстетическая, этическая и так далее). Ницше мне никогда не был теоретиком, отвечающим на вопросы научного смысла: но и не был эстетом, завивающим фразу для фразы. Он был мне творцом самих жизненных образов, теоретический или эстетический смысл которых откроется лишь в пути сотворчества, а не только сомыслия. Наконец Ницше — анархист, Ницше — борец с вырождением, сам изведавший всю его глубину, Ницше — рубеж меж концом старого периода и началом нового — все это жизненно мне его выдвигало.

Я видел в нем: 1) «нового человека», 2) практика культуры, 3) отрицателя старого «быта», всю прелесть которого я испытал на себе, 4) гениального художника, ритмами которого следует пропитать всю художественную культуру.

Период с осени 1899 года до 1901 мне преимущественно окрашен Ницше, чтением его сочинений, возвращением к ним опять и опять; «Так говорил Заратустра» стала моей настольною книгою[67].

Таким образом, в этот период во мне ряды интересов, не сталкивающихся в одной плоскости, а лежащих, так сказать, рядом наслоений, образующих этажи, по которым надо было уметь подниматься и опускаться; вот эти этажи в одном разрезе: 1) факты наук, 2) соотношение методов, 3) увязывающий методы центр, или проблема перевода данных метода в форму выражения другого метода (например: явления, истолковываемые, как ритм, в явления, истолковываемые, как форма энергии, и так далее), 4) сфера символизации, или культурного праксиса, творящего акт познания не отвлечением от действительности, а пересозданием ее. В первой сфере я был механицист, дарвинист; во второй — методолог с сильною склонностью рационализировать и теоретизировать; в третьей я был символист, и в последней сфере стояла проблема, которую я еще не отчетливо себе осознал: проблема действия, или активного созидания и разрушения, право на которую мне

дал бы символизм, забронированный методологией и умением владеть фактами научного мышления.

Нечего говорить, что я себе начертал план, который не в силах были выполнить ни я, ни мое время, ни даже несколько поколений; передо мною стояла не более не менее, как программа осуществить революцию быта; и я, провидя ее, бился как рыба об лед, все никак не умея приступить даже мыслями к этой программе-максимуму, видевшейся мне как заговор против тысячелетней культуры, выветрившейся в тысячелетний склероз. Как бы я ни вооружал себя (философски, эстетически, научно), у меня не было одного из главнейших орудий к пониманию себя и своей проблемы, именно: социологического вооружения. В этом пункте я был совершенно безоружен: мой ответ на социальную неурядицу — непримиримый, непроизвольный анархизм и отрицание не только государственности, но и общественности, построенной на государственности.

Но и в теоретическом разрезе, предполагающем минимум четырехпланность строения, я был весьма непонятен; во-первых, я был непонятен для ряда товарищей, с которыми я встречался в университете; они видели студента, как будто бы с увлечением работавшего то в сфере зоологии, то в сфере химии, читавшего реферат по физике с «интересными» мыслями; и они не понимали, чего мне еще нужно; не увязывались мои порой дельные мысли о механицизме или клетке с моими философическими размышлениями над ними; и не увязывался мой интерес к искусству с клеткой в Зоологическом музее, любезно мне предоставленной Зографом: помню, как я удивлял нашу группу, готовившуюся к зачету по остеологии (Воронков, Гиндзе, Зограф, Петровский, я), когда над учебником Зернова поднимал посторонние споры с Петровским, меня понимавшим:

— Бугаева понять невозможно: точно говорит на китайском,— хихикал студент Воронков.

Наоборот, студент Суслов, который интересовался не фактами, а философией наук, был иного мнения о моем «китайском» наречии; для него «китайщиной» был мой интерес к сидению в лаборатории.

— Вы — философ, теоретик: сразу видно, что вы никогда, например, не будете художником или ученым.

Мои теоретические домыслы он понимал, то есть опять-таки лишь один этаж моей четырехэтажной композиции устремлений.

Отец меня понимал: и в философских интересах, вплоть до Вундта и Геффдинга, и в научном; не понимал лишь, почему я как-то мечусь между музеем, лабораторией и Анучиным, и вовсе не понимал моего пафоса к Ницше и моей отдачи себя эстетике.

Семейство Соловьевых, с которым я живо общался в те месяцы, понимало мои интересы к искусству, к печатающейся в «Мире Искусства» монографии Мережковского «Лев Толстой и Достоевский»;[68] но им был чужд до конца Ницше, которого стиль так пропел всей душою моею; и удивляли их мои длинные разглагольствования о Дарвине, «кариокинезисе»[69] и так далее; наконец они не понимали самого мотива моего появления на естественном факультете. Кроме того, музыка была им далека; и здесь, в музыкальных интересах, я оказывался в прочной дружбе с матерью; но только в интересе к музыке, к Художественному театру и к некоторым пьесам Ибсена и Гауптмана скликался я с ней; все прочее во мне ей было глубоко непонятно.

Наконец до 1901 года никому не был ведом подлинный мотив моего интереса к искусству, кроме семейства Соловьевых, которому от времени до времени я читывал мои стихи и симфонические отрывки в прозе.

Так общение с людьми было общением лишь в том или ином разрезе, то есть не полным общением, не до конца общением: Соловьевым было понятно то зерно во мне, в котором должны были сомкнуться столь мной выращиваемые ножницы; самая проблема ножниц была им чужда; именно эта проблема была понятнее прочих моему новому другу, с которым я познакомился в первых же месяцах университетской жизни,— Алексею Сергеевичу Петровскому; но ему не было понятно в то время усилие сложить мировоззрение символизма, которое он считал во мне чем-то вроде пунктика или делом, заранее обреченным на провал (отсюда наши долгие споры с ним, иногда переходящие в ссоры).

Наоборот, тут именно понимал меня Василий Васильевич Владимиров, мой гимназический товарищ, ставший естественником, как и я; именно он понимал мои интересы к искусству, как и интерес к науке; и понимал проблему их примирения в мировоззрении; но процесс построения мировоззрения понимал он несколько упрощенно: приведи свои мысли в согласие с фактами — и закрепи в программу. Он не видел, что смыкание ножниц есть дело всей жизни, а, может быть, всей культуры.

Алексей Сергеевич Петровский возникает передо мною в этот период, как бы подводя к точке рубежа.

Никогда не забуду удивления, меня охватившего, от несоответствия, так сказать, поводов к знакомству и поводов к быстрому углублению этого знакомства до дружбы.

В ноябре 1899 года читал я свой реферат «О задачах и методах физики» на физическом семинарии; после чтения ко мне подходит маленький, бледный, болезненного вида студент, с зоркими, умными, карими глазами, и с поспешной конфузливостью со мною знакомится, нервно подшаркнув ножкой:

— Петровский.

Он объясняет, что интересуется химией и проблемами материализма; у него план: объединить группу теоретически мыслящих естественников вокруг студенческого журнала; волнуясь и перебивая себя, он объясняет, как был бы осуществим этот журнал; оказалось нужным согласие отца, как декана, с которым я и поговорил якобы от группы студентов; на самом деле, от А. С. Петровского; с такою же горячностью Петровский мне объяснил, что нам необходимо знать основы высшей математики; между тем для естественников не читают вовсе аналитической геометрии и дифференциального исчисления; так мы с А. С. оказались во главе другой затеи; во главе группы студентов, обратившихся к приват-доценту Виноградову с просьбой читать нам аналитическую геометрию и дифференциальное исчисление; он согласился охотно. Меня в то время мало интересовали эти математические дисциплины, но я присутствовал на лекциях и раз даже продифференцировал Виноградову (это меня по сие время удивляет, весьма, ибо я, такой памятливый, не могу даже представить себе, что такое проделал я на бумажке). Петровский весьма настаивал на этих лекциях, как увлеченный, убежденный химик, собирающийся на всю жизнь уткнуть нос в физико-химические науки; что он химик с нюхом, с рукою, с глазомером и с сообразительностью, он доказал в начале второго курса, с молниеносной быстротою пройдя все 40 задач качественного анализа и к концу полугодия очутившись в сотрудниках профессора.

Осенью 1899 года в нем роился ряд теоретических мыслей о принципах химии, физики в связи с проблемой материи; он-то мне и указал на книгу Ланге.

Первый контакт с ним выявил талантливого студента естественника,— и только; но скоро наши беседы приняли неожиданный оборот.

Мы с ним встречались первые недели знакомства в кружке зоологов: сына Зографа, Гиндзе, Воронкова и студента Погожева, как-то сбоку приклеившегося к Петровскому и ходившего за ним; вместе готовились мы к зачету по *остеологии*[70] и просиживали в Анатомическом театре (остеологической комнате); молодой Зограф сперва с уважением относился и ко мне, и к Петровскому, а Петровский с некоторым «свысока» распоряжался им; в нашей пятерке-шестерке, которая скоро рассыпалась, мы с Петровским, так сказать, над безмолвствующей компанией поднимали ряд вопросов; я теоретизировал, подчеркивал в кредит свой центр между «ножницами», а Петровский с необыкновенным мастерством, и лукавым, и ироническим, подчеркивал именно ножницы; в этих неизменных подчерках он мне виделся скептиком, старающимся меня свернуть с «твердынь» моего, пока еще строимого мировоззрения, которое Петровский видел лишь как «леса» без здания (так мне казалось),— свернуть и навязать свою программу: теоретического материализма и практического атеизма, ибо его ретушь к мифологическим темам, меж нами встающим, казалась подсиживанием моего романтизма; если я заинтересовывался Владимиром Соловьевым, А. С. подкладывал мне столь ненавистного Соловьеву и почти никому еще неизвестного тогда Розанова; я его бил Ибсеном, а он мне подкладывал неизвестную монографию о Тургеневе; я проповедовал Рэскина, а получал реплику:

— А читали ли вы Аполлона Григорьева?

Мои увлечения поэзией Соловьева он бил Лермонтовым, подчеркивая, что лучшее у Соловьева — Лермонтов, а лучшее в Лермонтове — не понято.

Словом, мотив знакомства, интерес к естествознанию, отступил на второй или на третий план, тем более, что круг моих университетских интересов гнал меня к Гертвигу, Делажу и Катрфажу, а круг интересов Петровского гнал его к чтению казавшихся мне специальными чисто химических книг; да и самая мысль о естественнонаучном журнале исчезла в наших беседах, скорей острых пикировках над учебником Зернова и над хлопающими на нас глазами студентами Зографом, Воронковым, Погожевым, Гиндзе, не способными *понять*, в чем соль *тихих* подколов меня Петровским и вспышек ответной порой просто ярости.

Помню, как он в ответ на мою проповедь Ибсена, поблескивая иронически карими глазками из-под пенснэ, кривя рот, бросил репликой:

— Бугаев всериоз думает, что Ибсен — не человек: и даже не имеет никаких физиологических функций.

Я еще в ту пору не умел в нем различать доброго тепла, сердечнейшего, утаенного в глазах и меняющего «кривую» усмешку в улыбку испытующей доброты, как бы говорящей: «Тише едешь — дальше будешь». Поэтому корректив к драмам Ибсена в виде «физиологии» Ибсена показался мне издевательством: и над учебником Зернова произошло бурное мое объяснение Петровскому, что мне трудно поддерживать с ним знакомство, если он будет в таком тоне отвечать на мои мысли, которые следует разбирать, а отнюдь не осмеивать.

Такие бурные взрывы происходили меж нами — в университете, у Зографов, в остеологическом кабинете: меня бесило: вплотную подошел ко мне этот Петровский под флагом естествознания, а вместо естественнонаучных интересов, читаемых друг другу рефератов, журнала, какой-то диагноз моего существа, ощупывание мозгов, составов мыслей, с меня срывающих маску и заставляющих переговариваться о заветном, чтобы, выслушав это заветное, его сорвать. Я уже тогда ненавидел безобразие разговоров в стиле Достоевского, ненавидел лик Ипполита из «Идиота»; и в минуту полной взбешенности на Петровского он мне казался Ипполитом (из «Идиота»), но с перекошенной эпилепсией улыбкой Кириллова (из «Бесов»):

— Я с вами на эти темы не говорю,— раз сухо сказал я и повернулся к нему спиною.

И как же я был удивлен: ни обиды, ни позы, ни психологизирования! С доброй, сердечной, печальной улыбкой и с глазами, ставшими просто прекрасными, точно от внутренне проливаемых слез, он по-сериозному со мной объяснился.

Вскоре же произошел между нами незабываемый разговор вдвоем — в большой и показавшейся мне унылой квартире; не люблю я пошлого выражения: «открыл душу», то есть открыл то, чего открывать нельзя, что лишь выявляется в конкретной совместной работе, в общении деловом, а не «душевном», в кавычках; но с этого разговора я понял: мы с А. С.— братья, как и с С. М. Соловьевым: но темы нашего братства — иные; тема, сблизившая меня с С. М., мой проход из «быта» нашей квартиры в широкие

для меня перспективы культуры начала столетия: ощущения «предвесенние» соединили нас братски с С. М.

С А. С., ставшим в тридцатилетии нашего с ним общения родным[71],— тема, так сказать, побратимства была темой «конца» или обзора мытарств того «быта», который я испытал до начала эмансипации от него; только А. С. и в описываемое время был более одиноким, чем я, и с несравненно большею силою отрицающим то, что для меня уже стало предметом теоретизирования, как пережитое прошлое. С. М. был во многом защищен от когтей «конца» века: исключительными родителями, исключительною атмосферою дома, быт которой был уже не быт, а дыра в быте или уныр от быта; и он не мог еще в те годы понять степени моей поцарапанности.

Но что мои царапины перед перенесенным, понятым и отринутым Алексеем Сергеевичем! На том, можно сказать, кожа висела клочками; а кривой передерг губ, который я относил к «достоевщине», был только силой страданья, боли и большей зрелости в теме быта, который он ненавидел всей силою души, ибо он, задолго до нашего чтения Сологуба, развивал передо мной картину «передоновщины», а освобождение видел не в заре, а в теме «Жала смерти» (заглавие сборника рассказов Сологуба);[72] во мне в те годы было больше здоровья, но и наивности, больше предприимчивости, но и легкомыслия; Алексей Сергеевич был зрелее; весь его внутренний мир складывался, как лестница антиномий: и мне стало понятным, что подчеркивание им моих ножниц в ответ на проблему их преодолений (символизм) было, во-первых, испытанием доброкачественности моих лечебных средств; Алексей Сергеевич ненавидел компромисс, позу, квази-преодоление антиномий, и потому-то в ответ на мои надежды на будущее он углублял передо мной картину «истлевающих личин» старого строя; позднее, читая «Истлевающие личины» Сологуба[73], я точно видел Петровского, поворачивающего меня на обстание и тихо мне говорящего:

— Вы тут с Ибсеном: нет, Ибсен — паллиатив.

И я понял, кроме действительного интереса к химии, материализму, точной науке, была доля и кулака, показываемого тем настроениям, от которых передергивало Петровского; и, между прочим, от всякой официальной религиозности его передергивало; и оттого он казался мне богохульником: бывало, я ему цитирую Вл. Соловьева, сочинения которого я начал штудировать с осени 1900 года, а он мне:

— Соловьев — больной: какой-то древний халдей!

— Но стихи!

Стихам Соловьева противополагал он Лермонтова, уча меня ценить «Сказку для детей»; и я увидел в этом «психологизирующем скептике» — испытующее, тихое и прекрасное устремление к новой жизни, выступавшее из-под скепсиса; Алексей Сергеевич виделся точно Лермонтовым наших дней: Лермонтовым по-новому, со всей силой мятежной поэзии, им укрытой под маску «химических интересов».

Лермонтовское «Нет, не тебя так пылко я люблю» обращал он как бы в «Нет, не тебя я так едко осмеиваю» по отношению к будущему, поволенному как живое; и не Ибсена он осмеивал, как я наивно предположил, а «ибсенизм», ставший модою и породивший десятками Сольнесов, Боркманов, будто идущих на башни[74] или будто борющихся с жизнью.

Знаю я этот «паршивый» стиль, не вытравленный из клопиных кресел, на которых и по сие время сидят в сологубовском обалдении избранные культурники со своими женами: эти клопиные кресла всюду найдете вы; видел я их еще недавно:[75] муж с научных-де высот озирает жизнь; жена воображает себя Геддой Габлер, забывши, что Гедда Габлер в двадцатом году — сморщенная старушка, уехавшая от центров в затхлые глуши: кресла — клопиные; в квартире — пауки, моль, сор, срам и душевредительство.

А. С. Петровский, стоя у «рубежа», мне всюду подчеркивал: пауки, чих, пыль, гниль — не стираемы легкою тряпочкой омоложения быта, а сожжением этого быта, дотла; что он может безумно увлекаться и в своих увлечениях переходить все границы (по-лермонтовски же!), он доказал мне с самого начала «Начала века», нас с ним связавшего окончательно.

В конце века стоит он передо мною, как страж порога столетий, как бы не пускающий меня к началу века и подвергающий проверочному испытанию:

— До конца ли отрекся ты?

— До конца ли проверил себя?

— Действительно ль веруешь в свой «символизм»?

— Действительно ль видишь зарю?

В ответ на мои эстетические и идеологические горизонты он поворачивал меня на меня самого; и его дружба со мною была экзаменом, производимым им моей личности; и вместе с тем я чувствовал, что только он из меня окружающих до конца перестрадал тему «конца», так что «ру-

беж» столетий в нем стал и не начертанным, и не вырубленным, а органическим образованьем каким-то, переживаемым мною в то время, как горб.

Но этот горб был в нем тычком перевала.

Наша растущая связь была мне органически мотивирована: ни в ком не видел я до такой степени себя же, томящегося в тисках, которые мне ненавистны, которых иные мои товарищи недоузнали, недоиспытали; а многие, как Ю. Н. Зограф, и не видели вовсе. («Папашины сынки» катались ведь *как сыр в масле.*)

Квартира Соловьевых была мне в те годы необходима, как выход в культуру; Алексей Сергеевич был столь же необходим мне, как контролер моих прав на этот выход, знающий во мне то, чего другие во мне не видели, знающий во мне мое подполье, мой заговор и всю степень моей нелегальности; мой выход в культуру без «бомбы», в подполье изготовляемой, был бы и легковеснее, и безответственней, если бы не А. С., не раз меня возвращавший в мои катакомбы и обучавший меня химии взрывчатых веществ.

И не случайно, что он, «химик» и в буквальном смысле, не раз являлся, с брюзжанием нацепивши пенснэ на свой нос, выручать меня из химических моих недомыслий; в этом обучении им меня «химической сметке» изживалося обучение им меня вниманию к собственным мыслям, чтобы искомый мной синтез, смыкающий тезу и антитезу ножниц, был бы квалитативен, а не только квантитативен. И опять-таки не случайно я у него на столе произвел химический взрыв: считаю, что я-таки приложил руку к тому, чтобы взорвать в нем излишне гипертрофированное равновесие ножниц в бурное бегание одного лезвия вокруг другого лезвия; ведь органическое общение есть взаимообщение; и из того, что он мне безмерно дал в жизни, как добрый гений ее очень значительных моментов, заключаю: я не мог не дать хоть чего-нибудь; иначе не было б нашей тридцатилетней дружбы.

В смысле конфигурации людей вокруг заветнейшего ядра моих устремлений в точку рубежа, отделяющего декабрь 1900 года от января 1901, Соловьевы и А. С. являли собою ножницы: А. С. испытывал: добротно ли то, что меня связывает с Соловьевыми; а Соловьевы испытывали: добротен ли тот дуализм устремлений, которого порой опасались они. И опять-таки удивительно гармонично: эпоха первой моей попытки сомкнуть ножницы педалированием весной 1901 года теми интересами, от которых я должен был отчасти отвлечься в 1899 году (педалирова-

нием интересами к естествознанию),— эта эпоха совпадает с появлением А. С. у Соловьевых, не случайным, конечно; и — просто увлечением им Ольгой Михайловной Соловьевой, которая с той поры мне тычет Алексеем Сергеевичем в нос:

— Нет, Боря,— не так: Петровский, вот другое дело!

Или:

— Нет, вы шатаетесь: тверд только Петровский!

Не случайно, что мое первое знакомство с Брюсовым у Соловьевых произошло в присутствии Петровского: встретились три представителя рубежа и схватки столетий; на другой день мы встретились трое опять, в той же квартире Соловьевых (при моей встрече с Мережковскими); и Брюсов записывает в своих «Дневниках»: «Были там еще два наших студента-декадента: Бугаев Борис Николаевич и Петровский» (стр. 110)[76].

Алексей Сергеевич отстоял в то время за тридевять земель от всяческой литературы и «Скорпиона»; тем не менее Брюсов воспринимает А. С., как «нашего», как «декадента»; и это — ощущение сходства в «нет» произносимого всему старому, и ощущения перехода через «рубеж» двух столетий.

Алексей Сергеевич в эпоху 1899—1900 годов всем жестом общения со мной невольно поворачивает меня на прошлое, заставляя синтезировать в единый образ ступени расширения той же картины, под которой я подписал бы «конец»: конец столетию, конец эпохе, конец быту; и заставляет сказать сериознейшее «нет» всему тому, от чего я страдал двадцать один год.

И я вижу этапы развития той темы в себе, которая проходит сквозь все мое творчество от 1901 года до 1929.

Первый этап — чувство отчаяния, ужаса, непонимания; и это — застенная жизнь: жизнь профессорской квартиры, которая — грандиозный развал; но, подпертая со всех сторон лозунгом так «надо», так «у всех», она прикрывает развалы свои коврами, гардинами, креслами, чтобы вызвать во мне вскрик бреда; позднее вижу: участники этой бессмысленной жизни — прекрасные люди; выдающийся отец, в иных движеньях своих до сих пор прямо сияющий мне, но связанный императивом «быта», и мать, томящаяся, полубольная и еще более связанная.

Я уже четырех лет испытываю на себе терзающую меня лапу «эдакой жизни»; и не могу, не хочу, не имею права перелагать вину терзаний на тех, кто всею жизнью растерзан: растерзана, деформирована жизнь крупного уче-

ного и благороднейшего человека от побоев, наносимых Бугаеву-мальчику надзирателем-зверем, до истерических истерзов профессора Бугаева семейною обстановкой; и я вижу яркое, честное одаренное существо, деформированное поклонением с детства, с насильственно раздутыми эгоистическими пароксизмами и лишенное всякой возможности осмыслить свою болезнь; не как сын утверждаю я, что родители мои в корне — прекрасные люди, а как писатель-аналитик, разглядывающий их со стороны после сорока лет раздумий над ними.

Итак, виноваты не они, а квартира, сплетенная с другими квартирами: виновата профессорская среда и профессорская квартира,— не наша, а среднеарифметическая квартира профессора; нет, неспроста я в первом жесте вылета из нее разразился в 1903 году манифестом против «либералов и консерваторов»; в этом «Открытом письме», напечатанном в первом номере «Художественной хроники», издаваемой при журнале «Мир Искусства», разговор шел не о партиях, не о программах, а о слишком хорошо мне известной профессорской квартире; ошибка юноши заключалась в том, что я не проставил: «Открытое письмо к профессорам-либералам и к профессорам-консерваторам», ибо к ним-то я и обращался; и то, что это письмо было понято по адресу, свидетельствует тот факт, что максимум ярости оно вызвало именно в профессорском кругу; в других кругах прочли, покачали головой, забыли; а в профессорском кругу обвели красным карандашом, запомнили,— срезали на государственном экзамене, устраивали маленькие пакости в университете, демонстрировали мне презрение над гробом отца, через год негласно уведомили, чтобы я лучше не поступал на филологический факультет, ибо мне на нем делать нечего; скажите, пожалуйста,— какое чтение в сердцах у юноши, страстно одушевленного пройти философскую школу под руководством «опытных педагогов»; но именно «опытные педагоги» и не захотели быть «педагогами» со мной, отказывая в «семинарии» (уведомление шло от кругов, где доминировали Сергей Трубецкой и Лопатин). Я не послушался и, так сказать, просунул голову в львиный ров.

Такая исключительная «белобоязнь» длилась до 1910 года; Бальмонту — прощали; Брюсову — прощали; Блоку — прощали; Белому — не прощали! Чего? Жеста по адресу профессорской квартиры. И уже в 1925—1926 годах шептали, что я-де в романе «Москва» осмеял ученую интеллигенцию в угоду кому-то и чему-то; не говоря о том,

что в романе «Москва» профессор Коробкин задуман, как апофеоз подлинной интеллигенции от науки (напечатан лишь первый том, второй — пишется);[77] в этих шепотах о подоплеках осмеяния мною «профессорской квартиры» — явная клевета, ибо не в 1925 году она увидена, а в 1890 году; и увидена, и изжита до дна.

Именно увидено то, что увидел Коробкин: «Дом — домом; ком — комом; фасад за фасадом — ад — адом» («Москва»)[78]. Или: «Странно: гиблемым выглядел собственный дом!.. Вся квартира стояла в чехлах несволочных; душненький припах стоял нафталина... Доисторический, мрачный период, еще не осилен культурой; культуры же — примази; поколупаешь — отскочат, дыру обнаружив, откуда... выскочат... допотопные шкурой обвисшие люди: звериная жизнь — невыдирная чаща, где стены квартиры, хотя б и профессорской,— в трещинах-с, в трещинах-с!.. Квартиры, дав трещины, соединились в сплошной лабиринт...» и так далее («Москва»)[79].

Новая тема книги — биографически показать сплошной лабиринт из квартир, ставший «бытом», на рубеже двух столетий; над этим-то «бытом», согласно увиденным, мы и вздыхали с Петровским, вперяясь в него, переживая «вперение» это почти как сеанс, слыша веянье бредов и мороков; и опять не случайно, что первый мой бред предстает в виде доктора Родионова, «бытовика», принявшего образ меня растерзывающего Минотавра; и тотчас за ним следует глухое бубуканье почтенного академика Янжула из-за квартирной стены; он живет за стеною, а переживается, как имеющий постоянную возможность у нас появиться, восстав у постели напуганного ребенка; в переживанье сознанья, уже в 1884 году, «квартиры, дав трещины, соединились в сплошной лабиринт».

Я разделяю почтеннейшего Ивана Ивановича, очень доброго человека, от детского морока; но и очень добрый, ученейший академик грубыми играми с детьми (у Стороженок) и грубейшим советьем мне гривенников, точно я нищий, перепугал ребенка, меня: перепугал грубым жестом; никто не учил меня инстинктивному отвращенью пред грубостью; то инстинктивный протест человеческой натуры против животного проявления в «академике», о котором отовсюду слышал я преславные вещи; соединяясь с такими же грубостями, этот жест и диктовал картину, которую через сорок лет я набросал в романе «Москва» в согласии с юношеским «Открытым письмом», опять-таки согласным с настроением детского бреда: «Культура же —

примази; поколупаешь — отскочат, дыру обнаружив, откуда... выскочат... допотопные шкурой обвисшие люди»... А Лясковская, крестная мать,— не звериха ли, обвисшая миллионом, как шкурою, но примазавшая себе культуру чтением «Вестника Европы»? А добродушнейший Стороженко, произносящий пустые слова и под «либеральным» девизом нестеснения свободы мирно превращающий своих бесшабашных сынов просто в черт знает что? Неужели нельзя было поговорить осмысленно, повлиять по-человечески? Не верю, что невозможно, просто не было «культурно»-человеческих слов.

И опять должен заметить: как раз повезло мне увидеть жесты высокого человечества и слышать слова, действовавшие, как огонь, выжигающий лозунги живой жизни; но — не в среднеарифметической квартире-лабиринте: за исключением иных слов отца, жестов Л. И. Поливанова и квартиры Соловьевых, я ничего не увидел и ничего не расслышал, кроме парок бабьего лепетанья да холодно-каменных общих мест, рассеянно уделяемых ребенку, отроку, юноше. Отец запомнился, потому что он был мне отец, а не только «профессор»; и должен сказать: то изумительное, чем он живет до сих пор во мне, было опричь «квартиры-лабиринта»; ведь он же и был — «московский чудак», подчас грубо осмеиваемый Стороженками и Линниченками! Поливанов, но он был — индивидуалист; выше я попытался отметить, что Поливанов и Поливановская гимназия, то есть Поливанов и «папашины сынки», распространяющие душок папаш в руководимой им гимназии, находились в противоречии; он — не быт, а выскок из быта, и в системе жестов, и в системе обучения им ощупывать слово мне с третьего класса убил он быт подхода к словесности Веселовских, Стороженок и К° .

Соловьевы же были уныром из быта.

Можно говорить о среднеарифметической квартире, среднеарифметическом слове, среднеарифметической душевности; и — вот среднеарифметическая квартира — накур, пыль и чих (а позднее, когда износилась она — клопы, моль, пауки); среднеарифметическое слово — тупое, общее, черствое; озираешь двадцать один год себя в обстании этого слова; и видишь: ни одного сердечного слова (все сердечные слова услышаны в ином месте, и после); среднеарифметическая душевность — бездушие, дыра (душа провалилась); и под флагом служенья абстрактному, даже «научному» идеалу я видел явленья дикарские, напоминающие скальпирование.

Оговариваюсь: говорю о впечатлении от среднеарифметической суммы, которой реальнейше соответствует нечто весомое, твердое, материальное, то есть «быт»; и оно таково: среднебытовой человек в нем не человек; он декомпонирован в абстракцию, веющую над челом человека в виде дымка папиросы и после твердеющую в виде клопиного кресла, человеческой подставки, то есть чего-то ниже стоящего.

Переходишь к личностям и наталкиваешься на яркие, удивительные, благородные, талантливые фигуры, но деформированные, как ноги в мозолях, чудачеством, бессилием, перепугом, рассеянностью и круговою порукою: не колебать устоев.

Но этот быт — часть целого, ведущая в иные квартиры; квартира высококвалифицированного интеллигента в действительности зависит от многих квартир; неспроста моя крестная мать вела (вот только чем?) наш быт: и за нею в бессильном социальном идиотизме плелись интеллигентные семейства, почтительно ее поздравляющие с днем рождения; она — импонировала какою-то силою, неизвестной в нашем дрябло-бессильном быту; и это была сила «Железной пяты»; мое детское впечатление, что она — баба Яга Костяная нога, имело социальные корни: ведь баба Яга едет в ступе: в *ступе*, а не в *костяной ноге* — сила Яги; *ступа* — социальная форма; *ступа* — буржуазия; и сама крестная мать не ведала, какою «тайной» силою она импонировала; и те, кому импонировала она, не видали, какой «тайной» силе они подчиняются.

Более того: изумительный педагогический талант Поливанова не ведал, о что разбивается он, пленяя мальчишек уроками и все же не сдвигая мальчишек с какого-то устоя, перетиравшего и Поливановскую гимназию в порошок; мальчишки, разбегаясь по домам, являлись из домов «сынками», и только «сынками»; но «папаши» их — не профессора; средняя равнодействующая их — русская интеллигенция, буржуазно-дворянская; в ней растворялось и «профессорское» начало без остатка.

Поливановская гимназия, устраивавшая мне гонения «сынками» папаш, выявила мне более широкий кусок тогдашних устоев. И впечатление от него — вздрог испуга: вспоминаешь отдельных товарищей, отдельных преподавателей; и вспоминаешь быт гимназический со странным вздрогом!

Моя реакция в различных отрезках времени в зависимости от возраста на быт — естественна: реакция на без-

отрадную эмпирику арбатской квартиры — улет из нее на крыльях лебедя; об этом лебеде рассказывала моя гувернантка, Раиса Ивановна; улет открывает в моей душе эпоху господства *сказки;* запрет сказок привязывает цепью к квартире: сжимаясь в точку, отдаюсь культу *музыки;* страдания будней заставляют меня искать *страдания.*

Позднее услышав о том, что эволюция и прогресс, на гребне которых — мы, мягко и безболезненно пронесут человечество в будущее, я начинаю постигать всю скуку такого будущего и проникаюсь непобедимою нелюбовью к позитивистическому мировоззрению, этому винегрету из научных понятий над фактами науки; отсюда — позднейшая моя борьба за эмансипацию фактов от стабилизации их в механицизме и позитивизме; и отсюда же — ненависть к оппортунизму, которая выражается в определенном росте пессимизма, заставляющего меня из философских систем отобрать систему, проповедующую *страдание и отказ от жизни;* семиклассник-шопенгауэрианец переживает картину мира по Шопенгауэру, имея образцом этого мира с детства ему поданный пессимизм, переходящий позднее в анархизм, в трагическое *миросозерцание борьбы и героических усилий* к созданию ценностей, переживаемых по Ницше; эпоха увлечения Ницше — первый университетский год, совпадающий с началом вырыва из гимназии, которая мной прочитана в лозунге «Мир есть мое представление» (и представление — унылейшее). Моя борьба — борьба с преодолением «ножниц» меж личной моей волей к новому и поданным мне представлением будто бы объективности.

Характерно, что с 1901 года, который считаю в себе началом бурного ухода от «профессорской действительности», с меня слетает вся мне навязанная мрачность; романтика переживанья «зорь» есть вместе с тем и чувство радости освобождения от навязанных детством представлений, и чувство физического оздоровления. Итак, от ужаса — к сказке и музыке, обосновываемым эстетикой ухода от мира страданий; и далее: из укрепленного центра самосознания — врыв в действительность для пересоздания ее (философия героизма); по-новому врыв — от узнания: действительность, тебя терзавшая, сама перетлела в ничто.

Если вы соберете лозунги моих статей эпохи 1903—1910 годов, напечатанные в «Символизме» и в «Арабесках», то вы увидите в них позвоночник моих миросозерцательных усилий, как диалектику пути от пессимизма через трагизм к загаданной в образах новой культу-

ре; диалектика имеет эмпирикой биографию; в ней — основное ядро, характеризующее меня, а не в окраске скобок, внутри которых еще осознаваемые потенции к культуре; окраски разные: мистические, анархические, теологические, социалистические, поданные в тональности символизма, не позволяющего догматически прикалывать устремления эти ни к скобкам, ни к окраскам их.

В университете картина быта расширена в картину бытов; вернее, в картину столкновения бытов.

Во-первых: я вижу профессора, вынесенного за скобки квартиры, это — профессор на кафедре и профессор, научный руководитель (в лаборатории, на семинарии); и этот профессор в среднем выявляет себя бесконечно свободнее, глубже, интереснее, чем у себя на дому и в гостях; пример: Умов, которого я знал в детстве как монумент собственной скуки и которого я увидал с кафедры иным; открывается мне: подлинно ценное в профессоре, как в человеке и как в ученом, в его квартире есть миф, подчас преследуемый «бытом» (отец — такой изящный и ловкий, едва усядется за зеленый стол; и он же, такой косолапый, беспомощный у себя дома); профессор с кафедры лишь выявляет свой бытовой облик, как деформацию, как мозоль.

Быт профессора, так сказать, замозолил; замозоливание имеет место, как только он сойдет с кафедры, попав в кулуары лабораторий, где уже господствуют сплетни, взаимные притеснения, захват столов Марковниковым, показывания кулака Усовым Бредихину; даже на крупных личностях налипает примазь звериного быта, от которой свободен в научном полете он.

Но научный полет еще не действительность, построенная на данных науки и логики; это мне ясно открылось именно в эпоху моего собирания научных фактов и горения научными интересами; от микробиологии, к которой влекло, был отбит двумя «бытовыми» фактами: мелкостью Зографа и отсутствием рабочих мест у гонимого интригой Мензбира; второе мое покушение на научный интерес с изучением орнамента, которым могла бы определиться и вся будущая карьера, ибо в этом интересе увязывались наука с искусством; в нем не было «ножниц», мучительно переживаемых мной; но добрейший Д. Н. Анучин, сказал бы я, с халатностью, не умеющей разглядеть интереса в студенте, упорным отпугиваньем от интересующей темы и пришитием меня к неинтересной мне географии способ-

ствовал рождению анекдотика: появления географа-специалиста.

Мне до сих пор стыдно, что я писал сочинение «Об оврагах».

Университет вскрыл неравновесие, уравновешиваемое бытом: что общего между кипучей фигурою Тимирязева и благодушием Сабанеева, Мензбиром и Зографом?

Они встречались, здоровались, жили — все в том же «быте» или в точке пересечения разнородных устремлений, переживаемой косностью непеременного центра; принцип относительности не был сформулирован; время было университетское, стрелка которого двигалась с угла Моховой; унитаризация времен в среднем времени Моховой — унитаризация бытов, в «быте» царской России; мое узнание о том, что такого среднего времени нет, а только кажется, что оно существует, и было пережито в картине иллюзионизма, охватившей в гимназии и ставшей картиной кризиса. С какой-то минуты я понял: давящая меня материальность — не материальна; прочная почва наших квартир — не прочна; и это открылося с потрясающей просто реальностью; я не видел в те годы социально-экономических условий, ведущих к неравновесию; моя грамотность (естественнонаучная, философская, литературная) обогащалась ценою социальной неграмотности, опять-таки поданной бытом, в котором было много высказываний либеральных и политических; но лозунги научной социологии не доходили; Янжул с детства жужжал: «По штатиштичешким данным». Виделись статистические таблицы потребления соли; Янжул был же... фабричным инспектором, а потом и сотрудником Витте;[80] а Янжул был... академиком.

Только с конца 1901 года, с начала знакомства с образованным экономистом, зубы проевшим на Марксе, Л. Л. Кобылинским (потом Эллисом) — начинаются социологические интересы; чтению по социологии начинаю отдаваться лишь с 1903 года; в 1904 году я, студент-филолог, голосую за прекращение лекций и превращение университета в революционную трибуну; и с той поры я — левый; сознательность — от теоретических усилий включить в программу чтения социологию, от чтений Меринга, Каутского, Маркса, Бебеля, Зомбарта, Штаммлера и ряда книг, конкретно показующих, в чем научность социализма.

В эпоху же прохождения курса естественных наук социализм видится до крайности упрощенным; и я отвергаю его за сентиментализм и беспочвенность; он мне подан

в сплетении с либеральными заскоками Ковалевских, которым цену я знаю; в то время и либералы, и консерваторы заслоняют от меня политический горизонт; от рабочего и крестьянского движения я отрезан бытом, незнанием фактов и неимением времени изучить то, что мне кажется лишь малым участком культуры и от чего с детства я отпуган бубуканьем Янжула:

«По штатиштичешким!»

И потому-то студенческие волнения переживаются мною, как симпатичный, но обреченный на провал утопизм, более того, как нечто, вызванное провокацией; анархический протест против государства и государственной общественности диктует мне невмешательство в то, что — есть иллюзия.

Таким подхожу я к рубежу (к январю 1901 года) с реальным знанием невероятного, небывалого кризиса всей культуры, включающего и будущие войны, и революции, и невиданные строительства, но без точного знания причин, складывающих картину будущего[81]. Но мои увлечения, заблуждения и правды «сквозь заблуждения» отмечают мне первые месяцы нового века; и потому-то я в теме рубежа отвлекаюсь от них, как осложняющих тему «рубежа», как предваряющих второй отдел моих исканий: символиста в «начале века».

Сказал бы я, что в «начале века» все темы, звучавшие глухо под сурдинкою, прозвучали громко и без сурдинки; а темы, звучавшие в конце века ярко, зазвучали уже под сурдинкою в первых месяцах начала века; в этом смысле рубеж столетий удивительно совпадает с моим биографическим рубежом; до 1901 года — одно; после — другое. Наконец 1901 год есть год моего совершеннолетия, которое опять-таки было мне не «аллегорией», ибо я в нем ощутил свою зрелость и свою свободу от 21-летней порабощенности.

Наконец в 1901 году появился на белом свете Андрей Белый, все более и более вытесняя Бориса Бугаева.

Кстати, в этом псевдониме я неповинен; его придумал Михаил Сергеевич Соловьев, руководствуясь лишь сочетанием звуков, а не аллегориями; я, ломая голову над псевдонимом, предложил мне нравящийся псевдоним «Борис Буревой», а М. С., рассмеявшись, сказал:

— Когда потом псевдоним откроется, то будут каламбурить: «Буревой — Бори вой!»

И придумал мне «Андрея Белого»[82].

До 1901 года я еще внешне заключен в быт; мое внебытовое бытие — урыв, бегство украдкой в квартиру Соловьевых; с 1901 года мои заходы к Соловьевым (иногда по три раза в день) перевешивают мою домашнюю жизнь; и я лишь возвращаюсь к «быту», не как жилец в нем.

До 1901 года у Соловьевых я все еще «мальчик Боря»; с 1901 года я — равноправный член «круглого чайного стола».

До 1901 года у меня, кроме Соловьевых, еще нет своих знакомств: встречи с Петровским и с Владимировым — главным образом встречи в университете, беседы в химической чайной, прогулки по Кремлю и сидения на лавочках Александровского сада. С 1901 года начинается быстрый рост моего круга знакомств,— того круга, который определил мне жизнь последующего моего, свободного, литературного семилетия; с Петровским мы тесно связаны постоянными заходами друг к другу; на моем горизонте появляются фигуры, которые становятся ближайшими и друзьями, и сотрудниками: фигура студента Кобылинского, с которым знакомлюсь у Соловьевых, с которым встречаюсь в самообразовательном кружке у Стороженок;[83] Кобылинский появляется и у нас в доме с 1904 года; с 1901 года я знакомлюсь с Метнером, чтобы с начала 1902 года вступить с ним в теснейшую дружбу; в 1901 году происходит мое знакомство с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, протягиваются связи со «Скорпионом» (через Брюсова) и с будущим «Мусагетом» (через Метнера); в 1901 году происходит впервые моя яркая встреча с поэзией Блока[84], до которой о Блоке у меня смутнейшие представления, что есть какой-то гимназист, Саша, как и мы, пишущий стихи; я более осведомлен о его матери, «Але», переписывающейся с О. М. Соловьевой[85]. В 1901 году и в университете подбирается «наш» кружок, то есть кружок около Владимирова, меня и Петровского, в скором времени вливающийся в кружок «Аргонавтов». Отбор людей, стиль отбора, уже не по линии естественнонаучных интересов, а по линии будущих литературных исканий; начинается явное начало формирования будущих кружков и выход из подполья вчерашних «подпольщиков».

В теме «рубежа» эти подпольщики иначе окрашены, чем в теме «начала века»; пишущим о «начале века» следует знать это начало в «до начале»; иначе их высказывания о фигурах начала века — писание вилами по воде или разгляд картины без грунта, фона и перспективы. В перс-

пективе понимания нас, как писателей 1900 годов, надо увидеть нас в 1890 годах; в них мы — не то, что принято о нас думать. «Андрей Белый», как «мистик» с трансцензусами в «потустороннее», или — хорошо известная карикатура, есть явление жалкое, то есть показывающее жалкость исторической критики; кто нас не видел в усилиях нашего роста, в учебе, в чтении Милля и в лабораторном чаду, тот не имеет никакого представления о нас и не имеет никакого ключа к пониманию нами написанного.

Не для полемики и не для самооправдания я пишу эту книгу — для правды; марксистская критика должна базироваться на подлинном материале, а не на сочиненном; сочинен средневековый схоласт Белый, соблазняющий Блока мистицизмом; может быть, «схоласт» Белый соблазнен неправильным истолкованием им изученных фактов естествознания; так это — тема двадцатого столетия, а не средних веков; так и надо говорить: Томсон, Оствальд, Эйнштейн вместе с «декадентом» Белым неправильно истолковывают данные науки и проблему имманентности; в этой оговорке — большая дистанция, отделяющая «символиста» начала века, вышедшего из профессорской среды, от двенадцатого столетия. На передержке не получится и правда клеймения.

Правда «рубежа» и поколения «рубежа» ждет исследователей, а задача лиц, принадлежащих к этому поколению, подать материал для суда, пусть сурового, но правдивого.

На этом заканчиваю книгу.

Кучино, 11 апреля 1929 г.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Арабески — Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М., Мусагет, 1911.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).

Материал к биографии — Белый Андрей. Материал к биографии. Автограф. 1923 г. 163 л.— ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3.

Почему я стал символистом — Белый Андрей. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. Ann Arbor, «Ardis», 1982 (Автобиографический очерк, написанный в 1928 г.).

Ракурс к дневнику — Белый Андрей. Ракурс к дневнику (январь 1899 г.— 3 июня 1930 г.). Автограф. 165 л.— ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100.

Символизм — Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., Мусагет, 1910.

Собрание эпических поэм — Белый Андрей. Собрание эпических поэм, кн. 1. «Северная симфония (1-я, героическая)», «Симфония (2-я, драматическая)». М., изд. В. В. Пашуканиса, 1917.

Стихотворения и поэмы — Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья и составление Т. Ю. Хмельницкой. Подготовка текста и примечания Н. Б. Банк и Н. Г. Захаренко. М.— Л., Сов. писатель, 1966 («Библиотека поэта», большая серия).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ЦГИАМ — Центральный Государственный исторический архив г. Москвы (Москва).

Эпопея, I — IV — Белый Андрей. Воспоминания о Блоке.— В кн.: «Эпопея», № 1—4. М.— Берлин, Геликон, 1922—1923.

Воспоминания «На рубеже двух столетий» печатаются по второму прижизненному изданию: Белый Андрей. На рубеже двух столетий. Издание второе. М.— Л., Земля и фабрика, 1931.

К работе над книгой Белый приступил в начале февраля 1929 г. «Вчера сел за «На рубеже двух столетий»,— сообщал он 6 февраля П. Н. Медведеву («Взгляд». Критика. Полемика. Публикации. М., 1988, с. 437). Работа шла быстро и очень напряженно. «Весь месяц сперва правка, а потом переписка первой половины «На рубеже двух столетий»,— записал Белый о своей жизни в феврале 1929 г.; аналогичная запись — о марте 1929 г.: «Весь месяц бешеная работа над *«На рубеже двух столетий»*. Писатель закончил книгу 11 апреля 1929 г. (*Ракурс к дневнику,* л. 139); 12 апреля он полушутя писал Р. В. Иванову-Разумнику: «...вышла злая книга *«На рубеже двух столетий»*, или генезис того, отчего меня в детстве *«мамка ушибла»*; и я вырос *«декадентом»*» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 20). Работа над первой частью мемуарного цикла, таким образом, заняла немногим более двух месяцев.

Книга вышла в свет в начале января 1930 г. в акционерном издательстве «Земля и фабрика» («ЗиФ»). Белый предпочел передать рукопись этому московскому издательству, а не Ленинградскому отделению Государственного издательства, по заказу которого была начата работа над книгой; см. письма Белого к П. Н. Медведеву от 23 апреля 1929 г. и 5 марта 1930 г., в которых аргументируется это решение («Взгляд», с. 439—444). Еще до выхода в свет отдельного издания три фрагмента из «На рубеже двух столетий» были опубликованы в журнале «Красная новь» («Апостолы гуманности»— 1929, № 7, с. 141—148; «Кариатиды и парки»— 1929, № 9, с. 107—124; «Тимирязев и Анучин»— 1929, № 10, с. 116—120.) Эта публикация осуществилась по инициативе Ф. Ф. Раскольникова, бывшего тогда редактором «Крас-

ной нови»; П. Н. Зайцев сообщал Белому в недатированном письме (середина мая 1929 г.): «Раскольников взял для журнала из «Рубежа» главы о профессорах (о М. Ковалевском, А. Веселовском, Стороженке и др.) и главу, где Вы даете портрет К. А. Тимирязева. Книга в целом на него произвела большое впечатление, и он отзывается о ней хвалебно, считает ее очень острой, а характеристики блестящими» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 188).

В архиве Андрея Белого сохранился автограф воспоминаний (полный текст), представляющий собой первоначально записанный текст с двумя слоями правки — синхронной написанию (чернилами) и позднейшей (карандашом) (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, 246 л.). Там же хранятся гранки (датированы 4 сентября 1929 г., текст — с начала до конца 1-й главы) с авторской правкой, в основном стилевого характера (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 6, ед. хр. 6, 36 л.). В архиве Государственного издательства «Художественная литература» содержится окончание этих гранок (со 2-й главы до конца) с авторской и редакционной правкой (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5595, 189 л.). Там же хранится верстка первого издания книги (датировка корректуры — 7 октября 1929 г.) — редакционный экземпляр с перенесенной авторской правкой (там же, ед. хр. 5596, 160 л.).

Год спустя после первого издания «ЗиФ»ом было подготовлено и осуществлено второе издание «На рубеже двух столетий». Для него Белый дополнил и исправил ранее опубликованный текст. О характере этой работы можно судить по сохранившемуся экземпляру верстки книги, по которому Белый готовил новое издание (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5597, 310 л.); на титульном листе верстки — запись: «Экземпляр, исправленный автором для второго издания. 12 июня 1930 г. П. Зайцев». Работа над переизданием книги велась по двум направлениям: внесение отдельных дополнений в текст (в основном в авторские подстрочные примечания) и большая стилевая правка, особенно обильная в последней главе (характер правки: замена слов и выражений в основном с целью смыслового уточнения, снятие многочисленных инверсий — например, фраза «Мне «декадентство» прощалось еще» меняется на: «Декадентство» еще мне прощалось», фраза «...вместо химии неорганической в голове пустая дыра завелась бы...» — на: «вместо неорганической химии в голове завелась бы пустая дыра», и т. п.). Некоторые из исправлений, сделанных Белым в этом экземпляре верстки, при новом наборе для второго издания остались незамеченными; в настоящем издании они отражены в тексте. В нем исправлены и многочисленные опечатки и искажения авторского текста во втором издании кни-

ги (видимо, работа с его корректурой велась автором и редактором недостаточно внимательно); в подобных случаях текст выправлен по первому изданию.

При жизни Белого готовилось и третье издание книги, которое автор предполагал кардинально переработать; на рукописи воспоминаиий — пояснительная запись Белого: «Рукопись (черновая) книги *«На рубеже»* (выйдет в Гихле в 1932—1933 годах) в сильно измененном виде. Эта редакция — единственная» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 1). Однако этот замысел остался нереализованным. В архиве Белого хранится письмо за подписью зав. секретариатом главной редакции Государственного издательства «Художественная литература» Юровицкой от 26 сентября 1932 г., в котором говорится: «...ввиду невозможности переиздать Ваш труд под названием «На рубеже двух столетий» в 1933 году в ГИХЛ'е, Вам разрешается одно издание этой книги в другом Издательстве» (*ЦГАЛИ,* ф. 53, оп. 4, ед. хр. 14).

Книга «На рубеже двух столетий» вызвала большое число критических откликов. Еще до ее выхода в свет историк С. Я. Штрайх опубликовал информационную статью, сообщавшую о выходе новой книги Андрея Белого, содержащей «яркие характеристики московской интеллигенции» и критику либеральной профессуры: «Вся книга написана в остро полемическом тоне. Читается она с интересом и тем большей легкостью, что в ней нет обычных для беллетристики Андрея Белого метафор и мифов, нет вычурностей напевного слога, который в воспоминаниях, однако, сохраняет привлекательность художественного стиля автора «Петербурга». В общем, новое произведение Андрея Белого представляет выдающееся явление в области русской мемуарной литературы как по своему содержанию, дающему характеристики многих деятелей предреволюционной России, так и по блестящему острому изложению, которое несомненно вызовет большие, плодотворные споры на затронутую автором тему» (Штрайх С. «На рубеже двух столетий».— Литературная газета, 1929, № 32, 25 ноября, с. 3).

Выразительность нарисованных Белым в мемуарах острых литературных портретов его старших современников ставили в заслугу писателю почти все рецензенты: «...книга, содержа большое количество порой ярких портретов московской профессорской интеллигенции конца века, несомненно, ценна для характеристики этой среды, а также для критического изучения истоков символизма и, в частности, творчества Белого» (Эльсберг Ж.— На литературном посту, 1930, № 5—6, с. 118); «...ряд превосходно сделанных характеристик и беглых силуэтов профессоров и преподавателей» (Благой Д.— Русский

язык в советской школе, 1930, № 2, с. 206); «большая галерея мастерски исполненных портретов» (Шем Л.— На подъеме (Ростов-на-Дону), 1930, № 4, с. 190); в «эскизах Москвы конца прошлого века» Белый «свободно владеет материалом, подавая его умело и ново. Портреты «математиков» и «гуманистов» очень характерны, «чудак» зарисован мастерски, хотя повторяет уже знакомого нам по «Москве». Бытовые картины даны Белым остро, без розовых красок» (Ситков И.— Книга и революция, 1930, № 15, май, с. 21) и т. д. В общей эстетической оценке мемуаров голоса критиков расходились. Э. Блюм отмечает: «Книга Белого перерастает мемуарный жанр. С одной стороны, она является неким предварительным исследованием, с другой — произведением художественной литературы, и едва ли не одним из лучших произведений Белого. Книга несомненно удобочитаема, хотя Белый и не совсем распрощался еще с нудным ритмизированием прозы и с неоправданными инверсиями» (Печать и революция, 1930, № 5—6, с. 119). «Белый — большой мастер. В его воспоминаниях есть меткие характеристики, ценные места, новые материалы»,— пишет Н. Плиско в статье «Путь писателя», одновременно высказывая и критические замечания: «...со стороны формы книга ниже обычного мастерства Белого. Автор не организовал материала, бесконечно повторяется, возвращаясь назад, забегая вперед, отчего книга непомерно разбухла» (Октябрь, 1931, № 4—5, с. 228). Л. Шем утверждал, что книга Белого «трудна для понимания, слишком утонченна по стилю и не верна в своих общих выводах».

Если в отношении художественных особенностей воспоминаний Белого мнения критиков были разноречивы, то в оценке их идейного содержания и полемической направленности все рецензенты были едва ли не единодушны. Лишь Ц. Вольпе признал, что «самые реабилитационные установки Белого в этой его последней значительной и интересной книге должны быть отмечены как факт, показательный для сегодняшнего этапа эволюции одного из крупнейших вождей русского символизма» (Звезда, 1930, № 9—10, с. 304). Другие критики решительно не приняли попыток Белого «реабилитировать» символизм и истолковать на новый лад свою былую литературную позицию; предложенная интерпретация была принята в штыки: с недоверием, с раздражением, зачастую с резкими выпадами по адресу «реакционного» и «буржуазного» писателя — выпадами, граничащими с политическими обвинениями, выдержанными целиком в духе и стилевой тональности господствовавшего тогда вульгарного социологизма. Стремление Белого разграничить символизм и мистицизм было признано несостоятельным (Рабинович М.— Новый мир, 1930, № 3, с. 208), но вместе с тем и самая попытка писате-

ля обозреть новым взглядом свое духовное и литературное прошлое огульно и голословно разоблачалась как «видоизмененная форма буржуазной атаки на позиции пролетариата» (Блюм Э.— Печать и революция, 1930, № 5—6, с. 119). Заявляли, что система литературных аргументов в «На рубеже двух столетий» — «прием настроенного против нас человека» (Плиско Н.— Октябрь, 1931, № 4—5, с. 228), что «все хитросплетения автора ничего не в состоянии опровергнуть; идеалистом он был, идеалистом он остается. Отсюда — пороки его мировоззрения, отсюда — недостатки его художественного метода, отсюда — критическое отношение к Белому марксистской критики» (Ситков И.— Книга и революция, 1930, № 15, с. 22).

Такая реакция печати, безусловно, не могла не оказать своего определенного воздействия на драматическую судьбу следующей книги мемуарного цикла Белого — «Начала века».

ВВЕДЕНИЕ

[1] Цитируется (с сокращениями) заключительный абзац 1-го раздела («Очаг») статьи А. А. Блока «Безвременье» (1906). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 5. М.—Л., 1962, с. 70.

[2] Цитата из 2-й главки автобиографической поэмы Белого «Первое свидание» (1921) (*Стихотворения и поэмы,* с. 413).

[3] «Прóклятыми» называли французских поэтов второй половины XIX в., по преимуществу ранних символистов, выступавших в резкой оппозиции по отношению к официальной морали и традиционным эстетическим вкусам и правилам (Тристан Корбьер, Морис Роллина, Жан Ришпен и др.); в расширительном смысле это определение, восходящее к серии очерков Поля Верлена «Прóклятые поэты» («Les poètes maudits», 1884), охватывает всю французскую предсимволистскую и раннесимволистскую поэзию (Ш. Бодлер, Верлен, С. Малларме, А. Рембо и др.).

[4] Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер выступают у Белого как характернейшие выразители позитивистского мировоззрения, господствовавшего в русской «профессорской» среде последней трети XIX века.

[5] Это выражение — означающее неумение анализировать и обобщать факты, узкий, функциональный подход к явлениям — в сочинениях В. И. Ленина не встречается.

[6] *Квалитатизм* — от лат. qualitativus (качественный); *квантитатизм* — от лат. quantitas (количество). Под «стылыми нормами элейского бытия» понимаются основоположения элейской школы древнегреческой философии (VI — V вв. до н. э.), выдвинувшей понятие единого бытия как непрерывного, неизменного, присутствующего в каждом элементе действительности, исключающего множественность вещей и их движение.

[7] Термин, изобретенный Белым из фамилии И. И. Янжула; подразумевается специфически «московская» версия либерально-позитивистского миросозерцания.

[8] Сокращенная цитата из статьи «Люди с «левым устремлением» (1907) (*Арабески*, с. 341).

[9] «История философии в биографиях» (1845—1846) — труд Дж.-Г. Льюиса, последователя О. Конта, получивший широкое распространение (русский перевод —«История философии от начала ее в Греции до настоящего времени» — издавался в 1865, 1889, 1892 и 1897 гг.); история философии рассматривается Льюисом как история человеческих заблуждений, исключающая возможность иного пути познания, кроме позитивизма.

[10] Подразумевается издание: Дневник Ал. Блока. Под редакцией П. Медведева. Т. 1—2. Л., 1928.

[11] Имеется в виду характеристика Цицерона в очерке Блока «Катилина. Страница из истории мировой Революции» (1918): «...он не был тем, что в наше время называется словом «пораженец»; он не был им, почему ему и не пришлось произвести такого гигантского и не совсем ловкого прыжка от «пораженчества» к «оборончеству», и даже еще гораздо дальше, какой пришлось недавно произвести многим умеренным русским интеллигентам. Нет, он рассуждал гораздо последовательнее; я думаю, не потому, чтобы он был головой выше многих русских интеллигентов: нет, Цицероны есть в России и в наше время; может быть, это можно объяснить тем, что в Риме был уже четыреста лет республиканский образ правления и римская интеллигенция, развиваясь более естественно, не была так оторвана от почвы; она не надорвалась так, как наша, в непрестанных сражениях с чем-то полусуществующим, тупым, бюрократически-идиотским» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М.— Л., 1962, с. 71—72). В письме к Блоку от 12 марта 1919 г. Белый оценил «Катилину» чрезвычайно высоко: «Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями; я прочел в этой статье не только то, что Ты сказал, но и то, что Ты не сказал: прочел не в мыслях, а в ритме 〈...〉» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Редакция, вступит. статья и комментарии В. Н. Орлова. М., 1940, с. 340).

[12] «Ante Lucem (1898—1900)» — цикл юношеских стихотворений, открывающих первую книгу трехтомного «канонического» свода «Стихотворений» Блока.

[13] *Консеквентный* — последовательный.

[14] Имеется в виду книга: Брюсов В. Из моей жизни. Предисловие и примечания Н. С. Ашукина. М., 1927. В ней помещена незаконченная автобиографическая повесть Брюсова «Моя юность».

[15] Знаменитое однострочное стихотворение Брюсова (1894), на долгие годы обеспечившее его автору скандальную славу, было впервые опубликовано в 3-м выпуске сборника «Русские символисты» (М., 1895).

[16] О своем увлечении философией Б. Спинозы в гимназические годы Брюсов говорит в повести «Моя юность» (Брюсов В. Из моей жизни, с. 72—73, 121); ср. его дневниковые записи: «...отдыхал на любимом Спинозе» (28 июля 1892 г.), «Весною я увлекался Спинозою» (26 марта 1893 г.) (Брюсов В. Дневники. 1891—1910. Приготовила к печати И. М. Брюсова. Примечания Н. С. Ашукина. М., 1927, с. 6, 13). См.: Кульюс С. Валерий Брюсов и Спиноза.— В кн.: Сборник трудов СНО филологического факультета. Русская филология. V. Тарту, 1977, с. 70—98.

[17] 4 марта 1893 г. Брюсов записал: «Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство»; 22 марта: «Что, если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить ощущения Fin de siècle! Нет, нужен символизм!» (Брюсов В. Дневники, с. 12, 13).

[18] Имеется в виду статья И. Н. Игнатова, представляющая собой обзор литературных новинок, в которой о «Симфонии (2-й, драматической)» говорится: «По странному капризу издателей новое издание осмеивает многое из предыдущих творений, изданных тем же «Скорпионом». «Симфония» смеется над беллетристикой «настроения», над современными мистическими тенденциями, над стремлением славить в Достоевском не столько великого психолога, сколько посредственного пономаря. Местами насмешки остроумны, пародия удачна, тон выдержан, и трудно удержаться от смеха» (И. Литературные новости.— Русские ведомости, 1902, № 126, 9 мая).

[19] Обостренный интерес к идеям и образам Фридриха Ницше впервые проявляется у Блока в декабре 1906 г. См.: Паперный В. М. Блок и Ницше.— В кн.: Типология русской литературы и проблемы русско-эстонских литературных связей. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 491.) Тарту, 1979, с. 84—106.

[20] В своих воспоминаниях Т. Л. Щепкина-Куперник пишет о М. А. Саблине («дедушке»), редакторе «Русских ведомостей»:

«Какие приятные «чаи» задавал нам иногда дедушка в редакции «Русских ведомостей» 〈...〉 В то время, как Соболевский, Игнатов и др. были «Мариями» газеты, он был тою «Марфой», без которой, может быть, остановились бы все колеса этого большого механизма» (Щепкина-Куперник Т. Л. Дни моей жизни. Театр, литература, общественная жизнь. М., 1928, с. 288—289). Сестры Мария и Марфа, принимавшие в своем доме Иисуса (Евангелие от Луки, X, 38—42), символизируют, соответственно, два пути жизненного служения — «небесный» и «земной».

[21] Ср.: «...когда старый профессор Стороженко 〈...〉 пропустив мою пьесу «Вечность в мгновеньи», напечатанную в «Артисте» после постановки в Малом театре, сказал мне, что ему «особенно понравилась общая идея произведения» — я прямо задохнулась от радости 〈...〉» (Щепкина-Куперник Т. Л. Дни моей жизни, с. 292).

[22] Щепкина-Куперник сообщает о В. А. Гольцеве: «Он написал целую шуточную поэму в прозе, в которой изобразил себя «Лаптем» народнического направления, Чехова — орлом, а меня — малиновкой 〈...〉 «А малиновка все пела!.. Боги Греции, как она пела!» — кончалась поэма» (там же, с. 292—293).

[23] См.: там же, с. 290.

[24] См.: Белый Андрей. Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам.— Хроника журнала «Мир искусства» за 1903 г., № 7, с. 65—67. В этом «манифесте» Белый отказывался продолжать старые споры «либералов» и «консерваторов» («У нас трещит голова от этих споров») и возвещал о новом жизненном мироощущении: «Наше поколение — пограничная черта между двумя, коренным образом расходящимися, периодами. Приветствуя зарю, которую еще, быть может, и не увидим, мы отпеваем старое. 〈...〉 Мы мост, по которому пройдут наши более счастливые дети. Все наше внимание должно сосредоточиться на том, чтобы эта переправа совершилась».

[25] Выпускные государственные экзамены в Московском университете Белый сдавал в мае 1903 г.

[26] «Симфония (2-я, драматическая)» — литературный дебют Белого — была выпущена в свет под маркой московского модернистского издательства «Скорпион» в апреле 1902 г.

[27] Слова Фамусова, заключающие «Горе от ума» А. С. Грибоедова: «Ах! боже мой! что станет говорить//Княгиня Марья Алексевна!»

[28] Цитата из стихотворения А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (1901).

[29] Цитата из «Симфонии (2-й, драматической)» (1901) (*Собрание эпических поэм*, с. 317).

[30] Заключительная фраза «Северной симфонии (1-й, героической)» (1900), троекратно повторяющаяся в финале (*Собрание эпических поэм*, с. 121).

[31] Цитата из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм*, с. 302).

[32] Там же, с. 247, 243 (с сокращениями).

[33] Неточная и сокращенная цитата (там же, с. 314—315).

[34] Там же, с. 201.

[35] В заметке «Вместо предисловия» к «Симфонии (2-й, драматической)» Белый указывает: «Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический» (там же, с. 125).

[36] В перечне критических откликов на свои произведения Белый упоминает «отзыв Игнатова в *«Русск⟨их⟩ Ведомостях»* (1902 год), дружелюбный по недоразумению (автор принял *«Симфонию»* за пародию на декадентов)» (*ГБЛ*, ф. 198, карт. 6, ед. хр. 5, л. 19—19 об.). Ср. примеч. 18.

[37] Сокращенные цитаты из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм*, с. 233, 320).

[38] В перечне действующих лиц «Ревизора» Н. В. Гоголя Февронья Петровна Пошлепкина — слесарша; жена унтер-офицера обозначена анонимно.

[39] *София* — понятие-мифологема античной философии, связанное с представлением о смысловой наполненности и устроенности вещей, в христианской теологии — олицетворенная мудрость божества. Белому наиболее близка была трактовка Софии Вл. Соловьевым как вечно женственного начала божества, единства, не противополагающего себя множественности, но все в себе заключающего. Соловьевскую трактовку Софии развивал и его последователь С. Н. Булгаков. Его книга «Философия хозяйства» включает раздел «Софийность хозяйства», в котором говорится: «*Человеческое творчество* — в знании, в хозяйстве, в культуре, в искусстве — *софийно*. Оно метафизически обосновывается реальной причастностью человека к Божественной Софии, приводящей в мир божественные силы Логоса»; «...хозяйство софийно в своем метафизическом основании. Оно возможно только благодаря причастности человека к обоим мирам, к Софии и к эмпирии ⟨...⟩». Утверждая «софийность хозяйства как внутреннюю движущую силу, как его основание», Булгаков подчеркивает: «...окончательная цель хозяйства — ⟨...⟩ есть только *путь* мира к Софии осуществленной, переход от неистинного состояния мира к истинному, трудовое восстановление мира» (Булгаков С.

Философия хозяйства, ч. 1. Мир как хозяйство. М., 1912, с. 139, 141, 145, 155).

[40] «Слово как таковое» (М., 1913) — брошюра А. Крученых и В. Хлебникова, включающая эстетический манифест футуристов того же заглавия.

[41] *Рион* (Риони, у древних — Фасис) — река в западном Закавказье, впадающая в Черное море около г. Поти. Согласно греческому мифу, аргонавты — участники плавания на корабле «Арго» — прибыли за золотым руном в устье Фасиса. В первой половине 1900-х гг. Белый был одним из инициаторов и вдохновителей кружка «аргонавтов» — молодых людей, по большей части студентов, объединенных мистическими и «жизнетворческими» помыслами.

[42] Первые две строки стихотворения «С. М. Соловьеву» (февраль 1901 г.), входящего в книгу Белого «Золото в лазури». См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 153.

[43] «Историю индуктивных наук» (1837) Вильяма Уэвеля в русском переводе М. А. Антоновича (3 тома) Белый изучал летом 1899 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 1).

[44] В наборной машинописи после этих слов — начатая с абзаца фраза, вычеркнутая красным карандашом (вероятно, редакторская купюра): «Николаша, критик мой,— провижу «папашу» в тебе, в каких бы коммуноидных оперениях ты не являлся мне!» (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5594, л. 13). 11 июня 1929 г. П. Н. Зайцев сообщал Белому: «С. Я. Штрайх указал на желательность устранения в предисловии нескольких строк, где Вы говорите о коммуноидах Николашах и о символизме в связи с марксизмом. По его мнению, не стоит дразнить гусей. Я с ним согласен. Думаю, что и Вы не станете возражать» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 188).

[45] В наборной машинописи слово «критик» написано взамен зачеркнутого: «почтенный Николаша» (т а м ж е, л. 14).

[46] Об «эпохе зари» Белый писал уже в начале 1901 г.; ср. его письмо к М. К. Морозовой (февраль 1901 г): «Мы все переживаем зорю... Закатную или рассветную? Разве Вы ничего не знаете о великой грусти на зоре? Озаренная грусть перевертывает все; она ставит людей как бы вне мира», и т. д. (*ГБЛ*, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 1а).

[47] В 1902 г. на Мартинике (остров в группе Малых Антильских островов) произошло сильное извержение вулкана Мон-Пеле.

[48] Намек на лидера кадетской партии П. Н. Милюкова, обосновывавшего завоевательную программу России в мировой войне, в том числе оккупацию Константинополя и проливов, соеди-

няющих Черное и Средиземное морн. В поэме Белого «Христос воскрес» (1918) «расслабленный интеллигент» произносит

Негодующие
Слова
О значении
Константинополя
И проливов ⟨...⟩

(*Стихотворения и поэмы*, с. 397—398). К. Л. Зелинский в статье о «На рубеже двух столетий» («Профессорская Москва и ее критик»), приводя комментируемые слова, характеризует их как «задиристое обращение к Милюкову» (Зелинский К. Критические письма. М., 1932, с. 71).

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАТЕМАТИК

[1] Роман «Крещеный китаец» (первоначальное заглавие — «Преступление Николая Летаева») в основе своей автобиографичен; в образе его героя, Летаева-отца, запечатлены черты Н. В. Бугаева. Цитируется по изданию: Белый Андрей. Крещеный китаец. М., «Никитинские субботники», 1927.

[2] Контаминация четверостиший из стихотворения «Запламенел за дальним перелеском...», входящего в цикл «Н. В. Бугаеву» (1903, 1914) (*Стихотворения и поэмы*, с. 505).

[3] Неточно цитируется первое четверостишие 2-го стихотворения цикла «Н. В. Бугаеву» (*Стихотворения и поэмы*, с. 506).

[4] Неточная и сокращенная цитата. В тексте упоминаются московские книжные магазины Владимира Готье (Кузнецкий мост, дом Захарьина) и Александра Ланга (Кузнецкий мост, дом кн. Гагарина). Через магазин Готье обычно выписывались французские книги, через магазин Ланга — немецкие.

[5] Цитата из «Крещеного китайца». Текст исправлен по оригиналу (в обоих изданиях «На рубеже двух столетий» — пропуск частицы «не»: «точно видя себя»).

[6] Неточная и сокращенная цитата (Белый Андрей. Крещеный китаец, с. 8).

[7] Заключительные строки «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830) А. С. Пушкина в редакции В. А. Жуковского; последний стих в пушкинских автографах: «Смысла я в тебе ищу».

[8] Слова декана Летаева в поэме «Первое свидание» (*Стихотворения и поэмы*, с. 410).

[9] Цитата из «Первого свидания» (*Стихотворения и поэмы*, с. 410).

[10] «Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства «Скорпион» (М., 1903) вышли в свет в марте 1903 г. В нем были напечатаны «Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии»

Белого и его цикл стихотворений «Призывы», а также произведения К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, Ю. Балтрушайтиса, З. Гиппиус, Д. Мережковского, Н. Минского, В. Розанова и др.

[11] См. примеч. 24 к Введению. В связи со статьей «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам» Белый вспоминает «ряд резко бранных отзывов в тогдашней газетной прессе» (*ГБЛ*, ф. 198, карт. 6, ед. хр. 5, л. 19 об.). Ср. запись Белого об апреле 1903 г.: «...громкий скандал из-за статьи моей («К либералам и консерваторам»); профессора негодуют; я — подавлен» (*Ракурс к дневнику*, л. 17 об.).

[12] Бугаев Борис. Формы искусства.— Мир искусства, 1902, № 12, с. 343—361. Статья вошла в книгу Белого «Символизм».

[13] Ср. более подробную характеристику Белым этого события (ноябрь 1902 г.): «В ноябре я читаю реферат «*О формах искусства*» в филологическом студенческом обществе; чтение разделено на два вечера; ему предшествуют странные слухи, будто С. Н. Трубецкой отказался председательствовать на моем реферате, отказался и Лопатин; долгое время искали того, кто согласился бы председательствовать; и все — потому, что я — «декадент» ⟨...⟩ на реферат я шел не без волнения, смешанного с досадой; но прения были отложены до второго чтения (через неделю); на этом чтении председательствовал — прив⟨ат⟩-доцент Викторов» (*Материал к биографии*, л. 32).

[14] Этот «каламбур» отца Белый ввел в роман «Петербург» — в разговор Аполлона Аполлоновича Аблеухова с камердинером Семенычем:

— «Ведь жена-то халдея — полагаю я — кто?»
— «Полагаю-с,— халдейка...»
— «Нет — халда!..»

(Белый Андрей. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Издание подготовил Л. К. Долгополов. Л., 1981, с. 401).

[15] Жена Сократа Ксантиппа славилась сварливым характером.

[16] Н. В. Бугаев родился 14 сентября 1837 г. в кавказском селе Душете (ныне Душети Грузинской ССР).

[17] В 1-ю московскую гимназию Н. В. Бугаев поступил в 1847 г. «Учась в гимназии, Бугаев перенес немало невзгод и лишений. С четвертого класса он не получал из дому никаких средств и жил только тем, что зарабатывал, давая уроки» (Шевелев Ф. Я. Примечания к «Краткому обозрению ученых трудов профессора Н. В. Бугаева».— В кн.: Историко-математические исследования, вып. XII. М., 1959, с. 552).

[18] Н. В. Бугаев закончил гимназию в 1855 г., в том же году поступил в Московский университет.

[19] Литературный, научный и политический журнал «Русская мысль» был основан в Москве в 1880 г. (редактор — С. А. Юрьев, издатель — В. М. Лавров). Журнал придерживался умеренно либеральной ориентации, в 1881—1882 гг. ряд номеров был задержан (см.: «К характеристике журнала «Русская мысль» в 1880—1885 гг.». Публикация Б. И. Есина.— В кн.: Из истории русской журналистики. Статьи и материалы. М., 1959, с. 237.).

[20] Характеризуя деятельность Н. В. Бугаева в 1870-е гг., его ученик Л. К. Лахтин в биографическом очерке о нем пишет: «В эту эпоху деятельность Николая Васильевича ярко проявилась в Обществе распространения технических знаний, в особенности в жизни только что зарождавшегося Учебного отдела. Цель учреждения этого Отдела была в первый же год объяснена в речи Николая Васильевича, как товарища председателя Общества. В ней указывалось, что распространение и усовершенствование технических знаний в современном ходе цивилизации мыслимо лишь в связи с общим развитием наук и искусств ⟨...⟩ в 1894 году, приветствуя Математическое общество с его 25-летием, Учебный отдел упоминает в своем адресе, что «он обязан во многом Николаю Васильевичу своим основанием и организацией: ему же он обязан и возобновлением своей деятельности, когда она была прервана на некоторое время» (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев. (Речи, произнесенные в заседании Московского Математического общества 16 марта 1904 года.)Т. II. М., 1905, с. 12—13). В 1875 г. руководители Общества подверглись гонениям, а остальные участники решили ликвидировать Общество, однако Бугаев убедил их продолжать работу (см.: Выгодский М. Я. Математика и ее деятели в Московском университете во второй половине XIX в.— В кн.: Историко-математические исследования, вып. I. М.— Л., 1948, с. 167).

[21] Сокращенная цитата из письма П. И. Чайковского к А. И. Чайковскому от 2 мая 1867 г. (Чайковский Модест. Жизнь Петра Ильича Чайковского. В трех томах. Т. 1. М.— Лейпциг, [1900], с. 268).

[22] В своих воспоминаниях Б. Н. Чичерин рассказывает о впечатлениях И. С. Тургенева от встречи в 1879 г. с молодыми профессорами Московского университета: «Как они говорят! — восклицал он.— Я им сказал: ну, господа, вы далеко ушли вперед; в наше время так не говорили». В особенности его пленил Бугаев, которого он возвел даже в предводители левого центра в будущем русском парламенте. Меня это удивило, ибо я знал,

что Бугаев хороший математик, а в остальном совершенный кривотолк. Скоро дело выяснилось. Через несколько дней после этого знаменитого заседания Тургеневу дан был публичный обед. Главным оратором выступил Юрьев 〈...〉 наконец, выдвинулся Бугаев. И что же я увидел. Этот восхваленный оратор вытащил из кармана маленькую бумажку и запинающимся голосом прочел настроченную им галиматью о том, что Тургенев подмечал молекулярные движения общества. После обеда я подошел к Ивану Сергеевичу и шепнул ему на ухо: «А ваш Мирабо совсем осрамился».— «Да, сегодня вышло неудачно»,— грустно отвечал он» (Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 143). Описываемый обед был дан в московском ресторане «Эрмитаж» 6 марта 1879 г.; см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Соч. в 12-ти т., т. 12. М., 1986, с. 677 (комментарии Н. Ф. Будановой).

[23] Юбилей Н. И. Стороженко отмечался в 1902 г.

[24] Л. К. Лахтин в биографическом очерке о Н. В. Бугаеве приводит отрывок из воспоминаний Д. П. Рашкова (инспектора Константиновского Межевого института), познакомившегося с Бугаевым в Берлине в 1863 г.: «Я присел к группе более многолюдной. Мнения были весьма различны, от крайнего увлечения до полного равнодушия. Во всех прениях мнения Николая Васильевича не могли не производить впечатления наибольшею убедительностью. Здравая логика, строгая последовательность и ясность его суждений и соразмерная сдержанность — все эти качества нарисовали передо мною облик цельной личности Николая Васильевича. Помню его едкие нападки на мнения горячих голов о конфедерации в России» (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. II, с. 8).

[25] Неточная и сокращенная цитата из воспоминаний Н. И. Стороженко о юношеских годах Н. В. Бугаева, полностью воспроизведенных по рукописи в биографическом очерке Л. К. Лахтина (там же, с. 4).

[26] Эта статья не опубликована.

[27] В Николаевское Инженерное училище в Петербурге Н. В. Бугаев был принят в 1859 г.; после сдачи экзамена и произведения в военные инженер-прапорщики был оставлен в Инженерной академии, где слушал лекции профессора М. В. Остроградского по математике. В связи с участием в коллективном протесте слушателей академии против действий командования в 1861 г. оставил военную службу и стал готовиться к магистерскому экзамену (Шевелев Ф. Я. Указ. соч., с. 552—553). «...Два года, проведенные Николаем Васильевичем в Инженерном училище и Ин-

женерной академии, оставили след в его характере,— пишет Л. К. Лахтин.— Николай Васильевич высоко ценил военную дисциплину, порядок и точность в исполнении работ» (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. II, с. 6).

[28] Заграничную командировку на два с половиной года для подготовки к профессорскому званию Н. В. Бугаев получил в 1863 г., после защиты магистерской диссертации «Сходимость бесконечных рядов по их внешнему виду» (М., 1863). Докторская диссертация — «Числовые тождества, находящиеся в связи со свойствами символа Е» (М., 1866) — была защищена им в Московском университете в 1866 г.

[29] В 1864 г. при Московском университете был образован кружок любителей математических наук, через два года преобразованный в Московское Математическое общество; Н. В. Бугаев был одним из его членов-учредителей, в 1869 г. избран секретарем, в 1886 г.— вице-президентом, в 1891 г.— президентом Общества. Первый том «Математического сборника» — научного органа Общества — был издан в 1866 г.

[30] Видимо, ошибка памяти Белого или Стороженко: в перечне книг, брошюр и статей Н. И. Кареева за 1868—1923 гг. («Из далекого и близкого прошлого». Сб. этюдов из всеобщей истории в честь 50-летия научной жизни Н. И. Кареева. Пг.— М., 1923, с. 7—48) специальной работы об И. Канте, опубликованной в «Русской мысли» или в каком-либо ином издании, не зафиксировано.

[31] *Амфортас* — герой музыкальной драмы Р. Вагнера «Парсифаль» (1882), владелец сказочного замка Монсальват, тяжело раненный колдуном Клингзором.

[32] Подразумевается дневниковая запись Брюсова о высказываниях Н. В. Бугаева в Психологическом обществе по поводу лекции Д. С. Мережковского (декабрь 1901 г.): «Возражать сначала решился один Бугаев с точки зрения монадологии, конечно, говорил много, скучно, словно «резинку жевал», как о нем выражаются» (Брюсов В. Дневники, с. 111). В 1890-е гг. Брюсов испытывал значительное влияние философии Лейбница. См.: Помирчий Р. Е. Из идейных исканий В. Я. Брюсова (Брюсов и Лейбниц).— В кн.: Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973, с. 157—170; Кульюс С. К. Формирование эстетических взглядов В. Брюсова и философия Лейбница.— В кн.: Типология литературных взаимодействий. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 620.) Тарту, 1983, с. 50—63.

[33] Цитаты восходят к записям Брюсова об общем ужине в «Славянском Базаре» после лекции Мережковского в Психологическом обществе.

[34] *Пифагорейство* — религиозно-философское учение в Древней Греции (VI — IV вв. до н. э.), исходившее из представления о числе как об основном принципе всего существующего. Ср. суждения Белого о «пифагорейском числе»: Белый Андрей. На перевале. II. Кризис мысли. Пб., 1918, с. 27—28.

[35] «Монадология» (1720) — одно из основных сочинений Лейбница, в котором изложено учение о монаде — простейшем элементе, неделимой части бытия, проявляющей себя во внешних физических действиях; учение о монаде развито Лейбницем в цельную философскую систему. Н. В. Бугаев отстаивал собственную философскую теорию эволюционной монадологии, навеянную системой Лейбница. См.: Лопатин Л. М. Философское мировоззрение Н. В. Бугаева.— В кн.: Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. II, с. 21—42.

[36] Н. В. Бугаев был избран деканом физико-математического факультета Московского университета в 1886 г. и исполнял эту должность до конца жизни.

[37] Л. К. Лахтин пишет об этом событии: «В 1900 году 21 марта было назначено публичное заседание Математического общества по поводу выхода 20 томов «Сборника». Неожиданно для Николая Васильевича члены Общества подготовили к этому дню чествование его как своего президента. Большинство присутствовавших в многолюдной зале были ученики Николая Васильевича. В произнесенных речах, в присланных со всех концов России приветствиях и телеграммах от различных учреждений, обществ и лиц было высказано признание заслуг Николая Васильевича, всеобщее к нему уважение, горячая любовь к нему его учеников. Собрание сочинений Николая Васильевича в виде 8 больших, красиво переплетенных томов было ему поднесено от товарищей по Обществу, как внешний знак уважения к его научным работам» (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. II, с. 16—17).

[38] *Никита Васильевич Задопятов* — герой романа Белого «Москва» (1925), сатирически изображенный либеральный профессор. Одновременно с Белым этот его образ как нарицательный использовал Б. Л. Пастернак в журнальной редакции части 1-й «Охранной грамоты» (Звезда, 1929, № 8, с. 158): «либеральные Задопятовы всех толков». См.: Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982, с. 478.

[39] Свои философские воззрения Н. В. Бугаев изложил в работе «Основные начала эволюционной монадологии» (Вопросы философии и психологии, 1894, кн. 17, с. 26—44), сформулировав их в виде 184 тезисов, по образцу Лейбница.

[40] Аритмологией Н. В. Бугаев предложил назвать отдел математики, посвященный теории прерывных функций. О философско-математическом обосновании аритмологии Бугаевым см.: Некрасов П. А. Московская философско-математическая школа и ее основатели.— В кн.: Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. I, с. 23—36, 103—108.

[41] Цитата из 14-й строфы стихотворения Е. А. Баратынского «Осень» (1836—1837).

[42] Контаминация неточных и сокращенных цитат (Апостолов Н. Н. Живой Толстой. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928, с. 371—372) из воспоминаний «Мои встречи с Л. Н. Толстым» И. А. Линниченко, входящих в его книгу «Речи и поминки» (Одесса, 1914).

[43] Сокращенная цитата (Эренбург И. Портреты современных поэтов. М., 1923, с. 33).

[44] Герой сказки Ханса Кристиана Андерсена «Спутник» («Дорожный товарищ») обретает чудесного помощника, в образе которого скрывается бедный умерший человек, за погребение которого он отдал все свои деньги. См.: Андерсен. Собр. соч. в 4-х т. Перевод А. и П. Ганзен. Т. 1. СПб., 1894, с. 39—56.

[45] «Российская песня» Ф. М. Дубянского (1795) на текст знаменитого стихотворения И. И. Дмитриева (1792). Ср. в стихотворении Белого «Ссора» (1903):

«Стонет сизый голубочек» —
льется звонкое сопрано.

(*Стихотворения и поэмы*, с. 96)

[46] Из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830) Пушкина: «Парки бабье лепетанье».

[47] «Город Солнца» (1602) — утопическое сочинение Томмазо Кампанеллы. Белый говорил о нем в статье «Утопия» («Записки мечтателей», № 2—3. Пб., 1921, с. 144; подпись: Alter Ego), в речи «Солнечный град» (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 43—46).

[48] Сокращенная цитата из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм*, с. 198).

[49] Там же (сокращенная цитата).

[50] Неточная и сокращенная цитата (Там же, с. 176—177).

[51] *Остраннение* (остранение) — художественный прием, дающий эффект нарушения автоматизма читательского восприятия благодаря новому, «странному» взгляду на привычные вещи и явления. Понятие остраннения введено В. Б. Шкловским в книге «Воскрешение слова» (1914) и терминологически

истолковано им в статье «Искусство как прием» («Поэтика. Сборники по теории поэтического языка». I, II. Пг., 1919, с. 105—109; Шкловский В. О теории прозы. М.— Л., 1925, с. 12—15).

[52] *Икосаэдр* — правильный двадцатигранник из равносторонних треугольников.

[53] Профессор астрономии Д. И. Дубяго был деканом физико-математического факультета Казанского университета в 1890—1899 гг., затем — ректор Казанского университета.

[54] П. А. Некрасов был профессором Московского университета с 1886 г.

[55] *Tabula rasa* (лат.) — чистая доска. Говорится о незаполненном пространстве, о сознании и душе человека, о ребенке как предмете воспитания.

[56] Вероятно, имеется в виду книга В. В. Бобынина «Математика древних египтян» (М., 1882).

[57] Драма Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899) была поставлена В. И. Немировичем-Данченко в Московском Художественном театре (премьера — 28 ноября 1900 г.).

[58] *Боркман* — герой драмы Ибсена «Йун Габриэль Боркман» (1896), *Рубек* — герой драмы «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», *Бранд* — герой одноименной драматической поэмы Ибсена (1865). Рубек в финале драмы совершает восхождение по леднику на гору и гибнет в снежной лавине; Бранд также гибнет на горной вершине, погребаемый лавиной.

[59] Ср. запись Белого, характеризующую май 1896 г.: «...живем (немного) в Берлине с семейством проф. Млодзиевского» (*Материал к биографии*, л. 6).

[60] «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений имени X. С. Леденцова» было организовано в 1909 г. при ближайшем участии Умова, который занял в нем должность товарища председателя (см.: Бачинский А. И. Очерк жизни и трудов Николая Алексеевича Умова. М., 1916, с. 63—68) и стал редактором «Временника» Общества. О деятельности Умова в леденцовском обществе см. также речь С. А. Федорова в кн. «Протокол чрезвычайного соединенного заседания московских ученых обществ и учреждений в память Н. А. Умова». М., 1916, с. 23—30.

[61] Л. А. Кассо был министром народного просвещения в 1910—1914 гг. В знак протеста против его политики Умов «в 1911 году после устранения президиума университета от занимаемых ими должностей и профессуры, 〈...〉 в числе других профессоров устранился от жизни университета, прекратил чтение лекций и отказался от заведования учреждениями, связанными с кафедрой физики» (Умов Н. А. Автобиография.—

В кн.: Научное наследство. Естественнонаучная серия, т. 2. М., 1951, с. 386).

[62] И. И. Мечников был избран доцентом Новороссийского университета (в Одессе) в 1867 г., в 1870—1882 гг. был там же профессором зоологии и сравнительной анатомии. О дружеском кружке Мечникова, Сеченова и Умова в Одессе см.: Сеченов И. М. Автобиографические записки. М., 1952, с. 222—223.

[63] В этом очерке Бачинский пишет об Умове: «...он нередко высказывался в том смысле, что эстетика выше этики. «Вселенная — это арфа»,— говорил он в интимном разговоре: «Струны ее звучат дивной гармонией закономерности. Звуки всей природы стройны и строги; только струны людей издают фальшивые ноты. Каждый человек должен жить так, чтобы его струна вносила новую красоту в общую гармонию; мы должны уничтожать все фальшивые звуки в нашей жизни» (Бачинский А. И. Очерк жизни и трудов Николая Алексеевича Умова, с. 81).

[64] Цитата из поэмы «Первое свидание» (*Стихотворения и поэмы*, с. 410).

[65] Интерес к этой проблематике Белый проявлял в феврале — марте 1927 г.; ср. его дневниковые записи: «Читаю сборник, посвященный строению вещества, все эти дни; статьи: Боргмана, Резерфорда, Перрена, Томсона» (23 февраля), «Все эти дни читал Пуанкаре «Эволюция современной физики» (17 марта), «Читаю Френкеля: «Строение материи» (18 марта), «Читаю Иоффе» (26 марта), «Читаю Механику Михельсона» (27 марта) и т. д. (*Ракурс к дневнику*, л. 126 об., 127 об.). В письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 6 апреля 1927 г. Белый делится подробными рассуждениями о Н. Боре, А. Эйнштейне, И. Ньютоне и поднятых ими физических проблемах (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[66] В первом издании книги далее следовала фраза: «Сам он не был открывателем новых путей; и профессор Лебедев превосходил его и в открытиях, и в постановке лабораторной работы» (Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М.— Л., 1930, с. 55). В связи с этим утверждением А. И. Бачинский (физик, ученик Умова, входивший в середине 1900-х гг. в круг московских символистов, напечатавший в журнале «Перевал» ряд статей и рецензий, а в издательстве «Скорпион» в 1905 г.— поэму в прозе «Облака» под псевдонимом Жагадис) направил Белому 12 мая 1930 г. следующее письмо:

«Многоуважаемый Борис Николаевич!

Может быть, Вы не рассердитесь на меня, если я укажу две неточности (одну крупную и одну мелкую), вкравшиеся в изображение Н. А. Умова в Вашей волнующей книге «На рубеже...»:

1) Вы пишете: «Сам он не был открывателем новых путей; и профессор Лебедев превосходил его и в отношениях...»

Это неверно. Из высокоодаренной троицы: Столетов, Умов, Лебедев — только Умов был открывателем *н о в ы х* путей (в теоретическом, принципиальном смысле); и одна из обиходных идей современной физики — идея о *движении энергии* — принадлежит *в с е ц е л о* ему (она разработана, между прочим, в его докторской диссертации); эта заслуга Умова общепризнана и за границей. Лебедев же был великим искусником по части тонких экспериментов, но он в науку новых идей не внес. Работы, снискавшие ему мировую известность (о световом давлении), суть лишь экспериментальные подтверждения того, что было предсказано теоретически Максуэлом. (Но и в области эксперимента у Умова есть замечательные вещи, например: он открыл новое явление, дающее связь между поляризацией света и его поглощением; он изобрел металлический экран, от которого пошли все современные киноэкраны.)

2) «В день именин отца он казался церемониймейстером поздравлений, хотя сам был именинником в этот день».

Н. А. был именинник 9 мая.

Разрешите, придравшись к случаю, преподнести Вам две книжечки об Н. А. Умове. (В моем «Очерке» на стр. 17—20 сказано подробно о движении энергии.) Они посылаются бандеролью.

Искренне уважающий Вас А. Бачинский».

(*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 151). Готовя второе издание книги, Белый учел эти коррективы Бачинского: сократил фразу об именинах и ввел дополнительные характеристики научной деятельности Умова (от «Н. А. Умов был новатором...» до «Умов был вдохновителем и интерпретатором высот научной мысли»), сославшись на указания Бачинского (см. ниже авторское примечание).

[67] С этим рефератом в семинарии Умова Белый выступал в ноябре 1899 г. Белый вспоминает: «...проф. Умов очень доволен моим рефератом и якобы смелыми, философскими мыслями, которые я провожу здесь» (*Материал к биографии*, л. 13).

[68] См. примеч. 13.

[69] Умов стал профессором физико-математического факультета Московского университета в 1893 г., до этого он более двадцати лет был профессором Новороссийского университета в Одессе (1871—1893).

[70] Ср. запись Белого о мае — июне 1896 г.: «...едем вместе с семейством Умовых в Швейцарию, две недели проводим в Туне» (*Материал к биографии*, л. 6).

[71] См. примеч. 15 к Введению.

[72] *«Будильник»* — юмористический журнал с карикатурами, выходивший в Петербурге в 1865—1871 гг. и в Москве с 1873 г. по 1917 г. Белый относит этот эпизод с «Будильником» к концу 1877 г. (*Материал к биографии*, л. 2).

[73] *Иван Иванович Коробкин* — главный герой романов Белого «Москва» (1925) и «Маски» (1930).

[74] *Асархаддон* (ассир. Ашшурахи́ддин) — царь Ассирии (680—669 до н. э.), восстановивший разрушенный Вавилон. В кругу символистов известен благодаря стихотворению Брюсова «Ассаргадон» (1897) из его книги «Tertia vigilia».

[75] В главке «Северо-восток» главы 1-й «Петербурга» говорится: «Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: он однажды проделал ревизию своему инвентарю; инвентарь был регистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: *а, бе, це*; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света. Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка — бе и СВ, то есть северо-восток 〈...〉» (Белый Андрей. Петербург, с. 14).

[76] Споры с отцом подобного рода Белый относил уже ко времени начала своей литературной деятельности — к осени 1902 г. (*Материал к биографии*, л. 30 об.).

[77] Неточно цитируются заключительные строки «Песни о вещем Олеге» Пушкина (1822).

[78] Сведения об этом Белый заимствовал, видимо, из мемуаров Б. Н. Чичерина. Ср.: «...высоким комизмом отличалось предприятие красивой купчихи Пустоваловой и юркого беллетриста Боборыкина, которые затевали политический журнал с целью приготовить Россию к конституционным учреждениям, и всего удивительнее было то, что под крылышко этой странной пары приютились молодые профессора Московского университета: Ковалевский, Муромцев, Бугаев, у которых было столько же политического смысла, сколько у их патронов. Тургенева повезли на приготовительное заседание этого никогда не родившегося в свет журнала, и он вернулся оттуда в полном восторге» (Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов, с. 142—143). Это несостоявшееся журнальное предприятие Чичерин относит ко времени чествования Тургенева в Москве — к февралю — марту 1879 г. (ср. примеч. 22).

[79] Из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827): «И меж детей ничтожных мира, // Быть может, всех ничтожней он».

[80] Ср. суммарную характеристику этих коллизий в кратком очерке Белого «К биографии» (март 1927 г.): «Мой отец скорее мог быть мне дедом, а мать мою позднее не раз считали старшей моей сестрой; и года, и мировоззрение разделяли родителей; отец

все хотел из меня сделать ученого; а мать этого боялась; я был, так сказать, яблоком раздора; и эта борьба за меня сильно отразилась на детстве; я рано ушел в себя: независимость, критика окружающей действительности — первые, непроизвольные жесты самозащиты, во мне появившиеся, как результат недоумения, кого слушаться: отца или мать» (*ГБЛ*, ф. 198, карт. 6, ед. хр. 5, л. 1 об.).

[81] Н. В. Бугаевым были написаны «Руководство к арифметике. Арифметика целых чисел», «Руководство к арифметике. Арифметика дробных чисел», «Задачник к арифметике целых чисел», «Задачник к арифметике дробных чисел».

[82] Подразумеваются жестокие гонения против христиан во время правления римских императоров Нерона (54—68), предавшего в 64 г. христиан изощреннейшим казням (см.: Тацит. Анналы, XV, 44), и Диоклетиана (284—305), издавшего в 303—304 гг. 4 эдикта против христиан.

[83] Видимо, имеется в виду книга «Первые понятия о зоологии» (изд. 2-е — СПб., 1877) П. Бэра. Ср.: «...традиция, которую мне в ранних годах старался привить отец,— традиция естествознания; пяти лет я знаю, не умея читать, всю зоологию Поля Бэра почти назубок» (*Почему я стал символистом*, с. 17).

[84] Книга Д. Н. Кайгородова «Из царства пернатых» (СПб., 1893) с красочными таблицами. Белый вспоминает: «Я получаю в подарок от Анны Сергеевны Гончаровой сочинение Кайгородова *«Птицы России»* (или нечто вроде этого). Мое увлечение птицами» (*Материал к биографии*, л. 4).

[85] Геракл (греч. миф.) надел хитон, пропитанный кровью убитого им кентавра Несса; хитон сразу прирос к его телу, а кровь Несса превратилась в яд, причиняя Гераклу невыносимые страдания.

[86] Ошибка Белого. Д. Е. Егоров в рукописи «Хронология семейства моего» указывает, что он вступил в брак 14 января 1855 г. с Елизаветой Федоровной Желвуновой (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 352).

[87] Имеется в виду статья «О теургии» (Новый Путь, 1903, № 9, с. 100—123).

[88] Кроме Александры Дмитриевны (родившейся 6 апреля 1858 г.), в семье Егоровых было еще пять детей — дочери Ольга (род. в 1856 г.) и Катерина (род. в 1861 г.) и сыновья Николай (род. в 1860 г.), Иван (род. в 1863 г.) и Сергей (род. в 1865 г.).

[89] Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 8, строфа XLVII; слова Татьяны Онегину).

[90] Имеется в виду картина К. Е. Маковского «Боярский свадебный пир XVII столетия» (1883). Эта работа «имеет колос-

сальный успех, получает высокие оценки в Петербурге, Москве, Париже, на Всемирной выставке 1885 года в Антверпене удостоена почетной награды и приобретена в Америку 〈...〉 Картина приобрела широкое распространение. Большая олеография была выпущена приложением к журналу «Нива» и во многих чиновных и мещанских домах красовалась на стене, воспитывая соответствующие вкусы» (Т а р а с о в Л. Константин Егорович Маковский. 1839—1915. М.— Л., 1948, с. 25—26).

[91] Екатерина Павловна Леткова, в замужестве Султанова (а не Салтанова) была родной сестрой Юлии Павловны Маковской (рожд. Летковой), жены К. Е. Маковского.

[92] Русский певец, лирико-драматический тенор Николай Николаевич Фигнер и его жена, по происхождению итальянка, Медея Ивановна Фигнер, также певица (драматическое сопрано). В 1887 г. Фигнеры дебютировали на сцене Мариинского театра в Петербурге.

[93] *Торричеллиева пустота* — безвоздушное пространство над свободной поверхностью жидкости в закрытом сверху сосуде. Это явление было объяснено в 1643 г. итальянским физиком и математиком Эванджелиста Торричелли.

[94] Белый относит это событие к январю 1886 г.: «Доктора запрещают мне все фантастическое, потому что я кричу по ночам» (*Материал к биографии*, л. 1 об.).

ГЛАВА ВТОРАЯ. СРЕДА

[1] Раиса Ивановна была гувернанткой при Белом с весны 1884 до осени 1885 г.

[2] Генриэтта Мартыновна — гувернантка Белого с осени 1885 до осени 1886 г.

[3] Источник цитаты не установлен.

[4] Ср. запись Белого, характеризующую конец 1884 г.: «Раиса Ивановна мне читает Уланда, Гете, Гейне и Эйхендорфа. Немецкие романтики окрашивают мир в новый цвет» (*Материал к биографии*, л. 1 об.).

[5] Интерес к математическим трудам Нильса Хенрика Абеля Белый пронес через всю жизнь. В письме к Б. В. Томашевскому от 16 сентября 1933 г. он, в частности, отмечал: «Для ряда моих познават⟨ельных⟩ проблем нуждаюсь в понимании идей Клейна и Абеля» («Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография». Л., 1982, с. 236).

[6] Далее в автографе книги зачеркнуто карандашом:

«Или: такой-то профессор, добряк-весельчак, живет с «М***», изменяя жене; к «добряку» меня брали; и видел я, как он с женою был мил; как ласкалась к жене его «М***», посетительница их журфиксов.

И вспоминались стихи:

Ты, кто мыслил, любил и страдал».

(*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 46).

[7] М. М. Ковалевский после окончания в 1872 г. Харьковского университета завершал образование за границей (в Берлине, Вене, Париже, Лондоне); Н. В. Бугаев отбыл в заграничную командировку осенью 1871 г.

[8] Евангелие от Иоанна, I, 1.

[9] Ошибка Белого; в верхней части храма Христа Спасителя

в Москве, на своде главного купола изображение Господа Саваофа, благословляющего обеими руками, было выполнено профессором А. Т. Марковым (в 1861—1866 гг.).

[10] Этот подарок был преподнесен сразу же после рождения Белого: «Академик Я. Грот прислал новорожденному том своих сочинений с надписью: *«Борису Николаевичу Бугаеву»* (*Материал к биографии*, л. 1).

[11] Цитата из очерка Н. В. Бугаева о С. А. Усове («Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го января 1887 года». М., 1887, с. 209).

[12] Ироническая реминисценция из Апокалипсиса: «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным»; «Он пасет их жезлом железным» (Откровение св. Иоанна Богослова, XII, 5, XIX, 15).

[13] Цитируется романс М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть...» (1843) на стихи П. П. Рындина. Белый приводит его в раннем «Рассказе № 2» (1902) («Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник 1980. Л., 1981, с. 145—148), а также цитирует в 3-й «симфонии» (Белый Андрей. Возврат. III симфония. М., 1905, с. 111) и в рассказе «Мы ждем его возвращения» («Свободная совесть». Литературно-философский сборник, кн. 1. М., 1906, с. 161).

[14] М. М. Стасюлевич состоял в 1866—1903 гг. редактором «Вестника Европы» — журнала, бывшего на протяжении десятилетий наиболее репрезентативным органом либерально-позитивистской ориентации.

[15] *«Травиата»* — опера Джузеппе Верди (1853).

[16] *«Железная пята»* — название социального романа Джека Лондона («The Iron Heel», 1907), ставшее обозначением промышленных верхов в буржуазном обществе и капитализма вообще.

[17] Кто именно скрывается за этими инициалами, не установлено.

[18] См.: Мензбир М. А. Сергей Алексеевич Усов.— В кн.: Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го января 1887 года, с. 232—247.

[19] Сокращенная цитата из воспоминаний К. Львова («В память Сергея Алексеевича Усова». Статьи по поводу его кончины. М., 1887, с. 14—15).

[20] Контаминация фрагментов из мемуарного очерка Н. В. Бугаева об Усове («Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го января 1887 года», с. 211, 212, 213).

[21] Неточная и сокращенная цитата («В память Сергея Алексеевича Усова», с. 14).

[22] Сокращенная цитата из очерка Н. В. Бугаева «Сергей Алексеевич Усов» (с. 210).

[23] Неточная и сокращенная цитата («В память Сергея Алексеевича Усова», с. 7, 8, 9). Курсивом выделены приводимые Поливановым слова Усова.

[24] В очерке «История искусств в чтениях С. А. Усова», опубликованном за подписью «Бывший слушатель», говорится о лекциях Усова по истории искусств (по субботам в кабинете Л. И. Поливанова): «Подробному обзору ⟨...⟩ подвергнул покойный византийское искусство, архитектуру и иконопись, равно как и родившееся из последнего искусство русское до XV в., выразившееся в своеобразной церковной архитектуре, иконописи и стенных изображениях киевских, новгородского и московских соборов» («В память Сергея Алексеевича Усова», с. 21). Об этом направлении в научно-исследовательской деятельности Усова см.: Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986, с. 144—146, 233, 350.

[25] Неточная цитата из очерка Н. В. Бугаева «Сергей Алексеевич Усов» (с. 215).

[26] Там же, с. 215, 219, 220 (контаминация неточных и сокращенных цитат).

[27] Ср. другую характеристику А. П. Усовой у Белого: «...умная, толстая помещица, очень ко мне расположенная» (*Материал к биографии*, л. 7).

[28] В романе Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1850) Стирфорс (или Стирфорт) — старший товарищ юного Копперфилда, объект обожания и подражания. Подобные отношения между Белым и С. С. Усовым сложились летом 1897 г. в Даниловке — имении Усовых в Саратовской губернии. Белый вспоминает об Усове: «...он мне кажется персонажем «Разбойников» Шиллера; я страшно ценю его ласковое отношение ко мне тем более, что он, душа общества, покоритель дамских сердец, великолепный рассказчик, гитарист и певец — всегда окружен; он много мне играет Шуберта, и я весь протягиваюсь к нему; я сам себе кажусь Давидом Копперфильдом, а он мне кажется Стирфорсом. Так лето для меня окрашено пафосом моего отношения к *«Сереже Усову». «Сережа»* меня учит верховой езде (учит держаться по-кавалерийски) ⟨...⟩» (*Материал к биографии*, л. 7 об.).

[29] *Status nascendi* (лат.) — состояние зарождения, возникновения.

[30] *Педели* — служители и надзиратели в различных учреждениях, преимущественно в университетах.

[31] П. С. Усов стал не профессором, а приват-доцентом

Московского университета и ординатором московской Яузской больницы. См.: Иванцов С. А. Памяти Павла Сергеевича Усова.— Известия Московского Литературно-художественного кружка, 1917, вып. 17—18, с. 29—37.

[32] *Пикули* — овощи, маринованные в уксусе с примесью горчицы и пряностей; *спич* — публичная речь по случаю торжества, краткая застольная речь.

[33] М. М. Ковалевский получил отставку в Московском университете в 1887 г. по требованию III Отделения.

[34] См. примеч. 38 к гл. 1.

[35] Стихотворение Ю. А. Веселовского «На озере» («Волны стремятся чредой непрерывною...»), опубликованное за подписью «Ю. В-ский» («В память С. А. Юрьева». Сборник, изданный друзьями покойного. М., 1891, с. 268—269):

⟨...⟩ Век богатырства с тоскою глубокою
Вспомнила в песне волна.
Шепчет про битвы и древность далекую,
Шепчет о славе она.

И, пораженной тоскою невольною,
Вспомнилось ей, как вдали
Шумно сходилось на песнь колокольную
Вече родимой земли. ⟨...⟩

Грезится слава ей, сила народная,
Грезятся чудные сны,
Шепчет о будущем влага свободная
В лепете смутном волны...

[36] В 1893 г. Ю. А. Веселовский совместно с М. Берберяном издал в Москве в русском переводе первый том сборника «Армянские беллетристы», в 1894 г.— второй том («Армянские беллетристы, драматурги и поэты»); совместно с проф. Г. А. Халатянцем — первую антологию новой армянской поэзии на русском языке («Армянская Муза». М., 1907). См.: Григорьян К. Н. В. Я. Брюсов и армянская поэзия. М., 1962, с. 7—19; Давтян А. М. Юрий Веселовский и «Поэзия Армении».— В кн.: Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, 1968, с. 387—411.

[37] Имеется в виду статьи А. Н. Веселовского «Генрик Ибсен (Этюд)» (в кн.: Ибсен Г. Собр. соч., т. 5. СПб., 1897, с. III — LVI).

[38] Подразумевается: свет с Фавора. *Фавор* — гора вблизи от Назарета; церковное предание признает Фавор горой Преображения Господня.

[39] Эти слова А. Н. Веселовского Белый вложил в уста Аполлона Аполлоновича Аблеухова в пьесе «Петербург» (1924) — инсценировке одноименного романа (картина 10-я); ср.: «...гу-

манизм есть великая вещь... ме... ме... выстраданная Джордано Бруно, который одною ногою стоял... ме-ме... в мраке средневековья, другою ж... ме-ме-ме... *(указывая рукой на багровые окна)* приветствовал... ме-ме... зорю возрожденья... *(трет себе переносицу)*: ме-ме-ме — *«рукою»* хотел я сказать...» (*ИРЛИ*, ф. 79, оп. 3, ед. хр. 25).

[40] *Bel homme* (фр.) — красавец-мужчина.

[41] Сокращенная цитата (Щепкина-Куперник Т. Л. Дни моей жизни, с. 293—294).

[42] Белый жил с матерью в санатории доктора Ограновича (имение Аляухово около Звенигорода) в июле — августе 1896 г.

[43] Имеется в виду лето 1891 г.

[44] Далее в автографе книги зачеркнуто карандашом:

«Нет, впрочем, помню, как вылетела почти замертво мадемуазель Радэн, гувернантка, из... из... такой комнатки, куда... ходят все, но... стыдясь; и такая же комнатка дачи соседней, где Янжулы жили, построена была: стена в стену. Мадемуазель, точно выдержав землетрясение, выскочила из той комнатки с выпученными глазами, малиновая, почти плачущая,— головою в кушетку:

— «Что с вами?» — к ней мама и тетя.

Она лишь с отчаяньем [горя великого] машет руками.

— «Да что вы? Больны?»

— «Нет: там — Янжул, за стенкою!..»

— «О!»

И все, с ужасом посмотрев друг на друга, замолкли» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 60 об.).

[45] И. И. Янжул познакомился с Л. Н. Толстым в январе 1882 г., в последующие годы регулярно с ним встречался. См.: Янжул И. И. Мое знакомство с Толстым.— Международный Толстовский альманах, сост. П. А. Сергеенко. М., 1909, с. 407—414; Янжул Е. Н. Встречи с Толстым.— Там же, с. 426—428; Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 гг., вып. 2. СПб., 1911, с. 7—22.

[46] Другую версию воспоминаний о своих детских встречах с Л. Н. Толстым Белый предлагает в специальном мемуарном очерке; см.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи, воспоминания, публикации. М., 1988, с. 638—644; публикация Л. А. Озерова.

[47] Сходные детские впечатления Белый передает и в некрологической статье «Николай Ильич Стороженко»: «Я помню его с детства. Он любил озадачивать детей внезапным остроумием игр и шуток. Серьезный, немного суровый, он вдруг точно высыпал нам на голову горсть золотых картонажей. Дети любили

прятаться у него в кабинете. До сих пор с умилением вспоминаю образ покойного профессора, обращенный к нам, детям, добродушный, шутливо сказочный» (Весы, 1906, № 2, с. 68).

[48] О. И. Стороженко скончалась 1 февраля 1896 г. М. Н. Розанов в биографическом очерке «Николай Ильич Стороженко» пишет: «Смерть горячо любимой жены 〈...〉 была страшным ударом для Николая Ильича 〈...〉 Николай Ильич сильно постарел и осунулся, прежняя легкая проседь сменилась сплошною сединою, и в походке стали проявляться уже признаки того мучительного недуга, который вскоре почти приковал его к креслу» (Памяти Н. И. Стороженка. М., 1909, с. 37).

[49] В оригинале у Белого ошибочно: «...исследования о Роберте Грине, «Лиллит» Марло» — свидетельство того, что об этих трудах Стороженко — докторской диссертации «Роберт Грин, его жизнь и произведения. Критическое исследование» (М., 1878) и магистерской диссертации «Предшественники Шекспира. Эпизод из истории английской драмы в эпоху Елисаветы. Том I. Лилли и Марло» (СПб., 1872) — у него не было отчетливого представления. Вопреки мнению Белого, эти работы получили высокую оценку у специалистов, а монография о Роберте Грине была переведена в 1881 г. на английский язык. Белый упоминает также курс Стороженко «Лекции по западноевропейской литературе» (М., 1903). Начиная с 1870-х гг., Стороженко выступал с многочисленными работами о Шекспире, став по существу первым русским профессиональным исследователем-шекспироведом. См.: Шекспир и русская культура. Под ред. М. П. Алексеева. М.— Л., 1965, с. 569—571, 707—711 (работы К. И. Ровды, Э. П. Зиннера); К о р н и л о в а Е. Первый русский шекспировед.— В кн.: Шекспировский сборник. М., 1967. См. также: Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженко, изданный его учениками и почитателями. М., 1902, с. I—XXIX (Краткий очерк научно-литературной и общественной деятельности Н. И. Стороженка), XXX—XXXV (Я з ы к о в Д. Библиографический указатель к печатным трудам Н. И. Стороженка).

[50] Стороженко с 1872 г. возглавлял кафедру истории всеобщей литературы историко-филологического факультета Московского университета.

[51] Ср. характеристику этой черты личности Стороженко в воспоминаниях И. И. Янжула «Малороссийский юмор дорогого Николая Ильича»: «В дружественной и товарищеской беседе, а часто даже в официальной речи Николая Ильича, всегда, как искорки, блистали остроты»; «Неистощимый юмор сыпался почти всегда из уст почтенного Николая Ильича, как из рога изобилия, и действовал часто на окружающих, как добрый стакан

шампанского. Всем становилось тепло и весело на душе, настроение повышалось через несколько минут беседы с ним; он всех уже успел заинтересовать и увлечь разговором» (Памяти Н. И. Стороженка, с. 131, 132).

[52] Пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1896) намечалась к постановке в Малом театре весной 1899 г., однако Театрально-литературный комитет (в составе профессоров Стороженко, Алексея Н. Веселовского, И. И. Иванова) согласия на постановку не дал; В. А. Теляковский, сообщая в неопубликованном тексте воспоминаний подробности голосования, отмечает, что Стороженко высказывался за постановку. См. комментарии И. Ю. Твердохлебова в кн.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Соч. в 18-ти т., т. 13. М., 1978, с. 393—394.

[53] Белый высоко ценил философско-лингвистическое наследие А. А. Потебни, посвятил его анализу статью «Мысль и язык (Философия языка А. А. Потебни)» (Логос, кн. 2. М., 1910, с. 240—258). См.: Белькинд Е. А. Белый и А. А. Потебня (К постановке вопроса).— Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 160—164; Пресняков О. П. А. А. Потебня и русское литературоведение конца XIX — начала XX века. Саратов, 1978, с. 156—159.

[54] Стороженко был действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете с 1876 г., с 1884 г.— временный председатель, с 1894 г.— председатель Общества.

[55] Квартира Стороженко была в доме Байдаковых в Оружейном переулке (Хамовническая часть).

[56] Ср. некрологическую статью Белого «Николай Ильич Стороженко»: «...я заходил к Н. И. в его классические воскресные утра. Тут я научился ценить его знания, ум и сердце. Людей самого разнообразного направления неодолимо тянуло к Н. И., и всех он встречал с тихой, любовной простотой» (Весы, 1906, № 2, с. 68).

[57] Д. И. Курский был народным комиссаром юстиции РСФСР с 1918 г.; с 1928 г.— полпред в Италии.

[58] Ср. запись Белого, характеризующую конец 1885 г.: «Начинаются мои частые посещения Стороженок. Мне говорят, что Маруся Стороженко — моя невеста; увлечение Марусей» *(Материал к биографии*, л. 1 об.).

[59] И. И. Янжул был избран ординарным академиком по разряду историко-политических наук Историко-филологического отделения (политическая экономия и наука о финансах) 4 марта 1895 г.

[60] Один из сказочных персонажей «Северной симфонии (1-й, героической)» (1900) Белого, «козлобородый рыцарь», «обладал козлиными свойствами: водил проклятый хоровод и плясал с козлом в ночных чащах. И этот танец был *козловак*, и колдовство это — *козлование*» (*Собрание эпических поэм*, с. 49).

[61] *Horribile dictu* (лат.) — страшно сказать (в насмешливо-ироническом употреблении).

[62] Далее в гранках книги было: «подкозловачивал; козловачил всем видом своим — Тубенталь-адвокат» (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5595, л. 22).

[63] В некрологической статье «Николай Ильич Стороженко» Белый писал: «Благородное сердце перестало биться ⟨...⟩ больно не видеть больше образ знакомый, всю жизнь теплящийся мягким светом морального сознания, необычайной красоты душевной. Я глубоко любил покойного, потому что все его любили, потому что не могли не любить знавшие его. ⟨...⟩ И вот его не стало — не стало *очень хорошего человека*». В то же время Белый и в некрологе счел возможным намекнуть на идеологическую дистанцию между собою и покойным: «Я не люблю либерализма. Ближе мне стальная ковка общественных отношений у социал-демократии, даже самое отрицание идей прогрессивных. ⟨...⟩ Редко мучатся либералы общественными противоречиями. Часто довольны собой, часто пылят прогрессивными фразами ⟨...⟩ либерал бессилен перед сокрушающим молотом, которым социал-демократия свергает его в бездну реакции»; «Николай Ильич был слишком *человек* в вечно прекрасном смысле этого слова, чтобы его можно было сопричислить к типичным либералам нашего времени. Последнее время покойный молчал, когда вокруг него пылили словами либералы, но во все стороны разлетались клубы излияний, словесных и пыльных, когда раздавалась его короткая, отрывистая речь; чистым воздухом дышали его слова, хотя вообще он был человек либерально настроенный. Николай Ильич был редчайшим явлением: *он был истинным гуманистом*. Он был головой выше своих учеников» (Весы, 1906, № 2, с. 67—68).

[64] Этот разговор происходил, по всей вероятности, во второй половине 1900-х гг.

[65] От фр. décapiter — обезглавливать.

[66] Член Исполнительного комитета «Народной воли» Вера Николаевна Фигнер, сестра Н. Н. Фигнера, отбывала одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости в течение двадцати лет (1884—1904). Об отношении Фигнера к сестре см. воспоминания М. Н. Фигнер «Последние годы» (в кн.:

Фигнер Н. Н. Воспоминания. Письма. Материалы. Л., 1968, с. 92—113).

[67] Имеется в виду книга Иванова-Разумника «О смысле жизни. Ф. Сологуб. Л. Андреев. Л. Шестов» (СПб., 1908; изд. 2-е — СПб., 1910). В ней обосновывался «имманентный субъективизм» — система мировоззрения, признававшая субъективную целесообразность жизни: цель — в настоящем, в стремлении к полноте переживаний, к широте, глубине, интенсивности человеческой жизни.

[68] Знакомство Белого и Иванова-Разумника состоялось в Петербурге в мае 1913 г. В пореволюционные годы Иванов-Разумник стал ближайшим другом Белого и его постоянным корреспондентом. Об их отношениях см.: Лавров А. В. Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме.— В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 23—29.

[69] См. примеч. 58 к гл. 1.

[70] Одна из основополагающих идей раннего русского символизма — идея мгновения, самоценного и безвозвратно исчезающего, создающая представление о беглом и зыбком мире, полном неотчетливых, мимолетных впечатлений и ощущений.

[71] В гранках книги далее было:

«Впечатление мое от летучих встреч с профессором Перетцом: его бы следовало все же хоть подсолить, если он обижается на «перец»; а то как-то пресно с ним».

[72] Писем К. Маркса к В. И. Танееву не выявлено. О Танееве, «которого я с давних пор уважаю как преданного друга освобождения народа», Маркс писал М. М. Ковалевскому 9 января 1877 г. (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 34. М., 1964, с. 185; впервые: «Летописи марксизма», кн. VI, 1928).

[73] Московский ресторан «Большой Эрмитаж» (товарищество Оливье) на Трубной площади. В конце 1870-х гг. Танеев регулярно устраивал там в первое воскресенье каждого месяца так наз. «академические обеды» (постоянные участники — К. А. Тимирязев, В. В. Марковников, В. Ф. Лугинин, а также С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский, С. И. Танеев, П. И. Чайковский и др.). См. об этом в очерке П. В. Танеева «Из воспоминаний о Владимире Ивановиче Танееве» в кн.: Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М., 1959, с. 702—703.

[74] Имение Демьяново на окраине Клина (Московская губерния). В. И. Танеев купил его в 1883 г. и жил там каждое лето, а с 1890 г.— почти безвыездно.

[75] *Memento mori* (лат.) — помни о смерти; в переносном смысле — грозное напоминание об угрозе, гибели и т. п.

[76] В январе 1889 г. праздновалось 50-летие литературной деятельности А. А. Фета.

[77] В воспоминаниях сына В. И. Танеева, П. В. Танеева, об отце говорится: «Библиотека Владимира Ивановича находилась первоначально в Москве. В 1900 г. он перевез ее из Москвы в Демьяново и поместил в трех больших залах, специально оборудованных. В течение 10 лет он приводил ее в порядок и расставлял книги по своей системе. Владимир Иванович полагал, что его система ни в коем случае не должна быть нарушена. Продать свою библиотеку Владимир Иванович категорически отказался. На семейном совете мы решили библиотеку отдать Родине безвозмездно» (в кн.: Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем, с. 704—705).

[78] Белый жил в Демьянове в июне 1910 г. «Осталось впечатление от многочасовых блужданий в Демьяновском парке 〈...〉 и нудных разговоров с Владим〈иром〉 Иванов〈ичем〉 Танеевым на тему: почему я пишу такие непонятные стихи» (*Материал к биографии*, л. 57 об.— 58).

[79] Белый бывал в Демьянове несколько раз наездами в июне — июле 1917 г.

[80] К. А. Тимирязев был одним из близких друзей В. И. Танеева. Об их отношениях см.: Танеев П. В. Воспоминания о Клименте Аркадьевиче Тимирязеве.— В кн.: Климент Аркадьевич Тимирязев. Сборник. М., 1940, с. 108—121.

[81] Неточность; заместитель наркома просвещения и руководитель Коммунистической академии М. Н. Покровский предложил В. И. Танееву приобрести библиотеку за 100 тысяч рублей (см.: Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем, с. 704). Ср. примеч. 77.

[82] Танеев скончался 21 октября 1921 г.

[83] *Прозерпина* (римск. миф.; греч.— Персефона) — дочь Зевса и Деметры, похищенная Плутоном (греч.— Аид), богом подземного царства мертвых. Белый неоднократно обыгрывал этот мифологический сюжет в своих произведениях (см., например: Белый Андрей. Петербург, с. 333).

[84] Белый проводил лето в Демьянове в 1884—1889 гг. и в 1891 г.

[85] Имеется в виду имение Дедово (в 8-ми верстах от станции Крюково Николаевской ж. д. под Москвой).

[86] «Эпоха великих реформ» (в 1-м издании (М., 1892) — «Из эпохи великих реформ») — книга Г. А. Джаншиева, посвященная истории судебной реформы и либеральных преобразований 1860-х гг.; пользовалась широкой популярностью (выдержала несколько изданий) и сыграла большую общественную роль. См.: Гончар Н. А. Г. А. Джаншиев и страницы о нем в мему-

арно-автобиографической прозе Андрея Белого.— В кн.: Белый Андрей. Армения. Ереван, 1985, с. 161—195.

[87] *Дюрандаль* — имя меча (производное, видимо, либо от прилагательного dur — «прочный», либо от глагола durer — «быть прочным, устойчивым») Роланда, героя средневековой французской эпической поэмы «Песнь о Роланде» (XII в.).

[88] Сокращенная цитата (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. II, с. 114).

[89] Под деборинцами понимается группа советских философов во главе с А. М. Дебориным (с 1929 г.— академик АН СССР). В 1920-е гг. Деборин выступал с критикой механистов — группы советских философов, обвинявшихся в механическом истолковании явлений природы и общества, в вульгарном эволюционизме и позитивизме, противопоставлявших практику абстрактному мышлению (Л. И. Аксельрод, А. И. Варьяш, В. Н. Сарабьянов, И. И. Скворцов-Степанов, А. К. Тимирязев и др.). Взгляды механистов широко обсуждались в 1925—1929 гг. на научных дискуссиях и в печати; на 2-й Всесоюзной конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских институтов (апрель 1929 г.) взгляды механистов были признаны (по докладу Деборина, носившему официально-директивный характер), отходящими от марксистско-ленинской философии.

[90] Об аритмологическом миросозерцании Н. В. Бугаева и о его вкладе в теорию прерывных функций и чисел обстоятельно говорится в работе П. А. Некрасова «Московская философско-математическая школа и ее основатели» (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. I). См. также: Юшкевич А. П. История математики в России до 1917 года. М., 1968, с. 483—486.

[91] Подразумевается один из рассказов о древнегреческом философе-кинике Диогене Синопском: «Среди бела дня он бродил с фонарем в руках, объясняя: «Ищу человека» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979, с. 246—247; перевод М. Л. Гаспарова).

[92] Сокращенная цитата (Некрасов П. А., Лахтин Л. К., Лопатин Л. М., Минин А. П. Николай Васильевич Бугаев, т. II, с. 102).

[93] В монадологии Лейбница (ср. примеч. к гл. 1) *монада* — психически активная субстанция, воспринимающая и отражающая другие монады и весь мир; монады, которым присуще бесконечное разнообразие по внутренним качествам и степени совершенства, находятся между собой в отношении предустановленной гармонии.

[94] Граф Д. А. Толстой, будучи в 1866—1880 гг. министром народного просвещения, насаждал классическую систему в гимназическом образовании и не допускал в него курса естественных наук. В 1871 г. был утвержден выработанный Толстым гимназический устав, дававший решительный перевес классицизму как основе общего научного образования и ставивший заслон точным и естествоведческим дисциплинам.

[95] В 1900 г. при министре народного просвещения Н. П. Боголепове было предложено отодвинуть гимназическое изучение древних языков в старшие классы; в мае — июне 1901 г., при новом министре П. С. Ванновском, заседала специальная комиссия при Министерстве народного просвещения, обсуждавшая «Основные положения устройства общеобразовательной средней школы» и запланировавшая введение естествоведения в курс IV — VII классов (см.: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб., 1902, с. 713—717).

[96] Н. В. Бугаев был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, по разряду математических наук Физико-математического отделения (с 13 декабря 1897 г.), почетным членом Юрьевского и Казанского университетов, Харьковского и Казанского математических обществ, Общества любителей естествознания, Московского общества испытателей природы, действительным членом Чешского королевского общества в Праге.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. БОРЕНЬКА

[1] В автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый определил первое семилетие своей жизни (1881—1887) как «сказочный период», разделив его, в свою очередь, на два этапа: 1881—1884 — «от мифа к сказкам», 1884—1887 — «угасание сказочности; наблюдение над внешним миром; религиозность» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[2] Имеется в виду первая глава романа — «Бредовый лабиринт» (Белый Андрей. Котик Летаев. Пб., 1922, с. 15—61).

[3] Белый свидетельствует, что «первый проблеск сознательности» относится у него к лету 1883 г.; декабрь 1883 г.: «Отчетливо уже сознание. С этого периода начинается внутренняя биография» (*Материал к биографии,* л. 1).

[4] Имеется в виду главка «Горит, как в огне» (Белый Андрей. Котик Летаев, с. 25—28). Белый перенес заболевание корью в октябре 1883 г., в ноябре того же года — заболевание скарлатиной.

[5] См. главку «Старуха» (Белый Андрей. Котик Летаев, с. 22—25).

[6] Баллада Иоганна Вольфганга Гете «Лесной царь» («Erlkönig», 1782) принадлежала к числу первых произведений немецкой классической поэзии, с которыми познакомила Белого осенью 1884 г. гувернантка Раиса Ивановна. Белый отразил эти детские впечатления в романе «Петербург» (Белый Андрей. Петербург, с. 315—316).

[7] Вторую половину сентября — первую половину октября 1913 г. Белый провел в Норвегии (Христиания, Льян, Берген), где слушал курс лекций Р. Штейнера «Пятое Евангелие» и принял окончательное решение связать свою судьбу с антропософией. Об испытанном тогда состоянии мистического озарения Белый вспоминает: «С этого момента до весны я переживаю неимоверный взлет; события ежедневные приобретают для меня

какой-то преобразовательный смысл»; «...наступает день моего рождения 27 октября: мне исполняется 33 года; я чувствую: возраст мой — ответственный. В эти дни мне очень много открывается во внутреннем пути 〈...〉» (*Материал к биографии*, л. 66 об., 67).

[8] Подразумевается древнейший очаг европейской культуры на острове Крит в Средиземном море со столицей Кноссом (крито-микенская культура, ок. 3000 — ок. 1200 до н. э.). Дорийские племена колонизовали Крит в XII в. до н. э. и уничтожили центры крито-микенской культуры.

[9] Представления об этих двух стихиях восходят у Белого к философско-культурологическому труду Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), в котором отстаивается идея о существовании двух типов культуры: дионисийской — непосредственно «жизненной», неуправляемой, отражающей хаотическое начало и трагизм бытия, и аполлоновской — логически упорядоченной, созерцательной, рациональной, дисциплинирующей хаос строем и мерой.

[10] Ср. фрагмент из предисловия Белого к неосуществленному изданию «Котика Летаева» (1928): «...думать, что 3-летний думает по логике Аристотеля,— просто глупость; фактически почти каждый отец проводит эту глупость в жизнь; и говоря *«Он упал в обморок»*, не объясняют ребенку метафоры *«упал»*; ребенок же думает: обморок — нечто вроде погреба, куда падают; и миф — готов» (Русская литература, 1988, № 1, с. 219).

[11] Ср. аналогичные рассуждения Белого: «...я ощущаю в себе становление темы символизма так, как она пела в моей душе с раннего детства; и я осознаю эту тему в усилиях ее идейно выгранить — уже позднее: при встречах с людьми 〈...〉 На вопросы о том, *как* я стал символистом и *когда* стал, по совести отвечаю: *никак не стал, никогда* не становился, но всегда *был* символистом (до встречи со словами *«символ»*, *«символист»*); в играх четырехлетнего ребенка позднейше осознанный символизм восприятий был внутреннейшей данностью детского сознания» (*Почему я стал символистом*, с. 7).

[12] См. главку «Доктор Дорионов» (Белый Андрей. Котик Летаев, с. 28—32).

[13] *Тесей* (греч. миф.) — сын афинского царя Эгея; убил в подземном лабиринте Минотавра (чудовище-человекобык, которому приносились человеческие жертвы).

[14] Ср.: «1884 год. *Январь.* Появление первой бонны Каролины Карловны, первые упражнения в немецком языке 〈...〉 Танцую польку с Каролиной Карловной. *Февраль.* 〈...〉 Каролина Карловна прогнана: ко мне берут бонну Фанни Андреевну» (*Материал к биографии*, л. 1).

[15] Белый относит это событие к декабрю 1883 г.: «Первая пережитая драма (прогнали нянюшку)» *(Материал к биографии*, л. 1).

[16] В очерке «К биографии» Белый говорит о своих первых литературных впечатлениях: «...стихи Уланда, Гейне и Гете, хотя я их ⟨...⟩ не понимал, однако они производили животворное действие; странно, что первые сильно на меня повлиявшие стихи были немецкие; Уланда, Гете и Гейне читала мне вслух гувернантка, немка» (*ГБЛ*, ф. 198, карт. 6, ед. хр. 5, л. 1 об.). Ср. признания Белого о детстве в письме к А. А. Блоку от 18 или 19 декабря 1904 г.: «...начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гете, из Уланда, а я у нее на коленях засыпаю. Вот моя музыкальная тема» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 114).

[17] Сокращенная цитата из статьи «Критицизм и символизм» (*Символизм*, с. 29), впервые опубликованной в 1904 г. в «Весах» (№ 2).

[18] См. примеч. 84 к гл. 1.

[19] Подразумевается название главного философского труда А. Шопенгауэра — «Мир как воля и представление» (1819).

[20] Подразумевается «теологический оптимизм» Лейбница, обосновывавшего в «Теодицее» (1710) тезис о том, что существующий мир создан Богом как «наилучший из всех возможных миров».

[21] *Скиния* — походный храм древних евреев во время их сорокалетнего странствования по пустыне.

[22] Ср.: «...основы естественнонаучного мировоззрения через отца, можно сказать, затопляли воздух нашей квартиры; из речей отца и его друзей, профессоров математики, физики, химии и биологии, на меня ушатами изливались лозунги дарвинизма, механического мировоззрения, геологии и палеонтологии; сколько я себя помню, столько же помню себя знающим, что гром — скопление электричества, что Скиния Завета была наэлектризована *«жрецами»*, что земля — шар, что человек произошел от обезьяны и что мир *не сотворен* семь тысяч лет назад, а — начала не имеет» (*Почему я стал символистом*, с. 16—17).

[23] «Schloss am Meer» («Замок у моря») — баллада Л. Уланда. Ср. запись, характеризующую конец 1884 г.: «Первые откровения поэзии при слушании «Schloss am Meer» Уланда» (*Материал к биографии*, л. 1 об.). Образы этого стихотворения (король и королева, замок, красная мантия и др.) отразились в 1-й части «Северной симфонии» Белого.

[24] «Сильные первые религиозные переживания» Белый относит к январю 1886 г. (*Материал к биографии*, л. 1 об.). Ср.: «...мое живейшее восприятие образов Ветхого и Нового заветов было восприятие символизма моей души; над *традицией* у нас в доме смеялись 〈...〉 мои игры в Новый завет я скрыл» (*Почему я стал символистом*, с. 17).

[25] Ср. запись о ноябре — декабре 1886 г.: «Мне дарят сказки Андерсена: яркие переживания сказочного мира» (*Материал к биографии*, л. 1 об.).

[26] Ср. запись об осени 1885 г.: «Заболевание Раисы Ивановны. Ее уход от нас» (*Материал к биографии*, л. 1 об.)

[27] «Первые откровения музыки (Шопен, Бетховен)» Белый относит к концу 1884 г. (*Материал к биографии*, л. 1 об.).

[28] Ср.: «С четырех до семнадцати лет я рос *эсотериком*; мой символизм — утаиваемое от других; долгое время сфера утаиваемого была сферой утаиваемого поневоле, ибо ни одно из слов моего словаря не нарекало его никак» (*Почему я стал символистом*, с. 20).

[29] Белый вспоминает о весне 1906 г.: «...все это время я читаю книги по социальным вопросам: Кропоткина, Бакунина, Маркса, Энгельса, Каутского, изучаю *«Эрфуртскую программу»*, читаю *«Историю социал-демократии»* Меринга 〈...〉» (*Материал к биографии*, л. 53).

[30] Контаминация сокращенных цитат из статьи «Фридрих Ницше» (1907).

[31] Цитата из той же статьи.

[32] В статье «Владимир Соловьев. Из воспоминаний» (1907) Белый пишет: «...если вы пожелаете узнать, для чего нужно было Соловьеву всю жизнь громить, бичевать и взывать, то под его критикой и полемикой вас встретят бледные, безжизненные схемы метафизики»; «...я не мог не научиться любить в Соловьеве не мыслителя только, но и дерзновенного новатора жизни, укрывшего свой новый лик под забралом ничего не говорящей метафизики» (*Арабески*, с. 389, 391).

[33] Цитируется 18-й фрагмент раздела «О высшем человеке» 4-й части философской поэмы Ницше «Так говорил Заратустра» (1885); ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «Заратустра танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, проворный, божественно легкий: — Заратустра прорицатель, Заратустра смеющийся, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки; я сам надел на себя этот венок!» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Изд. 3-е. СПб., 1907, с. 326).

[34] Цитаты из статьи «Эмблематика смысла» (1909).

[35] Сокращенная цитата из книги Белого «Рудольф Штейнер

и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете» (М., 1917). Белый опускает при этом планы содержания обозначенных им категорий: «*«Монос» тона* — в а) теизме, b) интуитивизме, с) натурализме. *«Монос» мироощущения* — в а) гностицизме, b) логизме, с) волюнтаризме, d) эмпиризме, е) мистицизме, f) трансценденталaизме, g) оккультизме».

[36] Пересказ, близкий к тексту, и цитаты из исследования «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности».

[37] Цитаты из статьи «Принцип формы в эстетике» (1906).

[38] Сокращенная цитата из статьи «Эмблематика смысла».

[39] Неточная и сокращенная цитата из статьи «Эмблематика смысла» (*Символизм*, с. 117).

[40] Гераклиту принадлежит идея непрерывного изменения, становления как сущности мира, имеющего первоначало в мировом огне — стихии, из которой возникают все вещи и в которую возвращаются.

[41] *Нирвана* — одно из основных понятий буддийской религии, означающее высшую святость, завершение религиозной жизни, вечность, бессмертие, покой, прекращение страдания.

[42] См. раздел «Диалектика» в книге Ф. Энгельса «Диалектика природы» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20. М., 1961, с. 384—390).

[43] Σύμβολον (греч.) — знак, сигнал, примета, предзнаменование, знамение, намек; глагол συμ-βάλλω имеет около 18 значений: собирать, присоединять, содействовать, соединять, подавать, оказывать и т. д.

[44] Συν-τίθημι (греч.) — класть вместе, складывать; присоединять, собирать; составлять, слагать.

[45] Понятие Логоса в философии Гераклита вызывало разнообразные интерпретации в истории философии; Логос осмыслялся как Бог, судьба, необходимость, вечность, мудрость, общее, закон, универсальная закономерность.

[46] Белый подразумевает свою статью «Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма» (1909), написанную под знаком воздействия неокантианской философии.

[47] Брюсов вспоминает о своих гимназических годах: «По математике я решительно был первым. Все время, пока я был в гимназии, я со страстью предавался этой науке, ознакомился там с высшим анализом и всегда мечтал идти на математический факультет»; «Спиноза некоторое время полностью владел моей душой. Я воображал его Этику откровением, ответом на все вопросы» (Брюсов В. Из моей жизни, с. 68, 72). Ср. примеч. 16 к Введению.

[48] Ю. Балтрушайтис поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета в 1893 г. и окончил его в 1898 г. См.: Дауётите В. Юргис Балтрушайтис. Вильнюс, 1983, с. 15, 21.

[49] Основатель и владелец символистского издательства «Скорпион» С. А. Поляков окончил физико-математический факультет Московского университета в 1897 г. См.: Гречишкин С. С. Архив С. А. Полякова.— В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 4.

[50] Сокращенная цитата из «Диалектики природы» Ф. Энгельса, приводимая в кн.: Столяров А. Диалектический материализм и механисты. Наши философские разногласия. Изд. 2-е. Л., 1929, с. 116. Ср.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 563.

[51] Сокращенная цитата из книги А. Столярова «Диалектический материализм и механисты».

[52] Сокращенная цитата из статьи «Эмблематика смысла».

[53] Сокращенная цитата из «Эмблематики смысла».

[54] *Par excellence* (фр.) — по преимуществу, в высшей степени, в истинном смысле слова.

[55] Заключительная строка стихотворения Пушкина «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?..» (1829): «Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!»

[56] В 1909 г. Белый — один из учредителей символистского издательства «Мусагет», Брюсов с августа 1910 г.— заведующий литературно-критическим отделом журнала «Русская мысль».

[57] Белый повторяет здесь аргументацию, которая предлагалась в обращении «К читателям» в последнем, 12-м номере «Весов» за 1909 г.: «Весы» приостанавливаются после шестилетнего существования, и не в силу внешних, враждебных условий, а совершенно сознательно и согласно желанию лиц, стоявших и стоящих во главе журнала 〈...〉 причины, побуждающие нас приостановить «Весы»,— не поражение, а, напротив, достижение некогда поставленной ими себе цели 〈...〉 Вместе с победой идей символизма в той форме их, в какой они исповедовались и должны были исповедоваться «Весами», ненужным становится и сам журнал» (Весы, 1909, № 12, с. 186, 190).

[58] В приветствии «Сергею Александровичу Полякову в день двадцатипятилетия «Скорпиона» от старого «скорпионца» (1925) Белый отмечает «тесный круг лозунгов, выдвинутых литературной группой *«Скорпиона-Весов»*, которая выглядит *прологом* из века в век» (Stanford Slavic Studies, vol. 1, 1987, p. 97; публикация Дж. Е. Мальмстада).

[59] Отец Блока Александр Львович Блок был профессором

юридического факультета Варшавского университета, дед Блока (по материнской линии) Андрей Николаевич Бекетов, один из основоположников эволюционной географии и морфологии растений, был профессором Петербургского университета и его ректором в 1876—1883 гг.

[60] Эллис (Лев Львович Кобылинский) был побочным сыном Л. И. Поливанова. См.: Цветаева Анастасия. Воспоминания. Изд. 3-е. М., 1983, с. 258.

[61] Отец В. Г. Шершеневича, Габриель Феликсович Шершеневич (1863—1912),— юрист, профессор Московского университета, член I Государственной думы, кадет; отец С. В. Шервинского, Василий Дмитриевич Шервинский,— преподаватель медицинского факультета Московского университета.

[62] Ср. запись Белого, характеризующую октябрь 1905 г.: «...собираю деньги на борьбу; еду на фабрику *«Дукат»* 〈...〉» *(Ракурс к дневнику,* л. 30).

[63] Контаминация сокращенных цитат из статьи-«манифеста» «Художники оскорбителям» (*Арабески,* с. 326—330).

[64] Белый опирается на характеристику, которая дается Якову Кузьмичу Брюсову — купеческому сыну, зараженному радикальными идеями шестидесятников,— в автобиографической повести Брюсова «Моя юность» (Брюсов В. Из моей жизни, с. 10—11).

[65] Здесь Белый ошибочно объединяет сведения, относящиеся к двум лицам: свое «дело» завел дед Брюсова по отцовской линии, Кузьма Андреевич Брюсов (1808—1891), купец 2-й гильдии, организовавший единственную в Москве в 1860—1870-х гг. пробочную торговлю; литературным творчеством занимался дед Брюсова по материнской линии, Александр Яковлевич Бакулин (1813—1893); см. статью Брюсова «Стихотворения и басни А. Я. Бакулина» (Русский архив, 1903, № 3, с. 437—444). О том и о другом деде Брюсов пишет в «Моей юности» (Брюсов В. Из моей жизни, с. 9—12).

[66] Сокращенная цитата.

[67] Контаминация неточных цитат (Брюсов В. Из моей жизни, с. 10, 12).

[68] Контаминация неточных и сокращенных цитат (там же, с. 13, 14, 15).

[69] Сокращенная цитата (там же, с. 17).

[70] Неточная цитата (там же, с. 36).

[71] Сокращенная цитата (там же, с. 47).

[72] Главный труд Джона Стюарта Милля «Система логики» (1843) неоднократно издавался в русском переводе. Наряду с О. Контом и Г. Спенсером Милль был для Белого одним из закон-

ченных воплощений позитивистской философии «отцов». «Систему логики» Милля Белый изучал летом 1899 г.

[73] Контаминация сокращенных цитат (Брюсов В. Из моей жизни, с. 14, 18. 19).

[74] Контаминация неточных и сокращенных цитат (там же, с. 21, 24).

[75] Контаминация неточных и сокращенных цитат (там же, с. 27—29, 31, 39, 40).

[76] Запись от 22 марта 1893 г. (Брюсов В. Дневники, с. 13).

[77] Записи от 26 марта 1893 г. (в сокращении).

[78] Запись от 12 апреля 1891 г. (в сокращении) (там же, с. 3).

[79] Там же (запись от 12 апреля 1891 г.).

[80] Серия томов из архива опытной и всеобщей зоологии, издававшаяся в 1880—1890-е гг. Мари-Ивом Делажем (Delage): «L'Evolution de la sacculine» (1884), «L'Anatomie des cynthiadées» (1889) и т. д.

[81] Над «Северной симфонией» Белый работал (с перерывами) с января по декабрь 1900 г.

[82] «Основы химии» (ч. 1—2, 1869—1871) — классический труд Д. И. Менделеева, в котором излагается периодический закон; при жизни ученого издавался 8 раз. Белый изучал «Основы химии» осенью 1899 г. 18 апреля 1929 г. Белый писал О. Э. Озаровской по поводу ее книги «Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской» (М., 1929): «...спасибо Вам и за воспоминания о Д. И. Менделееве, через них я живо прикоснулся к тому, кого я, как бывший естественник-химик, любил и перед кем стоял с восхищением, читая «Основы химии» и продумывая периодическую систему» («Перспектива — 87. Советская литература сегодня». Сб. статей. М., 1988, с. 493; публикация Т. В. Анчуговой).

[83] Белый поступил в гимназию Л. И. Поливанова в сентябре 1891 г., Брюсов окончил ее весной 1893 г.

[84] В мемуарном очерке «Валерий Брюсов» (1925) Белый пишет: «Я помню себя первоклассником, воспитанником Поливановской гимназии: вот — большой, белый, двухсветный зал, и — гул голосов, и толпа бегающих по залу мальчишек, среди этой толпы — я, с книжкой латинской грамматики; мне нравится, разбежавшись, скользить по паркету; но я всегда боюсь налететь на высокого черного старшеклассника, обладателя бороды, с некрасивым, весьма характерным лицом; он — угрюм: он — отпугивает меня умным видом; я знаю его: в час большой перемены бродит от белых колонн до большой входной двери,— всегда одинокий, наморщивши лоб; иногда он бормочет с собою; его уважаю, но — очень боюсь; и вот спрашиваю кого-то: «Кто это?»

И мне отвечают: То — Брюсов: он восьмиклассник» (Россия, 1925, № 4(13), с. 263—264).

[85] Три стихотворных пародии Вл. Соловьева на символистов («Горизонты вертикальные...», «Над зеленым холмом...», «На небесах горят паникадила...») были опубликованы в «Вестнике Европы» (1895, № 10, с. 850—851) в составе статьи Соловьева «Еще о символистах» (подпись: Вл. С.). Объект пародирования — подготовленные Брюсовым три сборника «Русские символисты» (М., 1894—1895). См.: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Вступит. статья, составление и примечания З. Г. Минц. Л., 1974, с. 164—166, 320 («Библиотека поэта», большая серия).

[86] *«Пролегомены»* (1783) — сочинение И. Канта, в сжатой форме излагающее сущность его философии и являющееся введением к ней. «Пролегомены» были изданы в русском переводе Вл. Соловьева (М., 1889). Ср. запись Белого о весне 1899 г.: «В гимназии я удивляю учителя русского языка, Бельского, тем, что в моем сочинении-экспромте (классном) я высказываю глубокие по его мнению философские мысли; он с удивлением спрашивает меня: «Бугаев,— да вы, может быть, и Канта читали?» (*Материал к биографии*, л. 12). Чтение «Пролегоменов» Белый относит, однако, уже к университетской поре своей жизни — к августу 1900 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 8).

[87] Неточно цитируется первая строфа стихотворения Брюсова (1896) из его книги «Me eum esse». В своем «Рассказе № 2» (1902) Белый целиком приводит романс В. И. Ребикова на эти стихи Брюсова («Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник 1980. Л., 1981, с. 143—144).

[88] См.: *Собрание эпических поэм*, с. 182—183.

[89] Гувернантка Белого с осени 1885 до осени 1886 г.

[90] Гувернантка Белого с осени 1886 до весны 1887 г.

[91] Видимо, ведьма из сказки Андерсена «Огниво». В автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый отмечает период своей жизни от 1884 до 1887 г. как прошедший под знаком Андерсена (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[92] Ср. запись Белого от апреля 1887 г.: «...быстро сменяются одна за другой две гувернантки: Кёниг, Беккер...» (*Материал к биографии*, л. 2 об.).

[93] В мае 1887 г. к Белому «поступает первая француженка, m-lle Матильда. И тотчас же уходит» (*Материал к биографии*, л. 2 об.).

[94] Гувернантка Белого с января по март 1888 г.

[95] Гувернантка Белого с апреля 1888 г. до осени того же года.

[96] *«Au clair de la lune//Mon ami Pierrot»* (ф р.) — «При лунном свете//Мой дружок Пьеро».

[97] Французская песня начала XVIII века «Malborough s'en va-t-en guerre...», переведенная на русский язык во время Отечественной войны 1812 г. и получившая широкое распространение («Мальбрук в поход собрался...»). См.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. Изд. 3-е. М., 1966, с. 373—374.

[98] Гувернантка Белого с осени 1888 г. до весны 1889 г.

[99] См.: Книга Екклесиаста, или Проповедника (I, 2, XII, 8).

[100] *«Призраки»* — фантастико-аллегорическая повесть И. С. Тургенева (1863). Белый относит слушание «Призраков» к марту 1888 г.: «Мама при мне читает вслух *«Призраки»* Тургенева; я так потрясен слышанным, что со мною делается истерика» (*Материал к биографии*, л. 2 об.). Ср.: «Несколько раз ворвались из пресного внешнего мира ярчайшие переживанья: подслушанное чтение вслух *«Призраков»* Тургенева 〈...〉» (*Почему я стал символистом*, с. 21).

[101] *«Сказки Кота-Мурлыки»* (1872) — многократно переиздававшийся сборник из 25 сказок, написанных Николаем Петровичем Вагнером (1829—1907); одна из наиболее популярных книг для детей в России конца XIX — начала XX в.

[102] Ср. запись Белого об октябре 1900 г.: «Читаю Ганслика и очень волнуюсь им» (*Ракурс к дневнику*, л. 8 об.). См.: Ганслик Эдуард. О музыкально-прекрасном. Опыт поверки музыкальной эстетики. С немецкого перевел 〈Г. А.〉 Ларош. Изд. 2-е. М., 1910.

[103] Ср. запись Белого об осени 1888 г.: «Мама мне читает Диккенса». Самостоятельное чтение «Жизни Дэвида Копперфилда» Белый относит к декабрю 1890 г. (*Материал к биографии*, л. 2 об., 3 об.).

[104] Роман Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).

[105] «Bibliothèque rose» — популярная во второй половине XIX века серия французских книг для детей, отличавшихся по большей части сентиментальностью и назидательностью.

[106] Графиня де Сегюр (урожд. Софья Федоровна Ростопчина) была автором многочисленных повестей для детей, занимательных по сюжету и поучительных; написанные по-французски, они были широко известны и в русских переводах. Чтение произведений Сегюр (по-французски) Белый относит к лету 1889 г. (*Материал к биографии*, л. 2 об.).

[107] Конец 1885 г.

[108] Видимо, «Элементарный курс грамматики» (1-е изд.—

1873) Д. И. Тихомирова — первое педагогически распланированное руководство для народной школы. Тихомировым были написаны также другие учебники: «Азбука правописания», «Букварь», «Начатки грамматики».

[109] Ср. признание Белого, относящееся к лету 1889 г.: «Чувственное влечение к горничной Нелиде» (*Материал к биографии*, л. 2 об.).

[110] «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного» (1862) — исторический роман А. К. Толстого. Ср. запись Белого о весне 1889 г.: «Мама заболевает ревматизмом. И больная вслух читает «Князя Серебряного». Я присутствую при чтении. Мое увлечение «Князем Серебряным»» (*Материал к биографии*, л. 2 об.).

[111] «Поэмы Оссиана» (1765) — цикл произведений Джеймса Макферсона (1736—1796), приписанный им легендарному шотландскому поэту III в. Оссиану. Видимо, Белый пользовался прозаическим переводом цикла: Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Исследование, перевод и примечания Е. В. Балобановой. СПб., 1890. См.: Левин Ю. Д. Оссиан в России.— В кн.: Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л., 1983, с. 528.

[112] Белла Радэн была гувернанткой Белого с мая 1889 г. до осени 1892 г. В письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый отметил ее определяющее воздействие на него в конце 1880-х гг. Ср. запись Белого о лете 1889 г.: «Нежная дружба с m-lle Радэн; мне кажется, что только она одна меня понимает» (*Материал к биографии*, л. 2 об.)

[113] Фр. belle — прекрасная, красивая; bête — зверь, животное, bête noire — пугало.

[114] Mon ami (фр.) — мой друг.

[115] *«Хижина дяди Тома»* (1852) — роман Гарриет Бичер-Стоу, многократно издававшийся в русских переводах в 1870—1890-е гг., в том числе в обработке для детей (перевод М. Л. Песковского. СПб.— М., изд. т-ва М. О. Вольф, [1890]).

[116] Подразумевается повесть для детей Эдмондо Де Амичиса «Сердце» (1886), получившая мировую известность.

[117] Кожаный Чулок — одно из имен охотника Натаниэля Бумпо (другие имена — Зверобой, Соколиный Глаз, Следопыт, Длинный Карабин), главного героя романов Джеймса Фенимора Купера «Пионеры» (1823), «Последний из могикан» (1826), «Прерия» (1827), «Следопыт» (1840), «Зверобой» (1841). Ср. записи Белого, характеризующие 1889 год: «Мне подарили *«Кожаный Чулок»* Купера. Мои увлечения и игры в индейцы. Я воображаю себя «Кожаным Чулком»» (январь); «Увлечение Купером» (ноябрь — декабрь) (*Материал к биографии*, л. 2 об., 3). Издание, которым тогда пользовался Белый,— скорее

всего: К у п е р Ф. Кожаный Чулок. Пять рассказов. Переделка для юношества О. И. Шмидт-Москвитиновой (Роговой). СПб., [1885] (в книгу вошли эпизоды из всех пяти романов о Натаниэле Бумпо).

[118] Эпизоды из романа Купера «Следопыт» (в ранних русских переводах — «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море», «Онтарио»).

[119] Один из героев романа «Последний из могикан», индеец-гурон.

[120] Племянница Н. В. Бугаева — Людмила Федоровна Филлипченко, дочь Варвары Васильевны Кистяковской, урожд. Бугаевой. Белый вспоминает о лете 1890 г.: «Меня отвозят в имение Городищи, Киевской губернии, к Филлипченкам (Людм. Фед. Филлипченко, урожденная Кистяковская), где оставляют с m-lle Радэн» (*Материал к биографии*, л. 3).

[121] «Crédit Lionnais» (ф р.) — «Лионский кредит», французское акционерное общество, имевшее агентства в России.

[122] *«Вокруг света»* — еженедельный «журнал путешествий и приключений на суше и на море», издававшийся в Москве с 1885 г.

[123] Вспоминая о пребывании в Городищах, Белый пишет: «...зачитываюсь сочинениями Жаколио, Луи Бусенара и Майн Рида» (*Материал к биографии*, л. 3). Видимо, упоминание в мемуарах в аналогичном контексте Эмиля Габорио, автора уголовно-детективных романов, ошибочно: подразумевался, по всей вероятности, Луи Жаколио (1837—1890) — автор многочисленных романов о путешествиях и приключениях в экзотических странах.

[124] «Мирские захребетники» (СПб., 1884, изд. 2-е — 1888) — книга для детей М. Н. Богданова; полубеллетристические-полунаучные очерки о животных.

[125] «Творимая легенда» — заглавие романа-трилогии Ф. Сологуба (1908—1913).

[126] Ср. запись Белого об июле 1890 г.: «...мы останавливаемся на неделю у сестры m-lle Радэн, живущей у дочерей адвоката Куперник, в Боярках, под Киевом; эта неделя оставляет сильное впечатление и окрашена игрою моею в «битвы» (*Материал к биографии*, л. 3 об.).

[127] См.: Щ е п к и н а-К у п е р н и к Т. Л. Дни моей жизни, с. 132—137.

[128] *Траппер* (а н г л. trapper) — охотник на пушного зверя в Северной Америке.

[129] *Веданта* — учение упанишад, в расширительном смысле — вся объективно-идеалистическая система индийской философии.

[130] Цитата из «Моей юности» (Брюсов В. Из моей жизни, с. 36).

[131] В рукописи книги далее зачеркнуто карандашом (после точки с запятой): «в результате: уличный фонарь верещит голосом полковника Светозарова («Кубок Метелей»); Светозаров символизирует искусственное освещение, являясь *«старой луной»*» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 112; «Кубок метелей» (М., 1908) — «четвертая симфония» Белого).

[132] «Warum?» («Почему?») — фортепьянная миниатюра Р. Шумана из цикла «Фантастические пьесы» (1837).

[133] Ср. запись Белого об осени 1890 г.: «...переживаю рассказы о Психол⟨огическом⟩ о⟨бщест⟩ве и спиритизме» (*Материал к биографии*, л. 3 об.). Н. Я. Грот и Л. М. Лопатин были деятельнейшими участниками и руководителями Московского Психологического общества.

[134] Арии из 2-й картины 2-го действия и из 1-й картины 1-го действия оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1877—1878).

[135] *«Вопросы философии и психологии»* — журнал, издававшийся в Москве с 1889 г. под редакцией Н. Я. Грота (с 1894 г. второй редактор — Л. М. Лопатин); с 1894 г.— издание Московского Психологического общества.

[136] См.: Петрово-Соловово М. Телепатия.— Вопросы философии и психологии, 1892, кн. 11, отд. I, с. 146—162, кн. 12, отд. I, с. 134—145.

[137] См. примеч. 13 к гл. 1.

[138] В семинарии Л. М. Лопатина по «Монадологии» Лейбница Белый участвовал осенью 1904 г., когда повторно поступил в Московский университет на историко-филологический факультет.

[139] Первые строки стихотворения А. С. Пушкина (1830).

[140] «*Homo sapiens*» (1895—1898) — роман Станислава Пшибышевского, одно из наиболее известных и характерных произведений польского модернизма; был выпущен в свет издательством «Скорпион» в 1904 г. в переводе М. Н. Семенова.

[141] Ф. А. Бредихин был назначен директором Главной российской астрономической обсерватории в Пулкове в 1890 г.

[142] П. К. Штернберг, профессор астрономии Московского университета, после Февральской революции возглавил работу по организации боевых дружин в Москве; после Октябрьской революции — председатель Замоскворецкого ревкома и Московский губернский комиссар.

[143] Ср. воспоминания Белого о 1902 годе: «Осенью обнаруживается, что «Симфония» моя имеет успех в известных кругах

Москвы; но и обнаруживается, что псевдоним мой раскрылся и что я — *«притча во языцех»*; в профессорских кругах говорят: «А у Николая Васильевича — сын декадент»» (*Материал к биографии*, л. 31).

[144] Лекция польского журналиста Касперовича «Новейшее искусство, символизм и любовь» состоялась в аудитории Исторического музея в марте 1903 г. См.: Брюсов В. Дневники, с. 131.

[145] В 1882 г. Д. Н. Анучин вошел в число товарищей по изданию московской газеты «Русские ведомости».

[146] *Amicus ex machina* (лат.) — друг из машины. Выражение построено по образцу употребительного «Deus ex machina» — «бог из машины» (в значении: стороннее лицо, благоприятно влияющее на ход события, чудесный помощник, избавитель).

[147] Отец А. С. Гончаровой Сергей Николаевич Гончаров (1815—1865) — брат Н. Н. Пушкиной.

[148] *Екатерина Николаевна Гончарова* (1809—1843) — старшая из сестер Н. Н. Пушкиной; вышла замуж за барона Жоржа-Карла Дантеса 10 января 1837 г.

[149] Ошибка Белого; у К. Н. Батюшкова не было потомства; П Н. Батюшков является потомком одного из братьев деда поэта, Льва Андреевича Батюшкова. См.: Кошелев В. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987, с. 9.

[150] См. примеч. 84 к гл. 1.

[151] И. А. Каблуков был избран профессором химии Московского сельскохозяйственного института в 1899 г.

[152] Далее в рукописи зачеркнуто карандашом:

«Но мой отец, ухвативши клочок бороды, его пыкнув под нос, об Иване Алексеевиче — ни звука» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 124 об.).

[153] Подразумеваются воскресные собрания в квартире Белого, начавшиеся осенью 1903 г.

[154] Лето 1891 г.

[155] См. запись от 22 ноября 1892 г. (Брюсов В. Дневники, с. 10).

[156] См.: Лопатин Л. М. Положительные начала философии, ч. 1—2. М., 1886—1891; изд. 2-е — М., 1911.

[157] Об этих встречах с Вл. Соловьевым Белый рассказал в очерке «Владимир Соловьев. Из воспоминаний» (*Арабески*, с. 387—388).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ГОДЫ ГИМНАЗИИ

[1] Дом, в котором располагалась гимназия Л. И. Поливанова (основана в 1868 г.). См.: Двадцатипятилетие Московской частной гимназии, учрежденной Л. И. Поливановым. 1868—1893. М., 1893; Гольдин Ф. Л. Л. И. Поливанов — педагог и методист (1838—1899).— Труды Одесского гос. ун-та им. И. И. Мечникова. Серия филологических наук, 1961, вып. 11.

[2] Имеются в виду «Воспоминания о Сергее Алексеевиче Усове» Л. И. Поливанова, напечатанные в сборнике «В память Сергея Алексеевича Усова» (М., 1887) и вышедшие также отдельной брошюрой (М., 1886). В них рассказывается о лекциях Усова по истории искусства в гимназии Поливанова в 1881—1886 гг.

[3] Подразумевается издание: Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики. Издание Л. Поливанова для семьи и школы. В пяти томах. М., 1887; изд. 3-е — М., 1901—1905.

[4] См.: Загарин П. В. А. Жуковский и его произведения. Изд. 2-е, доп. М., 1883.

[5] «Русская хрестоматия» Л. И. Поливанова, многократно переиздававшаяся (ч. 1—27-е изд. М., 1918; ч. 2—23-е изд. М., 1916).

[6] Подразумевается ветхозаветное предание (Книга пророка Даниила, III, 13—30) о трех иудейских отроках, товарищах Даниила, верных своей вере; ввергнутые царем вавилонским Навуходоносором в огненную печь, они остаются там невредимыми.

[7] Подразумеваются многотомные «Мемуары» Джованни Джакомо Казановы (первое сокращенное издание французского оригинала — в 1826—1838 гг.), изобилующие откровенными рассказами об авантюрной жизни автора и о его эротических похождениях.

[8] Г. Н. Федотова, ведущая актриса Малого театра, впервые исполнила роль леди Макбет в трагедии Шекспира «Макбет» в 1890 г.

[9] Итальянский актер-трагик Эрнесто Росси гастролировал в России в 1890, 1895 и 1896 гг., выступал в шекспировском репертуаре, а также в ролях Дон Гуана и Барона («Каменный гость», «Скупой рыцарь» Пушкина), Иоанна Грозного («Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого). См.: «50 лет артистической деятельности Эрнесто Росси». Сост. по мемуарам Э. Росси С. И. Лаврентьева. СПб., 1896.

[10] Подразумевается поэма Публия Овидия Назона «Метаморфозы» (нач. I в.), содержащая около 250 мифологических рассказов о превращениях людей в животных, растения, созвездия.

[11] В 1870-е гг. Поливанов организовал — в основном из бывших гимназических учеников — «Шекспировский кружок», просуществовавший около десяти лет и исполнявший публично «Гамлета», «Отелло», «Ромео и Юлию», «Кориолана», «Двенадцатую ночь» и «Генриха IV»; постановкой всех спектаклей руководил Поливанов. См.: Венкстерн А. Л. И. Поливанов и Шекспировский кружок.— В кн.: Памяти Л. И. Поливанова (К 10-летию его кончины). М., 1909, с. 33—41.

[12] Французский актер Жан Мунэ-Сюлли гастролировал в России в 1894 г.; прославился в ролях трагического репертуара (Шекспир, Расин, Вольтер).

[13] Ср.: Гиацинтов В. К характеристике Льва Ивановича.— В кн.: Памяти Л. И. Поливанова, с. 28—32.

[14] Подразумевается ветхозаветный рассказ о пророке Данииле, брошенном по повелению царя Дария в ров со львами и оставшемся невредимым: «Бог Мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам» (Книга пророка Даниила, VI, 22).

[15] Неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

[16] Образ из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 2, строфа VI): «С душою прямо геттингенской» (характеристика Ленского).

[17] О дружбе Поливанова с Я. П. Полонским см.: Сливицкий А. Лев Иванович Поливанов по личным моим воспоминаниям и по его письмам.— В кн.: Памяти Л. И. Поливанова, с. 46, 54—59, 68, 80, 132 и др.

[18] Государственная академия художественных наук (ГАХН; первоначальное название — Российская академия художественных наук), созданная для организации научного искусствозна-

ния и литературоведения, действовала в Москве в 1921—1931 гг. (президент ГАХН — П. С. Коган).

[19] В доме Рахманова на углу Арбата и Денежного переулка Белый родился и прожил до лета 1906 г.

[20] *Спондей* — стиховедческий термин: в силлабо-тоническом стихосложении — название сверхсхемного ударения в стопе ямба или хорея.

[21] *Шейлок* — герой комедии Шекспира «Венецианский купец» (1596), *Юлий Цезарь* — герой его одноименной трагедии (1599).

[22] Неточность Белого; цитируемые строки из «Илиады» (песнь VI, ст. 419—420) относятся к описанию могилы Этиона, отца Андромахи, убитого Ахиллесом (эпизод свидания Гектора с Андромахой). *Ульм* — вяз, платан.

[23] Имеется в виду исполнение роли Гамлета М. А. Чеховым в постановке МХАТ 2-го (премьера — 20 ноября 1924 г.). Белый чрезвычайно высоко ценил актерское мастерство Чехова и эту его роль в особенности; см.: Козлова М. Г. «Меня удивляет этот человек...» (Письма Андрея Белого к Михаилу Чехову).— В кн.: Встречи с прошлым, вып. 4. М., 1982, с. 224—243.

[24] Неточные и сокращенные цитаты; вторая из них — запись от 30 января 1893 г. (Брюсов В. Дневники, с. 5, 11, 12).

[25] Л. И. Поливанов скончался 11 февраля 1899 г.

[26] Подразумевается сражение в 1078 г., как сообщают летописи, «на Нежатине ниве» под Черниговом между войсками князя Олега Святославича и войсками великого князя Киевского Изяслава.

[27] Κἄλὸζ κἀγαθὸζ (греч.) — благороднейший, добродетельный. Выражение встречается у Ксенофонта и у Платона.

К. Н. Бугаева в воспоминаниях о Белом свидетельствует: «У Б. Н. был жизненный идеал человека, заветный и тайно хранимый. Он открыл его мне не сразу, а только после нескольких лет близости, в одну из тихих минут. И назвал его греческим словом Kalos k'agathos (kalos kai agathos) — прекрасный и добрый или Kalokagathos — прекрасно-добрый (благой), в одно слово, как оно звучало для греков 〈...〉 в греческом языке прилагательные kalos и agathos не только сливались, но и мыслились как единство, образуя существительное: Kalokagathia, означавшее совершенство — в словарях прибавлено: нравственное. Но Б. Н. слышал в нем *большее*. Споры филологов и эстетов показали ему, что подлинный смысл Kalokagathos утерян именно потому, что оно стало разломанным на две половины. И эти половины воспринимаются как простая и даже случайная сумма двух разных качеств. На самом же деле это не сумма, а произведение, предполагающее действие бессознательного умножения. Это по-

добие умножения происходит в нашей душе, когда в ней пересекаются два рода воздействий, скрыто присутствующих в каждом восприятии: воздействие внешнего и внутреннего. На пересечении их и возникает Kalokagathos, в котором прекрасное и доброе взаимно проникают, как бы химически окрашивают друг друга и являют собой совсем новое качество: прекрасно-доброго» (Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981, с. 265—266).

[28] *Ганимед* (греч. миф.) — сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои; из-за своей красоты был похищен Зевсом, превратившимся в орла (или пославшим орла), и унесен на Олимп. Сюжет «похищение Ганимеда» широко распространен в изобразительном искусстве.

[29] Неточная цитата из романа «Москва» (Белый Андрей. Московский чудак. Первая часть романа «Москва». М., 1926, с. 145); в ней характеризуется педагог Лев Петрович Веденяпин, в образе которого отразились черты Поливанова.

[30] Образ из баллады Ф. Шиллера «Кубок» в переводе В. А. Жуковского (1831): «И ужас морей однозуб».

[31] См. примеч. 5. Поливановым написаны также «Краткий учебник русской грамматики (синтаксис и этимология) для учеников трех первых классов средних учебных заведений», выдержавший 18 изданий, и «Учебник русской грамматики для средних учебных заведений» в двух частях, выдержавший 7 изданий.

[32] Латинская грамматика Шульца в обработке для русских гимназий Ю. Ю. Ходобая, выдержавшая несколько изданий.

[33] *Extemporalia* (лат.) — широко практиковавшиеся в гимназическом преподавании учебные упражнения, состоящие в переводе с родного языка на греческий или латинский.

[34] Остромирово Евангелие — древнейший датированный памятник старославянской письменности русской редакции; переписано в 1056—1057 гг. с болгарского оригинала дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира. См.: Остромирово Евангелие 1056—1057 г. СПб., 1883; изд. 2-е — СПб., 1889.

[35] *A livre ouvert* (фр.) — по раскрытой книге, с листа.

[36] «Слово о законе и благодати», написанное киевским священником Иларионом (будущим митрополитом), по всей вероятности в 1037—1043 гг.; одно из важнейших произведений литературы Киевской Руси, торжественная церковно-политическая декларация.

[37] Цитата из «Пророка» Пушкина.

[38] Белый подразумевает свои лекционные курсы, читанные в Петрограде и Москве в конце 1910-х — начале 1920-х гг., некоторые из них затрагивали проблему художественного языка.

[39] *«Чуден Днепр при тихой погоде»* — отрывок из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1831).

[40] *«Антигона»* — трагедия древнегреческого драматурга Софокла, созданная незадолго до 441 г. до н. э.

[41] *«Генрих IV»* (1597—1598) — историческая хроника Шекспира. *«Камоэнс»* (1839) — драматическая поэма В. А. Жуковского. Ср. запись Белого о январе — феврале 1897 г.: «...очень запала в памяти постановка отрывков из Шекспира и «Камоэнса» Жуковского учениками 7—8 класса Поливановской гимназии. Я не пропускаю ни одной репетиции и жадно вслушиваюсь во всякое указание Л. И. Поливанова, режиссирующего» (*Материал к биографии*, л. 6 об.).

[42] *Фальстаф* — герой «Генриха IV» Шекспира и его комедии «Виндзорские насмешницы».

[43] В. М. Лопатин исполнял роль 3-го мужика в «Плодах просвещения» Л. Н. Толстого — в домашнем спектакле 30 декабря 1889 г. в Ясной Поляне. Талантливое исполнение роли Лопатиным побудило Толстого уже в процессе репетиций переработать и увеличить эту роль. См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 27. М.— Л., 1933, с. 653—654 (комментарий Н. К. Гудзия).

[44] «Разоренное гнездо. Рассказ для детей» (М., 1882), «Волчья дубрава. Рассказ для детей младшего возраста» (М., 1894, серия «Избранное чтение для юношества. Издания Льва Поливанова») — книги А. М. Сливицкого (первая — о жизни молодого медвежонка в лесу и о семействе медведей, вторая — о волчонке и волках).

[45] Дочь А. А. Венкстерна — писательница Наталья Алексеевна Венкстерн (1891—1957), автор книг для детей.

[46] Цитируется с сокращениями фрагмент из письма Л. И. Поливанова к педагогу П. П. Никольскому, приводимый в примечаниях Н. С. Ашукина в книге Брюсова «Из моей жизни» (с. 121).

[47] Пров Михайлович Садовский, представитель актерской династии Садовских, с 1895 г. до конца жизни — актер Малого театра.

[48] С. А. Юрьев перевел на русский язык пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра» (1879), «Король Лир» (1882), «Макбет» (1883), «Буря» (1889), «Сон в летнюю ночь» (1889); наряду с Поливановым руководил постановками в шекспировском кружке.

[49] А. А. Венкстерн в мемуарном очерке «Л. И. Поливанов и Шекспировский кружок» свидетельствует, что И. С. Тургенев особо отметил исполнение роли Фальстафа И. И. Лавровым в «Генрихе IV»: «Сам Тургенев, посетивший один из наших спектаклей, сказал, что такого Фальстафа он не видывал ни на одной европейской сцене» («Памяти Л. И. Поливанова», с. 38).

[50] Речь Ф. М. Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской словесности в Москве, посвященном торжественному открытию памятника Пушкину на Страстной (Тверской) площади 6 июня, и ставшая огромным общественным событием. См. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 26. Л., 1984, с. 136—149, 441—491 (комментарии Г. М. Фридлендера при участии А. О. Крыжановского).

[51] Ср. с оценкой Поливанова, даваемой Белым, характеристику его в очерке Л. П. Бельского «Л. И. Поливанов как педагог»: «Он не надевал на себя, так сказать, особого нравственно-воспитательного костюма, когда действовал среди воспитанников, не становился на педагогические ходули, не принуждал себя к каким-либо особым педагогическим манерам; он был в классе и в пансионе таким же, как у себя в кабинете, и его отношения к воспитанникам были чрезвычайно похожи на его отношения к собственным его детям. Это была натура цельная во всем и везде»; «Он был педагог-художник и педагог-мыслитель. Он нашел в себе идеал педагога-человека, живого, увлекающегося, не ставящего узких рамок своей деятельности» («Памяти Л. И. Поливанова», с. 25, 26).

[52] Гимназия Франца Ивановича Креймана (Петровка, дом Самариной); основана в 1858 г., в 1865 г. получила право именоваться частной классической гимназией. См.: Двадцатипятилетие Московской частной гимназии Ф. И. Креймана. М., 1884.

[53] Императорский Лицей в память цесаревича Николая на Остоженке.

[54] Брюсов учился в гимназии Ф. И. Креймана с 1884 по 1889 г., осенью 1890 г. поступил в VI класс в гимназию Поливанова.

[55] Сокращенные цитаты, вторая — с неправильной датировкой (в оригинале: 12 октября). См.: Брюсов В. Дневники, с. 3.

[56] Там же, с. 4—5. Вторая цитата датирована в оригинале: «Ноябрь, 4».

[57] Сокращенные цитаты (там же, с. 5, 6, 9).

[58] Неточность; подразумевается книга «Из моей жизни». См.: Брюсов В. Из моей жизни, с. 27—38.

[59] Цитируются (в сокращении) записи от 29 октября 1892 г., 28 ноября 1892 г., 12 апреля 1891 г., 26 марта 1893 г. (Брюсов В. Дневники, с. 9, 10, 3, 13).

[60] Цитируются (последняя в сокращении) записи от 12 апреля 1891 г., 22 ноября 1892 г., 30 января 1893 г. (там же, с. 3, 10, 11).

[61] Запись от 30 января 1893 г. (там же, с. 11).

[62] Полный текст пародии Поливанова («Покаяния лжепоэта-француза») и ответное четверостишие Брюсова («Мы. (Мышиные эпиграммы)»), цитируемое Белым неточно, воспроизводятся в дневниках Брюсова (там же, с. 11—12).

[63] Записи от 21 февраля 1893 г. и от конца февраля 1899 г. (там же, с. 12, 62).

[64] См. примеч. 94 к гл. 2.

[65] В. К. Плеве (1846—1904), будучи шефом жандармов и министром внутренних дел (1903—1904), проводил репрессивную политику по отношению к оппозиционным силам и настроениям.

[66] Карело-финский эпос «Калевала», обработанный Э. Лёнротом, был переведен Л. П. Бельским в конце 1880-х гг., этот труд был удостоен малой Пушкинской премии. Перевод Бельского переиздается по сей день.

[67] И. Янчиным написан «Краткий учебник географии» (курсы I — IV для учеников 1—4 классов средних учебных заведений), неоднократно издававшийся в 1870—1890-е гг.

[68] Михаил Львович Толстой (1879—1944) и Андрей Львович Толстой (1877—1916).

[69] Э. К. Метнер обучался 7 лет в московской 1-й гимназии и 3 года в московской 5-й гимназии, которую окончил в 1893 г.

[70] Гимназический преподаватель Передонов — главный герой романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (опубл. в 1905 г.), своего рода воплощение духовного убожества, пошлости и косности.

[71] Образ насекомого, «коричневого и скорлупчатого», из «дурного сна» Ипполита Терентьева, пересказываемого в его «статье» «Мое необходимое объяснение» в гл. V части 3-й романа «Идиот». См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 8. Л., 1973, с. 323—324.

[72] Эпизод из романа Достоевского «Бесы» (ч. 1, гл. 2, III) — выходка Ставрогина по отношению к губернатору Иваиу Осиповичу. См.: там же, т. 10. Л., 1974, с. 42—43.

[73] «Латинская грамматика» Эллендта-Зейфферта, переведенная с приспособлениями к преподаванию в русских гимназиях П. Певницким и В. Зубковым. М., 1875 (изд. 7-е, испр.— М., 1889).

[74] Подразумевается Гуинплен, главный герой романа В. Гюго «Человек, который смеется» (1869); его изуродованное лицо подобно застывшей смеющейся маске.

[75] *Ариман* (Ахриман) — в иранской мифологии верховное божество зла; образ вошел в систему антропософских символов, обозначая один из путей демонического соблазна, путь разложения и хаоса.

[76] В Перловке (по Ярославской железной дороге) Белый провел лето 1892 г.

[77] Большая французская промышленная и художественная выставка была открыта в Москве в мае 1891 г. в специальном павильоне на Ходынском поле.

[78] В росписи храма Христа Спасителя в Москве (заложен в 1839 г., освящен и открыт в 1883 г.) участвовали художники В. П. Верещагин, Г. И. Семирадский, Ф. С. Журавлев, В. И. Суриков, К. Е. Маковский, И. М. Прянишников и др.

[79] Работа Клода Моне; в 1890 г. художник создал серию из 20-ти картин «Стога» («Meules»).

[80] В имении Аляухово близ Звенигорода (в санатории доктора Ограновича) Белый жил в июле — августе 1896 г.

[81] Белла Радэн ушла осенью 1892 г.

[82] *«Bel-Ami»* («Милый друг», 1885) — роман Ги де Мопассана.

[83] *Concours hippique* (фр.) — конные состязания.

[84] Вероятно, С. Подолинский, который в 1898 г. входил в группу близких Белому одноклассников.

[85] «Втируша» (или «Непрошенная») — одноактная пьеса М. Метерлинка («L'Intruse», 1890). «Втируша» или «непрошенная гостья» — Смерть.

[86] Повторяющаяся фраза из раздела «Среди дочерей пустыни» 4-й части книги Ницше «Так говорил Заратустра»; ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «Пустыня ширится сама собою: горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит!» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра, с. 338, 342).

[87] См. примеч. 15 к Введению.

[88] *Эллис* (Л. Л. Кобылинский) окончил московскую 7-ю гимназию в 1897 г. (см.: *ЦГИАМ*, ф. 418, оп. 311, дело 445).

[89] Подразумевается запись Брюсова от 21 февраля 1893 г.: «Утром очаровал Льва Ив. ответом о Дельвиге» (Брюсов В. Дневники, с. 12).

[90] См примеч. 84 к гл. 3.

[91] Ср.: «Я во время перемены бродил взад и вперед по зале, слагал в голове стихи, невпопад отвечал тогда на задаваемые вопросы 〈...〉 Воображаю себя бродящим дико взад и вперед по одной линии вдоль первых окон,— должно быть, зрелище было довольно смешное. Особенно донимали меня маленькие, перво- и второклассники, они просто начинали дразнить меня, как невиданного зверя. Присоединялись к ним иногда и ученики постарше» (Брюсов В. Из моей жизни, с. 67).

[92] И. В. Торопов был издателем черносотенной газеты «Вече», членом областной управы Союза русского народа и председателем Московского «Союза активной борьбы с революцией и анархией»; возле его дома в Москве, служившего штаб-квартирой московских черносотенцев, 14 марта 1907 г. был убит Г. Б. Иоллос — кадет, депутат I Государственной думы, причем убийца выбежал из этого дома. См.: Левицкий В. Правые партии.— В кн.: Общественное движение в России в начале XX века. Под ред. Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова. Т. III, кн. 5. СПб., 1914, с. 438—439.

[93] Член I Государственной думы, один из лидеров партии кадетов М. Я. Герценштейн был убит черносотенцами 14 июля 1906 г. в Териоках (Финляндия).

[94] *«Происхождение видов путем естественного отбора»* (1859) — основной труд Ч. Дарвина.

[95] См. примеч. 84 к гл. 1 и примеч. 124 к гл. 3.

[96] См.: Тисандье Гастон. Научные развлечения. Знакомство с законами природы путем игр, забав и опытов, не требующих специальных приборов. Пер. с франц. под ред. Ф. Павленкова. СПб., 1883 (книга построена на многочисленных примерах из области физики, химии, механики).

[97] *«Дон Жуан»* (1859—1860) — драматическая поэма А. К. Толстого. Иная оценка — в автобиографической записи, характеризующей май 1894 г.: «Я с восторгом читаю драмы Алексея Толстого и повторяю наизусть монологи из *«Смерть Иоанна Грозного»*» (*Материал к биографии*, л. 5).

[98] *«Основания физиологии ума»* (СПб., 1877) — книга английского естествоиспытателя Вильяма-Бенджамена Карпентера.

[99] *«La genèse du spiritisme»* («Происхождение спиритизма») — одна из книг французского писателя-спирита Аллан-Кардека. Ср. запись Белого, характеризующую начало 1896 г.: «...начинают интересовать проблемы гипнотизма, спиритизма и оккультизма» (*Материал к биографии*, л. 5 об.).

[100] Пьесы Г. Ибсена «Воители в Хельгеланде» (1857; под названием «Северные богатыри» поставлена в 1892 г. в Малом те-

атре), «Гедда Габлер» (1890), «Кукольный дом» (1879; «Нора» — заглавие пьесы, укрепившееся на немецкой и русской сцене), «Пир в Сульхауге» (1855).

[101] Посещения городской читальни имени Островского относятся к октябрю — декабрю 1897 г.; ср.: «...здесь читаю классиков: Гончарова, Тургенева и других. В моей жизни совершается откровение: я начинаю проглатывать целиком Ибсена и Достоевского — одновременно; Ибсен и Достоевский становятся с той поры для меня каноном жизни; *«Преступление и наказание»* — точно удар грома; другой такой удар грома — *Северные богатыри»* и *«Гедда Габлер»»* (*Материал к биографии*, л. 8).

[102] Петербургский журнал «Северный вестник», основанный в 1885 г., в 1890—1891 гг. перешел в руки Л. Я. Гуревич и А. Л. Волынского, которые открыли доступ на его страницы новейшим эстетическим веяниям (в середине 1890-х гг. в журнале печатались Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, К. Бальмонт). См.: Иванова Е. В. «Северный вестник».— В кн.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX— начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982, с. 91—128; Куприяновский П. В. Поэты-символисты в журнале «Северный вестник».— В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969, с. 113—135.

[103] Продолжение «Котика Летаева», задуманного как начало цикла автобиографических произведений, было опубликовано в «Записках мечтателей» (№ 4. Пб., 1921, с. 21—165) под заглавием «Преступление Николая Летаева. Эпопея — том первый. Крещеный китаец. Глава первая». В 1927 г. это произведение было напечатано отдельной книгой под заглавием «Крещеный китаец. Роман».

[104] Это исследование, по всей вероятности, не сохранилось. В архиве Белого имеется рукописный фрагмент «Несколько слов о красоте» (*ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 16,9 л.), относящийся, видимо, к 1898—1899 гг.

[105] Ср. запись Белого о 1893 годе: «*31 июня* ⟨sic!⟩ особенно памятно. В этот день я испытываю первое сильное увлечение; я влюбляюсь в Маню Муромцеву (дочь Сергея Андреевича Муромцева), встретив ее на именинах у Вышеславцевых» (*Материал к биографии*, л. 4 об.).

[106] С. А. Муромцев, один из лидеров кадетской партии, был избран председателем I Государственной думы, действовавшей с 27 апреля по 8 июля 1906 г.

[107] «Общество свободной эстетики» в Москве.

[108] Московский литературно-художественный кружок.

[109] Трагедия Ф. Шиллера «Мария Стюарт» шла в Малом театре с 1886 г.

[110] *«Мавр»* — видимо, шекспировский Отелло; *«Пиковая дама»* — опера П. И. Чайковского (1890).

[111] *«Два мира»* (1872, 1881) — стихотворная трагедия А. Н. Майкова. Домашний спектакль состоялся весной 1897 г.: «...мы задумываем к Пасхе сериознейшую постановку: ставим «Два мира» Майкова. Я играю Деция, Маруся Коваленская христианку, С. М. Соловьев соответствующую роль; М. С. Соловьев сам режиссирует нас. Я беру на себя обязанности костюмера» (*Материал к биографии*, л. 6 об.).

[112] Здесь: забавы, розыгрыши (англ. разг. gaff — ерунда, болтовня, вздор; балаган).

[113] Сокращенная цитата. Запись относится к осени 1903 г.

[114] Сокращеняая цитата. Пропущенная Белым «слишком лестная фраза» Брюсова: «Это едва ли не интереснейший человек в России». В записи говорится о весне 1902 г.

[115] См. главку «Лапан и Пампан» в гл. 3-й воспоминаний Белого «Начало века».

[116] *«Творчество жизни»* — первый раздел книги статей Белого «Арабески», объединяющий десять его статей 1900-х гг. на различные темы (литература, философия, театр, символика цветов и т. д.).

[117] Ср.: «Мои *«символические»* познания расширялись в сложностях утаиваемых игр в *«это»*; так звал я невнятную мне данность внутреннего опыта; перепахивая ее в творчески познаваемый *«мой»* мир: мир символиста ⟨...⟩» (*Почему я стал символистом*, с. 14).

[118] Цитата из стихотворения Брюсова «Золото» (1899), входящего в его кн. «Tertia vigilia» (см.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1. М., 1973, с. 234).

[119] Имеется в виду первый разговор между Гете и Шиллером, положивший начало их творческому союзу, летом 1794 г. в Иене после заседания основанного Гете Общества естествоиспытателей; в ходе разговора обсуждалась разработанная Гете морфология растений и идея некого прарастения, якобы бывшего в основе всех растительных видов. Разговор описан Гете в автобиографическом этюде «Счастливое событие» (1817). См.: Гете. Собр. соч. в 10-ти т., т. 9. М., 1980, с. 433—434.

[120] Термин Шкловского — остраннение (см. примеч. 51 к гл. 1).

[121] Сокращенная цитата из стихотворения Брюсова «Золото» (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1, с. 233—234).

[122] Имеется в виду женская гимназия С. А. Арсеньевой (Пречистенка, дом Перфильевой).

[123] В имении Бутлеров Александрия Белый жил в июне — июле 1894 г. Ср.: «...с Бутлерами дружбы не вышло; мы глядели в разные стороны; всем было тягостно в *«Александрии»* (*Материал к биографии*, л. 5).

[124] Имеется в виду Павел Акинфиевич Хохлов (1854—1919), артист оперы, в 1879—1900 гг. солист Большого театра.

[125] Д. Н. Цертелеву принадлежат философские работы «Философия Шопенгауэра. Теория познания и метафизики» (1880), «Современный пессимизм в Германии. Очерк нравственной философии Шопенгауэра и Гартмана» (1855), «Эстетика Шопенгауэра» (1888) и др. Цертелевым подготовлены также русские издания сочинений Шопенгауэра: О писательстве и слоге. Пер. с предисл. кн. Д. Цертелева. СПб., 1893; Эристика, или Искусство спорить. Пер. с предисл. кн. Д. Цертелева. Изд. 3-е. СПб., 1893 и др.

[126] Посещения дома Толстых (по субботам) Белый относит к октябрю — декабрю 1895 г. (*Материал к биографии*, л. 5 об.). См. также воспоминания Белого о Толстом (Андрей Белый. Проблемы творчества, с. 638—644).

[127] Пианистка Р. И. Пастернак, жена художника Л. О. Пастернака.

[128] Подразумеваются представители привилегированных слоев в комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» (1889).

[129] Это влияние, определившееся в значительной мере под воздействием ухода и смерти Толстого, отразилось в статье Белого «Лев Толстой» (Русская мысль, 1911, № 1, отд. II, с. 88—94) и в его брошюре «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М., 1911).

[130] Это заграничное путешествие состоялось в мае — июне 1896 г.

[131] П. Буайе был преподавателем русского языка, сотрудником (позднее директором) парижской «Школы восточных языков». См. о нем: Литературное наследство, т. 75. Толстой и зарубежный мир, кн. 1. М., 1965, с. 388—395.

[132] *«Jardin d'acclimatation»* — парижский зоологический сад с экзотическими животными.

[133] *«Ecole des langues orientales vivantes»* — «Школа живых восточных языков» в Париже.

[134] См.: Гиляров А. Н. Предсмертные мысли нашего века во Франции.— Вопросы философии и психологии, 1897, **кн.** 2 (37), с. 301—329, кн. 3 (38), с. 445—485, кн. 4 (39), с. 702—

759. Статья представляет собой обзор новейших французских литературно-эстетических явлений и устремлений (Золя, Мопассан, Бодлер, Верлен и др.), в ней приводится в прозаическом переводе мистерия Верлена «Crimen Amoris» (кн. 4, с. 738—740).

[135] В автобиографических записях об июле — августе 1896 г.— иная оценка: «Прочитываю впервые здесь *«Войну и мир»*. Роман не производит особенно сильного впечатления» (*Материал к биографии*, л. 6).

[136] Цитата из пародийного стихотворения Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт» («Вянет лист. Проходит лето...», 1854; написано А. К. Толстым).

[137] *«Serres chaudes»* («Теплицы», 1889) — сборник стихов М. Метерлинка. Белый познакомился с ним в конце 1896 г.

[138] В автобиографических записях Белый относит начало своего «авторства» к осени 1895 г.: «Я начинаю тайно пописывать стихи (весьма убого)» (*Материал к биографии*, л. 5 об.).

[139] Ср. характеристику первых своих творческих опытов в письме Белого к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: «...в конце 1896 года я уже про себя пишу; помнится: какая-то несуразная поэма белыми стихами на тему *«Крестоносцы»*, навеянная *«Освобожденным Иерусалимом»*; помнится: отрывок прозы для гимназического журнала, удививший товарищей *«художественностью»;* с 1897 года я уже, так сказать, перманентно пишу; энное количество стихов моих *ужасно, безудержно* декадентские; в этот период Вэрлен и Метерлинк — непроизвольные инспираторы моей беспомощной лирики; они — *«дрожжи»*, а *«тесто»* дрожжей — Бальмонт и... представьте... Полонский, которым одно время я, Бог весть почему, увлекаюсь. ⟨...⟩ В эту эпоху я пишу неоконченную поэму под названием *«Тристан»* (5-стопный ямб). И какую-то ужасную философскую галиматью с претензией на Гете и на «Дон Жуана» Алексея Толстого; в поэме — духи цветов, ангелы, двойники. От всего осталось в памяти две невероятные строки:

О,— двойник, двойник!
О,— второй мой лик!»
(*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[140] В цитированном автобиографическом письме к Иванову-Разумнику Белый приводит другой вариант текста своего «первого лирического произведения (кажется — 1896 год)»:

Кто там плачет над могилой
У подгнившего креста?
Это волны завывают?
Нет, то плачет тень моя.

[141] «Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину» (М., 1883) — книга Е. П. Блаватской (опубликованная под псевдонимом Радда-Бай), содержащая путевые заметки, сведения о Теософическом обществе, об индийской культуре, религии, истории, о современном индийском бытовом и социальном укладе, разъясняющая основы буддизма и индуизма. Белый прочел книгу Блаватской осенью 1896 г.

[142] См.: Джонстон Вера. Отрывки из Упанишад.— Вопросы философии и психологии, 1896, кн. 31 (1), с. 1—34; «Тао-те-кинг» Лаоси. Перевод с китайского Д. П. Конисси.— Там же, 1894, кн. 23 (3), с. 380—408; «Средина и постоянство». Священная книга последователей Конфуция. Перевод с китайского с примечаниями Д. П. Конисси.— Там же, 1895, кн. 29 (4), с. 382—403. Ср. запись Белого о весне 1896 г.: «...производят потрясающее впечатление *«Отрывки из Упанишад»* и *«Тао»* Лао-дзы» (*Материал к биографии*, л. 5 об.).

[143] Приводим фрагмент этого текста:

«...над «Вопросами философии» я. Перевод Веры Джонстон *«Отрывки из Упанишад»*. Начинаю читать. ⟨...⟩

Гляжу за окна: пролетает — ворона ли? С крыши на крышу слетает дымок, улетая: за крышу; понять, что такое рисуется перелетами клубов — нельзя. Так и слово: перелетает из строчек на душу, сквозь душу — куда? Видишь — вот, а понять, что рисуется тайнами слов — невозможно; душа передо мною моя — вся сквозная: разъятые шири пространства открываются в ней перелетами слов.

Отрываюсь от чтенья: ворона — ворона ли? Ах, другое какое-то все: непонятно, невидимо...

Видимо, слышимо — все, чего прежде не знал, что уставилось в душу:

— «Я — старое».

Было. Когда *это* было? Я тут начался; *низлетал*: из вот этой невнятицы. ⟨...⟩

В «Упанишадах» я жил до рождения».

(Белый Андрей. Записки чудака, т. 2. М.— Берлин, 1922, с. 149—150).

[144] Каждая из четырех книг основного философского труда А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» имеет эпиграфы, но ни один из них не восходит к упанишадам. Скорее всего, в сознании Белого произошла аберрация, и намечаемая им линия связи между Шопенгауэром и индийской философией подтверждалась эпиграфом не из упанишад, а из Шопенгауэра,— эпиграфом, который предпослала В. Джонстон своим «Отрывкам из Упанишад»: «Глубокие, самобытные, высокие мысли выступают с каждой страницы Упанишад навстречу нам... Это самый бога-

тый и самый высокий предмет изучения в мире. Он был мне утешением в жизни и будет мне утешением в смерти». Шопенгауэр» (Вопросы философии и психологии, 1896, кн. 31 (1), с. 1).

[145] В письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый определяет вторую половину 1890-х гг. в своей биографии как «период выработки мировоззрения ⟨...⟩ эстетизм, символизм, буддизм, Шопенгауэр», «декадентство, пессимизм, буддизм» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Ср.: «...стал приоткрываться первый идеологический отрезок в тенденции забронировать выход во внешний мир: от Упанишад к Шопенгауэру — отрезок пути от 1896 года к весне 1897» (*Почему я стал символистом*, с. 24).

[146] См.: Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. Перевод А. Фета. Изд. 2-е. М., 1888; Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. Перевод Ю. И. Айхенвальда. М., 1901.

[147] Об эпохе 1897—1899 гг. Белый пишет: «...Фет заслоняет всех прочих поэтов; он открывается вместе с миром философии Шопенгауэра; он — шопенгауэровец; в нем для меня — гармоническое пересечение миросозерцания с мироощущением: в нечто третье. Конечно, он для меня — *«символист»* (*Почему я стал символистом*, с. 25).

[148] «Сергей Горбатов. Исторический роман конца XVIII века» (СПб., 1882), «Великий розенкрейцер. Роман XVIII века. (Продолжение романа «Волхвы»)» (СПб., 1892) — романы Вс. С. Соловьева.

[149] Ср. запись Белого, характеризующую конец 1895 г.: «...очень крупным событием в моей жизни есть мое знакомство с Сережей Соловьевым, еще маленьким мальчиком, проживающим в нашем доме; скоро я начинаю посещать часто квартиру Соловьевых» (*Материал к биографии*, л. 5 об.).

[150] Неточная цитата из вступления («У лукоморья дуб зеленый...», 1824—1825) к поэме Пушкина «Руслан и Людмила».

[151] Ср. признания в очерке Белого «К биографии»: «Общение с покойными М. С. и О. М. Соловьевыми — великолепнейший, не прекращавшийся года семинарий на тему *«искусство»*. ⟨...⟩ С 1897 года Соловьевы стали мне моей *«второй»* родиной» (*ГБЛ*, ф. 198, карт. 6, ед. хр. 5, л. 2 об.—3). «...Я помню, что стал я таким, каким стал,— лишь считаясь с советами М. С. Соловьева»,— пишет Белый в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, I, с. 129).

[152] Речь идет об истории печатания «Симфонии (2-й, драматической)», предложенной издательству «Скорпион» в октябре 1901 г.: «Получается ответ Брюсова на запрос М. С. Соловьева о моей *«Симфонии»*; Брюсов считает *«Симфонию»* прекрасным

произведением и уведомляет, что *«Скорпион»* печатает ее, но только через год, ибо *«Скорпион»* уже на год завален работой; тогда М. С. Соловьев решается лично спешно печатать *«Симфонию»* под маркой *«Скорпиона»* (который на это соглашается); я не хочу печатать *«Симфонию»* под моим именем; мы выдумываем псевдоним мне; я предлагаю: *«Буревой»*, но М. С. смеется: «Нет, когда узнают, что автор — вы, то будут смеяться: «Это не Буревой, а *«Бори вой»*...» М. С. придумывает мне псевдоним «Андрей Белый» и делается моим крестным отцом в литературном крещении» (*Материал к биографии*, л. 25 об.). Ход переговоров об издании «Симфонии» между М. С. Соловьевым и «Скорпионом» проясняет его письмо к Брюсову от 15 ноября 1901 г.: «Спасибо Вам за письмо и за предложение «Скорпиона». Ваш отзыв о поэме меня очень обрадовал. Самое главное, что Вы нашли ее «говоря вообще прекрасной», а недостатки, Вами указанные, я признаю почти все. Вот относительно отсутствия напева, мелодии,— я что-то не понимаю. Мне кажется, мелодия есть, поет все время, только часто фальшивит, и чем мелодия яснее и приятнее, тем резче поражают неверные ноты. Послушаюсь Вашего совета и издам эту вещь. Впрочем, и не могу поступить иначе, потому что обещал, что будет издано, а если «Скорпион» отказывается, то, кажется, некуда больше обратиться» (*ГБЛ*, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 22).

[153] Брюсов познакомился с М. С. и О. М. Соловьевыми в октябре 1900 г. у Шестеркиных; М. С. Соловьев был у Брюсова в сентябре 1901 г.; тогда же Брюсов посетил Соловьевых. См.: Брюсов В. Дневники, с. 92, 106.

[154] См. статью М. А. Бекетовой «Веселость и юмор Блока» (1925) (А. Блок и современность. М., 1981, с. 317—324).

[155] *Пассаты* — устойчивые ветры в тропических широтах.

[156] Контаминация цитат из автобиографической поэмы «Первое свидание» (*Стихотворения и поэмы*, с. 413—414).

[157] *«Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки»* — иллюстрированный ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1897—1909 гг. (издатель-редактор Ф. И. Булгаков).

[158] *«Сен-Мар»* (1826) — роман Альфреда де Виньи, изданный в переводе О. М. Соловьевой как приложение к «Новому журналу иностранной литературы» (1898, № 1—12): «Сен-Марс, или Заговор в царствование Людовика XIII» (СПб., 1898).

[159] *Журналы «нового искусства»* — немецкий «Jugend», выходивший в Мюнхене в 1896—1933 гг., и английский «The Studio», выходивший в Лондоне с 1893 г.

[160] Поэма Эсайаса Тегнера «Сага о Фритьофе» (1820—1825), в основу которой положена древнеисландская сага.

В «Воспоминаниях о Блоке» Белый пишет: «Помню яркое чтение М. С. Соловьева отрывков «Фритиофа» Тегнера» (*Эпопея*, I, с. 129).

[161] Ср. в «Воспоминаниях о Блоке» Белого: «О. М. любит английских прерафаэлитов (Росетти, Берн-Джонса), иных символистов; зачитывается Верлэном и Маллармэ; и первая мне открывает миры Метерлинка, тогда еще всеми бранимого 〈...〉 она обостряет и утончает мой вкус; ей обязан я многими часами великолепных, культурных пиров» (*Эпопея*, I, с. 127—128).

[162] См. дневниковые заметки Белого (1901), содержащие отклики на постановки в Московском Художественном театре «Дикой утки» Г. Ибсена, «Михаэля Крамера» Г. Гауптмана, «Трех сестер» А. П. Чехова («Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник 1979. Л., 1980, с. 128—131).

[163] Владимир Федорович Марконет, педагог-историк, родственник Соловьевых (брат А. Ф. Марконета, мужа А. М. Марконет — сестры О. М. Соловьевой).

[164] Героиня одноименной драмы Ибсена: высокий духовный потенциал, ум, гордость сочетаются в ней с обостренным индивидуализмом, холодностью, чертами декаданса.

[165] Рафаэль, изобразивший папу Сикста в «Сикстинской мадонне» (1515—1519).

[166] Сокращенная цитата (запись, датированная сентябрем 1901 г.).

[167] *Энтелехия* — термин философии Аристотеля, выражающий единство материальной, формальной, действующей и целевой причины.

[168] *«Одно, навек одно!»* — начало первой строки стихотворения Вл. Соловьева «Знамение» (1898). См.: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 119—120.

[169] *Лев Иванович Поливанов* (род. в 1892 г.) — математик, в 1920-е гг.— преподаватель Нижегородского государственного университета.

[170] Намек на тетку Блока М. А Бекетову, автора двух биографических книг о поэте, в которых затрагивается мимоходом вопрос о взаимоотношениях Блока с Белым и С. М. Соловьевым. См.: Бекетова М. А. 1) Александр Блок. Биографический очерк. Пб., 1922, с. 91, 96—97; 2) Ал. Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л.— М., 1925, с. 81—82. Бекетова была задета этим критическим пассажем Белого; 24 января 1931 г. она писала ему в связи с выходом «На рубеже двух столетий»: «Недостатков в написании я почти не вижу (так — кое-какие словечки я бы изменила; простите старой мемуарной тетушке)»; «...я никогда не думала, что «бяка Андр〈ей〉 Белый» учит истерике «паиньку

Блока». В недописанной моей статье «Роман Блока в стихах» я говорю, что Блок — сам по себе, а Вы и прочие — сами по себе ⟨...⟩» (Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1987, с. 251, 254).

[171] Подразумевается внутрисимволистская полемика, происходившая в 1906—1908 гг. по поводу «мистического анархизма» — философско-эстетической теории Г. И. Чулкова. Белый подробно касается этого вопроса в воспоминаниях «Между двух революций».

[172] Намек на специфическяй характер духовного самоопределения Соловьева: в 1915 г. он принял духовный сан; перейдя в начале 1920-х гг. в католичество, в 1926 г. стал епископом, вице-экзархом католиков греко-российского обряда.

[173] *«Оправдание добра. Нравственная философия»* (1897) — основной этический трактат Вл. Соловьева.

[174] *«Мессинская невеста»* (1803) — трагедия Ф. Шиллера; сцены из нее ставились в конце 1897 г. О театральных интересах предшествующей поры (ноябрь — декабрь 1896 г.) Белый также пишет: «С С. М. Соловьевым мы начинаем увлекаться театром. Собираем труппу (я, Сережа Соловьев, Маруся Коваленская, Коля Марков, Ваня Величкин, Огневы). Мы ставим сцены из «Макбета», из *«Бориса Годунова»*; и на Рождестве ставим переработку мою для сцены «Капитанской дочки». Я увлекаюсь декламацией» (*Материал к биографии*, л. 6—6 об.).

[175] Лекция о конце всемирной истории, включавшая «Краткую повесть об антихристе», читалась Вл. Соловьевым в Петербурге в марте 1900 г. Ср. запись Белого об этом времени: «...проносится слух, что Владимир Соловьев прочел в Петербурге лекцию *«О конце всемирной истории»*. Папа с интересом говорит об этой лекции; Мих. Серг. Соловьев откликается на нее и говорит мне: «Видите, Боря,— и Володя взял вашу тему», разумея тему моего отрывка из ненаписанной *«мистерии»*; это меня поражает» (*Материал к биографии*, л. 14).

[176] См.: Бекетова М. А. 1) Александр Блок. Биографический очерк, с. 35—36, 41—43; 2) Ал. Блок и его мать. Воспоминания и заметки, с. 15—17, 20—26, 37—39.

[177] Авторство «Симфонии (2-й, драматической)» было раскрыто в московском «профессорском» кругу осенью 1902 г., несколько месяцев спустя после выхода книги в свет.

[178] М. А. Бекетова писала Белому в этой связи (24 января 1931 г.): «...удивляюсь, как Вы не поняли такой простой вещи, как то, что Ал⟨ександра⟩ Гр⟨игорьевна⟩ Коваленская, Соф⟨ья⟩ Гр⟨игорьевна⟩ (тетя Соня) и моя мать были родные сестры, след⟨ательно⟩, О. М. Соловьева — моя двоюродная сестра. ⟨...⟩

Антагонизм между Коваленскими и Бекетовыми был, т. е. собственно был между А⟨лександрой⟩ Гр⟨игорьевной⟩ и моей матерью, молодые были в хороших отношениях, не без критики, конечно ⟨...⟩» (Александр Блок. Исследования и материалы, с. 251—252). Белый в ответном письме к Бекетовой от 6 февраля 1931 г. отмечал: «О каких-то трениях между А⟨лександрой⟩ Г⟨ригорьевной⟩ и кем-то из Бекетовых я подозревал; но я не слышал ни одного слова порицания или осуждения по адресу кого бы то ни было из Вашей семьи» (т а м ж е, с. 260).

[179] Имеется в виду размолвка, случившаяся в середине июня 1905 г. в Шахматове между семьей Блока (главным образом — матерью поэта, А. А. Кублицкой-Пиоттух) и гостившими там Белым и С. М. Соловьевым. См.: *Эпопея*, II, с. 258—259; Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 226, 609—610.

[180] Подразумевается отклик на «манифест» Белого «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам» (см. примеч. 24 к Введению) — статья «Наброски», появившаяся за подписью: К — ий. В ней, в частности, говорится: «Устами Андрея Белого декаденты заявили, что у них нет никаких убеждений — ни либеральных, ни консервативных. От споров отцов о либерализме и консерватизме у них всегда трещали головы. Они предпочли обойтись без таких споров, которые были им, очевидно, не по головам. ⟨...⟩ Маска снята. Андрей Белый отлично позаботился об этом. И из-под маски культурного бойца, вождя передовой молодежи, выглянуло лицо дикаря, лишенного всяких убеждений и самодовольно объявляющего всем об этой своей абсолютной пустоте» (Курьер, 1903, № 65, 3 мая, с. 3).

[181] Развивая эту характеристику А. Г. Коваленской, Белый писал М. А. Бекетовой 6 февраля 1931 г.: «Вы напрасно думаете, что я не видел в А. Г. Коваленской ничего, кроме «доброй бабушки»; живя ряд лет летами в Дедове с ней бок о бок в эпоху моей максимальной близости с Сережей, я, разумеется, скорей в *«бабушке»* видел — стиль (Андерсен на устах, Вольтер в глазах); сколько бесед было с Сережей о том, что в *тихом омуте черти водятся*; все так: не раз я в *«бабушке»* напарывался на... черта ⟨...⟩ Если я в *«На рубеже»* и не касаюсь в А⟨лександре⟩ Г⟨ригорьевне⟩ властолюбивой вольтерианки (некогда красавицы), так это потому, что этот аспект ее выступил из нее для меня позднее ⟨...⟩» (Александр Блок. Исследования и материалы, с. 260).

[182] Баллады В. А. Жуковского «Рыцарь Роллон» (1832, перевод из Л. Уланда), «Суд Божий над епископом» (1831; перевод из Р. Саути), «Замок Смальгольм» (1822; перевод из В. Скотта).

183 Искаженная цитата (у Брюсова: «генерал peu lettré» — т. е. «генерал малообразованный»).

184 Испагань (Исфахан) — город в центральной части Ирана.

185 См.: Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 1900. В поэме «Первое свидание» Белый пишет о своем общении с «голубоглазым гимназистиком» С. Соловьевым:

О Логосе мы спорим с ним,
Не соглашаясь с Трубецким ⟨...⟩

(*Стихотворения и поэмы*, с. 415).

186 Собственно воспоминания о Вл. Соловьеве содержатся в очерке, помещенном в «Арабесках» (с. 387—394); в «Воспоминаниях о Блоке» (гл. 1) речь идет в основном о духовном воздействии философа на молодого Белого (см.: *Эпопея*, I, с. 127—146). См. также стихотворный портрет Соловьева во 2-й главе «Первого свидания» (*Стихотворения и поэмы*, с. 421—424) и главу «Владимир Соловьев» в «Записках чудака» Белого (т. 1, с. 97—109).

187 Упоминаются произведения Э. Грига «Лирические пьесы» — большой цикл для фортепьяно в 10-ти тетрадях (1867—1901), сюиты «Пер Гюнт» (1888—1896) и «Сигурд Крестоносец» («Sigurd Yorsalfar», 1872). Об октябре — декабре 1898 г. Белый вспоминает: «Эти месяцы окрашены для меня начинающимся увлечением Григом, которое тянется два года ⟨...⟩ я с этого времени все свои деньги трачу на приобретение произведений Грига; скоро у нас весь Григ» (*Материал к биографии*, л. 11).

188 *«Слепые»* (1890) — одноактная пьеса М. Метерлинка; *«Потонувший колокол»* (1896), *«Ганнеле»* (1894) — пьесы Г. Гауптмана, отмеченные воздействием символизма. Ср. запись Белого об осени 1897 г.: «...в это время я прочитываю «Потонувший колокол» Гауптмана и мечтаю его поставить на сцене» (*Материал к биографии*, л. 7 об.).

189 См. примеч. 9 к Введению.

190 «Основные начала» (СПб., 1897) — труд Г. Спенсера, входящий составной частью в его 10-томную «Систему синтетической философии» (1862—1896). См. также примеч. 72 к гл. 3.

191 См. примеч. 43 к Введению.

192 Ср. записи Белого о весне 1898 г.: «...обнаруживается моя попытка с негодными средствами одолеть «Критику чистого разума» Канта; я едва доплетаюсь до аналитики, на которой ломаю себе голову («эстетика» мне понятнее сквозь призму Шопенгауэра)» (*Материал к биографии*, л. 9 об.).

193 Какое именно издание имеется в виду, неясно.

[194] Вероятно, «Монадология» Лейбница в переводе и с примечаниями К. И⟨стоми⟩на («Вера и разум», 1892, № 22).

[195] «Опыты, или Наставления нравственные и политические» (1597—1625) Ф. Бэкона. Белый, видимо, знакомился с ними по двухтомному собранию сочинений Бэкона в переводе П. А. Бибикова (т. 2. СПб., 1874).

[196] Начало общения Белого с В. В. Владимировым относится, согласно записям Белого, к ноябрю — декабрю 1896 г.: «Впервые знакомлюсь с будущим художником Владимировым (товарищем по классу) и сближаюсь с ним на почве общих интересов искусства» (*Материал к биографии*, л. 6 об.).

[197] Устойчивое определение Петрония, автора «Сатирикона»,—«арбитр изящества» (elegantiae arbiter); так называет его Тацит в «Анналах» (XVI, с. 18—20).

[198] Ср.: «С 1897 года начинается эпоха моего бурного литературного самоопределения; оно началось с самоопределения философского полгода ранее ⟨...⟩ из уст моих бурно хлынул меня самого удививший поток слов, направленный одновременно и к назиданию товарищей по классу, и барышень Зубовых, которым проповедую буддизм ⟨...⟩ И в восьмом классе гимназии с «декадентом» Бугаевым, уже читающим Канта и имеющим что ответить и Смайльсу, и Конту, и Спенсеру, считаются: воспитанники, учитель русского языка и сам испуганный латинист (некогда — гроза класса)» (*Почему я стал символистом*, с. 25).

[199] См. примеч. 25.

[200] Под псевдонимом «В. Миров» В. К. Иков печатался во многих периодических изданиях 1900—1910-х гг. («Наше дело», «Новая книга», «Дело жизни», «Живое дело», «Луч», «Наш голос» и др.).

[201] Приводим сведения из аттестата зрелости, выданного Белому по окончании гимназии (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 304):

	Оценки, выставленные в Педагогическом совете	на испытании (с 28 апреля по 29 мая 1899 г.)
Закон Божий	5	5
Русский язык и словесность	5	5
Логика	5	5
Латинский язык	3	3
Греческий язык	4	4
Математика	4	4
Математическая география	5	5

Физика	5	5
История	5	5
География	—	5
Французский язык	5	5
Немецкий язык	4	4

202 В студенческом деле Белого имеется прошение «потомственного дворянина Бориса Николаевича Бугаева» о принятии на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 305, л. 1), куда он был зачислен в июле 1899 г.

ГЛАВА ПЯТАЯ. УНИВЕРСИТЕТ

[1] И. И. Петрункевич, один из основателей конституционно-демократической партии, с конца 1860-х гг. участвовал в земском движении в Черниговской и Тверской губерниях, в 1904—1906 гг. участвовал в городских и земских съездах, примыкая к их левому крылу.

[2] «Тишина. Лирические поэмы» (СПб., 1898) — книга стихов К. Д. Бальмонта. Белый вспоминает о весне 1899 г.: «...выходит «Тишина» Бальмонта; и я — зачитываюсь ею; но уже нахожу в Бальмонте ряд дефектов (мой кумир — Фет)» (*Материал к биографии*, л. 12).

[3] См. примеч. 134 к гл. 4.

[4] *«Когда мы, мертвые, пробуждаемся»* (1899) — последняя драма Г. Ибсена.

[5] Ср. другую характеристику Белым 1901 года: *«Этот год переживался мною, как единственный год в своем роде: переживался он максимальнейшим напряжением; первая часть его мною переживалась, как исключительно благая: это был первый год нового столетия, так сказать, новой эры»* (*Материал к биографии*, л. 16).

[6] Неточная цитата (в оригинале: «много святых радостей») из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм*, с. 325).

[7] См.: Белый Андрей. Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии.— В кн.: «Северные цветы». Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903, с. 2—25. От первоначального текста мистерии сохранились лишь фрагменты (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 12; *ГБЛ*, ф. 25, карт. 2, ед. хр. 2). Подробнее об этом произведении и о переживаниях, в нем отраженных, см.: Лавров А. В. Юношеская художественная проза Андрея Белого.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981, с. 110—111.

[8] Эти несохранившиеся драмы относятся к октябрю — декабрю 1897 г. и к марту — апрелю 1898 г. См. о них: т а м ж е, с. 108.

[9] В «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» Белый указывает: «Черновик большого критического исследования *«Творчество Генрика Ибсена»*. Эпоха написания — 1899 год (весна)» (*ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 31).

[10] В том же перечне Белый указывает: *«Симфония»*, предшествующая по времени написания *«Северной Симфонии»*; в 1903—1905 годах автор сжег рукопись, как недоношенное, юношеское произведение (эпоха написания — лето 1899 года)» (т а м ж е). Ср. характеристику «предсимфонии» в письме Белого к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: «...я отдался странной, дикой, туманной, космической эпопее в прозе 〈...〉 Над формой этой поэмы я работал в *«поте лица»* с зимы до осени 1899 года; потом *«поэма»* несколько лет лежала у меня; потом я ее уничтожил. Из этой формы родились *«Симфонии»*. Собственно говоря, первой Симфонией была не *Северная*, а эта, уничтоженная» (*ЦГАЛИ*, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Предварительный черновой текст этого произведения сохранился (опубликован в кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980, с. 126—137).

[11] *«Философия бессознательного»* (1869) — основное сочинение Эдуарда фон Гартмана. Ср. запись Белого о лете 1899 г.: «...читаю и «Философию бессознательного» Гартмана; во мне уже намечается тенденция к волюнтаризму, как попытки соединить философию Шопенгауэра с данными естествознания» (*Материал к биографии*, л. 12).

[12] *Хандриков* — герой «третьей симфонии» Белого «Возврат». Белый приступил к работе над нею в ноябре 1901 г.

[13] См.: Б е л ы й Андрей. Возврат. III симфония. М., 1905, с. 83.

[14] В. В. Владимиров поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета одновременно с Белым.

[15] А. С. Петровский был зачислен на естественное отделение физико-математического факультета в июле 1899 г. Белый сблизился с ним осенью 1899 г. после чтения своего реферата «О задачах и методах физики» в кружке Н. А. Умова: «...после этого реферата ко мне подходят знакомиться 2 студента — сын проф. Зографа и А. С. Петровский (однокурсники); так начинаются мои теоретические разговоры с Петровским (в то время химиком и скептиком), перешедшие постепенно в дружбу с ним» (*Материал к биографии*, л. 13).

[16] *Мезозои* (Mezozoa) — класс животных подтипа плоских червей, ранее считавшийся промежуточной группой между простейшими и многоклеточными. Об октябре 1899 г. Белый вспоминает: «...эмбриология, гистология и зоология *«простейших»* особенно интересуют меня; читаю реферат «О простейших» в семинарии у профессора Зографа ⟨...⟩ Добываю себе том зоологии Ива Деляжа, посвященный простейшим; читаю отдельные статьи, посвященные «простейшим». Увлекаюсь микроскопом» (*Ракурс к дневнику*, л. 3 об.— 4).

[17] «Очерк истории физики» Фердинанда Розенбергера в трех частях (перевод с немецкого под ред. И. М. Сеченова. СПб., 1883—1886).

[18] Цитаты (вторая — в сокращении) из статьи «Лирика и эксперимент» (1909).

[19] Имение Серебряный Колодезь (Старогальская волость Ефремовского уезда Тульской губернии) Н. В. Бугаев приобрел осенью 1898 года. Первое лето Белый провел там в 1899 г.

[20] «Краткий курс ботаники» И. П. Бородина, неоднократно переиздававшийся (10-е изд.— 1911). Ср. запись о лете 1899 г.: «...изучаю плодоводство на практике (сажаю яблони) и в теории (читаю Греля «Доходное плодоводство» и 2 других книги по этому вопросу)» (*Ракурс к дневнику*, л. 2).

[21] «Введение в изучение зоологии и сравнительной анатомии» (М., 1887) М. А. Мензбира.

[22] См.: Кук Дж. П. Новая химия. М., 1897; Ферворн М. Общая физиология, вып. 1—2. М., 1897.

[23] Имеется в виду книга А. С. Фаминцына «Современное естествознание и психология» (СПб., 1898), излагавшая общие взгляды ученого на природу. «В борьбе двух мировоззрений биологов на природу — механистического и виталистического — А. С. занял своеобразное среднее положение, так как ни то, ни другое его не удовлетворяли и оба представлялись односторонними: механизм игнорировал психику, а витализм отдавал мистицизмом» (Бородин И. П. Андрей Сергеевич Фаминцын (1835—1918).— Журнал Русского ботанического общества при Академии наук, 1919, т. 4, № 1, с. 141). Ср. запись Белого о лете 1899 г.: «...зачитываюсь сочинениями Фаминцына и осознаю себя *«неовиталистом»* (вскоре я от витализма отказываюсь)» (*Материал к биографии*, л. 13).

[24] Непрямое деление клетки, один из способов размножения клеток животных и растений.

[25] *Мезодерма* — средний слой зародыша многоклеточных животных и человека; из мезодермы развиваются мышцы, хрящи, кости. *Экзодерма* — наружный слой клеток первичной коры растения, выполняющий защитную функцию. *Энтодерма* —

внутренний слой зародыша многоклеточных животных и человека на ранних стадиях его развития.

[26] Премьера «Вишневого сада» Чехова в Московском Художественном театре состоялась 17 января 1904 г. Трактовку Белым пьесы как произведения, насыщенного символикой, см. в его статье «Вишневый сад» (Весы, 1904, № 2, с. 45—48; *Арабески*, с. 401—405).

[27] *Центросома* — участок цитоплазмы (внеядерной части протоплазмы растительных и животных клеток), окружающий в клетке центриоли (постоянные структуры всех животных и некоторых растительных клеток).

[28] Классический труд Ч. Дарвина.

[29] *Гаструла* — одна из стадий развития зародыша многоклеточных животных.

[30] См.: Мензбир М. А. Сергей Алексеевич Усов.— В кн.: Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Московского университета 12-го января 1887 года. М., 1887, с. 232—247.

[31] А. А. Тихомиров, помимо специальных исследований по анатомии и эмбриологии тутового шелкопряда, был известен также как автор ряда популярных брошюр по вопросам общей биологии, в которых выявил себя антидарвинистом.

[32] *«Субы»* — разговорное обозначение университетских служителей и надзирателей (первая часть слов типа «субинспектор», «субординатор»).

[33] *Сифонофоры* — подкласс (или отряд) морских кишечнополостных животных класса гидроидных; распространены главным образом в тропических морях.

[34] Теория ячеистого, или пенистого, строения протоплазмы.

[35] См. примеч. 80 к гл. 3. О декабре 1899 г. Белый вспоминает: «Беру у проф. Зографа 2-ой том Ива Делажа, посвященный *«Zoelenterata»* (гидрам); читаю его» (*Ракурс к дневнику*, л. 5 об.).

[36] «Биологические основы зоологии» (1900) — учебное руководство В. М. Шимкевича.

[37] См.: Зограф Н. Курс зоологии для студентов-естественников, медиков и сельских хозяев. М., 1900, 1316 стр.

[38] *Мистер Дик* — персонаж романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», румяный и седовласый джентльмен. См.: Диккенс Ч. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15. М., 1959, с. 233.

[39] *«Валькирия»* (1856) — музыкальная драма Р. Вагнера, входящая в тетралогию «Кольцо Нибелунга». *Вальгалла* (Вальхалла) — в скандинавской мифологии находящееся на небе

жилище богов и павших храбрых воинов; в «Гибели богов», заключительной части тетралогии Вагнера, Вальгалла гибнет в пламени.

[40] См. примеч. 82 к гл. 3.

[41] В рукописи книги далее зачеркнуто карандашом (после точки с запятой): «семинарий у Умова (решение простеньких задач), или у Тимирязева (резание растительных тканей микротомом), все ж были, так сказать, трансцендентны предметам их: и я решал задачки, а не был физиком; и я делал взрезы, а никогда анатомом растений себя не чувствовал» (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 216).

[42] Намек на вступление к поэме Пушкина «Руслан и Людмила»: «Там чудеса: там леший бродит».

[43] «О действии окиси серебра и гидроксиламина на бромамины. О строении гексагидробензола» (1900) — докторская диссертация Н. М. Кижнера.

[44] Обыгрывается строка вступления к «Руслану и Людмиле»: «Там русский дух... там Русью пахнет!»

[45] *Недотыкомка* — бредовый образ, рождающийся в сознании сходящего с ума Передонова, героя романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». См. также стихотворение Ф. Сологуба «Недотыкомка серая...» (1899) (Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975, с. 234).

[46] Видимо, Белый здесь имел в виду осень 1901 г., когда он приступил к работе над 3-й «симфонией» «Возврат»; судя по другим авторским свидетельствам (*Материал к биографии*, л. 30; *Ракурс к дневнику*, л. 15), последняя, третья часть этой «симфонии» была уже написана в августе 1902 г.

[47] О весне 1903 г. Белый вспоминает: «С марта месяца мы составили группу (я, Петровский, Печковский, Владимиров, Погожев, Аршинов, С. Л. Иванов) и готовились совместно к экзамену, читая то *«сравнительную анатомию»*, то *«органическую химию»*; мы избрали весною место подготовки к экзаменам крышу химической лаборатории (плоскую крышу) и на ней усаживались; потом там же кипятился чай; занятия нарушались шутками, прибаутками, начиналось хождение по перилам, лазанье по крыше ⟨...⟩» (*Материал к биографии*, л. 36).

[48] Начало переписки Белого с З. Н. Гиппиус относится к февралю 1902 г. (первое из сохранившихся писем Гиппиус к Белому датировано 3 марта 1902 г.— *ГБЛ*, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6).

[49] Начало переписки между Белым и Блоком относится к январю 1903 г. См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 3—17.

[50] *Микротом* — лабораторный прибор, с помощью которого получают тонкие срезы тканей животных и растений для изучения их под микроскопом.

[51] *Idée fixe* (фр.; лат. Idea fixa) — неотступная мысль, навязчивая идея. О своих занятиях в декабре 1901 г. Белый пишет: «...собираю материал по орнаменту (в связи с намерением этот предмет изучить эстетически и этнографически)» (*Ракурс к дневнику*, л. 12).

[52] Начало работы Белого над кандидатским сочинением «Об оврагах» относится к ноябрю 1901 г.

[53] Возможно, намек на поездку Анучина в 1882 г. в Дагестан с целью археологических исследований. См.: Есаков В. А. Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. М., 1955, с. 25.

[54] Имеются в виду подготовленные В. В. Докучаевым «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая часть» (вып. 1—14. СПб., 1884—1886) и «Материалы к оценке земель Полтавской губернии. Естественноисторическая часть» (вып. 1—13. СПб., 1889—1894).

[55] *«Геология. Общий курс»* (т. 1—2, 1885—1887) — руководство А. А. Иностранцева, выдержавшее 4 издания.

[56] Эта статья появилась в 1902 г. в декабрьском номере «Мира искусства» (№ 12, с. 343—361) за подписью: Борис Бугаев.

[57] Во время студенческой стачки в феврале 1901 г. Тимирязев рекомендовал студентам продолжать забастовку и отказался подписать воззвание профессоров к студентам с требованием прекратить борьбу; получив за это выговор от попечителя, ученый подал в отставку и лишь по просьбе всех профессоров университета взял свое заявление назад. Когда осенью 1901 г. Тимирязев приступил к чтению лекций в Московском университете, студенты устроили ему чествование, были прочитаны приветственные адреса; в ответном слове Тимирязев сказал: «...я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь; я люблю науку, как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас». См.: Ушаков А. В. Революционное движение демократической интеллигенции в России. 1895—1904. М., 1976, с. 92.

[58] См. примеч. 3. к гл. 1.

[59] Белый выступал с лекцией «Фридрих Ницше» в Политехническом музее в Москве 19 декабря 1907 г.

[60] Вспоминая о жизни в Демьянове в июне 1910 г., Белый отмечает «встречи с Клим⟨ентом⟩ Аркад⟨ьевичем⟩ Тимирязевым, тоже живущим в Демьянове, его пустым и никчемным сыном, *«Аркашей»*» (*Материал к биографии*, л. 58).

[61] Журнал «Летопись», выходивший в Петрограде с декабря 1915 г. до декабря 1917 г. при ближайшем участии М. Горького (издатель — А. Н. Тихонов); по просьбе Горького Тимирязев стал руководителем отдела науки в «Летописи». См.: Дубинская Т. И. «Летопись».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Большевистские и общедемократические издания. М., 1984, с. 207.

[62] *«Новая жизнь»* — газета, начатая изданием в Петрограде с 18 апреля 1917 г.; М. Горький состоял в ее редакции. В конце марта — начале апреля 1917 г. Горький получил от Тимирязева письмо с приветствием «Новой жизни» и с выражением желания в ней сотрудничать, за что благодарил ученого ответной телеграммой. См.: Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 3. М., 1959, с. 25—26.

[63] *«Основания физиологической психологии»* (1873—1874; русский перевод — М., 1880) В. Вундта Белый читал в августе 1900 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 8).

[64] Ср. более отчетливую характеристику тех же идейных коллизий: «Как примирить, с одной стороны, борющихся в моей душе Соловьева и Ницше; с другой — самую проблему их борьбы в душе с проблемой естествознания; Соловьевы тут не помогут; естествознание чуждо им; опять-таки: ориентирует сперва линия, связанная с Шопенгауэром, моей центральной станцией идеологических экскурсов; эта линия, с одной стороны — волюнтаризм (Вундт), допускающий переложения себя в энергетику (Оствальд); с другой — *«Философия бессознательного»* Гартмана, отдающая много места проблемам естествознания; если преодоление Шопенгауэра *вперед* — символизм, то базироваиие его в *назад* — естествознание. Новый круг мыслителей вычерчен мне в университете: Гартман, Гефдинг, Вундт, Оствальд, потом Ланге; они суть средства, формирующие мне мою философию естествознания, питаемую уже из специального чтения: Гефдинг, Катрфаж, Делаж, Уэвель, Милль, Дарвин, Гертвиг и т. д. Позднее сюда присоединяется частично Спенсер» (*Почему я стал символистом*, с. 30).

[65] Белый вспоминает о декабре 1899 г.: «Читаю с бешеным увлечением Ницше («Происхожд⟨ение⟩ трагедии», «Заратустру», «По ту сторону добра и зла», «Веселую науку», «Странник и его тень»)» (*Ракурс к дневнику*, л. 5 об.).

[66] В 1889 г. Ницше заболел душевным расстройством. Ср.: «...мне Ницше казался «белым ребенком», мучимым диаволами; и самую болезнь Ницше объяснял я себе тем, что он был замучен бесами именно оттого, что в последнем ядре души своей он не предал силы света» (*Материал к биографии*, л. 14 об.).

[67] Ср. записи Белого о конце 1899 г.: «В Ницше и в Розанова погружаюсь я одновременно. Но Ницше влечет меня все сильней и сильней; «Заратустра» производит теперь лишь головокружительное впечатление (я и прежде читал его, но он не действовал)» (*Материал к биографии*, л. 13 об.).

[68] Критическое исследование Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» печаталось в «Мире искусства» на протяжении 1900 и 1901 гг.

[69] *Кариокинез* — прежнее название митоза (непрямое деление клетки, один из способов размножения клеток животных и растений).

[70] *Остеология* — раздел анатомии, изучающий строение, развитие и изменения костного скелета.

[71] А. С. Петровский стал одним из ближайших друзей Белого на протяжении всей его жизни. Во второй половине декабря 1931 г. Белый писал Петровскому: «...ведь мы с Тобой даже и не друзья, а братья; вся жизнь прошла вместе. Недавно долго не засыпал: мысленно вставала жизнь; мысленно озирал ее этапы; и во всех этапах ее стоял Ты ⟨...⟩ уже с 1899 года Ты стал играть большую роль в моей жизни; сколько раз мы оказывались связанными и людьми, и интересами; вспомни 1901, 1903, 1905, 1909 и т. д. Везде мы были вместе» (Новый журнал, № 122. Нью-Йорк, 1976, с. 157; публикация Роджера Кийза). Об А. С. Петровском см.: Гравюры из коллекции А. С. Петровского. Каталог. М., 1980, с. 7—8.

[72] Сологуб Ф. Жало Смерти. Рассказы. М., Скорпион, 1904.

[73] Сборник рассказов Ф. Сологуба «Истлевающие личины» (М., Гриф, 1907). Белый написал рецензию на эту книгу, см.: Критическое обозрение, 1907, вып. 3, с. 27—29.

[74] Главный герой драмы Ибсена «Строитель Сольнес» (1892) в финале совершает восхождение на башню строящегося по его проекту дома, откуда падает. *Боркман* — главный герой драмы «Йун Габриэль Боркман» (1896).

[75] В гранках книги далее было: «муж, презрительно зажав губы, с научных-де высот озирает жизнь; жена, здоровенная толстая бабища, воображает себя Геддой Габлер» и т. д. (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5595, л. 181). См. примеч. 164 к гл. 4.

[76] Сокращенная цитата.

[77] К работе над вторым томом «Москвы», романом «Маски» (первоначальное заглавие — «Маски Москвы») Белый приступил осенью 1928 г. Роман был завершен 1 июня 1930 г. См.: Бугаева К., Петровский А. [Пинес Д.]. Литературное наследство Андрея Белого.— Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 608—609.

[78] Сокращенная цитата (Белый Андрей. Московский чудак. Первая часть романа «Москва». М., 1926, с. 196); в оригинале: «...дом — каменный ком; дом за домом — ком комом» и т. д.

[79] Контаминация сокращенных цитат (Белый Андрей. Москва под ударом. Вторая часть романа «Москва». М., 1926, с. 213, 215).

[80] Участие И. И. Янжула в правительстве, возглавляемом председателем Совета министров С. Ю. Витте, не состоялось. Последний вспоминает о ситуации, возникшей в начале 1906 г.: «После ухода Тимирязева с поста министра торговли и промышленности я хотел предложить это место академику Янжулу (бывшему профессору финансового права Московского университета и главному фабричному инспектору в Москве). Но ранее, нежели докладывать об этом его величеству, я просил к себе Янжула, чтобы с ним объясниться. Он от этого назначения уклонился» (Витте С. Ю. Воспоминания, т. 3. М., 1960, с. 194).

[81] В рукописи книги далее зачеркнуто карандашом:

«На этой-то почве и происходит мой отклик на лекцию Владимира Соловьева о конце всемирной истории, которой глубоко был заинтересован мой отец, ненавидящий и «мистику», и «поповщину», но реагировавший на лекцию, как на «симптом времени», которому соответствует какая-то реальность, а «антихрист» ли, «гибель ли Европы», «мировой ли переворот» — окраска скобок, в которые заключен шифр будущего: к прочтению; весной 900 года мне привелось говорить с Вл. Соловьевым в квартире Соловьевых на эту тему; и после этого разговора, смерти философа и увлечения его стихами я перечитываю его книги, начав с *«Кризиса западной философии»»* (*ЦГАЛИ*, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 245).

[82] Ср. примеч. 152 к гл. 4.

[83] Знакомство с Л. Л. Кобылинским (Эллисом) Белый относит к сентябрю 1901 г.; об октябре 1901 г. он вспоминает: «Читаю реферат «О Мережковском» в кружке для самообразования у Стороженок, где я принимаю деятельное участие и где ближе знакомлюсь с Эллисом-Кобылинским» (*Ракурс к дневнику*, л. 11 об.).

[84] Рукописи юношеских стихотворений Блока пересылала О. М. Соловьевой ее двоюродная сестра и мать поэта А. А. Кублицкая-Пиоттух. 3 сентября 1901 г. О. М. Соловьева писала матери Блока: «Сашины стихи произвели необыкновенное, трудноописуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева, мнением которого все мы очень дорожим и которого я считаю самым понимающим из всех, кого мы знаем. Боря показал стихи

своему другу Петровскому, очень странному, мистическому и фантастическому молодому человеку, которого мы не знаем, и на Петровского впечатление было такое же. Что говорил по поводу стихов Боря — лучше не передавать, потому что звучит слишком преувеличенно, но мне это приятно, и тебе, н думаю, будет тоже» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 174—175).

[85] О переписке О. М. Соловьевой с А. А. Кублицкой-Пиоттух Белый говорит и в поэме «Первое свидание»:

Все переписывалась с «Алей»,
Которой сын писал стихи,
Которого по воле рока
Послал мне жизни бурелом;
Так имя Александра Блока
Произносилось за столом 〈...〉

(*Стихотворения и поэмы*, с. 415).

СОДЕРЖАНИЕ

Белый А.

Б 43 На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 1 / Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Вступ. статья, подгот. текста и коммент. А. Лаврова.— М.: Худож. лит., 1989.— 543 с., ил., портр. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-00516-9 (Кн. 1)

ISBN 5-280-00517-7

Первая книга мемуарной трилогии Андрея Белого (1880—1934) «На рубеже двух столетий» посвящена воспоминаниям о семье, об отрочестве писателя, о поливановской гимназии. Большое место занимает в книге описание профессуры Московского университета начала XX века.

Б $\frac{4702010201\text{-}208}{028(01)\text{-}89}$ 8-89 **ББК 84Р7**

Андрей Белый

НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Синицына*

Корректоры *Б. Тумян, Т. Филиппова*

ИБ № 5295

Сдано в набор 06.09.88. Подписано к печати 27.06.89. Формат 84 × × 108[1]/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56 + 1 вкл. + альбом = 29,45. Усл. кр.-отт. 30,76. Уч.-изд. л. 31,92 + 1 вкл. + альбом = 32,68. Тираж 200 000 экз. Изд. № II-2968. Заказ 1742. Цена 10 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

неласковая; и я уже вижу, что мы с ней не наладим никаких отношений; мадемуазель грустна.

Действительно: когда уехали родители, атмосфера «чужих», и «чужих», косо на нас глядящих, дала себя знать; стало и жутко и неуютно, и, главное: даже негде гулять; городищенская усадьба, дом, сад, весь какой-то пропыленный и со всех сторон обложенный грязными домиками пыльного местечка, обитатели которого с ненавистью косились на Ф**; кулак Ф** в виде психического нажима я испытывал все время. Тут мне впервые прорезалась тема об эксплуатации богатыми бедных: это — разговоры мадемуазель с задружившей с нею, кажется, домовою портнихою, Марьей Казимировной (если память не изменяет мне); и я уже смутно начал понимать, к кому относились кулаки, подымаемые в спину нам, когда нас везли в экипаже управляющего: не к нам с мадемуазель они относились, а к Ф**.

И я сочувствовал поднимающим кулаки.

Не стану распространяться об унылом отсиживании в Городищах мая и июня; одно утешало меня: открытый в наше распоряжение шкаф, набитый журналом «Вокруг Света»[122], который я перечитал за ряд лет: Габорио, Луи Буссенар и другие романы путешествий и приключений[123] ознакомили меня и с Центральной Африкой, и с Гвианой, и с трущобами реки Амазонки; помнится: «Мирские захребетники» Богданова[124] положили начало скорому увлечению естествознанием.

Но чтение взасос не заслоняло печального для меня факта: меня здесь не любят; мы с мадемуазель — в тягость; нам это подчеркивают; более того: каждый мой жест, каждое мое слово истолковывается в самом обидном для меня смысле; и я слышу сравнения меня с дочерью Ф**: какая та умная и какой я неразвитой «дурачок», почти идиотик; услышав эту «творимую легенду»[125],— я впал в свое нервное озорство ломанья от внутреннего перепуга,— и все пошло из рук вон плохо.

Грубый Ф** вызывал меня к своим гостям: демонстрировать им «идиотика»; и обращался ко мне с такими оскорбительными вопросами:

— А скажи-ка, если тебя разрубить пополам, будут ли два Бореньки, или один?

Я, дрожа от обиды и оскорбления, ибо знал, что вопрос — демонстрация моего идиотизма, бросал истерически и назло:

— Будут нас двое!